ВОПРОСЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ

1-я ТИПОГРАФИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВА АКАДЕМИИ НАУК СССР
Ленинград, 34, В. О., 9-я линия, 12

КОНТРОЛЕР № 3

При обнаружении недостатков в книге просим возвратить книгу вместе с этим ярлыком для обмена

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
Москва—1955

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник «Вопросы грамматического строя» — один из очередных теоретических сборников Института языкознания Академии наук СССР — состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен вопросам теории грамматики, второй раздел — морфологии, третий — синтаксису.

В первой части помещены статьи, касающиеся общих вопросов грамматики: анализа грамматической природы слова, типов грамматической абстракции, соотношения между грамматическими категориями и частями речи, между лексикой и морфологией, морфологией и фонетикой, грамматикой и сравнительно-историческим языкознанием.

В открывающей сборник статье А. И. Смирницкого «Лексическое и грамматическое в слове» рассматриваются вопросы взаимосвязи и взаимодействия в слове лексического и грамматического элементов его структуры. Автор исходит из утверждения, что слово выступает в качестве основной единицы языка как в словарном его составе, так и в грамматическом строе, и подчеркивает, что грамматическая оформленность есть существенный признак каждого слова, хотя и не каждое слово имеет определенную грамматическую форму. В анализе грамматической структуры слова автор устанавливает принципиальное различие между парадигматической схемой слова, характеризующей грамматическое изменение слов, образующих грамматическую группу, и грамматическими различиями между словами, которые определяются конкретным образованием одних и тех же грамматических форм. Выясняя детально взаимодействие между лексическим и грамматическим моментами в слове, автор последовательно разграничивает собственно-грамматические и лексические категории.

Статьи Б. А. Серебренникова и Н. С. Поспелова посвящены анализу различных типов грамматической абстракции и проблеме грамматических категорий и частей речи. Б. А. Серебренников в статье «К проблеме типов лексической и грамматической абстракции» останавливается на роли принципа избирательности в процессе создания отдельных слов и грамматических форм, а также применения способов грамматического выражения. На большом материале автор показывает, как в различных по словарному составу и грамматическому строю языках разнообразно проявляется принцип избирательности. Автор подчеркивает роль структуры языка и внутренних законов его развития для лексического формирования и грамматического оформления того или другого слова.

Н. С. Поспелов в статье «Соотношение между грамматическими категориями и частями речи» показывает, каким образом части речи как лексико-грамматические разряды слов объединяются в группы общими для них грамматическими категориями, представляющими собою характерные для грамматического строя каждого языка обобщения грамматических значений. На материале современного русского языка автор иллюстрирует, как категориями времени и наклонения объединяются глаголы, краткие прилагательные и слова из «категории состояния».

Статьи А. А. Реформатского и Р. И. Аванесова освещают проблему соотношения и связи грамматики языка с его фонетической структурой.

А. А. Реформатский в статье «О соотношении фонетики и грамматики (морфологии)» исходит из разграничения фонетического и морфологического «ярусов» в структуре языка. Поэтому, в интерпретации автора, фонема, рассматриваемая в условиях позиций, оказывается высшей единицей в фонетике, а рассматриваемая вне позиций — выступает как низшая единица в морфологическом анализе.

Отвергая структуралистическое понятие морфонемы, как ненужное, автор видит в морфонологии «пограничную зону» между фонетикой и морфологией. Центральным вопросом связи фонетики и морфологии является, по мнению автора, вопрос о тождестве или нетождестве морфем, которое может иметь различные ступени.

В статье «Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы» Р. И. Аванесов основное различие между грамматикой и фонетикой усматривает в том, что грамматика имеет дело со значимыми единицами языка, тогда как фонетика изучает звуковые единицы, не связанные непосредственно со значением, а лишь различающие звуковую оболочку значимых единиц языка — слов и морфем. Автор проводит принципиальное разграничение двух типов позиционных чередований: параллельных, не имеющих общих членов, и непараллельных, пересекающихся. На основе этого разграничения автор выдвигает понятие фонемного ряда как элемента звуковой оболочки морфемы в отличие от фонемы как элемента звуковой облочки отдельного конкретного слова. Таким образом, фонемный ряд, в понимании автора, выступает как связующее звено между морфемой и фонемой.

Первый раздел сборника завершается статьей П. С. Кузнецова «Значение грамматики для сравнительно-исторического языкознания», разъясняющей значение грамматических исследований при установлении генетически сходных черт родственных языков. Автор подчеркивает особенное значение для сравнительно-исторического изучения языков данных морфологии и показывает, какую большую роль играют при анализе грамматического строя родственных языков и их исторического развития типологические исследования. Касается автор в плане своей темы и ряда смежных вопросов: соотношения между грамматическим строем и словарным составом языка, взаимодействия грамматики и фонетики,

вопроса о границе слова, проблемы устойчивости грамматического строя и закономерного характера его изменений.

Во втором разделе сборника представлены статьи, в которых освещаются различные вопросы морфологии (включая и словообразование) на материале отдельных языков: проблема частей речи, категория падежа и послелогов, категория глагольного вида, аналитические глагольные конструкции, специфика префиксации в системе словообразования.

В статье М. Н. Петерсона «О частях речи в русском языке» ставится вопрос о закономерности развития частей речи в русском языке в связи с выяснением соотношения между различными разрядами самостоятельных и несамостоятельных слов русского языка. В качестве материала для исследования автором взяты «Повести Белкина» А. С. Пушкина. Исследуемый материал подвергнут статистической обработке.

В статье «К проблеме частей речи в тюркских языках» Э. В. Севортян, учитывая различные тенденции грамматической дифференциации частей речи в отдельных тюркских языках, дает сравнительную оценку применения морфологических, синтаксических и семантических критериев при классификации частей речи тюркских языков. При учете морфологических критериев автор предлагает обратить внимание на словопроизводные формы; в качестве основного синтаксического критерия выдвигается положение части речи в словосочетании; отказываясь от лексической семантики как классификационного признака частей речи, автор считает грамматическое значение слова основным критерием при выделении частей речи.

В статье К. Е. Майтинской разъясняются типические ошибки в трактовке категории падежа, обусловленные пренебрежением к морфологической форме падежа или связанные с переоценкой последней, когда обнаруживается, наоборот, пренебрежение к грамматической функции падежа, неразграничение различных функций падежа или не учитывается различие между управляемым и свободно употребляемым падежом. Особо останавливается автор на критериях различения падежных окончаний и послелогов и на вопросе о развитии падежей в связи с переходом послелогов в падежные окончания или с отмиранием отдельных падежных форм.

Н. И. Фельдман в статье «Отыменные послелоги в современном японском языке» после обстоятельного обзора учения о японских послелогах у японских, западноевропейских и русских ученых дает оригинальную трактовку проблемы послелогов в современном японском языке и делает ряд критических замечаний о постановке проблемы послелогов в советском монголоведении и советской тюркологии.

В статье К. А. Левковской рассматривается специфика префиксации в ее взаимоотношении с суффиксацией в немецком словообразовании. На основе критического рассмотрения последних работ по немецкому словообразованию и анализа фактического материала автор возражает против приравнивания префиксации к словосложению; специфику глагольной

префиксации К. А. Левковская усматривает в ее связи с парадигматическим оформлением глагольного слова.

М. М. Гухман в статье «Глагольные аналитические конструкции как особый тип сочетаний частичного и полного слова», опираясь на строгое разграничение морфологии и синтаксиса в советском языкознании, предлагает четко различать сочетания полных слов от служебных и вспомогательных слов. После критического рассмотрения трактовки аналитических глагольных конструкций зарубежными и советскими лингвистами автор рассматривает процесс образования аналитических глагольных конструкций в истории немецкого языка, отграничивая данные конструкции как явления морфологические от составного глагольного и именного сказуемого.

А. А. Юлдашев в статье «Категория глагольного вида в башкирском языке» на материале одного из тюркских языков стремится найти положительное решение одного из самых спорных вопросов тюркологии. Черты глагольного видообразования автор усматривает в морфологизированных сочетаниях глагольных основ в форме деепричастий со служебными глаголами различных лексико-грамматических разрядов, разделяя подобные сочетания на две большие системы форм — совершенного и несовершенного вида. Совершенный и несовершенный виды в башкирском языке автор в большинстве случаев интерпретирует как лексические эквиваленты грамматических категорий, хотя и приходит к общему выводу, что в целом совершенный и несовершенный виды являются неоспоримой частью грамматической системы тюркского глагола.

Последний раздел сборника составляют статьи синтаксического характера. Раздел открывается общетеоретической статьей акад. В. В. Виноградова «Основные вопросы синтаксиса предложения», в которой автор определяет предложение как предмет синтаксиса, анализирует основные грамматические признаки предложения: предикативность и интонацию сообщения. Предикативность рассматривается автором как отнесенность высказываемого содержания к реальной действительности, находящая выражение в синтаксических категориях модальности, а также времени и лица. Автор подвергает критике попытки противопоставить понятию «предложение» понятие «фраза». Особые разделы статьи посвящены вопросам о структуре и членении предложения — сложносочиненного, сложноподчиненного и бессоюзного.

В статье В. Н. Ярцевой «Предложение и словосочетание» характеризуются эти две основные синтаксические единицы в их взаимоотношении, а также различия между компонентами словосочетания и членами предложения. Статья касается также и вопроса о переходе свободных словосочетаний во фразеологические единицы. Анализ различных типов словосочетаний дается на материале исторического синтаксиса английского языка.

Статья О. С. Ахмановой «Словосочетание» представляет собою теоретический анализ понятия словосочетания, которое автор, следуя

В. В. Виноградову, отчетливо отграничивает, с одной стороны, от сочетания слов в предложении, а с другой, от понятия синтагмы. На материале скандинавских языков автор показывает, как разграничиваются синтаксические словосочетания и предикативные конструкции, формирующиеся в составе предложения.

Последняя статья этого раздела «К вопросу о соотношении между редукцией окончаний и выдвижением синтаксических средств в английском языке» принадлежит В. В. Пассеку.

Автор возражает против широко распространенного в зарубежной германистике мнения, воспринятого и рядом советских германистов в период господства так называемого «нового учения» о языке, что звуковой утрате окончаний всегда должно предшествовать семантическое ослабление окончаний, которое, в свою очередь, является следствием выдвижения синтаксических средств выражения. Анализом большого языкового материала из истории английского языка (в сопоставлении с данными современного русского языка) автор показывает, что звуковая утрата падежных окончаний не сопровождалась их семантическим ослаблением.

Итак, как это видно из общего обзора содержания статей, в задачу сборника входит, во-первых, исследование некоторых основных вопросов грамматического строя, проводимое на материале какого-либо одного языка с тем, чтобы результаты этого исследования могли быть использованы в процессе анализа того же явления в других языках, во-вторых, разработка конкретных вопросов грамматического строя определенного языка в общем плане изучения его грамматических проблем и, в-третьих, теоретическая консультация по основным проблемам грамматики для преподавателей общего языкознания и конкретных языков в вузах.

Этот сборник Института языкознания Академии наук СССР, конечно, не претендует на полноту охвата всех основных вопросов теории грамматики. В нем отражены только первые результаты изучения вопросов грамматического строя различных языков на общих и единых методологических основах марксистского языкознания. Естественно, что, несмотря на общие методологические установки, в сборнике имеются статьи с различными точками зрения на то или иное грамматическое явление. Это объясняется разными аспектами и подходами к изучаемым фактам языка, что не противоречит, однако, основным положениям советского языкознания.

Перед языковедами Института языкознания АН СССР и всех других научных учреждений Советского Союза стоит задача дальнейшего углубленного исследования вопросов грамматического строя конкретных языков во всем многообразии проявления их внутренних закономерностей.

I

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГРАММАТИКИ

А. И. СМИРНИЦКИЙ

ЛЕКСИЧЕСКОЕ И ГРАММАТИЧЕСКОЕ В СЛОВЕ

I. Слово как основная единица языка

Не случайно человеческий язык нередко называют языком слов: ведь именно слова, в их общей совокупности, как словарный состав языка, являются тем «строительным материалом», без которого немыслим никакой язык; и именно слова изменяются и сочетаются в связной речи по законам грамматического строя данного языка [1]. Таким образом, слово выступает как необходимая единица языка и в области лексики (словарного состава), и в области грамматики (грамматического строя), и поэтому слово должно быть признано вообще основной языковой единицей: все прочие единицы языка (например, морфемы, фразеологические единицы, какие-либо грамматические построения) так или иначе обусловлены наличием слов и, следовательно, предполагают существование такой единицы, как слово.

В области словарного состава слово является той единицей, которая представляет собой отчетливо выделимый, в связи с достаточной его оформленностью, кусок строительного материала языка, как бы своего рода «кирпич», по выражению Л. В. Щербы. Морфемы выделяются лишь в результате анализа уже самого слова; словосочетания же, как правило (т. е. если оставить в стороне известные готовые сочетания — фразеологические единицы), уже выходят за пределы словарного состава языка: для них характерна принадлежность их к определенным речевым произведениям, создаваемым в процессе применения языка, а не к языку как таковому, как к применяемому средству [2].

В области грамматического строя слово является той единицей, к которой в первую очередь относятся закономерности этого строя, прилагаются грамматические правила.

---

[1] См. И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. М., Госполитиздат, 1954, стр. 23—24.

[2] Правда, также и слова могут создаваться в процессе применения языка и, не получив общественного признания, оставаться принадлежностью отдельных речевых произведений, т. е. не входить в состав языка. Но для слов это как раз не характерно.

Очень важно отметить, что конкретные предложения, т. е. предложения, состоящие из данных определенных слов и имеющие данные грамматические формы, являются уже речевыми произведениями, т. е. не составными частями или единицами языка, а продуктами его применения теми или иными людьми, в тех или иных условиях, для достижения тех или иных целей. Они принадлежат не языку (хотя и «делаются из языка»), а той сфере человеческой деятельности, в которой в каждом данном конкретном случае применен язык, и потому они, естественно, нередко имеют, в классовом обществе, определенную классовую направленность. Выдвижение марровским «новым учением» о языке, особенно И. И. Мещаниновым, предложения как важнейшей единицы языка (наряду со словом, а нередко и преимущественно перед словом) являлось одним из моментов, способствовавших утверждению псевдомарксистских, лженаучных марровских положений о надстроечном и классовом характере языка. Исходя же из марксистского учения о языке, верно отражающего объективно существующие основные черты состава и строя языка, можно утверждать, что предложению как конкретной целой единице нет места в языке: ему, понятно, нет места в словарном составе; но ему нет места и в грамматическом строе, уже потому, что здесь мы имеем абстракцию от конкретности слов. В грамматический строй языка входят не конкретные предложения, а закономерности образования предложений, и, говоря о сочетании слов, И. В. Сталин указывает также на то, что они сочетаются, соединяются в предложения. И предложения, конечно, не исключаются из поля зрения языкознания: в них изучается и словарный состав языка, и его грамматический строй. Но они изучаются не как целые единицы — произведения, во всей их конкретности, а как материал, в котором представлены различные единицы языка, в частности и законы образования предложений в отвлечении от конкретности последних [1]. Отсюда ясно, что предложение не может выдвигаться как единица, конкурирующая со словом в качестве единицы именно языка: оно вообще как целая единица не имеет места в языке, не является собственно языковой единицей.

Слово, таким образом, будучи основной единицей языка и с точки зрения словарного состава, и с точки зрения грамматического строя, представляет собой соединение лексического и грамматического моментов и имеет как лексическую, так и грамматическую стороны. Отношение между обоими этими моментами, между этими сторонами слова и есть тема данной работы.

II. Слово как единица языка с лексической и с грамматической точки зрения

Каждое слово с лексической точки зрения выступает как данная, конкретная, индивидуализированная единица, отличная от других единиц того же порядка, т. е. от других слов; так, например, в нужных случаях

[1] См. И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 23—24.

берутся именно слова: *дом*, *лошадь*, *синий*, *плакать*, *там*, а не слова: *том* и *сарай*, *конь* и *верблюд*, *синеватый* и *зеленый*, *плавать* и *рыдать* или *смеяться*, *так* и *здесь* и пр.

Слова могут изменяться, т. е. выступать в виде определенных разновидностей. Само собой понятно, что грамматическое изменение слова, т. е. существование слова в виде различных его грамматических форм, не нарушает тождества слова, так как оно лежит в иной плоскости, в области грамматического строя, а не словаря, не лексики, и не затрагивает частного и конкретного в слове. Но одно и то же слово может варьировать и в плане лексическом: возможны не разные грамматические формы, а разные (лексические) в а р и а н т ы слова; ср. *стихотворенье* / *стихотворение*, *кентавр* / *центавр*, *лиса* / *лисица*, *зеленый* (зеленого цвета) / *зеленый* (незрелый) и пр. Конечно, между вариантами одного и того же слова и особыми, разными словами возможны переходные случаи и одно из этих отношений может развиваться в другое [1]. В общем, однако, оба отношения (между вариантами одного слова и между разными словами) следует различать: в случае вариантов внешнее различие не выражает различия в значении (*кентавр* / *центавр*), а если имеется семантическое различие, то оно внешне не выражается, и притом разные значения оказываются связанными между собой (*зеленый* в разных значениях). В случае же разных слов, наоборот, внешнее различие оказывается выражающим различие в значении (*дом* — *том*, *синий* — *синеватый*), а если внешнего различия нет, то разные значения являются не связанными между собой: имеется лишь омонимия (*ключ* «родник» — *ключ* «инструмент») [2].

Слово как единицу словарного состава нельзя, однако, рассматривать т о л ь к о как некоторую конкретную, особую единицу, отличную от других аналогичных единиц. Отдельные слова, как известно, могут находиться в самом словарном составе языка в разных отношениях друг к другу (например, в отношении антонимии, синонимии — более или менее полной, в различных словообразовательных отношениях). В связи с этим могут более или менее четко выделяться различные лексические г р у п п ы и т и п ы, р а з р я д ы слов (например, имена деятеля, имена действия, слова с приставками, с удвоением корня и т. п.). Таким образом, и в области лексики имеется известное о б о б щ е н и е частных случаев. Но конкретность слова здесь все же полностью не исчезает: отвлечение от всякой конкретности слова, как указывает И. В. Сталин [3], является отличительной чертой грамматики.

Поскольку слово рассматривается с лексической точки зрения, постольку, разумеется, происходит отвлечение от различных грамматических моментов, связанных с данным словом. Так, когда мы берем слово *дом*

---

[1] Ср. В. В. В и н о г р а д о в. О формах слова. «Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.», т. III, 1944, вып. 1.

[2] Подробнее см. А. И. С м и р н и ц к и й. К вопросу о слове (проблема тождества слова). «Труды Ин-та языкознания», т. IV, 1954.

[3] См. И. С т а л и н. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 24.

именно как слово — единицу лексики, как лексему, мы отвлекаемся от того, что *дом* как таковое представляет собой собственно лишь определенную грамматическую форму данного слова, в частности — именительный падеж единственного числа (в других случаях — винительный). В качестве лексемы данное слово в одинаковой мере является данным словом в любой своей грамматической форме: с лексической точки зрения *дом=дому=домом=дома=домами* и пр., так как различия здесь только грамматические.

Вместе с тем, однако, нельзя забывать, что грамматическое оформление слова есть существенный признак слова [1]. Отвлекаясь от грамматических частностей, от отдельных грамматических форм, мы и в области лексики не можем рассматривать слово без общей его грамматической характеристики.

Слово с лексической точки зрения не есть какой-то обрубок. Слово *окно*, как лексема, как единица словаря, есть все же *окно* или, в известных случаях, *окна̂*, *окну*, *о́кна* и пр., но не *окн-:* последнее есть не слово, а только основа его, только известная его часть.

Отвлекаясь в грамматике от какой-либо конкретности отдельных слов, мы все же имеем в виду «слова вообще», т. е. не отвлекаемся от слова как определенной единицы языка, в частности единицы его лексики [2]. Подобным же образом, подходя к слову с лексической стороны, мы отвлекаемся от грамматических частностей, так сказать, от «грамматической конкретности», т. е. от отдельных грамматических фактов, но мы не можем не иметь в виду определенного «общего эффекта» той совокупности грамматических фактов, связанных со словом, которая существенна для его выделения как данного слова. Так, например, с лексической точки зрения безразлично, какие падежи имеют слова *дом*, *окно* и чем эти падежи различаются, но тот факт, что у этих слов вообще есть падежные формы, играет роль в их характеристике как существительных, а через это — и как данных конкретных слов; и, в частности, *дом* как отдельное законченное слово выступает в связи с этим иначе, чем «беспадежное» *дом-* в слове *домработница*.

Что касается слова в его отношении к грамматическому строю языка, то, как уже было отмечено выше, отвлечение от какой бы то ни было конкретности слова не означает отвлечения от слова вообще. Абстрагируясь от всего конкретного в слове, можно сказать, что с грамматической точки зрения *дому=городу=парусу* и пр. (подобно тому, как, напротив, с лексической точки зрения *дому=дом=домом* и т. д.). Но то, что падежно-числовая грамматическая форма, которую мы находим в *дому* так же,

---

[1] Ср. А. И. Смирницкий. К вопросу о слове (проблема отдельности слова). Сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию». М.—Л., 1952, стр. 201 и др.

[2] См. И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 24; грамматика «даёт правила об изменении слов, имея в виду. . . вообще слова без какой-либо конкретности».

как и в *городу* и т. п., есть форма именно слова, является фактом грамматического строя. И если, например, мы имеем дело с порядком слов, то это совсем не то же, что порядок морфем (вопреки стремлениям структуралистов различных толков «установить» одинаковые закономерности для разнородных языковых единиц) [1].

В общем получается так:

С лексической точки зрения, т. е. в сфере словарного состава языка, слово прежде всего выступает подобно той или другой конкретной арифметической величине. Здесь возможны известные обобщения, но они носят примерно такой характер, как обобщение чисел 2, 4, 6, 8, 10 в качестве четных, а чисел 7, 14, 21, 28, 35 как чисел, делящихся на 7.

С грамматической же точки зрения, т. е. в сфере грамматического строя языка, слово выступает наподобие величины алгебраической: алгебраическое a или x, не будучи никаким конкретным числом, все же представляет собой некое число, а не что-либо иное.

III. Слово как таковое, грамматическая форма и грамматическая оформленность слова

«Лексическое» значит «словарное». Таким образом, лексическое в слове есть то, что свойственно слову как единице словарного состава языка, как куску «строительного материала» языка. Это — основное, «вещественное» в слове.

Но лексическое в слове, хотя оно и является основным в нем, все же всегда соединено с грамматическим и в действительности не выступает отдельно. Реальными языковыми единицами, если отвлечься от варьирования слова и от слов неизменяемых, являются в речи такие единицы, как *дом*, *дому*, *городу*, *парусом* и пр., которые можно назвать словоформами (т. е. конкретными словами в определенных грамматических формах). Чтобы выделить в словоформах лексическое, т. е. основное для слова как единицы словарного состава языка, иначе говоря — чтобы в словоформах увидеть именно конкретные слова как таковые, а не отдельные их грамматические формы, необходимо, следовательно, отвлечься от грамматического момента в каждой словоформе, представляющей собой одно и то же слово, и произвести соответствующее обобщение подобно тому, как для выделения грамматического в слове необходимо отвлечься от конкретности слов и обобщить то, чем отдельные словоформы сближаются по линии грамматической.

Все сказанное по этому вопросу выше можно изобразить в виде такой схемы:

---

[1] См. О. С. Ахманова. О методе лингвистического анализа у американских структуралистов. «Вопросы языкознания», 1952, № 5; ее же. Глоссемантика Луи Ельмслева. . . «Вопросы языкознания», 1953, № 3.

	А	Б	В		Ж		ЛЕКСИКА
1.	*дом*	*дома*	*дому*		*дома*		} С *дом*
2.	*город*	*города*	*городу*		*города*		} С *город*
3.	*парус*	*паруса*	*парусу*		*паруса*		} С *парус*
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
	Ф	Ф	Ф		Ф		
	им. п. ед. ч.	род. п. ед. ч.	дат. п. ед. ч.		им. п. мн. ч.		

ГРАММАТИКА

Здесь отдельные словоформы расположены: по горизонтали — на основе общности лексического момента, по вертикали — на основе общности грамматического момента. Соответственно этому вправо даны слова (С) *дом*, *город*, *парус*. . . как таковые, в отвлечении от различия и особенностей отдельных грамматических форм (Ф); внизу же обозначены эти последние — в отвлечении от конкретности самих слов.

Но как обстоит дело с грамматически неизменяемыми словами, с такими, как *там*, *вчера*, *очень*, *вопреки?* Выделяется ли в них какая-либо грамматическая форма?

Само собой разумеется, что такие собственно неизменяемые слова (в отличие от слов типа *метро*, *депо*, *такси*, *бра*, где имеется в сущности омонимия ряда различных форм)[1] не имеют грамматической формы в том смысле, в каком грамматическая форма выделяется в словах типа *дом*, *город*, *идет*, *ведет* и пр. Ведь выделение грамматической формы в слове основывается именно на том, что одно и то же слово выступает в виде р а з л и ч н ы х словоформ, отличающихся друг от друга своими грамматическими значениями. Если, например, не различаются хотя бы два ряда словоформ (вроде *дом*, *город*, *парус*. . . и *домá*, *городá*, *парусá*. . .) в качестве двух разных числовых видоизменений соответствующих слов (С *дом*, С *город*, С *парус*. . .), то в данном классе слов вообще нет грамматической категории числа[2]. А если, следовательно, слова определенного класса вообще не изменяются грамматически, то в этом классе слов нет и никаких грамматических категорий, проявляющихся в противопоставляемых друг другу грамматических формах, и то или другое слово этого класса не выступает ни в какой грамматической форме. Ясно, например, что слово *там* или *вчера* не выступает ни в какой падежно-числовой (ср. существительные), или родо-падежно-числовой (ср. при-

---

[1] На то, что так называемые несклоняемые существительные являются собственно словами с омонимией форм, обратил внимание в устной беседе проф. П. С. К у з н е ц о в уже несколько лет тому назад.

[2] Так, например, у прилагательных в английском языке: *pale* не значит ни «бледный, -ая, -ое», ни «бледные», так как английским прилагательным вообще чуждо различение числа.

лагательные), или модально-видо-временно́й и лично-числовой[1] (ср. глаголы), или какой бы то ни было иной форме[2].

Но отсутствие какой-либо грамматической формы у слова совсем не означает, что данное слово является грамматически не оформленным. Грамматическая ф о р м а слова и грамматическая его о ф о р м л е н н о с т ь — не одно и то же, хотя это и связанные между собой явления.

Г р а м м а т и ч е с к и о ф о р м л е н н ы м является к а ж д о е с л о в о, хотя не всякое слово выступает в какой бы то ни было определенно грамматической форме (в том смысле, в каком грамматически изменяемые слова выступают в тех или иных формах).

Прежде всего сама грамматическая н е и з м е н я е м о с т ь слова определенным образом, и притом именно грамматически, характеризует и определяет его в отличие от слов, грамматически изменяемых. Тем самым оно оформляется, т. е. оказывается обладающим определенным строением: в нем выделяется нечто его собственное, индивидуальное, частное (*там* в отличие от *здесь*, от *вон*, от *вчера* и т. п.), и нечто, характерное для того класса или разряда слов, к которому оно принадлежит (*там, здесь, вон, вчера*. . . как слова грамматически неизменяемые — в отличие от различных классов слов грамматически изменяемых). Так, например, неизменяемость наречия *дома* грамматически отличает его, как законченное целое слово определенного класса, от изменяемого слова другого класса *дом* ∖ *дома* ∖ *дому* . . . и тем самым грамматически его оформляет. Можно сказать, что грамматическая неизменяемость слова ставит его все же в о п р е д е л е н н о е о т н о ш е н и е ко всей системе г р а м м а т и ч е с к о г о и з м е н е н и я слов в данном языке, почему грамматически неизменяемое слово соотносится с другими словами и как таковыми, и как представленными различными словоформами, что заставляет в каждом грамматически неизменяемом слове видеть и слово (С), и словоформу (СФ). Так, со словом *дом*, как целым, наречие *дома* соотносится как слово:

С *дом*, сущ. — С *до́ма*, нареч.

---

[1] Данные определения отдельных форм не претендуют на полноту.

[2] От случаев действительного отсутствия какой-либо грамматической формы в слове следует отличать случаи, когда данное конкретное слово употребляется лишь в одной форме, которая выделяется в нем вследствие его принадлежности к классу слов, имеющих те или иные различные формы. Так, правильно будет сказать, что слово *зги* во фразеологической единице *ни зги* имеет форму родительного падежа единственного числа, хотя оно и не известно ни в каких других видоизменениях. Это обосновывается тем, что по своей грамматической (и фразеологической) сочетаемости слово *зги* относится к классу слов-существительных, у которых вообще имеются падежно-числовые формы (ср. *ни черта, ни капли* и пр. — *чёрт, -а, -у. . .; капля, -и, -е. . .*), и тем, что своим конечным *-и* оно вполне согласуется с соответствующей грамматической формой определенного типа таких слов (ср. род. п. ед. ч. *капли, дороги, дуги* и пр.).

Но то же наречие соотносится и с отдельными словоформами существительного *дом*, и тогда оно само выступает как словоформа:

СФ *дом*, СФ *дóма*, СФ *дому*... — СФ *дóма*, нареч.

Но тогда как слово *дом* представляет собой единство различных словоформ:

$$\text{С } \textit{дом} = \left\{ \begin{array}{l} \text{СФ } \textit{дом} \\ \cdots\cdots \\ \cdots\cdots \\ \text{СФ } \textit{домах} \end{array} \right\},$$

слово *дóма* (наречие) и наречная словоформа *дома* просто совпадают друг с другом:

С *дома*, нареч. = СФ *дома*, нареч.; или:
СФ *дома*, нареч. = С *дома*, нареч.

Если бы, исходя из этого равенства, мы попытались выделить грамматическую форму наречия *дома* как таковую (Ф *дома*, нареч.), то, по общему правилу, мы должны были бы отвлечься от конкретности данного слова как такового, т. е. от С *дома*, нареч. Такое отвлечение естественно изображается делением (на С *дома*, нареч.); тогда получим:

$$\frac{\text{СФ } \textit{дома}, \text{ нареч.}}{\text{С } \textit{дома}, \text{ нареч.}} = \frac{\text{С } \textit{дома}, \text{ нареч.}}{\text{С } \textit{дома}, \text{ нареч.}};$$

$$\text{Ф } (\textit{дома}, \text{ нареч.})^{1} = 1$$

Это отчетливо символизирует отсутствие здесь какой-либо определенной грамматической формы: единица таковой не является. Но вместе с тем этой единицей символизируется известная оформленность слова: хотя никакой определенной грамматической формы здесь и не выделяется, все же при попытке выделить такую форму, т. е. при подходе с точки зрения грамматической формы, существенным оказывается то, что грамматически неизменяемое слово выступает как определенная целая величина [2].

---

[1] В скобках указывается та словоформа, из которой извлекается грамматическая форма.

[2] Не лишне заметить, что в случае слова v, имеющего n различных грамматических форм, т. е. если $\text{С}v = \left\{ \begin{array}{c} \text{СФ}_1 v \\ \cdots \\ \text{СФ}_n v \end{array} \right\}$, в качестве такой целой величины, в виде единицы, выступает вся система форм, представленная данным словом:

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{СФ}_1 v \\ \cdots \\ \text{СФ}_n v \end{array} \right\} = \text{С}v \left\{ \begin{array}{c} \text{Ф}_1(v) \\ \cdots \\ \text{Ф}_n(v) \end{array} \right\};$$

следовательно:

$$\text{С}v = \text{С}v \left\{ \begin{array}{c} \text{Ф}_1(v) \\ \cdots \\ \text{Ф}_n(v) \end{array} \right\},$$

Грамматическая оформленность слова определяется, однако, не только его грамматическим изменением (его системой грамматических форм) или его неизменяемостью (противопоставленной изменению других слов в грамматическом плане), но и его грамматической сочетаемостью с другими словами, со словами определенных классов и разрядов.

Грамматические закономерности, грамматические правила сочетания слов, будучи различными по отношению к разным классам и разрядам слов, характеризуют эти классы и разряды как грамматически разные и, следовательно, каждому слову того или другого класса или разряда дают определенную грамматическую характеристику, отличную от грамматической характеристики любого слова другого класса или разряда. И вот такие грамматические закономерности или правила сочетания слов, поскольку они характеризуют какое-либо слово, выступают как грамматическая сочетаемость данного слова. Так, мы можем сказать, что, например, слова *вопреки* и *хаки*, хотя они оба и одинаково неизменяемы, все же различаются не только как конкретные слова, в области лексики, но и грамматически: своею грамматической сочетаемостью (ср. *поступить вопреки распоряжению — рубашка цвета хаки*). Но грамматическая сочетаемость слова, если можно так выразиться, «проникает» в само слово лишь с внутренней его стороны, со стороны значения: она выделяет в совокупном суммарном значении слова более общее, более отвлеченное значение соответствующего класса или разряда слов, которое как бы охватывает конкретное, индивидуальное значение именно данного слова. Так, определенная грамматическая сочетаемость слова *вопреки* характеризует его как предлог [1], т. е. выделяет в его совокупном значении общее значение предлога (значение «отношения предмета к предмету, явлению, ситуации»), существующее в соеди-

---

откуда:

$$\left\{\begin{matrix}\Phi_1(v)\\ \cdot\ \cdot\ \cdot\\ \Phi_n(v)\end{matrix}\right\}=1,$$

т. е. как грамматически неизменяемое слово оформляется самою своею неизменяемостью, так грамматически изменяемое слово оформляется всей системой своих форм в качестве определенной целой величины — единицы. Некоторая же форма $\Phi_i(v)$ определится как:

$$\Phi_i(v)=\frac{Cv}{Cv\left\{\begin{matrix}\Phi_1(v)\\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \text{ex. }\Phi_i(v)\\ \Phi_n(v)\end{matrix}\right\}}=\frac{1}{\left\{\begin{matrix}\Phi_1(v)\\ \cdot\ \cdot\ \cdot\ \text{ex. }\Phi_i(v)\\ \Phi_n(v)\end{matrix}\right\}},$$

т. е. как слово (Cv) в отвлечении от конкретности этого слова и от всего единства представляемых им форм за исключением (ex.) самой формы $\Phi_i(v)$, т. е. как величина, обратная единству всех прочих (кроме данной) форм, в которых выступает это слово.

[1] Это не должно, однако, пониматься так, что оно характеризуется как предлог только определенной его сочетаемостью.

нении с его специальным значением, которым это слово-предлог отличается от других предлогов: *по*, *согласно*, *с* и т. п. Но что касается внешней, звуковой стороны слова, то здесь грамматическая сочетаемость слова оказывается как бы находящейся «за пределами» самого слова: внешне она проявляется и наблюдается только при соединении данного слова с другим, т. е. при наличии некоторой единицы вне данного слова. Таким образом, грамматическая сочетаемость слова является грамматическим моментом «в слове» только в семантическом плане.

Подводя итог сказанному выше относительно грамматической оформленности слова, можно констатировать следующее.

Хотя не всякое слово обязательно выступает в какой-либо определенной грамматической форме, но всякое слово является грамматически оформленным:

а) своим определенным отношением к системе грамматического изменения слов (по этому признаку различаются слова изменяемые и (собственно) неизменяемые, а первые — по различным системам форм);

б) своей определенной грамматической сочетаемостью.

IV. Сущность грамматического в слове; отличие грамматического изменения слова от (лексического) его варьирования и от словопроизводства

Уже упомянутое раньше варьирование слова и словопроизводство являются таким осложнением взаимоотношения между лексическим и грамматическим в слове, которое требует дальнейшего определения сущности различия между обоими этими моментами и, в частности, сущности именно грамматического момента, так как то, что́ в слове не выделяется как грамматическое, естественно оказывается лексическим: ведь в основе своей слово есть образование лексическое.

Определяя грамматику как собрание правил об изменении слов и сочетании слов в предложения [1], И. В. Сталин тем самым объединяет явления изменения слов (формообразование) и сочетания слов как явления грамматического строя языка. Эти явления, столь различные по внешности, объединяются, очевидно, потому, что они имеют нечто общее по самому своему с у щ е с т в у. В чем же состоит это существенно общее?

Здесь можно, повидимому, выделить д в а основных признака:

1) Грамматические явления, — как относящиеся к изменению, так и относящиеся к сочетанию слов в предложения, — объединяются тем, что ими обусловливается с в я з н о с т ь р е ч и, образование, в процессе пользования языком, целых речевых п р о и з в е д е н и й: отдельных предложений, более сложных высказываний, повествований, рассуждений и пр. Связность же речи и образование в ней осмысленных, более или менее законченных и сложных произведений из словарного «строи-

---

[1] См. И. С т а л и н. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 23.

тельного материала» определяются тем, что в речи выражаются мысли не только о предметах, явлениях и их свойствах в отдельности, но и мысли об о т н о ш е н и я х, в которых выступают соответствующие предметы, явления и свойства в тех или других случаях. Следовательно, грамматические единицы языка, явления его грамматического строя выражают мысли именно о таких отношениях и тем самым обозначают такие отношения.

2) Грамматические явления, — как явления изменения слов, так и явления их сочетания в предложения, — представляют собой нечто, относящееся к словам и в чем участвуют слова, но н е с а м и с л о в а как таковые. Следовательно, общим для грамматических явлений оказывается и то, что о т н о ш е н и я, обозначаемые через них, обозначаются не самими словами, а какими-либо д о п о л н и т е л ь н ы м и к словам средствами, каковыми и являются, в частности, изменение слов и сочетание слов.

Таким образом, в определении грамматической единицы языка, т. е. отдельного грамматического явления, должны учитываться и в н у т р е н н я я сторона — значение о т н о ш е н и я, — и сторона в н е ш н я я — выражение этого значения не самими словами как таковыми. Тем самым явления грамматического строя будут определены лингвистически как действительно единицы языка, единицы д в у с т о р о н н и е, соединяющие в себе определенное значение, в качестве внутренней стороны, с определенным материальным выражением, являющимся стороной внешней.

Невнимание к той или другой из двух сторон грамматических явлений приводит к смешению существенно различных фактов, к искаженному, противоречивому и запутанному изображению того, что имеется в действительности.

До сих пор широко распространено, как у нас, так и за рубежом, определение грамматического момента исключительно или преимущественно со стороны внутренней, что является злоупотреблением семантикой, ведущим, как указывает И. В. Сталин, к идеализму. Так, исходя из такого одностороннего определения, нередко объявляют предлоги целиком грамматическими единицами, поскольку они «выражают» (т. е. обозначают) отношения. При этом либо утверждается, что у предлогов (по крайней мере, у некоторых) нет лексического значения или что само лексическое значение является у них грамматическим (что уже совсем делает неясным существо различия между лексикой и грамматическим строем). Между тем, если серьезно вдуматься в существо дела, надо признать невозможным отсутствие у предлогов лексического значения, поскольку предлоги являются все же конкретными словами (так как значение, выражаемое конкретным словом, есть значение именно д а н н о г о слова, значение словарное, т. е. лексическое). Отрицание у предлогов лексического значения есть, если быть последовательным, отрицание того, что предлоги являются словами. Но тогда нужно прямо признать их морфемами, что, однако,

приведет к пренебрежению существенным различием между грамматическим аффиксом, оформляющим слово как таковое (в данной его форме), и предлогом, без которого слово все же является оформленным как слово: ведь, например, *окн-* без *-а* родительного падежа единственного числа или без *-у* дательного падежа и т. д. вообще не есть слово, тогда как *окна́* в сочетании *у окна* или *окну* в сочетании *к окну* представляет собой оформленное слово и без предлогов *у*, *к* (не говоря уже о том, что последние легко отделяются в речи: ср. *у широко открытого, выходящего на южную сторону окна; к высоко над землей расположенному небольшому окну*). Пренебрежение таким различием есть не что иное, как пренебрежение языковой материей, подмена лингвистического анализа логическим, идеалистическая трактовка языковых явлений.

Пренебрежение материальной, внешней стороной грамматических явлений делает рассуждения по поводу различия между лексической и грамматической абстракцией схоластическими и бесплодными. Конечно, в значении слова *дом* мы имеем абстракцию иного характера, чем в значении дательного падежа. Но и значение слова *субстанция* отличается по характеру абстракции от значения слова *дом*, и чтобы понять все эти различия в том виде, как они реально представлены языком, необходимо учитывать и то, как и чем они выражаются. Между характером значения (и соответствующей абстракцией) и способом его выражения есть известная связь. Так, значение «дом» всегда имеет именно слово для своего выражения. Но связь между характером значения и способом его выражения не является, так сказать, «жесткой», причем возможность сдвига состоит именно в том, что значения отношения могут получать выражение словами. Но значения вещественные вряд ли когда-либо находят несловарное выражение. Очень важной характерной чертой каждого языка является именно то, какие значения отношений выражаются в нем конкретными словами как таковыми, а какие — несловарными средствами. Это представляет первостепенный интерес с точки зрения языкознания (а не логики), тем более что сам способ выражения наталкивает на различное осмысление факта: хотя $a \times b$ то же самое, что ab, но в первом выражении «умножение» выделяется как «действие», во втором же внимание от «действия» отвлекается и весь факт освещается как некоторая готовая величина, состоящая из множителей. Переводя этот пример на «лингвистический язык», можно было бы сказать, что в случае выражения $a \times b$ «отношение» между a и b выделяется уже и как некоторое «явление», тогда как собственно в виде отношения представлены «отношение между a и умножением» и «отношение между умножением и b»; напротив, в случае ab само «умножение» представлено только как отношение.

Недооценка внутренней, смысловой стороны при определении специфики грамматических явлений большею частью выражается в том, что и значения словообразовательных аффиксов, и значения грамматические рассматриваются как «оттенки» основного корневого значения, как вносимые

в него «видоизменения». Тем самым словопроизводство (а значит, и вообще словообразование) смешивается с грамматическим строем, и существенное различие между основными ингредиентами языка, его словарным составом и грамматическим строем, оказывается четко не выделенным. А вместе с этим и слово, как основная единица языка, не получает правильного освещения: ведь если различие между двумя грамматическими формами того же слова (*дом, дóма, дому. . .*) и двумя разными словами (*дом/дома/дому. . .* — наречие *дома*) есть различие только между разными «оттенками», то слово, как единство отдельных его форм, и словопроизводственное гнездо оказываются не столь принципиально различными и слово как особая единица теряется в массе различных образований.

В связи с этим необходимо со всей определенностью подчеркнуть, что грамматические формы не выражают никаких «оттенков» основного значения, так как они обозначают различные отношения, мыслимые именно как таковые, а не как признаки предмета или явления. Так, между *поет* и *пел* нет никакого различия в «оттенках» лексического значения: лексически, по вещественному значению обе единицы совершенно равны, но в одной из них обозначено такое отношение ко времени, при котором время означенного действия включает в себя и настоящий момент, тогда как в другой — такое отношение, при котором время того же самого действия оказывается предшествующим настоящему. Тем самым наличие какой бы то ни было разницы действительно в «оттенках» основного значения есть признак того, что мы имеем дело с лексическим различием: или с различием вариантов того же слова (ср. *зима* «время с декабря по март» и зима «холодное время, когда бывает снег»; «Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе. . .» — Пушкин), или с различием отдельных слов (ср. *стол — столик: рабочий, письменный, операционный стол — столик в ресторане, в кафе; зеленый — зеленоватый* [1]).

При этом надо заметить, что, хотя в своей основе разграничение вещи и отношения определяется тем, чтó имеется в самой действительности, все же в языковом обозначении действительности возможны известные сдвиги в ту или иную сторону: ведь вещи и отношения не существуют раздельно, но вещи даны с их отношениями, а отношения являются всегда отношениями вещей, так что известное отношение может в большей или меньшей мере выступать и как признак самой вещи, а известный признак вещи может иметь и характер отношения. Поэтому для суждения о том, имеем ли мы дело с грамматическим или лексическим различием, нельзя исходить из абстрактного анализа данного явления, но следует анализировать это явление с учетом того его анализа, уже сделанного предыдущими поколениями, который отображен в языковой структуре. Так, например, нельзя решать, исходя из общих рассуждений без рассмотрения соответ-

---

[1] Что касается стилистических (экспрессивных, эмоциональных) «оттенков», то они вообще не дифференцируют слов: *молодой* и *младой* — варианты одного слова (см. А. И. Смирницкий. К вопросу о слове (проблема тождества слова).

ствующих языковых фактов в их системе, являются ли единицы *супруг* м. р. и *супруга* ж. р. разными словами или только формами одного слова [1]. Рассуждая абстрактно-теоретически, можно допустить и то и другое.

В самом деле: с одной стороны, супруг и супруга являются реально разными лицами, различными «предметами», и различие между соответствующими языковыми единицами должно быть, следовательно, лексическим, т. е. различием между двумя особыми словами; но, с другой стороны, ведь оба они «супруги», т. е. и тот и другая являются лицом, состоящим в браке, но только в одном случае лицо, состоящее в браке, «относится» к мужскому полу, в другом — к женскому; следовательно, при такой интерпретации, имеется тот же «предмет» (лицо, состоящее в браке), но различные отношения (к мужскому полу, к женскому полу), и соответствующие образования должны будут определяться как грамматические формы одного слова.

Если же учесть реальные соотношения в русском языке, то будет ясно, что мы имеем здесь различие лексическое:

1) *Супруг* и *супруга* — имена существительные, а существительные в целом, как класс, имеют фиксированный род; ср. особенно такие слова, как *инженер*, *доцент*, *шофер*, которые, несмотря на свой мужской род, применяются и к женщинам; и такие, как *лошадь*, *собака*, *рысь* и пр., обозначающие животных и того и другого пола, хотя сами они — только женского рода. Следовательно, даже тогда, когда имеется различие пола, нередко применяются существительные, не указывающие на принадлежность лица или животного к тому или другому полу посредством соответствующего грамматического рода.

2) Такие пары обозначений, в которых единица, обозначающая лицо или животное женского пола, имеет совсем не тот корень, какой применяется для обозначения соответствующего существа мужского пола, являются далеко не единичными; ср. *невеста — жених*, *жена — муж*, *мать — отец*, *тетя — дядя*, *дочь — сын*, *сноха — зять*, *сестра — брат*, *девочка— мальчик*, *девушка — юноша*, *женщина — мужчина*. . .; *утка — селезень*, *курица — петух*, *овца — баран*, *корова — бык* и пр. Правда, мы встречаемся в области грамматического строя с так называемой супплетивностью (*он — его — ему*. . .; *иду — шел*), но ведь существование супплетивных образований возможно лишь постольку, поскольку они представляют собой отдельные вкрапления в соответствующую систему изменений (в систему склонения, в систему спряжения и пр.), причем каждая такая система должна быть достаточно устойчивой, четкой и последовательной.

3) Соотношения между соответствующими друг другу единицами мужского и женского родов не являются достаточно регулярными и последовательными: здесь много частных, специальных особенностей.

---

[1] Ср. В. В. Виноградов. О формах слова. «Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.», т. III, 1944, вып. 1, стр. 36.

Акад. В. В. Виноградов обратил внимание на существование трех разных типов парных соотносительных образований, обозначающих лиц (1. *муж — жена* при *супруг — супруга;* 2. *учитель — учительница; колхозник — колхозница;* 3. *причудник — причудница; озорник — озорница*)[1]. Но в целом во всей этой области обнаруживается еще большее разнообразие: ср. *супруг* и *супруга*, вместе — *супруги*, причем *супруги* служит и как наименование, объединяющее *муж* и *жена*, но для пары *жених* и *невеста* нет естественного и простого объединяющего образования; *преподаватель — преподавательница* как будто соотносятся так же, как *колхозник — колхозница*, но часто говорят «она преподаватель» и обычно «она колхозница», а не «она колхозник»; *селезень* и *утка* вместе будут *утки*, так же как *козел* и *коза — козы*, но *гусак* и *гусыня* будут вместе *гуси* (не *гусаки* и не *гусыни*), так как *гусь* — это и *гусак* и *гусыня* (а фактически большею частью обозначает именно последнюю, несмотря на принадлежность к мужскому роду в русском языке); а *лев* и *львица — львы*, но *львы* — это *большие дикие кошки* (а не *коты!*), и *кот* и *кошка* вместе — скорее *кошки*, чем *коты*. . . Здесь отмечены только некоторые частности, но и они достаточно показывают пестроту соотношений, характерную более для лексики, чем для грамматического строя.

Таким образом, в совокупности языковые факты достаточно характеризуют соотношение *супруг — супруга* как словообразовательное, следовательно лексическое, а не как грамматическое.

Однако необходимо подчеркнуть, что соотношения, существующие в языке, ни в коем случае не должны фетишизироваться. Надо всегда помнить, что различные языковые единицы, определенным образом соотносясь друг с другом в системе языка, вместе с тем находятся, на каждом данном этапе развития языка, в известных (и очень сложных) отношениях к различным фактам действительности.

Правда, язык помогает нам в ы д е л и т ь, например, с помощью слова *белый /-ая/-ое*. . ., цвет чистого снега, сахара, молока как один из признаков этих веществ, о т в л е ч ь с я от незначительных различий в оттенках и обнаружить подобный же признак в облаках, в перьях лебедя, чайки, в писчей бумаге и во множестве других предметов как о б щ и й им всем, т. е. сделать соответствующее о б о б щ е н и е. Но все же мы узнаем, к а к о в белый цвет, путем непосредственного восприятия соответствующих предметов органом зрения, и для слепого слово *белый* останется лишенным его подлинного смыслового наполнения, хотя он и будет знать, что это слово соединяется со словами *снег, сахар* и др. и что оно отлично не только по звучанию, но и по значению от слова *черный*. Далее, применение слова *белый* к вину, хлебу, шахматам, коже человека, мясу птицы н а т а л к и в а е т на то, чтобы и в цвете этих предметов находить нечто общее с обычным цветом снега и пр., но реальное отличие цвета каждого из этих предметов от обычного цвета

---

[1] В. В. В и н о г р а д о в. Русский язык, М.—Л. Учпедгиз, 1947, стр. 36.

снега и пр. оказывается настолько существенным, что мы в этих случаях уже по-иному понимаем значение слова *белый:* отношение этого слова к самой действительности (т. е. отнесение его к тем или другим реальным физическим предметам) заставляет нас отличать в его семантике значение «светлый (сравнительно с другим или другими)» от значения «собственно белый». Так, белое вино является «белым», т. е. «светлым» сравнительно с более темным красным; белый хлеб — «белым, светлым» сравнительно с коричневым, так называемым черным хлебом и т. д. [1]

Могут возразить, что значение «светлый» у слова *белый* определяется его соединением со словами *вино, хлеб* и пр. и противопоставлением в соответствующих случаях словам *красный, черный* и др., т. е. известными связями и соотношениями в языке. На это нужно заметить: конечно, такие связи и соотношения очень важны с лингвистической точки зрения и, как уже говорилось, их нужно учитывать; но все же нельзя забывать того, что отличие значения слова *белый* в сочетаниях *белое вино, белый хлеб* и пр. от его обычного, «основного» значения («белый, как снег» и пр.) обусловлено реальным отличием цвета вина, хлеба и пр. от цвета снега и т. п. и знанием самих соответствующих предметов действительности. Без учета отношения языковых единиц к фактам действительности анализ семантики слов и словоформ, в частности отделение в них лексического момента от грамматического, будет идеалистическим, а без учета внутриязыковых соотношений такой анализ будет нелингвистическим, что в конце концов также приведет к идеализму, поскольку мышление окажется оторванным от его языковой «природной материи» [2].

Учитывая оба указанных момента — внутриязыковые соотношения и отношения между языковыми единицами и фактами действительности,— следует также иметь в виду, что оба эти момента находятся в известной внутренней связи друг с другом. Поэтому, хотя семантическая характеристика той или другой языковой единицы с точки зрения ее соотношения с другими единицами языка может расходиться с тем, как она семантически определяется ее отношением к действительности (с точки зрения современного уровня знания), все же в общем это расхождение оказывается ограниченным и относительным. «Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека. . .» [3] и, указывает И. В. Сталин далее,

---

[1] Нельзя считать, что слово *белый* в сочетаниях *белое вино, белый хлеб, белая пешка, белый человек, белое мясо* (у курицы и т. п.) не выделяется, как слово со своим особым значением: ср. «Это какое вино: белое или красное?» — «Что это за белый хлеб: он больше похож на пеклеванный!» — «Черные фигуры в этих шахматах такие светлые, что при плохом освещении можно черную пешку принять за белую» и т. п.

[2] См. И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 38—39.

[3] Там же, стр. 22.

«Грамматика есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления» [1]. Поскольку язык, вместе с тем, существует и развивается на протяжении ряда эпох, в нем оказываются зарегистрированными и закрепленными и известные уже устаревшие результаты работы мышления и познания, сохраняемые лишь постольку, поскольку они так или иначе приспосабливаются к более поздним, более полным достижениям. Так, например, глагол *видеть* в русском языке (как и подобные по значению глаголы в очень большом числе языков) с точки зрения внутриязыковых соотношений (принадлежность к разряду прямопереходных глаголов) изображает ви́дение как процесс, исходящий от видящего и воздействующий на видимое, тогда как в действительности видимый предмет воздействует на орган зрения и через него на мозг видящего. Это противоречие, основанное на сохранении ранее зарегистрированного и уже устаревшего результата мыслительной работы, не устраняется полностью, так как данное изображение направления процесса может пониматься как условное, образное, и тем самым делается возможным сохранение переходности у глагола *видеть* при новом понимании самого процесса ви́дения (ср. изображение Нового года в виде мальчика, которое не значит, что кто-либо действительно думает о прибытии такого мальчика в ночь на 1 января).

Возвращаясь к старому примеру со словами вроде *супруг — супруга* и пр., следует сказать, что рассмотренные языковые соотношения в этом случае в общем согласуются с отношением соответствующих единиц к действительным фактам: словами *супруг* и *супруга* и пр. обозначаются реально разные индивиды, разные «предметы» в широком смысле этого слова. Однако это предметное различие в разных случаях не одинаково существенно. Так, оно является менее важным, когда идет речь о профессии, чем когда имеются в виду семейные отношения: ср. *преподаватель — преподавательница* и *супруг — супруга, муж — жена.* При этом иное реальное значение данного различия находит отражение и в языковых соотношениях (возможно: «она опытный преподаватель», но невозможно: «она любящий супруг»; ср. также преобладание разнокорневых образований вроде *муж — жена, брат — сестра* именно за пределами слов, относящихся к общественной жизни). Многое здесь зависит от конкретных, исторически сложившихся реальных отношений в обществе (ср. исчезновение выражения *женщина-врач*, еще очень обычного до революции, и применение слова *врач* и к лицам женского пола, в связи с тем, что врачи-женщины перестали представлять собой исключительное явление).

Все же во всех рассмотренных случаях мы имеем несомненное различие слов, а не грамматических форм, и самая возможность таких сочетаний, как «она опытный преподаватель» [2], свидетельствует о

---

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 24.

[2] Здесь, в частности, вероятно влияние такого семантически близкого слова, как *педагог*, которое вообще относится к лицам обоего пола.

словарном различии между *преподаватель* и *преподавательница*, так как различие грамматического характера предполагало бы согласование в роде (как у прилагательных).

Максимальный сдвиг в сторону грамматичности (еще больший, чем в типе *причудник — причудница*, выделенном акад. В. В. Виноградовым) наблюдается в случаях типа *больной — больная* («этот новый больной», «та же больная, что приходила вчера»), т. е. когда данные существительные образованы субстантивацией качественного прилагательного (или причастия: ср. *учащийся — учащаяся*) в формах мужского и женского родов (в отличие от таких случаев, как *ученый*, где использована форма только мужского рода: «она выдающийся ученый»); ср. также *русский — русская*. В таких случаях можно было бы как будто предположить тождество слова в парных образованиях мужского и женского родов, т. е. грамматическое изменение существительного по родам. Однако давление всей системы соотношений, характерных для существительных, и то обстоятельство, что принадлежность к тому или другому полу вообще есть реальный признак, делают и те существительные, которые образованы из прилагательных путем субстантивации, неизменяемыми по родам, но принадлежащими к тому или другому роду и, следовательно, лексически обозначающими принадлежность лица к определенному полу.

Как видно из примеров, отвлечение от принадлежности к тому или другому полу, т. е. обозначение лица по тем или иным признакам независимо от пола, совершается не путем превращения родовых различий существительных в различия только грамматические, в различия форм слова, а путем расширения значения у соответствующих существительных мужского рода, т. е. устранением (иногда лишь факультативным) момента принадлежности к определенному полу из значения существительного мужского рода («она преподаватель, она ученый» и пр.).

Если рассмотренные соотношения в системе существительных могут наводить на мысль о грамматической изменяемости известных типов существительных по родам и лишь всесторонний анализ этих соотношений с учетом отношения к действительности заставляет признать такую мысль ошибочной, то в соотношениях между парными числовыми субстантивными образованиями (*конь — кони*, *нож — ножи*, *звезда — звезды*) можно предположить, наоборот, словарное различие, причем для подтверждения или опровержения этого предположения также потребуется подобный анализ.

Примитивный анализ числовых соотношений в области существительных как будто приводит к тому, что парные образования одного и другого числа являются здесь разными словами по отношению друг к другу: ведь (один) *конь* обозначает реальное отличие от того, что обозначается образованием *кони* (может быть, целый табун!); разве здесь различие только в отношении?

Однако «языковое чутье», «чувство языка» подсказывает нам другое: *конь* и *кони* — одно слово и так же *звезда — звезды* и пр. Но «чувство языка» как таковое вообще не научный критерий: оно само требует объяснения на основе конкретных объективных данных и общетеоретических положений. Все же оно может служить симптомом того, что дело обстоит не так, как представляется при недостаточно углубленном рассмотрении.

1) Приглядевшись внимательно к такому соотношению, как *конь* — *кони*, можно заметить, что и образование *кони* тоже ведь обозначает сплошь и рядом не одинаковый «предмет» даже с чисто количественной точки зрения: это может быть и пара коней, и сотня, и тысячи. Если подходить с этой точки зрения, то можно сказать, что между *конь* и *кони*, когда последнее обозначает только двух коней, различие меньше, чем между *кони* при обозначении двух коней и *кони* при обозначении тысячи. Но ясно вместе с тем, что образование *кони* обозначает пару, тройку, целый табун коней и т. п. в зависимости от обстоятельств речи; в языке же это образование вообще выступает как обозначение определенного рода животных, независимо от числа, но лишь при условии, что этот род представлен не одним экземпляром.

2) Образование *конь*, взятое как единица языка, также прежде всего служит обозначением определенного рода животных и притом также независимо от числа, но только без ограничительного условия: оно может обозначать этот род животных и тогда, когда он представлен лишь одним экземпляром. В самом деле *конь* может означать «один конь» («Конь под ним был убит»), но это же образование может обозначать и любое число и весь данный род животных: «И путь по нем широкий шел: И конь скакал, и влекся вол, И своего верблюда вел Степной купец . . .»[1] (Пушкин. «Обвал»); «Конь — благородное животное». Таким образом, различие между единственным и множественным числом сводится, повидимому, лишь к тому, включается ли число «один» в то неопределенное число предметов данного рода, которое обозначается соответствующими словами, или нет.

Но почему это включение или невключение числа «один» оказывается таким важным, что наличие соответствующих парных образований является характерной чертой системы существительных? Дело обстоит здесь несколько сложнее, чем может показаться.

В общем представляется безразличным, сказать ли «Конь — благородное животное» или «Кони — благородные животные», «Нож — орудие для резания» или «Ножи — орудия для резания», «Русский глагол изменяется по видам» или «Русские глаголы изменяются по видам» и пр. Однако замечается и некоторая разница между эквивалентными выражениями. Ясно, что в обоих эквивалентных выражениях (т. е. в пределах

[1] Здесь и другие существительные, следующие за словом *конь*, относятся к неопределенному числу предметов.

одной пары) обозначается совершенно тот же самый класс предметов: определенный род животных, определенный род орудий, определенный разряд слов и пр. Но в одних выражениях такой класс рассматривается как представляющий собой определенный т и п предметов, в другом же — именно как с о в о к у п н о с т ь предметов, имеющих известные общие признаки. Понятно, что данный класс как т и п может быть представлен и о д н и м предметом этого класса, тогда как о с о в о к у п н о с т и можно говорить лишь при наличии б о л е е чем одного предмета; отсюда и собственно количественный момент в значении языковых единиц, различающихся по категории числа. В общем же получается, что и при значении единственного, и при значении множественного числа слово как единица я з ы к а по существу может обозначать тот же предмет, собственно — определенный класс предметов; числовое же различие как таковое оказывается обозначением различия лишь в о т н о ш е н и и между этим классом в целом и единичными его представителями: в случае единственного числа данный класс обозначается как представленный в л ю б о м о т д е л ь н о м, относящемся к нему единичном предмете (класс «конь» представлен любым единичным конем); в случае же множественного числа тот же класс обозначается как в равной мере представленный р а з н ы м и е д и н и ч н ы м и предметами (класс «конь» представлен в равной мере и этим конем, и тем, и т. д.). Поэтому единственное число может служить, через обозначение данного класса как такового, также и для обозначения любого единичного предмета, которым этот класс представлен, а множественное число, также через обозначение данного класса как такового, — и для обозначения любого количества единичных предметов этого класса, за исключением одного, отдельно взятого его представителя.

Таким образом, более углубленный анализ показывает, что различие числа у существительных является различием грамматическим, и непосредственное «чувство языка» находит свое объяснение в реальных языковых соотношениях.

Однако количество отдельных предметов в известных случаях может придавать их совокупности некоторое особое качество и характеризовать эту совокупность. Так, можно заметить, что, например, множественное число *крылья* часто выступает со значением «два (оба) крыла», т. е. обозначает не класс «крыло», представленный совокупностью соответствующих единичных предметов, а парный орган летания, выделяемый как особый класс — «крылья». В этом и других подобных случаях такая «лексикализация» форм множественного числа является временной, неустойчивой. Но, как известно, бывают и случаи более полного, устойчивого лексического обособления форм множественного числа в определенном значении — при сохранении чисто грамматических отношений в других значениях: ср. *ноты* при *нота/ноты; часы* при *час/часы; лесá* (на стройке) при *лес/лесá;* также с отсутствием нелексикализованных форм множественного числа: *бегá* при *бег/*—.

В последнем случае числовое различие имеет несомненно словообразовательный характер: *бегá* и *бег* — два разных слова. Но и в других случаях, т. е. когда при словоформах единственного числа имеются и соответствующие словоформы множественного числа с тем же лексическим значением (*ноты* «музыкальные звуки, их знаки», при *нота* «музыкальный звук, его знак»), особое, специальное лексическое значение у словоформ множественного числа, неизвестное в единственном числе (*ноты* «запись музыкального произведения»), может расщеплять каждую словоформу множественного числа на два омонима, вследствие чего получается и два слова, являющихся частично омонимами; например: *нота/ноты* и *ноты*. Наличие здесь омонимии (а не многозначности) определяется не тем, что смысловая связь между разными лексическими значениями утрачивается: эта связь может оставаться; но различия в семантическом характере самих ф о р м множественности и соединенность определенных лексических значений с оформлением в виде pluralis tantum создают тот внутренний разрыв при одинаковости внешней оболочки, который характерен для омонимии.

Итак, рассмотренные случаи соотношений между парными языковыми единицами, обозначающими лиц и животных разного пола, и соотношений между парными субстантивными словоформами, различающимися по категории числа, показывают, что лексические (в частности — словообразовательные) и грамматические соотношения могут сближаться, но и при значительном сближении грань между ними все же может сохраняться.

Далее, как можно видеть из рассмотренных примеров, отношения, обозначаемые грамматическими единицами языка, не всегда являются совершенно очевидными, простыми, с первого же взгляда определяемыми как таковые. Вообще это могут быть самые разнообразные отношения: отношения предмета к предмету, процессу, явлению (обозначаемые через падежи), отношения мыслимого в данном случае явления и пр. к действительности вообще (обозначаемые через наклонения), отношения ко времени и пр. Особенно важно еще раз подчеркнуть, что речь идет не об отношениях между словами, а об отношениях действительности или к действительности (или, по меньшей мере, о таких, которые хотя бы мыслились в этом плане). Так называемые отношения между словами в речи, в предложении, с одной стороны, вообще существуют лишь на основе реальных (или мыслимых как реальные) отношений, с другой же стороны — лишь изображают эти последние.

В самом деле: если мы говорим, что в словосочетании *белое платье* слово *белое* относится к слову *платье* как определение к определяемому и что согласование в роде, числе и падеже «выражает» здесь это отношение, то мы лишь неточно выражаем ту мысль, что грамматические единицы, имеющиеся в этом словосочетании, обозначают наличие признака, обозначаемого словом *белый/-ая/-ое*, у предмета, обозначенного как *платье*, в самой д е й с т в и т е л ь н о с т и. Единицы *белое* и *платье* только потому и в том смысле представляются связанными друг с другом, что

здесь имеется обозначение известной связи в самой реальности, и основанная на этой реальной связи связанность между *белое* и *платье*, т. е. данное в речи отношение между этими словами, имеет ценность лишь постольку, поскольку таким образом изображается реальная связь, реальное отношение признака и предмета.

Понимание «отношения» в грамматике как преимущественно отношения между словами, формами слов и т. п. идеалистически искажает существо дела и препятствует пониманию таких категорий, как число у существительных, глагольное время, вид глагола и др., как собственно грамматических категорий, т. е. категорий, по которым различаются лишь грамматические формы слов, а не слова как целые единицы. Отсюда нередки такие утверждения, что *конь* и *кони* разные слова, что *получать* и *получить* два особых глагола и что даже *получаю* и *получал* не одно слово. Отсюда же и трудность объяснения необоснованности таких разделений слов и протест против них «чувства языка», непосредственного «восприятия» говорящих, а также и искусственность деления форм слова на синтаксические и несинтаксические.

V. Грамматическое изменение слов и грамматические различия между словами

Грамматическое изменение различных слов может быть не одинаково:

1) по самому составу (комплекту) форм (ср. *столовый*/*-ая*/*-ое*, *-ого*/*-ой*/*-ого*, *-ому*/*-ой*/*-ому* . . , но *столовая*, сущ., *-ой*, *-ой*. . .; ср. также *сад*/*-а*/*-у*/*-ом*. . ./*-ы*. . ., но *рад*/*-а*/*-о*,*-ы*);

2) по конкретному образованию тех же самых форм (ср. им. п. мн. ч. *города́*, но *заво́ды*, *соседи*, *братья*).

1

Определенный состав (или комплект) грамматических форм, взятый в отвлечении от конкретности слов и от конкретных черт образования самих форм, представляет собой то, что можно назвать парадигматической схемой.

Обычно одна и та же парадигматическая схема характеризует грамматическое изменение некоторого большего или меньшего числа слов и таким образом объединяет их в известную грамматическую группу. Некоторые различия между такими группами или отдельными словами оказываются несущественными и не препятствуют их объединению в те или другие грамматические разряды слов. Так, например, то обстоятельство, что при инфинитивах *победить* и *убедить* не имеется соответствующих словоформ 1-го лица единственного числа будущего времени, не препятствует объединению данных глаголов в один грамматический разряд с глаголами, имеющими в будущем совершенного вида полный состав форм. Подобным же образом отсутствие формы родительного падежа множественного числа у слова *мечта* не мешает его вхождению в один разряд с большинством существительных женского рода.

Во всех подобных случаях собственно имеется одна и та же парадигматическая схема, но у отдельных словарных групп или слов она оказывается представленной не одинаково полно: известные словоформы, которые вообще согласовались бы с данной парадигматической схемой, отсутствуют, но их отсутствие непосредственно не сказывается на других словоформах, представляющих те же слова (так, отсутствие словоформы, которая была бы родительным падежом множественного числа слова *мечта*, не сказывается на словоформах *мечтой*, *мечты*, *мечтам* и пр.).

Иное мы наблюдаем в таких случаях, как, например, pluralis tantum среди существительных: здесь отсутствие словоформ, которые представляли бы собой единственное число, сказывается и на существующих словоформах, т. е. словоформах множественного числа. Так, хотя словоформа *сани* и является, несомненно, словоформой множественного числа (ср. *эти новые сани скрипят; сани: они*, а не *она*, или *оно*, или *он*), но употребляется она иначе, чем подобные словоформы, принадлежащие словам, имеющим и единственное число: ср. *одни сани*, *двое саней* и т. п., но *одна дыня*, *две дыни* и пр. (*одни дыни* возможно лишь при других значениях: «только дыни» или «один ряд, тип дынь» и т. п.). В подобных случаях мы имеем дело уже с такими различиями в парадигматической схеме, которыми выделяются те или другие особые грамматические разряды слов. Так, pluralis tantum выделяются уже в качестве особого грамматического разряда существительных.

Некоторые отдельные грамматические разряды слов могут, однако, несмотря на известные достаточно существенные различия в парадигматической схеме, все же объединяться в некоторый единый грамматический к л а с с слов известными основными, принципиальными общими чертами этой схемы. Так, например, те же pluralis tantum, хотя они и выделяются в особый грамматический разряд слов, все же имеют такую парадигматическую схему, которая обладает в своей основе, в принципе существенно общими чертами с тем, что имеется у других существительных: те же падежи, та же неизменяемость по родам и пр., а сверх того также и общая всем существительным к а т е г о р и я числа (ведь, как уже было замечено, *сани* и т. п. все-таки представляют собой явно множественное число и, следовательно, не стоят вне грамматической категории числа). Последнее обстоятельство (наличие категории числа) следует особо подчеркнуть. Ведь поскольку pluralis tantum все же несомненно являются pluralis (а не образованиями, не имеющими отношения к категории числа, вроде, например, английских прилагательных [1]), постольку парадигматическая схема, которой они следуют, не может не уподобляться той части парадигматической схемы существительных, имеющих оба числа, к которой относятся формы именно множественного числа. А тем самым осуществляется и противопоставление множественного числа у pluralis tantum единственному числу других существительных по

---

[1] Ср. сноску [2] на стр. 16.

линии грамматической категории числа вообще, и, следовательно, pluralis tantum не обособляются от прочих существительных как особый грамматический класс. Их парадигматическая схема поэтому, несмотря на ее существенную особенность, выделяющую их в особый грамматический разряд, выступает все же прежде всего только как вариант (а именно — «неполный») основной, более полной парадигматической схемы существительных, характеризующей эти последние как особый грамматический класс слов.

Класс слов, характеризуемый некоторой основной парадигматической схемой (в отвлечении от отдельных ее вариантов) и определенной грамматической сочетаемостью (ср. выше, стр. 33), обычно выступает как особая ч а с т ь   р е ч и (ср. приведенный пример: существительные). Но вопрос о частях речи представляет собой особую и очень сложную проблему, которая здесь уже не может быть подробнее рассмотрена.

Грамматическая неизменяемость слова, как уже говорилось, выступает, в случае существования в том же языке грамматически изменяемых слов, как один из моментов оформления слова — подобно той или иной парадигматической схеме, которая, как целое, оформляет слово, принадлежащее к соответствующему грамматическому классу. В известном смысле поэтому можно было бы говорить о том, что грамматическая неизменяемость слова есть своего рода «парадигматическая схема». Однако тогда пришлось бы говорить о парадигматической схеме, включающей всего одну форму, и приписывать неизменяемым словам грамматические формы (в собственном, строгом смысле), что, как было сказано, не соответствовало бы действительности. Поэтому следует констатировать, что грамматическая неизменяемость н е есть «парадигматическая схема, состоящая только из одной формы». В частности, это видно и из того, что грамматическая неизменяемость слова соотносительна не с отдельными парадигматическими схемами (существительных, прилагательных и пр.), но со всей системой грамматического изменения слов. Поэтому грамматическая неизменяемость слова не является таким же признаком определенной части речи, как известная основная парадигматическая схема, и одинаково неизменяемыми могут быть совершенно различные части речи. Так, например, слова типа *там*, *здесь*, *вчера*, *впредь* и т. п. представляют собой не ту же часть речи, что слова вроде *хаки*, *беж*, *топ*, *маренго*, *перванш* [1], хотя и те и другие одинаково неизменяемы. Именно потому, что грамматическая неизменяемость не является особой парадигматической схемой, она не является достаточно существенным объединяющим признаком, и части речи в таком случае разграничиваются только

[1] Эти слова нельзя уподоблять словам с омонимией всех форм (вроде *метро*, см. стр. 16): они употребляются в специфических синтаксических построениях, почему формы, известные у обычных прилагательных или существительных, не имеют к ним отношения; ср. *на московском метро* — совершенно так же, как *на московском поезде* (откуда ясно, что *метро* здесь — предложный падеж единственного числа); но *костюм* (*цвета*) *маренго* — в отличие от *костюм черного цвета* или *черный костюм*.

на основе грамматической сочетаемости. Поэтому последняя выступает в целом как более общий признак, по которому разграничиваются части речи, чем грамматическая изменяемость или неизменяемость слова.

2

Совершенно иначе обстоит дело с теми различиями между словами, которые определяются конкретным образованием одних и тех же грамматических форм, т. е. неодинаковостью самой звуковой материи, выражающей значения данных грамматических форм. Так, слова *город* и *сосед* изменяются по одной и той же падежно-числовой парадигматической схеме, т. е. имеют те же грамматические формы в собственном смысле слова: им. п. ед. ч., род. п. ед. ч., дат. п. ед. ч. . . . им. п. мн. ч., род. п. мн. ч. и т. д. Но конкретное образование многих из этих форм не одинаково.

В общем получается, что при тождестве парадигматической схемы мы находим здесь разные парадигмы, т. е. такие (разные) системы форм, которые характеризуются не только комплектом (составом) входящих в них форм, но и тем, как эти формы конкретно образованы, т. е. самой их звуковой материей; ср.

	Парадигма слова *город*		Парадигма слова *сосед*	
	Ед. ч.	Мн. ч.	Ед. ч.	Мн. ч.
Им. п.	-́-° ( )	--° а́	--° ( )	--’ и
Род. п.	-́-° а	--° о́в	--° а	--’ ей
Дат. п.	-́-° у	--° а́м	--° у	--’ ам
Вин. п.	-́-° ( )	--° а́	--° а	--’ ей
Тв. п.	-́-° ом	--° а́ми	--° ом	--’ ами
Предл. п.	-́-’ е	--° а́х	--’ е	--’ ах

Примечание. Окончания даны в общем в обычной орфографии, так как не выражаемые орфографией звуковые особенности являются здесь фонетически (позиционно) обусловленными и не существенны с грамматической точки зрения. Но орфографическое *я* заменено через *а*, мягкость обозначена через ’, а твердость — через °. Пустые скобки ( ) обозначают нулевую морфему. В парадигме слова *сосед* ударение не отмечено, так как, будучи неподвижным, оно не имеет грамматической значимости.

Если две разные парадигмы представляют собой одну и ту же парадигматическую схему (как в приведенном примере), то данные слова различаются ими как разные грамматические типы. Как известно, один и тот же тип может быть представлен как более или менее значительным числом слов (ср. *адрес*, *буфер*, *веер*, *вечер*, *голос*, *катер*, *колокол*, *корпус*, *купол*, *номер*, *орден*, *ордер*, *парус*, *паспорт*, *поезд*, *сорт*, *тормоз*, *хутор* и др. — того же типа, что и *город*), так и единичными словами (ср. тип *сосед*; слово *чорт*, которое обычно относится к этому же типу, собственно уже несколько отличается по образованию своих форм, так как в нем имеется чередование *-о-* — *-е-* (*чорт—черти*), не являющееся чисто фонетическим в современном русском языке: ср. *ферт*, *концерт*).

Различие между грамматическими типами может быть только внешним (звуковым), т. е. не связываться ни с каким различием в значении: ср. тип *город* (*-á*, *-óв*), тип *завод* (*-ы*, *-ов*), *нож* (*-ú*, *-éй*) и т. п. Но может быть и такое различие, которое, хотя и не является различием в самой парадигматической схеме, все же соединяется с известной (грамматико-семантической) дифференциацией: ср. тип *город* (*-á*, *-óв*, вин. п. *город*, *-á*) и тип *мастер* (*-á*, *-óв*, вин. п. *мáстера*, *-óв*), которые различаются по линии неодушевленности-одушевленности. В таком случае различие между типами носит характер различий между грамматическими разрядами. Нередко же одни особенности, которыми различаются данные грамматические типы, имеют характер особенностей отдельных грамматических разрядов, тогда как другие являются чисто внешними; ср. приведенные примеры: тип *город* и тип *сосед*, где различие в образовании винительного падежа связано с различием в значении, тогда как прочие различия (род. п. мн. ч. *-óв*—род. п. мн. ч. *-ей* и др.) принадлежат лишь внешней, звуковой стороне. В связи с этим несколько различных типов могут выступать в виде одного и того же грамматического разряда, более или менее аналогичного тем разрядам, которые выделяются особенностями самой парадигматической схемы.

В связи с различием конкретных парадигм, представляющих одну и ту же парадигматическую схему, т. е. в связи с различиями в конкретном образовании одних и тех же грамматических форм как таковых, необходимым оказывается отличать грамматические формы в собственном смысле от (грамматических) типоформ, т. е. от тех конкретных единиц, которыми та или иная такая форма представлена в определенном типе слов. Так, например, именительный падеж единственного числа (существительного) есть определенная грамматическая форма в собственном смысле, тогда как такие более конкретные образования, как -ʹ-° (*гóрод*), --°( ) (*завод*), --°*а* (*ограда*), --°*о* (*ремеслó*) и т. п., в русском языке являются различными типоформами, представляющими собой эту грамматическую форму (им. п. ед. ч.).

Таким образом, мы имеем как бы три ступени:

1. Словоформа (СФ): здесь определенная граматическая форма связана с определенным, конкретным словом (им. п. ед. ч. *гóрод*).

2. Типоформа (ТФ): здесь мы отвлекаемся от конкретности слова, но все же данная грамматическая форма остается связанной с определенным грамматическим типом слов, характеризуемым вполне конкретными особенностями материального образования этой формы (им. п. ед. ч. -ʹ-°( ), т. е. такой, как *гóрод*, *пáрус*, *кáтер*, и пр.).

3. Грамматическая форма (Ф) в собственном смысле: здесь мы имеем дело уже с объединением различных типов слов и с отвлечением от особенностей не только конкретных слов (словоформа), но и определенных их типов (их типоформ), и слово выступает здесь лишь как некоторая единица, способная к ее оформлению данной грамматической формой (им. п. ед. ч.).

Очевидно, что собственно грамматическая форма (Ф) выделяется из типоформы (ТФ) путем отвлечения от особенностей данного типа. Подобным же образом типоформа извлекается из конкретной словоформы (СФ) через отвлечение от конкретных, индивидуальных особенностей (И) данного слова (С). Следовательно,

$$ТФ = \frac{СФ}{И},$$

откуда

$$СФ = ИТФ,$$

т. е. любая данная словоформа представляет собой соединение («произведение») определенного конкретного индивидуализирующего момента И, типового момента Т и собственно грамматической формы Ф. Так, СФ *гóрод* (им. п. ед. ч.) содержит в себе индивидуализирующий момент И *гóрод*, типовой момент Т (*гóрод, пáрус, кáтер. . .*) и собственно грамматическую форму — Ф именительный падеж единственного числа (существительного); СФ *городá* (им. п. мн. ч.) содержит в себе тот же индивидуализирующий и тот же типовой моменты, но представляет собой иную грамматическую форму — Ф именительный падеж множественного числа; СФ *пáрусом* будет иметь иной момент И и представлять собой другую грамматическую форму — Ф творительный падеж единственного числа, но совпадать с приведенными выше словоформами по моменту Т (*город. . .*).

Ясно, что момент И, как характеризующий именно данное слово как таковое, является полностью лексическим. Грамматический строй языка им непосредственно не затрагивается: так, и С *гóрод*, и С *пáрус*, и С *кáтер*, и др., различающиеся лишь моментом И, представляют не только одну и ту же парадигматическую схему (и один класс слов), но и ту же самую парадигму, т. е. характеризуются одинаковым конкретным образованием всех грамматических форм, составляющих данную парадигматическую схему. Таким образом, с точки зрения грамматики безразлично, имеем ли мы дело с И *город*, И *парус* или с каким-либо иным моментом И.

Грамматическая форма в собственном смысле, как извлеченная из различных конкретных словоформ, т. е. выделенная путем абстракции от всего специфически лексического, является полностью грамматическим моментом в словоформе, а тем самым и в слове как единстве словоформ. Это не значит, как уже отмечалось выше, что в грамматической форме уже, так сказать, ничего не остается от слова: грамматическая форма есть форма слова, которое, однако, выступает по отношению к ней как величина «алгебраическая». Можно сказать, что любая определенная форма $Фf$ есть всегда $Фf(x)$, т. е. форма f (некоторого слова x).

Может показаться, что под грамматической формой в собственном смысле здесь понимается только грамматическое значение (вернее — совокупность грамматических значений) определенных словоформ, —

скажем, значение именительного падежа единственного числа у словоформ *город, дом, сосед* и пр. Нет, здесь имеется в виду и внешняя, звуковая сторона, т. е. грамматическая форма выделяется и понимается как подлинная языковая единица, как соединение звучания и значения. Но, выделяя грамматическую форму в собственном смысле, мы абстрагируемся от конкретности принадлежащего ей звучания, хотя и имеем в виду всякий раз то или другое, какое-либо из звучаний, свойственных в данном языке данной грамматической форме слова. Подобно тому, как грамматически изменяемое слово, например Cv, есть единство его словоформ:

$$Cv = \left\{ \begin{matrix} СФ_1 v \\ \cdot\ \cdot\ \cdot \\ СФ_n v \end{matrix} \right\},$$

определенная грамматическая форма $Фf$ есть единство типоформ, которыми она реально представлена в языке:

$$Фf = \left\{ \begin{matrix} ТФ_1 f \\ \cdot\ \cdot\ \cdot \\ ТФ_n f \end{matrix} \right\}$$

Подобно тому, как грамматически изменяемое слово в действительности всегда выступает в виде определенной словоформы, т. е. в какой-либо определенной грамматической форме, сама грамматическая форма слова всегда выступает в виде определенной типоформы, т. е. как данная форма, конкретно образованная соответственно тому или другому грамматическому типу слов T_1, или $T_2, \ldots T_n$ и т. п. Конечно, любая типоформа не существует иначе, как в виде конкретных словоформ, но поскольку словоформа отличается от типоформы моментом И (СФ=ИТФ), а последний является полностью лексическим моментом в слове, постольку в сфере грамматического строя языка мы имеем дело непосредственно именно с типоформами: это есть минимальное проявление грамматической абстрагированности от конкретности слова.

Но если момент И, как полностью лексический, остается вне сферы грамматического строя языка и грамматическая форма слова как таковая по существу им не затрагивается, то типовой момент Т не выключается за пределы грамматического строя, так как грамматическая форма существует лишь в виде типоформ, что и выражается формулой:

$$Фf = \left\{ \begin{matrix} ТФ_1 f \\ \cdot\ \cdot\ \cdot \\ ТФ_n f \end{matrix} \right\}$$

Так, форма именительного падежа единственного числа (существительных) не существует иначе, чем в виде типоформ - -°( ), -′ -°( ), - -° *a*, - -° *á* и др.; ср. *завод*, *город*, *ограда*, *голова* и пр.

Правда, поскольку грамматическая форма слова функционирует в синтаксическом строе языка, выступает в тех или иных синтаксических

построениях, постольку типовые различия[1] оказываются несущественными, происходит отвлечение от них: в синтаксическом плане грамматическая форма слова выступает именно в виде Φf (точнее: $\Phi f(x)$). Но рассматриваемая с морфологической стороны, с точки зрения не функционирования, а строения слова, существующего как единство определенных словоформ, она не может рассматриваться безотносительно к тем типоформам, в виде которых она реально существует, т. е. выступает здесь прежде всего как единство

$$\left\{\begin{matrix} \text{Т}\Phi_1 f \\ \cdots \\ \text{Т}\Phi_n f \end{matrix}\right\}.$$

Таким образом, типовой момент в словоформах, а следовательно, и в словах, имеет прямое отношение к грамматическому строю языка, и в сфере морфологии изучение грамматических форм есть изучение соответствующих типоформ.

Вместе с тем, однако, принадлежность к определенному грамматическому типу может сама по себе выступать как отличительный признак данного слова и играть роль в известном отношении подобную той, которая обычно принадлежит индивидуализирующему моменту И. Так, например, слова *супруга*, *подруга*, *девица*, *львица*, *королева* и пр. относятся к одному и тому же грамматическому типу, характеризуемому определенной парадигмой (*-а*, *-и*/*ы*[2], *-е*, *-у* и т. д.), различаясь друг от друга лишь определенными индивидуализирующими моментами: *супруг*(*а*), а не *подруг*(*а*) и т. д. Но при сопоставлении слова *супруга* со словом *супруг* лексически отличительным оказывается как раз типовой момент: *супруга* и *супруг* различаются парадигмами, тогда как то, что у каждого из этих слов выступает как индивидуализирующий момент в пределах соответствующего типа (ср. *супруга* — *подруга* — *старуха* . . . и *супруг* — *варяг* — *монтёр*. . .), здесь является в виде объединяющей, общей им основной части *супруг-*. Последнее обстоятельство, конечно, не делает этот момент типовым: ведь в качестве типового момента здесь было определено то, что характеризует данные слова как принадлежащие к одному грамматическому типу. Напротив, в таких соотношениях, как *супруга* — *супруг*, обе единицы сближаются своими моментами И в лексическом плане, более или менее подобно тому, как моментом И объединяются различные словоформы, представляющие собой одно и то же слово (ср. им. п. ед. ч. *супруга*, род. п. ед. ч. *супруги*, дат. п. ед. ч. *супруге* и т. д.). Это, в частности, и заставляет поставить вопрос о том, не имеем ли мы в таких случаях дело с формообразованием (с изменением по родам), — вопрос, ответ на который оказывается отрицательным.

---

[1] Не сопряженные с различием между грамматическими разрядами слов, см. стр. 36.

[2] Различие между *-и* и *-ы* обусловлено не морфологически, а чисто фонетически.

Из рассматриваемого здесь случая видно, что лексическое объединение различных образований на основе тождества лексического момента И в них еще не означает, что эти образования являются одним словом: лексически объединяющее действие момента И может парализоваться и пересиливаться лексически разделяющим действием момента Т — в случае, если образования, объединяемые тождеством момента И, оказываются принадлежащими к разным типам (*супруга* — тот же тип, что *подруга* и пр., *супруг* — тот же тип, что *варяг* и др.).

Таким образом, типовой момент Т, будучи неразрывно связан с собственно грамматическими формами, поскольку последние реально существуют именно в виде типоформ, вместе с тем не исключается и из собственно лексической сферы, так как им могут различаться не только грамматические типы слов, но и конкретные слова, и он, следовательно, может выполнять словообразовательную роль: слова *супруга* и *супруг* образованы от общей им основы без каких бы то ни было положительных (не «нулевых») словообразовательных аффиксов и других специально словопроизводственных средств (чередование, акцентные различия), но только путем соединения основ с той или другой определенной парадигмой.

Все рассмотренное выше в этом и в предыдущем разделах свидетельствует о том, что лексический и грамматический моменты в слове, будучи существенно различны, вместе с тем находятся в такой тесной связи друг с другом, что выделение их оказывается гораздо более сложным, чем это может показаться с первого взгляда. Поэтому, разобравшись в существе отличия одного от другого, следует подробнее рассмотреть оба момента с точки зрения именно взаимного отношения между ними в конкретных словах.

VI. Взаимосвязь и взаимодействие между лексическим и грамматическим моментами в слове

Каким образом получается то, что различие грамматических типов, различие парадигм, представляющих собой системы грамматического изменения слов, выступает как момент лексический, момент различения конкретных слов, таких, например, как *супруга* и *супруг*?

Различие типов, представленных этими примерами, не есть различие только внешнее, хотя в отношении значения оно и не является вполне определенным, будучи, так сказать, «односторонним»: тогда как тип *супруг* (*варяг* и пр.) имеет обязательно и только значение мужского рода, тип *супруга* (*подруга* и т. п.) сам по себе не связывается со значением именно женского рода, так как к этому же типу относятся и слова *коллега*, *бродяга*, *забулдыга* и др. мужского рода, и такие, как *неряха*, *торопыга*, выступающие и как слова мужского, и как слова женского рода [1].

[1] В этом последнем случае, очевидно, род существительного меняется, является подвижным, но грамматического изменения по категории рода

Таким образом, если тип *супруг* выделяется как принадлежащий к разряду существительных мужского рода, то тип *супруга* (*коллега* и пр.) характерен для разряда существительных мужского или женского рода, иначе говоря — не среднего рода. Следовательно, этот последний тип сам по себе не есть несомненный признак принадлежности существительного *супруга* к женскому роду: он свидетельствует лишь о возможности такой принадлежности. Окончательно же принадлежность этого слова к женскому роду определяется его значением и проявляется в его синтаксической сочетаемости (формами рода у прилагательных и т. д.), а отчасти и в противопоставлении его типа типу слова *супруг*.

Поскольку слово *супруга* сопоставляется со словом *супруг*, в его значении выделяются два лексических момента: 1) «лицо, состоящее в браке (по отношению к другому лицу той же пары)»; 2) «(существо) женского пола». Первый из этих моментов выражается самой основой *супруг-* (и он потому и выделяется с объективной необходимостью, что эта же основная часть есть и в слове *супруг*). Второй же момент выражается, очевидно, парадигмой: *-а*, *-и*, *-е*, *-у* (с соответствующими падежно-числовыми значениями) и т. п. Эта парадигма, следовательно, как целое имеет здесь определенное лексическое значение — «женского пола». При этом можно сказать, что это лексическое значение является как бы функцией грамматического значения женского рода, выражаемого синтаксически, а отчасти и противопоставлением *супруга* — *супруг* по типу склонения. Такая лексическая функция грамматического значения обусловлена семантикой самой основы *супруг-*, а именно: а) тем, что эта основа означает живое существо, и б) тем, что в ее значении не содержится момента принадлежности к женскому полу (ср. *супруг* «муж»). Ср. *рельса* (при *рельс*), где значение женского рода не имеет указанной лексико-семантической функции, так как *рельс* обозначает неодушевленный предмет; и ср. *подруга*, *портниха* и пр., где также нет этой функции грамматического значения рода, но уже по другой причине: принадлежность к женскому роду мыслится здесь уже вместе со значением самой основы (*подруг-*, а не *друг-*; *портних-*, а не *портн-*), почему соответствующий момент в значениях таких слов как целых не должен относиться, во всяком случае полностью, за счет их оформленности как слов женского рода. Вернее будет сказать, что их оформленность как таких слов лишь согласуется со значениями самих основ и этим лишь подкрепляет в них момент принадлежности обозначаемых существ к женскому полу.

Итак, в таком случае, как *супруга* — *супруг*, различие грамматических типов (в пределах одного класса слов — существительных) выступает как момент лексический, и притом именно словообразовательный, в связи с тем, что при определенных условиях тип *супруга* (который вообще

здесь нет, так как у существительных, как уже отмечалось, вообще нет разных грамматических форм рода в пределах слова.

может соединяться как с женским, так и с мужским родом) характеризует принадлежащие к нему слова как слова именно женского рода и что, далее, под воздействием определенного значения основы грамматическое значение женского рода дает лексическое значение принадлежности к женскому полу. Ср. то же самое в таких парах, как *лиса́ — лис, внука — внук, раба — раб; Александра — Александр; Юлия — Юлий;* ср. также *она — он* (*ее — его* и т. д.), и пары, образованные путем субстантивации: *больная — больной, молодая — молодой* (о новобрачных), *новобрачная — новобрачный;* ср. *вожатая — вожатый* (то, что самые типы здесь отчасти совсем иные, не существенно, так как речь идет лишь о роли типового различия).

Следует заметить, что такие парные существительные оказываются разными словами именно вследствие наличия у того и другого из них (сверх грамматического значения рода) значения принадлежности к определенному полу: одно различие в грамматическом роде как таковое еще не является словоразделяющим, так как им обозначается не какое-либо реальное различие в самих предметах, а только различие в отношениях между этими предметами и системой родовой дифференциации слов (существительных, местоимений *он — она — оно*) и грамматических форм (у прилагательных, включая адъективные местоимения, отчасти в глаголе). Поэтому, например, *рельс* и *рельса. санаторий* и *санатория* и т. п. являются, в пределах каждой пары, лишь вариантами одного и того же слова, а не разными словами (при этом наличие или отсутствие каких-либо особых стилистических, экспрессивных оттенков у отдельных вариантов не существенно) [1]. Таким образом, различение существительных по грамматическим родам выступает как выделение разных их грамматических разрядов лишь постольку, поскольку подавляющее большинство существительных характеризуется неизменностью, фиксированностью рода, почему род у них оказывается обычно признаком слова как такового. Но это — только при условии, что различаемые по роду субстантивные образования различаются и еще по какому-либо значению (в частности — по значению пола). Само же по себе родовое различие в лексическом плане способно только подразделять слово на варианты.

Теперь возникает вопрос о том, ограничивается ли взаимодействие между лексическим и грамматическим моментами в слове, в частности функционирование грамматических единиц также и в качестве имеющих лексическую значимость, только известными особыми случаями, вроде рассмотренных выше, или имеет и более общее распространение, обусловленное самим существом слова как особой грамматически оформленной единицы лексики. И если такое взаимодействие, в частности «лексическое функционирование» грамматических единиц, представляет собой некоторое общее явление в языке, имеющее в нем глубокое основание,

[1] Ср. А. И. Смирницкий. К вопросу о слове (проблема тождества слова). «Труды Ин-та языкознания», т. IV.

то как оно соотносится с существенным и четким различием между лексическим и грамматическим ингредиентами языка?

К ответу и на эти вопросы лучше всего подойти путем рассмотрения конкретных языковых единиц.

Если мы возьмем такую словоформу, как, скажем, *скамейка*, то она, как входящая в систему *скамейка — скамейки — скамейке — скамейку* и т. д., прежде всего членится на *скамейк-* и *-а*, причем на первый взгляд основа *скамейк-* представляется чисто лексической, а «окончание» *-а* — чисто грамматической частью слова (вернее — словоформы). Дальнейшее членение, а именно — членение основы *скамейк-* на корневую морфему *скамей-* (в другом варианте — *скамь*[*й*]-: ср. *скамья* и пр.) и суффиксальную *-к-*, лежит уже целиком в области лексики и связано со словообразованием (словопроизводством).

Но является ли морфема *-а* в *скамейка* и других подобных словоформах только и просто «грамматическим окончанием»?

Эта морфема *-а*, входящая в парадигму — *-а*, — *-и*/*-ы*, — *-е*, — *-у*. . ., есть морфема именительного падежа единственного числа, т. е. определенная падежно-числовая морфема. Будучи таковой, она является конкретной частью определенной типоформы и участвует, следовательно, как в образовании собственно г р а м м а т и ч е с к о й ф о р м ы (именительного падежа единственного числа вообще), так и в грамматическом оформлении с л о в а, причем слова определенного к л а с с а (класса существительных) и определенного разряда внутри этого класса (разряда «не среднего рода»). Поскольку такая морфема оформляет именно с л о в о и характеризует последнее как принадлежащее к определенному классу и определенному разряду с л о в, постольку она выполняет известные л е к с и ч е с к и е функции и выступает в области словарного состава языка: без одной из таких морфем (*-а*, *-и*, *-у* и т. п.) слово *скамейка* вообще не существует как слово, так же как *окн-* без одной из морфем *-о*, *-а* и пр. не есть слово *окно* (ср. стр. 14; следует, конечно, не забывать и о морфеме -( ), т. е. «нулевой»). Но так как, вместе с тем, такие морфемы определяют и характеризуют слова именно с г р а м м а т и ч е с к о й стороны, то в целом они являются единицами л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и м и, т. е. единицами и в области лексики (словарного состава), и в области грамматического строя языка.

Здесь особенно важно подчеркнуть, что под понятием лексико-грамматического имеется в виду не нечто среднее между лексическим и грамматическим, а с о е д и н е н и е л е к с и ч е с к о г о и г р а м м а т и ч е с к о г о моментов. Поскольку дело касается грамматических форм слова и конкретных морфем, участвующих в образовании этих форм, постольку мы, естественно, имеем дело именно с лексико-грамматическими фактами, т. е. с фактами, в которых соединяются оба названных момента: ведь надо не забывать, что вообще всякая м о р ф е м а есть элементарная единица языка, входящая в состав с л о в а, а потому являющаяся единицей словарного, л е к с и ч е с к о г о характера. Не

лексических морфем не может быть, так как всякая единица вроде *-скамей-*, *-к-*, *-а*, *-дом-*, *-ой* и пр. есть реальная составная часть какого-либо с л о в а, или непосредственно и полностью данного (в случае его неизменяемости), или представленного определенной его словоформой (если это — слово изменяемое). «Отнятие» любой такой единицы разрушает слово. Ведь, например, *домой* без морфемы *-ой* не есть слово (словоформа) *дом*, где значения «дом, жилище, родина» и пр. соединяются со значениями падежа, числа, рода, части речи, но оказывается лишь морфемой *-дом-*, лишенной какой-либо грамматической определенности (им. п. ед. ч. слова *дом* есть ведь, собственно, ( )*-дом-*( ), т. е. образование с «нулевым» первым компонентом — в отличие, например, от *управдом*, *детдом* — и с «нулевым» окончанием — в отличие от *дома* и пр., — тогда как морфема *-дом-* является одной и той же безразлично и в *дом*, и в *домой*, и в *управдом*, и в *домработница*, и в *домовой* и в прочих: известные различия, наблюдаемые здесь, оказываются обусловленными уже соединением с другими морфемами и т. п.). Следовательно, когда известные морфемы определяются как грамматические окончания и т. п., такие определения оказываются неточными: морфемы, имеющие грамматические значения, являются, собственно, не грамматическими, а лексико-грамматическими единицами, т. е. соединяют в себе лексический и грамматический моменты. Но, учитывая это, мы, понятно, можем называть такие морфемы просто грамматическими — в отличие от собственно лексических корневых и словообразовательных аффиксальных морфем. Так, в словоформе *скамейка* собственно лексическими морфемами являются корневая *-скамей-* и словообразовательная суффиксальная *-к-*, тогда как морфема *-а* выделяется как грамматическая: ее л е к с и к о-грамматический характер как языковой единицы определяется уже тем, что она — м о р ф е м а (с грамматическим значением).

Таким образом, соединение в одном и том же элементе слова (в одной морфеме) грамматического и лексического моментов не есть какое-либо исключение или особый случай, а, напротив, естественное следствие того, что слово выступает как грамматически (в частности морфологически) оформленная единица, причем грамматико-морфологическое оформление слова есть его оформление в его собственных пределах, с помощью его собственного материала: оно не может быть механически отделено от слова.

Тесная соединенность грамматического момента в слове с моментом лексическим сама по себе ни в какой мере не ведет к смешению этих моментов: будучи тесно соединенными в одних и тех же морфемах, эти моменты все же, как было сказано, ч е т к о и п р и н ц и п и а л ь н о о т л и ч а ю т с я друг от друга. Но каким же образом?

Выше уже говорилось о том, что с лексической точки зрения *дом* = *дома* = *дому* и т. д. Корневая морфема *-дом-* во всех этих словоформах одна и та же: в отношении ее мы имеем простое тождество. Но если эта морфема тождественна во всех этих словоформах, то из их

равенства друг другу, с лексической точки зрения, следует, что и грамматические морфемы -( ), *-а*, *-у* в приведенном примере равны друг другу. Иначе говоря, в лексическом плане безразлично, какая из этих морфем имеется, но важно, чтобы в каждом отдельном случае была какая-нибудь из них (иначе будет не слово, а только его основа), причем каждая из них должна выступать как принадлежащая определенной парадигме: ведь если отдельная грамматическая морфема характеризует данное слово не просто как такое-то слово, но как измененное соответственно определенной грамматической форме, как взятое в такой-то форме, то парадигма данного слова характеризует его именно как слово, как целую единицу, остающуюся тождественной себе в различных представляющих ее словоформах. Поэтому-то с лексической точки зрения важно не различие между отдельными грамматическими морфемами, участвующими в образовании отдельных словоформ данного слова, а именно то общее, что в них есть: равная принадлежность их к одной и той же парадигме и связанное с этим определение ими данного слова как слова такого-то грамматического класса, такого-то грамматического разряда.

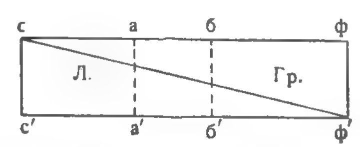
Напротив, с грамматической точки зрения наиболее существенным оказывается именно различие между отдельными словоформами, представляющими собой данное слово; а следовательно, здесь важно не то, что все грамматические морфемы, входящие в состав соответствующих словоформ, принадлежат к одной и той же парадигме, а то, что они определенным образом различают отдельные типоформы этой парадигмы и тем самым выделяют в ней известную парадигматическую схему, т. е. систему собственно грамматических форм.

Существенность именно различия здесь непосредственно связана с тем, что к грамматическому строю относится изменение слов: грамматическое изменение слова как раз и есть тот факт, что одно и то же слово выступает в различных грамматических формах. А все, что конституирует тождество слова при его грамматическом изменении, составляет лексический момент в нем. И понятно, что и те грамматические факты, которые не различают отдельных словоформ, представляющих собой данное слово, и характеризуют это слово как целое, как некоторое единство, имеют не только грамматическую значимость, но и значимость лексическую, т. е. являются собственно лексико-грамматическими фактами. Так, тот факт, что *скамейка* и *скамейку* различаются грамматически (т. е. по значению отношения, выраженному не особым словом, например предлогом, а некоторым побочным способом, ср. стр. 21), является только грамматическим фактом; но тот факт, что в обеих этих словоформах (*скамейка, скамейку*) данное слово одинаково оформлено грамматически как слово определенного класса (существительное) и определенного грамматического разряда (не среднего рода)[1], является уже лексико-

[1] В частности женского, что определяется уже его грамматической сочетаемостью и пр.

грамматическим фактом, так как, будучи грамматическим, он вместе с тем характеризует все слово в целом и утверждает его тождество при различных его изменениях.

Исходя из всего изложенного в этом разделе, соединение лексического и грамматического моментов в слове следует понимать не в виде простого «приложения» одного к другому | Л. | Гр. |, но скорее в соответствии с такой схемой:



Здесь на линии *с—с′* будут находиться собственно лексические, словарные единицы: грамматический момент здесь сходит на нет, он только касается их (в точке *с* — в том смысле, что эти единицы в о о б щ е так или иначе связываются в действительности с фактами, имеющими грамматическую значимость). Так, морфемы *-скамей-* и *-к-* будут располагаться на линии *с—с′*: к грамматическому строю они имеют лишь то отношение, что они, являясь морфемами, выступают в составе г р а м м а т и ч е с к и оформленных единиц — слов (словоформ), так или иначе соединяясь с морфемами, имеющими грамматическую значимость (ср. *скамь-я*, где морфема *-скамей-*, соединяясь с грамматической морфемой *-а*(*-я*), выступает в другом своем варианте; ср. *скамей-к-а*, где морфема *-к-* непосредственно, а морфема *-скамей-* через посредство *-к-* соединяется с грамматической морфемой *-а*). Морфема же *-а*, будучи грамматической морфемой, а следовательно, единицей лексико-грамматической, найдет себе место где-либо между *с—с′* и *ф—ф′*, скажем, на линии *а—а′* или *б—б′* (понятно, здесь идет речь не о точном распределении, а об иллюстрации основных различий). На линии же *ф—ф′* расположится, например, такая единица, как собственно грамматическая форма именительного падежа единственного числа: лексический момент здесь устранен максимально, но все же он касается и этой собственно грамматической единицы (в точке *ф′*), поскольку такая грамматическая форма есть форма с л о в а и не существует помимо с л о в.

Ясное понимание в основном именно такого характера общего соотношения между лексическим и грамматическим моментами в слове позволяет глубже и точнее разобраться в некоторых специальных теоретических вопросах лексикологии (в частности — словообразования) и грамматики и, следовательно, увереннее анализировать соответствующие конкретные факты. Ниже рассматриваются лишь некоторые наиболее важные из этих вопросов.

1) С о б с т в е н н о - г р а м м а т и ч е с к и е и л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и е к а т е г о р и и.

Различие между теми и другими выступает вполне отчетливо и ясно на основе установленного здесь взаимоотношения между

лексическим и грамматическим моментами в слове: собственно-грамматические категории конституируются объединением и взаимным противопоставлением различных грамматических ф о р м, соотносящихся по одному признаку — значению данной категории; лексико-грамматические же категории конституируются подобным же объединением и противопоставлением различных грамматических классов и разрядов с л о в: грамматический момент имеется здесь потому, что эти классы и разряды являются грамматическими, т. е. характеризуются определенными грамматическими формами (и определенной грамматической сочетаемостью); лексический же момент определяется тем, что соответствующие грамматические признаки характеризуют и различают здесь именно слова, а не отдельные их формы.

Четкость такого разграничения, быть может, особенно существенна тогда, когда известные собственно-грамматические и лексико-грамматические категории тесно связаны и переплетены друг с другом. В качестве примеров достаточно привести категории рода у прилагательных и у существительных и категории залога и переходности-непереходности у глаголов.

а) Г р а м м а т и ч е с к и й р о д. Говорят, что прилагательные изменяются по родам, тогда как существительные и м е ю т род, но по родам не изменяются. Это верно. Но вместе с этим нередко ставятся н а р а в н е друг с другом категории падежа, числа и р о д а у существительных, и это уже вносит неясность. Такая неясность не возникает, если мы определим категорию рода у прилагательных как категорию собственно грамматическую (и потому в основном аналогичную категориям падежа и числа), а категорию рода у существительных — как л е к с и к о-грамматическую (и тем самым — иного порядка сравнительно с категориями падежа и числа). Итак: прилагательные характеризуются г р а м м а т и ч е с к и м и категориями падежа, числа, р о д а. . ., существительные — также г р а м м а т и ч е с к и м и категориями падежа и числа и л е к с и к о-грамматической категорией рода.

б) З а л о г и п е р е х о д н о с т ь-н е п е р е х о д н о с т ь. Эти две категории в известных отношениях близки друг к другу и часто бывают тесно связаны между собой. Ввиду того, что в русском языке вопрос о залогах очень сложен и примеры поэтому потребовали бы очень обстоятельных комментариев, здесь приводятся примеры из латинского языка. Отношение между лат. amat и amatur и т. п. является несомненно отношением грамматических форм в пределах того же самого слова. Следовательно, залог в латинском языке есть собственно грамматическая категория, и этим он существенно отличается от л е к с и к о-грамматической категории переходности-непереходности (ср. incendere «зажигать, жечь, сжигать» и flagrare «гореть» и т. п.). Поэтому, например, различия в значениях между aperire «открывать» и aperiri (пассив) «открываться», представляющими собой разные залоги т о г о ж е глагола, и между словами patefacere «открывать» и patere «быть открытым» являются не

просто различиями конкретных «оттенков», но и различиями к а т е г о р и а л ь н о г о порядка, несмотря на тесную связь между отдельными значениями в обоих случаях. Не высказывая здесь какого-либо определенного мнения относительно категорий залога и переходности-непереходности в русском языке (по упомянутой выше причине), все же следует заметить, что строгое различение категорий собственно граммматических и лексико-грамматических во всяком случае содействовало бы внесению ясности в этот запутанный вопрос [1].

2) А ф ф и к с а ц и я и ч е р е д о в а н и е з в у к о в при образовании грамматических форм.

Если мы возьмем такое изменение слова, как *лев — льва — льву* и т. д., то, при стремлении механически отделить лексический момент от грамматического, мы встретимся с огромной трудностью в связи с наличием здесь чередования гласных: -V- (гласный; в данном случае — *-е-*) — ( ) («нуль»). Действительно, даже если мы признаем, что суффиксы -( ), *-а*, *-у* и пр. являются лишь грамматическими окончаниями, то можно ли остающиеся основные части словоформ *лев*, *льва*, *льву*. . . признать т о л ь к о лексическими элементами в слове? Ведь различие *лев-* и *льв-* служит для отличения именительного падежа единственного числа от всех прочих ф о р м. Не есть ли *-е-* грамматический элемент, а корень, может быть, только *-л'-в-?* [2]

Но стоит лишь преодолеть упрощенное и механистическое понимание взаимоотношения между лексическим и грамматическим в слове, и положение разъясняется. Единица *-лев-* есть та же морфема, что и *-льв*, т. е. *-лев-* и *-льв-* — два варианта единой морфемы *-лев-/-льв-* (или, сокращенно: *-л' (е) в-*). Эта морфема, как корневая, есть лексическая морфема: в любом

[1] Так, например, тогда вряд ли была бы возможна та неясность в трактовке этого вопроса, какую мы находим в академической «Грамматике русского языка», т. I, 1952; ср.: «. . . только переходные глаголы образуют залоги, т. е. только переходные глаголы могут показывать изменения в отношениях между производителем действия и объектом действия. . . путем изменения форм этих глаголов» (а разве отношения между производителем и объектом д е й с т в и я не одни и те же, когда мы говорим *бухгалтер составляет смету* и *смета составляется бухгалтером?!* См. стр. 414, 416); «. . . в переходных глаголах различаются три основных залога: действительный, возвратно-средний и страдательный»; «Если к переходному глаголу, т. е. к глаголу действительного залога, присоединить суффикс *-ся*, то глагол теряет значение переходности» (стр. 415). Что же, образование залогов есть образование ф о р м или образование с л о в? Делятся ли переходные глаголы на три залога, или изменяются по трем залогам, или переходные глаголы то же самое, что глаголы действительного залога? (Ср. «. . . если к переходному глаголу, т. е. к глаголу действительного залога. . .»). Если глагол с суффиксом *-ся* «теряет значение переходности», то почему же возвратно-средний залог есть залог «в переходных глаголах»?

[2] Как известно, чередование звуков как морфологическое средство доставило много хлопот «механистам»-блумфилдианцам и вызвало ряд различных, но равно неудачных попыток его истолкования с точки зрения позитивистской «дескриптивной» лингвистики (см. О. С. А х м а н о в а. О методе лингвистического анализа у американских структуралистов). Провал всех этих попыток свидетельствует о полной негодности принципов этой лингвистики, но также и о сложности самого вопроса.

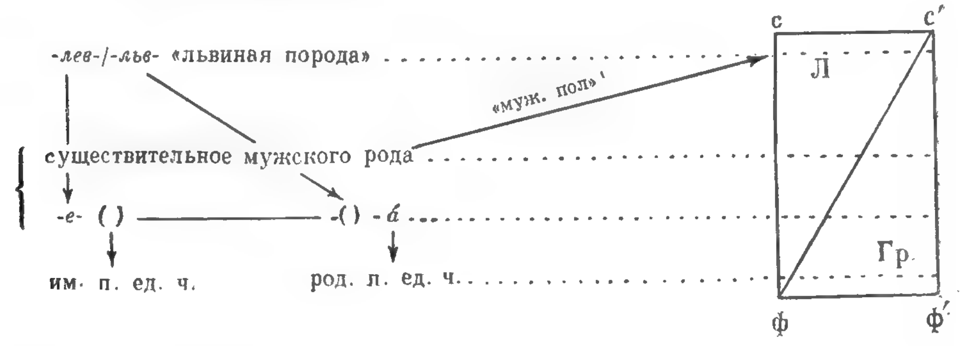
из своих вариантов обозначает «львиную породу»: ср. *лев — льв(а)*, *льв(ица)*, *льв(енок)*, *льв(иный)* и пр. Вариант *-льв-* не имеет значения никакого косвенного падежа или множественного числа (в *льва*, *льву*, *львы* и пр.), как он не имеет значения женского пола (ср. *львицы* и *львы*), или детеныша (*львенок*), или свойства (*львиный*): все эти дополнительные как грамматические (падеж, число), так и лексические значения («женский пол», «детеныш», «характерное свойство») и пр. связаны не с самим данным вариантом как таковым (они слишком различны, чтобы объединяться в нем), но с другими морфемами (*-а*, *-у*, *-ы*, *-иц-а*, *-иц-ы*, *-ен(о)к*, *-ин-ый/-ая/-ое* и т. п.). А следовательно, и вариант *-лев-* сам по себе не содержит значения именительного падежа единственного числа: ср. аналогичное соотношение в *день — дня — дню..*, где, однако, совершенно ясно, что вариант с гласным *-ден'-* не имеет сам по себе значения именительного падежа единственного числа, так как имеются образования *денек*, *денька. . .* , *денечки. . . равноденствие*, *-денствия* и др., где этот же вариант (в том или ином уже чисто фонетическом его видоизменении) встречается вообще вне соединения со значениями именительного падежа единственного числа; да, впрочем, возможно и такое образование, как *левик*. Поэтому нет никаких оснований выделять *-е-* в *-лев-* в качестве особого, грамматического элемента, т. е. в качестве инфикса, внедренного в корень *-л'-в-*.

Однако варианты *-лев-* и *-льв-*, будучи сами по себе лексически совершенно р а в н о з н а ч н ы м и и «а г р а м м а т и ч н ы м и», т. е. не имеющими в себе грамматического момента, оказываются определенным образом з а к р е п л е н н ы м и за отдельными единицами, причем эти единицы могут отличаться друг от друга как л е к с и ч е с к и (и л е к с и к о-грамматически), так и собственно-г р а м м а т и ч е с к и: ср. *лев — львица*, *львенок*, *львиный* и *лев — льва*, *льву. . .* Грамматическим в соотношении *лев — льва*, помимо различия между суффиксами -( ) и *-а*, является не само различие между вариантами *-лев-* и *-льв-* или различие между *-е-* и нулем (отсутствием гласного), а и с п о л ь з о в а н и е этого различия в определенной связи с суффиксами- ( ) и *-а*, т. е. обусловленное этими суффиксами[1] р а с п р е д е л е н и е различающихся вариантов или членов чередования. Иначе говоря, слово *лев* имеет корень *-лев-/-льв-*, заключающий в себе конкретное специфическое вещественное значение этого слова в любом своем варианте независимо от того, как эти варианты используются, распределяются по грамматическим формам; а это их использование или распределение является уже моментом г р а м м а т и ч е с к и м. Но, конечно, поскольку распределение не существует помимо самих распределяемых единиц, постольку мы в действительности находим соединение этого грамматического момента с определенным моментом лексическим, т. е. с известной особенностью данной лексической единицы —

[1] То, что в качестве более самостоятельного, обусловливающего момента выступают суффиксы, определяется тем, что вообще в русском языке (как и во множестве других) аффиксация является более универсальным и систематическим средством формообразования, чем чередование звуков.

с ее вариантностью. Следовательно, чередование в таких случаях, как *лев — льва*, взятое вместе с распределением его членов (соответственно — вариантов корня) по отдельным грамматическим формам, есть уже факт лексико-грамматический, тогда как само по себе, как известная особенность определенной лексической единицы — данного корня, оно представляет собой момент лексический, а его использование является грамматическим.

Если обратимся к приведенной раньше общей схеме, то соотношение *лев — льва* изобразится так:



Само собой разумеется, что так же следует понимать и чередование звуков в словообразовательных суффиксах: ср. *творец—творца* и т. п.

3) Супплетивность.

Если понять роль чередования звуков при наличии аффиксации, то понятно будет и супплетивное образование грамматических форм. В самом деле, соотношение *я — меня* довольно близко по существу к соотношению *лев — льва*: в обоих случаях помимо различия в аффиксах имеется различие в корне, но только в одном случае это различие полное (разные корни), в другом — частичное (разные варианты корня).

Если *-лев-* и *-льв-* тождественны как морфема (т. е. представляют собой одну и ту же единую морфему), то *-я-* и *-меня-* (в *меня*), хотя они и являются разными морфемами, функционируют как одна и та же морфема, поскольку они совершенно одинаковы по своей семантике («автор данной речи») и прочно связаны в одну систему их грамматическим разделением. Поэтому наличие у местоимения 1-го лица единственного числа двух дополняющих друг друга (супплетивных) корней *-я-* и *-мен'-* (с вариантами *-мн-*, *-мн'-)* играет роль известной лексической особенности этого слова, особенности, аналогичной чередованию звуков в корне (ср. *-мен'-*, *-мн'-*, *мн-* в *меня*, *мне*, *мною*, а также и *лев — льва* и т. п.); грамматическим же моментом является не сама супплетивность, а лишь распределение дополняющих друг друга корней по грамматическим формам.

Между прочим то, что корневая морфема *-я-* сама по себе не содержит значения именительного падежа единственного числа, ясно обнаруживается

---

[1] Ср. сказанное о словах *супруг* и *супруга*.

при ее употреблении в таких выражениях, как «противопоставление своего „я“ другому „я“» и т. п. (понятно, что здесь речь идет не о самом слове *я*, так как слово это как таковое не может быть ни «своим», ни принадлежащим кому-либо «другому»).

4) Общее и особенное в грамматическом изменении слова.

В языкознании нередко приходится встречаться с утверждением, что существо различия между лексическим и грамматическим в слове состоит так или иначе в том, что лексическое является особенным, специальным, ограниченным, а грамматическое — общим, продуктивным, «живым»; ср. у Л. В. Щербы: «В описательной «грамматике» должны изучаться лишь более или менее живые способы образования форм, слов и их сочетаний; остальное — дело словаря. . .»[1], у Суита: general facts — грамматика, special facts — лексика.

Таким образом, получается как будто так, что склонение местоимений *я*, *ты* и др., а может быть и склонение существительных вроде *лев* (*льва*. . .), *день* (*дня*. . .), *сосед* (*соседи*, а не *соседы* и пр.), относится не к грамматике, а к лексике. Это уже само по себе представляется странным, так как и здесь мы имеем дело с таким же по существу явлением, как и при склонении существительных вроде *тигр*, *вол*, *стол* и пр.: в обоих случаях мы находим те же самые дополнительные значения (падежные и числовые), сопровождающие основное вещественное значение каждого данного слова, и соответствующие различия между отдельными образованиями выступают и там и здесь как различия между формами в пределах того или другого слова. Кроме того, например, в таком языке, как русский, очень трудно отделить «более или менее живые» способы образования форм от способов иного характера; ср. *вода́* — *во́ду* — *водо́й* и т. п.: является ли изменение ударения здесь «более или менее живым»?

И. В. Сталин подчеркивает, что в грамматике мы имеем дело с отвлечением от какой бы то ни было конкретности слова. На первый взгляд может показаться, что эта особенность грамматики действительно исключает возможность отнесения к грамматической сфере таких частных случаев склонения, как склонение ряда местоимений в русском языке и т. п. Но если так понять указание И. В. Сталина относительно отвлеченности грамматики от конкретности слов, то нужно исключить из грамматики и вообще всякое различение отдельных грамматических типов; ведь различение даже наиболее общих, а не только «более или менее живых» типов требует уже отличения одних слов от других, и даже просто различение частей речи не позволяет рассматривать каждое слово просто как слово «вообще», в отвлечении от каких-либо более специальных его свойств.

Указание И. В. Сталина относительно отвлеченного и обобщающего характера грамматики нельзя понимать в плане простого механического

[1] Л. В. Щерба. Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений. 1915 (приложение к «Восточно-лужицкому наречию» того же автора). Ср. В. В. Виноградов. Современный русский язык. 1938, вып. 1, стр. 126.

отделения общих (general), «более или менее живых» фактов от фактов специальных (special), частных, «неживых». Даже в таком крайне специальном, частном, совершенно исключительном факте, как соотношение *я — меня*, есть нечто грамматически общее: соотношение двух грамматических форм одного и того же слова. И даже конкретизация этих форм как форм именительного падежа единственного числа и родительного падежа того же числа сама по себе еще позволяет видеть в данном слове лишь «слово вообще», поскольку рассматриваются внутренние взаимоотношения и различия между этими формами, а не то, как они характеризуют данное слово в целом. Но коль скоро те же формы выступают уже как характеризующие данное слово в качестве слова субстантивного (хотя и местоименного), они уже выполняют и лексическую функцию, мы имеем дело с фактом лексико-грамматическим. Лексико-грамматическим является, конечно, согласно всему изложенному выше, и само специфическое образование данных форм: суффиксы -( ) и *-а* (*-я*) и использование супплетивной пары корней *-я-* — *-мен'-*. Но поскольку мы отвлекаемся от конкретности данных суффиксов и данной супплетивной пары и от того, что с их помощью образованы формы именно местоимения 1-го лица единственного числа, т. е. определенного, конкретного слова, постольку мы и в этом совершенно особом случае вскрываем некоторый способ образования грамматических форм, имеющийся в системе грамматического строя русского языка, т. е. вскрываем собственно грамматический момент. Именно в таком смысле следует понимать, согласно учению И. В. Сталина об особенностях грамматики (грамматического строя), отвлеченность грамматики — в области формообразования, т. е. изменения слов, — от всякой конкретности слова.

Грамматика как наука изучает, следовательно, не только «более или менее живые», но всякие способы образования грамматических форм, не имея в виду, однако, того, в каких словах те или иные способы применяются: указание на то, с какими конкретными словами связаны те или иные известные в данном языке способы их грамматического изменения, является, собственно, уже делом лексикологии (и лексикографии. словаря). Но, конечно, грамматика изучает грамматический момент в слове, способы формообразования и значения грамматических форм на материале конкретных слов и пользуется последним как примерами. И среди этих примеров могут быть такие, которые представляют собой единственные или вообще единичные случаи данного характера; поэтому, естественно, в грамматике обычно перечисляются «исключения», но и такие единственные или единичные по своему характеру слова рассматриваются грамматикой все же не как конкретные слова, а лишь как слова, в которых наблюдается данное грамматическое явление.

Лексикология, со своей стороны, не может ограничиваться тем, что не является «более или менее живым», продуктивным в грамматическом плане: она отвлекается от формообразования как такового, от того, как

образуются те или иные отдельные грамматические формы и что они значат, но она не может пренебрегать словооформляющей ролью грамматического строя, в частности его морфологической сферы, так как функцией морфологического словооформления являются и словообразование, и морфологическое варьирование слова (ср. *супруга — супруг* и *рельса — рельс*), т. е. система уже собственно лексических соотношений. Надо помнить, что не только в случаях типа *супруга — супруг, лиса — лис*, но и в случаях вроде *лисица — лис, жительница — житель* и пр. для словообразования существеннейшую роль играет грамматико-морфологическое оформление слова. Между прочим, в случаях типа *жительница — житель, учительница — учитель* очень ясно видно, что суффикс *-тель-* (в отличие от *-ниц-*) сам по себе вообще не имеет значения принадлежности к мужскому полу: это значение выражается не им, а парадигмой, т. е. типом склонения.

Таким образом, если грамматика приводит конкретные слова в качестве материала или примеров, то лексикология должна приводить грамматические факты, связанные с данными словами, постольку, поскольку эти факты характеризуют эти слова как таковые или как входящие в тот или иной класс, разряд или тип слов: такое взаимоотношение между лексикологией и грамматикой как разделами языкознания обусловливается описанным общим отношением между лексическим и грамматическим моментами в слове, а это последнее внутренне связано с тем, что слово, как это явствует из марксистского лингвистического учения И. В. Сталина, есть основная единица языка вообще — в области словарного состава и в сфере грамматического строя.

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

К ПРОБЛЕМЕ ТИПОВ ЛЕКСИЧЕСКОЙ И ГРАММАТИЧЕСКОЙ АБСТРАКЦИИ

(О роли принципа избирательности в процессе создания отдельных слов, грамматических форм и выбора способов грамматического выражения)

Вульгарный социологизм, пустивший глубокие корни в советском языкознании в период господства пресловутого «нового учения» о языке и провозгласивший полную и абсолютную зависимость всех процессов, протекающих в языке, от изменений в базисе, от внешних факторов истории общества, причинил большой вред развитию советского языкознания. Вульгарный социологизм вселил в сознание языковедов и философов идею квазиисторизма, согласно которой любое изменение в языке, начиная от появления нового звука до образования новой синтаксической конструкции, обусловлено всецело внешними факторами.

Таким образом, целый интересный мир внутренних процессов, наблюдаемых в самой системе языка, та важная лаборатория, в которой создается структура любого языка и где действуют особые закономерности, оставался вне внимания языковедов, философов и психологов только по причине боязни антиисторизма, боязни создать какое-то соссюровское особое царство языка, отрешенное от общества и его истории.

В настоящей статье делается попытка показать на конкретных примерах огромную роль так называемого принципа избирательности, действующего в сфере лексики и грамматики, как одного из главнейших факторов создания структуры любого языка, показать, что изучение принципа избирательности не только не идет вразрез с общеизвестным тезисом советского языкознания о необходимости изучения языка в связи с историей народа, но, наоборот, помогает более отчетливо понять значение этого тезиса, освободить его от всяких вульгарно-социологических истолкований.

Все огромное лексическое богатство современных развитых языков и вообще словарный состав любого языка представляет отражение многовекового исторического опыта человека, результат длительного процесса познания окружающей действительности, предметов и явлений окружающего нас материального мира, их свойств, качеств и закономерных связей между ними.

Но помимо внешних импульсов, вызывающих появление новых слов в языке, существуют закономерности внутреннего порядка, наличие особых процессов, роль и значение которых в формировании словарного состава языка оказываются иногда нисколько не меньшими по сравнению с ролью и значением внешних факторов.

Внешний фактор всегда вызывает необходимость в создании того или иного слова. Так, например, в связи с появлением в СССР системы колхозного труда был создан термин «трудодень».

Каким образом будет удовлетворена возникшая необходимость, вызванная внешними факторами, зависит от результата действия различных внутренних, языковых факторов. Каждый язык представляет зафиксированную и функционирующую систему слов. Новое наименование может быть введено в эту систему путем включения слова, заимствованного из другого языка. Заимствованное слово утверждается в системе лексики того или иного языка, когда ее сопротивление оказывается ослабленным. Заимствование чаще всего свидетельствует о том, что в системе лексических средств заимствующего языка не было адэкватных средств для выражения нового понятия. Гораздо больший интерес представляет другой случай, когда для создания нового слова используются внутренние ресурсы данного языка. Многочисленные лингвистические изыскания, производимые в области лексики различных языков, все более и более приводят к выводу об огромной роли так называемого принципа избирательности как главнейшего внутреннего фактора, обусловливающего наличие различных внутренних процессов образования словарного состава языков.

Для того чтобы какой-либо новый предмет или явление нашли свое выражение в слове, они должны быть сопоставлены с уже обозначенными в языке предметами и явлениями. Человеческое мышление как бы производит выбор, с чем можно этот новый предмет или явление сопоставить. Каждый предмет обладает совокупностью определенных признаков. Нередко оказывается, что часть признаков или один признак, носителем которого является ранее неизвестный данному человеческому коллективу предмет, в какой-то мере совпадает с какими-либо признаками или с одним признаком уже известных этому коллективу предметов или явлений, имеющих словесное наименование в данном языке.

Предположим, что в каком-то языке возникла необходимость в обозначении такого предмета, как «гора». «Гора» может быть носителем целого ряда признаков. «Гора» есть нечто выдающееся над поверхностью земли, массивное, высокое, нередко покрытое лесом. Мышление производит выбор какого-либо одного из признаков, причем в разных языках могут быть выбраны не одинаковые признаки. Затем этот признак сопоставляется с признаками предметов, имеющих в данном языке словесное обозначение, и происходит использование уже существующего слова для наименования нового.

Так, например, в немецком «гора» была названа словом Berg по принципу выделения высоты как одного из признаков данного предмета, что подтверждается этимологическими изысканиями; ср. армянское *барцзыр* «высокий» (из bargər), латинское fortis «сильный» (из bhorgtis) первоначально «высокий». Латинское слово mons «гора» этимологически связано с другим признаком горы, именно с чем-то выдающимся над поверхностью земли, ср. латинский глагол prominere «выдаваться над землей». Литовское название горы kalnas связано с литовским глаголом kelti «подниматься», болгарское *планина* связано этимологически с латинским planus «плоский» и первоначально обозначало невысокое плоскогорье, финское vuori «гора», удмуртское *выр* «небольшая возвышенность» первоначально несомненно были ассоциированы с «лесом», ср. в коми *вöр* «лес». Со словами «лес», «дубовый лес», повидимому, также ассоциировано готское fairguni «гора», представляющее заимствование кельтского percunia, которое в свою очередь сопоставляется с латинским quercus «дуб». Интересны случаи обратного переноса названия горы на название леса, например, болгарское *гора* «лес», также литовское giria «лес». Этимологический анализ сербохорватского слова brdo «гора» устанавливает его связь с древневерхненемецким bort «край». Действительно, горы могут служить разделом, что и было в данном случае выбрано в качестве одного из признаков горы.

Для доказательства действительного наличия принципа избирательности и его огромной роли как важнейшего внутреннего фактора образования словарного состава языка ниже приводятся различные примеры, представляющие результаты этимологических изысканий в области различных языков.

Греческое ὄρνις «птица» этимологически связано с греческим глаголом ὄρνυμι «подниматься» и латинским oriri «подниматься»; испанское pajaro «птица» и румынское pasăre происходят от латинского passer, собственно «воробей». Греческое πρόσωπον «лицо» буквально означает «то, что находится перед глазами», но литовское veidas связано с индоевропейским глагольным корнем weid «видеть», ср. латинское videre «видеть», греческ. εἶδον «я увидел» из eweidon, латинское facies «лицо» связано с глаголом facere «делать», собственно «творение», нечто созданное, ср. польское twarz; коми-зырянское *нырвом* «лицо» буквально означает «нос—рот», собственно «средоточие носа и рта»; греческое μέτωπον «лоб», буквально «то, что находится между глаз», немецкое Stirn связано с латинским sternere «простираться», русское *лоб* этимологически связывается с чешским leb «череп»; латинское supercilium «бровь» буквально означает «то, что находится над веком», ср. латинское cilium «веко», но литовское antakis буквально означает «то, что находится над глазом»; греческое πούς «нога», род. п. ποδός этимологически связано с русским *под* «основание печи», тогда как русское *нога* определенно связывается с греческим ὄνυξ, род. п. ὄνυχος «ноготь», литовским nagas и латышским nags «ноготь»; французское maison «дом»

от латинского mansio «остановка, пребывание», русское *дом* связано с греческим глаголом δέμω «строить»; латинское porta «дверь» этимологически связано с глаголом portare «нести» и греческим πόρος «проход» (т. е. первоначально «место, через которое проходят»), чешское brana связывается с русским глаголом *оборонять*; русское *окно* этимологически связано со словом *око* (*глаз*), сербское *прозор* «окно» связано с русским глаголом *взирать*, т. е. «смотреть», тогда как испанское ventana связано с латинским ventus «ветер», новогреческое παράθυρο «окно» буквально означает «то, что находится около двери»; греческое τράπεζα «стол» из tetrapedi̯a буквально «то, что стоит на четырех ножках», русское *стол* этимологически связывается с глаголом «стлать», французское table происходит от латинского tabula «доска»; греческое ἀγρός «поле» связано этимологически с глаголом agere «гнать, вести» (место, куда выгоняют скот), новогреческое χωράφι «поле», ср. греческое χώρα «местность, страна», буквально «место, около которого находится деревня», литовское laukas «поле», буквально «открытое, свободное от деревьев место», латышское lauks «поле», буквально «расчищенное от деревьев место», чешское role связывается со старославянским *рало* «плуг», собственно «место, предназначенное для пахоты»; русское *плотник* связано этимологически с глаголами *плотить* и *плести*, тогда как греческое τέκτων «плотник» этимологически связано с русским глаголом *тесать*, итальянское falegname «плотник» связано с глаголом fare «делать» и legname «дерево»; греческое πτωχός «нищий», буквально «сгибающийся, кланяющийся», греческий глагол πτήσσω «сгибать», новогреческое ζητιάνος буквально «просящий», глагол ζητῶ «просить», латышское diedelnieks буквально «бродящий», глагол diedelet «бродить»; греческое κλέπτης «вор», глагол κλέπτω «красть», первоначальная связь, вероятно, с глаголом «утаивать», латинское occulere, ирландское celim, латинское fur, очевидно, заимствование греческого синонимического слова φώρ «вор», связанного с глаголом φέρω «нести», собственно «тот, кто что-либо уносит», французское voleur «вор», глагол voler «красть» связано с глаголом voler «летать», первоначальный смысл «быстро стянуть что-либо», итальянское latro, испанское ladron «вор» восходит к латинскому latro, собственно «наемный солдат», финское salaja «вор», собственно означает «укрыватель»; греческое ἀγορά «рынок», первоначально «место собрания, сборища», связано с глаголом ἄγω «гнать», русское *рынок*, связь с немецким Ring «кольцо», латинское forum, связь с fores «дверь» и русским *дверь*; латинское angustus «узкий», буквально «сжатый», ср. греческое ἄγχω «сжимать», итальянское stretto, французское étroit, испанское estrecho «узкий», от латинского strictus, собственно «связанный», глагол stringere «связывать»; греческое τελευταῖος «последний», собственно «находящийся в конце» (τελευτή «конец»), французское dernier «последний», буквально «задний» из de-retro, русское *последний* связано с глаголом «следовать»; греческое παλαιός «старый», валлийское pell «далеко отстоящий», латинское vetus

«старый», очевидная связь с греческим ἔτος «год» из wetos, албанское vit «год», vetus «старый», т. е. «имеющий много лет»; венгерское vörös «красный», хантыйское *вуртэ* «красный» связано с финским veri, коми-зырянское *вир* «кровь», русское *красный* этимологически связано с существительным *краса*, румынское roşiu «красный», итальянское rosso, испанское rojo от латинского roseus, связь с цветом розы; латинское periculum «опасность», связь с греческим πεῖρα «попытка», русское *опасность* связано с глаголом *спасать*, тогда как французское danger «опасность» связано с позднелатинским damnum «власть, сила»; русское *трусливый*, первоначальная связь с глаголом *трясти*, с латинским terreo из terseo «устрашать», испанское cobarde «трусливый» связано с латинским cauda «хвост», cobarde собственно «поджимающий хвост»; английское good «хороший», немецкое gut первоначально «приходящийся во-время», ср. русское *год*, латышское labs «хороший» связано с литовским глаголом lobti «обогащаться», литовское geras «хороший» связывается с литовским глаголом girti «хвалить», geras собственно «достойный похвалы»; русское *ошибка* связано с глаголом «сшибить, зашибать», т. е. «наносить удар, удариться», немецкое Fehler «ошибка» связано с глаголом fehlen «недоставать», английское mistake от глагола mistake буквально «взять что-либо неправильно»; латинское intellegere «понимать» связано с inter «между» и legere «собирать», коми-зырянское *гӧгӧрвоны* «понимать» составлено из *гӧгӧр* «кругом» и *воны* «придти», древнеанглийское understandan «понимать», современное understand буквально «стоять под»; русское *змея* этимологически связано со словом *земля, змея*, собственно «ползающая по земле», латинское serpens от глагола serpo «ползать», собственно «ползающая», древнеисландское ormr «змея» связано с немецким wurm «червяк»; русское *картофель* от немецкого Kartoffel, которое произошло в свою очередь от итальянского (генуэзский диалект) tartufolo, собственно «трюфель», французское pomme de terre буквально «земляное яблоко», белорусское *бульба*, польское bulba, литовское bulve от латинского bulbus «луковица»; новогреческое δάσος «лес» связано с прилагательным δασύς «густой», итальянское bosco «лес», французское bois от латинского boscus, первоначально «лесное пастбище», румынское pădure от латинского palus, род. п. paludis «болото», древненорвежское skogr «лес», датск. skov, шведское skog связано с древненорвежским глаголом skaga «выдаваться»; литовское giria «лес» ассоциировано со словом «гора» («гора, покрытая лесом»), сербо-хорватское šuma «лес», ассоциация с чем-то издающим шум, ср. русское *шуметь*; греческое βροχή «дождь» связано с глаголом βρέχω «погружать в воду, смачивать», латинское pluvia «дождь» связано с греческим глаголом πλέω «плыть», литовское lietus связано с русским глаголом *лить*; латинское osculari «целовать» этимологически связано с латинским словом os «рот», тогда как русское *целовать* связано этимологически со словом *целый*; «слуга» по-древнегречески ὑπηρέτης, собственно «младший гребец» (under rower),

итальянское servitore связано с латинским servus «раб» и глаголом servire «служить», тогда как французское domestique «слуга» связано с латинским domus «дом»; «товарищ» в литовском языке — draugas, собственно «друг», латинское socius «товарищ, союзник» связывается с глаголом sequi «следовать», новогреческое σύντροφος значит «вместе воспитанный, вскормленный», итальянское compagno и испанское companero буквально означает «тот, кто имеет общий хлеб», ср. латинское panis «хлеб», французское camarade «товарищ», первоначально «комнатный слуга», этимологически связывается со словом camera «комната»; немецкое Nachbar «сосед», первоначально «живущий близко», русское *сосед* буквально «вместе сидящий», литовское kaiminas собственно «односельчанин», kaimas «деревня»; русское *обвинять* значит «утверждать виновность», древнегреческое κατηγορέω буквально «говорить против кого-нибудь на собрании», латинское accusare «обвинять» связано со словом causa «дело, судебный процесс»; «пушка» по-французски canon, итальянское canone связано с латинским canna «тростник, трубка из тростника», румынское tun «пушка», множественное число tunuri связано с латинским tonus «звук, гром», чешское delo непосредственно этимологически увязывается с русским словом *дело*; кузнец по-древнегречески χαλκεύς буквально «медник», ср. древнегреческое χαλκός «медь», татарское *тимерче* буквально «железник» (*тимер* «железо»), русское *кузнец* этимологически связано с глаголом «ковать»; новогреческое народное γύφτος буквально означает «цыган» от Αἰγύπτειος; новогреческое κυνηγέω «охотиться», буквально «проганивать собак», коми-зырянское *вӧравны* буквально значит «бродить по лесу», французское chasser восходит к позднелатинскому captiare «схватывать», фреквентивный глагол от capere «хватать», русское *охотиться* значит буквально «удовлетворять или проявлять желание»; «колбаса» по-латински farcimen, этимологическая связь с глаголом farcire «набивать», новогреческое λουκάνικο «сосиска» происходит от латинского lucanica — сорт сосисок, изобретенных Лукианом, французское saucisse «сосиска» связано с латинским salsus «соленый»; млечный путь по-немецки Milchstrasse буквально «молочная улица», по-татарски *каз юлы*, буквально «гусиный путь»; литовское слово dentis «зуб» (ср. также латинское dens, род. п. dentis и греческое ὀδούς, род. п. ὀδόντος с тем же значением) представляет по происхождению причастие настоящего времени от индоевропейского глагольного корня ed «есть, кушать», тогда как русское *зуб* и латышское zobs первоначально означали «небольшой колышек, деревянный гвоздь, болт», ср. гомеровское γόμφος «деревянный гвоздь» (впрочем, слово этого корня было и в древнелитовском языке, ср. финское hammas «зуб» из древнелитовского žambas); литовское ruduo «осень», латышское rudens «осень» этимологически связаны с прилагательным «рыжий» — первоначальная ассоциация с краснеющими желтеющими осенью листьями деревьев, тогда как русское *осень* этимологически связывается с готским asans, означающим «жатва»;

литовское bernas «парень» и латышское berus «дитя» связаны с индоевропейским глагольным корнем * bher «носить», французское enfant «дитя» происходит от латинского infans буквально «не говорящий»; литовское krantas «берег» этимологически связано с русским прилагательным *крутой*, т. е. с понятием крутизны, новогреческое παραλία буквально означает «нечто, находящееся около моря», испанское costa «берег» связано с латинским costa «ребро, край», сербохорватское obala этимологически связано с русским глаголом *обваливаться, обвалиться*; латышское debess «небо» из nebess связано с русским *небо*, этимологически в свою очередь связанным с древнеиндийским nabhas «облако», латинским nebula «туман», немецким Nebel «туман», древнегреческим νέφος «облако», тогда как литовское dangus «небо» связано с глаголом dengti «покрывать»; украинское *рік* «год» связано с русским *рок* «судьба», буквально «назначенное время», откуда дальнейшая этимологическая связь с русским глаголом *изрекать, изречь*, немецкое Jahr «год» связано с греческим ὥρα «час, период времени»; русское *голубой* этимологически связано со словом «голубь», румынское albastru связано с латинским albus «белый», польское niebieski связано со словом niebo «небо»; французское casser «ломать» происходит от латинского quassare буквально «трясти», румынское a sparge «ломать» связано уже с другим латинским глаголом — spargere «рассеивать»; латинское claudere «запирать» имеет явную связь с существительным clavis «ключ», тогда как французское fermer «запирать» связывается с латинским прилагательным firmus «крепкий, устойчивый»; латинское flumen «река» связано этимологически с глаголом fluere «течь», французское rivier «река», по мнению этимологов, образовалось от латинского существительного ripa «берег», удмуртское *шур* «река» представляет, повидимому, переосмысление первоначального значения «ручей», ср. коми *шор* «ручей», несомненно содержащее элемент звукоподражания; немецкое schildern «изображать, рисовать» связано с Schield «щит», schildern первоначально означало «изготовлять щиты», «разрисовывать щиты», отсюда развилось значение «рисовать, изображать»; латинское pingere «рисовать», первоначально «испещрять», увязывается с греческим ποικίλος «пестрый», греческое ζωγραφέω буквально означает «живописать»; *драться* в русском языке буквально означает «драть взаимно друг друга», в татарском *сугышырга* «драться» буквально означает «бить друг друга взаимно»; латинское слово pecunia «деньги» связано со словом pecus «скот», во французском argent «деньги» без особого труда узнается латинское argentum «серебро», а в испанском dinero — латинская денежная единица dinarius; итальянский глагол cercare «искать» этимологически связан с латинским circa «около, вокруг», испанский глагол buscar «искать» увязывается этимологами с народнолатинским существительным busca «лес», buscar означало некогда «ходить в лесу и искать дрова»; испанский глагол cortar «резать» исторически восходит к народнолатинскому глаголу curtare «укорачивать»,

французский глагол couper того же значения увязывается с существительным coup «удар»; итальянское lavorare «работать» связано с латинским существительным labor «труд», французское travailler того же значения увязывается с позднелатинским существительным tropallium «орудие пытки», а румынское a lucra «работать» исторически развилось из латинского lucubrare «работать ночью».

Довольно любопытны факты случайного совпадения в выборе одинаковых признаков при первичной номинации, ср. коми-зырянское *вочакыв* «ответ», буквально «слово против кого-либо», марийское *вашмут*, немецкое Antwort. Все три слова образованы по одинаковой схеме. Немецкое Feuerstein «кремень» (по схеме «огонь + камень»), мордовское *толгев* «кремень», образованное по той же схеме; латышское saprot, литовское suprasti «понимать» связаны оба со словом «разум» (литовское protas «разум», латышское prats), ср. в древнегреческом ἐννοέω «понимать» (греческое νοῦς «разум»), ср. также чешское rozumeti; литовское medzioti «охотиться» связано со словом «лес» (medis «дерево», в древнелитовском «лес»), с «лесом» также связано коми-зырянское *вӧравны* «охотиться» (ср. *вӧр* «лес») и финское metsästaja (metsä по-фински «лес»). Турецкое evlenmek и татарское *әйләнергә* «жениться» значит буквально «обзаводиться домом», ср. испанское casarse (испанское casa «дом»); коми-зырянское *вадор* «берег» собственно означает «край воды», тот же принцип в финском ranta «берег», повидимому, заимствование из германских языков, ср. немецкое Rand «край»; татарское *хатын-кыз* «женщина», буквально «женщина-девушка», в коми *ныв-баба* «женщина», буквально «девушка-баба, девушка-женщина»; мордовское *пейдемс* «смеяться», буквально «скалить зубы», румынское a zâmbi «смеяться», вероятная связь со славянским словом *зуб*, ср. старославянское зѫбъ; татарское *күк* «голубой» связано этимологически со словом *күк*, означающим «небо»; ср. аналогичный пример в польском, где слово niebieski «голубой» также этимологически связано с небом; греческое ψυχή «душа» связано с глаголом ψύχω «дуть, дышать», ср. также латышское dvesele «душа», связанное этимологически с латышским глаголом dvašot «дышать», ср. русское *душа* и *дышать*; русское *река*, ср. индоевропейский корень rei «течь», финское joki «река», ср. марийское *йогаш* «течь»; мордовское *ярсамопель* «еда», буквально «часть еды», коми *сеянтор* «еда» образовано по той же схеме «часть еды»; коми *дзоньвидзалун* «здоровье», буквально «здоровый день», по аналогии с *пемыдлун* «темнота» из первоначального сочетания *пемыдлун*, т. е. «темный день», эрзя-мордовское *шумбрачи* «здоровье» образовано по той же схеме «здоровый день».

Процессы номинации по принципу избирательности в языке непрерывны. Приводимые ниже примеры наглядно показывают возможность нового наименования одного и того же предмета.

Древнегреческое ὕδωρ «вода», новогреческое νερό (эллипсис выражения νεαρὸν ὕδωρ «пресная вода»); латинское ignis «огонь», народно-

латинское focus, откуда название «огня» в романских языках: французское feu, испанское fuego, итальянское fuoco; древнегреческое ὕλη «лес», новогреческое δάσος (связь с δασύς «густой»); древнегреческое σελήνη «луна», новогреческое φεγγάρι (связь с φέγγος «свет»); латинское caecus «слепой», французское aveugle «слепой» от латинского aboculus, буквально «лишенный глаза»; древнегреческий глагол ἔδω «есть» в новогреческом сменился новым глаголом φάω, первоначальное значение «грызть», латинское edere «есть», французское manger от народнолатинского manducare «заправлять рукой»; древнегреческое ἵππος «лошадь» было заменено в новогреческом языке словом ἄλογο (эллипсис выражения ἄλογον ζῷον «неразумное животное»), латинское equus «лошадь» в романских языках было совершенно вытеснено словом caballus; латинское anser «гусь» заменено в итальянском словом «оса» из avicula, собственно «птичка»; латинское caput «голова», французское tete, итальянское testa буквально «черепок»; *тыл* «огонь» в коми-зырянском было вытеснено новым словом *би*, по предположению Д. В. Бубриха, этимологически связанным с финским словом päivä «день»; латинское os «рот» было вытеснено в романских языках словом bucca, буквально «щека».

Необычайно велика роль принципа избирательности в создании различных синонимов. При назывании какого-либо нового оттенка в значении слова человеческое сознание идет по этому же пути, что может быть проиллюстрировано довольно многочисленными примерами.

Румынский язык знает два синонима, обозначающих «берег»: mal слово, унаследованное, повидимому, от фракийского языкового субстрата (ср. албанское mal «гора»), и ţărm от латинского termen «край»; в итальянском языке существует три основных синонима для обозначения «дороги»: strada собственно «мостовая», от латинского stratum «слой», cammino слово галльского происхождения и via от латинского via «путь». Для глагола «следовать» в древнегреческом языке есть два синонима — ἕπομαι и ἀκολουθέω; первый из них связан с латинским sequor «следовать», а второй с существительным κέλευθος «путь», ἀκολουθέω значит «идти по пути». Два древнегреческих синонима для глагола «бросать» — ῥίπτω и βάλλω — основаны также на разных признаках: ῥίπτω от корня wrip, ср. древневерхненемецкое werfan, готское wairpan, тогда как βάλλω связано с корнем qwel, который прослеживается в немецком quellen «бить ключом». Три латинских синонима ire, vadere и ambulare имеют различные источники происхождения: ire связано с русским *идти*, греческим εἶμι, vadere с немецким waten «переходить реку в брод», ambulare, очевидно, значило «бродить кругом», ср. греческое ἀμφί «кругом».

Принцип избирательности наблюдается и при создании грамматических форм, хотя в этой области имеется своя специфика.

Чтобы новый предмет или новое понятие получили словесное наименование, которое было бы таким образом включено в систему

обращающихся в процессе коммуникации лексических средств языка, необходимо, как уже говорилось выше, использовать какое-либо слово своего языка по принципу выбора одного из сходных признаков, имеющихся у других предметов или явлений, уже получивших в языке наименование, или заимствовать соответствующее слово из другого языка. Точно так же любое отношение требует какого-то языкового выражения, поэтому мышление человека ищет в наличной системе лексических средств языка возможные способы выражения того или иного отношения. Однако избирательность, проявляющаяся в этих случаях, несколько отлична от избирательности, наблюдаемой в процессе образования новых слов. При образовании новых слов происходит сличение признаков. Достаточно наличия у горы такого признака, как высота, чтобы слово, означающее «высокий», могло быть использовано для названия горы; ср. немецкое Berg «гора», армянское *барǳр* «высокий». В области лексики возможности избирательности почти безграничны. Иначе обстоит дело в области грамматики. Здесь для осуществления избирательности необходимо сличение каких-то признаков, характеризующих то или иное отношение, с признаками, характеризующими выражаемое словом понятие.

Возможности в этой области крайне ограниченны. В самом деле, что может быть общего между такими понятиями, как «вода» или «лес», и отношением, выражающимся родительным или местным падежом? Совершенно ясно, что никаких точек соприкосновения в данном случае нет. Но если бы лексика закрывала всякие возможности для ее использования в этом отношении, то грамматике почти неоткуда было бы брать строительный материал. В действительности такого кризиса не бывает. Некоторая прослойка лексики может быть использована как строительный материал грамматики (прежде всего местоимения, предлоги, некоторые глаголы и существительные). Если в процессе образования слова человеческое мышление стремится сличить один признак с другим признаком, то в области грамматики происходит сличение характера функции с элементами релятивности в семантике слова или другими ее элементами, которые могли бы быть использованы для языкового выражения отношения. Поясним это на конкретных примерах. Материалом для образования форм местного падежа, означающего местонахождение предмета в чем-либо, часто оказываются такие слова, как «внутренность», «середина» и т. п. Нетрудно определить причину их использования. Само слово «внутренность» тем и отличается от слов, означающих «лес», «дом» и т. п., что в своей семантике оно содержит момент релятивности (середина есть известная часть целого). Поэтому сначала образуется конструкция «во внутренности дома» или «дом-внутренность», которая затем дает существительное с формантом местного падежа. Правда, трудно привести такой пример, который иллюстрировал бы непосредственно происхождение местного падежа от слова «середина», «внутренность»; однако примеров после-

ложных и предложных конструкций можно привести немало, ср. североосетинское *бæсты мидаг* «в стране» (буквально «середина страны»), новогреческое *μέσο στήν πόλη* «в городе», татарское *җир эчендә* «в земле» (буквально «во внутренности земли»), а в современном бенгальском языке находим почти наглядный пример образования своеобразного местного падежа, например, nagarmadhe «в городе», ср. древнеиндийское madhyah «средний».

Для выражения категории лица, выражения отношения действия к определенному лицу нередко употребляется личное местоимение. Ср., например, татарское *син эшлисең* «ты работаешь», *без эшлибез* «мы работаем», где совершенно ясно видно, что личные окончания глаголов образованы от личных местоимений. Функция обозначения лица позволила здесь использовать личные местоимения для выражения отнесенности действия. Иногда вследствие утраты личных глагольных окончаний, как, например, в норвежском, монгольском, отчасти во французском, личные местоимения становятся как бы особыми префиксальными показателями отнесенности действия к определенному лицу, ср. норвежское yag elsker «я люблю», du elsker «ты любишь», han elsker «он любит», французское je lis «я читаю», tu lis «ты читаешь», il lit «он читает» и т. д.

Для осуществления функций утраченных падежей чаще всего применяются предлоги, ср. французское de (например, l'industrie de l'URSS «промышленность СССР»), английское of, норвежское af, голландское van и т. д., выражающие отношение родительного падежа. Функции исчезнувшего родительного падежа обычно осуществляются при помощи предлога, обозначающего удаление от чего-либо. Таким образом, здесь выражение удаления используется для выражения принадлежности. Действительно, выражение удаления может быть переосмыслено как выражение принадлежности (принадлежащий кому-либо, идущий от кого-либо). Однако это не значит, что отношение принадлежности может быть передано только при помощи предлога с этим значением. Известен факт использования прилагательных для выражения принадлежности. Так, в финском языке аффикс родительного падежа n (например, kansan elämä «жизнь народа»), повидимому, развился из окончания древних прилагательных на *н*, *-ан*, ср. марийское *кугу вуян* «большеголовый» (*вуй* «голова»), *кугу капан* «дородный», буквально «обладающий большим телом», и т. д. Здесь была использована определительная функция прилагательного. Действительно, как прилагательное, так и родительный падеж выполняют функцию определения. Совершенно иное проявление избирательности мы находим в некоторых иранских языках. Как известно, отношение принадлежности там может выражаться изафетной конструкцией, ср., например, таджикское *Кахрамони Иттифоки Совети* «Герой Советского Союза». Связующая частица *и* (изафет) по своему происхождению является древним относительным местоимением (ср. древнеперсидское *ya*). Сле-

довательно, изафетная конструкция *Кахрамони Иттифоки Совети* составлена по схеме «Герой, который Советского Союза».

Для образования сложных прошедших аналитических времен служат разные глаголы. Так, для образования перфекта многие западноевропейские языки используют вспомогательный глагол, означающий буквально «иметь», в сочетании с причастием прошедшего времени, например, французское j'ai écrit «я написал», буквально «я имею написанное», немецкое ich habe geschrieben. В балтийских и западнофинских языках перфект образуется при помощи вспомогательного глагола «быть», например, финское minä olen kirjoittanut «я написал», буквально «я есмь написавший». Еще большим разнообразием отличается образование аналитических форм будущего времени. Различные языки нередко используют для этой цели совершенно различные вспомогательные глаголы. Мордовский язык использует для образования формы будущего времени глагол *кармамс*, означающий буквально «начинать», например, *карман ловномо* «я буду читать», *кармат ловномо* «ты будешь читать» и т. д. Коми язык использует глагол *кутны*, означающий буквально «держать», например, *ме кута вузавны* «я буду продавать», *тэ кутан вузавны* «ты будешь продавать» и т. д. В том же языке наблюдаются случаи образования аналитического будущего с помощью глагола *пондыны* «начать», например, *ме понда ыстыны* «я буду посылать». История романских языков показывает, что в народной латыни для образования форм будущего времени служил вспомогательный глагол habere со значением «иметь», например scribere habeo «я буду писать», откуда формы романских языков типа французского j'écrirai. В новогреческом аналитическом будущем времени, например, θά γράφω «я буду писать» частица θά восходит к глаголу θέλω «желать». И, наконец, в русском языке для образования аналитической формы будущего времени употребляется вспомогательный глагол *быть*, например, *я буду писать*.

В некоторых языках существует особый вариант настоящего времени, так называемое настоящее время данного момента. В английском языке форма этого времени образуется из причастия настоящего времени и вспомогательного глагола «быть», например, I am writing «я пишу в данный момент», буквально «я есмь пишущий». В турецком языке для этой цели используется местный падеж инфинитива глагола в соединении со сказуемостной частицей, играющей роль связки, например, o vermektedir «он дает в настоящий момент», o yazmaktadır «он пишет в настоящий момент», буквально «он есть в состоянии давания», «он есть в состоянии писания» и т. д.

Интересны также различные способы выражения определенности имени существительного. В некоторых языках определенность выражается при помощи указательного местоимения, чаще всего с анафорическим значением. Таково образование артиклей в различных языках, например, французского la, le, испанского el, la, греческого

ὁ, ἡ, τό, английского the, мордовского постпозитивного артикля *сь* и т. д. В других языках для выражения определенности используются притяжательные суффиксы, например, в коми-языке, где суффиксы *ыс*, *ыд* употребляются в двояком значении — в значении притяжательных суффиксов и определенных артиклей, так, *керкаыс* «его изба» и «изба (определенная)». Принцип избирательности в том и другом случае выразился в использовании семантики указательных местоимений и лично-притяжательных суффиксов. Указательное местоимение способно выделять один предмет из среды других предметов, следовательно определять его. Точно так же притяжательный суффикс, функционально равный притяжательному местоимению, способен определять и ограничивать предмет.

Таким образом, в области лексики мышление ищет сходства признаков и, выбрав какой-нибудь один из сходных признаков, осуществляет наименование нового предмета или понятия. При создании же грамматических форм мышление ищет те особенности семантики слова, которые могли бы быть использованы для языкового выражения того или иного грамматического отношения.

До сих пор мы рассматривали случаи так называемой конструктивной избирательности, проявляющейся в процессе формирования структуры языка, в процессе создания слов языка и его грамматической структуры.

Но есть другого рода избирательность, которая проявляется в другой области. Изучение взаимоотношений между категориями сознания и категориями грамматики позволяет придти к выводу, что человеческое сознание отражает все предметы и явления окружающего мира, тогда как оформление грамматической структуры языка совершается по принципу избирательности. В области лексики наблюдается только конструктивная избирательность, проявляющаяся в выборе признака, положенного в основу номинации. Что же касается обязательности обозначения предметов или явлений в языке, то всякое явление или предмет, с которыми имеет дело жизненная практика того или иного человеческого коллектива, должны получить наименование. Совершенно по-иному обстоит дело в области грамматики.

Грамматические категории не являются одинаковыми для всех языков, в одних языках их больше, в других меньше. Для того чтобы обосновать этот тезис, мы попытаемся охарактеризовать такое явление, как глагольное действие. Глагольное действие по своей природе является процессуальным признаком имени существительного. Этот признак, в отличие от признака предмета, характеризующего его качество, например, «красный», «белый», «черный», «зеленый», «молодой», «старый» и т. д., не является постоянным и проявляется лишь окказионально, в определенной ситуации.

Глагольное действие может иметь много характеристик и отдельных особенностей. Оно может иметь различные видовые характеристики,

может быть курсивным или длящимся, может рассматриваться с точки зрения его законченности. Действие может быть также прерывистым, интенсивным или мало интенсивным. Многочисленны различные локальные характеристики действия: движение от чего-либо или к чему-либо, через что-либо, вдоль чего-либо и т. д. Действие может иметь отношение к моменту речи, может происходить в данный момент, предшествовать какому-нибудь другому действию или вообще не иметь никакого отношения к моменту речи. Любопытным является тот факт, что ни один язык мира в своей морфологической системе не выражает всех этих возможных характеристик одновременно.

В разных языках по принципу избирательности получают выражение в грамматическом строе какие-то определенные черты, характеризующие действие. Все остальные черты могут не получать никакого формального выражения.

Наиболее интересным в этом отношении является выражение в языках совершенности и несовершенности глагольного действия. В целом ряде языков совершенность и несовершенность действия не получают никакого выражения в грамматическом строе. Так, например, глагол в коми-зырянском языке абсолютно индифферентен к выражению этой особенности, в чем нетрудно убедиться при сравнении следующих примеров.

Пыдö муö вужъясьöма великан пожöм. Пöльтлiсны войтöвъяс, кисьтлiсны зеръяс, жаритлiс шондi, а сiйö öтарö век быдмiс да быдмiс «Глубоко в землю пустила корни сосна-великан. Дули северные ветры, поливали дожди, палило солнце, а она все росла и росла». В данном примере форма *быдмiс* (3-е лицо ед. ч. прошедшего времени от глагола *быдмыны*) выражает несовершенный характер действия (*быдмiс* «росла»). *Сiйö чужлiс и быдмiс приамурскöй тайгаын* «Он родился и вырос в приамурской тайге». В данном случае форма *быдмiс* выражает уже законченность действия (*быдмiс* «вырос»).

То же самое можно сказать и о мордовском языке, где фраза *ломань мерсь* может в одинаковой степени означать «человек сказал» и «человек говорил». Таким образом, совершенность и несовершенность действия в этих языках фактически не выражается самой формой прошедшего времени.

Означает ли все это, что в процессе коммуникации никогда не возникает никакой необходимости в выражении совершенности или несовершенности действия, что для говорящего абсолютно безразлично, как сказать: «я получал деньги» или «получил деньги»? Разумеется, нет. Дело в том, что имеется значительное количество различного рода компенсаторов, в той или иной мере обеспечивающих возможность понимания высказываемого. К таким компенсаторам относится прежде всего общий контекст речи, помогающий в каждом отдельном случае точно определить, идет ли речь о действии курсивном. Совершенность действия, его фактическая законченность является фактом реальной

действительности. Человеческое же сознание способно отражать все действительно существующее в реальной действительности. Поэтому даже в сознании тех народов, в языке которых глагол является нейтральным к выражению совершенности или несовершенности действия, представление о совершенном и несовершенном характере действия несомненно имеется. В коми языке наблюдаются случаи специализации некоторых прошедших времен в видовом отношении. Так, например, прошедшее результативное в этом языке всегда выражает законченное действие, например: *тӧдӧ каньыд, кодлысь яйсӧ сёйӧма* «знает кошка, чье мясо съела» или: *Киевын велӧдчӧ бать динас гожӧм кежлӧ воӧма* «в Киеве учится, к отцу на лето приехала». Одно из аналитических прошедших времен коми языка типа *ме муна вӧлі* «я шел» может выражать глагольное действие только несовершенного вида. Точно так же и в мордовском языке. Там глагол объектного спряжения в огромном большинстве случаев выражает в прошедшем времени совершенное действие, например: *Якстере сокиця колхозонь колхозник-тнэ прядызь тундонь-видема* «Колхозники колхоза «Красный пахарь» закончили весенний сев». Одно из прошедших времен мордовского языка, так называемое продленно-прошедшее время, может выражать только действие несовершенного вида. Кроме того, видовая характеристика может заключаться и в самой семантике глагола. Таким образом, обилие всевозможных средств выражения совершенности или несовершенности действия может привести к тому, что глагол в языке может и не получить специального форматива для выражения совершенного или несовершенного характера действия.

Часто наблюдаются случаи, когда один язык выражает такие детали, которые в другом языке не находят никакого выражения или выражаются только частично. Так, например, в коми языке существует специальный видовой суффикс *ав*, обозначающий действие, рассредоточенное по месту или времени, например: *войбыд Смольнӧй дінӧ воалісны революционнӧй войсковӧй частьяс* «Всю ночь к Смольному подходили (с разных направлений) революционные войсковые части»; *Пирамидаяс стрӧитігӧн уна сюрс йӧз кулалісны сотчысь шондi улын* «Во время постройки пирамид много тысяч народа умирало (в разные моменты) под палящим солнцем» или *Усiс гӧн кодя лым. Му вылӧ водалiсны еджыд бобувъяс* «Падал на землю похожий на пух снег. На землю садились (в разных местах) белые бабочки». В русском языке для выражения этой особенности нет каких-либо особых глагольных суффиксов. Это, конечно, не значит, что русский совершенно не осознает особенности глагольного действия, которое может быть рассредоточенным по разным местам или совершаться в разные моменты.

Однако по принципу избирательности в грамматической структуре коми языка эта деталь была отмечена, а в грамматической структуре русского языка она не получила специального выражения.

Конечно, и в русском языке некоторые глагольные приставки могут указывать на разбросанность действия по разным местам или направлениям, например: *из всех городов съезжались делегаты*; *целую ночь раздавали оружие*. Иногда разбросанность действия в русском языке выражается при помощи лексических средств, например: *то тут, то там возникали пожары*. Однако ее выражение не имеет регулярного характера.

Русский глагол, если не иметь в виду значения некоторых приставок, например, *за* в таких глаголах, как *зайти* и т. д., почти совершенно индифферентен к такой особенности глагольного действия, как действие на время. Форма прошедшего времени от глагола *дать* будет абсолютно одинакова в таких предложениях, как *я дал ему книгу* и *я дал ему пять рублей до завтра*. Коми-зырянский язык обычно выражает это различие морфологическими средствами, например, *сетiс* «дал» (вообще), но *сетлiс* «он дал» (на некоторое время, чтобы впоследствии снова взять назад), *босьтiс* «он взял», но *босьтлiс* «он взял» (чтобы через некоторое время вернуть назад).

Говорящий может быть сам очевидцем совершившегося в прошлом действия, но он может и сообщать о нем со слов других или судить о наличии действия по его результатам. Однако по принципу избирательности факт неочевидности глагольного действия в одних языках находит выражение в структуре глагола, в других — глагол остается совершенно индифферентным к выражению этой особенности.

Так, например, для грамматики русского и мордовского языков совершенно не имеет значения, является ли говорящий очевидцем действия или не является; в этом легко убедиться из сравнения следующих примеров: «Был, видно, в сумке хлеб или сухари, да птица или звери расправились с этой едой» (Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке). В данном случае говорящий сам не видел хлеба и сухарей в сумке и не наблюдал, как птицы или звери уничтожали этот хлеб. Он строит свое суждение на основании наличия некоторых признаков, свидетельствующих о том, что вероятнее всего дело обстояло именно так. Однако факт неочевидности действия не находит никакого специального выражения в морфологии самого глагола. То же самое имеет место и в мордовском языке. Для сравнения можно привести эту же фразу в переводе на мокша-мордовский язык: *Ульсть, наверна, сумкаса кши или коське кшит, да нармонць или зверсь кенерсть ни фатямс тя ярхцамбяльть*.

В этом случае факт неочевидности действия не отразился в морфологии мордовского глагола. Формы *ульсть* «были» и *кенярсть* буквально «успели» (*кенерсть фатямс* «успели взять») могли быть с равным правом употреблены, если бы говорящий был очевидцем действия. Совершенно иначе обстоит дело в коми-зырянском и татарских языках, где факт неочевидности действия отражается в морфологии глагола. Для сравнения приводим тот же пример в коми-зырянском: *Вӧлӧма, тыдалӧ,*

сумкаас нянь либӧ сукар, да лэбачьяс либӧ зверьяс куштӧмаӧсь сійӧс.

В данном случае глагол *вӧвны* «быть» и *куштыны* буквально «щипать» употреблены в форме так называемого прошедшего неочевидного времени. Ср. *Сумкада икмэкме яки сухаримы булган булса кирэк, лэкин кошлармы яисэ җәнлеклэрме аларны ашап бетергэннэр*, где глаголы *булырга* «быть» и *ашап бетерергэ* «быть» также употреблены в форме прошедшего неочевидного времени.

Интересно выражение такой особенности, как переходный или непереходный характер действия. Например, в русском языке переходность или непереходность никакими особыми морфологическими средствами не выражается. Иначе обстоит дело в кавказских языках, где с переходностью глагольного действия связана особая глагольная конструкция предложения, так называемая эргативная конструкция. Переходный глагол в этой конструкции всегда включает в свой состав особые показатели субъекта. В некоторых финно-угорских языках переходный характер действия выражается лишь частично особыми словообразовательными суффиксами переходности, например, в коми языке *лог* «гнев», но *логӧдны* «сердить» (*ӧд* — суффикс переходности), *манка* — «манная каша», но *манкаӧдны* «накормить манной кашей». Наряду с глаголами с суффиксом *ӧд*, существуют переходные глаголы, не имеющие суффикса, например *гижны* «писать», *вӧчны* «делать», *сёйны* «есть» и т. п.

Большое разнообразие проявляют языки в области выражения различных времен. Настоящее время в русском языке выражает или действие, совпадающее с моментом речи, или действие, постоянно совершающееся в любое время. Русский язык не проводит никаких формальных различий между этими двумя значениями и выражает их одной и той же формой настоящего времени, например, *он сидит и пишет* и *он пишет стихи*. В некоторых языках настоящее время данного момента получает особое оформление, например, в турецком: ol yazmaktadır «он пишет в данный момент», ol okumaktadır «он читает в данный момент». То же самое явление наблюдается и в английском языке, например, he is writing «он пишет в данный момент», he is reading «он читает в данный момент». Подобные же явления находим в современных кельтских языках.

Встречаются также языки, где действие, происходящее в данный момент, выражается, но не регулярно, а повидимому, только в случаях особой эмфазы. Так, действие, происходящее в данный момент, выражается в современном албанском языке с помощью частицы *po*, сопровождающей формы настоящего времени, например, plani i pullëzimit po realizohet me sukses «план лесонасаждений осуществляется в данный момент успешно».

То же явление наблюдается и в марийском языке, где для выражения настоящего времени континуозного характера употребляется

вспомогательный глагол *шогаш*, например, *тудо налын шога* «он берет в данный момент».

Некоторые языки имеют особые формы для настоящего времени, обозначающего действие, совершаемое постоянно, например, в бретонском есть специальная форма для настоящего обычного времени. То же самое наблюдается в ненецком языке, например, *то* «он пришел», «он приехал», *тосеты* «он обычно приходит», «он обычно приезжает»[1].

Столь же многочисленны различные оттенки в области выражения прошедших времен. Русская глагольная система знает только одно прошедшее время, характеризующееся суффиксом *л*, например, *писал, ходил, взял* и т. д. Русский язык, а также некоторые другие языки, как, например, мордовский, а отчасти и коми-зырянский, обычно безразличны к тому, является ли совершившееся в прошлом действие предшествующим другому действию или не является. Этот факт не находит обычно никакого отражения в грамматическом строе данных языков, в чем можно убедиться при сопоставлении следующих примеров: *Еще вчера, прикрывая тело сестры плащ-палаткой, он заметил возле нее брезентовую сумку с красным крестом.* В коми языке: *Тӧрыт на, сестралысь телӧсӧ плащпалаткаӧн вевтялигӧн, сы дінысь сійӧ аддзис гӧрд креста брезентӧвӧй сумка.* В мокша-мордовском: *нинге исяк сестранть теланц плащ-палаткаса вельхтямста, сон няйсь сонь маластонза якстерь крёз мархта брезентовай сумка.*

Как в коми, так и в мордовском языках глагольные формы *адзис* «увидел» и *няйсь* «увидел» с успехом могут употребляться в тех случаях, когда действие фактически не является предшествующим другому.

Другое дело в татарском языке: *эле кичә, сестраның гәүдәсен плащ-палатка белән каплаганда, ул аның янында кызыл тәреле брезент сумка күргән иде.* В данном случае глагол *күрергә* «видеть» употреблен в форме преждепрошедшего времени, или плюсквамперфекта.

В немецком и английском, например, этот оттенок действия также находит свое выражение в морфологии, ср. в английском: They had kipped the goods when your telegram arrived «они (уже) отгрузили товары, когда прибыла ваша телеграмма»; We carefully examined the samples which they had sent us «мы тщательно осматривали образцы, которые они после прислали».

Албанский язык проводит еще более тонкие различия. В этом языке существует время, которое выражает действие, совершившееся непосредственно перед началом другого действия, так называемое преждепрошедшее второе, или второй плюсквамперфект, например: kur kishit ardhur ju, por sa pata dalë prei shtëpie «я только что вышел

[1] См. Н. М. Терещенко. Очерк грамматики ненецкого языка. М.—Л., Учпедгиз, 1947, стр. 178.

из дому, когда вы пришли». Конечно, это не означает, что русский не осознает подобных оттенков действия. Однако, вследствие различного проявления избирательности, в глагольной системе русского языка все эти оттенки действия не нашли отражения.

Унанганский (или алеутский) язык разграничивает прошедшие времена по степени удаленности от момента речи. В этом языке существует недавнее или близко-прошедшее время, выражающее действие, совершившееся в тот же день или накануне рассказа о нем, и давнопрошедшее время, выражающее действие, совершившееся задолго до момента речи.

Во многих языках существует так называемый перфект, обозначающий законченное в прошлом действие, результат которого сохраняется до настоящего времени. Однако смысловая структура этого времени в разных языках далеко не одинакова. В ряде языков, например в некоторых финно-угорских, существует чистый перфект, отражающий только результативность; немецкий перфект может наряду со значением перфекта иметь также и значение имперфекта. В идиш перфект вообще вытеснил имперфект. Латинский перфект мог иметь значение имперфекта (perfectum historicum), албанский перфект может заменять аорист, т. е. выражать не только результативность, но и законченность действия без отношения к результативности.

Значительные различия наблюдаются и в системах будущего времени. Русский язык имеет две формы будущего времени: аналитическую форму, выражающую несовершенное действие в будущем, например, *я буду писать*, и синтетическую форму, выражающую совершенное действие в будущем, например, *напишу*. В татарском языке разграничение форм будущих времен идет по совершенно другой линии, по линии выражения обязательности или необязательности совершения действия в будущем, например, *язырмын* — «я буду писать», но *язачакмын* — «я напишу» или «буду писать» (непременно или обязательно).

В унанганском (или алеутском) языке производится разграничение будущего по принципу отдаленности и неожиданности, например, su-dukaku-qiŋ «я возьму» (вообще), suŋan aɷnaqiŋ «я возьму» (потом когда-нибудь)[1].

Не менее велико разнообразие видов и типов наклонений в различных языках. Морфология русского глагола совершенно индифферентна к выражению такой особенности действия, как неожиданность для говорящего. Албанский язык создал для этой цели специальное наклонение, так называемый адмиратив, например, ħapka «он открывал, оказывается». Русский язык выражает долженствование лексическими средствами, например, *я должен сидеть; мне надо идти*. Латышский язык создал для этой цели особое долженствовательное наклоне-

---

[1] См. ст. В. И. Иохельсон. Унанганский (алеутский) язык. Сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III. М.—Л. Учпедгиз, 1934, стр. 143.

ние, например, ir jäsit «нужно сидеть», ср. situ — «сижу», ir jävelk «нужно тащить» и т. д. Мансийский язык имеет ласкательноо наклонение, употребляемое, например, при обращении к детям, а в марийском языке ласкательное наклонение употребляется значительно шире — при упоминании действий, особенно приятных говорящему лицу.

Принцип избирательности проявляется и при оформлении падежей; так, некоторые дагестанские языки в системе локальных падежей выражают часто такие детали, которые в русском языке не обозначаются даже при помощи предлогов.

Система указательных местоимений некоторых языков выражает чрезвычайно тонкие нюансы индикации. Так, например, в луораветланском (или чукотском) языке имеются следующие указательные местоимения: vaj «этот»; ŋan «тот»; ŋaan «тот (подальше)»; gan «тот (очень далеко)»; vaj «вон тот (ближе другого предмета)»; raj «вон тот (позади говорящего лица)»; ŋotь «вон тот (позади лица, с которым говорят)»; ŋunь «вон тот (в стороне от говорящего)»[1]. В русском же языке существует всего лишь два указательных местоимения: *тот* и *этот*.

Из всего сказанного можно сделать следующий общий вывод: история общества, развитие человеческого мышления создают только необходимость; как эта необходимость будет удовлетворена в языке — дело внутренних процессов, с которыми связан принцип избирательности, проявляющийся в языке.

Вместе с тем напрашивается и другой вывод: ни одна грамматика не выражает всех возможных деталей взаимоотношений между предметами материального мира. Язык может выражать результаты познания человеком окружающего мира только всей совокупностью своих средств. Поэтому логическое мышление и общая совокупность средств языка являются всеобъемлющими, грамматика же всегда избирательна.

---

[1] См. ст. В. Г. Богораз. Луораветланский (чукотский) язык. Сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III. М.—Л., стр. 27.

Н. С. ПОСПЕЛОВ

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ГРАММАТИЧЕСКИМИ КАТЕГОРИЯМИ И ЧАСТЯМИ РЕЧИ

(На материале современного русского языка)

1

Грамматические категории каждого языка раскрываются в грамматическом строе этого языка в процессе абстрагирования от конкретного языкового материала. Поэтому при установлении грамматических категорий в том или другом языке мы должны иметь в виду не конкретные слова и не отдельные конкретные предложения, а то общее, что в пределах того или другого языка лежит в основе изменений слов и сочетаний слов в предложениях и разнообразно выявляется в частях речи, в функционально различных членах предложения, в разнообразных типах простых и сложных предложений, в конструктивных типах словосочетаний, в различных способах объединения предложений в сложные синтаксические единства.

Таким образом, грамматические категории представляют собою характерные для данного языка обобщенные грамматические значения, которые находят свое выражение в изменении слов и в сочетании слов в предложениях [1]. Грамматические же формы должны рассматриваться как средства выражения этих общих категорий в конкретной оболочке слов и предложений. Грамматические категории выражаются в грамматических формах и не могут существовать отдельно от них, образуя нерасторжимое «единство грамматического значения и выражающих это значение формально-грамматических признаков» [2]. Как продукты абстракции, грамматические категории возникают в процессе исторического развития и совершенствования грамматического строя того или другого языка.

Грамматические категории одного и того же языка различны по степени абстрагированности от частного и конкретного. В случае неполной абстрагированности грамматические категории сохраняют в той или другой степени и лексические значения. Так, например, в русском

[1] Ср. определение грамматической категории о «Грамматике русского языка», т. I. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 9.

[2] Б. Н. Головин. К вопросу о сущности грамматической категории. «Вопросы языкознания», 1955, № 1, стр. 120.

языке в грамматической категории рода имен существительных в названиях лиц и животных сохраняется значение мужского или женского пола. Категория числа в строе имен существительных является категорией лексико-грамматической, поскольку с формами числа связаны различия не только грамматические, но и лексико-семантические, о чем свидетельствуют факты разрыва соотносительности между единственным и множественным числом (ср., например, такие слова, как *грязь* и *грязи*, *долг* и *долги*). В отличие от категорий рода и числа, категория падежа в русском языке в основном своем значении объектного отношения наиболее отрешена от конкретно-материального значения слов (например, в значении винительного падежа как прямого объекта действия), и только при ослаблении собственно падежных значений имена существительные начинают выражать более конкретные, обстоятельственные отношения и затем переходить в наречия[1].

Категория вида в современном русском языке, являясь продуктом длительной абстрагирующей работы мышления, достигла высшей степени обобщенности, преодолев сопротивление конкретно-лексического материала. Однако категория вида в русском языке еще не грамматикализована полностью, о чем свидетельствует тот факт, что многие лексические разряды русских глаголов не имеют парных видовых форм. Наиболее абстрагированными по своему значению оказываются те категории, которые, по формулировке акад. В. В. Виноградова, выражают разного рода отношения действительности. «Грамматические категории этого типа — такие, как категория падежа, категория глагольной модальности, категория времени, категория лица с точки зрения речи и т. п., — выражая отношение между предметами и явлениями действительности, а также отношение речи к действительности, совсем не воспринимаются как продукт простого обобщения лексического материала и отвлечения от него. Независимо от их генезиса они являются грамматическими категориями иного качества и иной степени абстрагированности, чем такие грамматические категории, как, например, категория рода имен существительных, категория глагольного вида, категория относительности имен прилагательных, категория лица и одушевленности имен существительных и другие подобные, крепко связанные с лексико-семантическими своеобразиями словесного материала, крепко связанные со своей лексикологической базой. Таким образом, есть глубокие качественные различия в природе разных типов грамматических категорий»[2]. С другой стороны, различие по степени абстрагированности наблюдается между

---

[1] Ср. разграничение синтаксических и адвербиальных функций падежных форм у Е. Куриловича (I. K u r y ł o w i c z. Le probléme du classement des cas. Biuletun Polskiego towarzystwa językoznawczego, IX. Kraków. 1949).

[2] В. В. В и н о г р а д о в. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию». М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 125.

одними и теми же грамматическими категориями родственных языков. Так, категория деепричастия, лишенная в современном русском языке форм рода, числа и падежа, оказывается по своему грамматическому значению более абстрагированной, чем категория причастия. Но, например, в современном чешском языке деепричастия, сохраняя значения рода и числа, оказываются по своему грамматическому значению менее абстрагированными, чем деепричастия в современном русском языке.

Существенное различие в степени абстрагированности от частного и конкретного обнаруживается между частями речи как лексико-грамматическими разрядами слов — и более общими, но тоже различными по степени отвлеченности категориями рода, числа и падежа, вида, времени и наклонения. Части речи, выражая то или другое максимально обобщенное значение (предмета, качества, действия, количественного признака обстоятельственного отношения и т. п.), представляют собою не лексические только группы слов, а лексико-грамматические разряды, в которых на основе свойственных им грамматических категорий осуществляется абстрагирование от частного и конкретного. Слова, объединенные в таком лексико-грамматическом разряде, подвергаются тем или иным изменениям в соответствии с выражаемыми ими грамматическими значениями и выполняют ту или иную синтаксическую роль в сочетании слов и в предложении. Но это не дает нам основания рассматривать части речи как «морфологические категории высшего порядка» [1], так как свойственные им обобщенные лексические значения не растворяются в их морфологических признаках.

В частях речи и в отдельных грамматических категориях выражаются не общие категории универсальной грамматики, а существенные особенности грамматического строя разных групп родственных языков и отдельных языков. Например, в русском и других индоевропейских языках наряду с существительными и прилагательными выделяются глаголы, тогда как в китайском языке глаголы вместе с прилагательными включаются в более широкую грамматическую категорию «предикатива» со значением переменного признака и синтаксической функцией сказуемого [2]. Категория рода имен существительных в русском языке является лексико-грамматической, тогда как, например, в тюркских языках совсем нет грамматической категории рода. Грамматическая категория вида, столь характерная для славянских языков, не характерна для языков романских или германских, например для французского и немецкого языков. В английском языке герундий может быть отграничен от причастия как особая глагольная категория, отсутствующая в русском и немецком языках и не совпадающая с gérondif во французском языке. Глагольная категория каузатива, свойственная грузинскому и турецкому языкам, отсутствует

[1] См. А. В. Исаченко. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология, ч. I. Братислава, 1954, стр. 32—39.

[2] См. А. А. Драгунов. Исследования по грамматике современного китайского языка, I. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 10—12.

в русском; глагольная категория версии, отграничиваемая от залога в грузинском, в русском не выделяется из категории залога, и т. д. [1]

В каждом языке части речи, вступая в сложное взаимодействие друг с другом, образуют специфическую систему соотношений между грамматическими категориями, присущими различным разрядам слов.

В грамматическом строе каждого языка устанавливается закономерное соотношение между частями речи и свойственными им грамматическими категориями. Части речи, как основные лексико-грамматические разряды слов, объединяются друг с другом общими для них грамматическими категориями. С другой стороны, грамматическое значение частей речи выражается в присущих им грамматических категориях, в свою очередь суммирующих то общее, что лежит в основе изменений слов. Наконец, в частях речи осуществляется «переплавка» наиболее обобщенных лексических значений в абстрагированные грамматические значения предметности, действия, состояния, качественного или относительного признака, количественного признака, признака качеств или обстоятельственного признака действий (или состояний), обобщающего указания на предметы или признаки. Но в то же время в частях речи не только кристаллизуются и консолидируются грамматические значения слов и их форм, но и происходят глубокие процессы постепенного и длительного накопления элементов нового качества и постепенного отмирания элементов старого качества. При этом части речи оказываются центрами не только активного формообразования (включая в его объем и словоизменение при помощи аффиксов), но и продуктивного словообразования.

В. А. Богородицкий хорошо сформулировал понимание этого двойного аспекта частей речи, определив морфологию как «учение о частях речи в отношении *словообразования* и *словоизменения*» [2]. В. В. Виноградов правильно указывает, что «взаимосвязанность формообразования и словообразования с категориями частей речи, естественно, сближает и сами процессы формообразования и словообразования» [3]. Об этом же свидетельствует и сближение некоторых словообразовательных категорий с семантически родственными им грамматическими категориями.

В качестве примеров словообразовательных категорий, активно участвующих в дифференциации грамматических значений, В. В. Виноградов приводит категории лица, отвлеченности, вещественности, собирательности в системе имен существительных, категорию предельной степени признака имен прилагательных, категорию процесса-состояния в системе

---

[1] См. А. Г. Шанидзе. Глагольные категории акта и контакта на примерах грузинского языка. «Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.», т. V, 1946, вып. 2, стр. 165—172.

[2] В. А. Богородицкий. Очерки по языковедению и русскому языку. Изд. 4-е. М., 1939, стр. 24. Ср. В. В. Виноградов. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, стр. 117.

[3] В. В. Виноградов Там же, стр. 111—112.

глагола [1]. Так, словообразовательной категорией лица и не-лица имен существительных дифференцируется значение грамматической категории одушевленности-неодушевленности; словообразовательная категория предельной степени качества отчленяется от грамматической категории превосходной степени имен прилагательных. Такова же дифференцирующая функция категории определенности или неопределенности глагольных основ для становления грамматической категории вида и лексико-словообразовательной категории процесса-состояния как базы для выявления временны́х значений настоящего, будущего сложного, имперфектного значения прошедшего несовершенного. Больше того, только при осложняющем и расчленяющем воздействии словообразовательных категорий в системе частей речи становится осуществимым разграничение грамматических категорий по степени абстрагированности и качественному различию. Ведь абстрагирование от частного и конкретного в лексических значениях слов и в их словообразовательных типах необходимо именно для того, чтобы на материальной базе слов могли выкристаллизоваться максимально отвлеченные, собственно грамматические категории падежа, времени или наклонения, категории лица глагола или местоимения.

II

Как же объединяются в современном русском языке части речи свойственными им грамматическими категориями? В сфере имен с такой объединяющей функцией выступают грамматические категории рода, числа и падежа. Лексико-грамматическая для имен существительных категория рода получает чисто грамматическое значение в согласованных с ними прилагательных, склоняемых причастиях, порядковых числительных и местоимениях-прилагательных, в координируемых с именами существительными глагольных формах прошедшего времени, в страдательных причастиях. Подобным же образом лексико-грамматическая категория числа имен существительных и личных местоимений получает чисто грамматическое значение в согласованных с именами существительными прилагательных и других частях речи, в координируемых с именами существительными и личными местоимениями глагольных формах настоящего, настоящего-будущего времени и будущего сложного, в формах прошедшего времени глаголов и страдательных причастий, в анафорически употребленных личных местоимениях 3-го лица.

Наиболее абстрагированной, собственно грамматической является категория падежа, выражающая различные субъектно-объектные отношения. Она имеет абстрагированное значение в именах существительных, которое распространяется на согласуемые с ними прилагательные и причастия, числительные порядковые и количественные, местоиме-

---

[1] См. В. В. Виноградов. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, стр. 125.

ния-прилагательные. Но категория падежа, раскрывающаяся в имени существительном при синтаксическом его употреблении в словосочетаниях и в составе предложения, по преимуществу выражает синтаксические связи имени существительного с другими частями речи. Именно категорией падежа устанавливается связь имен существительных не только с именем прилагательным, причастиями, числительными и местоимениями-прилагательными, но и с глаголами того или другого залогового значения, другими именами существительными и словами из категории состояния (*больно руку, жаль друга*). Таким образом, падежное отношение имен существительных к другим частям речи оказывается двояким: с одной стороны, падежное значение имени существительного при синтаксической связи согласования распространяется на имена прилагательные, числительные, местоименные прилагательные, а с другой, при синтаксической связи управления то или иное падежное значение возникает в именах существительных, личных, вопросительно-относительных, отрицательных и неопределенных местоимениях при сочетании их с управляющими глаголами, именами существительными, словами из категории состояния. Поэтому именно «падеж выражает синтаксические функции существительного, устанавливая отношение существительного в данной его падежной форме к другим членам предложения» [1] и словосочетания.

Категорией рода в ее грамматическом выражении объединяются имена существительные, прилагательные и порядковые числительные, причастия, личные местоимения 3-го лица, глагольные формы прошедшего времени. В круг частей речи, объединяемых категорией числа в ее грамматическом выражении, входят личные местоимения 1-го и 2-го лица и глагольные формы настоящего, настояще-будущего, сложного будущего времени. Между грамматическими категориями рода, числа и падежа имен и глагольными категориями лица, времени, наклонения и залога устанавливаются разнообразные соотношения. Личные формы глагола получают грамматическое значение числа; временны́е и модальные формы глагола разграничиваются по усвоению или неусвоению ими грамматической категории рода; залоговые значения глаголов находят себе выражение в использовании определенных падежных форм сочетающихся с ними имен существительных и местоимений.

Но грамматические категории рода, числа и падежа своеобразно объединяются и абстрагируются в пределах отдельных частей речи. Так, в имени существительном грамматическое значение предметности выражается именно этими категориями [2]. При этом по отношению к имени существительному в целом категории рода, числа и падежа выражают единое обобщенное грамматическое значение предметности, тогда как отдельным группам имен существительных, а именно названиям лиц и животных, присуще более конкретное лексико-грамматическое значение рода; подоб-

[1] «Грамматика русского языка», т. I. М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 120.

[2] См. Там же, т. I, стр. 103; ср. «Современный русский язык. Морфология», Изд-во МГУ, 1952, стр. 57.

ным же образом более конкретное лексико-грамматическое значение числа свойственно только тем именам существительным, у которых нарушена соотносительность между формами единственного и множественного числа. Что касается категории падежа, то и здесь в отдельных случаях падежное значение имен существительных может ослабляться, и тогда они начинают выражать различные обстоятельственные значения и постепенно адвербиализируются. Таким образом, предметное значение имени существительного как части речи, выражающееся в грамматических категориях рода, числа и падежа, оказывается его грамматическим значением. Внутренняя динамика предметного значения имени существительного обусловлена сочетанием в нем устойчивости грамматического рода, полярности грамматических значений числа и изменяемости падежных значений, образующих единую парадигму. Это особенно отчетливо обнаруживается в структуре именных (субстантивных) словосочетаний, в которых имя существительное, являющееся стержневым словом, выступает в многообразии противопоставленных друг другу рядов падежных форм единственного и множественного числа при единстве грамматического рода например, *большой город*, *большого города. . . большие города* и т. п.). Грамматизация категории рода в русском языке выражается в подведении под эту категорию всех имен существительных и подчеркивается выделением в особую, не зависимую от категории рода, категорию имен существительных со значением одушевленности-неодушевленности. Грамматизации категории числа имен существительных способствовали не только утрата ими двойственного числа, но и обособление категорий единственного и множественного числа от «соотносительных с ними и как бы пересекающих их категорий единичности и собирательности» [1]. В современном русском языке собирательные имена существительные употребляются только в единственном числе, а при употреблении существительных с собирательным значением во множественном числе они входят в состав pluralia tantum [2] или, в отдельных случаях, представляют собой варианты форм множественного числа [3]. Для современного русского языка характерно все увеличивающееся противопоставление форм единственного числа имен существительных формам множественного числа: углубляются акцентологические различия между формами единственного и множественного числа [4], все увеличивается количество существительных единственного числа, не имеющих форм множественного числа или — в форме единственного числа — не соотносительных по значению с формами множественного числа.

Наиболее абстрагированная из именных грамматических категорий категория падежа, выражающая различные отношения между предметами

---

[1] В. В. Виноградов. Понятие внутренних законов развития языка в общей системе марксистского языкознания. «Вопросы языкознания». М., 1952, № 2, стр. 41.

[2] См. «Грамматика русского языка», т. I, стр. 118—119.

[3] См. там же, стр. 154.

[4] См. там же, стр. 210.

и явлениями действительности, является основным средством реализации предметного значения имени существительного в парадигме дифференцированных форм словоизменения. И именно категория падежа объединяет все именные части речи и примыкающие к ним местоимения. Эта наиболее абстрагированная из грамматических категорий имени находит себе закономерное выражение и в местоимениях, когда лица, предметы или явления и их свойства не называются, а только указываются. Именно категорией падежа круг имен и примыкающих к ним местоимений противополагается наречиям, лишенным падежных изменений и выступающим в синтаксической функции обстоятельственного или качественного отношения.

В категориях глагола выражается грамматическое значение действия. Следует считать плодом недоразумения определение глагола как части речи, обозначающей не только действие, но и состояние. Конечно, есть глаголы, лексически обозначающие состояние (*спать*, *лежать* и т. п.), но и они, обозначая состояние как процесс, в его течении, имеют грамматическое значение действия (абстрагированно от конкретного его содержания). Значение действия выражается глагольными категориями залога, вида, лица, времени и наклонения. Однако между этими глагольными категориями есть существенное структурное различие. Категории залога и вида в русском языке «сохраняют яркие признаки своей связи с лексическими категориями» [1]. Категория залога, как показывает В. В. Виноградов, «лежит уже на самой пограничной черте между грамматикой, лексикологией и фразеологией» [2]. Имеющее большое значение для категории залога разграничение глаголов по их отношению к объекту действия на переходные и непереходные «выходит из рамок изучения грамматических отношений между субъектом и объектом действия, являясь одной из центральных проблем глагольной семантики» [3]. И все же в категории залога, которая обозначает «отношения между субъектом (производителем действия) и объектом, находящие свое выражение в форме глагола» [4], есть специфическое, нерастворимое грамматическое содержание: категория залога, устанавливая самой формой глагола различие между действием, активно направленным на прямой объект, действием, сосредоточенным в самом субъекте (производителе действия), и действием, обращенным к субъекту как точке приложения действия[5], показывает н а п р а в л е н и е действия в его абстрагированном значении. Являясь, подобно грамматическому роду в категориях имени, устойчивым признаком того или другого глагола, залог раскрывает общее направление действия, независимое от форм спряжения. Категория залога, охватывая всю

---

[1] В. В. Виноградов. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, стр. 125.

[2] В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 606.

[3] Там же, стр. 646.

[4] «Грамматика русского языка», т. I, стр. 412.

[5] Там же, стр. 415—416.

систему глагольных форм, включая инфинитив, деепричастие и причастие, оказывается в общей системе частей речи соотносительной категории падежа. Когда эти категории пересекаются друг с другом в синтаксической связи управления, между ними устанавливается структурное соотношение и взаимная корреляция. Так, при выражении действительного или страдательного залога в глаголе оказывается необходимым определенное падежное оформление (винительный или творительный падеж) в зависимом от глагола имени. Однако категория падежа имени существительного оказывается шире, чем категория залога: она связана не только с глаголами в их залоговом значении, но и с другими частями речи, например с категорией состояния (*больно руку*), с категорией неопределенных числительных (*несколько книг*). И для того, чтобы противопоставить категории падежа имени существительного и местоимения соотносительную ей категорию, необходимо было бы говорить об особой, объединяющей разные части речи категории словосочетания, основным признаком которой является способность управлять именем существительным, требуя от него того или иного падежа.

Глагольная категория вида, обозначающая различный характер действия, в зависимости от того, представляется ли оно «в его отношении к внутреннему пределу, цели, результату или независимо от такого отношения в его длительности или повторяемости» [1], так же как и категория залога, является продуктом грамматического «обобщения лексического материала и отвлечения от него» [2]. Объединяя все глагольные формы, включая причастия, деепричастия и инфинитив, она, вместе с категорией залога, ограничена кругом глагольных форм, не распространяется на именные образования. Отглагольные существительные на *-ние* лишены категории вида, так как «субстантивация действия, его „опредмечивание" парализует грамматические свойства глагола» [3]. Категория вида характеризуется структурной парностью своего грамматического выражения, соотносительностью полярно противоположных значений. По своей структуре категория глагольного вида соответствует категории числа имен существительных. В совершенном виде глагола глагольное действие выступает как «ограниченное, сосредоточенное в каком-либо пределе совершения» [4], так же как категорией единственного числа существительных устанавливается единичность или единство, цельность, совокупность, неделимость в предметном значении имен существительных. В несовершенном виде действие рассматривается в его течении, в процессе совершения, а тем самым в длительности или повторяемости, то есть раскрывается внутренняя сложность действия, множественность составляющих

---

[1] «Грамматика русского языка», т. I, стр. 36.

[2] В. В. Виноградов. Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, стр. 12.

[3] В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 118.

[4] «Грамматика русского языка», т. I, стр. 426.

его моментов; таким образом, категория несовершенного вида соответствует категории множественного числа имен существительных, указывающей на раздельное множество предметов [1].

Максимально абстрагированные глагольные категории спряжения: лица, времени и наклонения — соответствуют категории падежа как основной именной категории склонения. Все эти категории объединяются тем или иным выражением отношений действительности. В категориях лица, времени и наклонения действие приписывается определенному субъекту, устанавливается то или иное отношение действия к реальной действительности и в случае реализации действия, его включения в реальную действительность, раскрывается то или иное его временно́е значение, как отражение объективного времени. Именно эти категории являются базой синтаксической категории предикативности, находящей себе морфологическое выражение в формах лица, времени и наклонения [2].

Категорией лица объединяются личные местоимения и глаголы в спрягаемой личной форме. Но в личных местоимениях и глаголах эта категория проявляется различным образом. Категорией лица в глаголе устанавливается отношение действия к определенному лицу как производителю действия. При этом связь глагола с действующим лицом, «присуждение» глагольного действия одному из 3-х лиц, как выражался Добиаш [3], осуществляется выражением отношения действия к говорящему лицу.

Личные местоимения раскрывают категорию лица прямым, непосредственным указанием «на лица (а местоимения 3-го лица и на предметы), по их отношению к лицу говорящего» [4]. Таким образом, в глагольных формах категория лица находит более абстрагированное выражение, чем в личных и предметно-личных местоимениях. И именно поэтому категория лица в глаголе выступает как «фундамент сказуемости» [5]. Примечательно при этом, что, употребляясь при глаголах, «местоимения 1-го и 2-го лица, означая отношения между говорящим и слушающим, связаны всегда с живыми деятелями, а поэтому более формальны и легче опускаются» [6]. Вот несколько характерных примеров:

> И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: — Батько! где ты? Слышишь ли ты? — «Слышу» раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул (Гоголь. Тарас Бульба).

---

[1] «Грамматика русского языка», т. I, стр. 113.

[2] См. ст. В. В. Виноградова в настоящем сборнике, стр. 404 и сл.

[3] А. В. Добиаш. Опыт симасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка. «Изв. Историко-филол. ин-та кн. Безбородко в Нежине», т. XVI. Нежин, 1898, стр. 94—95.

[4] «Грамматика русского языка», т. I, стр. 27.

[5] В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 452.

[6] Е. М. Галкина-Федорук. К вопросу о безличных предложениях. «Русский язык в школе», 1947, № 2, стр. 7.

—Видишь? Видишь? — старик бросал грозные взгляды на след машины, который шел по карнизу. — Вижу (Кожевников. Живая вода).

— Нарисовал карту? — спросил Козел. — Сейчас нарисую, — ответил Курымушко (Пришвин. Кащеева Цепь).

Категория времени в современном русском языке выступает не только как грамматическое свойство глагольных форм, включая формы причастий и деепричастий, но и как необходимый грамматический признак слов из категории состояния и кратких прилагательных. Таким образом, в категории времени объединяются глаголы, краткие прилагательные и слова из категории состояния. Грамматическое своеобразие категории состояния как особой части речи и состоит в том, что слова этой категории аналитически, при помощи связки или ее соотносительного отсутствия, выражают грамматическое время, не устанавливая, однако, в отличие от глагола, дифференциации в кругу основных временны́х значений настоящего, прошедшего и будущего времени. Обозначая в бессвязочном своем употреблении простое наличие того или другого состояния, слова из категории состояния не могут передавать того различия между раскрытым и нераскрытым настоящим, которое свойственно формам настоящего времени глагола. Приведу ряд примеров такого недифференцированного временно́го значения настоящего времени у слов из категории состояния, обозначающих наличные состояния природы, среды, физические и психические состояния человека или других живых существ[1]:

А какова погода? — кажется, ветер. — Никак нет-с, ваше сиятельство! очень *тихо-с!*—отвечал камердинер (Пушкин. Пиковая дама).

Не спится, няня: здесь так *душно!* (Пушкин. Евгений Онегин).

Шалун уж заморозил пальчик; Ему и *больно* и *смешно*, А мать грозит ему в окно (Пушкин. Евгений Онегин).

Хотя бы звездочка на небе. *Темно* и *глухо*, как в винном подвале (Гоголь. Пропавшая грамота).

Смотрите, ведь уж *поздно*, *холодно* (Лермонтов. Максим Максимыч).

Их здесь *трудно* найти (Тургенев. Дворянское гнездо).

На улицах *пусто* (Л. Толстой. Казаки).

Как *душно* и *уныло*! (Чехов. Степь).

Даже теперь мне *совестно* (Чехов. Сильные ощущения).

Иванов. Тебе, Анюта, *вредно* стоять у раскрытого окна. (Чехов. Иванов).

Варя. Бог с ним совсем, *тяжело* мне его видеть (Чехов. Вишневый сад).

На сцене — *тихо* (Горький. На дне).

Очень *тихо* на реке, очень *черно* и *жутко* (Горький. Мои университеты).

---

[1] Часть примеров взята из статьи Е. М. Галкиной-Федорук «Безличные предложения с безлично-предикативными словами на *о*». «Ученые записки МГУ», вып. 128; «Труды кафедры русск. яз.», кн. 1, М., 1948, стр. 70—85.

Во всех подобных случаях слова из категории состояния передают настоящее время вне какого-либо выражаемого ими отношения к прошедшему или к будущему, хотя и могут выражать значение настоящего времени не только конкретно, но и более абстрагированно, например:

Весело жить в такой земле (Лермонтов. Княжна Мери).

Хорошо плыть ночью по реке (Горький. Мои университеты).

Как *важно* во-время овладеть властью (А. Толстой. Хлеб).

Как же все-таки *приятно* проезжать по любимым местам (Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды).

При употреблении со связкой прошедшего времени *было* слова́ из категории состояния не могут передавать различия между имперфектным, аористическим и перфектным значением, как это свойственно глаголам прошедшего времени.

В словах из категории состояния в таких случаях устанавливается только общая отнесенность выражаемых ими состояний к плану прошлого.

Уж *было поздно и темно*, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать (Лермонтов. Максим Максимыч).

Неприятно, смутно было у него на сердце (Гоголь. Мертвые души).

В толпе мне *было* всегда особенно *легко и отрадно* (Тургенев. Ася).

Ему *было* так *холодно*, как будто он был в одной рубахе (А. Толстой. Хозяин и работник).

Было тихо, сумрачно и *скучно* (Горький. Мать).

Кругом *было тихо* (Чехов. Налим).

Тут *было темно* и *душно*, но *тепло* (Чехов. Каштанка).

Бесполезно было сердиться на него (Горький. Мои университеты).

Было стыдно рассказать о том, что произошло у него с сыном (Горький. Дело Артамоновых).

В станице *было не жарко*, а *душно* (Бабаевский. Кавалер Золотой Звезды).

Было, как всегда, *шумно, весело, радостно* (Первенцев. Честь смолоду).

Подобным же образом и в сочетании со связкой *будет* слова из категории состояния обозначают простую отнесенность того или иного состояния в план будущего времени, сближаясь в этом своем значении с глагольными формами будущего сложного времени, но отличаясь, однако, от последних отсутствием видового значения несовершенного вида.

Грустно мне *будет* (Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву).

Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога не рассказывай: мне *страшно будет слушать* (Пушкин. Выстрел).

Мне и тебе *будет обидно* (Достоевский. Неточка Незванова).

Краткие формы имен прилагательных в бессвязочном употреблении имеют обобщенное временно́е значение наличия или постоянства признака, присущего предмету, не всегда соотносительное со значениями прошедшего

или будущего времени (выражаемыми соответствующими связками). Вот ряд характерных примеров из современной советской художественной литературы [1].

Счастье *неуловимо*. Никогда не знаешь, есть оно или нет. (Павленко. Счастье).

Да, сколько приходится переживать и нам и всем людям, а жизнь все-таки *прекрасна* (Фадеев. Молодая гвардия).

Народ кругом подобрался уравновешенный. Персонал *предупредителен и вежлив* (Панова. Спутники).

В тех же случаях, когда краткое прилагательное без связки имеет более конкретное временнóе значение и обозначает признак наличный, но временный, случайный, это временнóе значение отчетливо соотносится со значениями прошедшего и будущего времени, выражаемыми при помощи связки.

Вагон команды *пуст:* все, кроме дежурных, ушли с Даниловым (Панова. Спутники).

По всему было видно, что лесничий и *счастлив* и *смущен* (Паустовский. Новые рассказы).

При наличии связки прошедшего времени краткие прилагательные выражают признак, который был присущ предмету в прошлом, без дифференциации этого временнóго значения прошедшего на значения аористическое, имперфектное или перфектное.

Например:

Он *был* всегда *возбужденно-деятелен, всегда весел* и в то же время *аккуратен, расчетлив, требователен* (Фадеев. Молодая гвардия).

И здесь конкретное временнóе значение настоящего становится ясным только из контекста речи, из окружающей «обстановки».

Он бросился к калитке. Двор *был пуст* (Федин. Первые радости).

Проценко *был мрачен. . .* Его лицо ни разу не осветила обычная хитрая улыбка (Симонов. Дни и ночи).

В кратких формах имен прилагательных со связкой будущего времени, так же как и в словах из категории состояния, значение будущего времени ограничивается указанием на простую отнесенность признака, обозначаемого краткой формой, к плану будущего времени.

Я *буду осторожна* (Фадеев. Молодая гвардия).

Свежее мясо *будет очень полезно* в госпитальном рационе (Панова. Спутники).

В зависимости от контекста и лексического значения прилагательного будущее время в кратком прилагательном может получить значение постоянного признака, отнесенного в будущее, например:

Верна буду тебе до смерти (А. Толстой. Восемнадцатый год).

---

[1] Примеры заимствованы из статьи Н. Ю. Шведовой. Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке. «Уч. зап МГУ», вып. 150; «Русский язык». М., 1952, стр. 73—132.

На веки вечные *буду я горд* тем, что судьба судила мне пройти свой путь в нашей коммунистической партии (Фадеев. Молодая гвардия).

Как показывают приведенные примеры, слова из категории состояния и краткие прилагательные, объединяясь с глаголом, обозначают время состояния или признака, как настоящее (наличное или постоянное), прошедшее или будущее. Никакой иной временнóй дифференциации в значении кратких прилагательных и слов из категории состояния не наблюдается. Однако и этого достаточно, чтобы утверждать, что в плане грамматического учения о слове глаголы (включая в их состав и краткие страдательные причастия), слова из категории состояния и краткие прилагательные объединяются единой присущей им грамматической категорией времени и противопоставляются всем другим частям речи, не имеющим временнóго значения: именам существительным, прилагательным (полным) и числительным, местоимениям и наречиям.

Категория наклонения объединяет те же части речи, что и грамматическое время: глаголы, слова из категории состояния и краткие прилагательные. Однако более широкое грамматическое значение модальности объединяет глаголы, слова категории состояния и краткие прилагательные с утвердительными и отрицательными словами-предложениями [1] (типа *да*, *нет*) и с различного рода модальными словами, получающими значение слов-предложений, например с модальными словами *вероятно*, *вряд ли*, и с междометиями, получающими в ответных репликах диалогической речи значение самостоятельных слов, выражающих отношение говорящего к чьему-либо высказыванию. Но слова-предложения, имея определенное модальное значение, не получают при этом никакого временнóго значения.

Таким образом, в общей системе частей речи в современном русском языке выступает следующее основное противопоставление: слова, объединяемые грамматическими категориями рода, числа и падежа, и слова, объединяемые грамматическими категориями лица, времени и наклонения. В первую группу входят имена существительные, прилагательные (с выделением из них кратких форм и форм сравнительной степени) и имена числительные порядковые. Во вторую группу включаются глаголы, краткие страдательные причастия, краткие прилагательные и слова из категории состояния. Особые места в системе частей речи занимают местоимения, количественные числительные, наречия и междометия.

Примечательно положение в грамматической системе частей речи имен прилагательных и причастий. Они и склоняются (в полной своей форме) и «спрягаются» (в краткой своей форме), на что обращал внимание еще

---

[1] Словами-предложениями мы называем предложения, выраженные отдельными словами или целыми неразложимыми словосочетаниями и не допускающие расчленения на члены предложения или распространения при помощи пояснительных слов. Все содержание таких предложений сводится к простому утверждению или отрицанию, выражению согласия или несогласия или к общей экспрессивно-модальной оценке предшествующего высказывания.

А. Х. Востоков [1]. Шахматов в «Очерке современного русского литературного языка» включал краткие спрягаемые прилагательные и причастия в систему глагола, а позже в «Синтаксисе русского языка» склонен был рассматривать краткие формы прилагательных как особую грамматическую категорию.

Резкое различие между краткими и полными прилагательными наблюдается в их отношении к грамматическим категориям времени и наклонения. По формулировке В. В. Виноградова, «краткие формы обозначают качественное состояние, протекающее или возникающее во времени; полные — признак, мыслимый вне времени, но в данном контексте (т. е. только синтаксически. — *Н. П.*) отнесенный к определенному времени» [2] (подчеркнуто мною. — *Н. П.*). В первом случае признак воспринимается как отнесенный к определенному периоду времени, — периоду, охватывающему или все время существования предмета, или только какой-то отрезок этого времени; во втором случае признак, мыслимый отвлеченно, как общая категория качества, приписывается предмету в качестве его характерной приметы [3]. Однако так как «значение качества в имени прилагательном становится все определительнее, резче и отвлеченнее» и так как «во всех относительных прилагательных потенциально заложен оттенок качественности» [4], качественно-относительные прилагательные представляют собой один основной разряд прилагательных, а краткие и полные прилагательные образуют единство одной объединяющей их части речи. В тех же случаях, когда краткие прилагательные теряют соотносительность с полными, они, утрачивая качественное значение, закономерно включаются в орбиту категории состояния (*рад*, *горазд* и т. п.). Таким образом, прилагательные в целом, объединяя значения качества, качественного отношения и качественного состояния, совмещают в себе (в кратких формах) грамматические категории имени и глагола и в этом смысле, не переставая быть «согласуемыми» именами, связывают друг с другом обе эти группы частей речи. В кругу глагольных форм аналогичную позицию занимают причастия: они тоже объединяют в себе грамматические признаки глагола и имени и, не переставая быть формами глагола, имеющими залоговое, видовое и временно́е значение, оказываются своеобразной «экспансией» глагола в сферу имен. Краткие страдательные причастия занимают среди причастий положение, аналогичное позиции кратких прилагательных внутри прилагательных в целом: они «спрягаются», вторично «включаются в систему глагола» и получают в аналитическом выражении осложненное временно́е значение перфекта [5], плюсквам-

[1] См. «Русская грамматика». Изд. 12-е. СПб., 1874, § 32, стр. 28—29.

[2] В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 263.

[3] Ср. Н. Ю. Шведова. Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском языке, стр. 87.

[4] В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 186, 205.

[5] А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Л., Учпедгиз. 1941, § 563, стр. 489.

перфекта (при употреблении со связкой прошедшего времени), предбудущего (при употреблении со связкой будущего времени).

При помощи местоимений устанавливается «категориальная» связь между склоняемыми именами и спрягаемыми глаголами. Местоимения в категории лица устанавливают связь между глаголами и именами, так как с точки зрения категории лица каждое существительное становится в позицию 3-го лица. Как отметил еще Ломоносов, местоимения по своему обобщающему значению принадлежат к числу «частей слова знаменательных, кратко заключающих в себе несколько идей разных» [1], и, как сказано далее, служат «для сокращения наименований» [2].

Особое место, занимаемое в системе частей речи количественными числительными, определяется тем, что они, сами по себе не выражая предметного значения и будучи лишены, в основном своем составе, грамматических категорий рода и числа, образуют тесные, в той или другой степени грамматически неразложимые сочетания с именами существительными, являясь их числовыми определителями.

Своеобразное положение наречий в системе частей речи всецело определяется отсутствием у них категориальных грамматических признаков как имени, так и глагола. Поэтому их грамматическая роль сводится к выражению обстоятельств. Ломоносов правильно указал основную функцию наречия в плане грамматического учения о слове. По Ломоносову, наречие включается в состав «частей слова знаменательных, кратко заключающих в себе несколько идей разных», в качестве особой части речи, служащей для краткого изображения обстоятельств. Шахматов был совершенно прав, указывая, что наречие, «не обнаруживая в своей форме связи с грамматическими категориями» [3], вызывает только «отрицательное определение», «как часть речи, сама по себе не соответствующая какой-нибудь грамматической категории» [4]. Но, увлекшись разнообразными случаями адвербиализации и перехода наречий в предлоги и союзы, Шахматов не обратил внимания на существенный грамматический признак наречия как отдельного слова, на его обобщающую функцию при выражении им различных обстоятельств.

При грамматическом анализе междометий тоже до сих пор не учитывается аналогичная их функция в речи, верно отмеченная еще Ломоносовым. «Междуметие, — по определению Ломоносова, — представляет движение человеческого духа кратко»,[5] то есть грамматически обобщенно, и поэтому тоже принадлежит к «частям слова знаменательным, кратко заключающим в себе несколько идей разных». Междометие, по Ломоносову, выражая ту или другую эмоцию или волеизъявление, заменяет отдель-

---

[1] М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 7. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 406—407.

[2] Там же, стр. 408.

[3] А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка, § 490.

[4] Там же, § 491, стр. 406.

[5] М. В. Ломоносов. Ук. соч., стр. 406.

ным словом целое предложение. Именно поэтому междометие в качестве знаменательного слова необходимо включается в состав слов, выражающих определенное отношение говорящего к происходящему или высказываемому; вспомним пример Ломоносова: «ба!» вместо «Я удивляюсь, что тебя здесь вижу». В этой своей функции междометия включаются в состав слов, выражающих категорию модального отношения, хотя, конечно, в чисто экспрессивной функции они оказываются лишь средствами, «только выражающими различные ощущения и волеизъявления говорящего» [1], но «не являются названиями чувств и волеизъявлений» [2].

Резюмирую основное содержание настоящей статьи.

1. При построении системы частей речи в современном русском языке необходимо учитывать существенные различия по степени абстрагированности между отдельными грамматическими категориями, фиксирующими то общее, что лежит в основе изменений слов, и частями речи, как основными лексико-грамматическими разрядами слов, в которых реализуются указанные грамматические категории.

2. Грамматическое значение частей речи закономерно выражается в присущих им грамматических категориях.

3. Части речи, как основные лексико-грамматические разряды слов, объединяются друг с другом общими для них грамматическими категориями.

4. С грамматическими категориями закономерно связаны словообразовательные категории, выполняющие дифференцирующую, расчленяющую функцию по отношению к соответствующим им грамматическим категориям.

5. Лексико-грамматические категории рода и числа получают чисто грамматическое значение в согласованных с именами существительными прилагательных, числительных и местоимениях и в координируемых с ними глагольных формах и таким образом в своем грамматическом выражении осуществляют широкое объединение частей речи, разнородных по своему общему грамматическому значению.

6. Наиболее абстрагированная из именных категорий грамматическая категория падежа имеет и наиболее широкий объем объединяемых ею частей речи. При этом падежное отношение имен существительных к другим частям речи оказывается двояким: с одной стороны, падежное значение имени существительного при синтаксической связи склонения распространяется на имена прилагательные, причастия, числительные, местоимения, прилагательные, а с другой, при синтаксической связи управления то или иное падежное значение закономерно возникает в именах существительных, в личных, вопросительно-относительных, отрицательных и неопределенных местоимениях при сочетании их с управляющими глаголами, причастиями, прилагательными и другими существительными.

[1] «Грамматика русского языка», т. I, стр. 674.

[2] «Современный русский язык. Морфология», стр. 472.

7. В грамматическом строе русского языка между грамматическими категориями рода, числа и падежа имен и глагольными категориями лица, времени, наклонения и залога устанавливаются разнообразные соотношения.

8. Предметное значение имени существительного, поскольку оно выражается в грамматических категориях рода, числа и падежа, оказывается не только лексическим, но и грамматическим его значением.

9. Грамматическое значение действия выражается, хотя и неравномерно, глагольными категориями залога и вида, лица, времени и наклонения.

10. Грамматической категорией лица объединяются личные местоимения и глаголы в спрягаемой личной форме, но в глагольных формах категория лица находит более абстрагированное выражение, чем в личных и предметно-личных местоимениях.

11. Грамматической категорией времени объединяются глаголы, слова из категории состояния и краткие прилагательные.

12. Грамматическое своеобразие категории состояния, как особой части речи, и состоит в том, что слова этой категории аналитически, при помощи связки или ее соотносительного отсутствия, выражают грамматическое время, не устанавливая, однако, в отличие от глагола, дифференциации в кругу основных временных значений настоящего, прошедшего и будущего времени.

13. Своеобразное положение имен прилагательных в системе частей речи заключается в том, что они, объединяя значения качества, качественного отношения и качественного состояния, совмещают в кратких своих формах грамматические категории имени и глагола и в этом смысле связывают друг с другом обе эти группы частей речи.

14. В кругу глагольных форм аналогичную позицию занимают причастия: они тоже объединяют в себе грамматические признаки глагола и имени.

15. Необходимо разграничивать в составе междометий знаменательные слова, выражающие модальное отношение и являющиеся словами-предложениями, и междометия с чисто экспрессивной функцией, выражающие только различные ощущения и волеизъявления говорящего.

А. А. РЕФОРМАТСКИЙ

О СООТНОШЕНИИ ФОНЕТИКИ И ГРАММАТИКИ (МОРФОЛОГИИ)

1. К постановке вопроса

Этот вопрос в разные эпохи развития науки о языке получал различное разрешение. Пока фонетика не сложилась как особая лингвистическая дисциплина, на нее мало обращали внимания. А когда в связи с развитием сравнительно-исторического метода фонетические процессы и явления стали необходимым звеном лингвистического исследования, «фонетические законы» резко отделились от общих законов развития языка.

Если миновать эпоху Боппа—Гримма и даже Шлейхера, то следует констатировать, что, во-первых, фонетики в собственном смысле слова еще не было, во-вторых, в XIX в. все более укреплялась мысль о том, что фонетика — это физиология, наука естественная (Naturwissenschaft), а грамматика — это психология (Kulturwissenschaft)[1].

В воззрениях младограмматиков фонетика и грамматика принадлежали к совершенно различным сферам. «Психический элемент, — писал Пауль, — это наиболее значительный фактор в любом культурном движении, вокруг чего все вращается, и поэтому психология является наиболее важным основанием любой науки о культуре. Однако психическое — не единственный фактор, никакая культура не существует на чисто психической основе»[2].

Языковедение же как науку Пауль мыслил себе отнюдь не как чистую науку (reine Wissenschaft), по его словам, «скорее оно образует конгломерат, составленный из различных законополагающих наук или, как правило, из сегментов таких наук»[3].

---

[1] См. H. Paul. Prinzipien der sprachgeschichte, 2 aufl. 1886, s. 6, 7, 8, 9 и др.

[2] «Das psychische element ist der wesentlichste factor in aller culturbewegung, um den sich alles dreht, und die psychologie ist daher die vornehmste fasis aller... culturwissenschaft. Das psychische ist darum aber nicht der einzige factor, es giebt keine cultur auf rein psychischer unterlage». (H. Paul. Prinzipien der sprachgeschichte, 2 aufl., 1886, s. 2).

[3] «Vielmehr bildet sie ein conglomerat, das aus verschiedenen reinen gesetzwissenschaften oder in der regel aus segmenten solcher wissenschaften zusammengesetzt ist». (Там же).

Эти установки привели к довольно часто встречающемуся (даже, к сожалению, и сейчас) мнению, что фонетика — это физика, физиология, а грамматика — это психика. Тем самым отрицалось единство языка как особого общественного явления, тем самым и пресловутая паулевская трактовка языковедения как «Konglomeratwissenschaft» («конгломератная наука») долго торжествовала.

В такой постановке вопроса фонетика не только исключается из ведения общественных (гуманитарных) наук (Kulturwissenschaften), но и вообще выпадает из языка. А что же тогда «делается» с языком? Он остается «bloss psychologisch»? (только психологическим).

Так думать нельзя. И если мы хотим понять язык в его реальной данности, то мы должны понимать его в его целостности.

Прежде всего следует понять, что язык как орудие общения — это особое общественное (а не наполовину общественное, а наполовину «природное») явление. Надо понять, что у языка своя структура, свои особые внутренние законы развития, что его нельзя свести ни к явлениям базиса, ни к явлениям надстройки, ни к каким-либо иным явлениям. И поэтому не надо делить язык «пополам» — на «социальное» и «природное» или же на «материю» и «форму», а следует понять единство и целостность языка и особенности его структуры, складывающейся из фонетики, грамматики (морфология и синтаксис) и лексики.

Единство и целостность языка как особого общественного явления отнюдь не исключают особенностей каждого структурного элемента языка: фонетического, грамматического, лексического. Но различия этих элементов не противоречат тезису о единстве языка в целом.

Различия этих элементов языка очевидны. В фонетике — звуки, в грамматике — формы (морфологические и синтаксические), в лексике — слова. Однако не менее очевидно, что слова не существуют вне грамматики и в отрешении от «природной материи» — фонетики; «формы» бывают только формами слов и словосочетаний.

Весь смысл фонологического аспекта в фонетике — именно в том, чтобы не отдавать фонетику естествознанию, а понять звуки, явления физические, в качестве обязательного элемента языка как общественного явления.

В данной работе мы хотим исследовать связи фонетики и грамматики и в первую очередь морфологии, считая, что каждая из этих областей имеет свой специфический ареал.

Вопрос о соотношении фонетики и синтаксиса на базе соотношения между фразой и предложением — особый вопрос, которого мы здесь касаться не будем.

2. Бодуэн де Куртенэ и теория чередований

Первый, кто нарушил признанные в 70-х—80-х годах каноны, был И. А. Бодуэн де Куртенэ. Декларативно он отвергал фонетические законы, объявив что никаких фонетических законов нет и быть не

может[1], хотя в недекларативной части своих исследований показал очень тонко, что́ же такое фонетические законы в их развитии и функционировании на данном этапе состояния языка и как осуществляется необходимая связь фонетики и морфологии в фонемном строении морфем и их разновидностей, возникающих благодаря альтернациям фонем в морфемах[2].

Извлекая самое существенное из знаменитого, но мало изученного труда Бодуэна де Куртенэ «Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen» (1895, польское издание «Próba teorji alternacij fonetycznych», 1893), где сконцентрированы все основные его мысли о чередованиях, я хотел бы напомнить только один его анализ.

На сопоставлении двух глагольных форм plot-ę (plot-e) «я плёл» и и pleci-e (plec'-e) «он плетет» Бодуэн де Куртенэ показывает все ступени, все типы чередований как ступени одной лестницы, где исторически развивающийся процесс переводит один тип в другой, качественно отличный. Вот этот анализ:

1) $\mathbf{l}_1$ (из **lo** в *plotę*) || $\mathbf{l}_2$ (из **le** в *plecie*) — эмбриональная дивергенция.

2) $\mathbf{e}_1$ (из **te** в *plotę*) || $\mathbf{e}_2$ (из **cie** в *plecie*) — неофонетическая альтернация или дивергенция.

3) **o** (из **lo** в *plotę*) || **e** (из **le** в *plecie*) — палеофонетическая или традиционная альтернация.

4) **t** (из **te** в *plotę*) || **c'** (из **cie** в *plecie*) — психофонетическая альтернация или корреляция.

Разъясняя этот анализ в плане Nebeneinander, Бодуэн приводит следующий комментарий, переводящий в план Nacheinander[3].

1) * *plot-o* || * *plete*, где только эмбриональные дивергенции $\mathbf{e}_1$ || $\mathbf{e}_2$ и $\mathbf{t}_1$ || $\mathbf{t}_2$, извлекаемые из сочетаний **eto** || **ete**.

2) * $plet_0$*-o* || * $plet_i$*-e*, где $\mathbf{t}_0$ || $\mathbf{t}_i$ уже настоящая дивергенция, а $\mathbf{e}_1$ (в *plet-o*) || $\mathbf{e}_2$ (в *plet-e*) все еще эмбриональная.

3) * ple_0t_0*-o* || * ple_it_i*-e*, где две дивергенции: $\mathbf{t}_0$ || $\mathbf{t}_i$, $\mathbf{e}_0$ || $\mathbf{e}_i$ или, может быть, уже одна традиционная альтернация **t** || **t'** и одна дивергенция $\mathbf{e}_0$ || $\mathbf{e}_i$.

4) * *plot-* || * *plet'-*, где две палеофонетические или традиционные альтернации **t** || **t'** (**t** || **c'**) и **o** || **e** и одна эмбриональная дивергенция $\mathbf{l}_1$ (в **lo**) || $\mathbf{l}_2$ (в **le**).

---

[1] «Es gibt weder Lautwechsel, noch Lautgesetze und es kann auch solche nicht geben» (J. Baudouin de Courtenay. Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen, 1895, S. 18).

[2] Еще в работе «Из лекций по латинской фонетике» (1893) Бодуэн де Куртенэ в общей форме так резюмировал эту мысль: «Морфологическое флексийное чередование основ есть явление вторичное, вызванное первичными чисто фонетическими причинами. Чередование основ, как и всякое вообще фонетическое чередование морфологических единиц или морфем, разлагается на чередование фонем, входящих в состав этих морфем» (стр. 242).

[3] Эти термины следует понимать в смысле синхронии и диахронии, т. е. Nebeneinander — симультанное состояние, Nacheinander — сукцессивное последование.

5) Конечный пункт, т. е. исходный материал анализа: *plot-ę* [*plot-e*] || *pleci-e* [plec'-e], в котором **o** || **e** и **t** || **c'** уже корреляции, причем чередование **t** || **c'** связано с чередованием известных глагольных форм *plot-ę*, *plot-ą* || *pleci-e*, *pleci-esz*, *pleci-emy*, *pleci-ecie*; чередование же **o** || **e** частично тоже связано с этими морфологическими явлениями, но его «психический» характер гораздо слабее вследствие тенденции к выравниванию форм, так как бывают и формы *pletę*, *pletą* [plete, pleto] вместо *plotę*, *plotą* [plote, ploto], откуда в современном состоянии чередование **o** || **e** снизилось до ранга традиционных альтернаций, тогда как чередование **t** || **c** осталось корреляцией.

Этот ювелирный анализ должен до сих пор радовать сердце каждого фонолога и грамматиста. Не хватает здесь лишь одного понятия, которое должно все разъяснить до конца, — это понятия п о з и ц и и, без чего все построенное Бодуэном де Куртенэ здание остается все-таки без фундамента.

3. Фонетический и морфологический «ярусы» в структуре языка

Попытаемся установить принципы связи фонетического и морфологического «ярусов» в структуре языка.

Прежде всего необходимо отказаться от ходячего представления о том, что «слова состоят из звуков»; это положение дважды неправильно: во-первых, потому, что слова состоят из морфем (хотя бы это были и одноморфемные слова), а во-вторых, сами морфемы состоят не из звуков, а из фонем. Произносимые в речи звуки объединены в фонемы, и именно фонемы являются материалом построения морфем.

Если ограничиваться реально произносимыми звуками, то нельзя подойти к морфологическому строению слов, так как комбинаторные явления «стирают» морфологические швы ([ш : ыт'] вместо <с—ш—и—т'>, [д'э́цкэи] вместо <д'эт—ск—oj> и т. п.) и вместе с позиционными явлениями (например, редукцией) создают произносительные варианты фонематических, а тем самым и морфологических, тождеств (например [роз-], [р/\з-], [рэз-], [рос-], [р/\с-], [рэс-], [р/\ж-], [рэж-], [рэш], [р/\щ-], [рэщ-] в случаях: *роздых*, *раздать*, *раздавать*, *роспуск*, *растить*, *распивать*, *разжать*, *разжевать*, *расшить*, *расшивать*, *расщепа*, *расщепить*, или в определении падежной флексии в случаях: *стола*, *дома*, *коня*, *края* и т. п., где комбинаторно-позиционные условия создают различие звуков флексии).

Для фонетики все эти случаи должны быть зарегистрированы, но отнюдь не в плане безразлично-равноправного ряда, а именно как вариантный ряд чего-то одного — по основному виду входящих в данные морфемы фонем (<роз->, <-а>), что для морфологии является единственно нужным[1].

[1] Поэтому для записи парадигм не годится не только орфографическое обличие слов и форм, но и передача их в фонетической транскрипции; здесь нужна фонематическая транскрипция.

В поисках разрешения этих вопросов многие исследователи прибегали к особым понятиям: морфонемы (из морфофонемы с применением гаплологии) и морфонологии (из морфофонологии).

Эти два понятия, на наш взгляд, далеко не равноценны, кроме того, термин «морфонема» употреблялся и употребляется разными исследователями применительно к различным объектам.

4. Проблема морфонемы и морфонологии

Первым, кто ввел термин «морфонема», был польский лингвист Генрик Улашин. Он шел прямо от психологических определений Бодуэна де Куртенэ и формулировал так: «Надо разложить в соответствии с моими воззрениями слишком широкое представление «фонемы» на два представления: «фонема и морфонема», одновременно противопоставляемые представлению «звук» как обозначению объективного явления, которое можно уяснить при помощи аппаратов экспериментальной фонетики»[1].

В дальнейшем Г. Улашин объясняет, что фонемы соотнесены со слогами, а не с морфемами; это он демонстрирует на двояком членении польского слова *żaba*:

«Акустико-артикуляционные представления далее неделимы. Я называю их «фонемами»: **ż**, **b**, **a**. Из них образован комплекс, фонемный комплекс «*żaba*».

Отсюда, по Улашину, в уменьшительном *żapka* 5 фонем: **ż**, **a**, **p**, **k**, **a**. При таком понимании слово *żaba* делится, по Г. Улашину, на: ż/a || b/a, (т. е. фонемы соотнесены со слогами).

Иначе обстоит дело, если мы анализируем то же слово с семасиолого-морфологической точки зрения; в таком случае мы получаем расчленение || **żab**/**a** || , и полученные элементы (морфонемы), с вышеуказанной точки зрения, мы не можем уже делить дальше.

Далее Г. Улашин определяет фонему как «субъективное явление», которому соответствует звук; «он как объективное явление принадлежит к области тех же физических феноменов, как, например, завывание ветра, голоса животных, вообще — природные звуки».

А что же такое морфонема по Улашину?

«Морфонема — это фонема в семасиолого-морфологической функции»[2]. Пример: *żaba—żabka* [*żapka*], где каждая согласная корня морфонема та же, а фонемы здесь разные [b] — [p] — или [b (оглушенное)].

---

[1] «Zergliedere ich meiner Ansicht nach allzu weit ausgefasste Vorstellung des «Phonemas» in zwei Vorstellungen: «Phonema und Morphonema», indem ich gleichzeitig beide Vorstellungen der Vorstellung «Laut» gegenüber stelle als der Benennung einer objektiven Erscheinung, die mit Hilfe von Apparaten der experimentellen Phonetik versinnlicht werden kann». Henryk Ułaszyn. Laut, Phonema, Morphonema. «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», IV, 1931, S. 53—61.

[2] «Ein Morphonema ist. . . ein Phonema in semasiologisch-morphologischer Funktion». (Там же).

Считая, что в примере *żaba—żabie* ([b]—[b']) наличествует «выражение внутренней флексии», Г. Улашин резюмирует так:

«Фонемы, таким образом, образуют систему по внешнему родству, на основе субъективной эквивалентности акустико-артикуляционного процесса, например, s/s', морфонемы же образуют систему на основе внутреннего, функционального родства в силу их гомогенности, иными словами во взаимосвязи с семантико-морфологическими единствами, т. е. морфемами»[1].

Из всего сказанного ясно, что основной тезис о несопричастности фонетики и грамматики, провозглашенный младограмматиками, в общем остался незыблемым и для Улашина. Перекрестив «звуки речи» в «фонемы» и оставив за «звуками» вообще неязыковые явления: «завывание ветра, голоса животных, вообще — природные звуки», Улашин первый дал повод к ненужному усложнению лестницы языковой структуры («звук—фонема—морфонема»), где лингвистически — одна единица: фонема (с ее вариативностью) и в ее функциях морфемо- и смыслоразличения.

Эта превратная костюмировка пошла дальше. Ею воспользовались американцы. Первым был Д. Трейджер (D. L. Trager), который в статье «The phonemes of Russian»[2], ссылаясь на работу Л. В. Щербы «Court exposé de la prononciation russe» и на книжку Trofimov and Jones «The pronunciation of Russian», дает довольно правдоподобную картину варьирования русских гласных, но облекает ее в причудливо-непонятную терминологию Улашина. Отмечу лишь самое примечательное[3]: пять гласных фонем русского литературного языка называются у Трейджера «морфонемами», а в некоторых позициях, оказывается, «морфонемы» замещаются «фонемами», например, «морфонема» [o] в предударном слоге после непалатализованных согласных «замещается» фонемой [a], то же и относительно «морфонемы» [a].

Получается «трехъярусное» здание: Laut—Phonema—Morphonema — по Улашину и вопреки здравому смыслу. Например, если в именительном падеже множественного числа *волы* и *валы* совпадают в звучании [в⋀лы], то по Трейджеру (и по Улашину) здесь две морфонемы [o] и [a] и из них [o] «замещается» «фонемой» [a]. Как же это одно и то же оказывается для [o] — «фонемой» [a], а для [a] — «самим собой»? А что же означают всякие [ü], [ö], [ä] и т. п., данные без объяснений? Это и

---

[1] «Die Phonemata bilden also Systeme nach der äusseren Verwandschaft, auf Grund der subjektiven Äquivalenz akustisch-artikulatorischen Prozesse, z. B. s || s', die Morphonemata dagegen bilden Systeme nach der inneren, funktionellen Verwandschaft auf Grund ihrer Homogenität innerhalb, bzw. im Zusammenhange mit den semantisch-morphologischen Einheiten, d. h. Morphemen». Там же.

[2] «Language», 1934, N 4.

[3] Подробнее разбор этой работы Трейджера см. в моей статье «Проблема фонемы в американской лингвистике», «Уч. зап. МГПИ им. В. П. Потемкина», 1941, т. V, вып. 1, стр. 131—134.

не «морфонемы» и не «фонемы». И где же «Laut»? Может быть в этих самых [ü], [ö], [ä]? Не лучше ли все эти искусственно воздвигнутые ступени сдвинуть так, чтобы оказалось все реальнее и проще: есть фонемы (в русском вокализме их 5, это по Трейджеру — «морфонемы»; Трейджер их насчитывает тоже 5), есть их изменения типа [ü], [ö], [ä] — вариации данных фонем без совпадения со звучаниями других фонем, и есть варианты фонем: [ʌ], [ə] — когда разные фонемы совпадают в одном звучании. И отсюда простой вывод: для связи с морфологией и для морфологии как таковой важны только основные единицы фонетики — вариабельные константы (<и, э, а, о, у>), а не всяческие вариативы (будь то вариации типа [ы, е, ä, ö, ü] или варианты типа [ʌ], [ə] и т. п.)[1].

Такая превратная терминология, где простые фонемы «повышаются в ранге» до мифических «морфонем», а бедные «звуки» порой не знают, где же и как же им найти себе применение, особенно непонятна, если рассматривать проблему чередований (см. ниже).

Однако такой взгляд на «морфонемы» не единственный.

Воодушевившись идеей «воссоединить» фонетику и грамматику, перебросив мостик между фонологией и морфологией в виде «морфонологии», Н. С. Трубецкой использовал термин Улашина «морфонема», но в ином значении.

Для Н. С. Трубецкого различия [к] в *рука* и [k'] в *руки* — две фонетические реализации одной и той же фонемы, зависящие от внешних фонетических обстоятельств[2]. Это совершенно правильно (а для Улашина, Трейджера и их продолжателей — здесь две фонемы, «реализующие одну морфонему»).

Но Н. С. Трубецкому для оправдания морфонологии все-таки нужна морфонема. Он так определяет свою позицию в этом вопросе:

«Термин «морфо-фонема» и его аббревиация «морфонема» были придуманы Г. Улашиным, но взяты в другом смысле».

У Н. С. Трубецкого иное определение морфонемы:

«Так, в русских словах *рука* и *ручной* фонетические сочетания *рук* и *руч* осознаются как две фонетические формы той же самой морфемы, которая существует в языковом сознании. Одновременно в этих двух фонетических формах, или, точнее, это одна форма ру $\frac{к}{ч}$, где $\frac{к}{ч}$ представляют собой комплексный образ (Sic! — *А.Р.*)... эти комплексные образы двух или более фонем, способных в качестве производных от условий морфологической структуры слова заменять друг друга внутри

---

[1] Термины «варианты» и «вариации» я употребляю в том смысле, как они объяснены в книге Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова «Очерк грамматики русского литературного языка», 1945 и в моей книге «Введение в языковедение», 1947.

[2] См. N. S. Trubetzkoy. Sur la morphonologie. «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», I, 1929, p. 85 и сл.

одной и той же морфемы, могут называться морфофонемами или морфонемами»[1].

В своей работе «The phonemic principle» Моррис Свадеш принимает эту трактовку «морфонемы», определяя это «явление» как «one of a class of like phonemes»[2] (класс подобных фонем).

Если из дебрей «idées complexes» («комплексных образов») вернуться к действительности, то следует признать, что в таком понимании «морфонема» — это совокупность членов морфологических альтернаций типа (на русском материале) **[к-ч]**, **[г-ж]**, **[п-пл']**, **[о]** или **[э]** — **нуль** и т. п. (в примерах: *рука—ручка*, *бегу—бежишь*, *лупишь—луплю*, *сон—сна*, *день—дня* и т. п.).

Надо сказать, что во время написания данной статьи Н. С. Трубецкой исходил из сугубо психологических предпосылок (в истоках — Бодуэна де Куртенэ), и его определение «idée complexe» — это то же самое, что Vorstellung («представление») Бодуэна де Куртенэ. Но, в отличие от последнего, Н. С. Трубецкой применяет это толкование к предмету, который Бодуэн де Куртенэ много изучал, но никогда в ранг «представления» не возводил.

Мысль Н. С. Трубецкого возвести такие факты к «idée complexe» диковинна. Какое же общее «представление» может быть у **[к]** и **[ч]**, у **[г]** и **[ж]** (в первой паре «глухость», что ли? А во второй — «звонкость»? А у *берегу—беречь* — явление того же порядка, но ни то, ни другое...). В особенности же интересно, чтó «общее» у беглых гласных с нулем (а ведь это точно такое же «чередование», что и **[к]**—**[ч]** или **[г]**—**[ж]**). Какая же тут может быть «idée complexe»?

В поисках прямолинейной систематики Н. С. Трубецкой придумал несуществующую и ненужную для структуры языка единицу — ей нет соответствия в объективной действительности языка; там есть корреспонденция, соответствие или чередование вариантов морфем (*рук-* || *руч-*; *бег-* || *беж-*; *сон-* || *сн-* и т. п.), но **[к]** || **[ч]**, **[г]** || **[ж]** и тем более **[о]** || **нуль** не образует каких-либо реальных единиц структуры языка.

Итак, понятие «морфо(фо)немы» — ненужное понятие: либо травестирующее иные явления (Улашин, Трейджер), либо корреспондирующее мифическому объекту (Трубецкой, Свадеш).

Вопрос же о морфонологии гораздо сложнее и серьезнее.

---

[1] «Ainsi, dans les mots russes *рука* et *ручной*, les ensembles phoniques *рук* et *руч* sont sentis comme deux formes phoniques d'un seul et même morpheme, qui vit dans la conscience linguistique, à la fois dans ces deux formes phoniques, ou, plus precisement, sont une forme *ру* $\frac{к}{ч}$, où $\frac{к}{ч}$ est une idée complexe... Ces idées complexes, de deux ou plusieurs phonèmes susceptibles, en fonction des conditions de structure morphologique du mot, de ce remplacer l'un l'autre au sein d'un seul et même morphème, peuvent être appelées des «morphophonèmes» ou des «morphonèmes». Там же, p. 85.

[2] Morris Swadesh. The phonemic principle. «Language», 1934, № 2.

Если признать, что высшей единицей фонетики является фонема и дело фонетики — установить количество и систему фонем в данном языке, а также описать распределение фонем по позициям и получающиеся в разных позициях вариативности фонем, то не только вопросы внутренней флексии (будь то в обнаженном виде в семитских языках или в завуалированном, обычно не самодовлеющем, виде[1] в индоевропейских языках), которые явно относятся к грамматике, но и вопросы чередований типа *бегу—бежишь* не касаются фонетики. Отнесение морфологических чередований в раздел фонетики, на мой взгляд, грубейшая ошибка. В этих явлениях ничего фонетического нет, что прекрасно доказал в свое время Бодуэн де Куртенэ. Однако и в грамматику эти явления входят незаконно. В самом деле, какое дело грамматике, как учению о грамматических значениях и средствах их выражения, до таких фактов, как *рука—руцѣ* или *рука—руке?* Грамматика здесь в различии флексий [-а] || [-э], а что перед ними: [ц] или [k] — грамматике абсолютно безразлично. Совершенно ясно, что при анализе таких случаев, как *посылать—послать* или *foot—feet* «*нога—нóги*», грамматика берет аналогичные факты в свое ведение; это ее право и обязанность.

Но если то, чтó Бодуэн де Куртенэ называл «традиционными альтернациями», не имеет почвы в фонетике и не имеет основания быть причисленным к тому, чтó называется «грамматикой», то куда же оно относится? Где место для «традиционных чередований» в системе языка и в системе науки о языке?

Сам Бодуэн де Куртенэ, заботясь больше о единстве языка и языкознания, а не о размежевании сфер внутри языка, не дал ответа на этот вопрос.

Исходя из идей Бодуэна де Куртенэ, Н. С. Трубецкой сделал попытку обосновать новый раздел лингвистической науки. Он предложил лингвистам ввести понятие морфонологии. Вот его обоснования этого вопроса:

«Как связующее звено между фонологией и морфологией должна в грамматике занять подобающее почетное место морфонология, и именно в каждой грамматике, не только в грамматиках семитских или индоевропейских языков»[2].

Идея «мостика» между фонетикой (фонологией) и грамматикой здесь показана ясно; особо следует отметить и то, что речь идет не только о некоторых трудностях флективных языков, а вообще о систематике любых языков.

---

[1] Случаи «чистой» внутренней флексии типа германского «умлаута» (реже «аблаута») или русских *брать—бирать* — обычно: *собрать—собирать* и т. п. — или *вол—воль* — не типичны для индоевропейских языков.

[2] N. S. Trubetzkoy. Gedanken über Morphonologie. «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», IV, 1931, S. 161.

В дальнейшем Н. С. Трубецкой указывает еще на одну цель введения морфонологии в языкознание.

«Морфонология, — говорит он, — которая является связующим звеном между учением о звуках и учением о формах, уже в силу этого ее центрального положения в грамматической системе, главным образом, призвана к тому, чтобы дать охватывающую характеристику своеобразия каждого языка, и, может быть некоторые типы языков, рассмотренные с морфонологической точки зрения, легче будет распределить в рациональной типологии языков земного шара»[1].

Оба эти соображения Н. С. Трубецкого не вызывают сомнений. Это угаданная истина. Однако дальнейшие рассуждения Н. С. Трубецкого на эту тему мне представляются сомнительными и малопродуктивными.

Н. С. Трубецкой предлагает морфонологию разделить натрое: 1. Учение о фонологической структуре морфем. 2. Учение о комбинаторных звуковых изменениях, которым подвергаются морфемы в сочетаниях морфем. 3. Учение о чередующихся звуковых рядах, которые выполняют морфологическую функцию.

Первая задача морфонологии: анализ фонематического состава морфем как аффиксальных, так и корневых в их сравнении не вызывает сомнения; действительно, различие состава фонем в разных морфемах вещь неоспоримая. Так, например, в русском языке фонема <*ж̧*> может встречаться только в ограниченном количестве корневых морфем (в аффиксах ее нет)[2]; особый интерес это представляет для сингармонистических языков, где состав гласных фонем корня гораздо шире, чем состав фонем аффиксов, так как многие признаки вокализма аффиксов являются просто обусловленными вариантами, качество которых зависит от качеств вокализма корня. Этот вопрос требует особого экскурса (см. ниже).

Второй пункт рассуждения Н. С. Трубецкого вряд ли сформулирован правильно. Выражение «комбинаторные звуковые изменения» (Kombinatorische Lautveränderungen) не характеризуют сути явлений. Здесь речь может идти или о вариантах морфем, или о чередовании фонем, т. е. либо [*п'эч — п'ок—п'эк*] в формах *печь*, *печёт*, *пёк*, *пеку*, *пеки*, либо [к || ч], [о || э].

---

[1] «Die Morphologie, die, wie schon gesagt, ein Bindeglied zwischen Laut- und Formenlehre ist, ist schon durch diese ihre zentrale Stellung im grammatischen System am meisten dazu berufen, eine umfassende Charakteristik der Eigenart jeder Sprache zu geben, und vielleicht werden jene Typen von Sprachen, die sich auf Grund einer morphonologischen Betrachtung ergeben, als leichter ermöglichen, eine rationelle typologische Einteilung der Sprachen des Erdkreises aufzustellen». (Там же, S. 163).

[2] Мнение Н. С. Трубецкого о том, что в русском языке корни из одного согласного бывают только в местоимениях, мне кажется неправильным. Можно взять хотя бы такое слово, как *щи*, или, mutatis mutandis, такие глаголы современного русского языка, как *мять*, *жать*.

Пункт третий объединяет в морфологической функции и традиционные чередования, и внутреннюю флексию, однако эти явления, материально тождественные, функционально различны, причем собственно в морфонологии могут оставаться лишь традиционные чередования, не облеченные грамматической значимостью. Внутренняя же флексия отходит к грамматике.

5. Некоторые вопросы тюркологии и германистики

Если представить себе последовательно сингармонистический язык (без долгот вокализма некоторых тюркских языков), то получается такая картина:

1) В корнях гласные могут различаться фонематически

а) по узости — неузости **‹I›** (= **и—ы**) — **‹E›** (= **е—а**)

б) по лабиализации { **‹I›** (= **и—ы**) — **‹U›** (= **ӱ—у**)
‹E› (= **е—а**) — **‹Ö›** (= **ö—о**),

т. е. в такой фонологической системе в корнях имеется четыре гласных фонемы:

1) узкая нелабиализованная **‹I›** (может реализоваться и как [**ы**]);

2) не узкая нелабиализованная **‹E›** (может реализоваться и как [**а**]);

3) узкая лабиализованная **‹U›** (может реализоваться и как [**ӱ**]);

4) не узкая лабиализованная **‹O›** (может реализоваться и как [**ö**]), т. е. четыре гласных, каждая в двух вариантах — переднем и заднем в связи с общим нёбным сингармонизмом, что не может в этих языках быть свойством отдельных фонем, а является типичной накладкой на фонемы позиционного свойства, откуда комбинаторно «мягкие» согласные сочетаются с передними гласными, а «твердые» — с задними.

В такой фонематической системе при условии действия закона сингармонизма в аффиксах должны быть только две гласные фонемы, которые в зависимости от определяющей роли препозитивного корня будут: 1) либо передней, либо задней (это и в вокализме корня не автономно); 2) либо лабиализованной, либо нелабиализованной. Например, гласная аффикса местного падежа («где»?) может быть реализована как:

1) **-а**, 2) как **-е**, 3) как **-о**, 4) как **-ö**.

А гласная родительного падежа («кого?») может быть реализована как:

1) **-и**, 2) как **-ы**, 3) как **-ӱ**, 4) как **-ӱ**.

Следовательно, в такой языковой системе, где закон сингармонизма действует абсолютно, будет:

1) в корнях 4 гласных фонемы: **‹I›** (= **и—ы**), **‹U›** (= **ӱ—у**), **‹E›** (= **е—а**) и **‹Ö›** (= **ö—о**);

2) в аффиксах 2 гласных фонемы: узкая (**и-ӱ**, **ы—у**) и широкая (**е—ö**, **а—о**).

Если же и лабиализация является свойством сингармонизма слова, а не свойством отдельных гласных, то все сокращается вдвое, т. е. в корнях 2 фонемы: узкая (= **и—ы**, **ӱ—у**) и широкая (= **е—а**, **ö—о**);

в аффиксах же остается одна гласная, которая в зависимости от гласной корня может быть: узкой (=**и—ы**, **ӱ—у**) или широкой (=**е—а**, **ӧ—о**), передней (=**и**—е, ӱ—ӧ) или задней (=**ы—а**, **у—о**), неогубленной (=**и**—е, **ы—а**) или огубленной (=**ӱ—у**, ӧ—**о**).

Представив все сказанное в виде таблицы (применительно к парадигме склонения), можно убедиться в основной закономерности судьбы гласных при условии последовательного сингармонизма: небного и губного.

Падежи	Флексии в основном виде	Если в основе:							
		а	ы	о	у	е	и	ё	ю
Им.	(нуль)	—	—	—	—	—	—	—	—
Род.	нын	ы	ы	у	у	и	и	ю	ю
Вин.	ны	ы	ы	у	у	и	и	ю	ю
Дат.	га	а	а	о	о	е	е	ё	ё
Местн.	да	а	а	о	о	е	е	ё	ё
Исходн.	дан	а	а	о	о	е	е	ё	ё

Напомним, что различие узких и широких гласных в корнях любых тюркских языков является независимо фонематическим, поэтому в корнях различие групп (**ы — и**, **у — ю**), с одной стороны, и групп (**а** — е, **о** — ё) — с другой, к сингармонизму не имеет отношения.

Но в пределах каждой группы гласные (**ы — и — у — ю**) и (**а — е — о** — ё) представляют собой варианты одной фонемы, так как задний или передний характер, губной или не губной — подчинены закону сингармонизма. Это варианты «того же». Если взять реальные языки, то положение, конечно, получится сложнее. Дело здесь в том, что и исходный тип фонемного состава может быть осложнен и видоизменен (см. о казахском языке), а кроме того, бывают и случаи нарушения закона сингармонизма (см. о киргизском языке).

В казахском языке нет губного сингармонизма, поэтому аффиксальные огубленные — не вынужденные варианты, а самостоятельные фонемы; это не касается склонения, а обнаруживается главным образом в деривативном словообразовании, например, *жаз* «лето, весна», откуда *жазғытұры* — «весна» и далее «весенний» — *жазғытұрғы*.

В фонематическом составе вокализма корня в казахском языке «вокалическая система» нарушена гласной [ә], которая встречается в определенных, но не фонологически, а лексически определяемых условиях[1], поэтому ее следует «взять в скобки»; в смысле же небного сингармонизма казахский язык исключительно закономерен и прозрачен.

[1] «. . . звук ә в казахском языке обычно встречается в первом слоге, особенно же в начале слова». К. К. Юдахин. Киргизско-русский словарь. Краткие сведения по сравнительной фонетике, 1940, стр. 575. Добавим еще, что ә часто начинает заимствованные слова, например *әскер* и т. п.

Система вокализма аффиксов склонения в казахском языке укладывается в следующую схему:

Падежи	Основной вид аффикса	Если в основе							
		а	ы	о	у	е	и	ё	ю
Им.	(нуль)	—	—	—	—	—	—	—	—
Род.	-ның	ы	ы	ы	ы	і	і	і	і
Вин.	-ны	ы	ы	ы	ы	і	і	і	і
Дат.	-ға	а	а	[illegible]	а	е	е	е	е
Местн.	-да	а	а	а	а	е	е	е	е
Исходн.	-дан	[illegible]	[illegible]	а	[illegible]	е	е	[illegible]	е

Следует отметить, что корневое [ә] (что редко бывает в моносиллабах, а чаще в дисиллабах) не меняет картины. [ә] действует на аффиксы как [е], т. е. как «широкая передняя», поэтому будь то *жерде* «у места», «в месте» или *әскерде* «у воина» — -де остается с [е].

Напомним, что в казахском языке и в корнях различия [**ы** — **і**, **а**—**е**, **о**—**ө**, *ұ*—*ү*] — попарно вариации одной и той же фонемы, так как «задний» или «передний» тембр зависим от общего сингармонизма слова.

Конечно, и в казахском языке имеются слова с «ломаным сингармонизмом», например, *қызмет* «служба», где «даякшы» («кыбачы») нельзя применить, а судьба вокализма аффиксов определяется последней гласной основы (*қызметте* «на службе»)[1].

Но общей схемы эти случаи не изменяют. Тенденция понятна — это следствие внутреннего закона тюркских языков — сингармонизма, который на примере «идеального, максимального сингармонизованного» тюркского языка мы изобразили выше.

В отношении киргизского языка дело обстоит сложнее.

Во-первых, там есть фонематические долгие гласные (исторически — вторичные), например: [*уч*] «лети» и [*у : ч*] «горсть», [*тап*] «найти» и [*та : п*] «нашедши», [*ор*] «яма» и [*о : р*] «тяжелый», [*ер*] «муж» и [*е : р*] «седло», [*күлө*] «тюбетейка» и [*кү: лө*] «настраивать музыкальный инструмент» и т. п.; следовательно, исходный независимый корневой вокализм расширен за счет нового дифференциала — долготы. Но это «осложнение» не меняет ни йоты в предыдущем рассуждении, так как и краткие и долгие гласные действуют в системе сингармонизма совершенно одинаково; нарушение касается только симметричности киргизского вокализма, так как не все краткие гласные имеют фонематически долгие пары, есть краткие и долгие фонемы [**а** — **а**:, **о** — **о**:, **у** — **у**:, **ё** — **ё**:, **ю** — **ю**:], но нет долгих фонем ([**ы**] и [**и**]).

[1] Недаром при обсуждении вопроса о казахской письменности когда-то один остроумный человек предложил не дублировать в алфавите гласные по «нёбному» различию, а ставить перед «твердым» словом особый знак «даякшы» (или «кыбачы»), а перед «мягким» его не ставить, откуда *кол* и *кёл* могли бы «писаться» одинаково, но перед *кол* надо бы поставить знак «твердости» — «даякшы» («кыбачы»), а перед *кол* (*-кёл*) его не ставить.

Во-вторых, имеется одно серьезное нарушение закона сингармонизма в киргизском языке. Это касается судьбы аффиксальных гласных после основ с гласной [у]; вокализм этих аффиксов не подчиняется губному сингармонизму, т. е. вместо ожидаемого [о] остается [а] (*кулупга, кулупта, кулуптан*, «клубу, в клубе, от клуба» вместо ожидаемых **кулупго*, **кулупто*, **кулуптон*).

Дело тюркологов — разъяснить этот весьма странный случай нарушения обычного сингармонизма, тем более странный, что корневое [о] принуждает гласную аффикса лабиализоваться (*колго, колдо, колдон* «рука, в руке, от руки»), а «более сильное» по лабиализации [у] — не заставляет.

Для выяснения соотношений фонетики и грамматики интересно сопоставить такие далекие явления, как «обратный» (для тюркских языков), т. е. регрессивный, сингармонизм уйгурского языка с аналогичным явлением в германских языках. Оба явления невозможно рассматривать вне морфологического аспекта, так как речь идет по преимуществу о взаимодействии вокализма корня и постфикса, а не «вообще» о взаимодействии гласных, но результаты этого взаимодействия в уйгурском и в германских различны и именно с точки зрения соотношения фонетики и грамматики.

В уйгурском постфиксальное [и] действует регрессивно на расстоянии на корневые широкие гласные [а], [ә] и переводит их в гласную [е], которая не является узкой, по отношению к заднему нижнему [а] — факт переднего вокализма среднего подъема, а по отношению к переднему [ә] — только лишь факт вокализма среднего подъема. Следовательно, рассуждая чисто фонетически, переход [а] в [е] и переход [ә] в [е] — разные явления.

Для [а] > [е] — смещение ряда и подъема, а для [ә] > [е] — главным образом смещение подъема.

Но для вокализма корня большинства тюркских языков дифференциальными признаками фонем являются два: 1) узкие — широкие и 2) огубленные — неогубленные; задний же и передний характер гласных — результат позиционного действия небного сингармонизма[1]. И если к узким относятся ‹[ю] — [у]› и ‹[ы] — [и]›, то все прочие гласные — широкие, а тем самым и различие [ә] — [е] не является различием «по широте раствора».

Полагаем, что в указанных явлениях уйгурского языка «обратный» сингармонизм — явление небного сингармонизма, что очевидно для [а] — [е], так как это задняя и передняя разновидность одной фонемы, и менее очевидно для [ә] — [е], но суть в том же.

Примерами такого «обратного» сингармонизма в уйгурском могут быть случаи, как *ал* «возьми» + *иш* > *элиш* «взятие»; *ат* «лошадь» + *им* > *этим*

[1] Мы сознательно опускаем здесь долготы в киргизском, казахское [ә] и тому подобные необщетюркские явления.

«моя лошадь»; *кул* «приходи» + *иш* > *келиш* «приход»; *эс* «память» + *им* > *эсим* «моя память» и т. п.

Однако за пределы чисто позиционного воздействия гласной последующего слога на гласную предыдущего дело не пошло; здесь гласная корня в фонетически слабой позиции и чередования фонем нет, а есть лишь позиционное варьирование. Тем самым данное явление остается в пределах фонетики и в грамматический факт не перерастает.

Иной результат аналогичного явления в германских языках, то, что Я. Гримм назвал Umlaut.

Генезис умлаута — чисто фонетический. В тех парадигмах склонения, где корень с задними гласными (**a**, **o**, **u**) сопровождается флексией с гласной **i**, возникала регрессивная дистактная вокалическая ассимиляция типа небного сингармонизма, в результате чего задние гласные корня изменялись в соответствующие передние: **a** > **ä**, **o** > ö, **u** > **ü**, и слово в целом получало «переднюю гармонию». Пока это было так, явление оставалось чисто позиционным; **ä**, **ö**, **ü** в этих случаях были не особыми фонемами, а лишь вариациями фонем **a**, **o**, **u** в условиях переднего сингармонизма.

Но этот процесс, как известно, в германских языках пошел дальше: 1) умлаутирование по аналогии было перенесено на основы, где не было флексии **i** (*Vater* — *Väter*, *Kloster* — *Klöster*, *Mutter* — *Mütter* «отец — отцы, монастырь — монастыри, мать — матери») и 2) само **i** во флексиях редуцировалось во многих случаях до нуля, что особенно ясно в английском (*foot* — *feet*, *mous* — *mice* — «нога — ноги, мышь — мыши»), где воздействующая позиционная причина отпала, а результат остался фонетически не мотивированным, т. е. слабая позиция превратилась в сильную, а тем самым возникло чередование разных фонем, да еще облеченное грамматической значимостью: различием единственного и множественного числа, т. е. возникла внутренняя флексия.

История немецкого и английского умлаута служит блестящим подтверждением выдвинутых в 1893 г. Бодуэном де Куртенэ положений о взаимодействии фонетики и грамматики и о тех этапах, по которым эмбриональное фонетическое явление становится явно фонетическим и далее может «уйти» из фонетики, либо застыв на ступени традиционных (морфологических) чередований, либо перейдя в грамматику в качестве полноправного грамматического способа внутренней флексии.

6. Тождество и нетождество морфем

После всего сказанного сомневаться в необходимой связи фонетики и грамматики (морфологии) вряд ли есть основание, а тем самым со всей категоричностью следует отвергнуть тезисы младограмматиков о «китайской стене», разделяющей эти две области, из которых одна якобы физическая, а другая психическая. Обе эти области — языковые, лингвистические, каждая имеет свой «ярус» в структуре языка, но одна без другой немыслима.

Но этим еще не решается вопрос о тождестве морфем в связи с возможностью их разнообразного и разнокачественного варьирования. Этот вопрос Бодуэн де Куртенэ не ставил, а Трубецкой разрешал неправильно; некоторые же американские лингвисты в разрешении этого вопроса зашли в тупик (см. ниже).

Таким образом, центральным вопросом связи фонетики и морфологии является вопрос о тождестве или нетождестве морфем в данной системе языка и об исторических причинах этих тождеств и нетождеств.

Для решения этих вопросов фонетические данные абсолютно необходимы, но они не обеспечивают полного решения; однако преимущества фонетического критерия заключаются в том, что фонетические данные могут быть показаны вполне объективно и однозначно, тогда как показатели семантические не обладают должной объективностью и дают часто неоднозначные решения.

Чтобы все это было понятно, наметим ступени тождества — нетождества морфем, а затем проанализируем каждую из них подробнее. Рассмотрим это первоначально на корневых морфемах, нисколько не забывая и общего грамматического типа языка и что, mutatis mutandis, все это может касаться и морфем аффиксальных дифференцированно по типам аффиксов (префиксы, суффиксы, флексии).

Случай	Пример	Вывод
I. Разные, не связанные друг с другом корни	*кот* || *печь* *дом* || *дым* *мел* || *мель* *рок* || *рог*	не та же морфема
II. Разные, но супплетивно связанные друг с другом корни	*брать* || *взять* *иду* || *шел*	не та же морфема
III. Те же корни с наличием внутренней флексии	*дик* || *дичь* *гол* || *голь* *ходит* || *хаживал*	та же морфема
IV. Те же корни с наличием традиционной альтернации морфологического или, иначе, исторического чередования	*бегу* || *бежишь* *села* || *сельский* *конь* || *конский* *пал* || *запальный* *сон* || *сна*	та же морфема
V. Те же корни с наличием фонетического варьирования	*игры* || *сыгран* *лоб* || *лобовой* *рог* || *рога*	та же морфема

Из приведенной таблицы видно: 1) что во всех «случаях» имеется «что-то не то же», но это «не то же» разного качества; 2) что крайние

звенья цепи I—V как бы совершенно несопоставимы (I *кот* || *печь* и V *рог* || *рога*); 3) что пример из I «случая» *рок* || *рог* представляет собой по произношению «то же», но попадает не в V, а именно в I группу; 4) что различению подлежат «случаи» III и IV (что не всегда делают); 5) что в особую группу выделен случай II — супплетивизм (что также требует пояснений); 6) что очень «похожие» фонетически случаи разнесены в разные группы, например, I *мел* || *мель* и III *гол* || *голь*; 7) что, очевидно, наряду с критерием фонетическим учитывается и какой-то иной критерий и т. п.

Все это требует выяснения и разъяснения, к чему мы и переходим.

1) Начнем с рассмотрения случая V.

В чем здесь тождество и в чем нетождество? Тождество состоит прежде всего в том же составе фонем данных корней как членов тех же парадигматических рядов (словоизменительных: *рог* || *рога* и словообразовательных: *лоб* || *лобовой*, *игры* || *сыгран*) с наличием того же вещественного значения; нетождество — в чисто произносительной стороне: *игры* [**и**], *сыгран* — [**ы**]; *лоб* [**оп**], *лобовой* [**эб**]; *рог* — [**ок**], *рога* [**лг**]. Это нетождество связано с чисто фонетическими закономерностями функционирования данной системы языка (редукция безударных гласных: **о** || **л** || **э**; оглушение конечных звонких согласных: **б** || **п**, **г** || **к**), что создает чисто фонетические чередования или варьирование фонем в слабых позициях, причем чередуются вариации и варианты фонемы с ее основным видом; это явление имеет свою непосредственную причину — позиции в синхронии языка; никакого отношения к морфологии и тем самым к грамматике данный «случай» не имеет, изучается в фонетике и. таким образом, нужен нам только для установления отличий от него других «случаев» и для регистрации «нижней» границы в исследуемом вопросе.

Совершенно ясно, что пример *рок* || *рог* из «случая» I как раз противоположен «случаю» V, так как при произносительном тождестве (*рок* и *рог* — одинаково [рок]) это по составу фонем разные морфемы, дающие разные парадигматические ряды (*рока* — *рога* и т. д.) и не имеющие ничего общего в вещественном и лексическом значении. Таким образом, с точки зрения рассматриваемого вопроса, «случаи» I *рок* || *рог* и V *рог* || *рога* — антиподы.

2) Чем отличается IV «случай» от V? На первый взгляд в IV «случае» налицо и тождество морфем в словоизменительных и словообразовательных рядах, и фонетическое их различие. Но это фонетическое различие особого порядка, оно основано не на разном звучании слабых позиций, а на различии звучания сильных позиций, т. е. не на чередовании основного вида фонем с их вариантами и вариациями, а на чередовании разных фонем, что не зависит от позиций и причины чего не даны в синхронии языка, а скрыты в его истории.

Действительно, никаких препятствий со стороны фонетической системы языка нет к тому, чтобы вместо *бежишь* произносить *бегишь*,

или вместо *бегу — бежу;* также не обязательны фонетически «беглые гласные», наоборот, по образцу большинства слов с корневым [о] [кот] — [к⋀та́], [стол] — [ст⋀ла́] или [дом] — [до́м⋀] «естественнее» было бы склонять [сон] — [с⋀на́] или [сон] — [со́н⋀]; однако «что-то» препятствует этому, но это «что-то» отнюдь не фонетика и, собственно, и не морфология, так как с точки зрения морфологии склонение *сон — сона* и *сон — сна* — та же парадигма. Однако «беспризорных» объектов в языке не должно быть, поэтому следует найти «полку» для данных явлений в самом языке и раздел языкознания, ведающий этой «полкой» (об этом скажем ниже).

Одно здесь ясно, что IV и V «случаи» совсем не «то же самое», что 60 лет тому назад блестяще показал И. А. Бодуэн де Куртенэ в «Опыте теории фонетических чередований», и что «случай» IV безусловно связан с морфологией, так как с точки зрения действующих в данном языке норм построить «правильно» форму нельзя без учета этих традиционных альтернаций (иначе: морфологических, исторических чередований). Их наличие не обусловлено причинно данным состоянием языка и не направлено прямо на образование форм, не сопутствует этому образованию, так как в потенции может образовать формы самостоятельно, без участия и помощи других грамматических способов. Наличие этих чередований обусловливает варианты морфем (*друг—друж—друз';* *п'эк—п'ок—п'эч; сон—сн* и т. п.), и они, оторвавшись от непосредственной причинности и не достигши прямой грамматической целенаправленности, существуют в силу традиции и опираются на узус; поэтому в тех речевых контекстах, где сила традиции ослаблена или совсем отсутствует (диалекты, просторечье, детская речь, речь иностранцев), такие чередования легко аннулируются, варианты морфем унифицируются по аналогии с продуктивными случаями, где нет чередований или нерегулярные чередования сводятся только к регулярным.

3) III «случай» опять же как будто мало отличим от IV, так как здесь налицо и общность вещественного значения, и участие морфем в тех же парадигматических рядах, и наличие чередования разных фонем в сильных позициях, создающее варианты фонем, — все, как и в IV «случае». Но там эти чередования не были прямо направлены на образование форм, не получили качества грамматического способа. Здесь же эти чередования прямо образуют формы (словоизменительные и словообразовательные), являются внутренней флексией, не могут быть устранены по аналогии (так как возникнет неразличение в морфологии); эти чередования — уже настоящая морфология, где различные варианты морфем — одновременно разные формы. Такие чередования, в отличие от традиционных или исторических (морфологических), можно назвать грамматическими, подчеркивая этим законность отнесения их к грамматике в качестве внутренней флексии.

Вопрос о наличии (в той или иной пропорции) или отсутствии внутренней флексии в языках тесно связан с общим характером грамма-

тического строя языков — в разной степени в различных индоевропейских языках: санскрите, греческом, латинском, славянском, германских, романских, особо в семитских, совсем иначе в тюркских, опять же в разных языках по-разному.

4) II «случай» требует особых пояснений. Во-первых, явления супплетивизма мало изучены, получали в свое время неправильное истолкование[1]; во-вторых, супплетивизм освещался, как правило, только «сверху», т. е. со стороны грамматики, тогда как у него есть и фонетическая сторона: случаи супплетивизма не всегда являются результатом конвергенций в одной парадигме различных корней, но могут получиться и в результате дивергенции того же корня на почве фонетических изменений[2]. Нас еще этот пункт особо интересует, так как он служит «верхней» границей исследуемого вопроса, где на почве фонологического нетождества (хотя бы и бывшего в прошлом) налицо и тождество морфемы, хотя и при общности функции разных морфем. Здесь уже не варианты морфем с чередующимися фонемами, а чередования разных морфем. Тем же самым случаи супплетивизма очень важны для характеристики морфемы и неразрывно связаны с вопросом о связи морфологии и фонетики.

В связи с этим следует остановиться на одном рассуждении представителей американской «дескриптивной лингвистики». Харрис, Трейджер и другие последователи Блумфилда расценивают английские флексии множественного числа *-en* (в *oxen*, *children* «быки, дети») и *-s* (в *trees*, *cows*, *books* «деревья, коровы, книги»)[3] как альтернанты одной морфемы, так как они имеют одно и то же значение, никогда не встречаются в одном и том же лингвистическом окружении (по-английски нельзя образовать форму **cowen* или же, наоборот, **oxes*) и по диапазону совпадают с противопоставленной им альтернантой — нулевой морфемой в форме единственного числа (*ox*, *cow* и т. д.).

Такие рассуждения очень типичны для американских структуралистов и основаны на полном игнорировании материальности языка. Тождество функции тех или иных морфем еще ничего не говорит о тождестве самих морфем и запутывает систематику вопроса. Применительно к корневым морфемам, исходя из подобных рассуждений, очевидно, придется стереть грань между случаями внутренней флексии и традиционных чередований, с одной стороны, где действительно налицо альтернирующие формы тех же морфем (*бр—бир—бер—бор; пёк—печ*; *друг—друж—друз'* и т. п.) и супплетивных формаций,

---

[1] Например, в работе С. Д. Кацнельсона «Генезис номинативного предложения», 1938.

[2] Например, французские числительные *un* [œ̃] «один» и *une* [y : n] «одна» или русские глагольные корни *ходит—шел* (из * *хьдлъ* > *шьдлъ* > *шьлъ* > *шел* > *шол*).

[3] См. подробнее в ст. О. С. Ахмановой «О методе лингвистического исследования у американских структуралистов». «Вопросы языкознания», 1952, № 5, стр. 25.

с другой, где налицо разные морфемы, совпадающие по значению и функции. Идя дальше, можно при подобном аспекте и в лексике придти к такому положению, что синонимы — это те же слова, а не разные[1].

Очевидная нелепость подобного вывода не требует аргументации. Это в конце концов та же «понятийность» в отрыве от реальности языка. Правильная же точка зрения должна строго различать для случаев в формах множественного числа в английском языке: 1) *-z*, *-s* — фонетическое варьирование, 2) *-z*, *-iz* — морфологическую альтернацию и 3) *-z*, *-en* — наличие параллельных разных морфем.

Переоценивая значимость только линейной формы, американские структуралисты явно подменяют проблему структуры языка вопросом о технической конструкции: что за чем следует и не может следовать; в этом для них весь вопрос морфологии, из этого и исходит определение морфемы у Л. Блумфилда[2].

5) I «случай» как будто бы к данному вопросу совершенно не относится: в случае *кот* || *печь* нет ни одного тождества: это разные корни, с разным вещественным значением, выступающие в разных парадигматических рядах (т. е. не соединяющиеся в одну парадигму, как в случаях супплетивизма) и не обладающие общностью фонемного состава; все это так, но именно чтобы понять причастность к интересующему нас вопросу супплетивизма («случай» II), необходимо как «пограничное», или, скорее, уже как «заграничное», явление привести и I «случай». Пример же *рок* || *рог* при всей его «схожести» со «случаем» V *рог* || *рога* нужен именно потому, что здесь совпадение только кажущееся; пример *рок* || *рог* это «то же», что *кот* || *печь*, а вовсе не *рог* || *рога*, по отношению к которому, как мы выше указывали, *рок* || *рог* является антиподом.

7. Заключение

Все сказанное можно резюмировать так.

1. Язык при всей сложности своей структуры и неоднородности составляющих его элементов всегда образует целое, подчиняющееся действию внутренних законов его строя.

---

[1] До какой степени доходит отождествление «разного» на почве отрыва «функций, значений и распределения» от реальной языковой данности, показывают рассуждения Е. А. Nida («Language», 24, 1948, 4, p. 418 и др.), в которых предлагается форманту **-ology** в названиях наук (biology, geology «биология», «геология» и т. п.) считать материальной альтернантой к слову science («учение, ведение»), исходя из пропорции: biology : life-science = geology : earth-science («биология : жизневедение = геология : землеведение») и т. п., а префикс **ex-** (в ex-president, ex-chairman «экс-президент, экс-председатель» и т. п.) — морфемной альтернантой глагольных флексий прошедшего времени **-ed** (в accepted, turned «принял, повернул» и т. п.). За указание этой работы Nida приношу благодарность О. С. Ахмановой.

[2] См. ук. выше работу О. С. Ахмановой, стр 94. Вот одно из характерных определений грамматики у Л. Блумфилда: «the meaningful arangement of forms in a language» («значимое устройство слов в языке»), «Language», 1933, p. 163

2. Нисколько не оспаривая автономности каждого отдельного «яруса» языковой структуры, следует считать неоспоримым обязательную и структурно обусловленную связь этих «ярусов», в частности фонетики и морфологии.

3. И фонетика и морфология оперируют с фонемами: фонетика как со своей высшей единицей, морфология как со своей низшей, так как в структуре языка высшая единица предыдущего «яруса» является низшей единицей для следующего, осуществляя минимум основной единицы данного «яруса» (одна фонема может быть морфемой, одна морфема — словом, одно слово — предложением); различие между фонетикой и морфологией заключается в том, что фонетика берет фонемы в условиях позиций и всех тех явлений, которые обусловлены позициями, а морфология — вне позиций; позиция для морфологии не существует.

4. Таким образом, само по себе рассмотрение фонем не может быть еще признаком того, что это факт фонетики или морфологии; если анализ неизбежно включает понятие позиции, то это факт фонетики, если так же неизбежно исключает — это факт морфологии.

5. Пограничная полоса между фонетикой и морфологией, когда позиции устранены, а факты еще не обладают значимостью, может быть предоставлена морфонологии.

6. Соотношение фонетических и морфологических фактов в данном языке подвергается изменениям; то, что в одну эпоху представляет собой чисто фонетические явления, в последующую эпоху может изменить свое качество, т. е. становиться независимым от позиции и либо оставаться в виде традиционных чередований, без наличия грамматической значимости, либо получить грамматические выразительные возможности, превратившись в грамматический способ внутренней флексии, т. е. стать фактом грамматики; для разных языков одна и та же исходная точка процесса может приводить к различным результатам.

7. В процессе исторического развития языков целые морфемы (корневые) могут вступать во взаимодействие в качестве грамматического способа, что приводит к супплетивизму, где разные корни выступают тождественно в отношении вещественного (лексического) значения, своими отличиями различая грамматические категории, причем пути образования супплетивных пар различны, так что супплетивизм может возникнуть и в результате фонетических процессов.

Р. И. АВАНЕСОВ

КРАТЧАЙШАЯ ЗВУКОВАЯ ЕДИНИЦА В СОСТАВЕ СЛОВА И МОРФЕМЫ[1]

1. О месте фонетической системы в структуре языка

Вопрос о кратчайшей звуковой единице в составе слова и морфемы тесно связан с вопросом о месте фонетической системы в структуре языка. Этот последний вопрос, равно как и обусловленный им вопрос о месте фонетики как научной дисциплины в кругу других лингвистических дисциплин, изучающих различные в структурном отношении стороны языка, до последнего времени не был еще решен в советском языкознании. Одни ученые включали фонетическую систему в состав грамматического строя; другие считали, что она находится за пределами грамматического строя, в связи с чем принимали фонетику за самостоятельную научную дисциплину наряду с грамматикой и лексикологией; третьи считали, что вопрос этот принципиального значения не имеет, но что практически фонетику удобнее всего излагать вместе с грамматикой, а именно в начале собственно грамматики.

Действительно, без знакомства с фонетической системой языка невозможно его теоретическое или практическое изучение. Ведь звуки речи являются «природной материей» языка, вне которой не мыслится самое существование языка слов. Поэтому изучение языка — его грамматического строя и словарного состава — само по себе уже предполагает изучение его фонетической системы.

Таким образом, нельзя не согласиться с тем, что фонетика должна излагаться вместе с грамматикой, предшествуя последней. Однако

[1] Настоящая статья посвящена некоторым из основных вопросов фонологии, которая, как известно, имеет обширную литературу как, прежде всего, в нашей отечественной науке, так и в зарубежной. Обзор и критика высказанных со второй половины XIX в. и в особенности за последние 20—25 лет взглядов по этим вопросам могли бы составить предмет весьма полезной обширной работы. Автор настоящей статьи ни в коей мере не ставил перед собою подобной задачи. Его задача более узкая и скромная, — исходя из основных положений советского языкознания и из его общих устремлений, высказать свою точку зрения на некоторые из теоретических вопросов фонологии. Этим объясняется характер статьи, отсутствие обзора литературы и сколько-нибудь обширной цитации.

едва ли может быть принято мнение, согласно которому не имеет принципиального значения вопрос о том, является ли фонетическая система частью грамматического строя или находится за его пределами, и, в соответствии с тем или иным его разрешением, вопрос о том, является ли фонетика частью грамматики или образует самостоятельную научную дисциплину. Можно утверждать, что этот вопрос имеет определенное теоретическое значение, так как то или иное его разрешение определяется самим пониманием природы соответствующих структурных элементов языка, в частности пониманием предмета грамматики.

Фонетику с грамматикой роднит то, что та и другая изучают структуру языка, ограниченное число категорий, образующих сложную систему и бесконечно повторяющихся. Этим фонетика и грамматика в равной мере и принципиально отличаются от лексикологии, изучающей конкретный инвентарь лексических единиц языка, насчитывающих десятки тысяч и практически не поддающихся исчислению.

Однако фонетика и грамматика существенно и принципиально отличаются друг от друга. Грамматика имеет дело со значимыми единицами языка (предложения, слова в их грамматических функциях, морфемы и их роль в словоизменении и словообразовании). Даже минимальная единица, изучаемая в грамматике, — морфема — значима, обладает собственным значением. В противоположность этому объекты фонетики и притом не только звуки речи как физиолого-акустические явления, но и фонемы не значимы, не обладают значением.

Критерий смыслоразличения, как основного признака фонемы, введенный Л. В. Щербой в очень осторожных выражениях (как наличие или отсутствие у звуков речи «смыслоразличительной силы»[1], как «способность ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференцировать значения»)[2], был несомненно крупным шагом в истории развития учения о фонеме. Однако, видимо, и у самого Л. В. Щербы, и в еще большей степени у других исследователей (при этом не только его последователей) не было полной ясности в характере этой «смыслоразличительной силы». В чем же она заключается? Конечно, не может быть сомнения, что фонема не обладает значением. Но нам представляется недостаточной и общепринятая в настоящее время формулировка, согласно которой фонема, не обладая сама по себе значением, обладает способностью дифференцировать, различать слова и формы, ассоциироваться с разными значениями и т. д. Думается, что было бы точнее говорить о том, что фонемы различают не значения слов и форм как таковых, а лишь их звуковую оболочку, ибо различия в звуковой оболочке слов лишь указывают на различие в значении, но не раскрывают самого характера этого различия. Таким образом, мы кон-

---

[1] L. Ščerba. Court exposé de la prononciation russe, 1911, p. 2.

[2] Л. В. Щерба. Русские гласные в качественном и количественном отношении, 1912, стр. 14.

статируем, что хотя между фонемой и значением имеется тесная и неразрывная связь, однако эта связь непрямая, опосредствованная: фонемы различают не значения слов, а лишь звуковую оболочку слов; разные слова обычно имеют неодинаковую звуковую оболочку (ср., однако, частные случаи различий в звуковой оболочке одних и тех же слов, например, *платишь* и *плотишь*, *калоши* и *галоши*, и, наоборот, отсутствие различий в звуковой оболочке разных слов — у омонимов). Это значит, что, например, слова *дом* и *дам*, именно как слова, а не звучания, различаются не гласными [о] и [а], а целиком — они различаются как разные слова, принадлежащие к разным грамматическим категориям, обозначающие разные понятия, отражающие разные явления действительности. Другое дело звуковая оболочка этих слов, которая, действительно, различается гласными [о] и [а]. Только такие случаи как *влез* и *слез*, действительно, как слова непосредственно различаются начальными *в* и *с*; однако последние здесь являются не только фонемами, но и морфемами, имеющими свои определенные значения (*влез на что-нибудь, слез с чего-нибудь)*; следовательно, эти слова как таковые дифференцируются непосредственно не разными начальными фонемами, а разными начальными морфемами, каждая из которых состоит из одной фонемы. Что же касается звуковой оболочки этих слов, то она различается, действительно, разными начальными фонемами. Поэтому нам представляется более точным говорить не о смыслоразличительной роли фонем, а об их различительной роли, имея в виду роль фонем как различителей звуковой оболочки слов и форм.

Таким образом, одно из принципиальных различий между грамматикой и фонетикой заключается в том, что объекты первой всегда представляют собою значимые единицы языка, а объекты последней, в том числе фонемы, — единицы, не обладающие значением и даже не связанные непосредственно со значением, а лишь различающие звуковую оболочку значимых единиц языка — слов и морфем. Это является достаточным основанием, чтобы считать грамматику и фонетику разными научными дисциплинами, каждая из которых имеет свой объект изучения (грамматический строй и фонетическую систему), обладающий своей спецификой и своими закономерностями.

Однако, признавая фонетику и грамматику разными дисциплинами, мы в то же время должны отметить, что они тесно связаны друг с другом, ибо связаны друг с другом их объекты — фонетическая система и грамматический строй. Это положение опирается на более общее положение, согласно которому язык представляет собою сложное целое, части которого органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обусловливают друг друга.

Отдельные стороны структуры языка, имея свою специфику, в то же время находятся в отношениях сложных взаимодействий друг с другом. Морфология языка теснейшим образом связана с синтаксисом. Словообразование стягивает в один структурный узел многие элементы

морфологии и лексики. Фонетическая система языка тесно связана с его другими структурными элементами и прежде всего с морфологией, а также лексикой. Установление характера этих связей, в разных языках не всегда одинаковых, является одной из важных задач языкознания.

Для нашей темы существенно, что один и тот же равный себе грамматический элемент может иметь различия чисто фонетического порядка. Например, в флексии творительного падежа единственного числа слов *травой* и *коровой* имеется различие фонетическое (гласные [ó] и [ъ]), обусловленное местом ударения, и в то же время представлено морфологическое тождество — одна и та же флексия.

2. Фонетика и фонология

Другим вопросом, с которым тесно связан вопрос о кратчайшей звуковой единице в составе слова и морфемы, является соотношение фонетики и фонологии.

Фонология, или учение о фонеме, впервые появилась как реакция против младограмматической концепции языка с ее подходом к звуковой стороне языка как к явлению природному, с ее отрывом фонетики от грамматики и отнесением фонетики к сфере наук естественно-научных, а не социальных. В этих условиях противопоставление традиционной фонетике вновь создаваемой фонологии безусловно было прогрессивным и означало движение науки вперед. Однако в дальнейшем, в трудах некоторых, по преимуществу зарубежных авторов, в особенности лингвистов пражской школы (Якобсона, Трубецкого), датского лингвиста Ельмслева и других представителей структурализма, противопоставление фонологии фонетике переросло в отрыв фонологии от фонетики, в изучение отношений между фонемами, их функций в значительной мере безотносительно к звуковой материи языка.

Изучение этих отношений и функций вместо изучения само́й звуковой стороны языка как элемента структуры языка, глубоко своеобразного в каждом языке, привело этих ученых к схематизации фактов, к игнорированию их живого многообразия, не укладывающегося в фонологические схемы, к устранению из фонемы ее реальных материальных признаков — к идеализму.

Между тем советская фонология, продолжая традиции И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы, отрицает наличие двух самостоятельных научных дисциплин, из которых одна — фонетика — будто бы относится к естественным наукам, а другая — фонология — к общественным. Нельзя не признать глубокую справедливость следующего положения Л. В. Щербы: «Против чего надо всячески протестовать — это против отрыва фонологии от фонетики в узком смысле слова. Исследовать систему фонем данного языка, определять «семантизованные» (фонологизованные) признаки каждой из них можно только на основе изуче-

ния конкретного произношения данного языка, не менее конкретных причинных связей между отдельными элементами этого произношения»[1]. Звуковой стороне языка как общественного явления соответствует одна научная дисциплина, объектом которой являются звуки речи как элементы структуры языка. Перед нами не две дисциплины, а лишь два аспекта исследования. Фонология как более высокая ступень фонетики[2] стала подлинно лингвистической дисциплиной и вместе с грамматикой посвящена изучению структуры языка. Фонолог не может не быть одновременно фонетистом, если он не хочет погрязнуть в мире абстракций — функций и отношений, — оторванных от живой ткани конкретных языков в их развитии. С другой стороны, и фонетист всегда (в том числе и до появления фонологии) был до известной степени фонологом, так как он изучал не звуки вообще, а звуки языка, и выделял звуки, различаемые в том или ином положении в данном языке. Можно доказать, что на самое выделение звуковых типов как одного из основных понятий общей фонетики наложил свою печать фонематический состав определенной группы языков (по преимуществу индоевропейских, главным образом языков Европы). Если бы понятие звукового типа исторически сложилось на почве совершенно иных языковых систем, то можно было бы ожидать в ряде случаев выделения и иных звуковых типов (ср., например, возможное объединение [б] и [м] в некоторых языках ввиду их комбинаторного характера или неразличение глухих и звонких в связи с комбинаторным характером звонкости согласных в некоторых языках и т. д.). Звуковые типы — это фонемы в большей части тех языков, на почве которых выработалось самое это понятие. Можно доказать, что «стихийными фонологами» были и создатели или нормализаторы древних систем письма, как Константин философ и Вульфила (для славянского и готского). И это естественно, ибо фонология имеет дело с реальными, существенными для языка категориями, которые не могут не быть так или иначе отражены в звуковом письме.

Можно бы высказать предположение о том, что фонетика и фонология так же относятся друг к другу, как морфология и синтаксис в составе грамматики. Однако это предположение не будет вполне правильным, так как морфология и синтаксис имеют р а з н ы е о б ъ е к т ы (формы слов, изменение слов, с одной стороны, и формы сочетаний слов, формы предложений — с другой), в то время как фонетика и фонология имеют в качестве своего основного объекта одно и то же: кратчайшие звуковые единицы языка сами по себе или в их функционировании в качестве различителей звуковой оболочки слов и форм.

---

[1] Л. В. Щ е р б а. Очередные проблемы языковедения. «Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.», т. IV, 1945, вып. 5, стр. 185—186.

[2] См. А. А. Р е ф о р м а т с к и й. «Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.», т. XI, 1952, вып. 5.

Следовательно, фонетика и фонология отличаются друг от друга не разными своими объектами, а различными аспектами изучения одного и того же объекта.

3. Понятие кратчайшей звуковой единицы

Разные слова и их формы обычно отличаются друг от друга (если не иметь в виду случаев омонимии) своими звуковыми оболочками.

Различия в звуковых оболочках разных слов могут быть весьма многообразны. При разноместности и подвижности ударения они могут заключаться в различиях места ударения, которое, например, в русском языке определяет собою количество и качество различаемых в безударных слогах гласных (ср. [му́ку] и [муку́], [п'и́л'и] и [п'ил'и́], [за́мък] и [зαмо́к], [па́ръм] и [пαро́м] и т. д.). Различие в звуковых оболочках разных слов может касаться количества звуковых единиц (ср. *он*, *тон*, *стон; ус*, *кус*, *куст* и т. д.), порядка следования одних и тех же звуковых единиц (ср. *он* и *но*, *сук* и *кус*, *куст* и *стук*). Наконец, различия в звуковых оболочках разных слов могут касаться самих звуковых единиц, их качества. При этом звуковые оболочки разных слов могут отличаться полностью (ср. [дуп] и [нас]), либо более или менее значительной частью (ср. [сам] и [сук], [зноi̯] и [знал], [плох] и [прах] и т. д.), либо, наконец, одной кратчайшей звуковой единицей, т. е. иметь минимальное звуковое отличие (например, [сам] — [сом]; [сам] — [дам]; [сам] — [сап]). Реально эти типы различий звуковых оболочек слов в языке обычно существуют вместе, в самых различных комбинациях: например, звуковые оболочки слов [мука́] и [у́мн'ицъ] отличаются друг от друга и местом ударения, и количеством минимальных звуковых единиц, и порядком общих звуковых единиц, и, наконец, самими звуковыми единицами — их качеством.

Для фонетики в широком смысле слова (т. е. включая в нее как собственно фонетику, так и фонологию) существеннейшим является вопрос о том, каковы в данном языке минимальные, кратчайшие звуковые различия, способные сами по себе, самостоятельно различать звуковые оболочки разных слов и форм, ибо такие звуковые единицы образуют фонемы.

Обратимся к понятию кратчайшей звуковой единицы. Под кратчайшими звуковыми единицами мы имеем в виду такие произносительно-слуховые элементы, которые выделяются в слове при его последовательном, так сказать линейном членении как единицы простейшие, минимальные, далее нечленимые, занимающие минимальный отрезок времени (т. е. далее неделимый по отношению к звуковым элементам данного языка). Такому членению в написанном (при помощи звукового письма) слове соответствует членение по вертикалям (ср. р/у/к/а́). Таким образом, под кратчайшими звуковыми единицами языка понимается то, что обычно нерасчлененно по отношению к принципу выде-

ления (фонологическому или собственно фонетическому) называется звуком речи.

Любая кратчайшая звуковая единица употребляется не изолированно, а в слове, следовательно, после или перед другой кратчайшей звуковой единицей, между другими кратчайшими звуковыми единицами, гласные, кроме того — в определенном отношении к ударению и т. д. Поэтому качество данной кратчайшей звуковой единицы всегда в той или иной степени бывает обусловлено фонетическим положением. Точнее говоря, обычно одни стороны ее качества бывают обусловлены фонетическим положением, а другие независимы. Так, например, в слове *тот* в качестве кратчайшей звуковой единицы под ударением выделяется гласный [о], средний подъем и наличие лабиализации которого не обусловлены позицией, независимы, самостоятельны (ср. в том же положении, т. е. под ударением, между твердыми согласными [т] возможность гласных верхнего подъема [у] и нижнего подъема нелабиализованного [а] — [тут], [тат]), в то время как задний ряд обусловлен позицией, зависим, несамостоятелен, так как определяется положением между твердыми согласными (ср. в положении после твердого согласного перед мягким, после мягкого перед твердым, между мягкими: [то́т'мъ], т. е. город Тотьма, [т'˙о́ткъ], [т'˙о́˙т'ъ]).

При этом соотношение самостоятельных и обусловленных сторон кратчайших звуковых единиц может быть неодинаковым для разных таких единиц в разных фонетических условиях. Так, например, в слове [пут] в качестве кратчайшей звуковой единицы под ударением выделяется гласный [у], у которого независимы, не обусловлены позицией степень подъема и наличие лабиализации (ср. [пот], [пат]). В слове же [вы́путъл] одной из кратчайших звуковых единиц заударного слога является гласный [у], у которого независимо, не обусловлено позицией по существу только наличие лабиализации, так как в этом положении может быть и отсутствие лабиализации (ср. [вы́пътъл]): ряд, т. е. более заднее или переднее образование этого гласного, определяется качеством предшествующего и последующего согласных (прежде всего их твердостью или мягкостью), а разные степени подъема в заударном неконечном слоге практически отсутствуют.

Приведем пример из области согласных. У начального [с'] в словах [с'˙а˙т'], [с'н'˙а˙т'] независимы, не обусловлены позицией место образования, способ образования, наличие или отсутствие голоса (ср. [п'˙а˙т'], [пн'˙а́], [га́˙т'], [αгн'˙а́], [з'ӓт'], [мαз'н'˙а́]). Однако у начального [с'] в слове [с'˙а˙т'], кроме того, не обусловлена, независима твердость — мягкость (ср. [с'˙а˙т'] и [п'иса́˙т']), а у начального [с'] в слове [с'н'˙а˙т'] мягкость обусловлена: твердое *с* перед [н'] не употребляется и поэтому не противопоставлено мягкому *с'* [1].

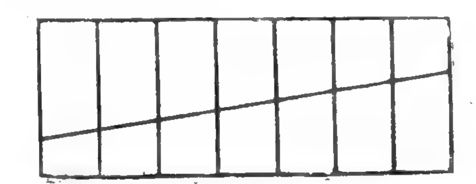
[1] Эти отношения не изменяются и при произношении [сн'˙а˙т'], так как при таком произношении перед [н'] отсутствует [с'], т. е. все равно твердость и мягкость оказываются не противопоставленными друг другу.

Таким образом, кратчайшие звуковые единицы слова в одних фонетических условиях имеют больше самостоятельных, не обусловленных позицией сторон и меньше зависимых, обусловленных позицией; напротив, в других фонетических условиях преобладают стороны зависимые, обусловленные позицией, над сторонами самостоятельными. Соотношения между теми и другими сторонами кратчайшей звуковой единицы обратно пропорциональны: чем больше независимых, не обусловленных позицией сторон, тем меньше зависимых, обусловленных, и наоборот. Однако практически не бывает кратчайших звуковых единиц, которые во всех своих сторонах были бы независимы, не обусловлены позицией или, наоборот, во всех своих сторонах зависимы, обусловлены[1].

Сказанное может быть представлено в схеме:

Необусловленные, самостоятельные стороны

Обусловленные, зависимые стороны



Деление по вертикалям указывает на отдельные кратчайшие звуковые единицы.

Кратчайшие звуковые единицы в тех их сторонах, которые не зависят от фонетического положения, не обусловлены позицией, — употребляются в тождественной позиции и служат в языке для различения звуковой оболочки словоформ, иначе говоря, образуют самостоятельные фонемы. В противоположность этому кратчайшие звуковые единицы в своих зависящих от фонетического положения, обусловленных позицией сторонах не употребляются в тождественной позиции, не имеют непосредственно различительной функции и потому образуют не самостоятельные фонемы, а лишь разновидности одной и той же фонемы.

Из сказанного следует, что фонемой является кратчайшая звуковая единица как независимая по своему качеству величина и потому сама по себе достаточная для различения звуковых оболочек словоформ[2].

4. Кратчайшая звуковая единица и ударение

Для выяснения понятия кратчайшей звуковой единицы языка существенное значение имеет отношение к этой единице (когда она является гласным) ударения[3].

[1] Независимой от позиционных условий кратчайшая звуковая единица может быть лишь в изолированном употреблении, а последнее реально в языке имеет место лишь в исключительных случаях, когда она одновременно является морфемой, словом и предложением.

[2] Под словоформой здесь и ниже имеется в виду то или иное конкретное слово в одной из своих конкретных форм.

[3] Ниже речь идет о словесном ударении, вопроса о фразовом ударении мы не касаемся.

Известно, что ударение как по характеру своего выделения, так и по своей функции весьма различно в разных языках. Однако оно всегда служит важным фонологическим средством, являясь признаком слова (каждому самостоятельному слову обычно соответствует одно ударение).

В особенности велика роль ударения как фонологического средства, когда оно является разноместным и подвижным, как в русском языке. При разноместности ударения последнее является не только признаком слова, но и н д и в и д у а л ь н ы м признаком слова, т. е. отличающим данное слово от другого, — иными словами, является средством различения звуковых оболочек разных слов (ср. [мука́] и [му́къ]). Таким образом, функция разноместного ударения относится к сфере лексикологии. Подвижное ударение является признаком данного слова в его данной грамматической форме, т. е. индивидуальным признаком словоформы, а при регулярности передвижений места ударения в разных формах данного грамматического типа слов подвижное ударение становится принадлежностью соответствующей парадигмы. Все это означает, что подвижное ударение используется в качестве определенного, хотя и дополнительного грамматического средства, т. е. относится к сфере грамматики.

Анализ звукового состава разных слов и форм приводит нас к выводу, что ударение выходит за пределы того последовательного членения, при котором выделяются кратчайшие звуковые единицы, служащие фонемами. Ударение как бы находится н а д этим членением, определяя своим местом до известной степени самое качество кратчайших звуковых единиц языка (в особенности в области гласных).

Вопреки мнению ряда ученых наличие или отсутствие ударения (при его разноместности и подвижности) не является признаком слоговой фонемы и через нее также признаком морфемы, а представляет собой, как это было отмечено выше, непосредственно признак слова (а при подвижности ударения — признак слова в его данной конкретной форме).

Это доказывается тем, что два слова, различающиеся местом ударения, при последовательном членении на кратчайшие звуковые единицы оказываются всегда отличающимися друг от друга не одним, а двумя признаками. Ср., например, [му́ку] и [муку́]: эти слова отличаются друг от друга не только ударенностью первого [у] в первом слове и его безударностью во втором, но также обязательно и безударностью второго [у] в первом слове и его ударенностью во втором слове. См. то же в таблице последовательного членения на кратчайшие звуковые единицы:

м	у́	к	у
м	у	к	у́

Это значит, что ударенное и безударное [у] не могут встречаться в тождественной позиции: последнее было бы налицо только в том случае, если бы данное различие ([у́] и [у]) было единственным и в остальном оба слова в звуковом отношении были бы тождественны.

Из сказанного следует, что слово [му́ку] состоит из определенного последовательного ряда кратчайших звуковых единиц плюс ударение на 1-м слоге: [м+у+к+у] + ударение на 1-м слоге; точно так же слово [муку́] состоит из определенного последовательного ряда кратчайших звуковых единиц плюс ударение на 2-м слоге: [м+у+к+у] + ударение на 2-м слоге.

Это подтверждает высказанное выше положение о том, что ударение является фонологическим средством, выходящим за пределы членения слова на кратчайшие звуковые единицы, за пределы системы фонем. Такие слова, как [му́ку] и [муку́], противопоставлены друг другу целиком, в то время как звуковые оболочки слов в случаях типа [му́ку] и [ма́ку] или [муку́] и [мука́] противопоставлены друг другу лишь фонемами [у] и [а].

Таким образом, ударение выходит за пределы членения языка на кратчайшие звуковые единицы. При разноместности и подвижности ударения место его в данном слове или в данной словоформе относится к области лексикологии и грамматики. Однако самый характер ударения, средства его выделения относятся к фонетике, так же как относится к фонетике и роль ударения как фактора, определяющего собою звуковые чередования (в области гласных) и, следовательно, (в тех же пределах) звуковой состав слова или словофонемы.

5. Два типа позиционных чередований и обусловленный характер фонетической системы

Основной из высших единиц языка, с которой имеет дело фонетист, обычно является слово. В слове могут выделяться морфемы. Самая возможность их выделения и характер взаимоотношений между морфемами в слове могут быть весьма различны в зависимости от качества строя языка.

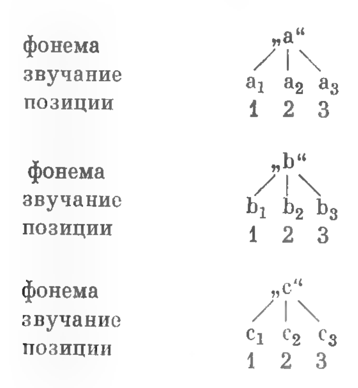
При наличии членения слова на морфемы кратчайшая звуковая единица языка одновременно функционирует как в составе слова в его данной конкретной форме, так и в составе морфемы. Однако характер ее функционирования в составе той и другой структурной единицы языка в одних случаях (и языках) совпадает, в других имеет резкие и принципиальные отличия. Это зависит прежде всего от характера позиционных чередований и ударения, а также от строя языка в целом.

Функционирование кратчайшей звуковой единицы (в составе слова и морфемы) основано на живых комбинаторных и позиционных чередованиях, свойственных данному языку на данном этапе его развития.

Позиционные чередования в разных языках и на разных этапах развития одного языка могут носить весьма различный характер.

Следует различать два принципиально различных типа чередований: а) позиционные чередования, образующие параллельные или во всяком случае не пересекающиеся друг с другом ряды, не имеющие общих членов; б) позиционные чередования, образующие ряды, частично пересекающиеся друг с другом, т. е. имеющие один или несколько общих членов. Фонетической системе некоторых языков по преимуществу свойственны чередования первого типа; в значительной же части языков в той или иной степени имеют место оба этих типа позиционных чередований, образуя более сложную фонетическую систему.

Схематизируя сказанное, позиционные чередования первого типа можно представить в формуле: «в позициях 1, 2, 3 имеет место звуковое чередование $а_1 \| а_2 \| а_3$; $в_1 \| в_2 \| в_3$; $с_1 \| с_2 \| с_3$ и т. д.». Не может быть сомнения, что функциональное тождество каждого из таких рядов позиционных чередований образует фонему. Параллелизм таких чередований заключается в том, что в той позиции, в которой фонема «а» звучит как $а_1$, фонемы «b» и «с» звучат как b_1, c_1; в той позиции, в которой фонема «а» звучит как $а_2$, фонемы «b» и «с» звучат как b_2, c_2 и т. д. Графически это может быть представлено в схеме:



Подобный по преимуществу тип звуковых чередований был представлен, например, в старославянском языке древнейшей поры (до падения редуцированных). Ряды глухих и звонких согласных, как правило, не пересекались[1]. Каждый шумный согласный был равен себе по глухости-звонкости, т. е. сохранял глухость или звонкость как свой конститутивный признак (ср. **плъть, плъти, плътьскъ, бесплътьныи**;

[1] Кроме чередования *z* || *s* в конце приставки-предлога и, возможно, некоторых других случаев.

плодъ, плода, бесплодьныи); у согласных мягких (смягченных) палатализация также была их конститутивным признаком, т. е. всегда сохранялась (ср. **полѥ, полꙗ, полю, пол҄ь, пол҄ьскъ**). Согласные немягкие звучали твердо перед гласными непередними и испытывали некоторую палатализацию перед гласными переднего образования, т. е. звучали как полумягкие. Эта палатализация не доходила до той степени, которая была свойственна мягким (палатализованным) согласным. Таким образом, твердые согласные, чередовавшиеся с полумягкими, не пересекались с мягкими (палатализованными) согласными: парные по твердости-мягкости согласные (*r—r'*, *l—l'*, *n—n'*) во всех положениях различались. О согласных внепарных по твердости-мягкости (например, *t*, *d*, *p*, *b*) не приходится говорить, так как соответствующие мягкие отсутствовали. Это значит, что в случаях **несѫ—несеши, вода—водѣ** имело место чередование твердых с полумягкими s ‖ ṡ, d ‖ ḋ, такое же, как в случаях **берѫ—береши, кльнѫ—кльнеши.** Таким образом, для системы консонантизма старославянского языка древнейшего периода характерны позиционные чередования, представляющие собой параллельные, обычно не пересекающиеся друг с другом ряды, которые можно представить в следующей схеме:

перед непередними гласными	«t» / t — ṫ	перед передними гласными
перед непередними гласными	«d» / d — ḋ	перед передними гласными
перед непередними гласными	«r» / r — ṙ	перед передними гласными
перед непередними гласными	«r'» / r' — r' (всегда r')	перед передними гласными

В качестве примеров различения парных мягких и немягких согласных фонем перед гласными переднего ряда укажем: **борѥтъ** и **беретъ**, **кон҄ь** и **конь** (ср. **искони**), **был҄ь и быль** (bor'etъ и beretъ, kon'ь и konь, byl'ь и bylь) — мягкие согласные всегда сохраняют свою мягкость как конститутивный признак, а твердые (точнее немягкие) приобретают позиционную полумягкость, т. е. чередуются с полумягкими.

В качестве примера рядов позиционных чередований параллельных, не пересекающихся друг с другом, для гласных можно указать на фонемы *a*, *u*, *ǫ* в положении после немягких и мягких согласных: в этих положениях имеет место чередование *a* ‖ *ȧ*, *u* ‖ *u̇*, *ǫ* ‖ *ǫ̇*. Ср.

жена — воны, дѣлоу — полю, верж — ворж. Это можно представить в схеме:

после немягких согласных	«а» / \ а ȧ	после мягких согласных
после немягких согласных	«о» / \ о ȯ	после мягких согласных
после немягких согласных	«ǫ» / \ ǫ ǫ̇	после мягких согласных

При параллелизме отдельных рядов звуковых чередований характерной особенностью фонетической системы, обусловленной именно их параллелизмом, является то, что в любой данной позиции в принципе различается равное количество звуковых единиц, являющихся представителями каждого из рядов чередований. Это значит, что при наличии таких чередований кратчайшая звуковая единица в любой позиции (вне зависимости от меньшей или большей обусловленности ее качества позицией) обладает равной способностью различать звуковые оболочки словоформ.

Подобного типа звуковые чередования представлены и в современном русском языке. Ср. чередование *а* || *а˙* || *˙а* || *˙а˙*, параллельное чередованию о || о˙ || ˙о || ˙о˙, чередованию у || ˙у || у˙ || ˙у˙ и др.: [рат], [ра˙т'], [р'˙ат], [р'˙а˙т']; [рот], [ро˙т'] (пороть), [р'˙от] (орёт), [р'˙о˙т'] (орёте); [рут] (орут), [ру˙т'] (грудь). В каждой данной позиции (по отношению к твердости-мягкости предшествующего и последующего согласных) различается пять возможных звуковых единиц (ср. [р'ат], [р'от], [р'ут], [р'ет], [р'ит]). Однако в русском языке широко представлены также звуковые чередования не параллельные, перекрещивающиеся, которые значительно осложняют его звуковую систему.

Позиционные чередования этого второго типа, образующие ряды не параллельные, пересекающиеся, имеющие общие члены для двух или нескольких рядов, в разных языках оказываются весьма своеобразными.

Одной из типичных для такого чередования формул является формула: «двум или нескольким звуковым единицам, различающимся в позиции 1, в позиции 2 соответствует одна звуковая единица, совпадающая по своему качеству с одной из различаемых в позиции 1 единиц». Это значит, что звуковому чередованию *а* || *в*, употребление членов которого обусловлено позицией 1 или 2, соответствует нулевой ряд (т. е. лишенный чередований) *в*, где звуковая единица *в* употребляется как в позиции 1 (где она различается с *а*), так и в позиции 2 (где *а* не употребляется). Сказанное представлено в схеме:

позиция 1 a \ / b
позиция 2 a

Подобные чередования, состоящие из двух не параллельных, пересекающихся рядов, могут образовать параллельные, соотносительные пары рядов. Это может быть представлено в схеме:

```
позиция 1  a     b   c     d   e     f
позиция 2    \a/       \c/       \e/    и т. д.
```

Примером такого чередования, не параллельного и пересекающегося внутри каждой пары рядов и, напротив, параллельного и соотносительного для каждой пары рядов по отношению к другим парам рядов, может служить чередование глухих и звонких согласных в русском языке, где, например, перед гласными различаются [т] и [д], [к] и [г], [с] и [з] и др., а на конце слова в соответствии с каждой парой звуков, состоящей из глухого согласного и соответствующего звонкого, употребляется только глухой: [плαты́] — [плαды́], но [плот] (=«плот» и «плод»); [пαро́къ] — [пαро́гъ], но [пαро́к] (=«порок» и «порог»); [гла́съ] — [гла́зъ], но [глас] (=«глас» и «глаз»).

Другой типичной формулой типа чередований, образующих не параллельные, пересекающиеся ряды, имеющие общие члены, является следующая: «двум или нескольким звуковым единицам, различающимся в позиции 1, в позиции 2 соответствует одна единица, не совпадающая по своему качеству ни с одной из различающихся в позиции 1 единиц». Это означает наличие таких рядов чередований: $a \parallel d$, $b \parallel d$, $c \parallel d$. Подобный тип чередований может быть представлен в схеме:

```
позиция 1   a   b   c
позиция 2    \  |  /
                d
```

Примером такого чередования может служить чередование ударенного гласного с соответствующими ему безударными в русском литературном языке. Например, гласные [о] и [а] после твердого согласного, различаясь в ударенном слоге, не различаются и чередуются с [α] в 1-м предударном слоге и с [ъ] в других безударных: ср: [вол] и [вал], [дроф] и [траф], [дом] и [дам], [вαлы́] (=«волы» и «валы»), [дрαва́] и [трαва́], [дαма́] и [дαла́], [дръв’и^{е}но́i̯] и [тръв’и^{е}но́i̯], [на́-дъм]. Гласные [а], [о], [е] после мягких согласных, также различаясь под ударением, не различаются и чередуются с [и^{е}] в 1-м предударном слоге: ср. [т’˙а́нут], [н’˙ос], [л’ес] и [т’и^{е}ну́], [н’и^{е}су́], [в-л’и^{е}су́], а также [р’и^{е}бо́i̯], [п’и^{е}та́к]; [в’и^{е}зу́], [с’и^{е}ло́]; [б’и^{е}да́], [л’и^{е}та́˙т’] и т. д.

Характерной особенностью фонетической системы при наличии не параллельных, пересекающихся позиционных чередований является то, что в разных позициях различается неодинаковое количество звуковых единиц, так как некоторые ряды чередований имеют общие члены. При таких чередованиях оказывается, что в одних позициях различается максимальное количество звуковых единиц, в других меньшее, а иногда — в третьих — еще меньшее, т. е. минимальное количество

звуковых единиц. Это означает, что при наличии таких чередований кратчайшая звуковая единица данной словоформы в зависимости от позиции обладает способностью различать звуковые оболочки словоформ не в одинаковой степени: в одних позициях она обладает этой способностью в высшей степени (сильная позиция), в других — в меньшей степени (слабые позиции).

Таким образом, описанные выше два типа звуковых чередований, принципиально отличающихся друг от друга, образуют фонетическую систему. Чередования параллельные образуют такую систему, при которой в любой данной позиции различается равное количество звуковых единиц, обладающих поэтому равной различительной способностью. Чередования не параллельные, пересекающиеся, напротив, образуют систему, при которой в одних позициях различается большее количество звуковых единиц, в других — меньшее (слабые позиции). Поэтому оказывается, что одни звуковые единицы (в сильной позиции) обладают большей различительной способностью, а другие (в слабой позиции) — меньшей. Однако во многих языках фонетическая система образуется одновременно на основе наличия обоих типов чередований — как параллельных, не пересекающихся, так и не параллельных, пересекающихся. Такова, например, звуковая система русского языка.

Указывая на глубокое своеобразие фонетической системы разных языков, следует отметить в то же время историческую изменчивость ее также в разные эпохи развития одного и того же языка (ср., например, фонетические системы древнерусского языка до падения редуцированных и современного русского языка).

6. Понятие сильной и слабой фонемы

Понятие фонемы основано на позиционных фонетически обусловленных чередованиях, образующих определенную фонетическую систему. При наличии в языке чередований только параллельных, образующих ряды, не пересекающиеся друг с другом, фонетическая система оказывается более простой: каждый из рядов чередований образует функциональное тождество, которому соответствует одна фонема, а члены каждого ряда таких чередований (т. е. сами чередующиеся звуки) представляют собою разновидности, варианты этой фонемы.

В языках с таким типом чередований одна и та же кратчайшая звуковая единица в одном и том же качестве выступает как в составе словоформы, так и в составе морфемы. По отношению к таким языкам выделение фонем, установление объема каждой из них, да и самое определение понятия фонемы обычно достигается легко и споров не вызывает.

Значительно более сложную картину представляют языки, фонетической системе которых свойственны наряду с чередованиями парал-

лельными чередования не параллельные, образующие ряды, пересекающие друг друга в определенных точках.

Общим для обоих типов чередований является то, что члены любого ряда позиционных чередований по отношению друг к другу не семасиологизованы, т. е. в силу своей позиционности не обладают способностью различать звуковые оболочки разных слов и форм: например, звуковые оболочки разных слов [м'ел] и [м'êл'] различаются не звуками [е] и [ê], являющимися членами параллельного чередования, а фонемами [л] и [л']; звуковые оболочки слов [нαсу́] (например, *в носу*) и [но́су] различаются не звуками [α] и [о], являющимися членами не параллельного, пересекающегося чередования, а местом ударения: именно безударностью корневой морфемы в первом случае позиционно обусловлено наличие [α[. Ударение различает в целом эти словоформы, но корневая морфема в них одна и та же, т. е. позиционное чередование [о́] || [α] по отношению к морфеме не семасиологизовано, не обладает различительной функцией.

Однако между двумя типами позиционных чередований есть существенное различие. Члены параллельного чередования тождественны по своей функции, так как в каждой позиции различается равное число звуковых единиц. Напротив, члены не параллельного, пересекающегося чередования функционально не тождественны. Это связано с тем, что различные ряды чередований имеют общие члены: во главе с р а з н ы м и членами чередования сильной позиции могут выступать о д н и и т е ж е члены чередования слабой позиции. Ср., например, [о] || [α] || [ъ] и [а] || [α] || [ъ] : [вол] — [вαлы́] и [ва́л] — [вαлы́]; [дам] — [вы́дъм] и [дом] — [на́-дъм]. Или [з] || [с] и [с] || [з] : [кαза́], [кос], [ко́з-бы], [кαса́], [кос], [ко́з-бы]; звуковым оболочкам [кос] и [ко́з-бы] в равной мере соответствуют словоформы *коз* и *кос*, *коз бы* и *кос бы*. Как видим, каждая звуковая единица слабого положения эквивалентна двум (а в других случаях и нескольким) единицам сильного положения. Это означает, что звуковые единицы, выступающие в слабой позиции, обладают ослабленной способностью различать звуковые оболочки слов и форм, или, другими словами, что фонематическая роль звуковых единиц (нередко даже одних и тех же) в сильной и слабых позициях различна: она максимальна в сильной позиции и уменьшается в слабых. Поэтому при наличии чередований не параллельных, пересекающихся необходимо разграничение двух понятий для обозначения степени фонематичности кратчайших звуковых единиц, которые можно назвать с и л ь н о й ф о н е м о й и с л а б о й ф о н е м о й (или фонемой и эквивалентом фонемы, или как-нибудь иначе). Сильная фонема выступает в позициях максимальной дифференциации, в которых различается наибольшее количество звуковых единиц, а слабая фонема — в позициях меньшей дифференциации, в которых различается меньшее количество звуковых единиц (возможно выделение слабых позиций нескольких степеней в зависимости от количества различаемых звуковых единиц). Слабая

фонема всегда является эквивалентом двух или нескольких сильных фонем.

Выше уже было указано, что фонема служит для различения звуковых оболочек словоформ. Теперь мы уточним эту различительную функцию по отношению к сильной и слабой фонемам. Сильная фонема различает звуковую оболочку не только словоформы, но и морфемы, в составе которой она находится. Ср. первые две фонемы в словоформах [рок] по отношению к [нок], [сок], [ток] и к [рак], [рук]: здесь разные словоформы и в то же время разные морфемы[1]. Слабая фонема, различая звуковую оболочку словоформ, в то же время может не различать морфемы, так как она (слабая фонема) всегда является эквивалентом двух или нескольких сильных фонем. Ср. последнюю фонему в слове [рок], являющуюся слабой, так как на конце слова не различаются глухие и звонкие согласные и [к] в этом положении является эквивалентом [к] и [г]. Слабая фонема [к] отличает звуковую оболочку словоформы [рок] от звуковой оболочки словоформ [рос], [рот], [рош], но она не различает морфем *рок* и *рог*, которые в данной словоформе оказываются омонимичными, различаясь в других словоформах (ср. *рóка, рóку* и *рóга, рóгу*). Точно так же слабая фонема [с] в словоформе [рос], отличая ее от словоформ [рок], [рот], не различает омонимичных в данной словоформе морфем *рос* (*рос, росла* или *рос, роса*) и *роз* (ср. *роза*); также не различает морфем слабая фонема [т] в приведенных словоформах морфем *рот* и *род*.

Таким образом, как слабая, так и сильная фонема непосредственно функционирует в словоформе и лишь через словоформу оказывается в определенных отношениях к морфеме, качество которых зависит от различий в природе сильной и слабой фонемы.

Как мы видели, слабая фонема всегда является эквивалентом, как бы заместителем двух или нескольких сильных фонем. Это значит, что слабые фонемы занимают в фонетической системе подчиненное положение по отношению к сильным фонемам. Поэтому они никогда не могут рассматриваться в одном ряду с сильными фонемами. Отсюда следует, что если в фонетической системе того или иного языка представлены сильные и слабые фонемы, то установление состава различных кратчайших звуковых единиц—фонем, их количества должно производиться на основе учета тех единиц, которые различаются в сильной позиции — в позиции максимальной дифференциации, т. е. на основе учета количества различающихся сильных фонем. Состав фонем (при наличии сильных и слабых фонем) это — состав сильных гласных фонем, но не совокупность сильных и слабых фонем. Например, определяя

[1] Однако сильная фонема не покрывает собою всего многообразия звукового оформления данной тождественной морфемы: ср. [рок] и [pαгá] — в тождественной морфеме могут быть сильная фонема [о] и слабая фонема [α], сильная фонема [г] и слабая фонема [к]. Об этом подробнее см. ниже.

состав гласных фонем русского литературного языка, можно констатировать, что в позиции максимальной дифференциации различаются 5 гласных фонем (являющихся сильными гласными фонемами) — верхнего подъема лабиализованная и нелабиализованная ([у] и [и]), среднего подъема лабиализованная и нелабиализованная ([о] и [е]) и нижнего подъема нелабиализованная ([а]). Но нельзя ни в коем случае к этим пяти сильным фонемам прибавить в том же ряду еще слабые фонемы — [α], [ъ] (после твердых согласных), [иᵉ], [ь] (после мягких) и другие, ибо они являются лишь эквивалентами сильных фонем.

7. Понятие фонемного ряда

Если фонетическая система языка основана на звуковых чередованиях только параллельных, не пересекающихся, то фонема в равной мере функционирует как в составе звуковой оболочки словоформы, так и морфемы: тождеству словоформы (или тождеству морфемы) соответствует тождество их фонематического состава. Между морфемой, как минимальной значимой единицей, и фонемой, не значимой и являющейся различителем звуковой оболочки слов и морфем, отсутствуют какие бы то ни было посредствующие звенья.

Иначе и значительно более сложно обстоит дело в тех случаях, когда фонетическая система бывает основана на звуковых чередованиях не только параллельных, не пересекающихся, но также не параллельных, пересекающихся. Как было показано выше, при не параллельных чередованиях фонема непосредственно функционирует в словоформе — она является различителем звуковых оболочек разных словоформ. В этих случаях приходится говорить о сильных и слабых фонемах, которые в разной степени различают звуковые оболочки словоформ и находятся в разных отношениях к морфемам, входящим в состав этих словоформ (см. выше). Не параллельное чередование есть чередование сильной фонемы со слабыми, которые являются эквивалентами данной сильной фонемы и еще одной или нескольких сильных фонем. Подобное чередование ввиду позиционной обусловленности его членов характеризуется отсутствием семасиологизации, отсутствием различительной способности его членов по отношению друг к другу и образует весьма важное связующее звено в структуре языка между фонемой и морфемой, которое мы назовем *фонемным рядом*.

Фонемные ряды представляют собою ряды не параллельных, в отдельных своих звеньях пересекающихся звуковых чередований; каждый из этих рядов, ввиду позиционной обусловленности его членов, образует определенное функциональное единство, которому соответствует тождество морфемы. Именно функциональное единство сильной гласной фонемы [о] и чередующихся с ней слабых гласных фонем [α] и [ъ], образующих один ряд позиционных чередований, и такое же единство сильной фонемы [д] и слабых фонем [т] и [д'], образующих другой

ряд позиционных чередований, позволяет считать, что в словоформах [вᴧда́], [во́ды], [вот], [вᴧд'е́], [въдᴧво́с] имеется одна и та же, равная себе, тождественная корневая морфема, которая в зависимости от позиционных условий меняет свой звуковой облик.

Таким образом, гласный элемент приведенных выше словоформ представляет собою фонемный ряд, возглавляемый сильной фонемой [о]: [о́] || [ᴧ] || [ъ]; конечный согласный элемент той же морфемы представляет собой фонемный ряд, возглавляемый сильной фонемой [д]: [д] || [т] || [д'е]. Функциональное единство сильной фонемы [о] и слабой фонемы [ъ] в словоформах [с'иелó́м] и [са́дъм], [с'т'иен о́i̯] и [кᴧро́въi̯] соответствует тождеству флексии в каждой паре примеров, хотя эти флексии в зависимости от позиционных условий произносятся неодинаково. Гласный элемент этих флексий представляет собой фонемный ряд, возглавляемый сильной фонемой [о].

Из изложенного выше следует, что фонемный ряд — это важный структурный элемент языка, представляющий собой связующее звено между фонемой и морфемой в тех случаях, когда звуковая система строится на основе чередований не только параллельных, но и непараллельных, пересекающихся. Единство позиционно обусловленных чередований, которое образует фонемный ряд, является показателем тождества морфемы. Фонемный ряд как бы вбирает в себя все несущественное для морфемы, как значимой единицы, все внешнее, позиционно обусловленное, и является таким образом своеобразным мостом между звуковой оболочкой языка, с одной стороны, и грамматическим строем и словарным составом, с другой.

Следует отметить, что не всегда слабая фонема чередуется в пределах той же морфемы с одной из соответствующих ей сильных фонем, не всегда в пределах одной морфемы (в разных формах словообразования и словоизменения) представлен бывает весь фонемный ряд во главе с сильной фонемой. Это зависит от комбинаторных и позиционных условий. Например, в русском языке согласная фонема перед гласной в начале одной морфемы всегда оказывается в положении нулевой комбинаторности, т. е. не входит ни в какой ряд чередований. Поэтому если в этом положении находится согласная фонема, слабая по твердости-мягкости, то эта фонема оказывается вне позиционных чередований, вне одного какого-либо определенного фонемного ряда. Ср., например, слабые согласные фонемы в начале слов перед [е]: [в'ес], [с'еф], [м'еръ[, [б'ел], [д'елъ] и т. д. Как известно, мягкие парные согласные могут входить в фонемный ряд, возглавляемый сильной фонемой твердой, или в фонемный ряд, возглавляемый сильной фонемой мягкой. В приведенных же случаях они не входят ни в один из этих фонемных рядов, так как находятся в положении нулевой комбинаторности.

Другой пример. При неподвижности ударения в разных формах словообразования и словоизменения, имеющих в своем составе данную

морфему, или при отсутствии форм словообразования или словоизменения, гласная данной морфемы также оказывается вне чередований, т. е. не входит ни в один определенный фонемный ряд. Ср., например, слабую фонему [α] в случаях: [стαка́н], [стαка́ны], [стαка́н’ч’ик], [патстαка́н’ик] и т. д.; ср. слабые фонемы [ь] и [иᵉ] в случаях: [д’ьл’иᵉга́т], [д’ьл’иᵉга́ты], [д’ъл’иᵉг’и́ръвът’]; ср. слабую фонему [α] при отсутствии форм словообразования и словоизменения: [нътαш̄’а́к]. Во многих случаях может быть представлен неполный фонемный ряд — фонемный ряд без возглавляющей его сильной фонемы, т. е. чередование слабых фонем: ср., например, чередование [α] || [ъ] — [тαта́р’ин], [тата́р], [тαта́рскъį] и [тътарч’о́нък]; [сαт’и́ръ], [сът’ир’и́ч’ьскъį].

Таким образом, слабые фонемы в одних случаях входят в фонемный ряд, т. е. являются членами одного из не параллельных, пересекающихся чередований, возглавляемых той или иной сильной фонемой (типа [дом], [дαма́], [на́-дъм]), в других случаях не входят в фонемный ряд и представляют собой самостоятельные единицы, которые по их различительной способности можно квалифицировать как единицы, так сказать, «низшего ранга» (сравнительно с сильными фонемами).

8. Тождество и различие словоформ и морфем в их отношении к своим звуковым оболочкам

Основным итогом всего предыдущего изложения является то, что в составе фонетической системы, основанной на звуковых чередованиях как параллельных, так и не параллельных, фонема является элементом звуковой оболочки словоформы, а фонемный ряд — элементом звуковой оболочки морфемы, охватывающим все звуковое многообразие морфемы в пределах, обусловленных позицией.

Анализ соотношений между фонемами и фонемными рядами, с одной стороны, и словоформами и морфемами, с другой, позволяет сформулировать два закона о тождестве и различиях словоформ и морфем в их отношениях к своим звуковым оболочкам.

1. Тождеству словоформ (т. е. той же словоформе) соответствует тождество фонем; напротив, нетождеству словоформ (т. е. разным словоформам) соответствуют различия в фонемах одного ранга.

Это значит, что каждая из словоформ [дом], [дымо́к], [рукαво́м], [пл’е́нум], [вол] равна себе, пока неизменен фонематический состав их звуковых оболочек. Нижеследующие же случаи представляют собой разные словоформы, отличающиеся друг от друга фонемами одного ранга: [дом], [дам], [дым] отличаются сильными гласными фонемами [о], [а], [ы]; [дαмо́к], [дымо́к] — слабыми гласными фонемами первого предударного слога [α], [ы]; [рукαво́м], [ръкαво́м] и [пл’е́нум], [пл’е́нъм] — слабыми гласными фонемами других безударных слогов [у] и [ъ]; [вол], [в’ол], [мол], [м’ол], [тол], [дол], [с’ол], [шол] —

сильными согласными фонемами; [вол], [вот], [вос] — фонемой [л], различающейся во всех положениях, и слабыми фонемами конца слова [т] и [с], где глухость-звонкость не различается. Нетрудно заметить, что во всех приведенных случаях и им подобных фонемы одного ранга (например, разные сильные фонемы или разные слабые фонемы в одной и той же позиции) различают звуковую оболочку словоформ, включающих в свой состав разные морфемы.

Здесь необходимо сделать одно существенное замечание. Так как слабые фонемы всегда являются эквивалентами двух или нескольких сильных фонем, то тождеству звуковых оболочек при наличии в их составе слабых фонем могут соответствовать разные (в данном случае омонимические) словоформы, включающие в свой состав разные морфемы: ср. [вαлы́] (от *вол* и *вал*), [л'ес] (от *лезу* и *лес*), [умал''άт'] (от *умолять* и *умалять*) [ду́шкъ] (от *душа* и от *дуга*) и т. д.

Таким образом, различие в слабых фонемах всегда свидетельствует о разных словоформах, включающих в состав своих звуковых оболочек разные морфемы (ср. [сαрάі̯ъ] и [сырάі̯ъ]; [сыро́і̯ъ] и [сыро́і̯у]; в первом случае разные корневые морфемы, во втором — разные флексии). Однако тождество звуковых оболочек при наличии слабых фонем не может обязательно свидетельствовать о тождестве словоформ и составляющих их морфем.

2. Тождеству морфемы (т. е. той же морфеме) соответствует тождество фонемных рядов; напротив, «не тождеству» морфем (т. е. разным морфемам) соответствует различие в фонемных рядах[1].

Это значит, во-первых, что одна и та же морфема всегда имеет звуковую оболочку, состоящую из фонем (возможно, разного ранга), входящих в состав одних и тех же фонемных рядов. Ср. корневую морфему в словоформах [во́ды], [вαда́], [въдαво́с], [вαд'е́], [вот]: она везде равна себе как морфема, несмотря на различия в звуковой оболочке, так как эти различия, носящие позиционный характер, не выходят за рамки одних и тех же фонемных рядов, возглавляемых сильными фонемами [в], [о] и [д]. При этом фонема [в], находясь

---

[1] Понятие «нетождества» морфем охватывает большое количество различий, где на одном полюсе оказываются разные морфемы (например, *дом* и *сад*), на другом — варианты одной и той же морфемы (ср., например, корневую морфему в словоформах *пеку* и *печешь*). При этом под вариантами одной и той же морфемы имеются в виду варианты, в той или иной мере существенные для грамматики и лексикологии и не обусловленные позицией с точки зрения закономерностей звуковой системы в ее современном состоянии. Разграничение всех этих различий несущественно для фонетики и относится к сфере грамматики и лексикологии. Для фонетики же существенно лишь установление понятия тождества фонемы и его ограничение от понятия «нетождества», включающего в себя все многообразие видов «нетождества». О разных видах «нетождества» морфем см. интересные замечания в статье А. А. Реформатского «О соотношении фонетики и грамматики (морфологии)», напечатанной в настоящем сборнике.

в начале звуковой оболочки морфемы, не образует никаких чередований, а две другие образуют ряды: [о] || [α] || [ъ]: [д] || [т] || [д']. Это значит, во-вторых, что разные морфемы отличаются друг от друга вхождением хотя бы одной из кратчайших единиц их звуковой оболочки в **разные** фонемные ряды. В случаях [дом], [дαмо́к], [на́-дъм] представлено тождество корневой морфемы, так как чередование [о] || [α] || [ъ] образует один фонемный ряд. В случаях же [дαмо́к] и [дымо́к] перед нами разные корневые морфемы, чему соответствует то обстоятельство, что [α] и [ы] входят в разные фонемные ряды.

9. Фонетическая система в ее отношении к структуре языка в целом

Таким образом, фонетическая система, основанная на звуковых чередованиях как параллельных, так и пересекающихся, заключает в себе два плана: в одном из них кратчайшие звуковые единицы слова рассматриваются как элементы звуковой оболочки словоформы, или данного конкретного слова в его данной форме (т. е. как фонемы); в другом они рассматриваются как элементы морфемы вне зависимости от позиционно обусловленных различий ее звуковой оболочки в отдельных конкретных словах и словоформах (т. е. как фонемные ряды). Не подлежит сомнению важность обоих этих аспектов исследования, образующих два структурных плана, два «этажа» фонологии как науки.

Анализ фонемы как кратчайшей звуковой единицы в составе словоформы позволяет изучать звуки речи во всех их реальных физиолого-акустических свойствах как не обусловленных, самостоятельных и потому фонематических, так и обусловленных и потому нефонематических.

Анализ фонемных рядов позволяет установить фонетическую систему как сложное иерархически-многостепенное целое, в состав которого входят фонемы разных «рангов», находящиеся в сложных отношениях друг к другу и укладывающиеся в определенные закономерные фонемные ряды. Вместе с тем этот анализ позволяет установить понятие тождества морфемы с точки зрения ее звукового строения, т. е. подводит исследователя к одному из исходных понятий грамматики и лексикологии.

Без анализа фонемных рядов звуковая оболочка слова была бы полностью оторвана от грамматического строя, типы словоизменения и словообразования потеряли бы свои границы, удвоились и утроились, так как фонетические разновидности одной и той же тождественной морфемы пришлось бы считать за разновидности грамматические — за варианты морфемы или даже за разные морфемы.

Как было указано выше, отдельные структурные элементы языка тесно связаны между собой. Изучение разных сторон языка в их связях является важной задачей языкознания. Сложны и многообразны связи

между фонетической системой, образующей «природную материю» языка, и морфемой, а через морфему также с грамматическим строем и словарным составом языка. Анализ кратчайших звуковых единиц языка как элементов звуковой оболочки словоформ (т. е. фонем) и как элементов звуковой оболочки морфем (т. е. фонемных рядов) позволяет понять эти связи и органически связывает фонетическую систему с морфемой, тем самым связывая учение о звуках с учением о морфеме, лежащим в основе грамматики и лексикологии.

10. К вопросу о причинах разных точек зрения на фонему

Сложность понятия фонемы, его отношения к значимым элементам языка и определяемого им понимания фонетической системы и структуры фонологии как науки обусловила многообразие и противоречивость точек зрения у разных авторов. Эмпиризм, невыясненность теоретических предпосылок исследования — едва ли не основная причина многообразия и противоречивости мнений в этом вопросе. Именно ввиду неразработанности проблемы в теоретическом отношении, определяя понятие фонемы, одни ученые «стихийно» исходили из слова или даже словоформы, другие из морфемы. На этом были основаны длительные споры между акад. Л. В. Щербой и его учениками (Л. Р. Зиндером, М. И. Матусевич и др.), с одной стороны, и московскими фонологами (Н. Ф. Яковлевым, П. С. Кузнецовым, А. А. Реформатским, В. Н. Сидоровым, автором этих строк), — с другой. Между тем от того или иного подхода зависит трактовка объема понятия фонемы, отношения фонемы к слову, его формам и морфеме, самое понимание фонетической системы и ее места в структуре языка.

Наше исследование показывает, что в тех случаях, когда фонетической системе языка свойственны позиционные чередования как параллельные, так и пересекающиеся, кратчайшая звуковая единица является элементом звуковой оболочки как словоформы во всей ее конкретности, так и морфемы как таковой (в тех пределах, в каких она тождественна, равна самой себе) безотносительно к формам словоизменения и словообразования. А так как задачей исследования является познание объекта исследования во всех его сложных, существующих в реальной действительности связях, во всей его многопланности, так сказать, объемности, то, следовательно, оба этих структурных плана, оба аспекта исследования (кратчайшая звуковая единица в составе звуковой оболочки словоформы и морфемы) должны найти свое место в системе фонологии, будучи соответствующим образом разграничены, в том числе терминологически.

Исходным моментом во взглядах акад. Л. В. Щербы на фонему является словоформа, в составе звуковой оболочки которой и изучается кратчайшая звуковая единица. Именно поэтому акад. Л. В. Щерба и его ученики считают фонемой кратчайшие звуковые единицы, разли-

чаемые не только в сильной позиции (например, каждый из звуков в слове [дом]), но и в слабых позициях (например, [т] в слове [склат], [ʌ] в слове [вʌда́]). Последние на основе близости по физиолого-акустическому признаку отождествляются с соответствующими звуковыми единицами, различающимися в сильной позиции. Так, представители этой точки зрения считают, что в слове [вʌда́] имеются две фонемы [а], что в начале слова [тот] и на конце его имеется одна и та же согласная фонема [т], т. е., что на конце слова [сат] представлена та же фонема, что в начале слова [так]. При этой точке зрения не принимается во внимание принципиальное различие в функционировании звуковых единиц, выступающих в сильной позиции, с одной стороны, и в слабых, с другой. Между тем, их различительная роль в этих положениях неодинакова: она ослаблена у звуковых единиц, различающихся в слабых позициях, так как каждая из таких единиц эквивалентна двум или нескольким звуковым единицам, различающимся в сильной позиции. Поэтому отождествление в физиолого-акустическом отношении сходных звуковых единиц, различающихся в сильных и слабых позициях, нельзя считать целесообразным[1]. Оно представляет собой крупный недостаток данной концепции, ибо именно последовательное изучение функционирования кратчайших звуковых единиц языка как различителей звуковой оболочки слов и морфем поднимает фонологию на высшую ступень по сравнению с традиционной фонетикой.

Другой существенный недостаток этой концепции, органически связанный с первым, заключается в следующем. Отождествление на основе близости по физиолого-акустическому признаку звуковых единиц, различающихся в сильной и слабой позициях, ведет к отрыву звуковой единицы, различающейся в слабой позиции, от того ряда позиционных, лишенных различительной способности, несемасиологизованных чередований, которому она принадлежит. Особо следует отметить, что, благодаря этому отождествлению, звуковая единица, различающаяся в слабой позиции и чередующаяся с соответствующей звуковой единицей, различающейся в сильной позиции, отрывается от этой последней. Это значит, что [ʌ] в слове [вʌда́] полностью приравнивается к гласной [а] в словах [дам], [так], [сат] и т. д. и отрывается от гласного [о], с которым [ʌ] чередуется (ср. [вʌда́] — [во́ды]). Это ведет к отрыву фонетической системы от грамматического строя и словарного состава, к тому, что фонетическая система оказывается изолированной по отношению к строю языка в целом, к тому, что звуковая сторона языка — его «природная материя» оказывается изолированной от значимых элементов языка.

---

[1] Следует отметить, что эту точку зрения Л. В. Щерба и его ученики не могут провести последовательно, так как в слабых позициях может быть представлен звук, отсутствующий в сильных, например, [ъ] в русском языке. Гласный [ъ] сторонники этой точки зрения приравнивают к [а], так как будто бы в «полном стиле» [ъ] всегда проясняется в [а].

Положительной стороной концепции Л. В. Щербы в пределах вопросов, затронутых в настоящей статье, является положение об органическом единстве фонетики и фонологии, а также положение о наличии у каждой фонемы (которую сторонники этой точки зрения фактически понимают как элемент звуковой оболочки словоформ) своей определенной физиолого-акустической характеристики.

Исходным моментом во взглядах московских фонологов на фонему была морфема. В их построениях тождество морфемы определяет собой границы и объем понятия фонемы. Именно поэтому они считают одной фонемой весь ряд позиционных чередований (пересекающихся, не параллельных по отношению к другим аналогичным рядам) во главе со звуковой единицей, различающейся в сильной позиции. Таким образом, звуковые единицы, выступающие в слабых позициях и чередующиеся с той или иной звуковой единицей, различающейся в сильной позиции и являющейся фонемой, объединяются с этой последней в одну единицу (фонему) на положении ее вариантов. Например, в случаях типа [вαдá], [вóды], [нá-въду] гласные [α] и [ъ] квалифицируются как варианты фонемы [о], весь ряд чередований ([о] || [α] || [ъ]) также признается одной фонемой. Точно так же в случаях типа [вαдá], [вот], [вαд'é] согласные [т] и [д'] квалифицируются как варианты фонемы [д]; весь ряд чередований ([д] || [т] || [д']) также признается одной фонемой. При этой точке зрения последовательно учитывается фукциональная сторона, достигается органическая связь между фонемой и морфемой и тем самым между фонетической системой, с одной стороны, и грамматическим строем и словарным составом, с другой; фонетическая система органически включается в структуру языка в целом.

Однако эта концепция имеет свои существенные недостатки. Среди них важнейшим является неотчетливость, отсутствие четких граней у понятия фонемы. Понятие фонемы у московских фонологов — это прежде всего так называемый «основной вид фонемы» и ее «вариации», т. е. члены параллельного непересекающегося чередования, образующие функциональное тождество (по предложенной выше терминологии, «сильная фонема» и ее «варианты»). Фонема в этом значении представляет собой конкретный тип звука, имеющий, несмотря на различия своих «вариаций», определенную физиолого-акустическую характеристику. Фонема в этом значении непосредственно является, как это было показано выше, элементом словоформы.

В другое, более широкое значение понятия фонемы теми же учеными включается не только «основной вид» фонемы и ее «вариации» (т. е. ряд параллельных чередований), но и ее варианты (т. е. ряд не параллельных чередований, имеющий общие члены с другим рядом таких же чередований). По предложенной выше терминологии, это фонемный ряд, в котором сильная фонема, возглавляющая ряд, чередуется со слабыми. Фонема в этом понимании лишена определенной физиолого-акустической характеристики, так как члены не параллельного, пере-

секающегося чередования могут быть весьма различны по своему качеству. Они ни в коем случае не представляют собою конкретного звука, а являются совокупностью звуков, находящихся в отношениях позиционного чередования, лишенных различительной способности в пределах своего ряда чередований и обладающих этой способностью в той или иной степени каждая в своей позиции по отношению к членам других аналогичных рядов чередования. Фонема в этом понимании, полностью соответствующая тому, что выше было охарактеризовано как фонемный ряд, является элементом звуковой оболочки морфемы и охватывает все позиционно обусловленные различия в звуковой оболочке той же, тождественной морфемы.

Такую нерасчлененность понятий, соответствующих разным объективным предметам и отношениям между ними, нельзя не признать существенным недостатком.

Другим недостатком является то, что так называемые «варианты» фонем рассматриваются по преимуществу со стороны своей эквивалентности фонеме в ее основном виде, т. е. с точки зрения своего функционального единства с «основным видом фонемы», в то время как различительная способность «вариантов», их фонематичность оказываются в тени. Не может быть сомнения, что наше познание будет в наибольшей степени соответствовать действительности, если мы в равной мере будем учитывать и фонематичность «варианта», и его позиционную обусловленность (объясняющую наличие именно данной разновидности этого варианта), и, наконец, его эквивалентность определенной фонеме. Так, например, по отношению к гласному первого предударного слога в словоформе [тαмá] можно установить, что фонематичность [α] определяется его противопоставленностью гласным [у] и [ы] (ср. [тумáн], [αтымáл]), что наличие нелабиализованного гласного [α], а не [и^{е}] обусловлено положением после твердого согласного (ср. [том] — [тαмá], но [т'óмнъị] — [т'и^{е}мнá]), что эквивалентность предударного [α] в данной морфеме ударенному гласному [о] устанавливается позиционным чередованием [о] || [α] в пределах одной и той же морфемы ([том] — [тαмá]). Только установление всех этих связей позволяет нам познать изучаемое явление с наибольшей полнотой, с наибольшим проникновением в действительность.

Недостатком этой концепции является и то, что «вариант» фонемы в сущности далеко не всегда является действительно вариантом, так как далеко не всегда входит в пределах той же морфемы в один из рядов позиционных чередований. Так, например, [α] в слове [бαрáн] или [с'] в слове [с' êм'] не входят ни в один ряд позиционных чередований. Поэтому, исходя из этой концепции, приходится констатировать, что [α] в этих примерах является вариантом одной из двух фонем — [о] или [а] или что [с'] является вариантом одной из двух фонем — [с] или [с']. Между тем звуки [α] и [с'] могут входить или не входить в тот или другой ряд позиционных чередований, но кроме того они в подобных

случаях являются самостоятельными звуковыми единицами, которые, как и всякие другие звуковые единицы, позиционно обусловлены и не фонематичны в одних сторонах своего качества и, напротив, самостоятельны и фонематичны — в других. Однако это единицы низшего «ранга», слабые фонемы по отношению к единицам высшего ранга — сильным фонемам: у них больше позиционно обусловленных сторон, чем у сильных фонем, поэтому они обладают ослабленной различительной способностью.

* * *

В области фонологии все еще имеется много спорного и нерешенного. Однако не может быть сомнения в том, что при условии широкого обсуждения спорные и нерешенные вопросы могут быть разрешены: основные положения советского марксистского языкознания для этого дают твердую почву. Конечно, и в дальнейшем могут остаться отдельные частные расхождения, различия в фонологической терминологии, свойственные отдельным ученым и школам — они естественны и неизбежны; но в основных теоретических вопросах может и должно быть достигнуто единство, поскольку едина советская марксистская наука о языке.

Для этого надо шире развернуть исследование и обсуждение фонологических проблем.

П. С. КУЗНЕЦОВ

ЗНАЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Грамматика имеет огромное значение для сравнительно-исторических исследований. Это видно из того, что даже само установление родства языков осуществляется с различной степенью достоверности в зависимости от характера грамматической и специально морфологической структуры соответствующих языков. Также и дописьменная история как отдельных языков данной группы или семьи, так и языка-основы этой группы или семьи до ее разделения прослеживается с разной степенью точности для языков различного грамматического строя, о чем свидетельствуют многочисленные примеры.

Рассмотрение различных систем классификации языков по грамматическому строю не входит в мою задачу. В дальнейшем же изложении я пользуюсь в рабочем порядке наиболее принятой и сейчас морфологической классификацией, основанной на структуре морфемы и взаимоотношении морфем в слове. Согласно этой классификации выступают три основных морфологических типа — аморфный (я не останавливаюсь сейчас на вопросе о том, в какой мере удачен или неудачен этот термин), агглютинативный и флективный, детальное описание которых не входит в задачу настоящей статьи. К этим трем типам присоединяется четвертый, инкорпорирующий или полисинтетический, который, как полисинтетический, должен занять определенное место в классификации языков по их синтаксическому типу, но, как инкорпорирующий, характеризуется особым, отличным от других типов, составом слова.

Языки аморфные предполагают отсутствие грамматических формативов. В лингвистической литературе уже отмечалось, что установление родственных отношений между такими языками наталкивается на несравненно большие трудности, чем между такими языками, которые имеют формативы[1]. Родственность корневых морфем в целом

[1] См. тезисы доклада П. С. Кузнецова, А. А. Реформатского и Б. А. Серебренникова «О методе установления языкового родства», «Тезисы докладов научных сотрудников Ин-та языкознания на объединенной сессии Ин-та этнографии, Ин-та истории материальной культуры, Ин-та истории и Ин-та языкознания АН СССР». М., 1951, стр. 7.

является менее надежным средством для установления родственных отношений, чем родственность морфем аффиксальных, хотя подкрепленная родственностью последних, определенную и большую роль в установлении языкового родства играет и родственность корней. В особенности же трудно поддаются выяснению пути развития аморфных языков в эпохи, не засвидетельствованные письменностью. Аморфные языки, в точном смысле этого слова, среди известных языков мира, пожалуй, и трудно найти, но есть языки достаточно близкие к этому строю, который устанавливается чисто теоретически, как некоторый идеальный тип (идеальный в смысле точно удовлетворяющего принятому для него определению). Возможно, именно вследствие близости этих языков аморфному типу, трудно полностью выяснить родственные отношения так называемых западносуданских языков (не говоря уже о суданских языках в целом). Мелкие группы близко родственных языков в Западной Африке устанавливаются, но установление более обширных семей, члены которых связаны более отдаленной степенью родства, затруднено.

Но даже не для всех языков, для которых как будто заведомо установлено, что они характеризуются изменяемостью слов и, следовательно, наличием не только корневых, но и аффиксальных морфем, притом морфем, характеризующих именно словоизменение, с равной степенью легкости устанавливаются генетические отношения[1].

Очень большое количество языков мира принадлежит к так называемому агглютинативному типу, характеризующемуся сравнительно слабой связью различных морфем в слове. Эти языки как будто характеризуются словоизменением, наличие которого является весьма существенным условием для того, чтобы легко было установить родственные отношения данного языка. И мы находим довольно большое количество семейств, языки которых характеризуются достаточно ярко выраженным агглютинативным строем, и родственные отношения между которыми устанавливаются с достаточной ясностью (ср. такие, например, семейства как тюркское, финноугорское, банту). Но эти родственные отношения устанавливаются большей частью тогда, когда соответствующие языки достаточно близки друг к другу. При установлении же более далеких связей, а также при раскрытии во всех деталях дописьменной истории соответствующих родственных языков, большим препятствием является то обстоятельство, что слово не образует достаточно компактного единства, да и граница между морфемой и отдельным, хотя бы и служебным словом, не всегда может быть проведена с достаточной строгостью. Так, например, мы можем установить определенные соответствия между некоторыми грамматическими формативами родственных языков. Ср., например, для угрофинских языков

[1] Для простоты изложения я не останавливаюсь на различных промежуточных случаях, например, на случае наличия словообразовательных формативов при отсутствии формативов словоизменительных, что вообще имеет место.

локатив, содержащий элемент *-n-*: фин. *-na*, *-nä*; морд. *-н'а*, *-н'е*, мар. *-нӹ*, коми *-ын* и т. д. Гласные при показателе *-n-* могут варьировать. Но сами эти разновидности *-n-*, оформленные различными гласными, генетически являются не частью слова, а отдельными несамостоятельными словами. Уже это определяет их бо́льшую подвижность, меньшую связанность со словом. Больше того, исследуя историю соответствующих формативов, мы не всегда можем точно определить, когда они перестают быть отдельными словами и становятся частью слова, словоизменительными аффиксами.

Даже для современных агглютинативных языков нелегко провести строгое разграничение между аффиксом как частью слова и отдельным служебным словом — послелогом (в отличие от индоевропейских языков в целом, служебные слова в тех агглютинативных языках, которые характеризуются не префиксацией, а суффиксацией, обычно представляют собой не предлоги, а послелоги). Это тем более трудно, что большей частью послелоги, выражая отношения, подобные тем, которые выражаются падежными суффиксами, сочетаются не с какой-либо падежной формой имени, а с чистой основой, представляющей собой в то же время именительный падеж. Вследствие этого, самое разграничение падежных аффиксов и послелогов для агглютинативных языков носит большей частью условный характер и вызывает много споров [1]. Фонетические критерии, которыми иногда пользуются, не разрешают многих спорных моментов.

Несомненно, более надежный материал для установления родственных отношений между языками и притом не только между более или менее близкими, но и между весьма далекими, дают языки флективного строя, где сама сложность грамматической структуры и более тесная спаянность различных морфем в слове, дающая возможность точнее определить границы слова и обосновать бесспорное наличие в слове как словообразовательных, так и словоизменительных элементов, позволяет не только обосновать единство происхождения, но и проследить эволюцию грамматического строя как языка-основы, так и развившихся из него языков на протяжении весьма длительного времени. Сложность структуры при строгом соответствии составляющих ее элементов (в материальном и структурном отношении) в различных языках, входящих в состав данной семьи, исключает возможность случайного подобия различных языков.

Наиболее благодарный материал для установления родственных отношений большого комплекса языков дают индоевропейские языки.

---

[1] О спорности разграничения применительно к коми-языку см. мою ст. «Коми-пермяцкие этюды». Труды Ин-та языкознания, т. IV. М., 1953. О разграничении послелогов и окончаний на материале дагестанских языков см. ст. Е. А. Бокарева. Категория падежа в дагестанских языках. «Вопросы языкознания». 1954, № 1.

Они включают в себя многочисленные последовательно входящие одни в другие группы языков, находящихся в различной степени родства друг к другу. Многие из этих языков засвидетельствованы в письменности на протяжении длительного времени. Наиболее древние из них являют самые яркие образцы языков флективного строя. Все это создает благоприятные условия для изучения развития грамматического строя языка-основы и отдельных родственных языков на протяжении многих эпох.

В индоевропейских языках мы находим сложную систему склонения. Правда, для разных исторически засвидетельствованных языков она представлена с различной степенью полноты. Но и в тех языках, где она выступает в более скудном виде, следы прежнего большего богатства ясно обнаруживаются в застывших формах, наречных образованиях. Материальные соответствия формативов, характеризующих отдельные падежи отдельных типов склонения, обнаруживаются в различных и притом весьма многочисленных индоевропейских языках и тем самым исключают случайность этих соответствий, и в то же время позволяют на протяжении многих веков и даже тысячелетий проследить эволюцию системы склонения, позволяют найти то общее и то специфически своеобразное, что наблюдается в склонении различных индоевропейских языков, и не только в пределах семьи в целом, но и внутри отдельных групп этой семьи. Так, например, принадлежность к основам на -*r- при соответствии в падежных окончаниях и частью в чередовании в основе такого существительного, как *мать*, в разных индоевропейских языках (ср. ст.-сл. **мати**, санскр. mātā́, греч. μήτηρ, лат. māter и т. д.) исключает возможность случайного совпадения и заставляет предполагать наличие соответствующей формы, принадлежащей к соответствующему типу склонения, характеризовавшемуся соответствующими структурными особенностями еще в общеиндоевропейском языке-основе. Некоторые существительные, принадлежащие к этому типу, еще в дописьменные времена в отдельных индоевропейских языках утратили связь с этим типом, но и они сохранили определенные признаки, указывающие на принадлежность к нему в далеком прошлом. Так, например, во всех славянских языках существительные *брат* и *сестра* идут — первое по склонению с основой на *-о*, второе по склонению с основой на *-а*; но наличие в составе второго повсеместно, а в составе первого лишь в некоторых диалектах элемента *-r-* (и во всех *-t-*), свидетельствует о характерном для этих существительных в прошлом суффиксе -**ter-* (-**tr-*); имена, включавшие в себя этот суффикс, входили в склонение с основой на -**r-* (и в целом на согласные).

Далекий от мысли осветить до конца то огромное значение, какое имеет грамматика для сравнительно-исторического языкознания, и то значение, какое имеет сравнительно-историческое исследование языков

для выработки теоретических положений грамматики, остановлюсь лишь на некоторых сторонах этой проблемы.

В частности, в этой статье будут подвергнуты рассмотрению следующие вопросы, связанные со сравнительно-историческими исследованиями в области грамматики: 1) основные объекты сопоставлений в сравнительно-исторических изысканиях и в связи с этим относительное значение для сравнительно-исторического анализа разных областей грамматики — морфологии и синтаксиса; 2) вопрос о необходимости учета при сопоставлении фактов родственных языков как грамматического значения, так и формы выражения (а также недостаточности сопоставлений чисто категориального характера); 3) место типологических исследований в языкознании и их значение специально для анализа грамматического строя родственных языков в их историческом развитии; 4) отношение грамматики к словарному составу языка; 5) определение взаимодействия между грамматикой и фонетикой; 6) проблема границы слова; 7) устойчивость грамматического строя и характер его изменений.

В заключение предполагается осветить вопрос о роли сравнительно-исторических исследований в деле реконструкции более древнего состояния нашего грамматического строя.

1. В основе сравнительно-исторического исследования родственных языков всегда лежит сопоставление находящихся в определенных закономерных соответствиях друг к другу с точки зрения содержания и звукового состава значимых единиц различных языков, т. е. слов и грамматических форм. Только языки, обнаруживающие достаточно обширные и закономерно повторяющиеся ряды таких соответствий, восходящие к достаточно глубокой древности и не могущие быть объясненными последующим скрещиванием с каким-нибудь другим языком, и являются бесспорно языками родственными (конечно, некоторые некогда родственные языки, очень давно потерявшие связь между собой, могли разойтись очень далеко и почти утратить следы былого родства, определение которых может быть в данном случае предметом специального исследования). При этом в качестве объекта исследования выступает наиболее элементарная неделимая далее значимая единица языка — морфема, на что совершенно правильно указал А. И. Смирницкий[1]. Статья А. И. Смирницкого в некоторых частях является спорной, в некоторых требует дальнейшего уточнения, но положение о том, что в основе сопоставления как слов, так и грамматических форм родственных языков всегда лежит именно сопоставление морфем, является совершенно правильным. И уже это положение говорит о том, какое значение при сравнительно-историческом изучении родственных языков имеет именно грамматика.

[1] См. ст. «К вопросу о сравнительно-историческом методе в языкознании». «Вопросы языкознания», 1952, № 4.

Морфема является одним из главных объектов изучения одного из основных разделов грамматики, именно морфологии, задачей которой является изучение изменения слов. Ведь одним из основных видов изменения слов и является присоединение морфем и видоизменение их звукового (точнее фонемного) состава. Объектом сопоставления при сравнительно-историческом исследовании, как указывал и А. И. Смирницкий, являются не только морфемы-аффиксы, т. е. формативы, но и морфемы корневые. Однако наиболее надежным объектом такого исследования являются не корневые морфемы, а формативы. Слова могут легко заимствоваться из других языков, часто и неродственных. Более устойчивы и редко заимствуются слова, входящие в основной словарный фонд. Но могут заимствоваться в отдельных случаях и они. Во всяком случае, как бы ни объяснять эти различия — заимствованием из языков других семей или самостоятельным развитием в отдельных языках после разделения языка-основы, — мы находим порой в языках несомненно родственных слова, принадлежащие к основному словарному фонду, выражающие одно и то же понятие и образованные от разных корней, причем не может быть и речи о том, чтобы вообще еще не было потребности в соответствующем понятии в эпоху предполагаемого языка-основы. Ср., например, санскр. pitá́, греч. πατήρ, лат. pater и ст.-сл. **отьць**; здесь, кстати сказать, что оба эти корня обнаруживаются внутри даже одной из индоевропейских языковых групп, именно германской, ср. гот. fađar, др.-в.-нем. atta. Могут заимствоваться и словообразовательные аффиксы. Аффиксы вообще могут переходить из одного языка в другой не сами по себе, а лишь вместе с словами, поскольку аффиксы обособленно, если исключить некоторые совершенно искусственные и не имеющие никакого значения для развития языка случаи употребления, никогда не выступают. Но поскольку словообразовательный аффикс выступает в различных синтаксических сочетаниях, в которые вступает характеризующееся им слово, и поскольку один и тот же аффикс может характеризовать несколько однородных по значению слов, заимствованных из одного и того же языка, постольку он может быть использован для образования от незаимствованных корней новых слов, сходных по значению с этими заимствованными словами. Ср., например, распространение в русском языке суффикса *-изм* (заимствованного из греческого через французский или немецкий) на такие слова, как *большевизм* (первоначально этот суффикс выступал лишь в таких словах, как *классицизм*, *социализм*, *коммунизм*, заимствованных целиком вместе с суффиксом), распространение в коми-пермяцком языке заимствованного из русского суффикса *-овöй* на такие слова, как *пуовöй* — прилагательное от *пу* «дерево» (в русском языке *-овый* представляет собой сочетание суффикса и окончания, но в коми языке *-овöй* выступает как нечленимый словообразовательный суффикс). Словоизменительные аффиксы, поскольку они всегда представляют лишь различ-

ные отношения каких-то слов (к другим словам, к отношениям, устанавливаемым в речи) и всегда выступают в составе этих слов, почти никогда не заимствуются. Они-то и являются наиболее надежным средством установления родственных отношений между языками. В то же время они являются одним из основных объектов изучения морфологии. Вопрос об области, к которой должно быть отнесено словообразование, после опубликования труда И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» неоднократно дебатировался, и я не предполагаю на этом сейчас останавливаться подробно, хотя считаю, в противоположность мнению многих советских лингвистов, что имеются серьезные основания для отнесения этого раздела языкознания к грамматике, именно к морфологии. Но что несомненно относится к области морфологии — это вопрос о структуре морфем, каково бы ни было их значение (независимо от того, являются ли они корневыми или аффиксальными), а также вопрос о взаимосвязи морфем в слове, т. е. о морфологическом составе слова. Способы осуществления связи между морфемами сами по себе в очень небольшой мере могут служить критерием для установления наличия или отсутствия родства между теми или иными языками, так как подобные способы могут развиваться независимо друг от друга в неродственных языках, но в отдельных случаях и эти способы могут состоять в использовании некоторых элементов связи, материально тождественных для родственных языков.

Все сказанное выше говорит о несомненном значении *морфологии* для сравнительно-исторических исследований. Меньшее значение в данном случае имеет другая часть грамматики — *синтаксис*, в чем я вполне согласен с А. И. Смирницким[1]. Но определенное значение имеет и синтаксис, как, впрочем, полагает и А. И. Смирницкий. Однако поскольку синтаксис может быть плодотворно использован в сравнительно-синтаксическом исследовании разными своими сторонами в весьма различной степени, причем достаточную сложность представляют собой и взаимоотношения различных сторон его, постольку на синтаксисе следует остановиться особо, что и будет сделано в дальнейшем.

Итак, грамматика, и особенно морфология, имеет первостепенное значение для исследований сравнительно-исторического характера. Но необходимо обратить внимание и на другое. В современной науке вообще различные области теснейшим образом связаны, и если одни из них дают основу для разработки других областей, то и сами они зачастую, со своей стороны, питаются достижениями этих других областей. И если грамматика, с одной стороны, дает прочную базу для исследований сравнительно-исторического порядка, то с другой стороны сравнительно-историческое языкознание способствует расширению рамок самой грамматики и упрочению ее теоретических положе-

[1] См. ук. ст. «Вопросы языкознания», 1952, № 4, стр. 15–16.

ний. Целью научной грамматики никогда не является просто инвентаризация фактов какого бы то ни было языка в определенный момент его существования, и если порой грамматика ставит себе задачей определить основные черты системы какого-то языка, это делается с целью разграничить живое и мертвое, нарождающееся и отживающее, соотношения которых полностью могут быть раскрыты лишь в историческом развитии. Уже самое указание И. В. Сталина на то, что «грамматика есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления»[1], содержит требование обязательно исторического подхода к грамматике какого бы то ни было языка. Ясно, что не сразу грамматика любого языка приобрела тот абстрагирующий характер, который свойственен ей в настоящее время. Важной задачей является изучение того, каким образом постепенно (принимая во внимание медленность развития грамматического строя) вырабатывался этот абстрагирующий характер. Положение И. В. Сталина о том, что грамматический строй языка «претерпевает с течением времени изменения, ... совершенствуется, улучшает и уточняет свои правила, обогащается новыми правилами...»[2] требует от лингвистов исследования, в чем состоит и какими путями идет это улучшение грамматического строя.

Но даже если язык имеет древнюю письменность, письменные памятники раскрывают слишком незначительный отрезок истории данного языка для того, чтобы полностью были раскрыты основные закономерности развития его грамматического строя: ведь развитие его осуществляется очень медленно. Так, русский язык представлен памятниками на протяжении девяти веков. Конечно, за этот период произошли существенные изменения в его грамматическом строе: разрушилась система многочисленных времен глагола, объединились различавшиеся ранее типы склонения, исчезло двойственное число и т. д. Но частью даже эти изменения корнями своими уходят в эпоху, предшествующую древнейшим памятникам. Так, памятники начала исторического периода уже обнаруживают начавшееся объединение некоторых типов именного склонения, различавшихся ранее. Эти памятники обнаруживают становление новой видовой системы, основной особенностью которой является противопоставление совершенного и несовершенного видов и на основе дальнейшего развития видовой соотносительности и осуществляется, повидимому, постепенное разрушение старой временно́й системы. В то же время в нашей видовременно́й системе отражаются и некоторые очень древние явления, восходящие ко времени, намного предшествующему возникновению славянской письменности. И полностью понять, как и почему начи-

---

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1953, стр. 24.

[2] Там же, стр. 25.

нается объединение различных типов склонения, как и почему преобразуется наша видо-временная система, можно лишь представив развитие нашего языка, или того языка, дальнейшим развитием которого и является наш, на протяжении его дописьменной истории. Проникнуть же в нее можно лишь в результате сравнительно-исторического изучения родственных языков, славянских, а частью и индоевропейских в целом.

2. Имеет определенное значение, как уже было сказано, для сравнительно-исторических исследований и синтаксис. Но с ним обстоит дело сложнее, и, сравнивая синтаксические конструкции родственных языков, мы всегда должны иметь в виду, что различные звенья синтаксической системы языка имеют в этом плане не одинаковое значение. Одни из этих звеньев неразрывно связаны с морфологией, без рассмотрения же других синтаксических отношений теряется всякая почва для морфологических сопоставлений и, следовательно, не может быть осуществлено сравнение морфологических единиц, морфем, образующее, как уже говорилось выше, основу сравнительно-исторических исследований. Ведь морфема всегда содержит два момента — она характеризуется определенной структурой и определенным значением. Мы имеем право сравнивать лишь такие морфемы родственных языков, которые обнаруживают определенные соответствия и могут быть возведены к общему первоисточнику как в структурном, так и в семантическом отношении. Но значение морфем словоизменительных, — а именно они образуют основу сравнения, — это значение синтаксическое. Допустим, мы сравниваем падежные формы родственных языков. Ведь они должны соответствовать друг другу не только формой окончаний, но и значением соответствующих падежей, а это значение и есть значение синтаксическое, поскольку это значение отношения существительного к другим словам в предложении (точнее, в словосочетании).

Установить, какие вообще различные падежи есть в данном языке и, следовательно, с какими соответствующими падежами другого родственного языка их можно сравнивать, можно лишь на основе изучения синтаксического употребления соответствующих форм. Ведь каждая падежная форма выражает целый ряд значений, но мы считаем разными падежами лишь такие различные совокупности значений, которые выражаются различными формами. С другой же стороны, мы считаем, что имеем дело с одним падежом и в том случае, если имеются две формы, но обе они выражают одну и ту же совокупность синтаксических значений. Так, например, мы считаем, что в современном русском языке имеем дело с одним и тем же творительным падежом, несмотря на наличие окончаний *-ой* и *-ою*, поскольку они обозначают одну и ту же совокупность синтаксических значений. Формы типа *рукой* и *рукою* мы рассматриваем как варианты одной и той же падежной формы.

Соответствие структуры формы одного языка и формы другого языка, хотя бы и родственного, может быть чистой случайностью, если соответствующие формы имеют совершенно различные значения, и нет оснований предполагать, что эти значения развились из некоторого общего источника. Ведь случайно совпавшие омонимически формы мы находим и на почве одного языка (ср., например, современное русское *-у* как окончание дат. п. ед. ч. II склонения и как окончание 1 л. ед. ч. настоящего и простого будущего времени). Такие случайно совпадающие формы могут быть, конечно, обнаружены и при сравнении различных языков, как родственных, так и неродственных.

Ввиду того, что значения развиваются одни из других и на протяжении самостоятельного развития отдельных родственных языков в соответствующих формах могли развиться в разных языках различные значения, — полного соответствия в значениях сравниваемых форм может и не быть, но в какой-то части значений соответствия обнаружатся. Так, например, винительный падеж в разных индоевропейских языках может иметь различные значения, но среди всех этих различных значений определенно выступает значение прямого объекта, полностью охватываемого действием. Это значение, выражаемое показателем *-m*, получившим различное фонетическое развитие на почве отдельных индоевропейских языков, позволяет говорить об общеиндоевропейской категории и форме винительного падежа. Мы вправе сравнивать, например, местный падеж славянских языков с местным падежом санскрита, поскольку оба они, при разнообразии форм выражения этого падежа в индоевропейских языках, имеют и общие структурные средства (хотя бы аффикс *-i*, ср. ст.-сл. *-ě* < *-oi̯*, *-ai̯* в основах на *-o* и на *-a*, санскр. *-ē* < *-oi̯* в основах на *-o* или *-i* в основах на согласные, например *vācí* от *vā́k*, *-i* на ступени гласного рядом с согласным и на ступени *-i̯* рядом с собственно гласным, как сонант) и общее значение — положения в пространстве. В санскрите местный падеж служит и для обозначения места направления движения. Возможно, что выражение пространственных отношений в самом широком и недифференцированном виде (т. е. без дифференциации места, где нечто происходит, и места, куда нечто движется) и является наиболее древним, характерным для общеиндоевропейского языка-основы. Возможно, что лишь в дальнейшем произошла дифференциация структурных средств, выражающих место нахождения и место направления, и оформляется особый дательный падеж, обозначающий направление (это значение его сохраняется и на славянской почве, ср. др.-р. иде Ростову), а также получающий и различные другие значения. Совмещение же значений места нахождения и направления движения в местном падеже в санскрите, имеющем и особый дательный падеж, является пережитком этих далеких индоевропейских отношений. Но, как бы то ни было, сравнение структурно соответствующих друг

другу форм местного падежа славянских языков и санскрита (а также и некоторых других индоевропейских языков) возможно именно в силу не только структурного соответствия, но и соответствия, по крайней мере частично, и значения.

Вместе с тем, если морфология почти непроницаема для воздействий другого языка, то синтаксис во многих своих частях вполне доступен этому воздействию. В особенности такие воздействия отражаются в развитии любого литературного языка. При сравнительно-историческом исследовании языков в наибольшей степени благодарный материал дают древнеписьменные языки, история которых прослеживается на протяжении длительного времени, т. е. языки, давно уже существующие как литературные. В этих языках очень сильна традиция, и возможно в то же время оформление этой традиции под влиянием письменной традиции другого языка.

В качестве примера сошлюсь на древнерусский литературный язык, складывавшийся и развивавшийся под сильным воздействием старославянского письменного языка как в лексическом, так и в синтаксическом отношении (это нисколько не противоречит положению о первоначально самобытной основе нашего литературного языка). Старославянский письменный язык, сложившийся первоначально на основе одного из живых южнославянских наречий, являлся языком близко родственным древнерусскому. Тем не менее, он имел отличия, в частности, и в области синтаксиса. Старославянский язык, основными из древнейших памятников которого являются евангельские тексты, переводные с греческого языка (переводные с греческого тексты широко представлены и в позднейших памятниках старославянского языка), развивался под сильным воздействием греческого литературного языка, что сказывается и на некоторых сторонах синтаксиса. Греческий язык является родственным старославянскому, что создает известные затруднения при решении вопроса о том, являются ли соответствующие конструкции, сходные в старославянском и греческом языках, заимствованными старославянским языком из греческого, или унаследованными обоими языками от общеиндоевропейского языка-основы, или же развившимися в обоих языках независимо друг от друга. Это независимое развитие может быть в известной мере обусловлено общими предпосылками, заложенными в языке-основе и общими для родственных языков законами внутреннего развития языка.

Но и греческий литературный язык, именно в синтаксическом отношении, не может считаться вполне самостоятельным и оформившимся лишь на основе использования элементов живого греческого языка. Ведь в данном случае речь идет не о классическом древнегреческом языке, а о языке Нового Завета, на который оказал сильное воздействие ветхозаветный библейский язык, греческий же текст Ветхого Завета переведен с древнееврейского и обнаруживает определенные следы воздействия древнееврейского текста.

Воздействие иного языка сказывается в структуре сложноподчиненного предложения, в порядке слов, а также и в некоторых других явлениях.

Так, в славянском переводе евангельского текста очень широко используется союз *и* в начале предложения для установления связи с предыдущим предложением. Эта особенность не является специфически славянской: славянскому *и* соответствует в греческом тексте начальное καί. Но это и не греческая особенность. Греческий евангельский текст складывался под сильным воздействием норм древнееврейского библейского языка. В литературе, посвященной греческому евангельскому тексту, высказывалось предположение, что одно из евангелий, а именно евангелие от Матфея, предназначенное (судя по содержанию) специально для христиан из евреев, даже написано было первоначально не по-гречески, а по еврейски (собственно, скорее по-арамейски). Присоединение предложений посредством союза *и*, следовательно, наличие цепи предложений, последовательно присоединяемых таким способом, характерно для древнееврейского языка (и, в частности, для библейского текста). В древнееврейском языке в данном случае используется союзная конструкция так называемый vav consecutivum. Широко используется в славянском евангельском тексте, а также и в греческом, откуда эта особенность, повидимому, и проникла в славянский текст, так называемый обратный порядок слов в сочетании имени или местоимения как подлежащего с глагольным сказуемым, т. е. положение глагола впереди имени или местоимения. Такой порядок слов в известных случаях используется и в современном русском литературном языке в особых стилях для придания торжественности речи. Но этот порядок не является ни собственно славянским, ни собственно греческим, он также, повидимому, получил широкое распространение под влиянием древнееврейского языка, где постановка глагольного сказуемого перед подлежащим является нормой (ср., например, древнееврейский текст начала первой книги Бытия).

Следует иметь в виду, что в данном случае речь идет лишь об относительной частоте такого использования порядка, поскольку в определенных случаях, а именно в спокойном повествовании, такой порядок распространен и в различных индоевропейских языках. Именно так построенным предложением часто начинается рассказ или какая-то часть его. Ср., например, в русских былинах: Жил Всеслав девяносто лет. . . ; в санскрите в Магабхарате: Asīd rajā Nalō nama. . . «Был царь по имени Наль. . .» Asīn madrēṣu mahātmā rajā paramadharmikaḥ. . . «Был в стране мадров великодушный царь, в высшей степени добродетельный»; в средневерхненемецкой «Песне о Нибелунгах»: Dô wuohs in Néderlanden eins edelen küneges kint. . . , «Росло в Нидерландах дитя благородного короля» (в последнем случае после начальной частицы dô).

3. Поскольку в любом грамматическом формативе, как уже было сказано, заключено два момента, постольку при сопоставлении различных

формативов родственных языков на различных этапах их исторического развития всегда должны учитываться оба эти момента, т. е. и грамматическое значение, и форма его выражения.

Совершенно очевидно, что совпадение двух звуковых комплексов различных языков при совершенно различных и не могущих быть возведенными к общему первоисточнику значениях может быть результатом чисто случайного совпадения.

Точно так же наличие одинаковых грамматических категорий в различных языках не свидетельствует об их родственности, если эти категории совершенно по-разному оформлены. Для того, чтобы служить надежным критерием родственности, они должны быть выражены так, чтобы звуковые комплексы, выражающие их в одном языке, находились в закономерных соответствиях (по составу) с звуковыми комплексами, выражающими их в другом языке. Поэтому совершенно неправомерным является установление родства языков лишь на основе общности грамматических категорий соответствующих языков по содержанию. В силу некоторых общих законов развития человеческого мышления и некоторых общих законов развития языка, в известных случаях одни и те же категории могут вырабатываться в совершенно неродственных и в целом далеких друг от друга даже по общему характеру своего грамматического строя языках, и притом в весьма различные и удаленные друг от друга эпохи.

Поясню примером. Сравнительной грамматикой индоевропейских языков установлено, что в некоторый достаточно ранний период развития общеиндоевропейского языка-основы, еще задолго до выработки грамматической категории времени, в видовой (словообразовательной) системе глагола были противопоставлены друг другу лишь перфект и и неперфект, совмещавший в себе то, что лишь впоследствии развилось как различия мгновенности, недлительности (аорист) и длительности (дуратив, позднее система praesens'а). Но такое же противопоставление перфекта всему остальному мы находим в системе глагола западноафриканского суданского языка ваи (группа мандэ). Форму, противостоящую перфекту в этом языке, принято называть аористом, но она выражает значения и длительности и недлительности, и прошлого, и настоящего, и будущего. С точки зрения отношения грамматических значений положение вещей в ваи очень напоминает то, которое мы находим в раннем общеиндоевропейском языке-основе. Но структурно там и тут соответствующие категории выражаются совершенно по-разному. Индоевропейский перфект выражается в основном удвоением корня (есть, правда, корни, не подвергающиеся удвоению, но существует мнение, что и они когда-то были удвоенными): ср. греч. λείπω—λέλοιπα, лат. parcō—pepercī и т. д. (не касаюсь чередований гласных в корне и личных окончаний, так как и то и другое, вероятно, является позднейшим). В ваи различие аориста и перфекта выражается различием местоименных показателей — более полная форма в перфекте, более

краткая — в аористе (ср., например, *n-ta* «я шел, иду, буду идти» — *na-ta* «я пришел и нахожусь здесь»). Между тем языки индоевропейские никак не связаны с ваи генетически, эти два противопоставления развились там и здесь совершенно независимо друг от друга, и развились к тому же, повидимому, в совершенно различные эпохи.

Точно так же тот факт, что первоначальное образование родительного падежа в индоевропейских и угрофинских языках шло, повидимому, сходным путем, никоим образом не свидетельствует о генетическом родстве индоевропейских и угрофинских языков. Как известно, родительный падеж с показателем -*n, характерный лишь для части угрофинских языков, хотя и наличный в различных группах, по происхождению представляет собой притяжательное прилагательное — падежный аффикс -*n, таким образом, по происхождению является словообразовательным аффиксом[1]. Точно так же родительный падеж единственного числа, представляющий весьма различные формы по разным индоевропейским языкам (для *-о* основ, так как для других основ он не имеет формы, отличной от отложительного падежа), сложился на почве отдельных индоевропейских групп, в общеиндоевропейском же языке-основе в том синтаксическом значении, которое характерно, в первую очередь, для родительного падежа, использовались другие средства, именно притяжательные прилагательные[2], с которыми и генетически связаны некоторые формы родительного падежа — именно латинский и кельтский (возможно и мессапийский) родительный падеж на *-i*, обнаруживающий генетические связи с древнеиндийскими именными образованиями на *-i*. По мнению О. Гуйера, широкое использование притяжательного прилагательного в древних славянских языках в тех случаях, когда мы, например, в более позднем русском языке, а также в других индоевропейских языках (древних и новых) находим родительный падеж, представляет собой не новообразование, а остаток древнего употребления. Как указывает Ваккернагель, такое употребление характерно и для древнейших памятников латинского и греческого языков.

Вопрос о том, почему для индоевропейских языков при различии форм родительного падежа единственного числа можно восстановить общую форму родительного падежа множественного числа (двойственное число, как известно, не имеет исторически засвидетельствованной своей формы родительного падежа, отличной от всех остальных падежей), оставляю сейчас в стороне. Для угрофинских языков этот вопрос и не встает, поскольку, как известно, в них, как и вообще в языках агглютинативного строя, падежные формы единственного и множественного числа не различаются.

---

[1] См. Jos. Szinnyei. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Изд. 2-е, 1922, S. 61.

[2] См. О. Гуйер. Введение в историю чешского языка, перевод с 3-го изд. М., 1953, стр. 28.

Для индоевропейских и угрофинских языков, с очень глубокой древности развивающихся в непосредственном соседстве, существуют и другие несомненные сходства, состоящие в материальном соответствии некоторых значимых элементов — корней, формативов, — вследствие чего давно уже отдельными лингвистами выдвигается положение о родстве и общности происхождения этих двух обширных языковых семей. Эти материальные соответствия действительно могут свидетельствовать об общности происхождения, хотя допускают и иное толкование, о чем ниже. Но такие черты сходства, как приведенные выше примеры образования родительного падежа, не могут свидетельствовать ни за, ни против гипотезы об исконном родстве индоевропейских и угрофинских языков. Подобное образование родительного падежа, не содержащее никаких элементов материальной общности соответствующих форм, могло осуществиться совершенно независимо друг от друга и в двух неродственных языковых семьях, и в двух языках, связанных узами родства.

Рассмотренные факты еще раз подтверждают существенное значение для языкознания исследований не только собственно сравнительно-исторических, но и сравнительно-типологических как в отношении языков родственных, входящих заведомо в одну и ту же группу или семью языков, так и языков неродственных, а также языков, родственность которых еще не доказана.

4. Из сказанного выше ясно, что существенное место среди исследований грамматического характера занимают исследования типологические, объектом которых является определение наиболее общих особенностей грамматического типа данного языка и сравнение различных языков с точки зрения их грамматического типа. Анализировать языки с точки зрения их общего типа можно не только в грамматическом отношении, но в наибольшей степени такой анализ разработан именно в грамматической области. Поэтому, когда говорят о типологическом анализе и типологическом сравнении языков, имеют в виду анализ и сравнение грамматического строя, а не какой-нибудь другой стороны языка (т. е. словарного состава или звуковой системы). Собственно, в первую очередь анализируется и сравнивается специально морфологический строй, значительно меньшее место отводится синтаксису, так как он недостаточно разработан.

Вследствие того, что родоначальник так называемого «нового учения о языке» Н. Я. Марр широко пользовался типологическими сравнениями различных языков, стремясь найти в этих сравнениях опору для своей методологически порочной «теории» стадиальности в развитии языка, в последние годы в советском языкознании наблюдается известное предубеждение против типологических исследований вообще. Так, А. С. Чикобава в статье «Об основных задачах и вопросах советского языкознания в свете сталинского учения о языке» пишет, что типологическое сравнение имеет определенную ценность лишь с точки зрения

методики преподавания языков, т. е. такое сравнение родного и изучаемого языка, по его мнению, может быть использовано лишь как методический прием для лучшего усвоения учащимися особенностей грамматического строя изучаемого языка[1]. Но с этим вряд ли можно согласиться. Типологические сопоставления не только между родственными, но и между неродственными языками проводились и до Н. Я. Марра, и не только с методическими, но и с теоретическими целями, причем в некоторых случаях приводили к интересным и ценным результатам. Конечно, исследования этого рода не могут быть выброшены из языкознания только потому, что этой областью так неудачно занимался Н. Я. Марр. Впрочем, в другом месте и сам А. С. Чикобава говорит, что «уяснение морфологического типа, к которому принадлежит изучаемый язык, может дать ценные указания для правильной постановки вопроса об истории явления, для верной ориентации в истории данного языка»[2].

Типологическое сравнение имеет большое значение и при изучении грамматического строя родственных языков в его историческом развитии от языка-основы до различных исторически засвидетельствованных состояний отдельных языков. Оно во многом способствует уяснению исторического развития грамматического строя как языка-основы, так и отдельных языков, помогает выяснить, в какой мере развитие грамматического строя отдельных языков обусловлено некоторыми тенденциями, заложенными еще в языке-основе, и в какой мере вызвано новыми отношениями, сложившимися на почве отдельных языков. Но типологическое сходство при этом следует строго отличать от родства по происхождению, и на основании наличия только типологического сходства никоим образом не следует делать заключения о генетическом родстве сравниваемых языков, что иногда делают, поскольку типологически подобны могут быть совершенно не родственные языки, и, напротив, родственные языки, потерявшие связь между собой в далеком прошлом, могут типологически существенно различаться.

Так, например, в угрофинских языках (не во всех) мы находим родительный падеж, характеризующийся показателем *-n*, ср., например, фин. *-maa* «земля», род. п. *maan*. В некоторых угрофинских языках он выступает в палатализованной форме: ср. эрзя *кудо* «дом», род. п. *кудонь*. По происхождению эта форма родительного падежа является формой притяжательного прилагательного: ср. эрзя *ош* «город» — *ошонь* «городской», *алонь* «нижний» (от *ало-*). Можно предполагать, что некогда угрофинские языки (возможно, еще угрофинский язык-основа) не имели вообще родительного падежа и отношения, которые затем стали выражаться им, выражались притяжательным

---

[1] См. сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию». М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 36.

[2] А. С. Чикобава. Введение в языкознание, ч. 1. М., 1952, стр. 190.

прилагательным. В некоторых угрофинских языках эта форма родительного падежа и не развилась[1].

Но такое же положение вещей было некогда и в индоевропейских языках. Древние славянские языки наряду с наметившимися уже конструкциями с родительным падежом широко использовали для выражения принадлежности притяжательные прилагательные. Сравнение же различных индоевропейских языков указывает на то, что форма родительного падежа, по крайней мере для единственного числа, не является общеиндоевропейской, а это, по мнению некоторых лингвистов, свидетельствует о том, что то, что позднее в отдельных языках выражалось родительным падежом, первоначально выражалось иными средствами, а именно прилагательным, причем славянские языки, использующие в такой функции прилагательное, в этом отношении характеризуются большей архаичностью, чем некоторые другие языки[2].

Но из того, что и индоевропейские и угрофинские языки некогда не располагали категорией родительного падежа, а в таком значении, в котором позднее использовался родительный падеж, употребляли притяжательные прилагательные и, следовательно, в этой черте грамматического строя были подобны друг другу, ничего не следует для признания родства угрофинских и индоевропейских языков.

В то же время языки родственные могут быть разнородны в отношении типологии грамматического строя. Ср., например, аналитический строй болгарского языка при синтетическом строе столь близко родственных ему других славянских языков, в том числе русского. Ср. также грамматический строй новоиндийских языков, например, бенгальского. Эти языки обнаруживают определенную преемственность в развитии грамматического строя по отношению к среднеиндийским наречиям и, далее, к древнеиндийскому языку, но в грамматическом строе сильно отличаются от остальных индоевропейских языков, и даже от тех, на основе которых они развились, представляя много черт, сближающих их с языками агглютинативного строя, хотя в целом это сближение и не должно быть преувеличиваемо.

В то же время никоим образом не может быть принята замена положения о генетической общности языков, принадлежащих к одному семейству, положением лишь о типологическом их единстве в каких-то отношениях и о невозможности доказать общность их происхождения. Известно, что у современных зарубежных структуралистов, в первую очередь американских, в последние годы наблюдается ослабление интереса к проблемам сравнительно-исторического характера, распространяются идеи о неразрешимости этих проблем, а все внимание направляется в область структурно-описательную, к которой относится и

[1] См. J. Szinnyei. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Изд. 2-е. 1922, S. 61.

[2] Ср. О. Гуйер. Введение в историю чешского языка, перевод с 3-го изд. М., 1953, стр. 28

типологическое исследование. Зародыши этих идей мы находим (еще в довоенное время) у Н. С. Трубецкого, попытавшегося подойти к индоевропейскому семейству языков, на основе которого и разработан был впервые сравнительно-исторический метод, не как к семейству языков, развившихся некогда из единого источника, а как к совокупности языков, определяемой чисто структурными признаками[1].

По Трубецкому, материальные соответствия в словах и формах, существующие между различными индоевропейскими языками, не свидетельствуют о том, что эти языки представляют собой ответвления некогда существовавшего единого языка. Вместе с тем, рассматривая материально общие элементы различных индоевропейских языков, Трубецкой от принципиального разграничения родства и заимствования отказался, считая, что разница между тем и другим лишь хронологическая. Он считает, что научной проблемой, которая стоит в области сравнительно-исторических исследований, является лишь вопрос о том, как и где установился индоевропейский языковый строй. Самое понятие индоевропейских языков выступает для Трубецкого как понятие совокупности языков, характеризующихся лишь некоторыми общими структурными признаками, т. е. лишь типологически, а не генетически. Языки могут переживать в какую-то эпоху индоевропейское состояние, т. е. могут становиться индоевропейскими, и переставать быть ими, выходить из этого состояния. Но приобретение языками свойства быть индоевропейскими языками и утрата ими этого свойства невозможны, если мы будем продолжать понимать под индоевропейскими языками, как это и понималось, начиная с введения этого термина, определенную совокупность языков, связанных родством, т. е. общностью происхождения[2].

Признаки, которыми по Н. С. Трубецкому характеризуются индоевропейские языки, следующие: 1) отсутствует гармония гласных; 2) консонантизм начала слова не беднее консонантизма конца слова, а также сочетаний согласных внутри слова; 3) слово не всегда начинается с корня, т. е. имеются не только суффиксы, но и префиксы; 4) образование форм состоит не только в аффиксации, но также и в использовании чередований гласных внутри морфем основы; 5) имеют место свободные чередования согласных, по происхождению фонетические, но в дальнейшем играющие морфологическую роль; 6) субъект переходного глагола трактуется так же, т. е. имеет ту же форму, что и субъект непереходного глагола (ср. pater venit и pater filium amat).

Следует заметить, что большинство признаков, устанавливаемых Трубецким, относится к грамматической, точнее к морфологической

---

[1] См. N. S. Trubetzkoy. Gedanken über das Indogermanenproblem. «Acta linguistica», 1939, I, 2.

[2] См. об этом в упоминавшейся выше ст. А. И. Смирницкого.

области (часть из этих признаков сам Трубецкой называет морфонологическими, но непонятно, почему морфонологическим, например, является признак, состоящий в том, что слово не должно начинаться обязательно с корня, если даже пользоваться понятием морфонологии так, как им пользуются представители пражской школы).

Различные и, в частности, в большей части именно грамматические (морфологические) признаки действительно характеризуют индоевропейские языки в различные эпохи их развития, причем часть из этих признаков, характерных для позднейших индоевропейских языков, наличествовала уже в общеиндоевропейском языке-основе, часть же развилась позднее. Но не эти признаки определяют самое существование индоевропейских языков как некоторой языковой совокупности-семьи, отличной от других языковых совокупностей-семей. Сама принадлежность того или иного языка к индоевропейской семье языков определяется как принадлежность по родству, и устанавливается эта принадлежность лишь на основе анализа материального инвентаря значимых единиц, морфем соответствующего языка, корневых и аффиксальных; установлена же эта принадлежность может быть лишь в том случае, если морфемы данного языка обнаруживают закономерные материальные соответствия в форме и значении с морфемами других индоевропейских языков. Выдвигая чисто структурно-типологическое понимание индоевропейских языков, Н. С. Трубецкой по существу смыкался с основателем «нового учения о языке», попросту отрицавшим идею языкового родства. Современные продолжатели Н. С. Трубецкого все дальше идут по этому пути, для нас совершенно неприемлемому.

Определение грамматических признаков, характеризующих ту или иную группу или семью родственных языков, имеет большое значение для определения путей развития соответствующих языков, но лишь в том случае, если точно будет установлено, к какой эпохе соответствующие признаки относятся и на какую совокупность языков (или же на один язык-основу) они распространяются. Признаки, устанавливаемые Трубецким для индоевропейских языков, этим требованиям не удовлетворяют. Он настаивает на том, что одновременное наличие всех шести установленных им признаков (двух фонетических, трех морфонологических, одного собственно морфологического) характерно лишь для индоевропейских языков: по отдельности каждый из этих признаков может встретиться и в каком-нибудь неиндоевропейском языке, но все шесть лишь в индоевропейском. Однако мы можем указать заведомо индоевропейские языки, в определенный период своей истории не содержавшие некоторых из этих признаков, однако содержавшие их как в более ранний, так и в более поздний период. Вообще же устанавливаемые признаки относятся к различным эпохам развития как общеиндоевропейского языка-основы, так и различных индоевропейских групп и отдельных языков (впрочем, отвергая индоевропейскую семью языков, как генетическое единство, Трубецкой,

повидимому, говорит лишь о признаках, существующих в исторически засвидетельствованных индоевропейских языках). Так, например, чередования согласных сложились в процессе развития отдельных индоевропейских языков (и не во всех языках), чередования же гласных унаследованы в большей своей части от общеиндоевропейского языка-основы. Но и чередования гласных, разные в различные эпохи, складывались на почве общеиндоевропейского языка-основы, и не следует думать, чтобы до развития этих чередований общеиндоевропейский язык-основа не был родоначальником последующих индоевропейских языков.

5. «Отличительная черта грамматики, —как указывает И. В. Сталин, — состоит в том, что она дает правила об изменении слов, имея в виду не конкретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности. . .»[1] На основании этого, на первый взгляд, можно подумать, что грамматические формы безразличны к словарному составу языка, а изменения слов безразличны к тому, о каких конкретно словах идет речь. На самом деле это не так. Обобщающий, абстрагирующий характер грамматики развивается постепенно, постепенно определенные правила изменения охватывают все более обширные категории слов, а под конец, возможно, и все слова, вступающие в синтаксические отношения, но именно постепенно. Ведь то, что грамматика есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, говорит о том, что не сразу грамматика приобрела тот характер, который мы застаем в каком бы то ни было языке теперь.

Если мы обратимся к таким языкам, как индоевропейские, и, в частности, к такому языку, как русский, мы увидим, что одно и то же синтаксическое отношение существительного к другим словам в предложении (точнее, в словосочетании, в которое входит существительное) для разных групп слов может выражаться различной падежной формой (речь идет, конечно, о таких языках, которые имеют склонение). Ср., например, выражение значения прямого объекта (т. е. вин. пад.) посредством форм *стол, человек-а, вод-у;* выражение принадлежности (род. пад.) посредством форм *стол-а, вод-ы, кров-и* и т. д. Эти расхождения форм в некоторых случаях позднейшие. Так, например, различие таких форм, как *стол* и *воду* (нулевое окончание и окончание *-у*) восходит к некогда существовавшему единству — в том и в другом случае окончанием служило *-m* (ср. **столъ** < *stolo-m; *воду* < vodǫ < *vodā-m). Сюда же примыкает и такая форма, например, как *камень*, где **камєнь'** из *kamenьm < *kamenm̥, где *-m, являвшееся еще на почве общеиндоевропейского языка-основы, а также в ранний период развития общеславянского языка в положении рядом с конечным согласным основы, фонетически соответствовало -m (сонант мог выступить как на слоговой, так и на неслоговой ступени в зависимости

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 24.

от того, в соседстве с какими звуками он находился). Но в части случаев расходящиеся в наши дни формы расходились и в глубокой древности, частью же и на почве общеиндоевропейского языка-основы. Это относится, например, к различным формам родительного падежа, хотя объяснить их все в настоящее время мы еще не можем.

А поскольку одни и те же, на наш взгляд, отношения различных имен к некоторым другим словам выражаются для разных групп имен различными морфологическими средствами (различными морфемами), постольку встает вопрос о характере этих групп имен, о том, что объединяет каждую из этих групп. Эти разные группы характеризуются различными показателями, т. е. для индоевропейских языков различными суффиксами, некогда живыми (каждый из них характеризовал некоторую группу имен, чем-то объединенных в семантическом отношении), впоследствии же утратившими свое значение и сохранившимися лишь по традиции в качестве, как принято их называть, именных детерминативов, т. е. определителей.

Сравнительно-исторический анализ материала отдельных индоевропейских языков позволяет до известной степени восстановить соответствующие группы или так называемые именные классы, характеризовавшие общеиндоевропейский язык-основу. Вопрос о разграничении этих групп в их основах тесно смыкается с проблемой словарного состава общеиндоевропейского языка-основы и отдельных индоевропейских групп. Каждая такая группа, характеризующаяся определенным показателем (детерминативом), объединяется и определенной семантикой, следовательно, представляет собой определенную группу словарного состава. Эти группы складывались и получали грамматическое оформление на протяжении очень длительного времени, одни в более раннюю, другие в более позднюю эпоху. На протяжении этого длительного времени имели место многочисленные переходы имен из одних групп в другие, вследствие чего на основании материала, представленного отдельными исторически засвидетельствованными индоевропейскими языками, не для всех групп с одинаковой ясностью вскрываются их семантические границы; для некоторых же эти границы, при современном состоянии лингвистики, по крайней мере, определить и вообще невозможно.

Так, типы позднейшие, ставшие в какой-то мере продуктивными еще на почве общеиндоевропейского языка-основы и еще более развивающие эту продуктивность на почве отдельных языковых групп и отдельных языков (таковы основы на *-a* и на *-o*), в которые неограниченно входят все новые и новые слова самого различного значения, включают в свой состав настолько разнообразные по значению элементы, что общее значение для слов каждого из этих типов вообще не устанавливается. К тому же в особенности для этих типов большое значение имеет последующее по отношению к подразделению по именным основам, но достаточно древнее, имевшее место еще на почве обще-

индоевропейского языка-основы, подразделение имен по родам, нарушившее древнее подразделение по типам основ.

В более архаических типах первоначальная семантика их вскрывается более отчетливо, но и здесь имеет место большое количество различных исторических напластований, и не все типы, устанавливающиеся на почве отдельных индоевропейских языков, в достаточной мере могут быть реконструированы для общеиндоевропейского языка-основы. Так, различные показатели объединяются в пределах единого по своим грамматическим свойствам типа основ на согласные (детерминативы которых оканчиваются на согласный). Соответствующие группы, характеризующиеся этими показателями, и оформились, повидимому, в весьма различные эпохи. Так, отчетливо вскрывающаяся на славянской почве группа с показателем *-ęt-* < **-ent-*, обозначающая невзрослые живые существа (ср. ст.-слав. **прасѧ, тєлѧ** и т. д.), не обнаруживает ясных соответствий за пределами славянских языков. Самый состав показателя этой группы, повидимому, сложный (*-en-* + *-t-*), и если мы обнаруживаем такое соответствие в греческом языке, как ὄνομα, род. п. ὀνόματος, указывающее на показатель **-n̥-t*, то это слово совершенно иного значения, соответствующее же ему латинское nomen, nominis, а также производное греческое ὀνομαίνω указывают на вторичность *-t-*[1].

Из названий действователя, также характеризовавшихся на почве общеиндоевропейского языка-основы показателем, относившим их к основам на согласные, *-ter-/-tr̥-*[2], и примыкавших к ним названий имен родства, на славянской, например, почве сохранились в соответствующем типе лишь названия родства, да и из тех часть, в результате более позднего подразделения по родам, отошла к новым продуктивным типам основ на *-a* (**сєстра**) и на *-o* (**братръ > братъ**), другие же названия действователя, характеризующиеся на славянской почве суффиксом *-tel'*(ь), обнаруживают следы принадлежности к основам на согласные лишь во множественном числе (ср. им. п. мн. ч. типа **дѣлатєлє**, род. п. мн. ч. **дѣлатєлъ** и т. п.), в единственном же числе склоняются по типу частью основ на *-o*, частью основ на *-й*, собственно *-jй*, следом чего А. Мейе считает такие формы, как **дѣлатєлєви**[3].

Определение возможных границ всех различных групп имен, образующих различные типы именного склонения на почве общеиндоевропейского языка-основы и на почве отдельных индоевропейских языков, увлекло бы меня слишком далеко от темы настоящей статьи. Но как бы то ни было, приведенные выше факты указывают на то, что развитие грамматического строя теснейшим образом связано с развитием сло-

---

[1] См. А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 295.

[2] О различных разновидностях этой структурной группы имен и развитии их гл. обр. на почве индо-иранских и греческого языков см. E. Benveniste. Noms d'agents et noms d'actions. Paris, 1948.

[3] См. А. Мейе. Общеславянский язык, стр. 342.

варного состава языка. А обобщенные средства выражения отношений слова к другим словам в предложении (точнее, в словосочетании) складываются и развиваются первоначально в пределах определенных групп словарного состава.

Эта связь обнаруживается не только с отдельными частными группами словарного состава. Важно обратить внимание на то основное подразделение словарного состава, на которое указал И. В. Сталин, а именно на подразделение его на основной словарный фонд, составляющий главную часть словарного состава, и остальной словарный состав. Слова, принадлежащие к основному фонду, могут и в грамматическом отношении характеризоваться некоторыми своеобразными чертами. Это ярко выступает, по крайней мере, в таких языках, как индоевропейские, которые располагают различными типами словоизменения. Фр. Шпехт в своей книге, посвященной происхождению индоевропейского склонения, во многом спорной, а в некоторых случаях содержащей и положения, совершенно неприемлемые, сделал интересное наблюдение, что все слова, выражающие понятия повседневной жизни, выражались (речь идет об общеиндоевропейском языке-основе) словами, относящимися к нерегулярным типам склонения [1]. Регулярными типами он называет склонения с основой на *-а* и на *-о*, остальные же относит к нерегулярным. Вопрос, конечно, что́ считать нерегулярным типом склонения. Различные явления чередования, наблюдавшиеся в конце основы соответствующих типов, представляют собой явления относительно позднейшие (хотя и имеющие место еще в общеиндоевропейском языке-основе), возникновением своим обязанные различному месту ударения, но в дальнейшем (и уже достаточно рано) с ним не связанные. Следует, кстати, сказать, что замечание Шпехта по поводу таких чередований и их происхождения не вполне ясно [2]. Но в этих типах действительно наблюдаются и такие отношения, которые не могут быть объяснены на первоначально фонетической основе — ср., например, различный вид основы (помимо чередований, происхождение которых объясняется фонетически) в именительном и косвенных падежах, свидетельствующий о возможном использовании различных словообразовательных показателей, причем такие формы имеют многие слова, обозначающие жизненно важные явления, т. е. относящиеся к основному словарному фонду (к нему относятся и те слова, которые Шпехт называет словами, выражающими понятия повседневной жизни). Ср., например, греческое ὕδωρ—ὕδατος. Такие слова, оказывается, обнаруживают очень большую устойчивость и в своем морфологическом оформлении. Уже после установления и широкого распространения регулярных типов они продолжают в отдельных исторически засвидетель-

---

1 Fr. Specht. Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Изд. 2-ое. Göttingen, 1947, S. 103.

2 См. там же, стр. 362

ствованных индоевропейских языках входить в древние нерегулярные типы. Впрочем, со временем и эти слова могут менять свое оформление и примыкать к регулярным типам. Ср., например, славянское *вода*, которое, уже начиная с общеславянской эпохи, входит в регулярный тип (в склонение с основой на *-а*). Впрочем, следует иметь в виду, что славянское именное склонение еще на общеславянской почве вообще подверглось сильному выравниванию (ср., например, склонение с основой на согласные, где выступают лишь две основы — одна для им. п. ед. ч., другая — для всех остальных).

6. Поскольку звуковой язык был всегда единственным полноценным средством общения в человеческом обществе, постольку большое значение имеет вопрос об отношении грамматики (как, впрочем, и словарного состава, о котором в настоящей статье специально не говорится) к фонетике, к звуковой системе языка. Ведь любое грамматическое средство не является чем-то не материальным, оно всегда облечено в какие-то звуки, всегда выражается в каких-то звуковых различиях. Но вопрос об отношениях грамматики к фонетике в полном объеме опять-таки может быть разрешен лишь на основе изучения исторического развития языка, а если мы хотим охватить это историческое развитие на всем доступном нам отрезке времени, не ограничиваясь тем, который представлен письменными памятниками, то это можно сделать лишь на основе сравнительно-исторического изучения родственных языков. И в то же время правильная оценка меняющихся на протяжении исторического развития языка взаимоотношений грамматической и фонетической стороны языка возможна лишь на основе определенных теоретических предпосылок, выработка которых является одной из задач грамматики, точно так же, как и проблема отношения грамматического строя к другим сторонам языка.

Связь грамматической (и именно морфологической) стороны языка с фонетикой проявляется прежде всего в развитии чередований фонем, имеющих морфологические значения и характеризующих определенные грамматические и словообразовательные категории. Принципиальные положения, связанные с развитием из определенных позиционно-обусловленных фонетических отношений отношений морфологизованных, служащих для выражения различий смысловых (грамматических и лексических), с наибольшей полнотой могут быть раскрыты на основе сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков, представляющих в этой области, как и во многих других, богатый и многообразный материал. Ведь в области индоевропейских языков многочисленные чередования возникали, развивались и преобразовывались как на почве общеиндоевропейского языка-основы, так и на почве отдельных индоевропейских языковых групп и отдельных языков, причем частью уже в эпохи, засвидетельствованные письменными памятниками. Семитские и хамитские языки, представляющие более ограниченный и компактный материал, менее пригодны для исследований в этой области.

Я не предполагаю здесь останавливаться подробно на развитии чередований в индоевропейских языках, а также на общих принципах, на основе которых мы выделяем и исследуем эти чередования, так как эти принципы изложены мною в статье, посвященной возникновению и развитию чередований в русском языке[1], дальнейшее же развитие содержащихся там положений содержится в статье, посвященной чередованиям в общеславянском языке-основе[2]. Но я хотел бы обратить внимание на некоторые существенные моменты. Изучение чередований, последовательности их развития и их роли в грамматическом строе языка должно опираться на отчетливое представление об общем характере и особенностях звуковой системы соответствующего языка в различные периоды его истории, как засвидетельствованные, так и незасвидетельствованные памятниками письменности. Изучение чередований и их развития должно в то же время дать основу для более отчетливого представления о том, каков в каждую изучаемую и подлежащую изучению эпоху был облик рассматриваемых морфологических форм. Следует заметить, что изучение чередований дает материал для суждения и о том, было ли вообще в определенную эпоху различие между формами, различие между которыми в дальнейшем было несомненно, т. е. для суждения о том, были ли в некоторую эпоху две или несколько различных форм или же соответствующие формы вообще не различались, т. е. на месте позднейших различных форм была представлена одна форма.

В отношении особенностей звукового строя следует обратить внимание на связь различных видов чередований с характером ударения. Качество ударения является одним из очень важных признаков, характеризующих звуковую систему; от этого качества многое зависит в элементах, составляющих данную систему. Между тем оно существенно менялось как на протяжении развития общеиндоевропейского языка-основы, так и на протяжении развития отдельных языков. В ту эпоху, когда существовали фонетические условия, создавшие основу для развития в дальнейшем тех чередований, которые принято называть чередованиями нормальной ступени и ступени редукции (а также нулевой), — в общеиндоевропейском языке должно было существовать сильное динамическое ударение, т. е. различие по интенсивности между ударным слогом и безударными должно было быть велико, так как именно в этих условиях гласные в собственном смысле слова подвергаются сильной редукции. В эпоху возникновения качественного чередования *e/o* отношения должны были быть совершенно иные. Возможность изменения $e > o$ именно в безударном положении говорит о значительном различии в отношении высоты голосового тона между ударным и безудар-

[1] См. мою ст. «О возникновении и развитии звуковых чередований в русском языке». «Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.», т. XI, 1952, вып. 1.

[2] См. мою ст. «О чередовании гласных и согласных в общеславянском языке-основе». «Труды Ин-та славяноведения АН СССР», т. II, 1953.

ным слогами. А отсутствие при этом собственно редукции говорит скорее о незначительном различии между ударным и безударными слогами по степени интенсивности. Вследствие такого характера ударение общеиндоевропейского языка-основы соответствующего периода даже принято называть не *ударением*, а *тоном*, хотя такое название скорее применимо к музыкальным отношениям таких языков, где различия состоят лишь в движении голосового тона, определяющего каждый слог. Но ударение, характеризующееся слабым различием по интенсивности ударных и безударных слогов, свойственно наиболее архаическим исторически засвидетельствованным индоевропейским языкам, известным к тому же по наиболее древним памятникам, а именно греческому и санскриту (мы ничего положительного не можем сказать об ударении в хеттском языке). На такое ударение указывает и восстанавливаемая на основании сравнения исторически засвидетельствованных языков общеславянская и общебалтийская звуковая система. Отдельные древние индоевропейские языки, характеризующиеся сильным динамическим ударением, приобрели его (это можно доказать) позднее, а не унаследовали от общеиндоевропейского языка-основы. Это говорит о том, что ударение общеиндоевропейского языка-основы сравнительно позднего времени (т. е. времени незадолго до разделения и образования языков-основ отдельных групп) определялось приблизительно такими чертами, какие свойственны, примерно, санскритскому ведийскому ударению, а именно располагало свободой места, причем ударный слог незначительно отличался по интенсивности от безударных, а в то же время обладал большой высотой тона.

В таком случае та эпоха в развитии ударения, когда ударный слог значительно отличался по силе гласных, в особенности от первого предударного слога, относится к значительно более раннему времени. Е. Курилович полагает, что связь между ударением и качеством гласного *е—о* была нарушена задолго до распадения общеиндоевропейского языка и перекрыта позднейшими морфологическими образованиями, и что связь между *е* и *о* в зависимости от фонетических условий менее ясна, чем связь типа *ei̯—i* [1]. Он не говорит, правда, в данном случае об относительной древности этих отношений, но из этого рассуждения как-будто вытекает бо́льшая древность чередования *е/о* сравнительно с чередованием *ei̯/i*, с чем согласиться по вышеуказанным соображениям нельзя. Конечно, морфологизация *е/о* имела место еще на общеиндоевропейской почве, о чем мне уже приходилось говорить [2]. Но ведь и для соотношения типа *ei̯—i* мы также можем указать многочисленные случаи, свидетельствующие о ранней утрате

[1] J. Kuryłowicz. Études indo-européennes, I. Kraków, 1935, str. 97—98.

[2] См. мои ст. «О возникновении и развитии звуковых чередований в русском языке». «Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.», т. XI, 1952, вып. I и «К вопросу о генезисе видо-временных отношений древнерусского языка». «Труды Ин-та языкознания АН СССР», 1953, т. II.

связи этих отношений с фонетическим положением. Ведь *i̯—i* как сонант связан тесными отношениями с другими сонантами (*u̯—u*, *r—r̥*, *l—l̥*, *m—m̥*, *n—n̥*), а мы находим сколько угодно случаев, когда сонант на слоговой ступени, первоначально являвшийся там, где рядом с ним в безударном положении терялся собственно гласный, выступает под ударением, что подтверждается фактами различных индоевропейских языков и свидетельствует о том, что̀ такое положение вещей устанавливается еще на почве общеиндоевропейского языка-основы, ср., например, лит. vil̃kas, греч. λύκος, санскр. vṛ̥kaḥ.

Изучение чередований, как уже было сказано, проливает свет и на вопрос о том, каков был облик различных морфологических форм на протяжении дописьменного развития языка вплоть до общеиндоевропейского языка-основы. Так, например, простой аорист характеризуется чередованиями, опирающимися на отношения нормальной ступени и ступени редукции. Существовал ли до морфологизации количественных чередований аорист (как вид, а не как время, следовательно, не характеризовавшийся ни аугментом, который вообще присоединяется к глагольной форме поздно и не во всех индоевропейских языках, ни вторичными окончаниями, отличными от первичных) как особая форма, отличная от настоящего времени (собственно еще не настоящего времени, а дуратива)? Правда аорист сигматический характеризовался особым показателем -*s*- также видового, а не временно́го происхождения. Но вопрос, когда вошло в язык это -*s*-? Не принадлежит ли оно более поздней эпохе, чем формы простого аориста?

7. Очень существенным для морфологии, являющейся основным объектом сравнительно-исторического исследования, представляется вопрос о границах слова в грамматическом отношении, т. е. вопрос о том, что̀ считать совокупностью форм одного слова и как разграничивать формы словоизменения и формы словообразования. Решение этого вопроса очень существенно для сравнительно-исторического исследования морфологии любого языка. Оно необходимо для лучшего понимания исторического развития системы форм одного слова, составляющего основной объект исторической морфологии. С другой стороны, историческое изучение какого-либо языка на большом отрезке времени помогает лучше раскрыть взаимоотношения между формами словообразования и словоизменения, показывает, что граница между ними не является для любого языка раз навсегда данной и незыблемой, что представляет большой интерес для теоретической грамматики.

Не останавливаясь подробно на различиях и взаимоотношениях форм словоизменения и словообразования, скажу лишь, что формами словоизменения, т. е. формами одного слова, являются такие формы, которые выражают различные отношения данного слова в предложении или в словосочетании, формами же словообразования, т. е. различными словами одного корня, являются такие формы, различие которых выражает многообразие предметов реальной действительности

и не зависит от роли их в предложении или в словосочетании, как бы ни были близки друг к другу само значения соответствующих форм. С этой точки зрения различными словами являются формы существительных, выражающие лишь различия в числе (например, *стол — столы*), так как их различия не зависят от отношений в предложении или словосочетании и выражают реально (т. е. в действительности) существующие различия между одним предметом и некоторой совокупностью одинаковых предметов. С этой же точки зрения в русском языке глаголы, отличающиеся друг от друга только видом (например, *делать — сделать*), при всей близости их лексического значения, представляют собой различные слова, а времена глагола (например, *делаю— делал*) — формы одного слова. Форма вида характеризует самое действие и не зависит от употребления соответствующих форм в предложении, форма же времени самого действия не характеризует, но выражает лишь отношение к моменту речи, устанавливаемое в предложении, и, в частности, отношение между действием, выраженным сказуемым, и субъектом его, выраженным подлежащим.

Как формы словообразования, так и формы словоизменения представляют собой различные ступени обобщения, абстрагирования, причем в более обобщенном, абстрагированном виде явления действительности выражаются именно в формах словоизменения. Как уже было сказано выше, обобщение, абстрагирование, проявляющееся в грамматике, осуществляется не сразу, а в результате очень длительного развития. И степень абстрагирования, которая проявляется в формах словоизменения, была достигнута постепенно. Формы словоизменения генетически теснейшим образом связаны, как мы видим на материале исторического исследования самых различных языков, с формами словообразования, представляющими вообще меньшую степень абстракции. Непроходимой грани между формами словообразования и словоизменения нет, и во многих случаях мы видим, как формы словоизменения складываются, вырабатываются на основе древних форм словообразования. С наибольшей полнотой это развитие может быть раскрыто в том случае, если мы имеем возможность наблюдать соответствующий язык на протяжении достаточно длительного времени, а наибольшая длительность развития, представляющего объект наблюдения, обеспечивается сравнительно-историческим изучением данного языка или языков.

Так, лишь сравнительно-историческое изучение наиболее древних по письменным памятникам индоевропейских языков позволяет установить, что формы времени глагола, являющиеся формами словоизменения, генетически развились из видовых форм, представляющих собой формы словообразования: настоящее время и имперфект на основе форм длительного вида, аорист на основе мгновенного вида, перфект на основе вида, выражавшего результативное состояние независимо от момента речи. Следует заметить, что виды в общеиндоевропейском языке-основе характеризовались значительным многообразием, и времена

оформились в различных индоевропейских языках, а частью еще в более позднюю эпоху развития языка-основы лишь на основе некоторых из этих видов. Об этом говорит то, что в основе настоящего времени в отдельных исторически засвидетельствованных индоевропейских языках выступают различные показатели, частью суффиксы, частью инфиксы, имевшие некогда, а частью сохраняющие еще и в эпоху памятников видовое значение. Ср., например, суффикс *-j-*, обозначающий длительность действия, суффикс и инфикс *-n-*, указывающий начало действия, и т. д.

8. С легкой руки Н. Я. Марра грамматический строй новых (ныне существующих) индоевропейских языков часто становился объектом таких исследований, которые имели целью доказать больший типологический архаизм их сравнительно с древнеписьменными индоевропейскими языками, принадлежность этих новых языков к более древней стадии развития грамматического строя сравнительно с древнеписьменными языками и близость этих новых языков в грамматическом отношении к языкам иных семейств или, как выражались Н. Я. Марр и его ученики, иных систем. Так, например, сам Н. Я. Марр стремился доказать бо́льшую архаичность французского грамматического строя сравнительно с латинским[1]. В особенности такие изыскания проводились в том случае, если с соответствующими языками на протяжении их исторического развития близко соседили языки иных семейств. Внимательное изучение грамматического строя этих языков, особенно если оно возможно (благодаря наличию письменных памятников) на протяжении достаточно длительного времени, в сравнении с грамматическим строем родственных языков показывает, что даже в случае ярко бросающихся в глаза отличий от других родственных языков очень многое в действительности унаследовано от состояния, характеризующего еще язык-основу.

Так, очень ярко бросается в глаза отличие грамматического строя современных индийских (так называемых индоарийских) языков от грамматического строя санскрита, несмотря на несомненную родственность их санскриту, подтверждаемую очень большой близостью не только основного словарного фонда, но и словарного состава в целом. Выдвигались предположения, и даже не только представителями марровского учения о языке, что грамматический строй индоевропейского языка, распространившегося на территории Индии и представленного в письменности в первую очередь санскритом, подвергся коренной перестройке под воздействием исконного населения Индии, говорившего на различных неиндоевропейских языках (дравидских и др.). Грамматический строй санскрита характеризуется ярко выраженным флектив-

[1] Не останавливаюсь подробнее на критике этих работ Н. Я. Марра, так как это сделано в моей ст. «Об ошибках Н. Я. Марра в области исторического и сравнительного языкознания» (Сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании», ч. II, М. 1952).

ным типом, сложным и многотипным склонением и спряжением. Грамматический строй новоиндийских языков характеризуется многими чертами, сближающими его с грамматическим строем агглютинативных языков, в частности, богато развитой системой послелогов для выражения тех отношений, которые в санскрите выражались падежами, при наличии, однако, в известных случаях и падежных аффиксов. Индоевропейские языки Индии на протяжении своей истории действительно скрещивались с различными неиндоевропейскими языками, но предположение о том, что грамматический строй индоевропейских языков в результате этого подвергся коренной перестройке, в корне противоречит характеру языкового скрещивания. Как известно, при скрещивании один из языков обычно выходит победителем и сохраняет свой грамматический строй и основной словарный фонд. Предположение о коренной перестройке грамматического строя под воздействием других языков свидетельствовало бы о проницаемости морфологии для постороннего воздействия (разрушение склонения и развитие послеложной системы под влиянием других языков свидетельствовало бы о такой проницаемости), а выше уже говорилось о том, что у нас нет оснований для предположения о возможности такой проницаемости.

Но внимательное изучение грамматических особенностей новоиндийских языков указывает на то, что многие из этих особенностей, хотя они и кажутся отступающими от тех черт, которыми характеризовался санскрит, в действительности имеют очень древний источник. Так, аффикс (суффикс) местного падежа *-ē*, характеризующий бенгальский язык, восходит к древнему -* *a-dhi*, например: *ghår-ē* «в доме» < поздн. ср.-инд. *gharahi*, *gharahim* < др.-инд. * *grha-dhi(m)*, * *grha-bhi(m)*. Суффикса *(-a-)dhi* в санскрите нет, но он есть в среднеиндийском (пали) — *-dhi-*, а также в греческом (-θι), что указывает на его древность, принадлежность, повидимому, общеиндоевропейскому языку-основе и делает возможной просто утрату его на почве санскрита[1]. Новым является, пожалуй, распространение этого аффикса на другие падежи — отложительный, творительный, реже родительный и дательный[2], — и возможность наслаивания на другие аффиксы, как, например, в дательном *-k-ē*[3]. Послелоги, широко распространенные в бенгальском языке, имеют древний источник (например, послелог орудия и средства *dārā*). Правда, отношения между словами посредством послелогов выражаются также в неиндоевропейских языках Индии — в дравидских, в колярских. Но не следует думать, что распространение послелогов в бенгальском языке идет оттуда. В крайнем случае эти языки могли лишь оказать некоторую поддержку тем процессам, которые протекали в индоарийских языках на основе внутренних зако-

[1] См. Suniti Kumar Chatterji. The Origin and Development of the Bengali Language, т. II, Calcutta, 1926, p. p. 745—746.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 749.

нов их развития. Дело в том, что некоторые несклоняемые служебные слова — *ā*, *adhi*, *anu*, *pari*, *pra* — еще на древнеиндийской почве могли употребляться и как предлоги и как послелоги[1]. Такое употребление свойственно и другим индоевропейским языкам. Так, например, латинский предлог *cum* в сочетании с личными местоимениями закономерно употреблялся как послелог, ср. *mecum*, *tecum*. Наблюдаются и другие случаи. Латинское *in* постоянно выступало как предлог, но соответствующее ему этимологически служебное слово в других древних италийских языках функционировало как послелог, ср. умбр. *pirom-e(n)*. Как послелог вошло оно и в общеславянский язык-основу, где в результате слияния его со словом, к которому оно непосредственно относилось, оно превратилось в окончание местного падежа у имен с основой на согласный, ср., например, ст.-слав. и др.-р. камене < *kamen-en. Послелоги находим мы в различных индоевропейских языках. Как послелог употреблялось древнеперсидское rādiy, отсутствующее в авестийском, но не стоящее особняком, так как ему этимологически соответствует славянское *ради*. Правда, rādiy мы находим лишь в одной надписи Дария в сочетании avahya rādiy «ради того», что лишает нас возможности решить, мог ли rādiy употребляться как предлог. Но интересно, что в качестве послелога, а не предлога на почве древнерусского языка долго употреблялось соответствующее ему *ради*. В современном русском языке *ради* обычно употребляется как предлог (ср., например, «Сделай это ради меня»), но сохранились и пережитки послеложного употребления, ср. *чего ради* или выходящее из употребления «христа ради», превратившееся по существу в единое наречие с одним ударением (ср. также производный от него глагол *христарадничать*).

Приведенные примеры показывают, что одни и те же значимые элементы могли функционировать и в качестве предлогов и в качестве послелогов еще на почве общеиндоевропейского языка-основы, что вполне согласуется с характерным для древних индоевропейских языков (и, вероятно, также и для общеиндоевропейского языка-основы) так называемым свободным, т. е. неграмматикализованным порядком слов. А поэтому более широкое развитие именно послеложного употребления в некоторых позднейших языках вовсе не требует предположения о влиянии, идущем извне.

Следует иметь в виду, что колебания между послеложным и предложным употреблением одних и тех же служебных слов наблюдается и в новоиндийских языках. Так, как указывалось выше, бенгальскому языку свойствен послелог *ke*. Интересно, что соответствующее ему этимологически и частью по значению цыганское *ke* употребляется как предлог при неоформленном, т. е. характеризующемся нулевым окончанием и тождественным именительному падежу имени (хотя вообще склонение в цыганском языке есть), например, *ke ром* «к цыгану».

---

[1] Suniti Kumar Chatterji. Ук. соч., стр. 766. Ср. также J. Speyer. Sanskrit Syntax. Strassburg, 1896, S. 24—27.

9. Такие языки, как индоевропейские, дают возможность, как уже сказано, изучать грамматическую структуру языка на протяжении очень длительного времени. Богатство, многообразие изучаемого материала позволяет строить гипотезы о развитии, относящемся ко времени, очень отдаленному от древнейших дошедших до нас памятников. Такими исследованиями много занимались в последние десятилетия зарубежные компаративисты. К этой области относятся, например, работы Ю. Куриловича[1], Э. Бенвениста[2]. Возобновление и развитие таких исследований является одной из задач и нашего советского языкознания, поскольку при всей их гипотетичности такие исследования могут оказаться плодотворными для уяснения общих законов развития языка. То, что в одну эпоху кажется смелой гипотезой, в другую эпоху может стать научной истиной. Но в то же время исследования подобного рода таят в себе и большие опасности. В них очень легко можно попасть в плен чисто умозрительных операций отвлеченными формулами и потерять под ногами реальную языковую почву. И те исследования, которые до сих пор проведены, в частности, исследования Куриловича и Бенвениста, при всем их остроумии, требуют самого серьезного критического изучения и проверки, которые в задачу настоящей статьи не входят. Я хотел бы лишь указать на то, что, стремясь проникнуть в структуру древнейшего состояния индоевропейской речи, эти исследователи зачастую оперируют элементами неизвестными и непосредственно не устанавливаемыми. К ним относятся, например, различные предполагаемые для общеиндоевропейского языка консонантные (согласные) элементы — различные типы ə̯ (в количестве трех и даже четырех). Из них лишь т. наз. $ə_2$ непосредственно засвидетельствовано в хеттском *ḫ*. Другие восстанавливаются лишь косвенным путем, а показания, приводящие к ним, возможно, допускают и иное истолкование. Кроме того, операции лишь фонетическими возможностями могут привести к отрыву исследуемых с фонетической точки зрения комплексов от значения, к забвению того, что все эти комплексы нечто обозначают. Так, например, Е. Курилович, исходя из совершенно правильного наблюдения, согласно которому индоевропейский корень с фонетической стороны всегда определенным образом расположен, т. е. в нем наблюдается определенная последовательность звуков по их типу, которая не может быть нарушена, приходит к чисто фонетическому определению корня, в результате чего членимое морфологически сочетание **tend-* оказывается корнем и, напротив, морфологически не расчленимое сочетание **noqu̯t-* — не корнем[3]. При определении границ морфем, о каких бы отдаленных временах ни шла речь, мы, конечно, должны опираться на их значение.

---

[1] J. Kuryłowicz. Études indo-européennes, I, Kraków, 1935.

[2] E. Benveniste. Origines de la formation des noms en indo-européen, v. I. Paris, 1935.

[3] J. Kurylowicz. Études indo-européennes, I, str. 121—122.

Я затронул лишь некоторые проблемы, относящиеся к рассматриваемой области, не имея в виду и их исчерпать до конца.

Все сказанное говорит о том, какое огромное значение имеет грамматика для исследований сравнительно-исторического характера, и, с другой стороны, о том, какое значение имеет сравнительно-историческое изучение языков для разработки общих положений грамматики и выработки правильного взгляда на факты грамматической стороны языка.

II

ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ

М. Н. ПЕТЕРСОН

О ЧАСТЯХ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Вопрос о частях речи не может считаться в достаточной степени разработанным ни у нас, ни в зарубежной лингвистической литературе. Об этом свидетельствуют прежде всего прямые высказывания языковедов.

«В русской научной традиции вопрос о составе и системе частей речи не имел единообразного решения» — так говорится в курсе лекций МГУ[1].

«Классифицировать части речи настолько трудно, что до сих пор никто удовлетворительной классификации их не создал. По традиции, восходящей к греческим логикам, французская классическая грамматика различает их десять. Но эта классификация не выдерживает критики: ее трудно было применить даже к языкам, для которых она была создана; но еще труднее ее применить к языкам, к которым она совсем не подходит». Так характеризует положение Ж. Вандриес[2].

Количество подобных высказываний можно было бы значительно увеличить. Еще убедительнее свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии вопроса о частях речи работы, посвященные морфологии отдельных языков.

В данной статье делается попытка разрешить вопрос о развитии частей речи в русском языке. Для этого необходимо установить, что́ следует понимать под термином «части речи», выяснить метод исследования и материал, на котором это исследование может быть произведено.

I

Наш термин «части речи» и латинский «partes orationis» представляют буквальный перевод (кальку) греческого термина μέρη τοῦ λόγου.

Первая часть этого термина — множественное число от слова μέρος «часть» — не представляет трудностей для понимания. Вторая часть — λόγος — многозначное слово, от понимания которого зависит значение термина в целом.

---

1 Современный русский язык. Морфология». М., Изд-во МГУ, 1952, стр. 37.

2 Ж. Вандриес. Язык. М., 1937, стр. 114.

Создатели этого термина — александрийские грамматики под «λόγος» понимали «предложение». Это особенно ясно из слов Аполлония Дискола в сочинении «О синтаксисе»: «Уже элементы (буквы) и слоги обнаружили построение, определенное известными законами; сообразно с этим так же соединяются и слова, так как значение каждого слова представляет некоторым образом элемент предложения. Как из букв составляются слоги, из слогов — слова, так из правильно соединенных слов составляются предложения».

Таким образом, александрийские грамматики под термином μέρη τοῦ λόγου понимали слова, из которых составляются предложения, так что более точная передача этого термина была бы — «части предложения». Можно было бы сказать, что «части речи» — это «строительный материал», из которого строится предложение.

Но, с другой стороны, это — разряды слов, характеризующиеся одинаковыми изменениями, одинаковыми формами.

Основываясь на этом, можно дать такое определение частей речи: части речи — это разряды слов, из сочетаний которых составляются предложения.

Частей речи в каждом языке ограниченное количество. Они возникли в результате длительного развития. Одни из них возникли раньше, другие — позже. Между собою находятся они в различных отношениях. Главная роль их — обобщение. Каждая часть речи обобщает в различной степени.

Материалистический путь познания идет от непосредственного восприятия к абстракции и от абстракции к практике. Поэтому и при решении вопроса о развитии частей речи в русском языке необходимо исходить из непосредственного наблюдения фактов русского языка, как они реально существуют, служа средством общения. Полученные благодаря такому наблюдению обобщения, абстракции, должны проверяться на практике, т. е. во всех сферах действия русского языка. Материал для исследования должен быть массовым, так как только он дает возможность определить закономерности, отражающие объективные процессы, происходящие независимо от воли людей.

Материал этот не должен браться из словарей, так как там он уже подвергся обработке. Его надо брать из связных текстов, где язык (словарный состав, поступивший в распоряжение грамматики) служит средством общения.

Для исследования выбраны «Повести Белкина» А. С. Пушкина. В них достаточный объем и разнообразное содержание, охватывающее значительное количество сфер действия языка.

Известно, что со времени смерти Пушкина русский язык «не претерпел какой-либо ломки, и современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина»[1].

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. М., Госполитиздат, 1953, стр. 9.

Для более редких явлений материал пополнялся из произведений классических и советских писателей.

Исследуемый материал подвергся статистической обработке. При этом берутся не огульные «средние» цифры, а колебания количественных соотношений в зависимости от характера текста.

Всего в «Повестях Белкина» — 18 759 слов (со всеми повторениями). Повторения указывают на употребительность слов в зависимости от различных факторов. На первом плане среди этих факторов стоит тема произведения. Она указывает на сферы действия языка. Так как общение происходит посредством предложений, которые складываются из сочетаний слов, то другим важным фактором является строение предложения. Этот фактор должен быть учтен в первую очередь.

II

Итак, первое, что надо сделать, — это в той массе словарного состава, который мы наблюдаем в пушкинских «Повестях Белкина», установить наиболее простое соотношение между разными пластами лексики.

Попытки установления такого соотношения для русского языка делались давно. Ломоносов делил все слова на главные (знаменательные) и служебные (вспомогательные)[1]. С тех пор такое деление прочно вошло в научный обиход, хотя понимание его значительно видоизменялось[2].

Предлагаю обозначить это соотношение, как соотношение между самостоятельными (знаменательными) и несамостоятельными (служебными) словами[3]. Оно и должно быть рассмотрено в первую очередь.

1. Соотношение между самостоятельными и несамостоятельными словами

Различие между этими словами заключается в следующем.

1) Слова самостоятельные могут употребляться отдельно от других слов, как слова-предложения, что бывает обыкновенно в диалоге, например:

«— Так завтра, в это время, не правда ли?

— *Да, да.*

— И ты не обманешь меня?

— *Не обману.*

— *Побожись.*

— Ну, вот те святая пятница, приду».

(«Барышня-крестьянка»)

---

[1] Российская грамматика, «Полн. собр. соч.», 1952, т. 7, стр. 408.

[2] «Современный русский язык. Морфология», стр. 30 и др.

[3] Там же, стр. 432 и сл.

Подчеркнуты слова-предложения. Много подобных примеров можно найти в «Синтаксисе русского языка» А. А. Шахматова (1941, стр. 50 и сл.).

Умножать количество примеров нет нужды, так как каждое самостоятельное слово может быть употреблено как слово-предложение в диалогической речи.

Несамостоятельные слова употребляются только в сочетании с самостоятельными и не могут употребляться отдельно от них как слова-предложения.

2) Слова самостоятельные имеют более конкретное значение: они называют и обобщают предметы или явления. Несамостоятельные слова имеют более абстрактное значение: они обозначают или отношения между самостоятельными словами (связка, предлоги, союзы) или какие-нибудь оттенки в значении самостоятельных слов: отрицание (*не*), усиление (*даже*), неопределенность (кто-*то*, кто-*нибудь*) и т. п.

3) По происхождению самостоятельные слова древнее несамостоятельных. Несамостоятельные слова произошли из самостоятельных: связка — *есть* (*был, будет*) из самостоятельного глагола с значением «существовать, находиться, иметься», предлоги из наречий, союзы из местоимений, о чем речь будет ниже.

Каково же соотношение самостоятельных и несамостоятельных слов в связной речи (в речевом потоке)? В «Повестях Белкина» из 18 759 слов — самостоятельных 14 213 (75%), несамостоятельных — 4546 (25%). Нетрудно убедиться, что, в среднем, такое соотношение характерно вообще для русского языка, стоит только выборочно проверить его на других текстах.

Значение этого соотношения заключается в том, что отношения между словами в русском языке выражаются главным образом формами словоизменения и в гораздо меньшей степени — несамостоятельными словами. Еще яснее это становится, если сравнить русский язык, например, с французским, в котором отношения между словами выражаются преимущественно несамостоятельными словами, и в речевом потоке количество самостоятельных (50%) и несамостоятельных слов (50%) одинаково [1].

От среднего соотношения есть отклонения. Еще большее преобладание самостоятельных слов бывает в текстах диалогического характера:

«Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. — „Ты не узнал меня, граф?“, — сказал он дрожащим голосом. — „Сильвио!“ — закричал я, и признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. — „Так точно, — продолжал он, — выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?“ Пистолет у него торчал из бокового кар-

---

[1] См. Ганшина и Петерсон. Современный французский язык. М., 1947, стр. 22, 28 и сл.

мана. Я отмерил двенадцать шагов, и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил — он спросил огня. Подали свечи. — Я запер двери, не велел никому входить, и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... Я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку» («Выстрел»).

Незначительное количество несамостоятельных слов объясняется также тем, что и в монологической речи предложения преимущественно простые и очень краткие. В естественном диалоге может не быть ни одного несамостоятельного слова.

Наоборот, количество несамостоятельных слов возрастает в монологической речи, если она состоит из сложных предложений, например:

«Но Мария Гавриловна сама, в беспрестанном бреду, высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что вероятно любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание» («Мятель»).

2. Самостоятельные слова, употребляющиеся вне связи с другими словами предложения

Самостоятельные слова данного разряда выражают отношение говорящего к тому, что он говорит:

1) радость, сожаление, досаду, удивление и другие чувства, возбуждаемые содержанием высказывания;

радость:

«*Ах*, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка!» («Барышня-крестьянка»);

досада:

«*Ах*, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!» («Барышня-крестьянка»);

сожаление:

«*Ах*, Дуня, Дуня! Что за девка то была!» («Станционный смотритель»);

удивление и страх:

«Она вскрикнула: „*Ай*, не он! не он!“ и упала без памяти» («Мятель»);

восторг:

«Знаете ли вы украинскую ночь? *О*, вы не знаете украинской ночи!» (Гоголь. «Майская ночь или утопленница»);

2) утверждение:

«*Да*», отвечал он: «выстрел очень замечательный» («Выстрел»);

«Да, *конечно*. Ты и не знала, за кого выходишь, но поспешила, обрадовалась...» (Аскер Евтых. «У нас в ауле»);

3) отрицание:

«*Нет*, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь» («Барышня-крестьянка»);

4) возможность:

«Акулина, *видимо*, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался» («Барышня-крестьянка»);

«...граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), *вероятно*, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом» («Барышня-крестьянка»).

В этот разряд входят слова разного происхождения: так называемые «слова-междометия», слова, восходящие к наречиям, глаголам. Все чаще наравне с такими словами употребляются устойчивые сочетания: *слава богу*, *чорт возьми*, *в самом деле* и пр.

Этот разряд самостоятельных слов характеризуется рядом признаков: 1) они употребляются вне связи с другими словами предложения, 2) выражают отношение говорящего к своему высказыванию, 3) относятся ко всему предложению в целом. Состав их постоянно обновляется, что связано с их резко эмоциональной окраской.

Для всех этих слов нет единого термина: их разносят по разным рубрикам. Пожалуй, их следовало бы назвать модальными словами, если бы этот термин не понимался так различно.

От этого разряда слов резко отличаются все другие самостоятельные слова, употребляющиеся в связи с другими словами в предложении. Этих слов подавляющее большинство. Они, в свою очередь, распадаются на слова именные и глагольные.

3. Глагольные самостоятельные слова

Отличительные признаки глагольных слов следующие.

1) Значение: глагольные слова обозначают признак, протяженный во времени, что лучше всего назвать — явлением. Это яснее всего видно из таких соотношений:

краснеет — (красный)
чернеет — (черный)
стареет — (старый)

Неглагольные слова (в скобках) обозначают признаки, не протяженные во времени; глагольные, наоборот, обозначают признаки, протяженные во времени.

2) В тесной связи с значением находится присущая глагольным словам русского языка форма вида, например: *бросать* — *бросить*, *колоть* — *кольнуть*, *нести* — *понести*.

3) Форма залога также отличает глагольные слова русского языка от именных. Ср., например, *мою — моюсь*, *одеваю — одеваюсь*.

4) В словообразовании у глагольных слов, в противоположность именным, преобладает префиксация: *бежать — побежать*, *выбежать*, *вбежать*, *подбежать*, *перебежать*, *прибежать* и др.

5) Глагольным словам присущи особые формы словоизменения: формы лица, формы числа (*делаю — делаем*, *делаешь — делаете*...), формы времени и наклонения.

6) Глагольным словам свойственны особые сочетания с существительными в различных падежах (без предлогов и с предлогами), например: *читать* (*читаю*, *читал*, *читающий*, *читая*) книгу; *поехать* (*поеду*, *поехал*, *поехавший*, *поехав*) в Москву.

Глаголы русского языка с такими признаками — результат длительного развития. Это можно видеть прежде всего по соотношению глаголов без приставок и глаголов с приставками. В изучаемых текстах те и другие употребительны почти одинаково, но глаголы без приставок в большинстве случаев гораздо древнее по происхождению, чем глаголы с приставками. Такие глаголы, как *стоять*, *видеть*, *знать*, *жить*, *есть*, *пить*, *сесть* и др., общи всем индоевропейским языкам. Наоборот, ни один глагол с приставками не восходит к индоевропейской эпохе.

С этим связано то, что глаголы без приставок обычно более многозначны, чем глаголы с приставками. Ср., например, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова значения глагола *ходить* (их насчитывается там — 21) и *входить* (всего 7).

Основное значение глаголов без приставок, а следовательно, наиболее древнее, — конкретно; например, у глагола *ходить* оно определяется, как «движение, повторяющееся и совершающееся в разное время, в разных направлениях». Производные значения могут быть очень отвлеченными. Одно из них определяется так: «распространяться, существовать»: «Ходит в мире, ходит грех!» (А. Майков). «Ходила молва, что он (голос. — *М. П.*) был у нее прекрасен» (Тургенев). «Ходят слухи. Об этом ходит анекдот» и т. д.

Однако постоянно возникают и новые глаголы без приставок, обозначающие новые явления в производственной и всякой иной деятельности человека, во всех сферах его работы, например: *электризовать*, *механизировать*, *яровизировать*, *телеграфировать*, *телефонировать*, *радировать*, *кинофицировать* и др.

Глаголы с приставками тоже различной древности. Очень древни глаголы с приставкой *по-*, которой в литовском языке соответствует приставка *pa-*. Эта приставка в славянских и балтийских языках вносит в значение глагола отвлеченное видовое значение, что свидетельствует о большой древности этих глаголов.

Другие приставки вносят более конкретное, пространственное, значение в глагольные основы, например: *в-ходить*, *вы-ходить*, *за-ходить*,

от-ходить, *пере-ходить*. Глаголы с этими приставками возникли на славянской почве.

Есть и такие глаголы, в которых приставки перестали выделяться благодаря тому, что родственные глаголы без приставок вышли из употребления и что сами глаголы с приставками разошлись по значению. Ср., например, такие глаголы, как *взять*, *принять*, *отнять*, *занять*, *перенять*, *обнять*, *понять*.

Таким образом, развитие шло от глаголов без приставок к глаголам с приставками. Глаголы с приставками были вызваны потребностью более точно и дифференцированно обозначать конкретные, пространственные различия.

Значение глаголов без приставок и с приставками развивалось от конкретного к абстрактному.

В глаголах без приставок надо различать глаголы с непроизводными основами (без суффиксов), например *вез-у*, *вез-ти*, и глаголы с производными основами (с суффиксами), например деноминативные: *дума — дум-а-ть*, *красный — красн-е-ть*, *пир — пир-ова-ть*, *телеграф — телеграф-ирова-ть*, *бюллетень — бюллетен-и-ть* и др.

Глаголы с непроизводными основами — индоевропейского происхождения. Очень древни и некоторые глаголы с производными основами, например *двиг-а-ть — дви-ну-ть*, *толк-а-ть — толк-ну-ть*, *брос-и-ть — брос-а-ть*. Но большинство глаголов с производными основами более позднего происхождения. Все новые и новые такие глаголы постоянно возникают в русском языке для обозначения новых явлений.

Развитие глагола можно наблюдать на видоизменении соотношения личного глагола (verbum finitum) и неличного (verbum infinitum).

Личный глагол был представлен гораздо богаче в древние эпохи. К нему в изъявительном наклонении относились: настоящее время, имперфект, аорист, перфект, будущее время, а кроме того, личные формы повелительного, желательного и сослагательного наклонений. В результате процессов, ведущих ко все бóльшим обобщениям, в русском языке личные формы остались только в настоящем времени, в будущем (простом) и в повелительном наклонении. Прошедшие времена были вытеснены причастием на *-л*.

Неличный глагол в древние эпохи был представлен одними причастиями. В дальнейшем он получил большое развитие, в результате которого в русском, кроме причастий, образовались деепричастия и неопределенная форма, которые возникли значительно позже.

Такие видоизменения претерпел глагол, как часть речи. Развитие его продолжается и в настоящее время.

4. Именные слова без форм словоизменения

Именные слова, не имеющие форм словоизменения, гораздо менее употребительны, чем именные слова с формами словоизменения. В иссле-

дуемых текстах их всего 6%, тогда как именных слов с формами словоизменения 50%.

По преимущественному употреблению в предложении в сочетаниях с глаголами именные слова без форм словоизменения получили название наречий («речь» = глагол), в древнерусских грамматиках—«приглаголие» (по-латыни — adverbium). Все эти термины — перевод греческого ἐπίρρημα. Однако наречия в русском языке сочетаются не только с глаголами, но и с именными словами.

В сочетании с глаголами наречия обозначают признак явления, обозначенного глаголом. Чаще всего — это способ совершения действия (*громко* говорит, *скоро* ходит) или способ проявления состояния (*крепко* спит), затем — место (*дома* сидит, *близко* живет), направление (*домой* идет, бежит *вперед*), время (вернулся *накануне*), качество (*хорошо* работает).

Давно признано, что наречия происходят из слов с формами словоизменения (существительных и прилагательных). Об этом говорит уже Ломоносов в «Российской грамматике», §§ 77, 455 и сл.[1] Наиболее подробно говорится об этом в последней работе Е. М. Галкиной-Федорук о наречиях в русском языке[2].

Таким образом, наречия более позднего происхождения, чем именные слова с формами словоизменения.

В развитии их можно предположить такую последовательность:

1) Наречия, образованные из различных падежей существительных без предлогов: *дома*, *домой*, *пешком*, *верхом*, *даром* и др.;

2) наречия, образованные из различных падежей с предлогами: *вверх*, *вниз*, *вверху*, *внизу*, *вперед*, *назад*, *накануне*, *втайне*, *наудачу* и др.;

3) наречия, образованные из прилагательных кратких среднего рода: *хорошо*, *плохо*, *рано*, *поздно*, *мало*, *много*, *громко*, *тихо*, *холодно*, *тепло*. О том, что наречия этого вида образовались позднее, свидетельствует их продуктивность, благодаря которой, на основании таких соотношений, как *хороший — хорошо*, *плохой — плохо*, выделился суффикс *-о*, наиболее продуктивный при образовании наречий русского языка.

Бóльшие подробности потребовали бы специального исследования, в котором следовало бы решить вопрос не только о том, откуда произошли наречия, но и как именно они произошли. Удовлетворительного ответа на этот вопрос пока не имеется.

5. Именные слова с формами словоизменения: существительные и прилагательные

Существительные и прилагательные различаются формами словоизменения, формами словообразования и значением.

Для существительных как формы словоизменения характерны только формы падежа, которые выражают различные смысловые отно-

[1] М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч. М., 1952, т. 7.

[2] См. «Современный русский язык. Морфология», М., 1952, стр. 370 и сл.

шения существительного к другим словам в предложении, чаще всего — к глаголам. Это так называемые падежи управления.

Существительные относятся к одному из трех родов — мужскому, женскому или среднему. У существительных, обозначающих живые существа, это — или разные слова (*отец — мать*, *сын — дочь*, *брат — сестра*, в названиях животных — *бык — корова*, *баран — овца*), или слова с разными формами словообразования (*учитель — учительница*, *лев — львица*).

Форма числа у существительных обозначает единичность или множественность предметов или явлений.

Производные основы у существительных образуются большею частью посредством суффиксов (72%), реже—посредством сложения основ (14%) и очень редко посредством приставок (4%).

По значению существительные распадаются на две группы: 1) конкретные и 2) абстрактные. Употребительность тех и других зависит от характера текста. Так, в «Повестях Белкина» в части «От издателя» преобладают существительные с абстрактным значением. В самих Повестях количество существительных с конкретным значением возрастает, а в ряде случаев и преобладает.

Конкретные существительные обозначают предметы, абстрактные — признаки в отвлечении от предметов (*красота*, *белизна*, *опытность*, *учение*, *наблюдение*, *страдание*).

Существительные с конкретным значением в основном древнее, чем существительные с абстрактным значением, хотя постоянно возникают и те и другие для обозначения новых предметов и явлений.

Очень древнего происхождения следующие существительные: 1) названия людей по родству: *мать*, *брат*, *сестра*, *сын*, *дочь;* 2) названия животных: *волк*, *олень*, *овца*, *бобр* и др.; 3) названия растений: *дерево*, *береза;* 4) названия частей тела: *сердце*, *очи*, *уши*, *нос*. Параллели для них есть в других индоевропейских языках. Большинство из них — слова с непроизводными основами, что тоже подтверждает древность их происхождения. Наоборот, существительные с абстрактным значением — слова преимущественно с производными основами.

Прилагательные характеризуются тремя формами словоизменения: формами падежа, рода и числа. Форма падежа прилагательного обозначает однородные отношения прилагательного к существительному. Это так называемые падежи согласования. Форма рода прилагательного указывает на род существительного, с которым оно сочетается в предложении. Форма числа точно так же содержит указание на число существительного, с которым сочетается прилагательное.

Производные основы у прилагательных в еще большей степени, чем у существительных, образуются посредством суффиксов, значительно реже — посредством приставок и сложения основ.

Прилагательные обозначают признаки, присущие предмету или явлению.

Прежде всего это признаки — зрительные (*красный*, *белый*), слуховые (*громкий*, *тихий*), осязательные (*твердый*, *мягкий*), обонятельные (*душистый*), вкусовые (*сладкий*, *горький*), т. е. признаки, воспринимаемые органами чувств. Затем это признаки, указывающие на время (*зимний*, *летний*), материал (*деревянный*, *железный*), место (*московский*, *рязанский*), качество (*хороший*, *плохой*), возраст (*молодой*, *старый*) и др.

Количество признаков, обозначаемых прилагательными, постоянно увеличивается.

Существительных употребляется в связной речи в два раза больше (40%), чем прилагательных (20%).

Вопрос о том, какая из этих частей речи возникла раньше, выходит за пределы того, что может быть решено на основании фактов русского языка. Можно высказать только некоторые предположения. Надо думать, что существительные конкретного значения произошли раньше прилагательных, которые даже в самых конкретных значениях (признаки, воспринимаемые органами чувств) отвлеченнее этих существительных. Наоборот, абстрактные существительные могли возникнуть только после прилагательных, что доказывают формы словообразования: ср. *белизна* — *белый*, *новизна* — *новый* и т. п. Но и от абстрактных существительных постоянно образуются новые прилагательные — например: *высота* — *высотный*, *скорость* — *скоростной*.

6. Местоимения

Местоимения противопоставляются всем именным словам — существительным, прилагательным и наречиям — по значению и по способу образования форм.

Местоимения обозначают отношения в говорящем обществе: *я* (*мы*) — лицо говорящее, *ты* (*вы*) — лицо, к которому обращаются с речью; *он* (*она*, *оно*, *они*) — лицо, не участвующее в речи, о котором говорят; *мой* (*наш*) — принадлежащий лицу говорящему; *твой* (*ваш*) — принадлежащий лицу, к которому обращаются с речью; *свой* — принадлежащий любому лицу речи; *этот* — ближайший к говорящему; *тот* — более отдаленный по отношению к говорящему; *здесь* — вблизи к говорящему; *там* — вдали от говорящего.

Для образования форм словоизменения местоимений характерен супплетивизм, т. е. сплетение разных основ для выражения падежей:

Именительный: *я*, *мы*, *ты*, *вы*, *он*, *она*, *они*.

Родительный: *меня*, *нас*, *тебя*, *вас*, *его*, *её*, *их*.

Дательный: *мне*, *нам*, *тебе*, *вам*, *ему*, *ей*, *им* и т. д.

По формам словоизменения одни местоимения сходны с существительными (*я*, *ты*, *он* — личные; *кто*, *что* — вопросительные или относительные), другие — с прилагательными (притяжательные — *мой*, *твой*. . ., указательные — *этот*, *тот*, вопросительные — *чей*, *который*). По отсут-

ствию форм словоизменения такие местоимения, как *здесь*, *там*, *где*, *куда*, *откуда*, *когда*, *как*, сходны с наречиями.

Местоимения, судя по показаниям всех индоевропейских языков, слова очень древнего происхождения. Об этом же свидетельствует их отвлеченное значение, для развития которого из конкретного потребовалось очень длительное время, и преимущественное употребление местоимений в диалоге.

Количество местоимений невелико, но зато они очень часто употребляются.

Можно предположить, что, возникнув в очень древние эпохи, местоимения подверглись влиянию именных слов. Местоимения с формами словоизменения древнее местоимений без форм словоизменения.

7. Числительные

Числительные занимают особое положение по значению, по морфологическим и синтаксическим свойствам.

Обозначают числительные количество или порядок предметов или явлений.

Количественные числительные — *один*, *два*, *три*, *четыре*, *оба* — по формам словоизменения сходны с прилагательными, а числительные — *пять*, *шесть* и др. — с существительными типа *кость*. Последние числительные сочетаются с родительными падежами существительных только в именительном и винительном падежах, например: *пять столов*, как *масса столов*.

В остальных падежах они сочетаются с существительными, как прилагательные, т. е. стоят в одинаковых падежах. Ср.:

пяти столам, но *массе столов*
пятью столами, но *массою столов*
(на) *пяти столах*, но (на) *массе столов*.

Порядковые числительные по формам словоизменения вполне совпадают с прилагательными: *первый*, *четвертый*, *пятый*, *девятый*, *десятый* и др., — как *добрый*; *второй*, *другой*, *шестой*, *седьмой*, *восьмой*, *сороковой*, — как *молодой*; *третий*, — как *лисий*.

По данным других индоевропейских языков числительные количественные от *пяти* до *десяти* не склонялись. В славянских языках, в том числе и в русском, они подверглись влиянию существительных с основами на *-ti* и стали изменяться по падежам. В дальнейшем, как было сказано, они подверглись влиянию прилагательных и в косвенных падежах стали сочетаться с существительными в одинаковых падежах.

8. Несамостоятельные слова

Несамостоятельные слова в русском языке употребляются значительно реже, чем самостоятельные (см. выше, стр. 178). Они распадаются по их роли в предложении на две группы: 1) несамостоя-

тельные слова, выражающие отношения между самостоятельными словами в предложении, и 2) несамостоятельные слова, выражающие какие-нибудь оттенки значений самостоятельных слов. Ко вторым относятся частицы, выражающие: отрицание (*не*), усиление (*уже*, *даже*, *еще*) или ослабление (*почти*, *едва*), неопределенность (кто-*то*, кто-*нибудь*).

Несамостоятельные слова, выражающие отношения между самостоятельными словами, разделяются, по характеру этих отношений, на предикативные (связка) и непредикативные (предлоги и союзы).

Предлоги отличаются от союзов тем, что они выражают (вместе с падежными формами существительных) отношения между неоднородными словами в предложении, а союзы выражают отношения, между однородными словами в предложении или между частями сложного предложения[1].

Наиболее употребительны из несамостоятельных слов в русском языке — предлоги. В «Повестях Белкина» их 10% (по отношению ко всем частям речи). За ними следуют союзы (8%), затем — частицы (2,5%) и связки (1,5%). Эти показания подтверждаются и другими материалами.

Из несамостоятельных слов более древни по происхождению, повидимому, частицы. Отрицательная частица *не*, надо думать, индоевропейского происхождения[2]. Возможно, что такого же происхождения связка настоящего времени *есть*. Более позднего происхождения связка прошедшего и будущего времени — *был*, *буду*.

Союзы, в общем, произошли раньше, чем предлоги, особенно такие союзы, как *и*, *а*, *но*. Для более точного ответа на эти вопросы необходимо специальное исследование.

---

[1] Подробнее об этом см. в кн. «Современный русский язык. Морфология», стр. 432 и сл.

[2] См. А. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, стр. 596 и сл.

Э. В. СЕВОРТЯН

К ПРОБЛЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

1. О некоторых тенденциях грамматического развития имени в тюркских языках

Значительно возросший за последние годы интерес к структуре тюркских языков и соотношению ее частей выдвигает в программу предстоящих научных исследований ряд проблем теоретического и практического характера. Среди них первостепенное значение приобретают, естественно, те теоретические вопросы, в выяснении которых заинтересованы языковеды всех тюркоязычных областей. Одним из первых должен быть назван вопрос о частях речи.

Значение категории частей речи и места, занимаемого ими в строении тюркских языков, давно оценено тюркологами. Практика работы в средней и высшей школе каждый раз подтверждала и подтверждает особую важность изучения категории частей речи для понимания грамматических особенностей тюркских языков, для преподавания языковедческих дисциплин в высшей и средней школе. Последним, прежде всего, и объясняется настойчивое стремление тюркологов на местах разобраться в системе частей речи в конкретных тюркских языках, которое определилось достаточно ясно уже в 30-х годах и продолжается по сей день. По понятным причинам в настоящей статье не представляется возможным изложить историю того, как вырабатывалось среди языковедов тюркоязычных республик и областей учение о частях речи, хотя история эта безусловно интересна и поучительна. Отметим лишь, что выработке правильного взгляда на части речи в тюркских языках, как и на другие вопросы структуры языка, сильно помешало «новое учение о языке», влияния которого избежали сравнительно немногие тюркологи. На разработке проблемы частей речи отрицательным образом сказалось, в частности, чрезмерное увлечение семантикой, на почве чего толкование частей речи в некоторых случаях приняло узко семасиологический характер и по существу свелось на нет. К ошибкам, проистекавшим из «теории» Н. Я. Марра, в отдельных случаях присоединялись, так сказать, «издержки» на теоретический рост тюркологических кадров.

Поскольку основная работа в области грамматики еще недавно сосредоточивалась на местах вокруг учебников для средней школы, то в ряде случаев можно отметить стремление к механическому перенесению учения о частях речи из стабильного учебника русского языка в стабильные учебники тюркских языков.

Несмотря на признаваемое всеми значение вопроса о частях речи, этой теме специально посвящено всего несколько работ (главным образом статей) — И. А. Батманова, А. К. Боровкова, В. М. Жирмунского, Н. Т. Сауранбаева, — не считая, разумеется, соответствующих разделов в грамматиках различных тюркских языков.

В 1952 году появилось еще специальное исследование частей речи, выполненное Н. А. Баскаковым на материале каракалпакского языка.

Дискуссия 1950 года по вопросам языкознания положила начало новому этапу также и в развитии советской тюркологии. В свете марксистских положений о языке теория частей речи приобретает особый вес и значение, так как именно в ней прежде всего находит свое выражение учение о грамматической стороне слова, через части речи грамматика связывается с лексикой.

Внимание тюркологов вновь обращается к частям речи в тюркских языках. Эта тема фигурирует на лингвистических конференциях и совещаниях, которые проходили в тюркоязычных республиках и областях после языковедческой дискуссии. Появились работы, в которых сделана попытка по-новому осветить вопросы, связанные с проблемой частей речи в тюркских языках[1].

Не подлежит сомнению, что анализ частей речи в языках тюркской группы представляет значительные трудности, основной из которых является неравномерность морфологического развития именных частей речи как в рамках одного языка, так и в пределах всей группы тюркских языков. При таком положении вещей очевидно, что нельзя предложить для всех тюркских языков одну общую схему, совпадающую во всех деталях. Однако можно предложить для них общую теорию частей речи и единые критерии их различения, чему посвящена значительная часть последних работ.

Для правильной ориентации в вопросе о частях речи в тюркских языках кардинальное значение имеет учет тенденций грамматического развития тюркских языков.

О тенденции развития очень редко говорят в работах, где затрагивается вопрос о частях речи в языках тюркской группы. А между тем, от ретроспективного — весьма распространенного на практике — или

---

[1] Н. А. Баскаков. Каракалпакский язык. II. Фонетика и морфология. М., Изд-во АН СССР, 1952, 534 стр.; А. И. Искаков. О классификации частей речи в казахском языке. Сб. «Вопросы изучения языков народов Средней Азии и Казахстана в свете учения И. В. Сталина о языке». Ташкент, 1952, стр. 117—134. (имеются и казахские издания названной работы.)

перспективного — как правило, редкого на практике — подхода к вопросу зависит и общая ориентация в трактовке частей речи. Хотя грамматический строй и семантическая структура словаря изменяются медленно, в продолжение веков, однако и при изучении языка также полностью сохраняет свою силу одно из основных положений диалектического метода, для которого «важно прежде всего не то, что кажется в данный момент прочным, но начинает уже отмирать, а то, что возникает и развивается, если даже выглядит оно в данный момент непрочным, ибо для него неодолимо только то, что возникает и развивается» [1].

Одной из тенденций и вместе с тем характерных черт грамматического развития тюркских языков является все растущая формальная дифференциация частей речи. Процесс этот, начавшийся еще в глубокой древности, до времени появления первых, дошедших до нас, письменных памятников на тюркских языках, выразился не только в четком обособлении глагола от имени (как в области словоизменения, так и, что гораздо показательнее, в области словообразования), но древнейшие памятники отразили вместе с тем уже сложившийся к тому времени процесс дифференциации именных частей речи и прежде всего процесс отделения прилагательного от существительного и частично наречия от прилагательного.

Мы сознательно обращаемся к прилагательным как основному иллюстративному материалу предлагаемой статьи, так как за все эти годы именно категория прилагательного была главным предметом внимания специалистов в их исследованиях и суждениях о частях речи в тюркских языках [2]. Выдвижение на передний план прилагательных в нашей статье является методическим приемом, преследующим цели наибольшей наглядности, и из этого не следует делать каких-либо выводов о том, что все развивающийся процесс грамматической дифференциации частей речи в тюркских языках сводится всего лишь к обособлению прилагательных от существительных и наречий от прилагательных.

Грамматическая дифференциация — было бы лучше сказать грамматическое совершенствование — частей речи в языках тюркской группы

---

[1] История ВКП(б). Краткий курс, 1936, стр. 101.

[2] Еще до языковедческой дискуссии 1950 года, прилагательным специально были посвящены диссертации Н. С. Григорьева на материале якутского языка, А. И. Чанышева на материале башкирского языка, Н. Хаджиева на материале азербайджанского языка.

После 1950 г. интерес к прилагательным вспыхнул с новой силой, свидетельством чего являются три новые диссертации на ту же тему, а именно: диссертация Дж. Чакенова «Категория имени прилагательного в современном казахском языке» (Алма-Ата, 1953); Б. Дж. Уматалиевой «Имя прилагательное в современном киргизском языке» (М., 1953) и Г. Ф. Бабушкина «Вопросы прилагательных в хакасском языке» (Абакан, 1953).

К теме о прилагательных тесно примыкает также работа Г. Мусабаева «Степени сравнения в казахском языке» (Алма-Ата, 1951, на каз. яз.) и др.

касается всех категорий, и для тенденций грамматического развития не менее показательно, например, обособление глагольных имен, причастий и деепричастий на правах особых частей речи. Рассматривать все эти категории в настоящей статье нет возможности, так как это потребовало бы уже не статьи, а монографии. По той же причине мы не сможем рассмотреть здесь всех вопросов, касающихся частей речи, но лишь отдельные из них, а именно некоторые тенденции грамматического развития имени в тюркских языках и вопрос о критериях частей речи.

Прежде всего следует обратить внимание на необычайный рост состава прилагательных за последние десятилетия, притом не только в старописьменных, но также и в младописьменных тюркских языках, что объясняется потребностями государственно-административной, хозяйственной, просветительной и научной работы в тюркоязычных республиках и областях.

Для тенденций дальнейшего развития частей речи в тюркских языках можно считать характерным то существенное обстоятельство, что создание новых имен с нерасчлененными значениями существительного и прилагательного и тем более существительного, прилагательного и наречия в новейшее время резко пошло на убыль. Новообразования, подобные *актив* («актив») и *актив* («активный»), *пассив* («пассив») и *пассив* («пассивный»), *вертикал* («вертикаль») и *вертикал* («вертикальный»), *либерал* («либерал») и *либерал* («либеральный»), *комик* («комик») и *комик* («комичный») и подобные им, в общем немногочисленны и относятся к явлениям омонимии, поскольку в каждом из них совпали формы имен существительных, вошедших в тюркские языки из русского, и формы прилагательных, образованных из русских же прилагательных путем отсечения окончаний вместе со словообразовательным суффиксом (*актив* из *активный*, *вертикал* из *вертикальный* и т. п.). Омонимичность существительных и прилагательных приведенного типа каждый раз устраняется грамматически, благодаря наличию или отсутствию аффикса принадлежности при определяемом, либо наличию или отсутствию родительного падежа у определителя, например, *активин йығынчағы* «собрание актива» и *актив киши* «активный человек», *комик ролу* «роль комика» и *комик рол* «комическая роль», *либералын шүуру* «сознание либерала» и *либерал фикир* «либеральная мысль» и т. п.; первые члены приведенных пар начинаются с прилагательных, а вторые члены с существительных. Нерасчлененность значений существительного-прилагательного или существительного-прилагательного-наречия в одном и том же слове (т. е. нерасчлененность грамматических значений словопроизводных форм, примеры чего охотно приводятся в грамматиках тюркских языков в доказательство якобы слабой морфологической дифференциации именных частей речи) на самом деле является отживающей чертой тюркских языков, имеет ограниченное проявление, роль и значение ее в языках тюркской группы преувеличены.

Примеры морфологической нерасчлененности именных частей речи чаще всего состоят из слов старого образования, нередко морфологически неразложимых. Новообразований, как мы говорили, здесь крайне мало. Впечатление же типичности таких нерасчлененных имен для тюркских языков, будто бы даже на нынешнем этапе их развития, создается благодаря обычности и частой употребительности некоторых имен этого разряда. А так как, с другой стороны, процесс временной (т. е. для отдельного случая) субстантивации и адъективации или адвербиализации в тюркских языках осуществляется значительно чаще, чем, скажем, в русском языке, сравнение с которым остается во всех случаях молчаливо подразумеваемым отправным пунктом всяких тюркологических суждений, то, соединяя вместе оба эти явления, некоторые тюркологи приходят к выводу, что в тюркских языках одно и то же слово в зависимости от контекста может осознаваться то как существительное, то как прилагательное, то как наречие и что, следовательно, с морфологической точки зрения нельзя провести твердой границы между существительным и прилагательным, прилагательным и наречием.

На самом же деле для тюркских языков на современной ступени их развития, наоборот, более типичны морфологическая расчлененность всех новых и новейших образований именного характера, процесс окончательного формального сложения наречий, процесс усиления дифференциации и стабилизации синтаксических особенностей различных именных частей речи.

Всемерное расширение сферы прилагательных достигается в тюркских языках по-разному, и в этом отношении явным образом наметились два способа оформления новых прилагательных. Одни языки, в числе их и старописьменные, создают новые прилагательные из русских прилагательных с интернациональной основой, отбрасывая грамматическую форму русского языка, например, *прогрессивный — прогрессив, реакционный — реакцион* или *реаксион, актуальный — актуаль* или *актуал* и т. п. Наряду с этим в состав прилагательных входит все большее число слов, образованных при помощи продуктивных словообразовательных аффиксов прилагательных *-лы (-лығ), -лыķ, -сыз, -(й)ыжķы*, удельный вес которых непрерывно растет.

Другие языки, в числе их прежде всего младописьменные и языки с непродолжительной письменной традицией, создают новые прилагательные, в частности, от основ интернационального характера, прежде всего при помощи словопроизводных аффиксов *-лыķ* || *-тыķ. . .* и *-лы* || *-луу. . .*, применяя эти формы в более широких размерах, чем в других тюркских языках, но кроме того и с весьма продуктивными формами прилагательных на *-дай* || *-дый* || *-дэк* и *-чыл* || *-шыл* || *-сыл.*

К языкам, использующим первый прием наряду с другими, относятся азербайджанский, узбекский, туркменский, татарский и др.

К языкам, использующим второй прием, в первую очередь относятся казахский, киргизский, тувинский, хакасский и др.

Для конкретного сопоставления указанных двух способов образования прилагательных (помимо других, которые мы оставляем пока в стороне) удобно взять одни и те же прилагательные. Ниже приводятся примеры из азербайджанского, узбекского, казахского и киргизского:

Азербайджанский	Узбекский	Киргизский	Казахский
автоматик	автоматик	автоматтуу	—
антик	антик	антик	описательно
арктик	(сущ.)	—	арктикалық
архаик	архаик	байыркы, эзелги, эскирген	эскірген
археоложи	археологик	археологиялык	—
астрономик	астрономик	астрономиялык	астрономиялық
биоложи	биологик	—	—
чоғрафи	географик	географиялык (карта, шарттар)	географиялық
кеоложи	геологик	(сущ.)	(сущ.)
һуманитар	гуманитар	гуманитардык (илимдер)	қоғамдық (ғылымдар)
идеал	(из араб. и персид.)	укмуштуу	асқан, өте жақсы
классик	классик	классиктик (чыгарма)	описательно
коллектив	—	коллективдуу (чарба)	коллективдик
лирик	лирик	лирикалуу (поэзия)	лирикалы (шығарма)
метеороложи	—	метеорологиялык	(сущ.)
методик	методли, методик	(сущ.)	методикалық (материалдар)
методоложи	—	(сущ.)	методологиялық (нусқау-указания)
морфоложи	—	морфологиялык	морфологиялық
нормал	нормал, қоидали тузук	нормалдуу	калыпты кәдүілгі
оператив, әмәли	оператив	оперативдуу	сайбағас
агглютинатив (дил)	агглютинатив (тил)	агглютинациялык (тилдер)	жалғамалы (тилдер)
административ (шө'бә, бөлкү)	ма'мурий	административдик	әкімшілік (бөлім)
арифметик (прогрессия)	арифметик (масала)	(сущ.)	арифметикалық
атом (чәкиси)	(сущ.)	атомдук (салмак)	атомдық (салмақ)
вассал (дөвләт)	мути', тоби'	вассалдык	вассалдық; вассалды (тәуелділік)

фырланма (һәрәкәти)	айланма	—	айланмалы (қозғалыс)
генеалогия (чәдвәли)	(сущ.)	генеалогиялык	генеалогиялық (таблица)
диалектик (материализм)	диалектик (метод)	диалектикалык (метод)	диалектикалық (әдіс)
диэтик (емәк)	(сущ.)	диэталык	диэталы (тамақ)
агрономик	(сущ.)	агрономиялык	агрономиялық
генетик	(сущ.)	генетикалык	генетикалық (теория)
(сущ.)	(докторлик — сущ.)	доктордук (диссертация)	докторлық (дәрәже)
пролетар	(сущ.)	пролетардык (революция)	пролетарлық [1].

В таблицах приведены прилагательные, образованные большей частью от международных основ. Однако и в других случаях, там, где, например, азербайджанский, узбекский или татарский для передачи аттрибутивного отношения предпочтут использовать определительное сочетание существительных («изафет»), казахский и киргизский нередко образуют прилагательные с помощью всё тех же аффиксов *-лық* или *-лы* || *-луу* [2].

Для характеристики той же тенденции интересны случаи передачи таких прилагательных, которые в старописьменных языках обозначаются заимствованиями из арабского. Приведем небольшую сравнительную таблицу:

---

[1] Приведенные примеры взяты из словарей: «Русско-азербайджанский словарь», под ред. Г. Гуссейнова. Баку, 1940—1946; «Азербайджанско-русский словарь», под ред. Г. Гуссейнова. Баку, 1941; «Русско-узбекский словарь» (в пяти томах), под ред. А. Усманова и Р. Абдурахманова. Ташкент, 1950—1953; «Русско-узбекский словарь», под ред. Т. Н. Кары-Ниязова и А. К. Боровкова. Ташкент, 1942; Киргизско-русский словарь, под ред. К. К. Юдахина. М., 1940; «Русско-казахский словарь» (в двух томах), под ред. М. Балакаева. Н. Т. Сауранбаева и др. Алма-Ата, 1946.

[2] В сущности ту же тенденцию следует отметить и для тувинского языка. В качестве иллюстрации можно сослаться на любой номер любой тувинской газеты, при чтении которой бросается в глаза широкое употребление относительных прилагательных на *-лыг* с его фонетическими вариантами. Вот, например, список таких прилагательных из № 16 (2701) газеты «Шын» («Правда»): *коммунистиг, генийлиг, революстуг, социалистиг, организастыг, улус-демократтыг* («народно-демократический»), *экономнуг, теоретиктиг, политиктиг, капиталистиг, реаксылыг*. Это примеры из одной лишь передовой статьи, во всем номере их гораздо больше. Теперь уже не имеет смысла говорить об «искусственности», «надуманности» прилагательных на *-лық* в современных тюркских языках (что еще можно услышать порой из уст некоторых тюркологов). Невозможно отрицать то простое и очевидное положение, что тюркские языки уже не могут обойтись без новых прилагательных на *-лық*, что потребности общения предъявляют всё растущий спрос на новые и новые прилагательные, в том числе и относительные в форме на *-лық*.

Азербайджанский	Узбекский	Киргизский	Казахский
мадди	моддий, жисмоний	заттык	затты, заттық
һөкмлү	қудратли	өкүмчүл	—
һөкмран	кучли	өкүмдү	
һәндәси	геометрик	геометриялык	геометриялық
фәрди, шәхси	шахсий	айрыкча, жеке	жеке
ихтисаслы	квалификацияли, малакали, тажрибали, уста	квалификациялуу, тажрийбалуу	тәжрибели
муһафизәкар	муһофазакор	консервативдуу	кертарпа, ескішіл
тәнгиди	танқидий	критикалык (макала)	сын (мақаласы)
риязи	(сущ. математика)	(сущ. математика)	(сущ. математика)

Как видно из примеров, в данном случае также налицо тенденция ко всемерному использованию продуктивных словообразовательных аффиксов *-лық* и *-лы* для передачи недостающих прилагательных [1]. Достаточно показательно при этом стремление к замене устаревших форм прилагательных новыми в языках с длительной письменной традицией, как, например, в узбекском. В узбекском был и пока окончательно не исчез из словарей термин *ҳандасий* «геометрический», сохранился и термин *малакали* (образованный при помощи аффикса *-ли* от арабского существительного *малака* «опытность, навык, ловкость») «квалифицированный», в том же значении термин *ихтисосли*, образованный при помощи того же аффикса от арабского глагольного имени *ихтисос* «специальность», «специальные познания», «специализация». Однако первое прилагательное (*ҳандасий*) начинает постепенно переходить в пассивный запас, и его место все больше занимает интернациональный по происхождению термин *геометрик*. В таком же положении находится прилагательное *ихтисосли*, которое под напором разговорного языка постепенно уступает свои позиции прилагательному *квалификацияли* «квалифицированный», образованному от соответствующего русского существительного.

Расширение словопроизводной роли рассмотренных форм, в первую очередь формы относительных прилагательных на *-лық*, выражается, в частности, и в том, что под ее влиянием в некоторых тюркских языках складывается адъективное значение на базе уже имеющегося субстантивного значения, а именно значения профессии, обязанностей, положения. Такой процесс можно наблюдать, например, в казахском или киргизском, в которых на основе значения профессии и пр. развиваются семантически сходные относительные прилагательные. В ре-

[1] Все возрастающий удельный вес прилагательных на *-лық* в советское время уже привлекал к себе внимание советских тюркологов. Достаточно в этом случае сослаться на мнение такого опытного тюрколога, как профессор К. К. Юдахин, который в «Киргизско-русском словаре» указывал на то, что «морфология обогатилась расширением значения и употребления прилагательных на *-лық* (с его фонетическими вариантами), например, *революциялык* «революционный», *редакциялык* «редакционный», *согуштук* «военный» и т. д. (стр. 6).

зультате этого процесса в языке образуются лексико-грамматические омонимы, из числа которых можно назвать существительное *жыгаччы* «занятие столяра, плотника» и омоморфное относительное прилагательное *жыгаччылык* со значением «столярный»; существительное *чалгынчылык* «занятие разведчика, разведывательное дело» со значением занятия, образованное при помощи аффикса *-лык* от существительного *чалгынчи* «разведчик», и омоморфное относительное прилагательное со значением «разведывательный» и т. п.

Разделение новейших прилагательных по наиболее продуктивным формам их образования, проведенное нами выше в таблицах, касается не только четырех приведенных языков. Такое разделение, продиктованное объективным положением вещей, можно провести для большинства тюркских языков. Так, к первой группе (куда входят азербайджанский и узбекский) можно отнести еще казанско-татарский, башкирский, турецкий; ко второй группе (куда входят киргизский и казахский) можно отнести еще каракалпакский, чувашский, тувинский[1], в значительной степени хакасский, шорский и другие.

Однако чувашский и хакасский могут быть по праву отнесены к особой третьей группе вместе с якутским, поскольку в этих языках, но больше всего в якутском, наряду с формами *-лă* (в чувашском) и *-лаах*[2] (в якутском, *-лы* || *-луу* || *-лығ* в остальных тюркских языках) распространены прилагательные с заимствованными из русского суффиксами *-ческай*, *-най* и др. (в якутском) и *-чески*, *-нăй* (в чувашском). Если в чувашском и даже хакасском, где таких прилагательных больше, отмеченные формы по своей продуктивности сильно уступают тюркским словообразовательным формам на *-лы* (= наречному аффиксу *-җа* || *-ча* || *-ша* || *-са* других тюркских языков) и особенно *-лă*, как об этом можно судить по новейшим словарям чувашского языка[3], но зато превосходят аффиксы *-ри* и *-ти*, то в якутском заимствованные из русского формы *-ческай* и *-най* в отношении продуктивности должны быть поставлены в один ряд с чисто якутскими словообразовательными формами.

Для суждения о роли, которую выполняют прилагательные на *-най*, *-ческай*, *-скай* и т. д. в современном якутском языке, достаточно обратиться к любому номеру якутской газеты. Приведем примеры на прилагательные из одной лишь передовой статьи газеты «Кыым» № 99 (9319)

---

[1] В вышедшем в прошлом году первом «Русско-тувинском словаре» под ред. А. А. Пальмбаха прилагательные на *-лыг* занимают большое место.

[2] По мнению Е. И. Убрятовой, «Имена на *-лаах*... не могут быть отнесены ни к одной из имеющихся в якутском языке частей речи и составляют особую группу слов...» («Исследования по синтаксису якутского языка». М.—Л., 1950, стр. 194—195).

[3] «Русско-чувашский словарь», под ред. Н. К. Дмитриева, М., 1951. См. также «Грамматический очерк» Н. К. Дмитриева и С. П. Горского, приложенный к словарю, стр. 881.

за текущий год[1]: *социалистическай*, *товарнай*, *советскай*, *дизельнай*, *гусеничнай*, *самоходнай*, *якутскай*, *верховнай*, *Орджоникидзевскай*, *агротехническай*, *партийнай*, *агрономическай*, *селекционнай*, *тракторнай*.

Количество русских форм прилагательных в чувашском языке достаточно велико, хотя они развиты относительно слабее прилагательных в тюркской форме. Просмотр менее чем пятой части русско-чувашского словаря показал, что формы на *-нӑй* и *-чески* занимают в словаре больше места, чем прилагательные на *-ри* и *-ти*. В просмотренной нами части словаря оказались следующие новозаимствования из русского: *автогеннӑй*, *агглютинативнӑй*, *актовӑй*, *вегетативнӑй*, *верховнӑй*, *вечнӑй*, *учёнӑй*, *гальванически*, *генеральнӑй*, *гидроэлектрически*, *граждански*, *двудольнӑй*, *декоративнӑй*, *демаркационнӑй*, *демисезоннӑй*, *дефективнӑй*, *естественнӑй*, *запорожски*, *заумнӑй*, *земски*, *зенитнӑй*, *интеллигентнӑй*, *инфракраснӑй*, *иррациональнӑй*, *ирреальнӑй*, *искусственнӑй*, *исполнительнӑй*, *камвольнӑй*, *коммунальнӑй*, *кратнӑй*, *уголовнӑй*, *крупознӑй*, *легальнӑй*, *маринованнӑй*, *машинальнӑй*, *меблированнӑй*.

Новообразований на *-ри* и *-ти* в просмотренной части словаря оказалось мало, а именно: *Пӗтӗм Российӑри* «Всероссийский», *иккӗмӗш разрядри* «второразрядный», *запасри* «запасной», *кабинетри* (*сетелпукан*) «кабинетная (мебель)», *пӗтӗм союзри* «всесоюзный», *колхозри* «колхозный», *кухньӑри* (*савӑт-сапа*) «кухонная (посуда)», *лабораторири* (*ӗҫ*) «лабораторная (работа)», *лагерьри* «лагерный», *лицейри* «лицейский».

В небольшом «Хакасско-русском словаре» Ц. Д. Номинханова и Д. Ф. Коковой[2] имеются следующие заимствованные из русского прилагательные: *опытнай*, *партийнай*, *паспортнай*, *пассажирскай*, *сибирскай*, *революционнай*, *торжественнай*, *секретнай*, *стахановскай*, *советскай*, *спортивнай*, *условнай* и несколько других.

Все эти слова вошли и в новый «Хакасско-русский словарь», составленный Н. А. Баскаковым и А. И. Инкижековой-Грекул (М., 1953). В новом словаре приведенные слова составляют лишь небольшую часть прилагательных, заимствованных из русского.

Рассмотренными формами тюркских прилагательных продуктивные словообразовательные ресурсы последних, разумеется, не исчерпываются. В ряду активнейших форм прилагательных должен быть назван аффикс *-сыз*, в разных фонетических вариантах известный абсо-

---

[1] На высокую продуктивность названной формы обратила мое внимание Е. И. Убрятова, которой я выражаю признательность. Суффиксы из русского языка мне были известны из литературы и раньше. Но меня смущало и, признаться, продолжает еще смущать молчание на этот счет таких якутоведов, как Л. Н. Харитонов, который в «Грамматике якутского языка» ничего не говорит о названных формах русских прилагательных.

[2] Настоящая статья была написана до выхода в свет «Хакасско-русского словаря» Н. А. Баскакова и А. И. Инкижековой-Грекул (М., 1953), и автор не смог в полной мере воспользоваться данными нового словаря.

лютному большинству тюркских языков[1]. Среди современных исследователей тюркских языков имеется полное единодушие относительно словообразовательной природы этого показателя. За единичными исключениями все тюркологи согласны между собой и в том, что *-сыз* стабилизовался в качестве словообразовательного аффикса прилагательных. Ж. Дени в наше время был, кажется, последним, кто попытался в своей грамматике[2] трактовать показатель *-сыз* в качестве послелога, опираясь при этом не на данные современного турецкого языка, но, как это ни странно, на памятники XIV—XV вв. Такого же взгляда придерживались в своих грамматиках К. Вид[3], Дж. Редгауз[4] и другие, начиная с Казем-бека[5].

Среди всех словопроизводных форм прилагательных аффикс *-сыз*, как и *-дай* || *-дый* || *-дэк*, в наибольшей степени свободен от давления семантики именной основы, от которой производится это прилагательное. Показатель *-сыз* легко образует прилагательные от любых существительных, даже местоимений (личных, указательных) и некоторых числительных. Мы воздерживаемся от иллюстраций употребления аффикса *-сыз*, так как он хорошо известен всем, кто имеет дело с тюркскими языками. Уместно лишь отметить, что показатель *-сыз* не имеет столь широких возможностей для производства новых прилагательных, какие имеются у других показателей, особенно *-лы* и *-лыķ*, что объясняется отрицательной семантикой данной формы.

Показатель *-сыз* характеризует предмет по отсутствию в нем определенного признака, например, *гүввэтсиз* «бессильный, слабый, немощный», *силаhсыз* «невооруженный, безоружный», *башсыз* «бестолковый, безголовый, не имеющий главы, руководителя» и т. п. — во всех случаях переводимые по-русски с помощью префиксов *без-* или *не-*. Очевидно, что узкая однозначная семантика рассматриваемого аффикса ограничивает возможности его употребления.

Сказанным выше о продуктивных формах прилагательных в современных тюркских языках можно, пожалуй, ограничиться.

Мы не можем, да и не ставим себе задачи осветить хотя бы и в общих чертах особенности всех продуктивных форм прилагательных. Нам представлялось важным лишь показать в сводном виде, пользуясь конкретными материалами тюркских языков, общую для последних тенденцию ко всемерному формальному (грамматическому) обособлению прилагательных от существительных — тенденцию, осо-

---

[1] Его нет в якутском, хакасском, шорском, тувинском языках.

[2] J. Deny. Grammaire de la langue turque. Paris, 1920, p. p. 588—589.

[3] Karl Wied. Leichtfabliche Anleitung zur Erlernung der Türkischen Sprache Wien und Leipzig, S. 89.

[4] J. W. Redhouse. A simplificed Grammar of the Ottoman—Turkish Language. London, 1884, p. 156.

[5] Мирза А. Казем-бек. Общая грамматика турецко-татарского языка, изд. 2-е. Казань, 1846, стр. 313.

бенно усилившуюся в послеоктябрьский период. Ввиду этой основной задачи первого раздела нашей статьи мы оставили за рамками обзора такие высокопродуктивные современные формы прилагательных, как аффиксы отыменного образования прилагательных *-дай* || *-дый* || *-дэк* с вариантами, *-чыл* || *-шыл-* || *-сыл* и т. д. с вариантами, *-чылыҡ* с вариантами и некоторые другие. Частично мы коснемся их дальше, в связи с вопросом о критериях частей речи.

2. О критериях частей речи в тюркских языках

Из сказанного в предшествующем изложении становится ясным, что в качестве важнейшей характеристики именных частей речи в тюркских языках — не говоря уже о глагольных — следует признать формы словообразования. Нельзя сказать, чтобы языковеды-тюркологи отказывались от этого критерия при определении частей речи. И все же словообразовательный признак в системе критериев частей речи фактически занимает второстепенное место. Более того, в работах отдельных исследователей лексико-грамматические значения словообразовательных форм, по существу, лишаются того, что составляет их суть, их назначение: быть живым продуктивным средством для создания новых слов, новых лексических значений. Дисквалификация словопроизводных форм конкретно выражается в том, что при оценке лексических значений слов, образованных при их помощи, исходят не из последних, представляющих собой особые словарные единицы, отличные от всех прочих, а из основ, от которых произведены эти слова. В результате такого приёма словообразовательные формы низводятся до положения функциональных разновидностей той части речи, к которой принадлежит основа данного производного слова. Между тем, едва ли нуждается в доказательстве то общепризнанное положение, что каждая словопроизводная форма создает новое слово, и из этого нового и приходится исходить при оценке лексико-грамматической природы слова.

Основным и наиболее обиходным в практике тюркологических исследований критерием выделения частей речи был и в значительной мере остается критерий семасиологический, в связи с чем трактовка частей речи в тюркских языках иногда принимает лексико-семантический характер. Повышенным интересом к семасиологической стороне частей речи следует, как видно, объяснить тот факт, что предложение А. К. Боровкова (1936 г.)[1] о трех аспектах рассмотрения частей речи (как это до А. К. Боровкова предлагал еще в 1928 г. акад. Л. В. Щерба для русского языка), хотя и встретило общую поддержку в кругах тюркологов, все же не привело к серьезному перелому в учении

---

[1] А. Боровков. О частях речи в языках тюркской системы. Ж. «Революция и письменность». Сб. 2. М., 1936, стр. 90—97.

о частях речи в тюркских языках и в конечном итоге не устранило разногласий, которые в той или иной форме продолжаются и поныне.

В связи с этим не лишне, как нам кажется, сделать обзор некоторых взглядов тюркологов на критерии классификации частей речи в тюркских языках, хотя следует оговорить, что группировка точек зрения в известных случаях затруднительна вследствие их пестроты.

Общим для подавляющего большинства специалистов является деление частей речи на знаменательные (тюркологи применяют и другие термины) и служебные, как это принято, например, и в грамматиках по русскому языку вплоть до новейших работ по этому вопросу[1].

Общим почти для всех тюркологов (не исключая и авторов грамматик, которые вышли уже после лингвистической дискуссии 1950 года) является также выдвижение на первый план семасиологического критерия.

К этому признаку часть тюркологов присоединяет еще предложенные А. К. Боровковым морфологический и синтаксический критерии, и, таким образом, классификация частей речи проводится по трем признакам. Такого принципа придерживаются, например, А. Н. Кононов в «Грамматике узбекского языка» (Ташкент, 1948, стр. 30—31 и дальше), Л. Н. Харитонов в книге «Современный якутский язык» (Якутск, 1947, стр. 93—94 и дальше). В своей более ранней работе («Грамматика турецкого языка». М.—Л., 1941) А. Н. Кононов не предлагал общей системы критериев классификации частей речи.

Сравнивая грамматики обоих авторов, не трудно убедиться в существенных расхождениях между ними, как в понимании того, чтó включает в себя тот или иной критерий, так и в оценке роли каждого критерия в кругу остальных. Объединяет обоих авторов скорей общее признание необходимости придерживаться трех критериев, тогда как при описании конкретных частей речи они следуют этому принципу лишь в отдельных случаях, характеризуя большинство частей речи в двух аспектах.

А. Н. Кононов рассматривает, например, в трех планах лишь существительное, остальные же части речи описываются в семасиологическом и морфологическом аспектах.

Фактически в тех же аспектах рассмотрены конкретные части речи и у Л. Н. Харитонова, хотя при их общей характеристике автор обращается и к синтаксическому критерию функции слова в предложении.

Что касается состава морфологических характеристик, то в позициях названных ученых можно отметить следующие совпадения и расхождения.

Ни тот ни другой не отказываются от рассмотрения в грамматике словообразовательных форм частей речи, но в то время как у Л. Н. Ха-

---

[1] См. «Грамматика русского языка», т. I. Фонетика и морфология. М., Изд-во АН СССР, 1952.

ритонова с них обычно и начинается описание частей речи, у А. Н. Кононова они не имеют определенного места и рассматриваются в одних случаях в особых разделах вне рамок морфологических признаков (как, например, при обзоре существительных), в других случаях — в рамках последних и даже на первом месте (как это можно видеть, например, при описании прилагательных или глаголов).

Оба автора признают важность учета словоизменительных форм, но А. Н. Кононов включает, например, поссессивные формы в число основных грамматических характеристик существительных, тогда как Л. Н. Харитонов относит их к универсальным формам якутского языка, «которые имеют всеобщее употребление и встречаются как в именах, так и глаголах»[1].

Таким образом, состав и до известной степени содержание морфологических частей речи у обоих авторов оказываются разными.

Оба тюрколога оперируют категорией множественности как грамматическим признаком существительного и глагола, но у Л. Н. Харитонова речь идет лишь о специальном аффиксе множественного числа -*лар*, а А. Н. Кононов в рамках категории множественности объединяет все формы ее выражения безотносительно к той или иной части речи.

Что же касается синтаксического признака, который предлагает А. Н. Кононов для существительных, то он состоит в описании значений и функций падежей, к чему в отдельных случаях прибегают специалисты и по другим тюркским языкам.

Позиции, занимаемые в вопросе о классификации частей речи двумя видными тюркологами — А. Н. Кононовым и Л. Н. Харитоновым, можно считать в той или иной мере характерными для многих, если не для большинства специалистов по тюркским языкам. Двух критериев классификации придерживается, например, и другой видный советский тюрколог — Н. П. Дыренкова — в ряде своих грамматик[2]. Как и Л. Н. Харитонов, она начинает морфологическую характеристику большинства частей речи со словообразования, переходя затем к формам словоизменения. Н. П. Дыренкова применяет двойную характеристику частей речи не только чисто практически, но и принципиально, о чем можно судить по следующему ее указанию: «По признакам семантики и морфологии в шорском языке могут быть выделены глаголы, имена (существительное, прилагательное, числительное и местоимение) и неизменяемые или частично изменяемые части речи, куда входят наречия, служебные слова и междометия»[3]. Тем не менее к синтаксической характеристике Н. П. Дыренкова прибегает чаще, чем названные выше

[1] Л. Н. Харитонов. Ук. соч., стр. 89.

[2] Ср., например, «Грамматика шорского языка». М.—Л., 1941, стр. 24—26 и дальше; «Грамматика хакасского языка». Фонетика и морфология. Абакан, 1948, стр. 14—15 и дальше.

[3] «Грамматика шорского языка», стр. 25.

авторы. Так, например, помимо описания функций и значений падежей, как это дано в «Грамматике узбекского языка» А. Н. Кононова, Н. П. Дыренкова здесь же рассматривает отношение пространственных падежей к управляющим ими глаголам; в разделе о прилагательном на первом месте указаны синтаксические функции прилагательного в предложении и др.[1]. В итоге троякий аспект рассмотрения частей речи у Н. П. Дыренковой выдержан строже, чем у первых двух авторов. Более последовательно развивает синтаксическую точку зрения на части речи Х. Байлиев[2].

В истории разработки вопроса о частях речи некоторые тюркологи делали также попытки ограничиться преимущественно семасиологическим критерием для выделения частей речи, рассматривая последние по существу в качестве лексических единиц. В «Грамматике уйгурского языка» (М., 1940) проф. В. Н. Насилов писал: «Слова, входящие в состав уйгурского предложения, представляют собой имена, глаголы и вспомогательные слова. Однако части речи не имеют четкой разграниченности между собой, и потому их формальные признаки часто дают общие между ними типовые образования». Естественно, что при подобном взгляде на степень морфологического развития уйгурского языка автор должен был искать решение проблемы частей речи прежде всего в лексико-семасиологической области и пришел к заключению, что «основной различительный признак, могущий установить дифференциацию слов по содержанию, заключается в том, что одни обозначают предметность и главным образом пространственные координации, другие выражают действия и состояния, совершающиеся в различных соизмерениях времени» (там же).

Обращаясь к школьным грамматикам тюркских языков, мы находим в них знакомые уже нам классификационные схемы, в которых, однако, уже бо́льшее внимание уделяется синтаксическим особенностям частей речи. Синтаксические свойства частей речи, точнее — их функции в предложении, в школьных учебниках рассматриваются обычно в систематическом порядке — от одной части речи к другой, между тем как в упомянутых нами грамматиках они привлекаются при описании конкретных частей речи лишь от случая к случаю. Синтаксический критерий в школьных учебниках нередко называется первым среди других, как это можно видеть, например, в «Грамматике узбекского языка», составленной А. К. Боровковым, А. Г. Гулямовым, З. М. Магруфовым и Т. Шермухамедовым[3]. В шестом издании этого учебника (одного из сравнительно удачных среди школьных пособий

---

[1] «Грамматика хакасского языка», стр. 25—31, 39 и след.

[2] Х. Байлиев. Хәзирки түркмен дилининг грамматикасынынг гысга курсы. Ашгабад, 1948.

[3] А. К. Боровков, А. Ғ. Ғуломов, З. М. Мағруфов, Т. Шермухамедов. Узбек тили грамматикасы, 1 қисм — фонетика ва морфология, Егти йиллик ва ўрта мактабларнинг 5—6 синифлари учун дарслик, VI нашри. Тошкент, 1948.

по тюркским языкам, вышедших до лингвистической дискуссии 1950 года, хотя и не свободного от ошибок марровского порядка) дается такое определение частей речи: «Слова, выполняющие в предложении определенные функции или передающие свойственные им значения, называются частями речи» (стр. 30). В определении нет указания на морфологический признак. Однако морфологический признак фактически в учебнике учтен, и в классификационной схеме ему отводится второе место, а именно: 1) значение слова, 2) его грамматические формы и 3) синтаксические функции слова.

В морфологические признаки части речи включаются главным образом словоизменительные формы слова. Словопроизводные формы выделены особо и вместе со сложными и сокращенными словами приводятся в конце описания части речи, составляя своеобразный лексикологический раздел последнего.

Мы ограничиваемся здесь краткой характеристикой одной школьной грамматики по тюркскому языку, типичной для школьной литературы по тюркским языкам, выходившей до 1950 г.

Как видно из приведенного обзора некоторых взглядов, относящихся ныне скорее к истории разработки проблемы частей речи в тюркских языках, среди специалистов-тюркологов нет или почти нет совпадения во взглядах на один из важнейших, если не на самый важный вопрос строения тюркских языков.

Грамматические пособия по тюркским языкам, вышедшие после 1950 г., в вопросе о частях речи свободны от наиболее серьезных ошибок прежних учебников. В то же время налицо известная преемственность, которая выражается в том, что новые учебники, как и раньше, декларируют троякий аспект выделения частей речи, но на деле они рассматриваются с двух сторон: семантической и морфологической. Синтаксический же аспект выражается в описании основных функций падежных форм имен существительных, отчасти прилагательных и некоторых других частей речи. Так построен, например, соответствующий раздел в «Грамматике азербайджанского языка», составленной для азербайджанских вузов коллективом авторов[1]. Аналогичную структуру имеет такой же раздел в учебнике казахского языка для педагогических училищ Н. Т. Сауранбаева[2] и в вузовском учебнике, составленном коллективом авторов[3].

Что касается школьных учебников, то в некоторых из них также можно отметить преемственную связь с прежними пособиями, которая выражается в бо́льшем внимании к синтаксической стороне частей речи,

---

[1] «Азәрбайҹан дилинин грамматикасы», I һиссә. Бакы, 1951, стр. 79—80 и сл.

[2] Н. Сауранбаев. Қазақ тілі, педучилищелерге арналған. Алматы, 1953, стр. 72—74 и сл.

[3] Қазіргі қазақ тілі, Алматы, 1954, стр. 216—255 и сл.

чем в первых двух названных учебниках. Эту черту можно отметить, например, в «Грамматике казахского языка» для 5—6 классов казахских полных и неполных средних школ[1], один из составителей которой А. И. Искаков в статье о классификации частей речи в казахском языке[2] сетовал на засилье синтаксического критерия в грамматиках тюркских языков, однако в своем школьном учебнике предпочел держаться установившейся традиции, признающей важное значение синтаксических признаков частей речи.

Относительно состава морфологических признаков частей речи можно отметить следующее. В «Грамматике азербайджанского языка» категории сказуемости, принадлежности и падежа выделены на правах «общих грамматических категорий», не связанных с какой-либо отдельной частью речи. Такая точка зрения на названные грамматические категории впервые, насколько нам известно, была высказана Н. К. Дмитриевым в «Строе турецкого языка» (Л., 1939) и окончательно сформулирована в «Грамматике башкирского языка» (М.—Л., 1948, стр. 51—64). Соответствующий раздел в «Грамматике азербайджанского языка» написан Н. К. Дмитриевым.

К этой точке зрения приближается также Н. Т. Сауранбаев в учебнике для педагогических училищ, присоединяя к указанным выше категориям еще и множественность. Правда, он не именует их общими грамматическими категориями казахского языка, но в главе о строении слова, где специально рассматриваются падежи и остальные категории, трактовку их Н. Т. Сауранбаев не связывает с определенной частью речи.

Формы словопроизводства в обеих грамматиках (в азербайджанской грамматике все формы, в казахской лишь аффиксальные) включены в систему морфологических признаков частей речи, и с них начинается обзор этих признаков.

В школьном учебнике казахского языка словообразовательные формы также рассматриваются в морфологических характеристиках частей речи, но не имеют здесь определенного места: например, в разделе о существительном они приводятся в самом его конце, в разделе о прилагательном — в самом начале.

Суммируя рассмотренные выше типичные взгляды тюркологов на классификационные критерии частей речи в тюркских языках, высказанные ими в прежних и новых работах, можно констатировать, что наиболее стабильными среди всех признаков частей речи остаются семантика части речи (в первую очередь, словарная) и морфологические — прежде всего словоизменительные формы слова.

---

[1] А. Искаков, К. Аханов. Қазақ тілі грамматикасы, I бөлім, Фонетика, лексика және морфология. Алматы, 1952, стр. 63—76 и дальше.

[2] А. И. Искаков. О классификации частей речи в казахском языке. Сб. «Вопросы изучения языков народов Средней Азии и Казахстана в свете учения И. В. Сталина о языке». Ташкент, 1952, стр. 126.

Менее стабильным был в недалеком прошлом словообразовательный признак части речи, однако в новых работах он уже твердо учитывается в качестве существенного показателя части речи.

Наименее стабильным и наименее существенным на практике был и остается признак синтаксический, под которым, кажется, все тюркологи в первую очередь подразумевают вопрос о том, каким членом предложения может быть данное слово.

Если колебания или произвол в обращении с формами словопроизводства, наблюдавшиеся еще недавно, проистекали в большой степени из неясности положения, которое занимает словообразование в системе языка, — вопрос, не решенный окончательно и в настоящее время, — то равнодушие или слабое внимание к функции слова в качестве члена предложения, наблюдающееся у тюркологов, следует объяснить, повидимому, крайней ограниченностью или практической бесполезностью т а к о г о аспекта в синтаксической трактовке слова. Дело в том, что в о з м о ж н о с т ь употребления в функции того или другого члена предложения имеется почти у всех знаменательных частей речи, как верно отмечает А. И. Искаков в упоминавшейся уже статье[1]. Такая возможность у части речи объясняется в большой степени (но не абсолютно!) способностью ее к грамматическому «перевоплощению»: к временной субстантивации, адвербиализации, а также адъективации, объяснение чему, в свою очередь, необходимо искать в истории грамматического формирования тюркских языков с их слабой в отдаленном прошлом дифференциацией частей речи, с грамматической недоразвитостью слова вообще. Ч р е з м е р н а я в сравнении, например, с русским способность тюркских языков к субстантивации и пр. является скорее остатком прошлого, нежели элементом будущего, чертой скорей отживающей, чем развивающейся в языках тюркской группы. Поэтому вряд ли следует прилагать к живым, развивающимся категориям языка, какими являются части речи, мерку, основанную на отживающей особенности языка. Кроме того, синтаксический критерий в вышеуказанном понимании во многих случаях просто бесполезен. Изучающий какой-нибудь тюркский язык ничего не узнает о частях речи из того, что существительные, прилагательные, наречия, местоимения, причастия, личные формы глагола и деепричастия могут употребляться и употребляются в качестве сказуемых; что существительные, прилагательные, числительные, местоимения, в иных случаях даже личные формы глагола и служебные части речи могут быть и бывают подлежащими или дополнениями. Синтаксическая полифункциональность всех названных частей речи н и в е л и р у е т, а не дифференцирует их, о б ъ е д и н я е т, но не разделяет их, и потому критерий функции члена предложения в большинстве случаев оказывается мало содержательным и лишним.

---

[1] А. И. И с к а к о в. О классификации частей речи в казахском языке, стр. 126.

Нельзя ли, однако, установить типичное синтаксическое применение частей речи в тюркских языках? На такой вопрос с достаточной полнотой можно ответить лишь в отношении каждого конкретного языка. Для тюркских языков, взятых в их совокупности, ответ неизбежно будет иметь недостаточно полный характер. Не вдаваясь в детали, можно было бы ответить на поставленный вопрос указанием на то, что в языках тюркской группы части речи имеют приблизительно такое же типичное синтаксическое применение, как и в русском языке, т. е., например, для существительного типично его употребление в качестве подлежащего, дополнения, обстоятельства, сказуемого и определения; для прилагательного типично его применение в качестве сказуемого и определения при существительном, а для ряда прилагательных — и при личной форме глагола и т. д.

Получается, следовательно, что и при учете типичных синтаксических функций частей речи мы снова сталкиваемся с целым рядом совпадений: в функции определения существительное совпадает с прилагательным, прилагательное с наречием. Кроме того, имеются немногочисленные случаи, когда одно и то же слово употребляется в типичных синтаксических функциях существительного, но может в то же время, не меняя своей формы, применяться в качестве определения при существительном и личной форме глагола. Между тем, перечисленные нами совпадения касаются таких частей речи, как прилагательное, наречие и отчасти существительное, которые как раз и вызывали наибольшие трудности при классификации и были предметом разногласий между тюркологами. Но для их дифференциации менее всего пригоден синтаксический признак члена предложения, который стирает грамматические различия между именными частями речи [1].

Особая приверженность к функции слова в предложении как к синтаксическому признаку части речи, которое мы наблюдаем во многих школьных грамматиках и некоторых пособиях, предназначенных для более широкого круга читателей, зиждется нередко на молчаливом признании единства или, по крайней мере, близости члена предложения и части речи даже для современного состояния этих категорий, что навеяно, конечно, еще не изжитой тенденцией к архаизации тюркских языков, которая наблюдалась и все еще продолжает наблюдаться у некоторых языковедов-тюркологов [2].

---

[1] Предлагавшееся некоторыми монголистами, начиная с А. Бобровникова, выделение в качестве особых частей речи предметных и качественных имен (т. е. имен типа существительное-прилагательное и существительное-прилагательное-наречие) — так, как это было обосновано и сформулировано Г. Д. Санжеевым в его ст. «К проблеме частей речи в алтайских языках» («Вопросы языкознания», 1952, № 6) — опирается прежде всего на функцию члена предложения.

[2] А. К. Боровков. Изучение языков народов Средней Азии и Казахстана в свете трудов И. В. Сталина по вопросам языкознания. Сб. «Вопросы изучения языков народов Средней Азии и Казахстана в свете учения И. В. Сталина о языке».

В свете всего сказанного относительно нивелирующей роли и неопределенности функционального критерия, отказ от сплошной характеристики всех частей речи по их функциям в качестве членов предложения был бы правильным и целесообразным.

Можно ли, однако, отбросить синтаксический критерий вообще, особенно при разрешении трудных или спорных случаев определения частей речи? Мы полагаем, что делать этого нельзя, так как в определенных случаях синтаксический критерий окажется единственным, способным внести достаточную ясность в трудный вопрос. Однако можно и нужно установить, что́ из синтаксических характеристик слова необходимо привлекать при выделении разных частей речи. Мы не собираемся делать какие-либо предложения на этот счет, так как практическим предложениям должно предшествовать более углубленное, чем это было до сих пор, изучение вопросов, связанных с проблемой частей речи в тюркских языках. Но представляется вполне уместным привести некоторые иллюстрации для подкрепления высказанных выше соображений относительно синтаксического критерия.

Широко известен, например, в тюркологии факт употребления существительных взамен недостающих в тюркских языках относительных прилагательных. Во всех подобных случаях для передачи значения относительного прилагательного строится определительное сочетание имен существительных, в котором существительное-определение ставится перед существительным определяемым (согласно общетюркскому правилу «всякий подчиненный элемент предшествует элементу подчиняющему»), а определяемое существительное снабжается аффиксом принадлежности, который указывает на то, что стоящее перед ним определение является не прилагательным, а существительным. Ср., например, *шәһәр совети* «городской совет», где определение *шәһәр* «город» является существительным, использованным для передачи значения относительного прилагательного «городской», а определяемое *совети* снабжено аффиксом принадлежности *-и* (*совет-и*), указывающим на субстанциональную природу стоящего впереди определения.

Другой пример — *инсан һәрәкәти* «человеческий поступок», в котором *инсан* является определением-существительным «человек», а определяемое *һәрәкәти* «поступок» снабжено тем же показателем принадлежности *-и* (*һәрәкәт-и*). Примеров подобного рода можно привести бесконечное множество, однако надобности в этом нет, поскольку определительное сочетание существительных (часто обозначаемое в грамматиках и в специальной литературе термином «изафет») достаточно хорошо известно и за пределами тюркского языкознания. Следует лишь еще раз напомнить о широком распространении рассматриваемого приема для передачи значений относительных прилагательных. Удобство

Ташкент, 1952; та же статья в «Ученых записках Ин-та востоковедения», т. IV. М., 1952.

и гибкость определительной конструкции существительных хорошо проверены многовековым опытом тюркских народов и не раз отмечались в научной литературе.

Вместе с тем очевиден и основной недостаток изафетной конструкции, который заключается в том, что обозначение признака, т. е. значение относительного прилагательного, находится в нем в связанном состоянии: существительное-определение может обозначать признак лишь постольку, поскольку он связан с существительным-определяемым. Вне этой связи первое существительное остается тем, чем оно и является в действительности, т. е. носителем предметности.

Следовательно, определительное сочетание существительных не может полностью заменить прилагательного — названия признака в его свободном, не связанном положении. Это обстоятельство, впрочем, слишком хорошо известно из практики языковедческой работы на местах в послеоктябрьское время, чтобы о нем распространяться. Именно эта ограниченность тюркского «изафета» является ключом к объяснению того, почему столь интенсивно развивается категория прилагательного в тюркских языках за последние десятилетия.

Таким образом, «изафет» может считаться достаточно надежным средством для отделения существительных от прилагательных лишь в известных пределах, которые еще необходимо в конкретных языках установить. Но в своих границах эта синтаксическая категория позволяет судить о том, с какой именно частью речи мы имеем дело в данном словосочетании — с существительным или не-существительным.

Однако и такая возможность далеко не всегда имеется у исследователя, так как «изафет» не универсален, а ограничен, что достаточно широко известно и языковедам-нетюркологам. Ограниченность определительного сочетания существительных выражается в том, что в определенных случаях существительное-определяемое не снабжается аффиксом принадлежности, хотя впереди него и стоит существительное-определение. Как правило, такое безаффиксное оформление «определительной группы»[1] бывает связано с лексическим значением существительного-определителя. Если последнее обозначает материал, из которого сделан предмет, названный в определяемом, далее пол, пространственное и общественное положение или название лица по его профессии, занятиям, привычкам, влечениям и некоторые другие значения, то определяемое существительное не снабжается аффиксом принадлежности, например, *асфалт сәки* «асфальтовый тротуар», где первое существительное (*асфалт*) обозначает материал, в связи с чем определяемое существительное (*сәки*) не имеет поссессивного аффикса; *бетон дөшәмә* «бетонный пол»[2], где первое существительное (*бетон*) также обозна-

---

[1] Термин Ж. Дени. Ук. соч., стр. 731.

[2] Примеры взяты из «Русско-азербайджанского словаря», под ред. Г. Гусейнова. Баку, 1940—1946.

чает материал, в связи с чем определяемое существительное *дөшәмә* «пол» не снабжено показателем принадлежности. Ср., далее, *диши чанавар* «волчица», где первое существительное *диши* со значением «самка» обозначает пол предмета, выраженного вторым существительным *чанавар* «волк», чем и объясняется отсутствие показателя принадлежности при втором существительном. Однако безаффиксное оформление определяемого существительного при наличии определителя со значением пола не может все же считаться универсальным, так как, например, в том же азербайджанском известны случаи, когда определяемое получает показатель принадлежности, хотя в преобладающем числе случаев он не требуется. Ср., например, *гыз ушағы* «девочка» (дословно «девочка ребенок») и *оғлан ушағы* «мальчик» (дословно «мальчик ребенок»), в которых определяемое *ушағы* «дитя», «ребенок» снабжено аффиксом принадлежности (*ушағ-ы*), тогда как другие тюркские языки обходятся без этого показателя, например, *kiz çocuk* «девочка» и *erkek çocuk* «мальчик» в турецком, *къыз бала* «девочка» и *эркек бала* «мальчик» в ногайских диалектах и в других языках. Приведем еще примеры безаффиксного оформления определяемого существительного при субстанциональных определениях со значениями, перечисленными выше: со значением пространственного положения — *үст додаг* «верхняя губа», дословно «верх губа», *алт мәртәбә* «нижняя ступень», дословно «низ ступень», *ич тәрәф* «внутренняя сторона», дословно «внутренность сторона» и другие; с обозначением лица по его профессии, привычкам и пр. — *әмәкчи халг* «рабочий народ», где *әмәкчи* означает «рабочий», *яланчи адам* «лживый человек», дословно «лгун человек», *авангард-* или *габагчыл дәстә* «авангардный (передовой) отряд», дословно «отряд — авангард», *ленинчи фәһлә* «рабочий-ленинец» и другие[1].

Исходя из подобных фактов, на практике иногда делают выводы о том, что на базе перечисленных выше значений существительных-определителей в тюркских языках развиваются омонимичные прилагательные, что, следовательно, имеется, например, два слова *асфалт* — существительное «асфальт» и прилагательное «асфальтовый», два слова *бетон* — существительное «бетон» и прилагательное «бетонный», два слова *үст* — существительное «верх» и прилагательное «верхний», два слова *яланчы* — существительное «лжец» и прилагательное «лживый», существительное *даш* || *таш* || *тас* «камень» и омонимичное прилагательное «каменный», существительное *алтын* «золото» и омонимичное прилагательное «золотой» и т. д. В результате довольно широкого распространения этого взгляда, не получившего, правда, еще своего теоретического

[1] Новейшая сводка всех относящихся сюда случаев сделана на материале азербайджанского языка М. Гусейнзаде в его содержательной статье «Относительно определительных словосочетаний (первого вида определительного словосочетания) в современном азербайджанском языке». «Труды Ин-та литературы и языка», АН АзССР, т. V. Баку, 1953 (на азерб. яз.).

выражения, в словарях появляется уже значительное количество омоморфных с существительными прилагательных, образцы которых можно без особого труда найти во многих русско-тюркских и тюркско-русских словарях, а в грамматиках в отделе прилагательных появляются словопроизводные формы, субстанциональное значение которых признается всеми специалистами по тюркским языкам[1].

Вопрос осложняется еще больше, если принять во внимание, что в целом ряде языков — киргизском, казахском, хакасском, кумыкском и других — безаффиксное оформление определительного сочетания двух или более существительных применяется и при других значениях существительного-определения, сверх тех, которые рассматривались выше или приводятся в статье М. Гусейнзаде. Ср., например, определительные субстантивные сочетания типа кумыкских *рус тил* (вместо *тили* с аффиксом принадлежности) «русский язык»; *къумукъ школа* (вместо *школасы* с аффиксом принадлежности) «кумыкская школа»; *къан оъзен* (вместо *оъзени* с аффиксом принадлежности) «кровавая река»; *емиш бав* (вместо *баву* с тем же аффиксом) «фруктовый сад»; *шарт глагол* (вместо *глаголы*) «условный глагол», *ер гъал* (вместо *гъалы*) «обстоятельство места»; *юрт хозяйство* (вместо *хозяйствосу*) «сельское хозяйство»; *класс ябушув* (вместо *абушуву*) «классовая борьба»; *совет республика* (вместо *республикасы*) «советская республика»; *чыгъым падеж* (вместо *падежи*) «исходный падеж»; *ер падеж* (вместо *падежи*) «местный падеж», и т. д. Наряду с этим в кумыкском языке имеются, конечно, определительные сочетания и с аффиксом принадлежности при втором члене, так что рядом с приведенным выше *емиш бав* мы находим *колхоз баву* «колхозный сад» уже с аффиксом принадлежности, рядом с приведенным *юрт хозяйство* мы находим *халкъ хозяйствосу* «народное хозяйство» с аффиксом принадлежности и др.[2] В результате подобных столкновений, когда изафетные сочетания с одним и тем же определяемым оформляются то при помощи аффикса принадлежности, то без него, вопрос о грамматической природе первого члена сочетания принимает неопределенный характер, так как, оставаясь на позициях признания совпадения прилагательных и существительных, пришлось бы подобную омонимию допустить чуть ли не для всех имен в перечисленных выше тюркских языках.

Можно ли согласиться с распространенным среди части тюркологов взглядом относительно большого развития грамматической омонимии? Нам представляется, что с этим взглядом согласиться трудно и вот почему.

---

[1] В отдел прилагательных, например, попал показатель словообразования существительных *-жы* (обозначающий название лица по его профессии, занятию, привычкам и пр.) в некоторых школьных грамматиках киргизского языка.

[2] Примеры приводятся из кандидатской диссертации О. Я. Прик. «Методика преподавания русского имени существительного в 4-м классе кумыкской школы». М., 1953.

Дело в том, что определения со значениями материала, пола и пр., рассматривавшиеся выше, во многих случаях могут соединяться с определяемыми существительными лишь при условии оформления последних аффиксом принадлежности, т. е. вразрез с тем, что нами только что говорилось о таких определениях. Например, в целом ряде случаев после названий материала второй член определительного сочетания должен иметь показатель принадлежности, между тем как в примерах, приводившихся выше, требовалось опущение названного показателя у определяемого. Примеры: *ипак қурти* (узб.), *ипэк гурду* (азерб.), *ipekböceği* (тур.) — все со значением «шелковичный червь», «шелкопряд». Первые элементы данных сочетаний обозначают «шелк», вторые элементы, означающие «червь», снабжены показателем принадлежности. Еще пример: *темир саноати* (узб.), *дэмир сэнаэси* (азерб.), *demir sanaii* (тур.) — все со значением «железоделательная промышленность»; здесь определение также означает материал, и вторые элементы снабжены аффиксом принадлежности. В примере *паҳта заводи* (узб.), *памбыг заводу* (азерб.), *pamuk fabrikasi* (тур.) со значением «хлопковый завод» первые элементы означают материал «хлопок», вторые элементы снова снабжены показателем принадлежности. То же оформление в сочетаниях *қум уюми* (узб.), *гум йығыны* (азерб.), *kum yiğını* (тур.) «куча песку», в которых определяемые снабжены показателем принадлежности, хотя определители *қум* и остальные обозначают материал «песок». Число подобных примеров можно увеличить, но достаточно и приведенных. Сторонники омонимии могут, правда, возразить нам, сославшись на то, что в наших иллюстрациях нет значения «сделанный из . . .», «состоящий из . . .», которое полагалось бы для обозначения материала в сочетаниях без аффикса принадлежности. Однако, не говоря уже о том, что такое значение имеется в последнем из наших примеров «куча песку», т. е. «куча, состоящая из песка», можно привести и прямые иллюстрации к названному значению. Ср., *юн тели*, *юн лифи* (азерб.) со значением «шерстинка», где *юн* «шерсть», *тел* или *лиф* «волокно», *-и* аффикс принадлежности, а все вместе — «волокно (состоящее) из шерсти»; *паҳта ипи* (узб.) со значением «хлопчато-бумажная нить», где *паҳта* «хлопок», *ип* «нить», *-и* аффикс принадлежности, а все вместе обозначает «нить (сделанную или состоящую) из хлопка»; *памбыг иплийи* (азерб.) «бумажные нитки», где *памбыг* «хлопок», *иплик* «нитки», *-и* аффикс принадлежности, а все вместе — «нитки (сделанные) из хлопка»; *ipek ipliği* (тур.) со значением «шелковая пряжа», где *ipek* «шелк», *iplik* «пряжа», *-i* аффикс принадлежности, а все вместе — «пряжа (сделанная) из шелка»; *дэмир мадэнлэри* (азерб.) «железные рудники», где *дэмир* «железо», *мадэнлэр* «рудники», *-и* аффикс принадлежности, а вместе — «рудники (состоящие) из железа»; *дэмир эринтиси* (азерб.) «железный сплав», где *эринти* «сплав», *-и* аффикс принадлежности, а все сочетание — «сплав (состоящий) из железа»; *темир-терсак қолдиқлари* «отбросы железа», «железные отбросы», «отбросы

(состоящие) из железа»; *demir hurdasi* (тур.) «железный лом, лом (состоящий) из железа» с таким же отношением частей; *demir yoliu* (тур.) «железная дорога» (с аффиксом принадлежности), явно вытесняющая более старую форму *demiryol* (без аффикса принадлежности); *demir madeni* (тур.) «железная руда, руда (состоящая) из железа» с аналогичным отношением частей; *зиғир мойи* (узб.) «льняное масло» (в русско-узбекском словаре 1942 года) и *зиғир мой* (в узбекско-русском словаре 1941 года); *ҫӗр сырни варенийӗ* (чув.) «клубничное варенье, варенье (сделанное) из клубники», где *ҫӗр сырни* «клубника», *варени* «варенье», *-йӗ* показатель принадлежности; *хура хӑмла ҫырли варенийӗ* (чув.) «ежевичное варенье, варенье (сделанное) из ежевики», где *хура хӑмла ҫырли* «ежевика»; *чие варенийӗ* (чув.) «вишневое варенье», где *чие* «вишня»; *йывӑҫ кӑмрӑкӗ* «древесный уголь», где *йывӑҫ* «дерево», *кӑмрӑк* «уголь», *-ӗ* аффикс принадлежности; *йӗтӗн сӳсӗ* (чув.) «льняное волокно», где *йӗтӗн* «лен», *сӳс* «волокно», *-ӗ* аффикс принадлежности и т. д.

О чем говорят эти примеры? Во-первых, о том, что первые члены определительных сочетаний, означающие материал, являются существительными. Отсюда следует, что те же члены в определительных сочетаниях, не снабженных аффиксом принадлежности, также являются существительными, а не омонимичными прилагательными. И так как сочетания, оформленные поссессивным показателем, являются более новыми образованиями, чем сочетания без названных показателей, то должно отпасть последнее возможное возражение сторонников омонимии относительно того, что в одних сочетаниях мы имеем дело с определениями-существительными, в других — с омонимичными определениями-прилагательными.

Наши примеры говорят, во-вторых, о том, что в оформлении определительных сочетаний существительных, в которых первые члены имеют значения материала и т. п., начинаются колебания: наряду со старой, еще живой нормой, требующей пропуска показателя принадлежности, народилась новая норма, стремящаяся, наоборот, к оформлению определяемого существительного аффиксом принадлежности.

О расшатывании старых норм можно судить и по тому красноречивому факту, что названия ряда материалов в их атрибутивном значении начинают оформляться при помощи словообразовательного аффикса прилагательных *-лы* с его вариантами, иными словами, образуются прилагательные со значением материала.

Ср., например, *йонлы* (тат.) «содержащий шерсть, дающий шерсть»; *yünlü* (тур.) «шерстяной», *yünlü kumas* «шерстяная ткань»; *ипакли* (узб.) «шелковый, сделанный из шелка», *ипәкли* (азерб.) «имеющий шелк, с шелком, шелковый», *ipekli* (тур.) «шелковый»; *pamuklu* (тур.) «хлопчатобумажный, бумажный», *pamuklu mallar* «хлопчатобумажные товары», *pamuklu kumaşlar*, *pamuklu dokumalar*, *pamuklu mensucat* «хлопчатобумажные ткани» и др.

Ошибочность позиции сторонников омонимии существительных-прилагательных можно показать, использовав и другой синтаксический прием. Он основан на порядке слов в определительном сочетании. Дело в том, что в распространенных определительных сочетаниях с неоднородными атрибутивными определениями, состоящими из прилагательного, числительного, причастия и местоимения, существует довольно твердый порядок расположения определителей. Но если состав последних однороден (например, только качественные прилагательные, только относительные прилагательные, только причастия), то позиции определителей в принципе свободны, ср. *әсрлик милли вә сияси зүлм, милли вә сияси әсрлик зүлм, сияси вә милли әсрлик зүлм, әсрлик сияси вә милли зүлм* (азерб.) со значением «вековой политический и национальный гнет», где даны четыре варианта перестановки относительных прилагательных *әсрлик* «вековой», *милли* «национальный», *сияси* «политический».

Принципиальная возможность перестановки определителей в словосочетаниях с относительными или качественными определителями не означает, однако, что допустим произвол в обращении с ними. Во-первых, логический вес определителей меняется от перемены места в словосочетании. Определитель, которому хотят сообщить наибольший логический вес, обычно помещают непосредственно перед определяемым. Так, в первом варианте приведенного выше примера *әсрлик милли вә сияси зүлм* у определителей *милли вә сияси* логический вес больше, чем у определителя *әсрлик*. Наоборот, во втором варианте *милли вә сияси әсрлик зүлм* у определителя *әсрлик* логический вес больше, чем у первых двух определителей.

В связи с этим, во-вторых, в конкретных словосочетаниях, имеющих широкое распространение и частое употребление (наподобие приведенного выше), наблюдается тенденция к закреплению одного варианта порядка слов, в частности для нашего примера первого варианта — *әсрлик милли вә сияси зүлм*.

Необходимо, в-третьих, указать на то, что разное расположение одних и тех же качественных и относительных прилагательных в определенной группе видоизменяет их логическое отношение к определяемому слову. Например, при первом варианте порядка слов в нашем словосочетании (*әсрлик* . . . и т. д.) определение *әсрлик* относится к определяемому существительному не прямо, а через сочетание *милли вә сияси зүлм*, т. е. оно определяет не существительное «гнет», а сочетание — «национальный и политический гнет». Во втором варианте (*милли вә сияси* . . . и т. д.) прилагательные *милли вә сияси* также определяют не названное существительное («гнет»), а сочетание «вековой гнет».

Наконец, в-четвертых, для размещения относительных (или качественных) прилагательных в определительном словосочетании имеет значение и семантика прилагательных. Если одни относительные прила-

гательные обозначают качество, а другие количество, то первые располагаются перед определяемым, а вторые располагаются перед первыми — точно так, как в словосочетаниях с качественными прилагательными. Например, в словосочетании *ики иллик археоложи тәдгигләрдән сонра*... «после двухлетних археологических изысканий...» относительное прилагательное *иллик* обозначает количество и потому находится впереди прилагательного *археоложи*, обозначающего качество.

Таким образом, хотя перестановка определителей, состоящих из относительных прилагательных, наталкивается на некоторые ограничения, осложняющие (к сожалению, пока еще мало исследованные) правила[1] словорасположения в определительных сочетаниях, однако, она в принципе сохраняется как грамматическое свойство относительных (и качественных) прилагательных.

Если справедливо утверждение некоторых тюркологов, чрезмерно увлекающихся омонимичными с существительными относительными прилагательными, что, например, *памбыг* означает «хлопковый, ватный, бумажный, шерстяной» и т. д., то эти относительные прилагательные также должны обладать свободной позицией в сочетании с однородными определителями. На самом деле названные и подобные им слова свободой перестановки не обладают[2]. Нельзя, например, переставлять определители в словосочетании *гышлыг памбыг гумашлар* «зимние хлопчатобумажные ткани» или *язлыг юн гумашлар* «весенние шерстяные ткани» или *әсрлик дәмир гапы* «вековые железные ворота» и т. д. Следовательно, все эти слова не имеют необходимых признаков относительных прилагательных.

Еще один небольшой пример применения синтаксического критерия для спорного случая. В татарском языке в настоящее время многие исследователи признают две формы инфинитива: на *-рга* и на *-у*. Первая имеет до известной степени супинальное значение, вторая является именем действия. Взятые сами по себе формы еще ничего не говорят о том, какая из них ближе к инфинитиву тюркского типа. Но татаровед не может пройти, например, мимо того факта, что обычную для многих тюркских языков конструкцию с инфинитивом типа «надо прочесть эту книгу» нельзя (так утверждают сами татарские ученые) оформить с помощью имени на *-у*, но лишь с *-рга*, т. е. нельзя сказать *бу китапны уку кирәк*, а надо *бу китапны укырга кирәк*.

---

[1] Ср. Дж. Чакенов. Категория имени прилагательного в современном казахском языке. (Автореферат). Алма-Ата, 1953.

[2] Единственное изменение, которое допустимо в отношении позиции существительных со значением материала, заключается в том, что в некоторых тюркских языках такие существительные для их акцентуации можно отделить от определяемого числительным *бир* «один» в усилительном значении: в киргизском, азербайджанском и некоторых других; для азербайджанского см. примеры в цит. ст. М. Гусейнзаде, стр. 10: *гызыл бир саат* «золотые часы», *дәмир бир гуту* «железная коробка» и др.

Таким образом, из наших иллюстраций следует вывод, что, отказываясь от критерия функции члена предложения для части речи, мы должны не отбрасывать синтаксический критерий вообще, но выбрать такой или такие критерии, которые действительно могут помочь выяснить трудные или спорные случаи.

Обратимся к семантическому критерию. Как уже отмечалось в начале статьи, роль семантического критерия в тюркских языках преувеличена. Однако, отсюда, конечно, нельзя делать поспешного и неверного заключения о неэффективности данного критерия, хотя бы уж по одному тому, что «не видя смысла, нельзя еще устанавливать формальных признаков, так как неизвестно, значат ли они что-либо, а следовательно, существуют ли они, как таковые, и существует ли сама категория», как правильно писал акад. Л. В. Щерба, отмечая связь грамматической формы с ее содержанием[1].

Более того, в определенных случаях единственными критериями для выделения части речи оказываются семантический и синтаксический. К таким частям речи относятся местоимения, которые за исключением определенных разрядов указательных местоимений — да и то в отдельных языках — специальных форм не имеют, и потому для суждения о грамматической природе и свойствах местоимений мы должны обращаться к семантическим и синтаксическим данным о них.

Но какую семантику в этом случае следует иметь в виду — грамматическую или лексическую? Нам представляется, что для учения о частях речи в тюркских языках более важна грамматическая семантика слова, т. е. наиболее обобщенные значения предметности, процессуальности, качества и т. д., как это рассматривается у А. А. Потебни, А. А. Шахматова, А. М. Пешковского при всех различиях в их взглядах.

Отказываясь от лексической семантики как признака части речи, мы не можем совсем отбросить ее, поскольку без учета лексического значения основ, от которых образуются слова, входящие в данную часть речи, невозможно обойтись при анализе условий образования частей речи. Учет значения основ необходим для некоторых словопроизводных форм частей речи, а именно существительных, прилагательных, наречий и отыменных глаголов, что объясняется особым положением словопроизводства, теснейшим образом связанного с грамматикой и обслуживающего словарь.

Для глагольных имен, причастий и деепричастий учет лексического значения основ излишен, так как эти грамматические формы образуются беспрепятственно от любого глагола. Поэтому при суждении о словообразовательных формах частей речи наряду с их общим грамматическим значением предметности, процессуальности и пр. необхо-

---

[1] Л. В. Щерба. О частях речи в русском языке. Сб. «Русская речь». Новая серия, 1928 стр. 8.

димо для отдельных частей речи принимать во внимание и условия их образования, — в первую очередь значения основ, служащих базой для их производства.

Поясним сказанное примером. В первой половине нашей статьи говорилось о словообразовательном аффиксе прилагательного *-лыҡ* с его вариантами. Было указано, что аффикс *-лыҡ* остается одновременно и формой образования существительных, и, таким образом, грамматически он двойственен. Отсюда, как будто, следует вывод, который и делается рядом тюркологов, а именно, что прилагательные имеют общую форму с существительными и их различить трудно или даже невозможно. Подобное рассмотрение вопроса приходится считать односторонним, поскольку при этом не учитывается значение исходных основ словопроизводства. При учете же последних картина радикальным образом меняется. Так, при образовании слов с помощью аффикса *-лыҡ* мы получим существительные, если исходное слово обозначает: 1) естественные предметы природы, 2) предметы, изготовленные человеком, 3) органы чувств и 4) всевозможные прилагательные, числительные и даже некоторые местоимения. Например, от слова *ағач* «дерево» образуется при помощи аффикса *-лыг* лишь существительное *ағачлыг* «местность, изобилующая деревьями; небольшой лес; роща». От слова *көмүр* «уголь» образуется лишь существительное *көмүрлүк* «место для складывания угля; угольный сарай; угольная яма». От слова *ағыз* «уста, рот, горлышко (посуды), отверстие (посуды)» при помощи аффикса *-лыг* образуется только существительное *ағызлыг* «воронка, затычка, пробка». От прилагательного *яхшы* «хороший» или числительного *биринчи* «первый» при помощи показателя *-лыг* могут образоваться только существительные *яхшылыг* «добро» и *биринчилик* «первенство». От прочих имен, не входящих в перечисленные выше четыре группы, аффикс *-лыҡ* может образовать прилагательные.

Как ни важны указанные нами два разных семантических аспекта (общее грамматическое значение частей речи и значения исходных основ словопроизводства, как условие образования некоторых именных частей речи), они не могут служить основанием для выдвижения семасиологической стороны на ведущее место в системе отличительных признаков частей речи, во-первых, потому что грамматические значения предметности, процессуальности и т. д. не всегда проявляются непосредственно и в целом ряде случаев обнаруживаются лишь через морфологические или синтаксические свойства слов, как это мы уже подробно рассматривали выше при освещении вопроса об именах со значением материала. Приведем дополнительные иллюстрации.

Легче всего вопрос о грамматическом значении слова выясняется в тех случаях, когда оно имеет специальную словопроизводную форму, принадлежащую определенной части речи, о чем специально говорилось в первом разделе статьи. Однако и словопроизводная форма не всегда может быть надежным показателем части речи. В азербайджан-

ском, например, имеется ряд отглагольно-именных форм, отнесение которых к той или иной части речи по морфологическому признаку довольно затруднительно. Мы имеем в виду формы на *-дыг* и *-(й)ачаг*, образующиеся от глаголов. По своей семантике слова в этих формах следовало бы отнести к глаголам, так как они обозначают процесс[1]. Но дело в том, что формы на *-дыг* и *-(й)ачаг* никогда не выступают с лично-предикативными показателями. Их затруднительно, с другой стороны, отнести к простым отглагольным существительным, например, типа *удум* «глоток» (образованного от глагола *уд-* «глотать» с показателем *-м*) или *көрүш* «взгляд» (образованного от глагола *көр-* «видеть» с показателем *-ш*), так как обе формы имеют временнóе значение: первая — настоящего и прошедшего времени, вторая — будущего и, кроме того, модальное значение долженствования, а также возможности; обычно же отглагольные существительные временнóго значения не имеют.

Простые отглагольные существительные могут непосредственно склоняться, между тем как приведенные формы могут склоняться лишь в сочетании с аффиксами принадлежности по лицам. Еще более важно, как нам представляется, то обстоятельство, что обычные отглагольные существительные образуются лишь от положительной формы глагола, названные же формы могут, кроме того, быть образованы от отрицательной формы, формы возможности и невозможности, от залоговых и некоторых видовых форм. Например, от глагола *алмаг* «брать, получать» могут быть созданы формы *алдығым* «тот факт, что я брал; беру», *алмадығым* «тот факт, что я не брал; не беру», *алабилдийим* «тот факт, что я мог брать; могу брать», *алабилмэдийим* «тот факт, что я не мог брать; не могу брать», *алындығым* «тот факт, что меня брали; берут» и т. д. Соответственные образования можно получить и в форме на *-(й)ачаг*.

Обычные отглагольные существительные, наконец, управляют словами по большей части так, как существительные именного происхождения, между тем формы *-дыг* и *-(й)ачаг* полностью сохраняют глагольное управление и могут иметь при себе всякого рода дополнения и обстоятельства.

Все перечисленные морфологические и синтаксические особенности форм на *-дыг* и *-(й)ачаг* и некоторых других, здесь опущенных, требуют выделения их в качестве особых частей речи — глагольных имен, в которых соединяются грамматические свойства глагола и имени.

Еще один пример. В турецком языке имеется значительное число имен существительных со значением действия, заимствованных из арабского, отчасти персидского и некоторых западных языков. По семантическому признаку такие слова следовало бы вывести из состава

[1] Они могут обозначать также предмет или результат процесса, но эти значения рассматриваемых форм мы оставляем в стороне, чтобы не усложнять нашего разбора.

существительных, тем более, что некоторые из них способны управлять прямым дополнением в винительном падеже, чего совершенно не могут делать собственно турецкие существительные именного происхождения, например, *hastayı* (вин. п.) *muayene* «осмотр больного», *maznunu* (вин. п.) *isticvap* «допрос обвиняемого», *sehri* (вин. п.) *bombardıman* «бомбардировка города» и др. Рассматриваемые существительные могут управлять также некоторыми обстоятельствами, а именно обстоятельством образа действия: ср. *dostça muamele* «дружеское обращение», дословно «обращение по-дружески», *kardeşçe yardim* «братская помощь», дословно «помощь по-братски», *kahramanca hareket* «геройский поступок», дословно «поступок по-геройски» и т. п. Тем не менее все подобные слова в грамматиках относят к существительным, а не к глаголам, так как от них нельзя образовать ни временны́х, ни модальных, ни других форм глагола. От них невозможно образовать также причастий, деепричастий и глагольных имен.

Таким образом, грамматическую семантику рассмотренных форм удается выяснить лишь через их грамматические свойства.

Семантический критерий не может быть выдвинут на ведущее место в системе отличительных признаков частей речи, во-вторых, потому, что грамматическая семантика части речи, вообще говоря, является не средством, а ц е л ь ю лингвистического анализа, как это следует из сказанного выше; она составляет не признак, а сущность части речи. Когда спорят, например, о том, является ли данное слово существительным, прилагательным или наречием, то хотят узнать, что́ оно означает. Понятно, что в подобном споре общее грамматическое значение слова будет не приемом, а целью и результатом научного анализа.

Семантическая трактовка частей речи на практике большей частью носит дробный характер и не охватывает части речи в целом, не отражает ее специфики. О существительном говорят, что оно обозначает «лица, предметы, явления, движения, состояния (независимо от исполнителя), качества и признаки (независимо от их носителей) и названия явлений». О прилагательном говорят, что оно «обозначает качества и признаки предметов» и т. п. Едва ли подобные определения пригодны для отграничения частей речи друг от друга. Нетрудно, например, заметить, что под приведенное определение существительного подойдут прилагательные, причастия и наречия (ибо они также означают «движения, состояния . . . качества и признаки независимо от их носителей»), а под определение прилагательного — существительные и снова причастия (ибо они также могут обозначать «качества и признаки предметов»). Оговорки, сделанные в определениях («независимо от исполнителя», «независимо от носителей»), едва ли в состоянии помочь отграничению существительного от прилагательного и прилагательного от наречия. А ведь ради этого, собственно, и предлагаются подобные определения, поскольку части речи, как грамматические

классы слов, не обязательно рассматривать в рамках словосочетания, как это полагалось бы делать, исходя из оговорок в приведенных определениях, но можно и вне его.

С преувеличением роли лексико-семантической стороны частей речи тесно связана, а, возможно, и прямо вытекает из него, интерпретация некоторых грамматических (морфологических) категорий частей речи. Мы имеем в виду категории падежа, принадлежности и сказуемости, которые иногда толкуют в качестве всеобщих, на что мы указывали уже раньше. В среде специалистов по тюркским языкам нередко раздаются голоса о том, что «в тюркских языках можно все склонять и спрягать». Это намеренно утрированное положение имеет своей целью подчеркнуть факт распространенности явления субстантивации в тюркских языках, на почве чего возможно, конечно, вре́менное использование различных частей речи в предметном значении, поскольку соответствующее (по своему вещественному значению) конкретное существительное в языке отсутствует. Нельзя, правда, априорно утверждать, что во всех случаях склонения прилагательных мы имеем дело лишь с вре́менной субстантивацией прилагательного. Однако, равным образом, нет и оснований утверждать, что во всех случаях склонения прилагательного мы имеем дело с проявлением не угасшего еще старого предметного значения прилагательного и, стало быть, с фактами нерасчлененности существительного-прилагательного. Невозможно, например, принять за всеобщую истину для тюркских языков то, что в словах *аķ* и *сары* значения «белок» и «желток» во всех случаях являются первичными, более древними; что в сочетании *көз ķарасы* «зрачок» выступает древнее значение *ķара* — обозначим его условно «чернота». Субстантивное значение прилагательного может быть вторичным, развившимся в позднейшее время. Вопрос этот для каждого тюркского языка решается отдельно и лишь исторически.

Более убедительным как будто представляется утверждение о способности всех частей речи к спряжению. Но на чем оно основано? Утверждение о способности частей речи в тюркских языках к спряжению основано на том, что сказуемое в них снабжается специальными предикативными показателями безотносительно к тому, какая часть речи выступает в функции сказуемого. Можно ли, однако, свести спряжение к простой предикативности, поставить знак равенства между спряжением глагола и предикативностью слова? Очевидно, что нет. Как раз в вопросе о предикативности и глагольности весьма четко выявляется различие между членом предложения и частью речи. Если предикативность в тюркских языках представляет собой одно из свойств слова в предложении, то спряжение составляет свойство глагола, так как оно образует систему собственно глагольных категорий аспекта, наклонения || модальности, времени, вида, залога, числа и лица исполнителя действия. Категория лица и числа, выражаемая, подобно флективным языкам, в одной форме (исторически,

однако, восходящей к двум морфемам), происходит от той же категории предикативности, совпадая в изъявительном, желательном и долженствовательном наклонениях также и по форме. Однако в условном и повелительном наклонениях, в первом лице множественного числа повелительного наклонения отдельных языков, а также в прошедшем времени формы лица и числа исполнителя действия расходятся с формой предикативности слова и, по мнению большинства ученых, восходят к формам принадлежности. Следовательно, остается еще меньше оснований для отождествления категории сказуемости с категорией лица и числа в глаголе. Можно, таким образом, действительно говорить о системе спряжения, как специфической особенности тюркского глагола, чуждой существительному или другой именной части речи.

Остаются неясными формы сказуемости прошедшего времени от формального глагола *и-* ‖ *э-* (< *эр-*), совпадающие с прошедшим категорическим временем глагола и с элементами его составных прошедших времен. Как следует их рассматривать — в качестве ли прошедшего времени недостаточного глагола *и-* ‖ *э-* или показателя прошедшего времени сказуемого вообще — пока остается неясным. Во всяком случае невыясненность одного частного вопроса не может поколебать сказанного выше, а также вывода о том, что в тюркских языках спрягаются глаголы, а склоняются субстантивные и субстантивированные части речи.

Подытоживая сказанное, мы должны, во-первых, отметить то обстоятельство, что признаки определения и классификации частей речи — семантический (в изложенном выше понимании), морфологический и синтаксический — все относятся к грамматике и составляют известное единство. В грамматическом характере определения и классификации частей речи проявляется природа частей речи как группировки слов по их общим грамматическим свойствам.

Во-вторых, становится ясным, что части речи в тюркских языках невозможно классифицировать отдельно в морфологическом, отдельно в синтаксическом и отдельно в семантическом планах, как это предлагают некоторые тюркологи. Если бы слова в тюркских языках можно было с научной обоснованностью и исчерпывающей полнотой разделить на части речи в о д н о м плане, например, семантическом, то естественным образом отпала бы надобность разделения их в других планах.

В-третьих, приходится признать, что критерии классификации частей речи, взятые в отдельности, недостаточны для распределения слов по грамматическим классам. При всей их важности еще большее значение имеет с о о т н о ш е н и е классификационных критериев, без чего неизбежно выдвижение на передний план одного из них, а отсюда неизбежна односторонняя ориентация в учении о частях речи.

Вопрос о соотношении и удельном весе критериев при характеристике конкретных частей речи в работах по тюркским языкам спе-

циально не ставился, однако на практике, кажется, никто из исследователей не стоял на точке зрения равенства принятых им двух или трех критериев. Фактически на передний план выдвигался один из признаков, остальные приобретали дополнительный характер. И так как многие среди языковедов-тюркологов выдвигали на передний план лексико-семантический признак, то общая трактовка частей речи в тюркских языках часто принимала лексико-семасиологический характер, как это уже отмечалось нами выше.

Правильное решение вопроса мы видим в том, чтобы классификационная характеристика каждой части речи имела свои ведущие признаки. Сохраняя все три признака для выделения части речи, т. е. 1) морфологические, 2) синтаксические ее особенности и 3) общее грамматическое значение части речи, мы для каждой части речи выделяем одни признаки в качестве ведущих, рассматривая остальные в качестве дополнительных. Например, для существительного такими ведущими признаками могли бы быть формы словопроизводства, именного словоизменения и положение существительного в определительном словосочетании. Для прилагательного главными критериями могли бы быть формы словопроизводства и кроме того позиция прилагательного в словосочетании. Для наречия ввиду его недостаточного формального развития основным признаком мог бы быть признак синтаксический, притом отрицательный, а именно выяснение вопроса о том, с чем исследуемое наречие не может сочетаться. Отрицательный признак необходим вообще и при анализе других частей речи, в частности того же существительного или прилагательного.

Вряд ли нам необходимо оговаривать, что высказанными здесь соображениями далеко не исчерпывается вопрос о классификационных критериях и их составе. Мы хотели всего лишь подчеркнуть необходимость выдвижения ведущих критериев для каждой части речи в отдельности и попытались проиллюстрировать сказанное некоторыми примерами.

Вместе с тем нетрудно заметить, что при всех возможных сочетаниях классификационных признаков между собой они остаются едиными для всех частей речи, поскольку в целом они образуют систему грамматических признаков частей речи.

Другим важнейшим условием правильной классификации частей речи является, естественно, соблюдение принципа историзма и учета национального своеобразия изучаемого языка. Как ни сходны тюркские языки, но во многом и многом они расходятся между собой. Не говоря уж о таких языках, как якутский, чувашский и в значительной мере тувинский, стоящих довольно далеко от остальной массы тюркских языков, даже внутри кыпчакской или огузской групп можно отметить многочисленные пункты различий между столь близкими, казалось бы, языками, как азербайджанский и гагаузский, узбекский и уйгурский, алтайский и киргизский, казахский и ногайский и т. д. Каждый из

названных и других тюркских языков имеет собственную историю развития, результаты которых в разных языках, совпадая по наиболее общим линиям, оказываются разными в более конкретных областях.

Что касается соблюдения требований историзма, то они заключаются не только в обязательном учете того, как протекал процесс развития языка в связи с историей носителя языка, но и в учете неравномерности самого развития. Неравномерность грамматического развития, грамматического совершенствования разных тюркских языков составляет одно из тех исходных положений, без которого невозможно правильно определить конкретные ведущие формы в развитии данного тюркского языка. Так, например, большинству тюркских языков известен отглагольно-именной словопроизводный аффикс *-ḳыч* (во многих вариантах), имеющий ряд значений. Слова в данной форме отложились во многих словарях тюркских языков преимущественно в значении действующего лица (в дальнейшем — действующего предмета), орудия или средства, материала и результата. Однако аффикс *-ḳыч* в большинстве тюркских языков уже мертв. Далее, перечисленные значения этой формы представлены в разных языках неравномерно. Так, в огузских языках очень слабо представлено значение действующего лица. Зато оно широко распространено в не-огузских языках. Огузские языки не знают, кроме того, прилагательных на *-ḳыч*, но, например, в киргизском словаре отложилось большое число таких прилагательных, развившихся на основе субстанционального значения действующего лица. И, наконец, — и это самое важное в иллюстрации неравномерности развития — в киргизском языке аффикс *-ḳыч* является продуктивным аффиксом образования прилагательных, тогда как в большинстве языков он давно мертв или же недоразвит.

Другой пример. Во многих тюркских языках широко известен словопроизводный, весьма продуктивный аффикс *-дай* || *-дый* || *-дәк* (в уйгурском) с вариантами, исторически восходящий в послелогу [1], о чем свидетельствуют сочетания его с родительным падежом личных и указательных местоимений, например, *менимдай* «подобный мне», *бунундай* «такой» и т. п. наряду с *мендей* «подобный мне», *сендей* «подобный тебе», *бундай* «такой», отчасти сохранившиеся в некоторых из современных диалектов (в частности, в отдельных диалектах ногайского языка).

В трактовке формы на *-дай* среди специалистов нет единого мнения. Одни рассматривают *-дай* в качестве наречного аффикса [2], другие счи-

---

[1] А именно к послелогу *тäг* «подобный, подобно» енисейско-орхонских памятников. Ср., например, *Умай тäг* «подобная Умай», *бöрітäг* «подобно волкам», *ḳон тäг* «подобно овцам» и т. п. Фонетически наиболее близкой к *тäг* является приведенная выше форма *-дәк* ново-уйгурского языка, а также *-доḳ* (*бундоḳ*, *шундоḳ* — см. А. Н. Кононов. Грамматика узбекского языка, § 223), *-дек* (*чиḳḳудек*, *еритгудек*, *ургатгудек* — § 92, 2) узбекского языка.

[2] Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948, стр. 115.

тают *-дай* послелогом, исходя скорей из истории развития этой формы [1]. В тюркологических работах высказывался также взгляд на аффикс *-дай* как на падежную форму [2]. Наконец, среди тюркологов начинает приобретать все большее число сторонников другая точка зрения, согласно которой форму *-дай* следует рассматривать в качестве словопроизводного аффикса прилагательных [3].

В огузских языках аффикс *-дай* неизвестен. Следовательно, рассматриваемая форма является достоянием не-огузских языков. Однако в последних он развит весьма неравномерно. Например, в хакасском языке, который по целому ряду причин приходится рассматривать в качестве «кладовой» языковых древностей, форма на *-дай* представлена, кажется, лишь в некоторых указательных местоимениях, а именно *андағ* «такой», *мындағ* в том же значении, *андағ-мындағ* «такой-сякой», *хайдағ* «какой» [4]. Таково же приблизительно положение и в шорском языке, где соответствующая разновидность формы на *-дай*, а именно *-диг*, рассматриваемая Н. П. Дыренковой в качестве падежа сравнения, употребляется при личных местоимениях: *мендиг* «подобный мне», *сендиг* «подобный тебе», *андиг* «подобный ему», *пистиг* «как мы», *силердиг* «как вы», *ылардыг* || *лардыг* «как они» [5]. Наоборот, в казахском или киргизском языках форма на *-дай* относится к числу продуктивнейших словопроизводных форм и, в отличие от других аффиксов словообразования, создает новые прилагательные от любой именной основы. Ср. примеры, приводимые в грамматике казахского языка Н. Т. Сауранбаева: — *үйдей тас* «камень с дом», *таудай биік* «большой как гора», *жібектей жұмсақ* «мягкий как шелк», *күндей жарық* «светлый как день» [6]. В киргизском прилагательные на *-дай* могут даже принимать наречный аффикс *-ча* || *-че* || *-чо* || *-чө*, что говорит, конечно, о полном грамматическом развитии формы на *-дай*; ср., например, *кишидей* «похожий на человека» и *кишидейче* «похоже на человека»; *баладай* «похожий на ребенка», *баладайча* «как ребенок» и т. п. О полном грамматическом развитии аффикса *-дай* как формы прилагательного свидетельствует также способность его сочетаться с показателем меры признака в прилагательном *-раак* с его вариантами. Ср., *кишидейреек* «довольно похожий на человека», *тоодойроок* «довольно похожий на гору», *үйдөйрөөк* «достаточно похожий на дом» [7] и т. п.

[1] А. Н. Кононов. Ук. соч., стр. 66, 128.

[2] В. М. Насилов. Грамматика уйгурского языка. М., 1940, стр. 46; Н. П. Дыренкова. Грамматика шорского языка. М.—Л., 1941, стр. 84; аналогичный взгляд высказывался Ж. Дени в 1920 г. и Ст. Вурмом в 1947 г.

[3] Н. Сауранбаев. Қазақ тілі. Алматы, 1953, стр. 92—93; А. Исқақов. Қ. Аханов. Қазақ тілі грамматикасы. 1 бөлім, Фонетика мен морфология. Алматы, 1953, стр. 111.

[4] Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул. Ук. соч.

[5] Н. П. Дыренкова. Грамматика шорского языка, стр. 84.

[6] Н. Сауранбаев. Ук. соч., стр. 93.

[7] О возможности образования производных форм на базе прилагательных с показателем *-дай*, как и с показателем *-чыл* (см. дальше), мне любезно сообщила Б. Д. Уметалиева.

В качестве примера неравномерности развития одной и той же формы в разных тюркских языках может быть привлечен и аффикс *-чыл* со всеми его фонетическими разновидностями. Основное значение этой формы — выражение склонности, способности, привязанности, пристрастия к предмету или действию. Это значение представлено во всех тюркских языках, но огузские языки употребляют свои формы и не знакомы с кыпчакскими, не-огузские языки также пользуются своими формами и в незначительной мере — единичными формами огузских языков. Как правило, в не-огузских языках формы выражения склонности и пр. представлены богаче. Например, в якутском языке насчитывается шесть таких форм[1]. Сравнивая тюркские языки по степени грамматического развития формы на *-чыл*, можно установить, что, например, в узбекском, хакасском или шорском языках аффикс *-чыл* не получил широкого распространения, хотя и является продуктивным (или еще не потерял своей продуктивности), тогда как в казахском и киргизском он имеет весьма широкое распространение и обнаруживает высокую продуктивность. Для степени грамматического развития формы на *-чыл* характерно также и то важное обстоятельство, что, например, в хакасском или шорском языках она является формой имени вообще, в то время как в киргизском *-чыл* является вполне развитой словообразовательной формой прилагательных, о чем можно судить по такому важному критерию морфологической развитости именных частей речи, как способность ее служить базой дальнейшего словообразования, т. е. способность данной словопроизводной формы сочетаться с другой. Такой способностью аффикс *-чыл* обладает в высокой степени. Ср., например, в киргизском *базарчыл* «любитель (или любящий) ходить на рынок», *базарчылраак* «любящий довольно часто ходить на рынок», *базарчылдык* «привычка (или страсть) ходить на рынок»; *суучул* «любящий воду», *суучулраак* «довольно любящий воду», *суучулдук* «любовь к воде», «страсть к воде»; *ичкичил* «любитель спиртных напитков», «алкоголик», *ичкичилреек* «довольно привязанный к спиртным напиткам», *ичкичилдик* «любовь к спиртным напиткам», «алкоголизм» и т. д.

Приведенных нами иллюстраций достаточно для суждения о чрезвычайной важности учета неравномерности в грамматическом развитии тюркских языков.

Если суммировать все, что сказано в нашей статье, то можно свести последнюю к следующим положениям:

1) условием правильной классификации частей речи в тюркских языках является непременный учет конкретной истории и своеобразия данного языка, учет неравномерности грамматического развития тюркских языков;

---

[1] См. Л. Н. Харитонов. Современный якутский язык. Фонетика и морфология. Якутск, 1947, стр. 137—138.

2) для характеристики части речи важны все три критерия — морфологический, семантический (общее грамматическое значение части речи) и синтаксический, но не каждый в отдельности, а в их совокупности;

3) классификационные критерии не являются равноправными в применении к конкретной части речи; каждая часть речи имеет свои ведущие классификационные критерии, по отношению к которым остальные критерии являются дополнительными;

4) при учете морфологических критериев необходимо в полной мере учитывать словопроизводные формы той или иной части речи, их способность служить отправным пунктом для дальнейшего словообразования;

5) функция члена предложения имеет ограниченное значение для синтаксической характеристики частей речи и применима лишь к некоторым из них; более важно учесть положение части речи в словосочетании (не предложении!), сочетаемость слова с другими словами, его неспособность входить в определенную синтаксическую связь со словами, его позиционную связанность или свободу;

6) критерий грамматической семантики при анализе именных частей речи является не приемом, а целью анализа; вместе с тем, общее грамматическое значение слова для определенных частей речи является основным критерием их выделения наряду с критериями синтаксического характера.

К. Е. МАЙТИНСКАЯ

К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА

(На материале финно-угорских языков)

I. Вопрос о форме падежа

Категория падежа является одной из сложнейших грамматических категорий имен и местоимений. Выяснение того, что мы должны считать падежом, как разграничить падеж от предложных и послеложных конструкций, с одной стороны, и от словообразования — с другой, является особенно важным и актуальным, потому что категория падежа, присущая многим языкам, может получать в них очень различное выражение в зависимости от типа и специфики каждого отдельного языка. Едва ли имеется другая грамматическая категория, в понимании которой наблюдается такой разнобой, как в понимании падежа, а между тем от решения вопроса о сущности этой категории зависят практические выводы, получающие свое отражение в описательных грамматиках различных языков при установлении количества падежей у имен и местоимений.

Допущенные ошибки в установлении количества падежей для каждого конкретного языка в основном делятся на две группы: первая из них связана с пренебрежением морфологической формой падежа, другая — с переоценкой последней.

Первый вид ошибок, в основном, характерен для исследований малопадежных языков, второй — для исследований языков с большим количеством падежей. Более распространенным является первый вид ошибок, связанный с переоценкой функциональной стороны и недооценкой формального выражения падежей. Это то направление в лингвистических исследованиях, которое, отвлекаясь от разнообразия грамматических средств в отдельных конкретных языках, приписывает всем им одинаковые и обязательные схемы, навязывая конкретным языкам такие грамматические категории, которые в них не существуют.

Наиболее выпукло этот ошибочный взгляд выступает у некоторых исследователей английского языка, а также у структуралистов и сторонников «универсальной грамматики».

Так, Дейчбейн, исходя из неправильного общего определения падежа («Падеж выражает отношение, в котором находятся отдельные именные

(или местоименные) понятия, к другим частям предложения») [1], относительно новоанглийского языка делает следующие уточнения: «Падеж в языковом отношении может быть выражен: а) так называемыми падежными окончаниями..., б) порядком слов..., в) предлогами» [2].

Раскрывая свою точку зрения, Дейчбейн утверждает, что в современном английском языке существуют следующие падежи: именительный и винительный, которые выражены своим положением (порядком слов) в предложении, дательный, который выражен также порядком слов при наличии в предложении «прямого объекта» (например, I give John a book, где косвенное дополнение John должно стоять перед прямым a book) или же предлогом, например, to и, наконец, родительный, который может выражаться как s-овой формой существительного, так и предлогом of [3].

Другой исследователь английского языка, Кёрм, дательным падежом считает не только предложные конструкции с to и for, но также и с at [4].

Ошибка Дейчбейна и Кёрма состоит в том, что они сущность падежа рассматривают только с точки зрения его функции в предложении, совершенно пренебрегая его формальным выражением. Исходя из положений Дейчбейна или Кёрма, в любом языке можно установить любое количество падежей, и если исследователи английского языка не выходят за пределы четырех или пяти падежей (не считая пережиточных форм творительного падежа), это объясняется лишь тем, что они находятся в плену у схемы субъектно-объектных и определительного падежей, обнаруживающихся в некоторых других германских языках: в современных, например, в немецком, и в древних, например, в готском, в древнеанглийском.

Только на этом основании Дейчбейн восстанавливает систему именно четырех падежей, а не ищет в английском местных падежей, которые имеются во многих других языках, например, в некоторых финно-угорских (венгерский, финский, мордовский и др.) и кавказских (лезгинский и др.). Непоследовательность в рассуждениях Дейчбейна, его чисто субъективный подход к установлению количества падежей в современном английском языке не подлежат сомнению. Несомненным является и то, что, если следовать его теории, невольно возникнет вопрос, почему признаются падежами конструкции с of, for, to и почему таковыми не признаются конструкции с from, into, in, with и т. д.

Построенные Дейчбейном и Кёрмом схемы «падежей» с привлечением некоторых предложных конструкций следует признать произвольными и с научной точки зрения необоснованными. Неправильность

---

[1] «Der Kasus drückt die Beziehung aus, in der die einzelnen Nominal — bzw. Pronominalbegriffe zu den übrigen Satzteilen stehen». См. M. Deutschbein. System der neuenglischen Syntax. Leipzig, § 116.

[2] «Der Kasus kann sprachlich in Erscheinung treten: a) Durch sog. Kasusformationen. . ., b) Durch die Stellung, c) Durch Präpositionen. См. там же, §§ 115—116.

[3] См. там же, §§ 115, 125, 126.

[4] См. Curme. Syntax. Boston, 1931, стр. 455.

этих и подобных взглядов на сущность падежа состоит в том, что, как уже отмечалось выше, для определения падежей за основу берется лишь функциональная сторона и не принимается во внимание то, что форма вовсе не является в грамматике чем-то второстепенным. Для языковеда должно быть существенным и то, что в английском языке имеются параллельные конструкции типа the boy's book и the book of the boy, в которых различные оттенки значения связаны с различными способами выражения: в первом отношение обладателя-определения к своему обладаемому-определяемому выражено формой родительного падежа существительного (boy's), во втором же предложным оборотом (of the boy).

Предложные (а в других языках послеложные) обороты имеют вообще те же функции, что и падежи, но для описания структуры какого-либо языка не является безразличным, какой из этих способов используется в каждом отдельном случае, не безразлично и то, что, скажем, в финском языке предложная конструкция *в доме* выражается инессивом (talossa), а в английском при помощи предлога (in the house), что в финском конструкция *в дом* выражается иллативом (taloon), в английском же при помощи предлога (into the house) и т. д.

На другой точке зрения стоит Есперсен, который, рассматривая падеж как морфологическую категорию, не признает падежами предложные обороты в английском языке [1].

Взгляды Дейчбейна на падеж были подвергнуты критике в трудах советских языковедов. Б. А. Ильиш писал: «Термин падеж охватывает языковое явление, как таковое, а не те категории, выражению которых он служит. Поэтому о падеже в точном смысле слова можно говорить только тогда, когда отношение выражается в языке окончанием существительного. . .» [2].

Но если Дейчбейн еще опирается на определенную схему исчезнувших падежных форм английского языка, то у структуралистов нет даже таких опорных пунктов.

Например, у Ельмслева само определение падежа свидетельствует о полном пренебрежении к формальному выражению: «Падеж, — пишет он, — это категория, которая выражает отношение между двумя предметами»[3]. Ясно, что такое определение в одинаковой степени допускает в качестве «форм» выражения падежей аффиксы и предлоги, порядок слов и интонацию. Но в то время, как Дейчбейн цепляется за старую схему падежей английского языка, Ельмслев не признает никаких схем конкретных языков, для него проблема категории падежа является проблемой «универсальной грамматики».

---

[1] O. Jespersen. Philosophy of Grammar. London, 1925, p. 173—184.

[2] Б. А. Ильиш. Современный английский язык. М., 1940, § 246. Следует отметить, что во втором издании этого труда (1948) по данному вопросу Ильиш ограничивается лишь практическими выводами. См. § 281.

[3] «Est cas une catégorie, qui exprime une relation entre deux objets», см. L. Hjelmslev. La catégorie des cas. København, 1935, I, p. 96.

Хотя причисление конструкций со служебными словами (предлогами или послелогами) к падежам и является более характерным для исследователей аналитических языков, встречаются такие ошибки и у языковедов, занимающихся языками синтетического строя. В некоторых грамматиках марийского языка среди падежей, оформленных окончаниями, числится так называемый послеложный падеж [1]. Этот падеж отличается от русского предложного падежа не только тем, что при последнем употребляется предлог, а не послелог (это, собственно, было бы несущественной разницей); основное расхождение состоит в том, что марийский послеложный «падеж» на самом деле не является падежом, ибо в данном случае в послеложной конструкции имя участвует без всякого падежного оформителя (в основной форме); ср. *бригадир нерген* «о бригадире», *колхоз нерген* «о колхозе». Авторы грамматики марийского языка построили свою схему несомненно исходя из схемы падежей русского языка. Поэтому они ввели и творительный падеж, который на самом деле не существует в марийском языке (он заменяется послеложными конструкциями, например, *Василий дене* «с Василием», *мӱй дене* «с медом»).

Как бы ни различались между собой все эти и другие способы приравнивания предложных и послеложных конструкций к падежам, они в конечном счете приводят к неправильному представлению о количестве падежей в том или ином конкретном языке. Поэтому предложные и послеложные конструкции с падежно-неоформленным именем должны быть исключены из понятия падежа.

Не лучше обстоит дело с порядком слов, который допускается в определении Ельмслева [2], а в схеме Дейчбейна играет еще бóльшую роль, чем предложные конструкции, так как порядок слов у него «выражает» именительный и винительный, а частично и дательный падежи.

Следует отметить, что, когда говорится о категории падежа, то имеются в виду определенные ч а с т и р е ч и (имена и местоимения), порядок же слов очень часто не имеет к частям речи никакого отношения.

Приведем пример из венгерского языка: A levél a *könyv mellett* fekszik «Письмо *около книги* лежит». A levél *ott* fekszik «Письмо *там* лежит» и A levél a *könyvön* fekszik «Письмо *на книге* лежит». Как видим, в данных предложениях место действия выражено тремя различными способами: в первом предложении — послеложной конструкцией, во втором — наречием, в третьем — падежной формой существительного, но порядок слов по отношению к сказуемому во всех трех случаях один и тот же. Следовательно, подобный порядок слов в венгерском языке связан с выражением места, а не с какой-либо формой падежа. В русском предложении типа *мать любит дочь* (при нейтральной интонации) слово *мать* находится на первом месте не потому, что оно стоит в именительном падеже, а потому, что оно подлежащее, и при совпадении форм именительного и

[1] Я. Г. Г р и г о р ь е в, П. А. К а ш к о в. Марий йылме грамматика. Йошкар-Ола, 1950, стр. 53.

[2] См. стр. 227.

винительного падежей, как падежей подлежащего и прямого дополнения (когда их разграничение не вытекает из смысла предложения), этот порядок слов является обязательным для уточнения смысла предложения. И в английском языке, где подлежащее и прямое дополнение, выраженные существительными, не оформляются какими-либо морфологическими средствами, постановка на первом месте подлежащего в предложениях типа The boy asks the teacher «Мальчик спрашивает преподавателя» является обязательной. Таким образом, только благодаря такому порядку слов слово the boy понимается как подлежащее, а the teacher — как прямое дополнение. Из этого вытекает, что порядок слов не имеет отношения к выражению категории падежа, так как порядок слов является лишь синтаксическим средством выражения члена предложения.

Таким синтаксическим средством в некоторых языках может быть даже только интонация. В качестве примера приведем немецкое предложение: Genosse Petrow schickte dir das Buch und nicht Anna. Если в данном предложении ударением подчеркивается сочетание Genosse Petrow «товарищ Петров», то ему противопоставляется слово Anna как подлежащее, следовательно, перевод будет таким: «Товарищ Петров послал тебе книгу, а не Анна». Если же ударением выделяется слово dir «тебе», то ему противопоставляется слово Anna как косвенное дополнение, и предложение, следовательно, переводится «Товарищ Петров послал книгу тебе, а не Анне». В данных предложениях единственным средством выделения членов предложения является интонация, ибо слово Anna как имя личное не сопровождается артиклем, показывающим в немецком языке изменения существительного по падежам. Если слово Anna во втором случае все же воспринимается в дательном падеже, то это происходит только потому, что в немецком языке существует дательный падеж (выражаемый в изменениях имен, артикля или местоимений), как обычная форма косвенного дополнения этого рода.

Из наших соображений вытекает, что при установлении того, существует ли какой-либо падеж в исследуемом языке, нужно прежде всего опираться на признак морфологического выражения, и только во вторую очередь, но в обязательном порядке, должна приниматься во внимание его синтаксическая функция. Только при существовании особой формы изменения можно говорить о наличии какого-либо падежа в данном языке.

Ясно, что такая точка зрения совершенно чужда Ельмслеву, для которого форма грамматического выражения безразлична и который считает, что нет надежных критериев для различения семантем и морфем, аналитизма и синтетизма [1].

Следует отметить еще одну ошибку, часто допускаемую в определении падежа. Общеизвестно, что падежи неоднородны по объему выражаемых значений. Одни являются однозначными (это более редкий случай, напри-

[1] L. Hjelmslev. La catégorie des cas. Kobenhavn, 1935, p. 77—79.

мер, венгерский временнóй падеж на -kor выражает только время при вопросе «когда»), другие могут иметь несколько основных и второстепенных значений. Так, в русском родительном падеже (беспредложном) выделяются два основных значения: определительное (приименное) и значение дополнения (приглагольное). Можно ли считать на этом основании, что русский беспредложный родительный падеж представляет собой не один, а два падежа или даже несколько падежей (с учетом второстепенных значений)? Ответ может быть только отрицательным, так как в каждом конкретном языке имеется столько падежей, сколько имеется форм или рядов соотносительных форм для их выделения.

О соотносительных формах необходимо вспомнить потому, что во многих языках, особенно в индоевропейских, имена, относящиеся к разным типам склонения, оформляются по-разному. В русском языке форма винительного падежа большинства существительных совпадает с формой именительного падежа, однако на фоне таких форм, как *мужчину, женщину*, формы типа *стол, окно* и т. д. также воспринимаются как формы винительного падежа (омонимичные с формами именительного), например, в предложениях типа: *я вижу стол, я вижу окно*, так как нулевая флексия в слове *стол* и флексия *о* в слове *окно* образует с флексией *у* в словах *мужчину, женщину* один ряд соотносительных грамматических форм. Подобным образом различные флексии в словах *мужчине, столу, революции* являются падежными формами одного ряда, ряда дательного падежа. Итак, несмотря на то, что слова *мужчину* и *столу* оформлены одинаковыми формантами, осмысливаются они в различных грамматических рядах, так как они играют различную роль в предложении.

Эти соображения, однако, свидетельствуют о том, что в определении падежа, как грамматической категории, кроме формы важно учитывать и его содержание (об этом см. ниже).

Бывают случаи, когда выявление падежа в каком-либо языке представляет собой особенно сложную задачу. Так, например, у существительных современного финского языка формам именительного и родительного падежей единственного числа для выражения определенных объектных отношений (так называемого «тотального объекта») во множественном числе соответствует только одна форма: форма именительного падежа. На основании этого многие считают, что в единственном числе существительных финского языка имеется два винительных падежа: так называемые винительный I и винительный II, первый из которых по форме сходен с родительным падежом единственного (окончание *-n*), другой с именительным единственного числа (нулевое окончание). Во множественном признается один винительный падеж, сходный по форме с именительным множественного (окончание *-t*) [1]. Как видно из этой схемы, в сфере существительных финского языка, у так называемого «винительного падежа»

[1] См. U. Tuurala. Suomen kielen kielioppi, ч. I. Петрозаводск, 1950, стр. 54.

нет специальных окончаний. Целесообразно ли в таком случае говорить о существовании винительного падежа? Нам кажется, что целесообразнее при разборе функции родительного и именительного падежей учитывать выражение «тотального прямого объекта», как одну из функций этих падежей. Правда, здесь имеется то неудобство, что те случаи выражения данного объекта, которые в единственном числе входят в функции родительного падежа, во множественном числе будут выражены именительным падежом, следовательно, объем значений именительного и родительного падежей в единственном и во множественном числе будет различным. В единственном числе объем значений родительного падежа будет шире, чем во множественном числе, и наоборот, во множественном числе объем значений именительного падежа будет шире, чем в единственном числе. И все же, несмотря на это, не следует отказываться от морфологического принципа выделения падежей.

Немало трудностей для определения количества падежей в том или ином языке представляет то обстоятельство, что система падежей различных частей речи может быть очень разнообразна. Имена и некоторые виды местоимений обычно укладываются в одну систему, за основу которой можно принять систему падежей существительных даже в том случае, если в сфере прилагательных, числительных или местоимений не дифференцированы все падежи, имеющиеся у существительных. Так, в русском языке некоторые числительные, например *два*, *пять*, *сто*, хотя и имеют разные изменения по падежам, все же не выходят за пределы системы падежей существительных, поэтому целесообразно систему падежей данных числительных рассматривать на основе системы падежей существительных, как это и делается обычно в русских грамматиках [1].

Совсем иначе обстоит дело, если в системе какой-либо части речи обнаруживаются такие падежные формы, которые не укладываются в систему падежей существительных. Такое явление нередко наблюдается в сфере личных местоимений. Так, например, в английском языке у личных местоимений имеется объектный падеж, которого нет в системе падежей существительных. Таким образом, в системе склонения английского личного местоимения следует признать два падежа — именительный и объектный, в то время как у существительного имеется тоже два, но других — именительный и родительный. В венгерском языке у личных местоимений отсутствует целый ряд падежей, имеющихся у существительных; нет падежа, соответствующего предельному падежу с формантом *-ig*, нет падежа, соответствующего временно́му падежу с формантом *-kor* и т. д., а наоборот, многие падежеподобные формы послеложных местоимений соотносительны с сочетанием послелогов с существительными. Ср. melletem «около меня» и az asztal mellet «около стола», feletted «над тобой» и az asztal felett «над столом» и т. д. В таких случаях целесообразно гово-

---

[1] См. «Грамматика русского языка», т. I. Изд-во АН СССР, М., 1952, стр. 371, 372, 377—379.

рить отдельно о падежной системе существительного и примыкающих к нему других частей речи и отдельно о падежной системе личных местоимений и примыкающих к ним других местоимений. (Так поступают многие языковеды. Например, Ильиш правильно рассматривает отдельно падежи существительных и падежи личных местоимений.)[1]

Однако нередко бывает, что и в сфере существительного приходится считаться с различными системами падежей. Так, в мокша-мордовском языке в основном (или неопределенном) склонении существительных имеется 12 падежей, оформленных характерными для каждого падежа окончаниями. В указательном (определенном) же ряде склонения имеется лишь три падежа, оформленных своими специальными окончаниями (именительный, родительный, дательный), остальным падежам основного склонения в указательном соответствуют послеложные конструкции.

Принимая за основной принцип, что падеж обязательно должен быть выражен морфологическими средствами, необходимо еще сказать несколько слов о том, какими могут быть эти морфологические средства.

Сюда относятся прежде всего всякого рода аффиксы, далее внутренняя флексия, а также изменения супплетивного порядка (последние обычно в сфере местоимений).

Иногда бывает, что два из этих средств сочетаются. Так, в русском языке в связи с присоединением падежных окончаний в основе очень часто происходят изменения как количественного, так и качественного порядка, ср. *доска́ — до́ску*, *отец — отцу* и т. д. В древневерхненемецком языке существительные основы на *-i-* в родительном и дательном падежах единственного числа, кроме окончания, имеют изменения коренного гласного по типу умлаута (внутренняя флексия), ср. именительный падеж anst, родительный и дательный ensti [2].

В венгерском языке у существительных с окончанием *-e* или *-a*, последние перед большинством падежных формантов переходят в *-é* или *-á*, то есть изменяются как в качестве, так и в количестве; ср. lecke «урок», leckében «в уроке», alma «яблоко», almában «в яблоке». В финском языке распространены изменения основы по так называемому чередованию ступеней согласных, выражающиеся как количественно, так и качественно: напр. kukka «цветок», kukan «цветка», ranta «берег», rannan «бе́рега» и т. д.

II. Вопрос о функции падежей

До сих пор мы неоднократно подчеркивали, что к определению падежа следует подходить со стороны формы. Однако не следует забывать и о том, что при определении падежа нельзя пренебрегать его функцией в предложении.

---

[1] Б. А. Ильиш. Современный английский язык. М., 1948, стр 102.

[2] См. В. М. Жирмунский. История немецкого языка. Изд. 3-е, 1948, стр. 160.

Формы изменения имен, особенно имен существительных, могут иметь разные функции в речи. Форманты притяжательного склонения в финно-угорских языках выражают принадлежность лица или предмета, обозначенного именем, другому лицу или предмету, обозначенному именем или местоимением. Оформители указательного склонения в мордовском языке играют приблизительно такую же роль, как определенные артикли в некоторых языках (французском, английском и т. д.), т. е. выражают (в широком смысле слова) определенность лица или предмета, обозначенных существительным. Формы же падежа выражают отношение существительного в данной падежной форме к другим словам в предложении.

Такое определение являлось бы достаточно исчерпывающим, если бы не нужно было иметь в виду звательного падежа, существующего во многих языках в парадигме склонения не только имени, но иногда и местоимения (ср. в латинском языке mi fili! «сын мой!» от meus filius «мой сын»). Звательный падеж оформляет обращение, которое стоит как бы обособленно в предложении, хотя с последним оно связано при помощи особой интонации. Звательная форма, следовательно, не выражает отношения существительного к другим словам в предложении. Поэтому для тех языков, в которых имеется морфологически выраженный звательный падеж, определение падежей должно быть несколько шире, чем в русском языке. Если не обращать в таких языках внимания на специальную функцию звательного падежа и специально не оговаривать ее, то звательный падеж неминуемо остается вне парадигмы падежного склонения.

Увлечение звуковой формой и пренебрежение ее сущностью может привести и к другим ошибкам, связанным с вопросом о частях речи.

Общеизвестно, что именно падежные формы имен наиболее легко переходят в словообразовательные. Этот процесс в значительной мере имеет место и в русском языке. «В современном русском литературном языке очень многочисленна группа наречий, образовавшихся из застывших форм косвенных падежей имен существительных — с предлогами и без предлогов»[1]. Таковы: *зимой*, *ночью*, *бегóм*, *ощупью*, *местами*, *временами* и т. д., не говоря уже о падежных формах в сочетании с предлогами, например, *внутри*, *вброд* и т. д.

Еще большее значение для словообразования имеют падежные формы в финно-угорских языках. В современном мордовском языке окончание родительного падежа существительных *-нь* является одновременно и словообразовательным суффиксом относительных прилагательных, ср. эрзя-мордовское *ломанень* «человека» и «человеческий», а также «чужой», *веденъ* «воды» и «водяной» и т. д. В том же языке окончания инессива *-сто*, *-стэ*, *-ста* являются словообразовательными суффиксами наречий, ср. эрзя-мордовское *кудо* «дом», *кудосто* «в доме», а с другой стороны, *вадря* «хороший», *вадрясто* «хорошо»; в венгерском падежное окончание супрессива часто совпадает с самым продуктивным словообразовательным

[1] «Грамматика русского языка», т. I. стр. 620.

суффиксом наречий, например, szépen обозначает и «на красивом» и «красиво», gazdagon «на богатом» и «богато».

Общераспространен в финно-угорских языках переход падежно-оформленных имен в послелоги, которые в большинстве своем образованы именно таким путем; так, в финском языке от слова pää «голова» образованы послелоги päällä «на» (на вопрос «где?»), päälle «на» (на вопрос «куда?») и päältä «с» (на вопрос «откуда?»), совпадающие по значению с выражениями *на голове*, *на голову*, *с головы*; в коми-языке от существительного *вые* «верх, поверхность» образованы *вылын* «на» (на вопрос «где?»), *вылӧ* «на» (на вопрос «куда?»), *вылыс* «с», совпадающие по значению с выражениями: «на поверхности», «на поверхность», «с поверхности».

Нередко послелоги финно-угорских языков рассматриваются как изменяемые по падежам части речи, хотя в действительности изменялось лишь то существительное, к которому они восходят. В самих же послелогах падежные форманты находятся в застывшем состоянии. Таким образом, финские päällä, päälle, päältä представляют собой три различных послелога, а не три различных формы одного послелога.

Другая ошибка, которая допускается при переоценке форманта, касается лишь отдельных слов. Это случаи, когда в некоторых словах обнаруживаются остатки каких-либо древних падежных форм, не употребляющихся свободно в современном языке. Таковы в венгерском языке слова, образованные от существительных при помощи непродуктивных суффиксов временно́го и дистрибутивного значения *-nta*, *-nte*, например, naponta «ежедневно», évente «ежегодно» havónta «ежемесячно» и т. д. Несмотря на то, что эти слова не могут изменяться по числам и притяжательному склонению и не могут определяться прилагательными (что явно свидетельствует о их принадлежности к наречиям), некоторые языковеды [1] рассматривают их, как падежные формы существительных и суффиксы *-lag*, *-leg*, *-nta*, *-nte*, имеющиеся только в словах, подобных приведенным выше, причисляют к падежным формам существительных.

Нетрудно понять, что подобные взгляды, как и пренебрежение к форме слова, ведут к неправильному установлению количества падежей в изучаемом языке.

Однако, кроме случаев, где превращение падежных окончаний в словообразовательные не подлежит сомнению, имеются переходные случаи, где решение вопроса представляется гораздо более трудным.

Данная проблема особенно актуальна для многопадежных языков. Так, среди многочисленных падежей отдельных финно-угорских языков, наряду с такими падежами, которые могут быть названы «полноценными», имеются и «неполноценные» падежи. В чем выражается их неполноценность? Обычно в том, что они употребляются редко (иногда только в опре-

[1] См. János Lotz. Das ungarische Sprachsystem. Stockholm, 1939, S. 63. См. также Siegmund Simonyi. Die ungarische Sprache. Straßburg, S. 381—382.

деленных оборотах) или же не обладают всеми грамматическими качествами, присущими другим, «полноценным» падежам.

Д. В. Бубрих, разбирая падежи эрзя-мордовского языка, пишет: «Есть целый ряд случаев употребления существительных, когда они, не отрываясь от категории существительных, все же приближаются к наречиям или к прилагательным. Они не отрываются от категории существительных, в частности потому, что сохраняют способность иметь при себе определения. Они приближаются к наречиям или прилагательным в связи с тем, что замыкаются в рамки основного склонения (по линии неопределенности) и оказываются вне числовых различий»[1].

Д. В. Бубрих эти случаи употребления существительных называет падежеподобными формами [2], так как они резко отличаются от «полноценных» падежных форм. Последние изменяются по трем рядам склонения (основному или неопределенному, указательному или определенному и притяжательному), по двум числам (единственному и множественному, особенно в ряде указательного склонения), падежеподобные же формы лишены этих возможностей изменения.

Подобные явления встречаются и в других финно-угорских языках. Так, в финском и в венгерском языках комитативные формы безразличны к числам, употребляясь формально только в одном из чисел, например, в финском языке во множественном, в венгерском — в единственном; ср. фин. lapsinensa «он со своим ребенком» или «он со своими детьми», венг. gyermekestül «с ребенком» или «с детьми». Приведенные формы имеют свои особенности и по отношению к притяжательному склонению: венгерский комитатив может употребляться только вне притяжательного склонения, а финский, наоборот, всегда выражается в соединении с притяжательными формами.

Иногда «неполноценность» падежей объясняется их отмиранием. Так, падежная форма *-t* (*-tt*) локатива (местного падежа на вопрос «где?») в венгерском языке в древности, по всей вероятности, свободно применялась ко всяким существительным. Об этом свидетельствует целый ряд послелогов, образованных от нарицательных имен при помощи этого падежного оформителя (ср. mellett «около» от существительного mell «грудь», дословно: «на груди»; között) «между» (от существительного köz «промежуток»; дословно: «в промежутке» и т. д.). Однако в современном венгерском языке *-t*(*-tt*) в качестве окончания локатива может присоединяться только к венгерским названиям некоторых городов, например, Győrött «в Дьере», Pécsett «в Пэче», но и при них все больше вытесняется окончаниями «полноценных» падежей *-ban* (*-ben*) и *-n* (*-on*, *-en*, *-ön*), например, Győrben «в Дьере», Pécsen «в Пэче».

Вопрос о «полноценности» падежей является вопросом первостепенной важности при характеристике каждого падежа в отдельности и системы

[1] Д. В. Бубрих. Эрзя-мордовская грамматика минимум. Саранск, 1947, стр. 19.

[2] Там же, стр. 20.

падежей в целом. Говоря о многочисленных падежах венгерского или финского языков (такое же положение имеется и во многих других языках), всегда нужно иметь в виду различную значимость этих падежей для данных языков и не ставить такой падеж, как, например, ограниченно употребляемый локатив венгерского языка в один ряд с полноценным инессивом или элативом в том же языке, или финский комитатив в один ряд с финским партитивом или иллативом.

До сих пор мы рассматривали ошибки, связанные с переоценкой формального момента и с пренебрежением к функциям падежа в связи с различными формами. Теперь мы перейдем к тем ошибкам, которые связаны с недифференцированным подходом к функциям падежа, к его значениям в пределах одной падежной формы. Такой подход характерен для языковедов, исследующих языки, в которых предлоги или послелоги связываются с определенными формами имен или местоимений. К таким языкам относятся русский язык (ср. *в комнату*: немецкий — *in den Raum* «в помещение»; финский — *pöydän päällä* «на столе» и многие другие). Некоторые языковеды, обращая внимание лишь на внешний морфологический признак падежа, делают вывод, что отношение падежно оформленного имени к другому имени, к глаголу или предлогу является отношением одинаковой значимости: «Если падеж не является падежом подлежащего, то он зависит от глагола или, как говорится, управляется им. . . Далее, большинство падежей может быть еще довольно тесно связано с другим (живым) падежом, вследствие чего они зависят от него. . . Третья часть разрядов слов, к которой падеж может иметь близкое отношение, — это те наречия, которые называются предлогами. И здесь падеж появляется в качестве зависимого управляемого члена» [1].

Из этого высказывания видно, что падеж, выступающий в связи с предлогами, приравнивается к падежу, выступающему в связи с именами или глаголами. Однако стоит только вникнуть в существо связи имени с предлогами, чтобы убедиться в том, что носителем определенных значений является в таких случаях не падеж, а сам предлог. Так, в русском языке местные значения могут быть выражены любой из косвенных падежных форм при наличии предлогов, причем местные значения, связанные с вопросом «где?», могут быть выражены четырьмя падежными формами: творительным — *над окном, под окном, перед окном,* родительным — *около окна, возле окна, близ окна,* предложным — *в окне, на окне, при окне,* дательным — *по улице.* Однако во всех этих случаях местные зна-

[1] «Ist der Kasus nicht Subjektkasus, so erscheint er als abhängig vom Verbum, ode wie man auch sagt, als von ihm regiert. . . Die meisten Kasus können ferner in einer engeren Beziehung zu einem anderen (lebendigen) Kasus stehen, durch die sie von ihm abhängig erscheinen. . . Eine dritte Wortklasse, zu der der Kasus ein näheres Verhältnis haben kann, sind diejenigen Adverbia, welche man Präpositionen nennt. Auch hier erscheint der Kasus als der abhängige regierte Teil». Brugmann-Delbrück. Grundriß der vergleichenden Grammatik. 1911, S. 457.

чения выражены не в самом падеже, а в предлоге. Падеж служит для дифференциации оттенков значения предлогов в таких случаях, когда предлог может связываться с двумя падежами, например, *в комнате* и *в комнату*. Впрочем, и в таких случаях падеж часто бывает безразличным, например, *между окон* и *между окнами*.

Примеры с предлогами местного значения в русском языке ясно свидетельствуют о том, что падежное оформление здесь выступает не вследствие собственного значения падежа, а в порядке «управления» предлога (мы здесь сохраняем термин «управление» ради краткости, хотя он не является правомерным относительно предлогов и послелогов, как служебных слов, которые сами являются посредниками управления глагола).

Совсем иначе обстоит дело с местными падежами, скажем в финно-угорских языках. В венгерском выражении házból «из дома», финском talosta, мордовских — *кудосто, кудоста* (перевод тот же) носителем местного значения является не какой-либо предлог или послелог, а сам местный падеж, который (вступая в связь с глаголом) указывает на место действия.

Из этого следует, что неправы те языковеды, которые безоговорочно ставят знак равенства между падежами, выступающими хотя и в некоторой зависимости от глагола, но в то же время в еще большей мере в зависимости от значения самого падежа (этот случай мы будем называть действительным падежом), и падежами, выступающими в порядке несвободной связи с предлогом.

Падеж, связанный с предлогом или послелогом, только тогда обладает всей полнотой значимости, когда, как и в русском предложном падеже, носителем основного значения является падежная форма, а не предлоги. Русский предложный падеж, хотя и не может выступать самостоятельно (без предлога), все же является носителем определенного значения (в основном местного на вопрос «где?»), которое конкретизируется значением предлогов *в, на, при*.

В огромном же большинстве случаев падежная форма в связи с предлогами (послелогами) должна рассматриваться как вторичная, подчиненная, которая с точки зрения современного языка представляется случайной, механической, опирающейся только на привычную норму и не вытекает из самого значения падежа.

Однако то, что с точки зрения современного языка кажется необъяснимым, безусловно имеет свое объяснение в истории языка. Так, в финском языке большинство послелогов состоит в несвободной связи управления с родительным падежом. С точки зрения современного языка это может показаться случайностью, но стоит только обратиться к истории финского языка, и сразу раскрываются истинные причины этого явления. Так, послелог päällä «на» восходит к слову pää «голова, верх», и дословно означает «на голове, на верху», следовательно, оформление существительного pöytä «стол» окончанием родительного падежа в выражении pöydän päällä «на столе» первоначально означало «на верху стола» (дословно: «стола верху на»). В венгерском языке некоторые послелоги связаны

с суперессивом, например, a kerítésen belül «внутри забора». Однако belül и в современном языке употребляется еще в качестве наречия (так же как и русское «внутри»), а раньше в подобных сочетаниях и падежная форма и наречие могли выступать в своих основных значениях, например, a kerítésen belül означало «на заборе внутри» дословно: «забор на внутри», и только позднее этот оборот стал осмысливаться как «внутри забора». Действительное свободное отношение этих двух слов, перейдя в несвободное управление, в последнем виде могло потом распространяться и на другие подобные случаи.

Рассмотрим теперь связь падежнооформленного имени или местоимения с глаголом. Оказывается, и здесь степень зависимости, подчиненности падежнооформленного имени не во всех случаях однородна. Это было подмечено в свое время К. С. Аксаковым: «Доселе падежи рассматривались вместе с глаголом или предлогом, как какое-то дополнение, и исчезал их собственный, общий разумный смысл. . . Между тем, если вникнем в сущность дела, то легко увидим, что падежи имеют свой самостоятельный смысл», и далее «Падежи имеют, повторяем, свой самостоятельный, независимый, разумный смысл, и потому могут и должны рассматриваться сами в себе, а не только в употреблении; следовательно, должны быть поняты с этой точки зрения, даже и вне синтаксиса, в котором, конечно, как в живой речи, полнее выступает смысл и падежей. . .» [1]

Подобные соображения высказывал и немецкий языковед Пауль: «Принято говорить, что какой-либо падеж управляется каким-то другим словом, а именно глаголом или предлогом. Это выражение. . . подверглось критике со стороны представителей сравнительной грамматики, которые, наоборот, показали, что выбор какого-либо падежа определяется не тем словом, с которым он связан, а его собственным значением» [2].

Наиболее независимыми от глагола являются различного типа обстоятельственные падежи: местные, временные, причинно-целевые, образа действия (в тех языках, где они имеются). Они связаны с глаголом лишь постольку, поскольку выражают различные обстоятельства действия, поэтому их отношение к глаголу, их зависимость от последнего мало ощущается. Падежи в таких случаях большей частью выступают в своем собственном значении, а не потому, что такой-то глагол управляет таким-то падежом.

Так, в венгерском языке глагол *лежать* может выступать с несколькими падежами: a beteg a *hálószobában* fekszik «больной лежит

---

[1] К. Аксаков. Опыт русской грамматики, ч. 1, вып. 1. М., 1860, стр. 85.

[2] «Man pflegt zu sagen, daß ein Kasus von einem Worte, namentlich von einem Verbum oder einer Präposition regiert werde. Diese Ausdrucksweise. . . ist von Vertretern der vergleichenden Grammatik beanstandet worden, die dagegen geltend gemacht haben, daß die Wahl eines Kasus nicht durch das Wort, mit dem er verknüpft ist, sondern durch seine eigene Bedeutung bestimmt werde». Hermann Paul. Deutsche Grammatik, 1916, § 192.

в спальне»; hálószobá*ban* — инессивная форма существительного hálószoba «спальня»; a beteg az *ablaknál* fekszik «больной лежит *у окна*»; ablak*nál* — адессивная форма существительного ablak «окно»; a beteg a *pamlagon* fekszik «больной лежит *на диване*»; pamlag*on* — супрессивная форма существительного pamlag «диван». Во всех этих случаях различные падежи появляются не потому, что глагол feküdni «лежать» требует какого-либо определенного падежа, а потому, что содержание предложения для указания места действия, выраженного в глаголе, требует того или иного падежа в его собственном значении.

Управление же глагола в данных случаях реализуется лишь постольку, поскольку глагол feküdni «лежать», как глагол, выражающий состояние, может связываться только с такими местными падежами, которые отвечают на вопрос «где?». С другой стороны, с глаголом feküdni допустимо употребление еще других падежей, например, három *óráig* feküdt «он лежал *в течение* трех *часов*»; óráig — терминативная форма существительного óra «час»; hét órakor már ágyban feküdt «в семь *часов* он уже лежал в постели»; óra*kor* форма темпоралиса от существительного óra «час». Из приведенных примеров видно, что применение падежа зависит прежде всего от смысла высказывания, а не от глагола, что последний с данными падежами связан очень свободно, так же как и в переводах приведенных венгерских предложений соответствующие венгерским падежам русские предложные обороты не зависят или почти не зависят от глагола. Данные падежи (в русском — предложные обороты) со своей стороны также не влияют на значение глагола.

Однако неправильно было бы думать, что обстоятельственные падежи (в русском обстоятельственные предложные конструкции) не могут быть связаны с глаголом более тесно. Наоборот, это очень часто встречается, когда они выражают объектные значения. Например, в венгерском предложении: ez nem tartozik a *barátodra* «это не касается твоего друга» (дословно «это не принадлежит *на твоего друга*») сублатив употребляется в данном значении только с этим глаголом, он уточняет значение последнего, ср. ez nem tartozik a *házhoz* «это не относится *к дому*», ő nem tartozik a *barátodnak* «он не должен *твоему другу*». В первом примере связь глагола с управляемым именем (несмотря на то, что последнее стоит формально в конкретном местном падеже) настолько несвободна, что синтаксическое сочетание отходит от грамматики и приближается к фразеологическим единицам.

Несколько сложнее обстоит дело с объектными падежами, потому что различные значения дополнений менее четко дифференцированы друг от друга. Однако, несмотря на это, и в этой области нередко ясно выступает на первый план основное значение падежа. Рассмотрим примеры: *выпить воды* и *выпить воду*. В этих выражениях отношение имени *вода* к глаголу *выпить* представляет собой отношение дополнения. Однако в одном случае это дополнение оформляется родительным, в другом — винительным падежом. Очевидно, что при близких объектных отношениях раз-

ное оформление дополнения диктуется не глаголом, а задачей предложения и возможностями в русском языке выразить разницу в тотальном и парциальном дополнениях различными формами падежа. В примере же *я показываю книгу друзьям* слова *книгу* и *друзьям* не потому оформлены окончаниями винительного и дательного падежей, что глагол *показывать* управляет какими-то падежами, а потому что основные значения данных падежных форм предназначены для выражения именно таких отношений: здесь противопоставляется дательный адресата винительному прямого дополнения.

И, наоборот, в словосочетаниях: *руководить работой, институтом, исследованием, раскопками* и т. д., *заниматься исследовательской работой, физикой, музыкой* и т. д., *управлять имением, государством* и т. д., *пахнуть цветами, интересоваться музыкой, науками* и во многих других употребление формы творительного падежа не связано с каким-либо определенным содержанием последнего, так как оно не грамматикализовано. Это положение еще больше подкрепляется такими случаями, когда два глагола в одном и том же значении связываются с двумя различными падежами, например, в немецком языке глагол treffen в значении «встретить» требует винительного, а глагол begegnen в том же значении — дательного падежа.

Поскольку связь через управление с точки зрения современного языка не имеет отношения к основным значениям данного падежа, она и легче разрушается. В немецком языке глагол helfen «помочь» раньше управлял винительным падежом, в современном же немецком языке он связан с дательным, который как падеж интереса (dativus commodi) больше чем винительный приспособлен для выражения данного значения.

В венгерском языке выражение gondot viselni раньше управляло делативом, ср. mely nagy gondot visel a szegényekrȏl (Кодекс Эрди, 1527; «как она заботится о бедных», теперь мы бы употребляли с сублативом szegényekre); глагол törȏdni требовал суперессива, ср. a legnehezebb matéria, akin̲ életemnek folyásában törȏdtem (Zrinyi Miklós, Vitéz hadnagy, XVII век, «самый трудный материал, на который я обращал внимание в своей жизни» теперь мы бы сказали с социативом akivel, точнее amivel). В венгерском языке при глаголе segíteni «помочь» может быть и винительный и суперессив (верхненаходящийся) и дательный падеж, правда, с несколько различными оттенками значения. Однако и здесь только дательный падеж выступает в своем собственном значении в качестве дательного интереса. Все же этот пример показывает, что управление успешно используется для уточнения различных оттенков значений словосочетания.

Как при предлогах (и послелогах), так и при глаголах то, что с точки зрения современного языка кажется необоснованным использованием данной падежной формы, в прошлом могло быть совершенно обоснованным. Иначе говоря то, что в современном языке является несвободно управляемым падежом, в прошлом могло быть действительным падежом, состоя-

щим с глаголом в связи «слабого управления». Такой сдвиг объясняется чаще всего или изменением значения глагола или изменением значения падежной формы. Так, в современном финском языке глагол pelätä «бояться» управляет партитивом, что совершенно необъяснимо из значения падежа. Однако известно, что финский партитив развился из аблатива (отложительного падежа). Связь глагола pelätä «бояться» с аблативом была естественна, ибо от того, чего человек боится, он и стремится отдалиться, удалиться. Вот почему в венгерском языке до сих пор глагол félni, соответствующий финскому pelätä, да и все другие глаголы, выражающие страх, боязнь (например, visszariadni, borzadni, rettegni), связаны с аблативом. В мордовском языке глагол, обозначающий *бояться* и соответствующий финскому pelätä, также имеет при себе аблатив. Подобное явление наблюдается и в русском родительном падеже, которым, по словам В. В. Виноградова, выражаются отрицательные значения после глаголов с отрицанием и отложительные формы в связи с глаголами *дичиться*, *чуждаться*, *лишаться*, *беречься*, *остерегаться*, *опасаться*, *бояться* и т. п.[1]

В современном венгерском языке глаголы részesíteni «давать, наделять», részesülni «получать» управляют инессивом, что с точки зрения современного языка необъяснимо. Однако глаголы részesíteni и részesülni связаны с объектом неполного охвата (они даже образованы от слова rész «доля, часть»), а в старом венгерском языке инессив имел и партитивное значение, которое позднее им было утеряно. Таким образом, в свое время инессив при глаголах részesíteni и részesülni был оправдан своим собственным значением, и только после того, как он перестал выражать партитивность, его связь с глаголами részesíteni и részesülni превращалась в чистое управление.

Разница между управляемым и свободно употребляемым действительным падежом выступает и в применении падежа при имени. Так, в выражении *удар молотком* мы имеем случай действительного падежа, так как форма творительного падежа применена согласно одному из основных значений этого падежа, значению орудия действия, в выражении же *руководство работой* эта же самая форма выступает в порядке управления отглагольного имени *руководство*.

Недооценка значения функций падежей в данной области ведет к неправильному раскрытию характера, объема содержания отдельных падежей, к тому, что наряду с характерными и более или менее регулярно выступающими грамматикализованными значениями падежа последнему приписываются и такие, которые с точки зрения современного языка для данного падежа являются не характерными, а как бы случайными. Так, в венгерском языке было бы неверно приписывать транслативу (превратительному падежу), оформленному окончаниями *-vá -vé*, местное значение (на вопрос «куда?»), которое обнаруживается только в таких фразеологических сочетаниях, как világgá menni «идти, куда глаза глядят»,

[1] См. В. В. Виноградов. Русский язык. 1947, стр. 174.

világgá kürtölni «протрубить на весь мир». Несмотря на то, что данное местное значение являлось когда-то основным для этой падежной формы, в современном языке оно обнаруживается лишь пережиточно и из области грамматики отошло в область лексики, в область фразеологических единиц.

III. Послелоги и падежные окончания

В флективных языках падежные оформители очень хорошо разграничены от служебных слов (предлоги, послелоги), имеющих те же синтаксические функции. Так, в некоторых индоевропейских языках падежные оформители, состоящие обычно из одного-двух звуков, прочно сливаются с основой существительного, которое без этих формантов встречается редко, (ср. русск. *девушк-а*, *девушк-у*, *девушк-ой*, *девушк-е* и т. д.) и если даже встречается (ср. *девушек*), то такая форма без падежного суффикса на фоне других окончаний этого ряда (ср. *стол-ов*, *учител-ей* и т. д.) осмысливается как форма как бы с нулевым окончанием. В индоевропейских языках разграничение падежной формы от служебного слова облегчается еще тем обстоятельством, что в них служебные слова, как правило, расположены перед именем, к которому они относятся (т. е. являются предлогами), в то время как падежные форманты занимают как раз противоположное место (т. е. являются окончаниями). Переход же в некоторых языках предлогов в падежные префиксы затруднен и тем, что между предлогом и существительным могут вклиниваться другие слова; ср. русск. *на столе*, *на этом столе*, *на большом столе*.

Совсем иначе обстоит дело в финно-угорских языках. В них вместо предлогов применяются послелоги, а между послелогом и именем ничего не может стоять, ср. венг. ház mellett «около дома»(дословно «дом около»); nagy ház mellett «около большого дома» (дословно «большой дом около»), мар. *пӧрт воктен* «около дома», *кугу пӧрт воктен* «около большого дома». Кроме того, во многих финно-угорских языках послелог связан с падежно неоформленным именем (см. приведенные примеры). Однако в этих языках падежные окончания близки к послелогам не только по своему расположению, но, как и вообще в агглютинирующих языках, они не очень тесно связаны с основой и поэтому в слове хорошо выделяются. Этим и объясняется довольно легкий переход послелогов в падежные окончания. Насколько можно судить по истории отдельных финно-угорских языков, в них большое количество падежей образовано именно таким путем. Так, всего несколько столетий назад в качестве отдельного послелога в венгерском языке употреблялось слово kort или koron, перешедшее впоследствии в падежное окончание kor. Приблизительно семь столетий назад еще употреблялись послелоги beleül, belé, позднее также перешедшие в падежные окончания.

Каковы же критерии перехода послелога в падежное окончание, как отличить послеложную конструкцию от падежнооформленного имени?

На этот вопрос не так просто ответить, ибо нет и не может быть одинаковых критериев для всех языков. Ниже мы разберем некоторые из них на материалах финно-угорских языков.

Одним из самых ярких и надежных критериев является вступление в силу сингармонизма для тех языков, где последний имеется. Послелог как отдельное, хотя и служебного характера слово, не приспособляется по закону гармонии гласных к гласному составу имени, например, фин. talon päällä «на доме», pöydän päällä «на столе»; падежное окончание (если оно содержит такой гласный, который подвергается изменению по гармонии гласных) не имеет своего собственного звукового состава, оно меняется в зависимости от гласного состава имени; ср. фин. talo*ssa* «в доме», pöydä*ssä* «в столе». Подобный критерий успешно применяется во многих финно-угорских языках, в том числе в венгерском и в мордовском.

Однако даже в этих языках некоторые окончания содержат такие гласные, которые по законам данных языков уживаются с любыми основами. Так, в финском и в венгерском языках звуки *e* и *i* являются нейтральными по своему отношению к разным рядам гласных. В таких случаях часто критерием может считаться изменение основы. Так, в том же венгерском языке окончания причинно-целевого и предельного падежей *-ért* и *-ig*, не подчиняясь закону гармонии гласных, отличаются от послелогов тем, что, присоединяясь к словам, оканчивающимся на гласные *-a* или *-e*, в последних вызывают изменения (переход *a* в *á*, *e* в *é*), например, haza «родина», hazáért «за родину», kertje «его сад», kertjéig «до его сада». При употреблении послелогов в таких словах не происходит изменений, ср. haza számára «для родины», kertje mögött «за его садом». В коми языке, в котором нет сингармонизма, такие звуковые чередования являются также одним из основных средств различения падежных окончаний от послелогов. Так, в коми языке у слов, оканчивающихся на *в*, этот звук перед гласным окончания переходит в *л*, например, *нывъ* «девушка», *нылöс* «девушку». Перед послелогами же, которые являются отдельными словами, такие чередования не имеют места; ср. *ныв* «девушка» *ныв ордö* «к девушке». Естественно, что падежное окончание, вызывающее чередование звуков в одних словах, будет считаться окончанием и таких существительных, в которых в силу других фонетических условий не происходит чередования.

Менее надежным критерием различения послелогов от падежных окончаний в некоторых языках является то обстоятельство, что одни и те же падежные окончания при существительных, состоящих друг с другом в сочинительной связи, обязательно повторяются, у послелогов же такое повторение не обязательно, т. е. один послелог может «обслужить» два существительных. Такое положение имеется и в русском языке, хотя там речь идет о предлогах; например, в выражении «отцу и сыну» флексия дательного падежа обязательно повторяется, но в выражении «для отца и сына» предлог «для» употребляется один раз (хотя может и повторяться: *для отца* и *для сына*).

На этот критерий для разграничения падежных окончаний от служебных послелогов в коми языке указывает и Д. В. Бубрих. Говоря о способности послелогов «обслуживать не только отдельные имена существительные, но и сочетания сочиненных между собою существительных», он отмечает, что «эта последняя способность в литературном языке сказывается достаточно хорошо. Так, литературный язык допускает *му да ва вылып* «на земле и воде» (в старобытной речи лучше *му вылып да ва вылып* «на земле и на воде)» [1].

Таким образом, для некоторых коми диалектов, повидимому, этот критерий неприемлем, что, однако, не исключает его приемлемости для других языков. Однако следует отметить, что в некоторых языках в подобных сочетаниях имеется возможность опускать не только послелог, но и падежное окончание. Такая возможность имеется (правда, очень ограниченно) и в венгерском языке; например, вместо minden anyá*nak* és leány*nak* «каждой матери и дочери» (здесь оба существительных оформлены окончанием дательного падежа -*nak*) иногда возможно и minden anya- és leány*nak*).

В некоторых языках послелоги имеют самостоятельное (хотя и ослабленное) ударение, чем и отличаются от падежных окончаний. Таково положение в коми языке, в венгерском и во многих других.

В некоторых языках послелоги успешно различаются от падежных окончаний по лексическому признаку. Так, в финно-угорских языках послелоги обычно восходят к какому-либо существительному, и в них былое лексическое значение еще довольно живо ощущается. Падежные же окончания обычно не напоминают никакого слова и большей частью и по звуковому составу являются очень краткими по сравнению с послелогами.

Перечисленные критерии различения послелогов от падежных окончаний, естественно, не исчерпывают всех возможностей такого рода. Следует помнить и то, что едва ли имеется такой язык, в котором достаточен был бы один какой-нибудь критерий. Большей частью нужно иметь в виду не один, а несколько критериев. Это в особенности относится к многопадежным языкам, в которых и падежи и послелоги могут быть самого различного «возраста», от уходящих в глубокую древность до оформившихся сравнительно недавно.

IV. Развитие системы падежей

В течение последних двух-трех десятилетий в трудах зарубежных языковедов все больше и больше внимания уделяется изучению и восхвалению аналитических языков. Английский язык при этом провозглашается верхом совершенства, самым прогрессивным, самым выразительным и в то же время самым разумным и экономным языком по использованию языковых средств для выражения сложнейших человеческих мыслей.

---

[1] Д. В. Бубрих. Грамматика литературного коми языка. Л., 1949, стр. 161.

Наиболее известный пропагандист этих идей датский языковед Есперсен в одной из своих работ посвятил этой теории три главы [1].

Взгляды Есперсена неоднократно подвергались резкой критике советских языковедов, которые сравнивали с английским языком русский язык, являющийся исключительно богатым и развитым несмотря на то, что в нем имеется сложная система склонений и спряжений и широко применяется согласование определения с определяемым. Однако, если в германских языках наблюдается более или менее быстрое движение к анализу, то такое движение вовсе не является обязательным для русского языка. С другой стороны, история многих языков показывает, что интенсивное исчезновение грамматических аффиксов словоизменения происходит обычно в бесписьменную эпоху или когда письменность еще мало распространена и поэтому не может законсервировать грамматические формы.

Однако в бесписьменную эпоху (или в самом начале появления письменности) в некоторых языках наблюдается обратное явление, т. е. интенсивный рост количества грамматических формантов, в том числе и падежных, чего не хочет замечать Есперсен. Он приводит много примеров, но только таких, которые подтверждают его теорию. Для этой цели он обращается не только к индоевропейским языкам, но и к семитским, турецкому, китайскому и даже банту. Есперсен обходит только финно-угорские языки, не подтверждающие его «теорию» о прогрессе языка.

Если обратиться к современным финно-угорским языкам, то сразу же поражает разнообразие, с которым используются формы склонения или спряжения в отдельных языках этой семьи.

По системе падежей к английскому языку ближе всего из финно-угорских языков стоит хантыйский, в казымском диалекте которого имеется только три падежа. За хантыйским языком идет ближайший к нему мансийский, имеющий шесть падежей. Нужно сказать, что оба народа живут в северных областях на реке Оби и являются почти самыми малочисленными из народов, говорящих на финно-угорских языках. До Октябрьской революции манси и ханты не имели письменности.

Самой древней письменностью из всех финно-угорских народов обладает венгерский. Первый связный письменный памятник, дошедший до нас, относится к рубежу XII и XIII вв., но отдельные отрывки сохранились и от XI в. В XVI в. венгры писали уже на довольно развитом литературном языке. Вопреки теории Есперсена венгерский язык обладает огромным количеством падежей, бо́льшим, чем все остальные финно-угорские языки. Большое количество падежей имеется также и в финском, и в коми языках, имеющих (после венгерских) самые старые письменные памятники.

Интересно отметить, что огромное большинство падежей в этих многопадежных языках, судя по данным сравнительной грамматики финно-угорских языков, возникло в эпоху, когда эти языки уже обособились друг от друга.

---

[1] См. Otto Jespersen. Die Sprache, ihre Natur, Entwicklung und Entstehung. Heidelberg, 1925, S. 289—351.

В венгерском языке большое количество падежей возникло в период X—XIV вв., в то время, когда венгры уже имели свою государственность. Таковы дательный падеж (оформитель *-nak*, *-nek*); иллатив (оформитель *-ba*, *-be*), инессив (оформитель *-ban*, *-ben*); элатив (оформитель *-ból*, *-ből*) и др. В эпоху создания первых письменных памятников все эти падежные форманты находились еще в полупослеложном, полупадежном состоянии. Это проявлялось в том, что они еще не имели различных форм для основ с гласными переднего и заднего ряда, иначе говоря еще не уподоблялись по линии сингармонизма, т. е. являлись отдельными словами. Так, суффикс иллатива в «Надгробной речи» (этот памятник относится к рубежу XII и XIII вв.) еще находится в форме *bele-*, например, uruszágbele, világbele. Эти же слова в современном языке звучали бы országba, világba «в страну, в мир». Еще более нового происхождения в венгерском языке падежи с оформителями *-kor* и *-kep*, которые до сих пор не вполне перешли в падежные окончания и близки к послелогам.

Труднее установить время возникновения отдельных падежей в других финно-угорских языках, так как их исторические памятники еще слишком новы. Несмотря на это, не подлежит сомнению, что так называемые s-овые падежи являются не очень древними по происхождению, так как они характерны только для прибалтийско-финских, мордовского и марийского языков.

Некоторые падежные формы финского языка легко расшифровываются как осложненные варианты более древних падежных форм. Отметим еще, что в прибалтийско-финских языках хорошо развилось согласование определения с определяемым по числам и падежам.

Материалы сравнения финно-угорских языков показывают, что в языке-основе было гораздо меньше падежей, чем в большинстве современных финно-угорских языков.

По этому поводу финский языковед Хакулинен справедливо пишет: «финно-угорские языки. . . в течение времени, доступного исследованию, показывали вообще противоположное направление в развитии по сравнению с индоевропейскими языками. Обнаруживается тенденция к обогащению падежной системы, в то время как в индоевропейских языках падежные формы вообще сокращались, давая место растущему использованию предлогов. Расхождение в развитии таким образом на финно-угорской стороне увеличило, а на индоевропейской стороне уменьшило синтетизм в строе языков. Поэтому финский и родственные языки в этом отношении не подкрепляют теорию, что развитие всех языков вообще состояло бы в движении к аналитическому строю» [1].

К этому замечанию Хакулинена следует еще добавить, что переход послелогов в падежные форманты в некоторых финно-угорских языках наблюдается еще в настоящее время. Так, в диалектах некоторых бесписьменных прибалтийско-финских языков, в том числе карельского, имеются

---

[1] L. Hakulinen. Ук. соч., стр. 85 (перевод наш).

такие падежные формы, которым в других диалектах или в близкородственных языках соответствуют послелоги. Бесспорным доказательством этого перехода является вступление в силу гармонии гласных: там, где уже имеется падежный формaтив, последний выступает в двух вариантах, в одном из которых, согласно вокализму основы существительного, находим гласный переднего ряда, а в другом — гласный заднего ряда. В других же диалектах или близкородственных языках соответствующая этим окончаниям частица еще имеет только один вариант (обычно более полный по своему звуковому составу), который безразлично обслуживает как основы с переднерядными, так и основы с заднерядными гласными. Это свидетельствует о том, что данные частицы еще являются отдельными словами, т. е. послелогами, ср. в ливвиковском диалекте карельского языка meččäss*äh* «до леса», loppus*sah* «до конца» с финскими metsään *saakka* «до леса» и loppuun *saakka* «до конца»; в ливвиковском диалекте карельского языка mečäl*lyö* «у леса», talol*luc* «у дома» с финскими metsän *luo* «к лесу» и talon *luo* «к дому» и т. д.[1].

Иногда, наоборот, наблюдается как бы отставание диалектов от литературного языка. Так в гечейском говоре венгерского языка некоторые форманты падежей литературного языка еще находятся в полупослеложном состоянии. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что они не уподобляются по линии сингармонизма, ср. házbe, táncbe, szájábe (вместо литературных: házba, táncba, szájába «в дом, в танец, в его рот»), lovamnek, fiánek (вместо литературных: lovamnak, fiának «моему коню, его сыну»)[2]. Это, естественно, не означает, что литературный язык способствует более быстрому переходу послелогов в падежные форманты (дело обстоит как раз наоборот), а лишь то, что в диалекте, который лег в основу литературного языка, переход послелога в падежное окончание уже был ранее завершен.

Кроме процесса роста количества падежей в истории финно-угорских языков наблюдается еще обратный процесс: отмирание отдельных живых падежных форм, застывание их в наречиях, в послелогах, во фразеологических единицах. Почти во всех финно-угорских языках можно найти такие слова, в которых отдельные застывшие форманты легко противопоставляются живым и продуктивным падежным формам других родственных языков. Так, в финском слове kotona «до́ма», являющемся наречием, обнаруживается один из самых древних падежных оформителей, восходящий еще к языку-основе — это n-овый локативный суффикс, сохранившийся до сих пор в большинстве финно-угорских языков (в финском-суоми языке в пространственном значении только пережиточно в некоторых словах). В венгерском языке пережиточно форма *-int* (например, в словах

---

[1] Примеры взяты из диссертации З. М. Дубровиной. Послелоги и предлоги в современном финском литературном языке, стр. 253—255.

[2] См. Horger A. A magyar nyelvjárások. Budapest, 1934, 125—128. old.

részint «отчасти», szerint «по, согласно») сохранилась только как бы случайно, но в старом языке еще функционировала как падежное окончание.

Все изложенное свидетельствует о том, что процесс развития языков протекает далеко не так просто и единообразно, как это представляется Есперсену, и что путь развития одного языка или групп языков является вовсе не обязательным для других. Как пишет И. В. Сталин, каждый язык совершенствуется по своим внутренним законам развития, что прекрасно подтверждается материалами из истории финно-угорских языков. Эти материалы показывают, что в финно-угорских языках на определенных этапах развития происходило как нарождение одних падежных форм, так и отмирание других. В некоторых из них быстрее шел первый из этих процессов, в других он все еще продолжается, и возможно, будет продолжаться и дальше. Если бы Есперсен был прав, то мы должны были бы считать, что эти финно-угорские языки не прогрессируют, а регрессируют, и это относилось бы в первую очередь к венгерскому языку XI—XIV вв.

Если английский язык идет к анализу, то этот путь для него означает прогресс и если венгерский язык XI—XIV вв. обогащался большим количеством новых падежных форм, то это для него также было прогрессом, а не регрессом, так как совершенствование любого языка проявляется не в приобретении какой-нибудь одной новой особенности, а в совокупном развитии новых особенностей, в гармоничном их взаимодействии со старыми.

Н. И. ФЕЛЬДМАН

ОТЫМЕННЫЕ ПОСЛЕЛОГИ В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

I

Когда советский лингвист-японовед изучает явления японского языка, ему при ознакомлении с литературой нередко приходится сталкиваться с тремя разными точками зрения на один и тот же вопрос, вытекающими из принципиально различных общих установок. Одна из них принадлежит японским авторам, другая — западноевропейским — иногда к ней примыкают дореволюционные русские японоведы — и третья — советскому японоведению. Постановка вопроса о послелогах, в частности об отыменных послелогах, вполне может служить иллюстрацией сказанного.

Следует прежде всего обратить внимание на то, что рассмотрение чисто грамматических морфем и служебных слов японскими грамматистами проводится в целом в ином плане, чем в европейской грамматической литературе. Японская лингвистика, сформировавшаяся под сильным влиянием китайской филологии и длительное время развивавшаяся в полном отрыве от европейского языкознания, ко многим явлениям языка подходила с иными критериями, пользовалась иной терминологией, чем европейская. С широким проникновением в Японию европейской культуры, в особенности с начала текущего века, стала сближаться с европейской и японская наука, в том числе, хотя по вполне понятным причинам более медленно, и лингвистика, в частности исследования по грамматике. В результате такого сближения японские грамматические работы последних десятилетий стали представлять собой своеобразное соединение традиционных японских лингвистических понятий с европейскими. Это соединение иногда несогласуемых понятий производится каждым грамматистом в отдельности в различной степени и различными способами, в результате чего и у крупных и у рядовых авторов наблюдается поражающий разнобой в терминологии. Это сильно затрудняет ясное изложение того, как разрешается тот или иной вопрос японской грамматики в японской грамматической литературе.

В одной из сравнительно новых лингвистических работ — «Истории японского языка» — автор профессор Киндаити, давая классификацию языков и деля их в целом на синтетические и аналитические, кладет в основу дальнейшего подразделения языков второй группы наличие в языке предлогов (*дзэ́нтиси*) или послелогов (*кó:тиси*)[1]. К последней подгруппе он относит алтайские языки, а так как выводом исследования Киндаити является причисление им, на основании данных фонетики, японского языка к алтайским, то из этого вытекает, что и в японском языке существуют послелоги. Однако профессор Киндаити совершенно не касается того, какие именно элементы японского языка следует определять как послелоги. Повидимому, под этим словом он имеет в виду все вообще служебные элементы японского языка.

Такое предположение вызывается следующим: слово *кó:тиси* — послелог — очень узко по своему употреблению; оно встречается почти исключительно в специальных грамматических работах и отсутствует в обычных толковых словарях, даже в таком полном и не старом словаре, как «Дзиэн»[2]. Если же оно встречается в неспециальных, толковых словарях расширенного типа, то обычно понимается именно так, как указано выше. Так, пятитомный толковый словарь «Гэнсэн»[3] определяет слово *кó:тиси* как «то же, что тэниоха», а *тэниоха* — традиционное японское название всех вообще служебных элементов языка. Точно такое же определение находим в пятитомном толковом словаре «Дайниппóн кокугó дзитэ́н»[4]. Изредка такое понимание термина *ко:тиси* можно встретить и в грамматических работах. Например, Мацумия, в «Грамматике японского разговорного языка», написанной на английском языке, переводит слово *дзёси* (то же, что *тэниоха*) словом postposition[5]. Однако использование этих терминов носит характер скорее общераспространенного, т. е. бытового словоупотребления. Иначе ставится вопрос в специальной грамматической литературе, в аспекте классификации частей речи. Ни в одной из серьезных японских грамматик авторы не пользуются систематически словом *ко:тиси* для обозначения ни всех вообще, ни какой-либо одной категории служебных элементов японского языка. Такую категорию служебных слов, как послелог, японские грамматики в число частей речи не включают.

Однако сам вопрос о наличии послелогов ими все же был поставлен. Здесь не место излагать вопрос о трактовке в японской грамматике частей речи в целом, достаточно отметить следующее. Традиционным,

---

[1] Киндаити. Кокугоси (История японского языка). Токио, 1938.

[2] «Дзиэн» проф. И. Симмура. Токио. 1940.

[3] «Генсэн», под ред. Хага Яити. Токио, 1927 (переработанный словарь «Котоба-но идзуми», под ред. Отиаи Наобуми).

[4] «Дайниппон кокуго дзитэн», под ред. Уэда Маннэн. Токио, 1928.

[5] Jahei Matsumiya. A grammar of spoken japanese. Токио, 1937, стр. 103.

классическим для старой японской лингвистики является то деление на части речи, которое дал крупнейший лингвист периода позднего феодализма (эпохи Токугава) То́дзё Гимо́н (1786—1843). Гимон различает три разряда слов: *та́йгэн* — слова-субстанции, *ё́гэн* — слова-акциденции и *го́дзи* — служебные элементы. В разряд *тайгэн* вошли слова, впоследствии отнесенные к существительным; в разряд *ёгэн* — слова, позже определенные как глаголы, и те прилагательные, которые обладают свойством предикативности; в *годзи* — все служебные элементы, как служебные слова и частицы, так и морфемы. В основе эта классификация повторялась и частично повторяется почти во всех последующих высказываниях японских грамматистов по этому вопросу.

Новая японская лингвистика быстро почувствовала недостаточность этой традиционной классификации в отношении знаменательных слов. Основатель новой японской грамматической науки О́цуки Фумихико́ обратился к помощи европейских грамматических понятий и в своей «Ко:ниппо́н бунтэ́н» («Пространной грамматике японского языка», 1897) дал классификацию частей речи, в которой устанавливает наличие в японском языке существительных, прилагательных, местоимений, глаголов и т. д. Для перевода этих терминов он создал сложные слова с заключительным компонентом *си*, означающим «слово», т. е. самостоятельную лексическую единицу (такое же значение в наименовании частей речи имеет компонент *го*). Оцуки в своей классификации наряду с знаменательными частями речи поставил союзы — *сэцудзо́куси* и междометия — *кандо́си*. Помимо этого, у Оцуки имеется обширная, нерасчлененная категория служебных элементов, противопоставленная словам, — это те же *годзи*. Компонент *дзи* в наименовании частей речи покрывает наши термины и «морфема» и «частица» (если понимать под «частицей» ту категорию собственно частиц, которая является промежуточной между собственно «словом» и собственно «морфемой»). Более распространенное чисто японское наименование этой категории — *тэниоха*.

Поскольку, при возникновении новой японской грамматической науки, японские грамматики, начав применять к японскому языку категории частей речи европейского языкознания, наряду с знаменательными частями речи установили в японском языке существование междометий и союзов, постольку должен был встать вопрос и о послелогах, категории, соответствующей предлогам индоевропейских языков.

Вначале японские грамматисты искали эквиваленты предлогам европейских языков среди «тэниоха» и склонялись к признанию равенства этих явлений. Так, Оцуки писал: «Западные предлоги ставятся перед существительными, японские «о», «ни» и т. п. ставятся после существительного, поэтому это японские послелоги. Имеются и такие, как «ба» и «тэ», следующие за глаголами и несколько отличающиеся от послелогов, но все же это вид послелогов. Поэтому, объединяя их все вместе, мы именуем их «тэниоха» и считаем одной

частью речи»[1]. Если пояснить, что *ба* — суффикс условной формы глагола, а *тэ* — деепричастия совершенного вида, то будет очевидно, насколько подход Оцуки был механическим и поверхностным. Это стало ясно позднейшим грамматистам, которые отвергли проведенную Оцуки аналогию (характерно, впрочем, что сам Оцуки, приравняв «тэниоха» к послелогам, все же термином *ко:тиси* не пользуется, принимая традиционное «тэниоха»). Однако, отрицая наличие в японском языке послелогов, авторы делали это крайне неубедительно. Сама постановка вопроса исходила из молчаливой предпосылки, что послелоги можно искать только среди тэниоха. Исходящая из этой предпосылки отрицательная аргументация не может быть признана убедительной. Мы ограничиваемся одним примером. Так, Ямáда пишет: «Дзёси (т. е. тэниоха. — *Н. Ф.*) в целом имеют пункты сходства с предлогами (preposition) английского и т. п. языков»[2] и возражает против такого сопоставления, приводя два аргумента. Первый: «сфера их применения шире предлогов, а в способе употребления есть расхождение». Это вполне справедливое возражение — выше уже указывалось, как разнородны элементы, объединяемые названием «тэниоха», — но оно носит у Ямада расплывчатый и догматический характер. Вторым возражением служит у Ямада указание на то, что тэниоха — своеобразная особенность японского языка, поскольку он является языком агглютинативного строя. Однако это возражение не может быть признано, так как в агглютинативных языках, например, монгольских и тюркских, существование послелогов общепризнано. Аргументация Ямада недостаточна для доказательства, что тэниоха (если не все, то какая-нибудь их категория) — не послелоги, еще менее убедительна она для доказательства того, что в японском языке послелогов вообще нет.

Приравнивание тэниоха к послелогам, аналогия между тэниоха и предлогами считается специалистами настолько опровергнутой, что во многих научных грамматиках этот вопрос обходят молчанием или же считают достаточным упомянуть о нем в двух-трех словах, как это делают, например, авторы грамматик Киэда[3] и Кобаяси[4], ограничивающиеся, так сказать, стандартным аргументом — указанием на более широкую, чем у предлогов, сферу применения тэниоха. Только у одного из грамматистов — у Мацусита — мы находим принципиально иную аргументацию, которой мы коснемся ниже. Однако наряду с всеобщим отрицанием этой аналогии в специальной литературе она все же на-

---

[1] Цит. по Мацусита. Хё:дзюн ниппон ко:гохо: (Грамматика стандартного разговорного языка), 1930, стр. 38.

[2] Е. Ямада. Ниппон ко:гохо: ко:ги (Лекции по японскому разговорному языку), изд. 6-е, 1927, стр. 138.

[3] См. М. Киэда. Бумпо: оёби ко:гохо: (Грамматика и законы разговорного языка). Токио, 1935, стр. 324.

[4] См. Кобаяси. Кокуго кокубумпо: ёги (Основы японского языка и грамматики). Токио, 1929, стр. 502—503.

зойливо снова и снова появляется в других местах — в популярных иностранных учебниках японского языка, в справочниках общего характера и т. п. Но там эта аналогия проводится осторожно, а именно, ее ограничивают только одной определенной категорией тэниоха. Приведем один пример. В 56-томной энциклопедии «Дайхякка дзитэн» в статье «Дзэнтиси» (предлог) читаем: «Японские тэниоха (*но, ни, кара, то*) — слова, как раз соответствующие предлогам. Только интересно то, что японские тэниоха ставятся после существительного, т. е. занимают место прямо противоположное предлогам. Of flowers *хана-но*, in the house *ути-ни*, with friends *томодати-то* и т. д. Поэтому случается, что западные грамматисты называют японские тэниоха послелогами»[1].

Как мы увидим ниже, в таком ограниченном применении аналогия имеет под собой гораздо более твердую почву, и от нее нельзя отделаться ни легковесной аргументацией Ямада, ни безразличием авторов, обходящих эту аналогию молчанием.

Выше уже упоминалось, что под названием «тэниоха» японские грамматики объединяют и частицы, и морфемы, и некоторые служебные слова. Мы не будем здесь освещать вопрос о классификации самой этой группы, так как можно сказать, что сколько грамматик, столько существует и классификаций. Само обилие классификаций показывает, как много неясного и мало общепризнанного в вопросе о характере самих тэниоха, и как японские грамматисты далеки от того, чтобы искать среди тэниоха послелоги, главное же, что в любых классификациях тэниоха[2] имеется одна стабильная и по составу и по названию группа «какудзёдзи», которая именно и приравнивается в ходовом представлении к послелогам. Для того, чтобы отвести эту аналогию, укажем, что с точки зрения советского японоведения тэниоха, входящие в эту группу, являются чистыми суффиксами агглютинативного склонения.

В связи с этим необходимо остановиться на понимании самого термина «послелог». Если не лишать этот термин точного грамматического значения, если не понимать «послелог» как «послеслог», как любую энклитическую частицу, послелог следует определять как постпозиционный предлог. Другими словами, следует говорить о единой служебной части речи, имеющей две разновидности, отличающиеся только своим местом: всякая характеристика предлога может быть отнесена к послелогу, а всякая характеристика послелога должна согласоваться с определением предлога. В лингвистической литературе общепризнано, что предлог есть служебная часть (иначе — частица) речи, служащая для выражения синтаксических отношений между

---

[1] «Дайхякка дзитэн». Токио, 1938, т. 15, стр. 233.

[2] См. например, соответствующие разделы в цит. соч. Ямада, Мацусита, Киэда, Кобаяси.

именами и глаголами, а также между именами и именами. Это определение полностью относится и к послелогу.

Синтаксические отношения имени к другому слову выражаются, как известно, также склонением. Полная характеристика предлога, таким образом, должна выявить взаимоотношения предлога со склонением. Здесь, однако, невозможна единая формула, пригодная для всех языков, так как имеется два основных типа взаимоотношений этих двух явлений, а именно: либо предлог сочетается со склонением, т. е. с падежной формой имени, как это имеет место, например, в русском или латинском языках, либо, при отсутствии склонения, предлог является единственным средством выражения тех синтаксических отношений, которые в других языках выражаются падежными формами имени, т. е. возмещает собой отсутствующие в данном языке падежные формы; пример этого дают английский и французский языки.

Вопрос о взаимоотношении предлогов со склонением тесно связан с вопросом о лексической обособленности предлога.

«Различия лексического содержания предлогов отражаются в колебаниях их грамматических функций. Одним краем внедряясь в область наречий, предлоги другой своей границей соприкасаются с «препозиционными флексиями» имен существительных или с агглютинативными «объектными» суффиксами глагола, так как здесь их лексическое значение окончательно поглощается функцией чисто грамматического отношения. Теряя свою лексическую индивидуальность, предлоги становятся падежными представками»[1].

Как видим, здесь ясно сформулирована особенность предлогов, которая состоит в широком диапазоне яркости их лексического значения — от высшей ее точки, где предлог примыкает к наречию, до низшей, почти нуля, где он соприкасается с грамматическими морфемами. Однако В. В. Виноградов тут же указывает на то свойство предлогов, которое не позволяет даже наиболее грамматикализовавшимся из них превратиться из слова в морфему: «...есть такие конструктивные типы слов, которые близки к морфемам и отличаются от них лишь способностью раздельного фономорфологического, синтаксического и лексического существования, своеобразные слова-морфемы, не сливающиеся с другими словами, а лишь присоединяющиеся к ним в известных синтаксических условиях (например, «частицы речи»: союзы, предлоги, частицы)»[2]. Эта способность отделимости есть последнее, что сохраняет в рядах слов предлог, который по минимальности лексического значения, по характеру этого значения и по своей синтаксической роли почти ничем не отличается от морфемы.

---

[1] В. В. Виноградов. Современный русский язык (Грамматическое учение о слове). Вып. II. М. Учпедгиз. 1938, стр. 511 (разрядка моя.—*Н. Ф.*).

[2] Там же, вып. I, стр. 111.

Если мы обратимся с этими же критериями к послелогам, то увидим следующее: грамматикализовавшийся послелог фактически легко утрачивает способность раздельного фономорфологического и синтаксического существования. А в таком случае послелог, фактически неотделимый от основы и полностью утративший лексическую значимость, превращается в грамматическую морфему, а именно, в падежный суффикс. Поэтому выражение «падежный послелог» внутренне противоречиво и, следовательно, неправомерно.

Доказательство того, что данные тэниоха являются падежными суффиксами, т. е. того, что в японском языке существует агглютинативное склонение, представляет собой тему отдельной работы[1]. Ограничимся указанием, что в советском японоведении существование склонения общепризнано. Таким образом, единственная группа тэниоха, которая иногда неправомерно приравнивается к послелогам, ими не является. Значит, если в японском языке есть послелоги, их надо искать не среди тэниоха, а среди знаменательных слов, сочетающихся с падежными формами предшествующего имени.

Только один из японских грамматистов и именно Мацусита понимает термин *ко:тиси* (послелог) так, как это формулировано выше, и ищет в японском языке послелоги в правильном направлении, вернее в одном из правильных направлений. Исключение это знаменательно, потому что Мацусита, авторитетный знаток современного японского языка, в теоретическом отношении стоит выше других японских грамматистов и смелей отступает от традиционных взглядов. Мацусита, касаясь аналогии между тэниоха и предлогами и отвергая ее на том основании, что «предлоги имеют формальное значение, но это самые настоящие слова», говорит: «Предлог . . . управляет дополнением, он ставится перед словом, которое является дополнением. Однородными словами в японском языке являются *моттэ*, *ойтэ* и т. д., тогда как *о*, *ни*, *то* и т. п. присоединяются к имени, лишенному падежа, а значит не управляют дополнением. Имя, лишенное падежа, именно благодаря действию *о*, *ни* и т. д. вместе с ними образует дополнение; *о*, *ни* и т. д. сами являются частью дополнения. В выражении *карэ-то томони* — with him («вместе с ним»), значение *то* относится к дополнению him. With — предлог, him — его дополнение, точно так же по-японски *томони* «вместе» — послелог, *карэ-то* — «с ним» — его дополнение»[2].

Итак, японские грамматисты, за этим единичным, но принципиально важным исключением, либо искажают само значение термина «послелог» — *ко : тиси*, либо вообще не усматривают в японском языке этой части речи[3]. Даже Мацусита, хотя и правильно определил категорию

---

[1] Этой теме посвящены три главы моей кандидатской диссертации «Послелоги в современном японском языке», защищенной в 1944 г., в которой были высказаны и те положения, которые составляют содержание данной статьи.

[2] Мацусита. Кайсэн хёдзюн ниппон бумпо. Токио, 1930, стр. 304.

[3] Нет послелогов и в «Грамматическом словаре» Асано, вообще более про-

послелога, отмечает наличие только четырех послелогов (причем три из них отглагольные) и обходит молчанием группу отыменных послелогов.

Совершенно иная точка зрения высказывается в западноевропейском японоведении. Еще Астон и Чемберлен, выделив в качестве особой части речи послелоги, под которыми они понимали тэниоха, отметили, что тэниоха — это «собственно послелоги», и рядом с ними поставили особую категорию — квази-послелоги, к которым отнесли преимущественно отыменную группу интересующих нас слов. У Чемберлена читаем: «То, что может быть названо квази-послелогами, это в действительности имена существительные, предшествуемые частицей *но* и употребляемые в смысле менее конкретном, чем тот, который они имели первоначально». Далее перечисляются *хока́* («кроме»), *кагэ́* «благодаря», *муко́* «напротив», *нака́* «в», *сита́* «под», *сото́* «снаружи», *тамэ́* «для», *у́ти* «внутри», *уэ́* «на, над», *усиро́* «позади» *ва́ки* «рядом», все с предшествующим *но* и с переводом сначала как существительное и затем уже как послелог[1].

За полвека эта точка зрения не изменилась. Последующие западноевропейские авторы почти дословно повторяют Чемберлена, за исключением Балэ, который пользуется другим термином — locutions postpositives. «Некоторое число существительных, которые могут вступать в любые соотношения, к которым способны существительные, образуют настоящие послеложные обороты, имеющие значение обычных послелогов»[2]. Далее перечислены *маэ* «перед», *кавару* «вместо», *уэ́*, *сита́* *тамэ́*, *ути́*, *кагэ*, *сото́*, *хока́*, сначала с переводом в качестве имени, затем в форме дательного падежа и т. д. как послелоги. У Плаута в главе «Квази-послелоги» даны указания, что «слова этой категории принадлежат к именам существительным, и как таковые принимают падежные частицы» и «что большинство из них служит также союзами»[3], и перечислены слова *а́ида* «между», *мава́ри* «вокруг», *мэгу́ри* «вокруг», *юэ́* «по причине», *ма́э*, *а́то*, *усиро́*, *нака́*, *у́ти*, *хока́*, *уэ́*, *сита́*, *соба́* «сбоку, возле», *ва́ки*, *муко́*; *кава́ри*, *тамэ́* с переводом и примерами. Точно так же поступает Роз-Инес[4]. Ланге называет эти слова «ненастоящими послелогами» («uneingetliche Postpositionen») и говорит о них, что

грессивном по своим установкам, чем многие грамматики. См. А с а н о. Бумпо:дзитэн. Токио, 1943.

[1] C h a m b e r l a i n. Handbook ot colloquial japanese, в пер. Костылева. СПб., 1908, стр. 101; англ. изд. 1888. Поскольку это выходит за рамки данной статьи, мы не сообщаем, как указываемые авторы относятся к отглагольным послелогам, хотя большинство упоминает их в том же плане, что и отыменные.

[2] B a l e t. Grammaire japonaise. Jokohama, 1908, стр. 216—217.

[3] P l a u t. Japanische Conversation. Grammatik. Heidelberg, 1904, стр. 335; имеются в виду подчинительные союзы.

[4] A. R o s e - I n n e s. Elementary grammair of the japonese spoken language. Jokohama, 1933, стр. 81, § 383—386.

они «в действительности существительные, поэтому зависимое слово стоит в родительном падеже» [1].

Несомненной заслугой этих японоведов нужно признать то, что они выделили всю группу этих слов и правильно указали одну их служебную функцию. Узко морфологический критерий, который привел к определению их как квази-послелогов, а «в действительности существительных», трудно ставить в вину по крайней мере языковедам конца XIX в., «старикам» — Астону и Чемберлену. И уж во всяком случае эти ученые стоят выше, чем современный американский японовед Гендерсон, который в 1945 г. издал японскую грамматику, состоящую из 40 страниц элементарных школьных сведений (об уровне которых достаточное представление дает то, что «Note on Syntax» занимает три неполные страницы) и словаря служебных элементов языка, в котором смешаны суффиксы, морфемы и служебные слова (например, союзы), расположенные вперемешку, в алфавитном порядке [2]. Ни одного из интересующих нас слов здесь нет, а ведь еще Плаут, как упомянуто выше, отметил их роль не только как послелогов, но и при подчинении предложений.

Несколько иначе подошли к данной группе слов русские дореволюционные и советские японоведы. Исключением является только проф. Спальвин, японоведческая деятельность которого началась задолго до Октябрьской революции, на рубеже XIX—XX вв., и который связан с западноевропейской традицией. Эта преемственность нашла внешнее выражение в том факте, что последняя, так сказать, итоговая его работа по грамматике японского языка представляет собой, по его собственному признанию, переработку учебника английского японолога М. Говерна. По интересующему нас вопросу мы находим в этой книге полное следование английской традиции [3].

Значительно самостоятельней в освещении интересующего нас вопроса (как по отношению к японским, так и к европейским авторам) выступает автор первой русской грамматики японского языка, изданной в конце XIX в. — Д. Смирнов [4]. В главе IX, названной «Послелог», говорится: «Что в русском языке называется предлогом, то в японском языке есть послелог... Послелоги бывают простые, состоящие из одного слова, и сложные, образуемые из нескольких

---

[1] Lange. Lehrbuch der japanischen Umgangssprache. Berlin, 1929. К. Мейснер, который в своей работе повторяет японские школьные грамматики, не упоминает ни категории послелогов, ни конкретных отыменных или отглагольных послелогов (Kurt Meissner. Lehrbuch der Grammatik der japanischen Schriftssprache. Tokyo, 1927).

[2] Harold G. Genderson. Handbook of japanese grammar. Columbia University. London, 1945.

[3] Проф. Спальвин. Японский разговорный язык, т. I. Харбин, 1933, стр. 231—232.

[4] Дмитрий Смирнов. Руководство к изучению японского языка. СПб., 1890.

слов. Простые послелоги: *ва*, *га*, *но*, *ни*, *во*, *кара*, *йори*, *мадэ* и *дэ* (т. е. падежные суффиксы. — *Н. Ф.*). Сложные послелоги: *но уэ ни* «вверху», *но сита ни* «внизу», *но кавари ни* «за», «вместо», *но тамэ ни* «для», «ради», *но мавари ни* «вокруг» и т. п. Сложные послелоги образуются из существительных, через присоединение к ним *но* в начале и *ни* в конце, причем *но* всегда бывает послелогом предыдущего слова». Далее перечисляются с переводом на русский язык следующие послелоги: *уэ*, *дзё*, *сита*, *омотэ*, *ура*, *усиро*, *саки*, *ноти*, *го*, *ато*, *айда*, *ката*, *ути*, *тю:*, *нака*, *сото*, *хока*, *маэ*, *дзэн*, *соба*, *хотори*, *тонари*, *тамэ*, *мавари*, *кавари*, *кото*. «В сложных послелогах вместо *ни* иногда ставится *е*, когда нужно обозначить не положение на месте, а направление куда-либо, *де*, при глаголе, выражающем действие, и *но*, соединяющее послелог со словом следующим». Далее следуют 12 страниц примеров, рассмотренных в порядке данного здесь перевода на японский язык русских предлогов, *в*, *на*, *к*, *кроме*, *между* и т. д.[1]

Несколько иначе подходит к этим словам О. В. Плетнер. Указав, что «особенность японского языка (с нашей, русской точки зрения) состоит в том, что в нем отсутствуют предлоги, и в то время как мы (русские) для выражения отношения между словами пользуемся чрезвычайно часто предлогами и падежами комбинированно, японцы пользуются только падежными окончаниями»[2], О. В. Плетнер дает перечень в алфавитном порядке ряда русских предлогов с переводом, показывающим «как в японском языке выражаются те же мысли, но без предлогов»[3]. Разумеется, русским предлогам в японском языке соответствуют самые различные обороты — беспредложное управление, послелоги, описательные обороты и т. п., в системе японского языка никак не подлежащие сопоставлению и соединенные по случайному признаку — по однотипному русскому переводу. В таком случайном порядке в приведенных предложениях попадаются отыменные послелоги *кавари* «вместо», *маэ* «перед», *сита* «под», *соба* «рядом с», «при», *тамэ* «для», *ути* «среди», *уэ* «на» (а также некоторые отглагольные). Как указано выше, предложения эти собраны с целью показать, как в японском языке обходятся без предлогов! Однако О. В. Плетнер в примечании оговаривает: «весьма часто, правда, реальным соответствием русского предлога оказывается именная основа, стоящая после падежной формы того имени, перед которым в русском языке стоял предлог. Такие именные основы, формально самостоятельные, но в смысловом отношении тесно примыкающие к значению предыдущего имени, можно назвать п о с л е л о г а м и. Их мы и встретим в большинстве ниже приводимых фраз. Это будут такие слова как *нака*

---

[1] Д. С м и р н о в. Ук. соч., стр. 361—373.

[2] О. В. П л е т н е р и Е. Д. П о л и в а н о в. Грамматика японского разговорного языка. М., 1930, стр. 128.

[3] Там же, стр 18.

«внутренность», *сита* «низ» и т. д.»[1] Но при анализе самих предложений О. В. Плетнер рассматривает эти слова преимущественно как существительные. В предложении *карэ-ва анохито-но маэ-ни боси-о тотта* «он снял перед ним шляпу», *маэ-ни* определяется как существительное в дательном падеже[2], в словосочетании *тэ:буру-но сита-ни оку* «положить под стол», *сита-ни* — определено тоже как существительное «низ» в дательном падеже и предлагается в качестве «дословного» перевод: «положить низу стола»[3]; однако тут же о том же *сита* в выражении *цукуэ-но сита-кара* «из-под стола» сказано: «*сита* — существительное или так называемый «послелог» — низ»[4]. Но если *сита* — послелог, то зачем же в качестве «дословного» предлагать перевод «из стольного низа»? Однако в конце этой главы Плетнер опять возвращается к более углубленному теоретическому осмыслению этих слов и делает еще одно примечание, на этот раз в тексте: «Нельзя не отметить эволюции таких выражений, как *тамэни*, *маэни*, *ситани* и даже *цуйтэ*, *канситэ* и т. д., в сторону отрыва от своих исконных форм: существительного, глагола и т. д. Они могут быть приравнены к нашим русским наречиям-предлогам: вблизи, вдоль, где еще чувствуется предлог и существительное; однако слов «близь», «доль» и т. д. уже нет, тогда как *тамэ*, *маэ* и пр. существуют, хотя в других падежах употребляются реже, чем в дательном»[5].

Таким образом, вопрос о послелогах (гл. образом отыменных) у Плетнера поставлен, но последовательно не разработан[6].

Подведем итог. Японские грамматисты обходят отыменные послелоги полным молчанием; западноевропейские, а также русский японовед Спальвин, описывают их употребление, как послелогов, но квалифицируют их как «квази-послелоги, а на самом деле существительные», Д. Смирнов категорически, но совершенно бездоказательно, называет их сложными послелогами, включая в их состав следующую за ними морфему; Плетнер нерешительно указывает на их эволюцию от существительного к послелогу (оба эти автора при этом также иллюстрируют их употребление, исходя из русского языка). Добавим к этому, что в японских двуязычных словарях, составленных самими японцами и дающих богатую иллюстративную фразеологию (которой совер-

---

[1] О. В. Плетнер и Е. Д. Поливанов. Грамматика японского разговорного языка. Примечание, стр. 18.

[2] Там же, стр. 20.

[3] Там же, стр. 21.

[4] Там же, стр. 10.

[5] Там же, стр. 22.

[6] В «Синтаксисе японского языка» Н. И. Конрада вопросы морфологии, в том числе классификации частей речи, систематически не ставятся. Тем не менее значительное внимание уделено отглагольным послелогам, вопрос о которых поставлен попутно с вопросами глагольного управления, но о группе отыменных послелогов ничего не сказано. Однако ряд этих слов отмечен в функции подчинения предложений как «тангэны особого типа». См. § 316—318.

шенно лишены японские толковые словари), значение и употребление данных слов как послелогов, как правило, иллюстрируется весьма полно, но никогда они не квалифицируются грамматически как послелоги. Грамматически они определяются по-разному: чаще всего, как, например, в словаре Такэнобу[1], определяются отдельно разные формы слов, а именно их бессуфиксальная форма определяется как существительное, форма дательного падежа, поскольку она обстоятельственная, как adverbe, наречие. Словарь Basic japanese[2] при строго ограниченном размере в 1000 слов помещает формы родительного и дательного падежей этих слов, например *уэ*, *сита*, *усиро*, *маэ*, как отдельные слова, причем первая форма определяется как adjectiv, прилагательное, вторая как adverbe, наречие, но в фразеологии иллюстрируется их роль именно как послелогов. Наконец, словарь Сайто[3] форму основы определяет как существительное, а форму дательного падежа как *дзэнтиси-со:то:*, т. е. «соответствие предлогу» (английскому), что в сущности является уклонением от точного грамматического определения.

Таким образом, проблема отыменных послелогов в японском языке заключается не столько в описании их значения и употребления (что, как мы видели, давным давно практически известно), сколько в доказательстве того, что послелоги действительно грамматически являются таковыми (для чего необходим, в частности, анализ их форм), и в регистрации различных их типов. В такой плоскости эта проблема до сих пор не разрешена.

II

Общеизвестно, что переход знаменательных слов в разряд служебных, в частности образование предлогов от существительных, наречий или глаголов, наблюдается во многих языках. Например, «категория предлогов в русском языке быстро растет за счет главным образом наречий, имен существительных и деепричастий»[4]. Такой переход связан с «выветриванием» или изменением лексического значения и изменением синтаксической функции и синтаксических связей данного слова, но отнюдь не обязательно с изменением его морфологических признаков.

«Исторические изменения в языке могут приводить к тому, что слово может иметь оформление, в той или иной мере соответствующее его прежнему, а не настоящему значению и употреблению»[5]. Естественным следствием этого положения является то, что в основу опре-

---

[1] Takenobu Joshitaro. Kenkyusha's new japanese-english dictionary. Tokyo, 1931.

[2] Doi Kochi. Basic japanese. Tokyo, 1935.

[3] «Saito's japanese-english dictionary». Tokyo, 1928.

[4] В. В. Виноградов. Русский язык. М., Учпедгиз, 1947, стр. 679.

[5] А. И. Смирницкий. К вопросу о слове. Сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», 1952, стр. 196.

деления частей речи не может быть положен единственно морфологический критерий. Поэтому, если, как это нередко случается, появление служебного слова не сопровождается отмиранием знаменательного, а последнее продолжает существовать в своем прежнем лексическом значении и синтаксической функции, то констатируется отпочкование лексико-грамматического омонима. «Морфологическая тождественность форм одного слова, при наличии других, более существенных диференциальных формальных признаков, например синтаксических, не препятствует им входить в разные грамматические категории»[1]. Все эти положения являются в советском языкознании, в частности в работах по русскому языку последних лет, настолько общепризнанными, что останавливаться на доказательствах их нет никакой надобности. Эти положения и взяты в основу оценки японских послелогов.

Среди отыменных послелогов, которые составляют предмет настоящей статьи, надо выделить два послелога, отличающихся от всех прочих утратой падежного управления (что приближает их к аффиксам) и вместе с тем полной утратой склоняемости. Один из них — послелог-аффикс количественного сравнения *хбдо* — подробно рассмотрен нами в другой работе[2], и мы здесь не будем его касаться. Другой, имеющий значение «со времени» (англ. since), *конокáта*, в современном языке почти вытеснен синонимичным послелогом китайского происхождения *ирáй*. Он отошел от существительного, к которому восходит, не только синтаксически и морфологически, но и семантически: *конаката* первоначально значило «эта сторона».

Все остальные отыменные послелоги требуют родительного падежа подчиненного им имени. Что касается их собственной склоняемости, то они распадаются на две группы. Формальному разделению соответствует и их семантическое различие, а именно: послелоги, выражающие пространственные и временные соотношения, полностью склоняемы; послелоги, выражающие более отвлеченные значения — цели, причины, сравнения и т. п., существуют в одной или двух формах: с одним суффиксом *ни* или с двумя суффиксами *ни* и *но*. Оба эти суффикса можно рассматривать различно. Одно *ни* — суффикс дательного падежа, другое является формантом наречия, одно *но* суффикс родительного падежа, другое — универсальный атрибутивный суффикс имен, наречий и некоторых глагольных форм (например, деепричастия). Даже если в данном случае это падежные формы, все же поскольку они изолированы от системы склонения в целом, их следует рассматривать как лексикализовавшиеся формы соответствующих послелогов: приглагольную, в которой послелог подчиняется глаголу (любому) и приименную, в которой он подчиняется имени. Некоторые из этих послелогов имеют еще третью, бессуфиксальную форму, в которой они

[1] В. В. Виноградов. Современный русский язык, вып. 1, стр. 105.

[2] См. Послелоги-аффиксы в современном японском языке. «Труды Московского ин-та востоковедения», вып. III, 1946.

могут сочетаться со связкой. Таким образом эта группа отыменных послелогов более отвлеченного значения имеет и отчетливые морфологические признаки, отделяющие послелоги от соответствующих знаменательных слов. Переходим к их описанию.

Ё: — компаративный послелог, значение которого этимологически ближе всего передается русским компаративным предлогом «наподобие», а в связном переводе словами «как, как будто, такой... как». В отличие от аналогичных компаративных послелогов в тюркских языках, а также от индоевропейских сравнительных предлогов и союзов, подчиняющихся и именам и глаголам, этот послелог, как уже упомянуто, имеет две отдельные формы — приглагольную и приименную: *ю́ки-но ё:ни сиро́й* «белый как снег», *и́си⁰ но ё:ни сидзу́нда* «пошел ко дну, как камень», *ки́ми-но ё:на га́куся* «такой ученый, как ты». В форме *ё*: он может выступать только в тех случаях, когда не подчиняется ни имени, ни глаголу, а совместно с подчиненным ему именем служит сказуемым. В этом случае он всегда сочетается со связкой: *ма́рудэ кодо́мо-но ё дэс* «совсем как ребенок» (о чьем-то поведении)[1].

Этот послелог возводится к существительному китайского происхождения *ё*: — «образ, вид, подобие». По крайней мере, такое слово с определением его как существительного мы находим в огромном большинстве японских словарей как толковых, так и двуязычных. Между тем существительное *ё*: — фикция. В японском языке его нет.

Значение «способ», «манера», которое ему приписывают японские словари, толковые — давая синонимы *нари*, *ката*, японо-английские — переводя с помощью слов way, manner и т. п., *ё*: имеет только в соединении с предшествующим глаголом в так называемой второй форме спряжения. Правда, в переводе на русский, английский и другие языки такие соединения большей частью передаются, да и то только словарно, двумя словами, одно из которых — «способ, манера», а другое является переводом основного глагола, например *вараиё*: «манера смеяться» (*карэ́-но вараиё́:ва ки́-ни кува́н* «мне не по душе его смех»), *наоси́ё*: «способ поправить» (*наосиё́-га на́й* «непоправимо») и т. п. Однако дело в том, что в системе японского языка подобные соединения глагола с *ё*: — не два слова, а одно, т. е. *ё*: выступает как словообразовательный компонент для образования особого рода отглагольных существительных (ср. русское «почерк» — т. е. манера писать, «походка» — т. е. манера ходить и т. п.). Кроме роли такого компонента отглагольного существительного *ё*: выступает в следующих функциях, в которых предметное значение его сильно ослаблено или

[1] На почве такого употребления и развилось модальное значение этого оборота. При модальном значении *ё дэс* отсутствует реальное сравнение; при значении *ё*, как послелога, на реальность сравнения указывает, помимо контекста, соответствующее наречие — *ма́рудэ* «совсем, совершенно», *са́ккури* «точь в точь» и т. п.

совсем утрачено: во-первых, в соединении с чистой связкой со значением «казаться», «быть похожим»; что *ё:* в этом случае играет только служебную роль, видно из того, что оно не может, как всякое обычное существительное, образовать сказуемое нераспространенного предложения, а должно иметь перед собой определение, по отношению к которому оно само, однако, играет семантически-подчиненную роль, выражая модальность (один из видов некатегоричности). Во-вторых, *ё:* соединяется с полусвязкой *нару*, причем словосочетание *ё: ни нáру* также не может служить самостоятельным сказуемым, а только придатком к нему, имеющим значение русского глагола «стать» с инфинитивом. По существу, *ё:* здесь является только служебным существительным, дающим возможность присоединить к глагольному сказуемому глагол *нару*, который сам по себе значит «стать», «становиться» и требует перед собой дополнения в дательном падеже. Наконец *ё:* фигурирует в формах *ё́:ни* и *ё́:на*, т. е. как послелог, полностью утрачивая при этом склоняемость.

Употребление в служебной роли *ё:* повело к тому, что его место существительного со значением «образ» и т. д. заняло другое слово — *ё:су*, представляющее собой то же *ё:* в соединении с китайским же словообразовательным суффиксом существительных *цза* (*цзы*), в японском произношении *си* или, как в данном случае, *су*. Существование таких оборотов, как: *канодзё-ва сэйё:дзин-но ё:на ё:су дэ́сита* «у нее был вид, как у европеянки», красноречиво иллюстрирует превращение бывшего существительного *ё:*, давшего начало самому *ё:су*, в частицу *ё:на*, обслуживающую это полноценное существительное *ё:су*, связывая его со словом, с которым оно сравнивается, т. е. свидетельствует о глубоком лексико-синтаксическом разрыве между этими когда-то однозначными словами.

Приглагольная и приименная формы послелога качественного сравнения являются непадежными: *ё:ни* и *ё:на*. *Ни*, как видно по чисто атрибутивной, а не объективной функции послелога, здесь не падежное, а наречное; *на* — не падежный суффикс, а словоизменительный суффикс прилагательных, присоединяющийся главным образом к словам, которые не являются существительными по своей семантике.

Есть ли какие-нибудь основания к тому, чтобы формы *ё:ни* и *ё:на*, функционально совершенно равнозначные, разносить по разным грамматическим категориям? Привычно, что в роли послелога выступает наречная форма, но неожиданно встретить в ней слово, по форме являющееся прилагательным. Но разве можно назвать прилагательным слово, абсолютно лишенное возможности выступать самостоятельным определением, т. е. ни семантически, ни синтаксически не обладающее свойствами этой части речи? *Ё:на* играет ту же служебную роль при подчинении того слова, с которым производится сравнение (только имени, а не глагола или прилагательного), что и *ё:ни*, т. е. это две формы одного послелога. Заметим кстати, что в словаре Basic japanese

проф. Дон, уже упоминавшемся выше, *ё:* дано с обозначением particle — «частица», а не nomen; помещение в этом словаре, как отдельных слов, форм родительного и местного падежей таких слов, как *уэ*, *маэ* и т. д., особенно подчеркивает отсутствие в этом словаре выделения, как отдельных слов, форм *ё:ни*, *ё:на*, оправдывающееся тем, что это не два отдельных слова, а две формы одного.

Остается прибавить, что, слившись с указательными местоимениями в их определительной форме, *ё́:ни* образовало местоименное наречие «так», «таким образом»: *коноё:ни*, *соноё́-ни*, *аноё́:ни* и вопросительное «как» *доноё́ни*, а *ё:ни* — местоименное прилагательное «такой», «подобный» *коноё:на*, *соноё:на*, *аноё:на* и вопросительное «какой» *доноё:на*.

Тамэ́ принадлежит к существительным того же типа, что и *ё:*, т. е. как и от *ё:*, от него отпочковалось омонимичное служебное слово, а как существительное оно омертвело. Место его как существительного заняло *риэ́ки* (Впрочем, *риэ́ки* не столь точно совпадает по смыслу с *тамэ*, как *ё:су* — с *ё:*; в слове *ё:су* слог *су* — только словообразовательная морфема, не меняющая смысла *ё:*, тогда как *риэки* составлено из китайских компонентов, хотя и очень близких по смыслу *тамэ*, но не точных его эквивалентов.) Но как бы то ни было, слово *тамэ* как существительное сохранилось только в отдельных выражениях, причем и в них оно лишено возможности иметь впереди себя определяющее его прилагательное. Этих выражений всего три: *тамэ́-ни на́ру* «стать полезным, пойти на пользу», *тамэ́-о хака́ру* или *тамэ́-о омо́у* «думать о чьей-либо пользе», т. е. «заботиться о ком-либо», и, наконец, малоупотребительное полуидиоматическое выражение *тамэ́-ни су́ру то́коро-га а́ру* «быть себе на уме». Таким образом, *тамэ* лишено способности быть подлежащим, а как дополнение может стоять только в двух падежах, сочетаясь при этом лишь с четырьмя определенными глаголами. Никаких других словосочетаний *тамэ* как существительное образовать не может.

В японском языке *тамэ* живет только как целевой и причинный послелог, управляющий, как все отыменные послелоги, родительным падежом и сам имеющий приглагольную и приименную формы. Кроме того, он может употребляться бессуфиксально как в сочетании со связкой, так и приглагольно. *Ко:э́ки-но тамэ́-ни хатара́ку* «работать для общего блага», *кими́-но тамэ́-ни дзинрё́ку сиё:* «ради тебя постараюсь», *синса́й-но тамэ́ я́кэтэ симаима́сита* «сгорел из-за землетрясения». Заметим, что если в целевом смысле *тамэ*, как послелог, еще сохраняет семантическое родство с *тамэ*, как существительным, то в нем же, как в причинном послелоге, налицо уже полная утрата предметного значения существительного. Это вполне подтверждает то, что, сочетаясь со связкой, *тамэ* остается послелогом, а не существительным; *ракудай-сита но-ва фубенкё:-но тамэ-дэс* «провалился из-за нерадивости». Будь здесь *тамэ* существительным, оно не могло бы иметь причинного значения, а по аналогии с этим его употреблением

мы вправе считать *тамэ* со связкой послелогом и тогда, когда оно применено в целевом смысле.

Соединение в одном послелоге целевого и причинного значения встречается и в тюркских, и в монгольских языках. В турецком таков ičun, послелог-аффикс; впрочем, как причинный послелог он имеет узкое применение; в ойротском он звучит *учун* и применение его в причинном смысле несколько шире. В монгольском и бурят-монгольском таков отыменной послелог *тула*. Впрочем, и по-русски эту двойственность значения обнаруживают предлоги «за» и отчасти «ради», а в старорусском ее имел предлог «для».

Слово *хока́* имеет неполное склонение и от обычного существительного отличается полной неспособностью иметь впереди себя определяющее прилагательное; и то и другое признаки особой части речи — наречных имен. Основное значение его хорошо проявляется в поговорке: *ко́и-ва сиа́н-но хока́* дословно «любовь вне размышления». Но это значение в живом употреблении меняется в зависимости от падежа, т. е. основное широкое значение «вне», «нечто иное», конкретизируется различным образом. В падежах творительном, исходном и направления это значение конкретизируется в пространственном смысле; таким образом, *хока́-дэ ка́у* значит «купить в другом месте», *хока-кара куру* «придти из другого места», *хока-э ику* «пойти в другое место». В этом значении и в этих падежах употребление *хока* очень ограничено, так как в значении «в другом месте» обычно употребляется имя наречное *ёсо*; *хока-о сагасу* «поискать в другом месте» — фразеологическое сочетание, едва ли не единственное, где *хока* стоит в винительном падеже, но не в винительном объекта, а просекутивном. С суффиксом *но*, который в этом случае следует рассматривать не как суффикс родительного падежа, а как атрибутивный суффикс, *хока* имеет смысл прилагательного «другой»: *хокано хи-ни симасё*: «сделаю в другой день»; это значение «другой» раскрывается в смысле только «не этот», без малейшего качественного оттенка. Русскому слову «другой» в его качественном смысле (кроме несколько книжного, отглагольного прилагательного *котонатта* — скорей русское *отличный* от глагола *отличаться*) соответствует глагол *тигау* «быть другим»: «у меня совсем другой» (о чем-нибудь) — *ватакусино-ва дзэндзэн тигаимас*. Интересно отметить, что если понятие «другой, не этот» по смыслу предложения должно быть субстантивировано, то суффикс *но* не отпадает, а, напротив, вся форма в целом приобретает склоняемость, как это происходит и с личными местоимениями в родительном падеже, когда они играют роль притяжательных. Таким образом: «дайте мне другой» звучит *хокано-о кудасай*. Это вполне ясно показывает, насколько *хока* без этого суффикса лишено возможности выражать значение «другой предмет», т. е. насколько обозначаемое им понятие непредметно. С другой стороны, при сопоставлении со значением *хокано* пространственного значения *хока* в перечисленных выше падежах, становится ясным

известный семантический разрыв между отдельными падежными формами, характерный для лексикализации этих форм. Лексикализовалась и форма *хока́ни*, которую по ее атрибутивной, не объектной функции можно считать наречием; значение ее — «вне, кроме (этого)»; *хока́ни сицумо́н-га аримасэ́н* «больше вопросов нет».

Управляя родительным, а также исходно-сравнительным падежами, наречия *хокани*, а также *хока* одно или с выделительным суффиксом *ва* служат послелогом со значением «кроме»; *ано́-йся-но хока́-ва да́рэмо сира́н* «кроме этого врача я никого не знаю», *бо́ку-но таёру хито́-ва кими́-ёри хока́-ни на́й* «мне не на кого положиться, кроме тебя». Послелог *хока-ни* вполне заменим чистым послелогом китайского происхождения *игай*. Наряду с наречием *хокани* существует более употребительное наречие *сонохока́ни*, которое показывает, насколько привычней употребление *хокани* не как наречия, а как послелога, имеющего при себе слово, которым он управляет, а при его отсутствии замещающее его местоимение, в данном случае — *соно*.

Далее следуют два послелога *цу́гини* и *кава́рини*, которые можно назвать опосредствованно отыменными: непосредственно они происходят от наречий, а имена, от которых произошли эти наречия, сами по себе восходят к глаголам. Однако оба эти послелога управляют, как и все отыменные, родительным падежом, чем они принципиально отличаются от отглагольного послелога *хикикаэ́ни* «взамен»: хотя здесь глагол тоже принял именную форму, но образовавшийся таким путем послелог управляет, как и сам глагол, соединительным падежом, что для отыменного послелога невозможно. Заметим кстати, что чисто наречный послелог *иссё́:ни* «вместе с» и синонимичный отыменно-наречный *то́мони* тоже управляют не родительным, а соединительным падежом.

Цуги принадлежит к словам того же типа, что и *хока*, т. е. лишено способности иметь при себе определяющее прилагательное, не имеет полного склонения и применяется почти исключительно в формах *цу́гини* или *цу́ги-ва*, как наречие, со значением «следующий»; некоторые обстоятельственные падежи встречаются только в готовых выражениях, например, *цу́ги-кара цу́ги-э* «друг за другом по очереди», или *коноцу́гикара* «впредь», что следует считать особым наречием. Управляя родительным падежом, наречие *цу́гини* превращается в послелог, означающий не столько пространственное расположение или чисто временну́ю последовательность, сколько сопровождение в последовательности, т. е. более отвлеченное отношение комитативности: *а́нэ-но цу́гини Дзюкити-га кима́сита* «вслед за сестрой пришел Дзюкити». Существование наречия *соноцу́гини* показывает на привычное функционирование самого *цугини*, как послелога.

Отглагольное существительное *кава́ри* «заместитель» (лицо), «замена» (предмет) имеет полную жизнеспособность; но в форме *кава́рини*, управляя родительным падежом, это послелог со значением «взамен», «вместо».

Об этом говорит и особая частота употребления этой формы, и ее чисто служебная функция, соединенная с ослаблением предметного значения, благодаря чему становится невозможным определяющее прилагательное. *Вата́си-но кава́рини я́ттэ курэ́та* «он сделал это вместо меня». В качестве наречия употребляется только форма *сонокава́рини*, подчеркивающая, что служебное значение *каварини* требует управляемого слова или его заместителя — местоимения.

Наконец, назовем своеобразный послелог *окагэ́дэ*, сложившийся из существительного *кагэ* («тень, отражение») в форме творительного падежа, с префиксом почтительности *о*, имеющий узкое применение в значении «благодаря», только положительном и только в применении к человеку: *анохито́-но окагэ́дэ* «благодаря ему». Впрочем, этот послелог может в бессуфиксальной форме сочетаться со связкой: *бо́ку-га сэйко́: сита-но-ва кими́-но окагэ́ да* «весь мой успех — благодаря тебе».

Этими шестью послелогами ограничивается та группа отыменных послелогов, которые отличаются от исходных имен не только семантически и синтаксически, но и морфологически, поскольку они почти полностью утратили склоняемость. Их объединяет и семантический признак — передача более или менее отвлеченных значений — сравнения, цели, причины, ограничения и т. д.

Переходим к рассмотрению гораздо более обширной группы послелогов, обозначающих конкретные пространственные и временны́е отношения.

Пространственные и временны́е отношения в японском, как и в монгольких и тюркских языках, могут выражаться падежами. Дательный падеж имеет локативную функцию, обозначая пребывание и направленность, причем в японском дательном отчетливо превалирует первое, как в монгольских языках, а не второе, как в тюркских, где дательный корреспондирует с исходным. Имеется особый падеж направления, а также исходный, предельный и винительный просекутивный.

Следует, однако, отметить, что сами по себе падежные показатели не имеют никакой лексической значимости, и это сказывается в том, что значение и этих пространственных «обстоятельственных» падежей реализуется только при соответствующих лексических значениях существительного. Это никогда не учитывается в тех то и дело встречающихся и, как уже говорилось выше, неоправданных параллелях между предлогами и падежными тэниоха, где они сравниваются по значениям. Чаще всего приходится встречаться с утверждением, что *ни* равнозначно предлогу «в», «in». Из того, что in dem Garten, in the garden, «в саду» по-японски будет *нива-ни*, заключают, что *ни* свойственно то же лексическое значение, что этим предлогам «в», «in». Но взглянем внимательней: предлог «в», взятый сам по себе, в соединении с предложным падежом существительного, обозначающего предметное понятие, всегда обозначает местонахождение внутри данного предмета, независимо от конкретного значения этого последнего. Не только

«в комнате» значит «внутри комнаты», но и «в стене» — «внутри стены» (в отличие от «на стене» — «на ее поверхности»), «в ухе» — «внутри уха», и даже «в Петре Петровиче» — «внутри Петра Петровича», только в переносном значении — в его, так сказать, внутреннем мире, например, «в Петре Петровиче есть что-то странное». Разумеется, речь идет о предлоге с существительным, как отдельном словосочетании, без какого-либо управляющего глагола, способного ослабить лексическое значение предлога *в* до полной его утери и превращения этого предлога в «простой грамматический знак глагольного управления» [1]. Однако совсем иначе обстоит дело с суффиксом дательного падежа *ни*. *Ни* не в состоянии выразить идеи местонахождения внутри чего-либо независимо от лексического значения существительного, при котором оно стоит, а именно: дательный падеж приобретает значение локатива только в том случае, если в этой форме стоит существительное, обозначающее естественное местонахождение чего-либо. *Нива́-ни*, действительно, значит «в саду», *хэя-ни* «в комнате», однако *ка́бэ-ни* значит «на стене», а не «в стене», поскольку говоря о стене, как местонахождении предмета, естественно предполагать, что данный предмет, если это только не гвоздь, висит на стене, а не находится внутри нее. А *ми́ми-ни* (*мими* — ухо), *Буэмо́н-ни* (т. е. в соединении с именем человека) никак не выражает местонахождения, а означает только, что эти слова стоят в дательном падеже с той его функцией, которая зависит от конкретного глагола или прилагательного, который в данном случае вызвал необходимость в этом падеже. А так как одна из функций дательного падежа, притом как раз при глаголе *ару* «быть, иметься, находиться», состоит в обозначении субъекта обладания: *вата́куси-ни токэ́й-га арима́с* «у меня есть часы», то даже в таком предложении, как *соно иэ́-ни хиро́й нива́-га а́ру* «при этом доме есть большой сад», дательный падеж не несет функцию локатива (не «сад находится в доме», а «у дома есть сад», почти как «у меня есть часы»).

Точно также дательный падеж может указывать на протекание действия в определенный момент времени только в том случае, если существительное в этом падеже обозначает временно́е понятие: *мокуё́би-ни* «в четверг», *ро́кудзи-ни* «в шесть часов», *сэнкухя́кусáндзю: нэ́н-ни* «в 1930 году» и т. п. Но дательный падеж не несет временно́й функции при словах, обозначающих явления (например, «в грозу» нельзя передать формой *ара́си-ни*), и не может обозначать предшествования или последовательности во времени.

Таким образом, при потребности обозначить положение по отношению к любой точке пространства или момент по отношению к любой временно́й координате, необходимо, поскольку падежная форма локатива сама по себе для этого недостаточна, прибегать к помощи соот-

[1] В. В. Виноградов. Современный русский язык, вып. II, стр. 531.

ветствующих служебных слов, т. е. послелогов. Послелоги эти в основном следующие.

В чем-либо — *нака́*; с подчеркиванием «внутри, в пределах» — *у́ти*. *Хисаэ-ва тянто сясин-о футо-но-нака-ни ирэта* «Хисаэ аккуратно вложила фотографию в конверт». *Тори-о какои-но ути-ни ирэтэ окэ* «держите кур за загородкой» (внутри загородки).

Снаружи, вне чего-либо — *сото́*. *Бася-ва мон-но сото-ни маттэ иру* «Экипаж ждет за воротами» (снаружи ворот).

На чем-либо и над чем-либо — *уэ́*. *Канодзё-га хидза-но уэ-ни кодомо-о идайтэ ита* «она держала на коленях ребенка». *До:ка-ко:ка куби дакэ мидзу-но уэ-ни даситэ ита* «я кое-как держал хоть голову над водой».

Под чем-либо — *сита́*; *иси-но сита-ни удзумэта* «закопал под камнем».

Перед чем-либо — *маэ* и *саки*. *Иэ-но маэ-ни нива-га атта* «перед домом был сад». *Эйго-нитэ ва до:си-га мокутэкиго-но саки-ни тацу* «в английском языке глагол стоит перед дополнением».

За чем-либо, позади чего-либо — *усиро́*, реже *а́то*. *Кодомо-ва иэ-ни усиро-дэ асонда* «дети играли позади дома». *Ватаси-ва карэ-но ато-ни цудзуйта* «я следовал за ним».

Рядом с чем-либо — *соба́*. *Гакко: но собани ядо-о торимасита* «я поселился возле школы» (Возможно и *ва́ки*. Однако *ваки* редко выступает как послелог, обычное же его применение — как наречного имени).

Между чем-либо — *а́ида*. *Дзоку-ва ки-но аида-ни ми-о хисомэта* — «грабитель скрылся между деревьями».

Вокруг чего-либо — *мава́ри*. *Сайдзин-но мавари-ни хито-га ёттэ такатта* — «вокруг чужестранца толпился народ».

Против чего-либо — *мукό*: или *мука́и*. *Карэ-ва ватакуси-но иэ-но мукаи-ни сундэ-иру* «он живет напротив меня»[1].

Протекание после чего-либо — *а́то* и *но́ти*. *Мусмэ-но тотяку-но ато-ни ути-о мэтта-ни дэрарэнай* «после приезда дочери он редко выходит из дому». *Дзисин-но ноти-ни дайка-га атта* «после землетрясения был большой пожар».

До, раньше чего-либо — *ма́э* и *са́ки*. *Сэнсо:-но маэ-ни кэккон-симасита* «перед войной он женился». *Оя-ёри саки-ни синда* «умер раньше родителей» (*саки* управляет, кроме родительного, исходно-сравнительным падежом).

В течение чего-либо — *у́ти* и *а́ида*. *Боку-ва нисаннити-но ути-ни каэримасё* «Я вернусь в течение двух-трех дней». *Русу-но аида-ни дарэ-ка-га конакатта-ка*. «Приходил кто-нибудь во время моего отсутствия?»

Заметим, что пять послелогов — *маэ*, *ато*, *саки*, *аида*, *ути* — имеют и пространственное, и временно́е значение. Здесь не исчерпаны все

[1] *Мавари* и *мукаи* (а также *муко:*) — единственные среди всех этих послелогов, которые восходят к именной форме глагола, а именно глаголов *мавару* «кружиться» и *мукау* «быть обращенным куда-либо».

служебные значения приведенных послелогов: некоторые из них имеют переносное значение, например, *ути*, *нака* «среди, из»; *коно хо́н-но у́ти-ни омосиро́й-но-га а́ру* «среди этих книг есть интересная». *Коно хо́н-но у́ти-ни и́дзурэ-ка ёмо́:ка* «какую из этих книг читать?». *Айда* — отвлеченное «между»: *фу:фу-но а́ида-ни хими́цу-ва на́й* «между супругами нет секретов» и т. п.

Служебное употребление могут иметь и некоторые другие слова, например *то́ки* «время»: *ара́си-но то́ки-ни* «во время грозы, в грозу», но мы не считаем возможным причислять *то́ки* (как и другие в этом отношении с ним сходные слова) к послелогам ввиду полного сохранения им лексического значения и способности иметь при себе определяющее прилагательное.

Особенностью всех перечисленных послелогов, т. е. послелогов, обозначающих пространственные и временны́е соотношения, является то, что они принимают падежные суффиксы, причем, в отличие от послелогов первой, выше рассмотренной группы, суффиксы всех падежей. В связи с этим явлением встают два вопроса.

Первый: связана ли склоняемость послелогов с обязательным происхождением их от существительных, имеющих предметное значение?

Второй: представляют ли наличные падежные формы каждого послелога парадигмы нормального склонения одного послелога и как в таком случае объяснить склоняемость такого служебного слова или же это лексикализовавшиеся изолированные падежные формы, т. е. ряд послелогов, объединенных общностью основы?

В современном языке только немногие из перечисленных слов сохранили предметные значения, какие они имели в древнем языке (об этом см. ниже). В одних случаях это лексико-грамматические омонимы. Например, у наречия-послелога *а́то* «после, позади, за» есть омоним *а́то* «след»; есть послелог *у́ти* «внутри, в течение» и омоним *у́ти* «дом, семья», *са́ки* «впереди, перед (чем-либо)» и *са́ки* «кончик, верхушка». То, что языковое сознание относит эти два значения — пространственное и предметное — к двум различным омонимичным лексемам, хотя омонимы эти несомненно являются следствием семантического распада ранее единого слова, сказывается в написании этих слов различными иероглифами. Уже много веков назад для написания *ато* «после, позади, за» закреплен один иероглиф, для *ато* «след» другой, для *ути* «внутри» один, для *ути* «дом, семья» другой. В других случаях распада слова не происходит: например *нака́* «внутри, в» употребляется связанно, в значении «живот, в животе». Иногда таких предметных значений имеется несколько, например — *уэ́* «наверху, над» употребляется в значении «власти, император; высший, старший, начальник»; *сита́* «внизу, под» в значении «изнанка, оборот; подчиненные; младший» и др. В нескольких своих значениях эти слова встречаются еще в древнейшие эпохи, но только в отношении одного из них — *ато* «после, позади» — японские филологи утверждают, что про-

странственное значение является вторичным, первичным же — значение предметное «след», поскольку слово *ато* считается происходящим от гипотетического *а́[си]то* «место ноги» [1]. Относительно же таких значений, как «власти, начальник» у слова *уэ*, «живот» у слова *нака*, «изнанка» у слова *сита*, можно с определенностью утверждать, что это вторичное значение, образовавшееся на основе метафорического или метонимического переноса (наподобие значений слов «верхи», «внутренности», и «верх», «внутренность»), причем обычно имеются другие, не менее древние, слова, которые обозначают данные понятия точно, не образно, например *хара́* «живот», *ура́* «изнанка, оборот», и которые являются полноценными существительными.

Нельзя не заметить, что иероглифическая письменность дает нам свидетельство того, что пространственные значения вообще могут быть первичными значениями слова. Знаки, которые были созданы для обозначения древних китайских слов, означавших «верх, вверху, вверх» и «низ, внизу, вниз», общепризнанно считаются образчиками одной из самых древних категорий иероглифов — указательной: в основе они представляют собой горизонтальную черту с отходящей от нее посредине перпендикулярной черточкой, для первого слова — вверх, для второго — вниз. Таким образом, сама форма знаков подтверждает, что никакого конкретно-предметного значения эти слова не имели, во всяком случае уже в эпоху создания обозначавших их знаков никаких следов такого значения, если оно было, не сохранилось. Если отсутствие конкретно-предметного значения у слова с пространственным значением возможно было в китайском языке, то оно могло быть и в японском (кстати, для написания японских слов с данными значениями — *уэ́* «вверху», *сита́* «внизу» и *ка́ми* «верх», *симо́* «низ» японцы использовали именно эти иероглифы). Другое дело, что пространственные понятия могли мыслиться и непредметно и предметно, т. е. соответствующие слова могли иметь значение и наречное и субстантивное. Трудно сказать, что является первоначальным, и не правильнее ли предположение, что оба значения искони совмещались в одном слове? Японские филологи этимологически разъясняют некоторые из интересующих нас слов как слова с первоначально пространственным значением, например *а́йда* «промежуток, интервал» и «между» как происшедшее от гипотетического *аито* «сходящиеся места», *ма́э* «впереди, перед (чем-либо)» как происшедшее от гипотетического *ма́э* «сторона (направление) глаз». В сохранившихся древних текстах большинство из этих слов встречается и как существительные, обозначающие предметно-мыслимые пространственные понятия, и как наречия. Но при

[1] Некоторые послелоги имеют такие омонимы, относительно которых можно либо утверждать с точностью, либо предполагать с большой вероятностью отсутствие общности происхождения. Таковы, например, омонимы *уэ* «наверху, на» и *уэ* — название рыболовной снасти, *сита* «внизу, под» и *сита* «язык» (во рту), которые в современном языке расходятся акцентуационно, по голосовой мелодии.

этом часто им предшествует существительное, а сами они стоят в «пространственно-наречном» падеже, т. е. они встречаются в такой форме и позиции, которые заставляют сомневаться в предметности их значения и во всяком случае не могут служить его доказательством, вернее, которые скорее всего показывают нерасчлененность наречно-послеложного и предметного пространственных значений. Так, в Нихонги, памятнике начала VIII в., в песне (а в этой исторической хронике песни датируются более ранними веками) говорится: *Миморо-га уэни нобоританu* «взобрались на верх Миморо» (*Миморо* — название горы; *га* — древняя форма родительного падежа). Однако в современном языке «взобраться на гору» нельзя точно выразить без послелога *уэ*: *ямá-но уэ́-ни нобóру. Яма-о нобору* значит только «взбираться по горе». В какой мере предметно понятие *уэ*, сказать по такому употреблению трудно, но нельзя не отметить, что тогда имелось слово *кáми* «верх», определенно являющееся существительным. Так же неясен пример из Гэндзи-моногатари (X в.):*бё: бу-но усиро-ни иритамаину* «зашел за ширму». Означает ли *усирó* «то пространство, что позади»? В современном языке «за чем-либо» нельзя выразить без помощи послелога *усиро*. Лишено ли предметности *усиро* в этом употреблении уже в X в.? В Манъёсю, антологии VIII в., в которую тоже вошел ряд более древних стихов, читаем: *Омия-но ути-мадэ кикою:* значит ли это «слышно было вплоть до внутренности (внутренних помещений) дворца» или же «слышно было вплоть до во дворце»? В следующем примере из Тосаникки (IX в.) *ути* уже несомненно послелог: *токаку сицуцу ноносиру ути-ни ё фукэн* «пока (они), возясь так и сяк, голосили, стемнело». То что здесь через послелог *ути* подчиняется глагол, а не глагол определяет существительное *ути*, очевидно. Для того, чтобы *ути* мог так отчетливо употребляться как временной послелог, он должен был лишиться предметности и в своем пространственном значении. Поэтому есть основание допустить второе понимание предыдущего примера. Но основное, для чего приведены эти примеры, это показ того, что уже в древнем языке соответствующие слова имели отвлеченное пространственное и временно́е значение, которое во всяком случае легко позволяло им превратиться в послелоги.

И в современном языке некоторые из перечисленных послелогов выступают как существительные, имеющие пространственное и временное значение. К этому мы перейдем ниже, прежде всего подчеркнем другое. Все перечисленные послелоги пространственного и временного значения (кроме *айда*) в современном языке в самостоятельном употреблении, т. е. без предшествующего существительного, обозначают пространственные и временны́е соотношения без их опредмечивания, т. е. имеют наречное значение, — несмотря на то, что они при этом полностью склоняемы. Утверждение, столь частое в японско-иноязычных словарях, будто *уэ* значит «верх», *сита* «низ» и т. д., просто неверно. *Уэ́-э нобóтта* не значит «поднялся на верх», а «поднялся

наверх», так же как *собá-э фурикáэтта* не значит «посмотрел в бок», а «посмотрел вбок». Но разница та, что тогда как в русских наречиях, образовавшихся из предложно-падежных форм существительных, последние утрачивают предметное значение только в этих формах, японские слова обозначают непредметно мыслящиеся пространственные отношения в любой форме. Наречное значение всецело препятствует этим словам принимать определяющее прилагательное. Кстати сказать, в этот разряд входят слова, которые и не употребляются как послелоги. Таковы, например, слова *мúги* и *хидáри*, которые в своей словарной форме непереводимы на русский язык, т. к., собственно говоря, соответствуют только корням «прав. . .» и «лев. . .», таково слово *ѝма* «теперь», *ёсó* «не здесь» и ряд других. В предложении *има-га ёй токи да* дословно «теперь хорошее время», т. е. «теперь удачный момент» (с ударением на «теперь», т. е. «как раз теперь»), *има* нормальное подлежащее в именительном падеже, но *има* не может принять определяющего прилагательного. Можно сказать *сото-ва самуй* «снаружи (на дворе, на улице) холодно», но нельзя сказать *самуй сото*, т. е. превратить сказуемое в определение, что можно было бы сделать, если бы на месте *сото* стояло настоящее существительное, хотя бы и с пространственным или временны́м значением, например: *фую-ва самуй* «зима холодна, зимой холодно» и *самуй фую* «холодная зима». Если в русском языке «полная утрата способности определяться именем прилагательным означает переход существительного в наречие»[1], то в приложении к японскому языку можно также сказать: полная неспособность определяться именем прилагательным означает, что склоняющееся слово является не существительным, а — в данном случае — наречием[2]. Согласно своей наречной природе, некоторые из рассматриваемых слов могут определяться наречиями степени, например *дзúки сóба-ни* «совсем рядом», *хáрукани уэ́ дэс* «(что-либо) гораздо выше». Правда, это наречия особого морфологического типа, а именно склоняющиеся, почему и уместно назвать их наречными именами. Эта часть речи может быть сопоставлена, например, с русским именем прилагательным, — частью речи, семантически не субстантивной, обозначающей непредметно мыслимое качество, морфологически характеризующейся склоняемостью и легко употребляющейся в значении субстантива.

Некоторые из пространственных и временны́х послелогов могут выступать как существительные, обозначающие соответствующие предметно-мыслимые пространственные соотношения. Таковы существительные *áйда* «промежуток, интервал» (наряду с *айда* «между») и *мавáри* «окружность» (наряду с *мавари* «вокруг» чего-либо). В предложениях:

---

[1] В. В. Виноградов. Современный русский язык, вып. II, стр: 295.

[2] О случаях предшествования таким словам прилагательного см. стр. 284—285.

гофундзуцу айда-о ойтэ дэнся-га дэру «трамваи отходят через каждые пять минут», *кися-га дэру мадэ даибу айда-га ару* «до отхода поезда еще много времени» — *айда* существительное. В предложении *Нагоя-ва Токё: то Кё:то-но айда да* «Нагоя — между Токио и Киото» *айда* — послелог, так как Нагоя не приравнивается к «промежутку» между названными городами, т. е. сказуемым служит не существительное *айда* (со связкой), имеющее при себе определение, а послелог *айда* с подчиненными именами, отношение к которым он выражает. Мы имеем здесь два разных значения, различающихся и семантически и и грамматически, хотя и совмещающихся в одном слове. Точно так же ясна разница и семантическая и синтаксическая между словами в следующих двух предложениях: *тикю-но мавари-ва икури ару-ка*? «Сколько миль в окружности земного шара»? и *иэ-но мавари-ни ки-га о:й* «вокруг дома много деревьев». В первом *мавари* существительное, но если бы рассматривать *мавари* как существительное и во втором, пришлось бы считать, что «деревья растут на окружности дома», что является бессмыслицей; *мавари* здесь послелог, выражающий пространственное соотношение: «вокруг, кругом (чего-либо)».

Айда самостоятельно употребляется не как наречное имя, а только как существительное; могут обозначать предметно-мыслимые пространственные и временны́е понятия и некоторые наречные имена: *са́ки* значит «предстоящее, будущее», *а́то* «последующее, дальнейшее». Однако надо подчеркнуть следующее: те наречные имена и послелоги, которые могут употребляться и как существительные с пространственным или временны́м значением, выступают как существительные не совсем полноценные. Это значит, что они не образуют вполне свободных словосочетаний, а тяготеют к определенным установленным словам, с которыми и образуют словосочетания более или менее идиоматического характера; а кроме того они с трудом принимают определения в виде прилагательных. Характерно, например, что даже *айда* сочетается только с двумя прилагательными, причем с одним из них — *нагай* «долгий», — в сущности, образовало особое неразрывное наречное словосочетание *нагай айда* «долгое время, долго»; близко к этому и другое словосочетание *сибара́куно а́йда* «некоторое время». В приведенных выше примерах словосочетания *а́йда-о о́ку* «оставлять интервал» и *а́йда-га а́ру* «есть время (до чего-либо)» выступают как одно целое, а именно глагол, и поэтому при этом целом имеются обстоятельства (*гофу́ндзу́цу* «по пять минут» и *да́йбу* «много»), а не определения к одному *айда*, как следовало бы, если бы *айда* было полноценное существительное. Обратим внимание и на неразрывность этих словосочетаний; можно сказать *дайбу айда-га ару*, но не говорится *айда-ва дайбу ару*. Эти признаки мы наблюдаем и во всех тех случаях, где как существительное выступает *ато*; *ато-о то́ру*, *а́то-о цу́гу*, *а́то-о осу́у* «наследовать», *а́то-о томура́у* «отслужить заупокойную службу», *а́то-о хи́ку* «иметь последствия» («не проходить даром») —

все это идиоматические выражения, где *ато* хотя и выступает как существительное со значением «дальнейшее, последующее», но как существительное лишено полноценного синтаксического бытия (так, если бы «последствия» требовалось качественно определить, *ато* должно было бы быть заменено другим словом). И поэтому, как нам кажется, несмотря на относительно большое число случаев, где *ато* выступает как существительное в словосочетаниях этого типа, для современного языка правильней считать, что *ато* здесь наречное имя, выступающее в функции субстантива, нежели считать, что мы имеем два отдельных значения *ато* — как существительного и как наречия (оно же послелог), и тем более неправомерно считать, что *ато* существительное, могущее выступать как наречие. Тем более оснований считать субстантивизацией наречия такие случаи, когда подобных идиоматических выражений — одно, два, как например у слова *нака́*, могущего употребляться как существительное в устойчивом словосочетании *нака́-о то́ру* «взять среднее», или *уэ́*, входящего как существительное в идиому *уэ́-о сита́-э-но сава́ги* «переполох, где все вверх дном» (где «верх сделан низом»).

Именно потому, что рассматриваемые слова выражают пространственные и временны́е соотношения, самым естественным является употребление их в виде послелога, т. е. в сопровождении управляемого слова, соотношение к которому они выражают. В самостоятельном употреблении, т. е. как наречные имена, они тоже могут выражать соотношение, но только к объекту, известному из контекста. А потребность в обозначении того, соотношение с чем они выражают, ведет к необходимости для многих из этих наречных имен иметь при себе указательное местоимение, являющееся заместителем подразумеваемого имени. *Айда* без таких местоимений вообще не может употребляться как наречное имя, но даже и те, которые могут, фактически чаще употребляются в соединении с указательным местоимением: «вверху» не *уэ-ни*, а *соно уэ-ни*, «внутри» не *нака-ва*, а *соно нака-ва* и т. д. Местоимение имеет определительную форму, что подчеркивает именную природу наречия, но в соединении с указательным местоимением наречие сохраняет свое наречное значение. Ряд соединений указательных местоимений *со́но* и *ко́но* с этими словами вполне лексикализовался, например *сононо́ти* «потом», что отмечается большинством японских двуязычных словарей. При лексикализации наблюдается сужение значения такого составного наречия. Так, *коноа́ида*, даже слившееся в *кона́ида*, употребляется только во временно́м смысле, в значении «последнее время, недавно», *కономаэ* тоже значит только «раньше», а не «впереди», *коноуэ́* и *соноуэ́* только «сверх того, вдобавок», *соноу́ти* «тем временем».

Однако наряду с лексикализовавшимся соединением такого типа возможно и полусвободное сочетание указательного местоимения с наречием. Полусвободным оно является постольку, поскольку ограничен

выбор местоимений — при этих наречиях неупотребительно указательное местоимение *а́но* и невозможно вопросительное *до́но*. При таком полусвободном сочетании с указательным местоимением *соно* (*коно* употребляется реже) наречие сохраняет те значения, которые утеряны при лексикализации, а местоимение сохраняет конкретность. *Соно уэ́-ни* может значить, вернее, именно значит «на нем» или «над ним», *соно ма́э-ни* «перед ним» и т. д. Можно провести аналогию с русским языком, где тенденцию к лексикализации имеет соединение с предлогами местоимения «то». «Оттого» — одно слово, где предлог в соединении с указательным местоимением лексикализовался в причинном значении. Наряду с «оттого» возможно «от того», где предлог имеет пространственное значение, а местоимение сохраняет конкретное значение. Однако «кроме того» отчетливо сознается как два слова, как словосочетание особого типа, хотя местоимение здесь уже утратило конкретный смысл, т. е. сделан первый шаг к лексикализации. Точно так же и в японском языке *сонохока́ни* «кроме того» и *соноё:ни* «так, таким образом» вполне слились в одно слово, и местоимение утратило конкретность; отдельно *хокани* употребляется редко, а *ё:ни* совсем не употребляется. *Соно сита-ни скорей* ближе к двум словам «под тем», но тенденция к превращению его в наречие *соноситани*, «внизу», несомненна. Но надо подчеркнуть, что, и превратившись в наречие, любое такое соединение может, в соответствующем контексте, выступить как словосочетание из послелога с местоимением, замещающим конкретное имя[1].

Итак, на первый вопрос ответ такой: только один из послелогов места и времени — *ато* «после, позади» — восходит к существительному с предметным значением «след». Предметные значения других вторичны, производны. Все послелоги места и времени в самостоятельном употреблении имеют наречное значение, некоторые также употребляются как существительные с пространственным или временны́м значением. В обоих этих значениях они встречаются в древнем языке, и нет возможности сказать, какое из них первично; правильнее предположить, что эти значения не расчленялись. Но в современном языке все эти послелоги (кроме одного *айда*) в самостоятельном употреблении прежде всего — наречные имена, и ни один из тех, которые употребляются как существительные, не выступает как существительное полноценное. Поэтому у них не может быть эквивалентов в виде существительных других языков, не может быть для пространственного *уэ* «вверху», как

---

[1] Надо заметить, что, как и во многих других случаях, фонетический признак, а именно учет голосовой мелодии, не может помочь различению того, имеем ли мы дело с составным наречием или словосочетанием. Как указывает крупнейший специалист по этому вопросу, проф. Дзимбо Итару, определительные местоимения с точки зрения голосовой мелодии имеют тенденцию объединяться с разного типа определяемыми; См. Дзимбо Итару и Цунэми Тисато. Кокуго Хацуон аксэнто дзитэн (Словарь ударений в японском языке) 1936, вводная статья, стр. 47.

нет его для временно́го *ато* «потом». В корне неверна сама попытка искать их эквиваленты в виде существительных в таких языках, в частности в русском, где эквивалентом их может быть только наречие. Разница только морфологическая: русские наречия несклоняемы, а японские пространственные и временны́е наречия склоняемы. Но как особенность склонения словарной формы японского глагола в том и заключается, что он склоняется, оставаясь глаголом, так и особенность склонения этих слов, употребленных в виде самостоятельных наречий, заключается в том, что они склоняются, оставаясь наречиями. Поэтому они в самостоятельном употреблении относятся к особой части речи — наречным именам. Имея при себе управляемое слово, они являются послелогами.

Послелоги сохраняют ту же полную склоняемость, что и наречные имена. Для уяснения этого явления рассмотрим парадигмы склонения послелогов.

Наиболее часто встречаются падежи, выражающие пространственные и временны́е отношения, а именно: дательно-местный, творительный места[1], исходный, предельный и падеж направления и, наконец, винительный просекутивный. Реже встречаются падежи, выражающие объектные отношения: винительный, если само место служит объектом действия, исходно-сравнительный, если само место является объектом, с которым производится сравнение. Когда место служит темой высказывания, послелог стоит в именительном падеже, обычно в форме основы с выделительным суффиксом *ва*. Если послелогом определяется пространственное соотношение двух предметов или временно́е двух явлений, т. е. связь имени с именем же, он принимает форму родительного падежа.

Перейдем к примерам.

Канодзё-ва кагами-но нака-но дзибун-но сугата-о сибараку дзитто нагамэта «она некоторое время пристально смотрела на свою фигуру в зеркале».

Сугата «фигура» — определено по месту своего нахождения «в зеркале»; если бы в родительном падеже без послелога стояло само существительное *кагами* «зеркало», то, благодаря вещественному значению слов *кагами* и *сугата*, словосочетание можно было бы понять как «форма (вид) зеркала», а не как обозначение местонахождения «фигуры». Следовательно, *нака* оказалось необходимым, как вспомогательное слово, обозначающее местонахождение, необходимым при этом в той форме, которая подчиняет его слову *сугата*, т. е. в форме родительного падежа.

---

[1] Из послелогов с временны́м значением только один — *ато* «после» принимает суффикс творительного падежа, как наречное имя *има* «теперь», и так как функция обозначения времени у творительного отмерла (ее имеет дательно-местный падеж), то обе эти формы — *атодэ* «потом» и *имадэ* «теперь» можно считать выпавшими из системы склонения, т. е. лексикализовавшимися.

Карэ-ва хитогоми-но нака-ни миэнаку натта «он исчез (пропал из виду) в толпе».

Дательно-местный падеж слова *хитогóми* «толпа» в силу лексического значения этого слова сам по себе не может выполнять функцию местного: «толпа» — не местопребывание, а мы уже говорили о том, что суффикс *ни* обозначает место только в том случае, если имя, при котором стоит этот суффикс, означает естественное местопребывание человека. Следовательно, *нака* необходимо для выражения указания на толпу, как место. Понимать *нака* как «нутро», а слово *хитогоми* — определение к нему — «в нутре толпы», — разумеется, невозможно.

В лексически близком предложении нам встретился творительный места: *Цусэко-ва нисампун-но ути-ни карэ-о хитогоми-но нака-дэ миусинатта* «Цусэко в две-три минуты потеряла его из виду в толпе».

Кэмури-но нака-кара араварэта сугата-га атта «кто-то показался из дыма».

Исходный падеж слова *кэмури* «дым» сам по себе не может выражать появления чего-либо изнутри, т. е. выражать то, что передает русский предлог «из» в отличие от предлога «от». Говорить о каком-нибудь «нутре» дыма, «внутренности» дыма нельзя не только потому, что по-русски не находится соответствующего слова, а и потому, что *нака* здесь не знаменательное слово, а чисто служебное.

Возьмем аналогичные примеры: *тэ : буру-но сита-кара хаидасу моно-га ару* «кто-то вылез из-под стола», и *бё : бу-но усиро-кара куби-о дасита* «высунул голову из-за ширмы». *Сита* служит для обозначения положения по отношению к столу — *тэ : буру* — «под столом», *усиро* — по отношению к ширме — *бё : бу* — «за ширмой»; падеж показывает на удаление от обозначенного пункта — «из-под стола», «из-за ширмы». Русский язык в данном случае также прибегает к двойным предлогам «из-под», «из-за», которые наглядно показывают, что двойное обозначение пространственного соотношения не является какой-нибудь специфической особенностью японского или вообще восточных языков.

Соно тэгами-о хи-но нака-э нагэконда «бросила его письма в огонь».

Падеж направления самого слова *хи* «огонь» передал бы движение чего-либо по направлению к названному объекту, но не достижение самого объекта. Другое дело, если в падеже направления стоят имена, обозначающие местопребывание: *хэя-э хаитта* «вошел в комнату», *Токё : -э кимасита* «приехал в Токио». Но *хи-э* значит только «к огню», и слово *нака* для передачи значения «в огонь» необходимо.

Амэ-но нака-о аруйтэ кита «пришел под дождем».

При желании указать не на время, в которое состоялся приход, а на местопребывание «под дождем» (такого предлога требует русский язык), японский прибегает к послелогу *нака*, передающему пребывание «в дожде», окружающем пришедшего со всех сторон — и сверху, и кругом. А так как глагол *аруку* «ходить» управляет винительным

пространства, мы и имеем здесь этот падеж, передающий движение под дождем («в дожде»). О «нутре» дождя говорить не приходится.

Покэтто-но нака-о сагасита «поискал в кармане».

Винительный при глаголе *сагáсу* имеет два значения: винительный объекта *катаку-со : саку-о оконаттэ сёруй-о сагасита* «производя домашний обыск, искали бумаги» и винительный пространства (места, где производятся поиски) *доко-о сагаситэмо имасэн* «где ни искали, его нет». Разумеется, этот второй винительный мы и имеем в приведенном предложении, где пространственное значение падежа подчеркивается послелогом *нака* — искал не «карман», а «в кармане».

Канодзё-ва тэ : буру-но уэ-о тянто харатта «она тщательно вытерла стол».

В данном случае мы имеем винительный объекта, которым управляет глагол *харáу*, однако послелог не приобретает предметного значения, здесь нет значения «вытерла верх стола». Если бы понадобилось дать качественное определение понятию «верх», т. е. дать определение в виде прилагательного, например «грязный верх стола», то слово *уэ* оказалось бы неприемлемым, его пришлось бы заменить словом *дзё : бу* (верхняя часть) или *дзё : мэн* (верхняя поверхность). С другой стороны, если убрать слово *уэ*, речь шла бы о столе как о предмете, а не о месте, тогда как *тэ : буру-но уэ-о харау* значит «вытереть на столе».

Особый случай винительного в следующем примере.

Коно ину-ва доко-э дэмо боку-но ато-о о : тэ куру «эта собака повсюду следует за мной».

Глагол *óу* «гнаться, преследовать» управляет винительным объекта, например, *сикá-о óу* «преследовать оленя, гнаться за оленем». Значит ли это, что в приведенном предложении объектом служит существительное *ато*, к которому имеется определение, нечто вроде «гонится за тем, что за мной»? Очевидно, что объектом все же является человек, как таковой, а не то, что за ним; значит дополнение — знаменательное слово *боку* «я», слово же *ато* играет служебную роль, подчиняя это дополнение глаголу и имея значение «вслед», т. е. указывая направление (ср., русское «бежать вслед за кем-либо»). Кстати, напомним, что послелог *ато* имеет омоним в виде существительного *ато* «след», от которого он по всей видимости произошел, так что мы имеем полное совпадение внутренней формы обоих служебных слов — русского *вслед* и японского *ато* при глаголе *оу*. И не следует ли в нынешнем винительном объекта при глаголе *оу* видеть выпадение этого служебного слова, превратившее в винительный объекта древний винительный направления?

Упомянем заодно о винительном направления при глаголе *муку* «поворачиваться». Следует, однако, заметить, что рассматриваемые нами слова выступают при *муку*, как правило, в роли наречных имен, а не послелогов. *Усирó-о мýйтэ тáттэ итá* «стоял, повернувшись

назад». *Усиро* здесь не опредмеченное понятие — никакое качественное определение при нем невозможно, — его единственная функция состоит в обозначении направленности поворота, т. е. в выражении пространственного соотношения.

Сото-ва хэя-но нака-ёри ататакатта «на улице (дословно «снаружи») было теплей, чем в комнате».

Благодаря тому, что в русском языке союз *чем* подчиняет прилагательному в сравнительной степени существительное не только в именительном падеже, но и в предложно-падежных формах, сам перевод убедительно раскрывает, что объектом, с которым производится сравнение, является не комната, как таковая, и не внутренняя часть комнаты, а пространственное понятие «в комнате», поэтому в русском языке предложно-падежная форма представляет собой синтаксически одно целое, а в японском послелог стоит в форме исходно-сравнительного падежа, падеж же относится к словосочетанию из существительного с предлогом, как к целому.

Переходим к примерам в именительном падеже.

Ути-но нака-ва торимидаситэ атта «(всё) смешалось в доме». «Смешалось» относится не к слову «дом», смешался не дом, как таковой, что получилось бы, если бы не было служебного слова *нака*, а «в доме». Легко заметить, что в русском переводе слово *всё* лишено своего полновесного значения и появляется только потому, что данный глагол не терпит безличности, а по условиям русского языка слова «в доме» не могут быть подлежащим. Однако в системе японского языка эти слова, являясь логическим подлежащим, могут быть и подлежащим грамматическим.

Коно тика-сэкай-но уэ-ва икэ датта «над этим подземным миром было озеро» (сказуемое выражено словом *икэ* «озеро» со связкой).

Неверно было бы понимать это предложение так: «верх подземного мира был озеро», т. е. считать *уэ* опредмеченным понятием, существительным с определением к нему; неверно потому, что это значило бы, что озеро есть часть этого мира, его верхняя часть, между тем как *уэ* здесь указывает на соотношение **над** ним. Нельзя и сказать: «то, что над этим подземным миром, было озеро», так как слова «то, что» обозначают нечто предметное, а *уэ* указывает на соотношение в пространстве, а не на само пространство. Дословный перевод был бы возможен только в том случае, если бы русский язык допускал слова «над миром» как подлежащее (аналогично тому как слова «в комнате» служили дополнением в примере, рассмотренном выше): «над этим подземным миром — представляло собой озеро».

Остановимся на этих случаях, т. е. на предложениях, где пространственный послелог имеет выделительный суффикс *ва*. Не следует ли все-таки рассматривать здесь имя с послелогом не как подлежащее, а как обстоятельство места, по аналогии с *ва* при временно́м существительном, что в аналогичном случае традиционно считается обстоя-

тельством времени? Однако и в этом втором случае возможно двоякое толкование. По условиям русского языка существительное и наречие в совершенно одинаковой позиции расцениваются первое — как подлежащее, второе — как обстоятельство, например в предложениях «четверг был счастливый день» и «вчера был счастливый день», что объясняется отсутствием склонения у наречия и отсутствием согласования с ним глагола. Но так ли очевидно, что в японских предложениях *мокуёби-ва мэдэта́й хи дэ́сита* «четверг был счастливый день» и *кино́:-ва мэдэта́й хи́ дэ́сита* «вчера был счастливый день» *кино:-ва* «вчера» следует считать обстоятельством времени, а не подлежащим? Тем не менее не подлежит сомнению, что временны́е существительные и наречия с суффиксом *ва*, а также существительные с послелогом времени в этой форме, могут служить обстоятельствами; не подлежит сомнению потому, что мы сплошь и рядом встречаем их в предложениях, где грамматическое подлежащее налицо, более того, где грамматическое подлежащее, совпадая с логическим, тоже имеет при себе суффикс *ва*: *Асакуса-хэн-ва маэ-ва уми датта* «окрестности Аса́куса раньше были морем». Но именно этого-то, как правило, не бывает с обстоятельствами места: при выраженном грамматическом подлежащем они оказываются в дательно-местном или творительном места, с *ва* в именительном падеже мы их находим только тогда, когда место в то же время является темой суждения, когда не в нем что-либо происходит, а оно само определяется, — при определенных видах сказуемых: сказуемом именном и сказуемом, выраженном прилагательным, или непереходным глаголом, означающим состояние, т. е. когда словосочетание, обозначающее место, является подлежащим. И, наконец, в этих случаях оно может иметь и суффикс именительного падежа *га*, когда иначе, как подлежащее, его нельзя рассматривать и формально.

Но значит ли это, однако, что рассматривая в этих случаях *иэ-но нака* «в доме», *тика-сэкай-но уэ* «над подземным миром» и т. п. как подлежащее, мы должны рассматривать *нака* и *уэ* как существительные с определениями к ним? Имеется ли в этих, — добавим, частых, — случаях опредмечивание пространственных представлений? Мы надеемся, что разбор приведенных выше предложений достаточно показал, что *уэ*, *нака* и т. д. в именительном и винительном падежах играют ту же служебную роль, что и в других падежах, так же точно служат для обозначения пространственных соотношений, т. е. являются послелогами. Субстантивизация, конечно, есть, но субстантивизация чего? Не послелога как такового, а всего словосочетания имени с послелогом. Дополнением, подлежащим являются не слова *в*, *над* и т. д., которые, как служебные, сами по себе лишены и знаменательности, и способности самостоятельного синтаксического существования, дополнением и подлежащим служит комплекс «в комнате, в доме» и т. п.

Как же расценивать само явление склонения послелогов? В литературе встречаются две различные точки зрения. Согласно одной, кон-

статируется склоняемость самих послелогов. Так, еще полвека назад А. М. Дирр в грамматике удинского языка «считал, что послелоги в этом языке склоняемы»[1]. Г. Д. Санжеев указывает, что в монгольском языке «наречия и послелоги имеют частичное склонение»[2]. Согласно другой точке зрения, вопрос, особенно при наличии неполного склонения, ставится не так, как у А. Дирра и Г. Д. Санжеева: говорят не о склонении самих послелогов, а о функционировании в роли послелогов отдельных падежных форм имени, от которого они произошли. Так, например, ставится вопрос в русском языке, где «внутри», «изнутри», «внутрь» рассматриваются как три отдельные наречия-предлоги, а не предложно-падежные формы одного «дефектного имени» «нутрь». Так смотрит Н. А. Баскаков на падежные формы послелогов в каракалпакском языке, называя всю аналогичную группу «послелоги — изолированные формы имен существительных»[3]. Так ставит вопрос и акад. И. И. Мещанинов по отношению к послелогам в некоторых языках Кавказа. «Если вплотную подойти к приведенным склоняемым формам послелога, то мы увидим, что каждая падежная форма послелога приводит к их семантической дифференциации и обособлению в заданиях синтаксической семантики. В результате они выступают как различные послелоги, хотя и объединенные общностью основы, изменяемой по падежам»[4]. Наконец, по отношению к японскому языку ту же точку зрения отражает регистрирование в словаре падежных форм, как отдельных слов, что мы находим, как уже упоминалось, в словаре «Basic japanese».

После того, что говорилось нами о наречных именах, т. е. о склоняемых наречиях, к которым мы относим большинство перечисленных слов в их самостоятельном употреблении, ясно, что вторая из изложенных здесь точек зрения к данному явлению неприменима. Признать каждую падежную форму за отдельный послелог можно в том случае, если основа не употребляется совсем или употребляется в другом значении, а склонение дефектно. Например, в современном русском языке имя, от которого образовались наречия-предлоги — *внутри*, *внутрь*, *изнутри*, отсутствует, а слово *даль*, от которого образованы наречия *вдали*, *вдаль*, *издали*, — полноценное существительное; естественно поэтому, что данные предложно-падежные формы расцениваются как самостоятельные слова. Совершенно иную картину представляют интересующие нас японские слова. Во-первых, они сохраняют послеложное значение и в форме основы, что встречается в названиях, в поговорках, а также в сочетании со связкой. Название рассказа: *тата́ми-н*

---

[1] И. И. Мещанинов. Общее языкознание. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 51.

[2] Г. Д. Санжеев. Грамматика бурят-монгольского языка. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 93.

[3] Н. А. Баскаков. Каракалпакский язык, т. II, 1952, стр. 483—489.

[4] И. И. Мещанинов. Ук. соч., стр. 51.

уэ́ то фунэ́-но уэ́ означает «на цыновке и на корабле», а не «верх цыновки и верх корабля». (Речь в рассказе идет о том, что умереть на корабле не страшнее, чем на своей постели.) Во-вторых, эти слова сохраняют полную семантическую тождественность в форме основы и во всех падежах, в которых они встречаются. В-третьих, у них имеется весь падежный ряд и нормальная (хотя и несколько суженая) функция каждого падежа. Все это отнюдь не создает той изоляции падежных форм, которая является необходимым условием их лексикализации, необходимым условием восприятия каждой падежной формы в отрыве от остальных, как отдельного слова.

После того, что говорилось выше о полной синтаксической несамостоятельности послелога, ясно, что мы не можем расценивать это явление и как склонение самого послелога. Поэтому ни первая, ни вторая точка зрения к данному случаю не подходит, к нему надо подойти иначе. Поскольку субстантивируется не послелог, как таковой, а словосочетание из имени с послелогом, постольку и склонение относится не к послелогу, как к таковому, а к словосочетанию в целом. Это было показано выше при разборе примеров. Глагол подчиняет себе дополнение или обстоятельство (а также имя — определение) с помощью требующейся этим глаголом (или именем) падежной формы. Эту форму принимает существительное, если соответствующим подчиненным членом является самое существительное, или словосочетание из существительного с послелогом, если подчиненным членом является словосочетание из существительного с послелогом. В этом словосочетании форма первого члена — существительного — неизменно родительный падеж, поскольку она зависит от именной природы послелога, но форма послелога, а значит, и словосочетания в целом, определяется подчиняющим это словосочетание словом. Такое словосочетание, в котором существительное спаяно с послелогом неизменностью своей формы, определенной этим послелогом, обозначает, наподобие наречия, одно пространственное или временное понятие и склоняется так же, как склоняются аналогичные по значению наречные имена. Не надо забывать, что склонение словосочетаний в японском языке встречается и в других случаях: склоняется паратаксическое словосочетание из синтаксически однородных существительных (подлежащих, дополнений, определений), склоняются подчиненные предложения, занимающие позицию подлежащего или дополнения. Таким образом, склонение словосочетания из существительного с послелогом не представляет собой ничего исключительного. Что словосочетание из существительного с послелогом места или времени представляет особенно прочное единство, подтверждается возможностью его лексикализации. Таково существительное *ёнонака́* «житейский мир, жизнь», образовавшееся из *ё-но нака* «на свете, в жизни», и ряд географических названий типа Мияносита (*мия́-но сита́* «под храмом»). Нельзя не указать также на существование слов типа *сицуна́й* «в комнате», *окуга́й* «на открытом воздухе» (точнее «вне

дома»), *кантю́*: «во время холодов, зимой» и т. п., т. е. наречных имен, образованных из двух китайских корней — первого предметного по значению, второго послеложного. Такие слова характеризуются несомненным лексическим единством и цельностью, однако их внутренняя форма всецело уподобляет их словосочетаниям из существительного с послелогом.

Итак, склоняется не послелог сам по себе, а наречное по значению словосочетание из имени с послелогом. В третьей главе будет указано, что так же расценивает А. Н. Кононов аналогичные явления в узбекском языке[1].

Нам остается осветить тот случай применения послелога рассматриваемого типа, который на первый взгляд противоречит нашему утверждению об их наречном значении в самостоятельном употреблении: это тот случай, когда слово этого типа имеет перед собой прилагательное в определительной форме. Анализ этих случаев показывает, что противоречие это мнимое, и подчеркивает служебную роль послелога. Возьмем такой пример: *ёй ато-ва варуй* (поговорка): *ёй* — прилагательное «хороший, добрый», *вару́й* — прилагательное «плохой, дурной». Если бы *ато* здесь было существительным, следовательно, подлежащим, предложение имело бы смысл нелепый, или по меньшей мере загадочный; оно утверждало бы об одном и том же предмете с помощью определения — что он хорош, с помощью сказуемого — что он плох: «хорошее последующее плохо». Между тем поговорка сразу приобретает смысл, если считать *ато* послелогом, устанавливающим соотношение с подчиненным прилагательным так, как если бы это было имя: «за хорошим — дурное, после хорошего — дурное». Второй пример: *огосокано нака-ни дзиан-но комотта котоба* «слова, которые при (всей их) строгости были исполнены любви». (Речь идет о словах командира, отправляющего летчиков в воздушный бой.) Можно ли рассматривать здесь *нака* как существительное «нутро, середина» и т. п. Дело не в отсутствии подходящего русского слова, а в смысле японского: характеризуется ли словом «строгий» предметно мыслимое понятие внутреннего, или же глаголу подчинено обстоятельство, указывающее (переносно) на «место» подлежащего «любви»? Первое понимание обязательно, если считать *нака* существительным, второе требует признания *нака* послелогом, обозначающим соотношение глагола с прилагательным так, как если бы это было имя.

И действительно, определенная форма японских предикативных

---

[1] Нам кажется, что может быть аналогично происхождение русских двойных предлогов «из-под, из-за» и более редкого «по-над», т. е. в генезисе первый предлог относился ко второму предлогу и существительному, как к целому. «По-над», как малоупотребительный, кажется ограниченным возможностью сочетания только со словом «берег» и названиями рек, след чего сохраняется в виде падежной формы существительного, определяющейся непосредственно примыкающим к нему предлогом.

прилагательных, к которым принадлежит прилагательное *ёй* из первого примера, может выступать как предметно-мыслимое понятие не опредмеченного качества, а некоей неопределенной субстанции, определяющейся этим качеством, наподобие русских прилагательных в среднем роде («сейте разумное, доброе, вечное»). Это объясняется тем, что нынешняя определительная форма исторически произошла от другой, одновременно приименной и именной. Что касается прилагательных непредикативных, к которым относится *огосока*, то их применение, как имени, шире. И если такое прилагательное имеет не специфическое для этой категории определительное окончание *на*, а суффикс *но*, это является формальным подтверждением, что оно выступает как имя в родительном падеже. Именно такую форму оно имеет во втором случае.

Иной случай представляет предложение типа *курай утини окимасита* «встал пока темно (до свету)». Здесь *ути-ни* «в течение» послелог, управляющий целым обстоятельственным предложением, выраженным одним сказуемым: *курай* «темно». Общеизвестно, что в японском языке предложение может быть подчинено теми же средствами, что и имя — склонением и послелогами. Такой случай мы здесь и имеем. Добавим, что если бы *ути-ни* было существительным, оно без большого ущерба для смысла могло бы лишиться определения. Но если снять определение, *ути-ни* немедленно превращается в существительное со значением «до́ма», что совершенно меняет смысл. Для сохранения же наречного значения «тем временем» оно должно предваряться указательным местоимением; таким наречным именем является сложное слово *соноути*.

Таким образом подтверждается высказанное выше положение о том, что слова, выступающие как послелоги, обычно и в самостоятельном употреблении обозначают не предметно-мыслимые пространственные понятия, а непредметно мыслимые пространственные соотношения, в силу чего они не могут иметь перед собой определяющего прилагательного (и не могут и не должны переводиться на русский язык существительными). В случае наличия перед таким словом прилагательного, последнее не является определением; оно выступает либо в значении имени в функции дополнения, либо в значении прилагательного в функции сказуемого, а само якобы определяемое слово и в том и в другом случае на самом деле послелог, которому это прилагательное подчинено и который подчиняет его последующему сказуемому или другому слову.

Для полноты рассмотрения группы отыменных послелогов осветим вопрос о степени связи их с глаголами.

Ответ отчасти должен быть ясен из характеристики семантики их, уже дававшейся выше. Большинство их — послелоги времени и места, за небольшими исключениями; дополнения этого разряда по самому смыслу своему не стоят в той тесной связи с глаголом, в какой стоят

дополнения прямо или косвенно переходных глаголов, необходимые для полноты раскрытия их смысла (исключением являются глаголы, означающие движение, типа: *куру* «приходить» и т. п.). Другими словами, это дополнения слабоуправляемые или обстоятельства. А с понятием слабоуправляемости связаны и некоторые сопутствующие признаки. «Слабоуправляемые члены, вследствие слабости сцепления своего с другими словами, легко отрываются от других слов и переходят в разряд обособленных членов предложения... слабоуправляемые члены часто бывают сцеплены не с отдельными словами, а с целыми словосочетаниями»[1]. Под способностью обособления, как она в данном случае проявляется в японском языке, мы имеем в виду способность этих членов при нормальном порядке слов предшествовать подлежащему, а в этом случае они и относятся не к сказуемому исключительно, а к последующему предложению в целом. Типовой пример: *цукуэ́-но уэ́-ни-ва хо́н-га а́ру* «на столе есть книга». Слабоуправляемый член, обозначающий место, стоит в начале предложения и относится ко всему последующему, а не только к сказуемому *ару*. Это подтверждается тем, что при этом члене мы находим выделительный суффикс *ва*, указывающий, что он входит в тематическое подлежащее; грамматическое же подлежащее лишено этого суффикса, т. е. выключено из группы тематического подлежащего, следовательно, перенесено в группу сказуемого, где оно объединяется с *ару*.

Способность к занятию, при нормальном порядке слов, места в начале предложения до подлежащего стоит в тесной связи со способностью данного члена относиться не только к сказуемому — глаголу, как таковому, а к словосочетанию из подлежащего со сказуемым в целом. Надо отметить, что из первой группы отыменных послелогов, выражающих абстрактные отношения, такой способности лишено только *ё: ни* (а также послелог-аффикс *ходо*). Только эти два, поэтому, не предшествуют — без инверсии — подлежащему и не принимают выделительного суффикса *ва*. И все же, как показывает самая функция этих послелогов — функция качественного и количественного сравнения, — подчиненные ими дополнения нельзя отнести к числу сильноуправляемых членов, а поэтому при наличии у глагола сильноуправляемых дополнений, дополнения, подчиненные с помощью *ходо* и *ё: ни*, при нормальном порядке слов всем им уступают место.

Таким образом, приходится сказать, что, как правило, члены предложения, подчиненные с помощью отыменных послелогов, не стоят с глаголом в необходимой связи, т. е. не требуются прямой и косвенной переходностью самого глагола, и являются не дополнениями, а обстоятельствами.

---

[1] А. А. Пешковский. Русский синтаксис в научном совещании. Изд. 4-е. М., 1934, стр. 256.

III

Проблема отыменных послелогов описанного во второй главе типа далеко не ограничивается одним японским языком.

Во-первых, аналогичные слова имеются в корейском языке. Их под названием именных послелогов отмечает финский корееевед Рамстедт в своей грамматике, вышедшей в 1939 г. Рамстедт отмечает их формальный признак: «послелоги фактически безударны»[1]. Отдельные послелоги трактуются им как лексикализовавшиеся падежные формы имени, например: «*анхе*, *анхыро* (*ане*, *аныро*) «в, среди», это местный и творительный падежи от имени *анх* (*ан*) («внутренность»; также «подкладка платья»)»[2] и т. д. Тем не менее он заканчивает соответствующий раздел следующей оговоркой: «Очень трудно, почти невозможно, провести четкую границу между именами существительными и той категорией слов, которую мы назвали именными послелогами. Многие из перечисленных выше послелогов на деле имеют ударение и употребляются как правильные имена»[3]. В грамматическом очерке Ю. Н. Мазура соответствующие слова названы отыменными послелогами, указаны и их падежные формы[4].

Во-вторых, аналогичные слова имеются и в монгольских и в тюркских языках, строй которых во многих отношениях обнаруживает большое сходство с японским. В данном случае сходство имеется в наличии группы отыменных послелогов с одинаковыми значениями и более или менее одинаковыми формами, вплоть до того, что, как правило, послелоги отвлеченного значения (целевые, причинные, компаративные и т. д.) так же, как в японском языке, отличаются гораздо большей дефектностью склонения, чем послелоги времени и места. Посмотрим, как трактует именно эту последнюю группу слов наша монголистика и тюркология.

Более ста лет тому назад А. Бобровников утверждал, что «эти слова представляют собой наречия только по русскому переводу, в монгольско-калмыцком же языке они ничем не отличаются от обыкновенных падежей имени»[5] — как будто одна дефектность склонения, указанная тут же, уже не есть «нечто»! Грамматика монгольского языка, изданная Академией наук в 1937 г., от этой точки зрения отходит, но весьма нерешительно. Мы видим в ней колебания между функциональным (синтаксическим) и морфологическим определением рассматриваемых слов. В разделе морфологии перевешивают морфологиче-

[1] Г. Рамстедт. Грамматика корейского языка. 1951, стр. 186.

[2] Там же, стр. 187.

[3] Там же, стр. 192.

[4] Ю. Н. Мазур. Краткий очерк грамматики. «Русско-корейский словарь». М., 1951.

[5] А. Бобровников. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 1849, стр. 187.

ские признаки, поэтому даже слова «послелог» во всем этом разделе нет. Аналогичные имена отмечены под названием «имена с недостаточным склонением», и только вскользь сказано, что «большинство этих недостаточных имен в тех или других возможных от них падежных формах, управляя именем, стоя после такового, выполняют роль русских предлогов», например: degere «наверху, на, над», degereece «сверху», dora «внизу, под», doraaca «из-под», dotora «внутри», dotoraaca «изнутри», yadana «вне, снаружи», yadanaaca «извне», dumda «середина, среди», dumdaaca «из середины» и т. д. Итак, в разделе морфологии это — имена, только «выполняющие роль русских предлогов». Но в разделе синтаксиса перевешивает синтаксический признак и появляется целая глава «Послелог». В ней выясняется, что в монгольском языке «в большинстве своем послелоги являются дефектными именами, но есть среди них и разные глагольные формы, несущие чисто служебную роль и свое первоначальное значение, как знаменательные слова, в данном сочетании утратившие». Однако отмечается, что «если подойти к послелогам исторически, то можно установить, что в таких предложениях, как gerdegere yarubai «взобрался на дом» дополнением является послелог, а управляемое им слово — определением, т. е. «вышел на дома верх» или «на домовую вершину»». Но поскольку исторический подход не заменяет оценки явления в современной стадии языка, для этой последней дается ясная формулировка: «разные послелоги управляют разными падежными формами имени... Послелоги, управляющие родительным падежом, весьма многочисленны... Дополнение, выраженное родительным падежом с послелогом, является единственным случаем, когда дополнение оформлено родительным падежом». И опять, очевидно, чтобы не погрешить против морфологии, производится «историческое рассмотрение» такого предложения, как tergen gerün xoina baimui «телега находится позади дома»; в результате этого разбора оказывается, что телега находится «на домовом заду».

Однако в дальнейшем советская монголистика отказалась от этих колебаний. Г. Д. Санжеев, как уже указывалось выше, со всей определенностью рассматривает эти слова, как склоняющиеся послелоги. В «Грамматике бурят-монгольского языка», в разделе морфологии, в главе «Наречия, послелоги, частицы и междометия» читаем: «В качестве послелога употребляются и предметные имена, например — *дотор* «в, внутри» (собственно «внутренность», а затем «подкладка, желудок» и т. д.)... Не должно смущать то обстоятельство, что некоторые слова могут одновременно входить в различные части речи: подобного рода явления неизбежны, поскольку ничего чистого и законченного в языке, как известно, не бывает. Так, например, предметное имя *дотор*, употребляясь в качестве определения, имеет значение «внутренний» и в качестве послелога имеет значение «в»; некоторые наречия, выражающие обстоятельства места, употребляются и в ка-

честве послелогов, например *ширээ-дзэрэ* «на столе», *шени доро* «под тобою» и т. д. (*дзэрэ* как наречие значит «наверху», *доро* «внизу». — *Н. Ф.*), таким образом оказывается, что наречия и послелоги как бы «перепутаны» между собой; объясняется это тем, что некоторые послелоги образуются от наречий, в свою очередь восходящих к предметным именам»[1]. Г. Д. Санжеев, последовательно проводя эту точку зрения, и в разделе синтаксиса, касаясь значения падежей дополнения, отмечает, что «родительный падеж может быть только составным дополнением в сочетании с послелогами и наречиями в значении послелогов»[2].

Точно так же Б. Х. Тодаева пишет: «Халха-монгольский язык, как и многие другие, несмотря на богатство падежных форм, не может обходиться без помощи дополнительных средств для выражения и уточнения ряда пространственных, временны́х и иных отношений. Такими дополнительными средствами выступают слова, выполняющие служебную функцию и носящие название послелогов. Послелоги, как уже указывалось многими исследователями, восходят в прошлом к именам. Так, например, в халха-монгольском *дотор*, употребляющийся в качестве послелога с родительным падежом и основой имени в значении «внутри», «в», не потерял еще своего реально-смыслового содержания и означает «подкладка», «внутренность»»[3]. Напрасно только Б. Х. Тодаева, приведя перечень послелогов места, времени, сравнения, цели и т. п., как, например, *дээр* «на, наверху», *хойш* «после», *халт* «с, вместе», *мэт* «подобно, как» и др., заключает: «Собственное значение послелогов не может быть реализовано вне связи с падежной формой имени»[4]. Это вполне справедливо только для тех «формальных, пустых», как их называет В. В. Виноградов[5], предлогов (и послелогов), значение которых зависит от вещественного значения глагола и дополнения. Но, видимо, для монгольских языков, как и для японского, характерно отсутствие таких полностью грамматикализованных послелогов (не аффиксов)[6]. Что же касается рассматриваемых послелогов времени и места, то именно их самостоятельное лексическое значение и делает возможным их изолированный, для всех случаев пригодный, однозначный перевод.

Иную картину представляет советская тюркология.

---

[1] Г. Д. Санжеев. Грамматика бурят-монгольского языка. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941, стр. 43—44.

[2] Там же, стр. 154.

[3] Б. Х. Тодаева. Грамматика современного монгольского языка. М., Изд-во АН СССР, 1951, стр. 157—158.

[4] Там же, стр. 159.

[5] В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 679.

[6] В японском языке наиболее грамматикализовались некоторые отглагольные послелоги — *моттэ, цуйтэ, тайситэ.* Кстати сказать, большинство отглагольных послелогов передает отвлеченные субъективно-объектные отношения.

Некоторые советские тюркологи относят аналогичные слова к послелогам. К ним принадлежит Н. А. Баскаков. В более ранней своей работе он делает это с некоторыми оговорками: «В ногайском языке имеется два типа послелогов: а) собственно послелоги... б) описательные послелоги, т. е. производные от именных форм, связь с которыми сохранилась — *алдында* «перед», *усьтунде* «над, на», *ортасында* «в, в середине, между», *артында* «позади» и т. д.»[1]. Неуверенность здесь сказывается и в оговорке о связи с именем, и в термине «описательные», по существу неоправданном. Но в последней своей работе Н. А. Баскаков уже со всей определенностью трактует эти слова в каракалпакском языке как послелоги, обозначая их, о чем упоминалось выше, как «послелоги — изолированные формы имен существительных». «Послелоги, представляющие собой форму выражения пространственных отношений между объектом и предикатом, состоят исключительно из послелогов второй группы, т. е. изолированных форм имени»[2]. Нельзя, однако, не отметить, что при объяснении отдельных послелогов эта точка зрения не проведена с полной последовательностью. Ей соответствует такое объяснение: «Послелог от основы *аст*, «низ», которая в качестве знаменательного слова встречается только в грамматических падежах (имеются в виду основной, родительный и винительный. — *Н. Ф.*), в локальных же падежах изолируется и, выделяясь, приобретает служебное грамматическое значение послелога, соответствующего русскому предлогу «под»»[3]. Но несколько другой смысл имеет такое объяснение послелога «от основы *аркъа* «спина, зад», которая с аффиксами локальных падежей при имени в основном или родительном падеже приобретает значение послелога и указывает на нахождение предмета или на совершение действия в задней, тыльной части предмета»[4]. Этому объяснению противоречат такие примеры, как *аралдынъ аркъасында* «за зеленым островом» и *менинъ аркъамда* «сзади меня», которые ясно показывают, что этот послелог обозначает не заднюю, тыльную часть предмета, а именно пространственное соотношение. Зачем же снабжать перевод «сзади меня» добавлением «на моей спине»? Ведь существительное и отпочковавшийся от него послелог — лексико-грамматические омонимы, разные слова, и подчеркивать следует не их близость, а их различие, т. е. то, о чем говорит сам Н. А. Баскаков: «все служебные части речи, в отличие от знаменательных частей речи, утратили свое реальное значение и содержат только то или иное грамматическое значение»[5] Прибавление перевода «на моей спине» и ему подобных — это отзвуки

---

[1] Н. А. Баскаков. Ногайский язык и его диалекты, 1940, стр. 84.

[2] Н. А. Баскаков. Каракалпакский язык, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 489.

[3] Там же, стр. 492.

[4] Там же, стр. 494.

[5] Там же, стр. 488.

представления о том, что послелоги «в действительности существительные».

Н. Н. Дыренкова в «Грамматике ойротского языка» рассматривает эти слова как послелоги и в разделе морфологии в главе «Послелог — имя неполного изменения» и в синтаксисе, где, имея в виду именно их, указывает, что «дополнение может управляться не непосредственно глагольной формой, а с помощью особых служебных или вспомогательных слов — послелогов»[1]. Общее определение дается такое: «Имена неполного изменения... как служебные слова выражают, главным образом, пространственные и временные отношения, отсюда от них и употребительны главным образом те падежные формы, которые выражают эти отношения, как направительно-дательный, местный, исходный падеж... Некоторые из имен неполного изменения являются послелогами в том случае, когда они стоят после имени и управляют им»[2]. Ниже следуют такие переводы: *алын* «перед», *алдынан* «вперед», *алдында* «впереди, прежде», *алдына* «вперед», *ич* «внутренность, нутро», *ичинде* «внутри», *ичинен* «изнутри», *ичине* «внутрь» и т. д. Перевод вступает в некоторое противоречие с приведенной выше формулировкой. Если послелогами являются падежные формы от слов, имеющих значение наречий, то, следовательно, указание на наречное значение «имен неполного склонения» должно распространяться и на форму основы, и ее не следовало переводить существительным. Однако надо отметить, что это указание прочно отделяет от предметного значения сами послелоги, в соответствии с чем Н. Н. Дыренкова в примерах воздерживается от якобы «дословных» переводов.

По отношению к турецкому языку вопрос ставится иначе. Только В. А. Гордлевского можно присоединить к вышеуказанным авторам. В своей краткой грамматике турецкого языка он пишет: «Особым видом сочетания двух имен является сочетание существительных с послелогами; последние синтаксически являются определяемыми, а этимологически — именами существительными, выполняющими служебную роль «предлогов» (в дательном, местном и исходном падежах). Служебная роль этих существительных вытекает прямо из особенности их значения: все они имеют относительно-местное значение и, как таковые, нуждаются в другом слове, которое, правда, может иногда и не быть налицо, а лишь подразумеваться... Соответственно такому определению, эти слова названы послелогами-именами, а в бессуффиксальной форме им дается два перевода: один — существительным, другой — наречием: *уст* «верх, вверх», *арка* «спина, сзади», *ян* «бок, сбоку» и т. д.»[3].

[1] Н. Н. Дыренкова. Грамматика ойротского языка. М., Изд-во АН СССР, 1940, стр. 253.

[2] Там же, стр. 114 и дальше.

[3] В. А. Гордлевский. Грамматика турецкого языка. 1928, стр. 79—80. (Разрядка моя — *Н. Ф.*)

В свое время, в 1937 г., резким противником этой точки зрения выступил Н. К. Дмитриев. В статье «Служебные имена в турецком языке» он поставил целью доказать, что данные слова именно имена, а не послелоги (поэтому он отказывается от компромиссного термина «послелоги-имена» и вводит грамматически неопределенный термин «служебные имена»), и что хотя это и имена «с ослабленным реальным значением»[1], но они все же обозначают предметно-мыслимое пространственное понятие, а не пространственное отношение. Н. К. Дмитриев пишет: «Служебное имя, поскольку оно функционирует как служебное, всегда означает какую-либо плоскость, находящуюся в отношении какого-либо предмета или в вертикальном плане, или в горизонтальном»[2]. Для полной убедительности того, что данные слова обозначают именно плоскость, а не соотношение, Н. К. Дмитриев сопровождает свою статью рисунками, на которых буквы *AB*, как в геометрической теореме, указывают эту плоскость. «При этом данная плоскость чаще всего представляется так, что она полностью совпадает («конгруирует») с соответствующей плоскостью данного реального предмета»[3]. Например, о слове *ön* говорится: «*ön* передняя часть, перед, лицевая сторона». Как служебное имя, слово это означает, в зависимости от падежа: 1) перед (где?) и т. д.»[4]. Но пример perde önünde разбирается так: «перед занавеской (дословно: занавеска — в передней части ее). Первоначальное соотношение таково, что «передняя часть занавески» совпадает с внешней плоскостью предмета, «упирающегося» в занавеску. На практике эта «геометричность» расположения не всегда соблюдается. Ее подрывают всякого рода переносные значения, в частности, трактовка слова *ön* во временно́й функции»[5]. Так как геометричность расположения не всегда соблюдается и некоторые служебные имена «принципиально указывают на относительно далекое расстояние между конкретным предметом и плоскостью того, что обозначает собой служебное имя», то для объяснения этого явления даны еще два рисунка, где графически показано пространство, обозначаемое «служебным именем» в этом последнем случае: для иллюстрации наличия смыкания в примере «позади дома лес» дан условный чертеж дома и слова «спина его» в пределах дома за линией А—Б, которой заканчивается дом и начинается лес. Для объяснения отсутствия смыкания в примере «позади армии озеро» — условный чертеж местоположения армии и слова «тыл ее» вне линии А—Б, ограничивающей армию[6]. Рисунки должны подтвердить предметное значение «служебных слов». А между

---

[1] Н. К. Дмитриев. Служебные имена в турецком языке. «Советское языкознание», т. III, 1937, стр. 133.

[2] Там же, стр. 135.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 136.

[5] Там же, стр. 137.

[6] Там же, стр. 141

тем Н. К. Дмитриев сам пишет: «Когда служебные имена употребляются во фразе как обычные имена, они не отличаются от последних ни в каком отношении; они сохраняют тогда и полновесную семантику и способность полного морфологического оформления. Если же они функционируют служебно, в качестве обезличенного семантически элемента, то тогда и их морфологический диапазон значительно суживается: в этом случае они могут стоять только в тех падежах, которые передают пространственные отношения»[1]. И далее говорится, что для передачи русского *за* турок использует «конкретное и предметное слово спина в чисто грамматической, абстрактной функции»[2]. И тем не менее Н. К. Дмитриев не считает, что здесь налицо лексико-грамматические омонимы, разницу между которыми он сам же сформулировал. Поэтому он тут же переводит обратно турецкий перевод русского словосочетания «около дома» словами «в боку дома», а не «сбоку дома», что было бы адекватнее, поскольку и по-русски «сбоку» есть не что иное, как «конкретное и предметное слово» *бок*, используемое «в чисто грамматической функции» в лексикализовавшейся форме падежа с предлогом.

Иллюстрации употребления каждого из этих слов в качестве «ординарного существительного» уделено много места. Однако, если признавать существование лексико-грамматических омонимов, то эти иллюстрации бьют мимо цели. Будучи существительными в одном употреблении, данные слова могут быть послелогами в другом. Но нельзя попутно не заметить, что Н. К. Дмитриев не показал употребления ни одного из этих имен, как «ординарного существительного»: во всех приведенных им примерах они либо служат определениями в готовых словосочетаниях (типа üst kat «верхний этаж», alt dudac «нижняя губа»), либо входят в чисто идиоматические выражения, например, alt üst etmek «перевернуть все вверх дном» (дословно «низ верхом сделать»), т. е. не показана их способность свободно вступать в словосочетания, а главное — не дано ни одного примера, где бы такое имя само имело при себе определяющее прилагательное — а только это последнее было бы доказательством, что оно является «ординарным существительным». Но, повторяем, и это доказательство не исключало бы того, что наряду с существительным выступает как послелог отпочковавшийся от него лексико-грамматический омоним.

Мы потому так подробно остановились на работе Н. К. Дмитриева, что она представляет собой, насколько нам известно, единственное теоретическое обоснование той концепции, которой придерживался не только Н. К. Дмитриев: эта концепция, как было показано выше, долго господствовала по отношению к аналогичному явлению

[1] Н. К. Дмитриев. Служебные имена в турецком языке, стр. 134. (Разрядка моя. — *Н Ф*)

[2] Там же. (Разрядка моя. — *Н. Ф*)

японского языка в японоведческой литературе; большинство японских грамматистов придерживается ее и теперь, и отзвуки ее имеются и в ряде современных советских тюркологических работ. Показать и оценить обоснование столь широко распространенного взгляда представляется нам для доказательства противоположного взгляда необходимым.

В «Грамматике башкирского языка», вышедшей через 11 лет, Н. К. Дмитриев заметно отступает от своей первоначальной позиции. Здесь прямо отрицается предметное значение аналогичных слов башкирского языка в служебном значении. Глава «Служебные слова» начинается с такого определения: «Под этим термином объединяется группа слов, которые первоначально (исторически) были именами, т. е. существительными или прилагательными, и в современной стадии башкирского языка, кроме своего прямого употребления в именной функции, имеют еще переносное или служебное употребление. Служебная функция этих имен состоит в том, что они иногда выражают не предметность или признак предмета (это была бы первая функция), а ряд особых, главным образом пространственных отношений»[1]. Н. К. Дмитриев добавляет: «Служебная функция этих имен является одной из типических особенностей тюркских языков вообще и башкирского в частности»[2].

Как видно из настоящей статьи, это утверждение справедливо и для монгольских языков и для японского. И далее еще более определенно он указывает, что когда эти слова употребляются «в более абстрактном значении, передавая оттенки разного рода пространственных соотношений ... происходит своеобразный разрыв формы с содержанием: башкирское *астында* «в низу его», оставаясь по форме существительным местного падежа, по значению представляет собой уже не предмет, а нечто эквивалентное русскому предлогу «под». Возможно, что в далекие исторические времена слова *ас(т)* и *баш* всегда и понимались как «низ» и «голова», но в настоящее время употребление этих (и других аналогичных им по функции) башкирских слов должно считаться архаичным пережитком в языке. Выражение *эш башында* «при деле» указывает на большую абстрактность мышления... Едва ли можно допустить, что, произнося *эш башында*, говорящий когда-либо реально предполагал, что дело *эш* имеет какую-то голову *баш*. В такого рода выражениях *баш*, очевидно, «с самого начала» стало употребляться именно в служебной функции, как существительное по своим формальным признакам и послелог-предлог по своему реальному содержанию»[3].

---

[1] Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 228.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 229.

Эти строки представляют собой ясную характеристику данных слов, как послелогов, и естественно ждать, что они так и будут названы. Но этого вывода Н. К. Дмитриев не делает из-за формальных признаков (которые, по его же утверждению, состоят в наличии форм всего трех падежей: дательного, местного и исходного). Он отказывается от всякого сближения этих слов с послелогами, рассматривает их в отрыве от послелогов (в синтаксисе, тогда как собственно-послелоги рассматриваются у него в морфологии), и вне связи с вопросами глагольного управления. А при разборе отдельных послелогов переводит их существительными не только в отдельности, но и (правда, далеко не всегда) «дословно» в примерах: *янымда* «около меня (дословно: «в моем боку»)» и даже *агас артында* «за деревом (дословно: «в спине дерева»)»[1]. А между тем он же пишет о послелоге *ян*, который переводит «бок, край»: «*урман янынан* «из леса сбоку» — так приходится переводить ввиду невозможности передать дословно, что звучало бы примерно так: «из-около леса»[2]. Ведь понята же здесь правильно дословность! (Мы только считаем наглядней написание «из около-леса»).

Что касается этих и ранее приведенных якобы «дословных» переводов, то мы не можем не высказать одного соображения, касающегося, собственно, не грамматики, а семасиологии. Известно, что при образном употреблении слова сама образность предполагает осознание первичного (для данной метафоры) значения. Однако такое образное употребление нельзя смешивать с наличием вторичного, производного значения, образовавшегося любым путем, в том числе и на основе метафорического переноса, т. е. с явлением подлинной полисемии, а тем более омонимии, образовавшейся в результате семантического распада слова. А между тем широко распространено — не только среди грамматистов, не задумывающихся над вопросами перевода как такового, но и среди теоретически не искушенных переводчиков, — убеждение, будто перевести дословно, это значит перевести каждое слово в его первичном значении, независимо от того, в каком значении оно взято в данном контексте. Согласно этому представлению, дословный перевод предложения *вопрос решался на бюро*, повидимому, должен был бы исходить из того, что бюро — вид письменного стола... Профессиональные переводчики никогда не делают подобных «переводов», но некоторые из них перевод без учета первичного значения слова понимают как отступление от дословности (тогда как восстановление первичного значения, когда слово взято во вторичном значении и даже, часто, когда оно применено образно, есть прямое искажение смысла, ничего общего с дословным переводом не имеющее), в грамматических же работах встречаются «дома с вершиной» и даже «деревья со спиной».

---

[1] Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка, стр. 232.
[2] Там же. (Разрядка моя. — *Н. Ф.*)

Статья Н. К. Дмитриева повлияла на А. Н. Кононова, который в своей грамматике турецкого языка при рассмотрении данной группы слов ссылается на нее. Однако А. Н. Кононов с самого начала расходится с Н. К. Дмитриевым в существенном пункте: по его формулировке эти слова не имеют предметного значения, не обозначают плоскость, а «служебные имена используются для выражения пространственных о т н о ш е н и й»[1]. Однако он повторяет формулировки Н. К. Дмитриева об отношениях «вертикального и горизонтального планов» и о различении «непосредственного примыкания» (предметов) и отсутствия его. Это было естественно в концепции Н. К. Дмитриева, согласно которой данные слова имели предметное значение и обозначали плоскость. Но поскольку А. Н. Кононов говорит о пространственных отношениях, поскольку он ставит служебные слова рядом с послелогами, теоретическая важность этого различения отпадает. Ведь и русские *на* и *над*, как предлоги места, различаются по наличию и отсутствию соприкосновения предметов, положение которых они обозначают, и о русских предлогах «над», «под» — с одной стороны, «спереди», «сзади», «сбоку» и т. д. — с другой, можно сказать (хотя, кажется, никому из русистов это еще не приходило в голову), что первые относятся к вертикальному, а вторые к горизонтальному плану, но что это подлинные предлоги, ясно и без того.

Однако в вышедшей через семь лет «Грамматике узбекского языка» А. Н. Кононов вносит в трактовку этих слов новые моменты. Он прямо говорит, что «служебные имена ... входят в систему склонения», и специально оговаривает: «условимся, что каждое служебное имя дается в двух значениях: 1. самостоятельное, основное значение, 2. служебное значение»[2]. Соответственно, А. Н. Кононов совершенно воздерживается от «дословных» переводов того типа, о котором говорилось выше. Но противоречивости вышеприведенной оговорки А. Н. Кононов не видит. Служебное имя, как известно, может иметь только служебное же значение, а самостоятельное значение может иметь его лексико-грамматический омоним. Но если даже существует реально такое полноценное существительное, как *орка* «спина, зад», обязательно ли сообщать его значение, когда речь идет не о нем, не о существительном, а о «служебном имени» *орка* «позади»? Мы думаем, что надобности в этом нет. А ведь А. Н. Кононов вполне ясно видит лексическую ущербность и синтаксическую несамостоятельность этих «служебных имен». Это выражается в его трактовке наличия у этих слов форм склонения. Он говорит: «Служебное имя, сочетаясь посредством конструкции изафета с другим (предшествующим ему) именем, образует с этим именем как бы

---

[1] А. Н. К о н о н о в. Грамматика турецкого языка. 1941, стр. 198. (Разрядка моя. — *Н. Ф.*)

[2] А. Н. К о н о н о в. Грамматика узбекского языка. Ташкент, Госиздат УзССР, 1948, стр. 78—79

новое сложное слово. Основная семантика первого члена сочетания осложняется пространственными значениями «вертикального и горизонтального планов». Затем к слову, осложненному указанными значениями и ставшему сложным, присоединяется аффикс одного из пространственных падежей»[1]. По сути, такая формулировка и наше утверждение относительно наличия форм склонения у послелогов в японском языке, а именно что склоняется словосочетание из имени с послелогом, совершенно равнозначны.

Авторы грамматик корейского, монгольских и тюркских языков, говоря о падежах послелогов (или служебных имен) этого типа, отмечают возможность для них только так называемых «пространственных», обстоятельственных падежей. Японский язык, где, как было показано выше, словосочетание из существительного с послелогом места и времени может стоять, кроме того, и в именительном, и в родительном, и в винительном падежах, в этом смысле предоставляет наиболее яркий материал, на котором можно показать мнимость предметности, «субстантивности» послелогов рассматриваемого типа, что и составляет основную задачу этой статьи.

---

[1] А. Н. Кононов. Грамматика узбекского языка, стр. 79.

К. А. ЛЕВКОВСКАЯ

О СПЕЦИФИКЕ ПРЕФИКСАЦИИ В СИСТЕМЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

(На материале немецкого языка)

I

Проблема словообразования и его взаимоотношения с другими сторонами языка может быть успешно разрешена лишь при самом детальном изучении словообразовательных средств и словообразовательных типов в различных конкретных языках.

В данной статье рассматривается специфика префиксации и ее взаимоотношение с суффиксацией в немецком словообразовании. Поскольку, однако, речь идет о структурных особенностях одного из индоевропейских языков, ряд общих положений, вытекающих из изучения материала немецкого языка, может быть распространен и на другие языки индоевропейской семьи. Для языков других семей, отличающихся от индоевропейских своими структурными особенностями, естественно, будут характерны иные закономерности в области изучаемой проблемы.

Выяснение вопроса о характерных особенностях префиксации сознательно ограничено здесь в основном рамками именного словопроизводства [1], поскольку глагольное словообразование, в частности глагольное словопроизводство, имеет свою особую специфику.

Вопрос об особенностях префиксации до настоящего времени еще не разрешен языковедческой наукой. До сих пор еще нет достаточной ясности в вопросе о взаимоотношении префиксации и суффиксации, о сходстве этих явлений и о различиях между ними, почему, в частности до сих пор еще окончательно не преодолена в немецкой лингвистике точка зрения, причисляющая префиксацию к словосложению.

Одной из основных особенностей, отличающих префиксацию от суффиксации, является то обстоятельство, что префиксы, в противополож-

---

[1] Термин «словопроизводство» используется для обозначения типов словообразования, не относящихся к словосложению, т. е. словообразования при посредстве суффиксации, префиксации, конверсии и т. п. Термином «префиксы» обозначаются словообразовательные морфемы, не имеющие на данном этапе развития языка соответствий в каких-либо основах и выступающие исключительно как словообразовательные форманты.

ность суффиксам, в целом ряде случаев не имеют классифицирующего значения, не вносят каких-либо изменений в принадлежность данной основы к определенной части речи. На это обстоятельство обычно и указывается как на специфическую особенность префиксации, приближающую ее к словосложению, причем вопрос о том, что в разных языках существуют и префиксы, «переводящие» сочетающиеся с ними основы в другую часть речи, часто обходится; однако, несмотря на это, многие лингвисты относят префиксацию все же к деривации (т. е. к словопроизводству, а не к словосложению) [1].

Префиксальные образования рассматриваются как слова производные представителями разных школ и направлений. В советской науке префиксация в словообразовании индоевропейских языков в настоящее время, как правило, включается в раздел словопроизводства (а не словосложения) и префиксы рассматриваются как словообразовательные форманты, существенно отличающиеся по своему характеру от такого рода морфем, как корень или основа слова.

В трудах В. В. Виноградова, посвященных вопросам словообразования в современном русском языке, префиксация рассматривается как один из способов именно морфологического (а не синтаксического) словообразования [2]. Рассматривают префиксацию как разновидность аффиксации и авторы теоретических курсов по немецкому языку В. М. Жирмунский [3], Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева-Сокольская [4], а также М. Д. Степанова [5].

М. Д. Степанова при этом, однако, слишком суживает пределы словосложения. Так, в ее работе по немецкому словообразованию, наряду с аффиксацией и словосложением, неправомерно выделяется еще и «полуаффиксация» [6], т. е. такой способ словообразования, который, согласно трактовке автора, ближе к аффиксации, чем к словосложению.

Под «полуаффиксами» («полупрефиксами» и «полусуффиксами») автором понимаются такие (соответственно первые и вторые) компоненты сложных слов, которые употребляются «в целых группах слов» (выступая

---

[1] См., например, V. B r ø n d a l. Théorie de la dérivation, Essais de linguistique générale. Copenhague, 1943, p. 124, 126 и др., а также F. T. W o o d. Word Formation in German, Charlottesville, Virginia, 1948.

[2] См. В. В. В и н о г р а д о в. Вопросы современного русского словообразования в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. «Русский язык в школе», 1951, № 2; Е г о ж е. Словообразование имен существительных. «Грамматика русского языка», т. I. Изд-во АН СССР, 1952, стр. 211; Е г о ж е. Вопросы современного русского словообразования в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. «Современный русский язык. Морфология» (курс лекций), под ред. В. В. Виноградова. М., Изд-во МГУ, 1952, стр. 44.

[3] В. М. Ж и р м у н с к и й. История немецкого языка. Изд. 3-е. М., 1948, стр. 280 и сл.

[4] Л. Р. З и н д е р и Т. В. С т р о е в а - С о к о л ь с к а я. Современный немецкий язык, теоретический курс. Л., 1941, стр. 163 и др.

[5] М. Д. С т е п а н о в а. Словообразование современного немецкого языка. «Библиотека филолога», М., 1953, стр. 73.

[6] См. М. Д. С т е п а н о в а. Ук. соч., стр. 77 и сл.

всегда с одним и тем же весьма общим значением) и по сравнению с соответствующими им словами обнаруживают признаки семантического переосмысления и побледнения [1].

Полупрефиксами М. Д. Степанова считает такие, например, (первые) компоненты сложных слов, как Riese(n)-, Heide(n)-, Mord(s)-, а полусуффиксами — -mann, -werk, -zeug и т. п.

Компонент Riese(n)- в Riesenstadt «гигантский (колоссальный, огромный) город», Riesenerfolg «колоссальный (огромный) успех», соотносительный со словом der Riese «великан», рассматривается как полупрефикс на том основании, что он «выражает не понятие великана, а понятие присущего великану признака»[2] (разрядка наша. — *К. Л.*).

Компоненты Heide(n)- и Mord(s)- (например, Heidengeld «бешеные деньги», Heidenlärm «адский шум, содом, гвалт», Mordsskandal «ужасный скандал», Mordsgeschrei «истошный крик»), соотносительные со словами der Heide «язычник» и der Mord «убийство», считаются полупрефиксами и рассматриваются как омонимы соответствующих слов вследствие того, что они выполняют усилительную функцию [3].

Компонент сложного слова groß- (соотносительный с прилагательным groß «большой, крупный, великий)», в слове Großstadt «большой город, крупный центр, столица» не включается в число «полупрефиксов»; но этот же компонент рассматривается как полупрефикс в словах Großkaufmann «крупный коммерсант» или Großbauer «кулак» на том основании, что автор находит здесь у этого компонента «метонимический перенос значения» [4].

Приведенные примеры ясно показывают, что семантический критерий, применяемый без учета структурных особенностей рассматриваемых сложных слов, дает большой простор для субъективных моментов в оценке этих образований. Ведь если Riese(n)- (исходя из одного лишь значения) считать полупрефиксом, то следовало бы сюда же причислить и производное от основы существительного Riese прилагательное riesig «гигантский, колоссальный, огромный» (ср. Riesenstadt и riesige Stadt, Riesenerfolg и riesiger Erfolg). Мы этого, однако, не делаем и рассматриваем прилагательное riesig не как какую-то усилительную частицу, а как полнозначное слово.

То, что основы Heide(n)- и Mord(s)- в сложных словах выполняют усилительную функцию, еще не дает основания считать их «полупрефиксами», так как эта усилительная функция базируется именно на их значении.

Экспрессивная лексика вообще отличается своей образностью, а часто и недостаточной (с точки зрения современного языка) мотивированностью; ср. русск. *устал, как чорт* (почему *как чорт*?); ср. также *бешеные деньги*

---

[1] См. М. Д. Степанова, Ук. соч., стр. 77—79, 153, 156—157, 182—184 и др.

[2] Там же, стр. 154.

[3] Там же.

[4] Там же, стр. 155.

и нем. Heidengeld «бешеные (буквально «языческие») деньги». Если вследствие отсутствия мотивированности мы будем считать «Heide(n)- не основой, а «полупрефиксом», то тогда нельзя будет и слово *чорт* (в приведенном примере) считать словом; да и прилагательное *бешеный* (в *бешеные деньги*) также будет вызывать в этом отношении определенные сомнения.

Что же касается сложных слов с первым компонентом groß-, то между groß- в Großstadt и в Großkaufmann, а также между groß- в Großkaufmann и прилагательным groß никакого семантического разрыва не наблюдается [1].

Но дело здесь все же не в одной только семантике. По своим структурным особенностям слова с так называемыми «полуаффиксами» ничем не отличаются от прочих сложных слов. Во многих из них первый компонент сочетается со вторым при посредстве так называемых соединительных элементов, что характерно именно для словосложения (ср. «слова с «полуаффиксами»» — Riesenstadt, Mordslärm, Zeitungsmann и сложные слова Knabenschule «мужская школа», Lieblingsbuch «любимая книга» и Wirtschaftsplan «хозяйственный план»).

Для немецкого языка действительно очень характерно развитие аффиксов из компонентов сложных слов, о чем свидетельствует история, например, таких суффиксов, как -heit, -tum, -lich, -bar. Однако на этом основании компоненты сложных слов, обнаруживающие тенденцию такого именно развития, никак еще нельзя считать «полуаффиксами». Ведь тенденция развития и реальное место той или иной единицы в языке — это вещи совершенно разные. Суффиксы -heit, -tum, -lich и -bar ни с какими словами не соотносятся, компоненты же сложных слов, которые М. Д. Степанова считает «полуаффиксами», имеют соответствия в основах определенных слов, и даже при очень большом расхождении в значении (которое далеко не всегда имеет место) связь между этими компонентами и соответствующими словами полностью все же не нарушается. Но дело не только в семантике: эти компоненты сложных слов ничем в отношении их использования не отличаются от других основ, выступающих в той же роли (см. выше).

В вопросе о том, ч т о считать префиксом, до сих пор еще нет достаточной ясности, т. к. этим термином часто обозначаются весьма разнородные по характеру единицы; в частности, префиксами, или приставками, в немецком языке часто именуются не только подлинные префиксы (такие, как глагольные префиксы be-, ge-, ent-, er-, ver-, zer-, miß-), но и приглагольные наречия, такие, как an, auf, и даже такие, как heran, hinauf.

Это объясняется тем, что префиксы, развившиеся из уточняющих частиц наречного характера (даже тогда, когда они уже полностью превратились в форманты), сохраняют в ряде случаев эту уточняющую функцию и

[1] В какой-то мере семантически идентифицируются с соответствующими существительными также и «полусуффиксы» -mann (с существительным Mann), -werk (с существительным Werk) и -zeug (с существительным Zeug).

большую по сравнению с суффиксами семантическую и фонетико-морфологическую автономность по отношению к основе, с которой они соединяются. Подобное положение, естественно, и повело к тому, что наречия и наречные основы, выступающие в функции уточняющих частиц, стали также рассматриваться именно как префиксы еще до того, как они перестали быть словами (или основами) и в какой-то степени «приобрели право» считаться аффиксами. На этом основании в разряд префиксальных образований (под названием «глаголов с отделяемыми префиксами или приставками») попали немецкие глаголы с наречиями (типа ausschreiben — schreibt aus — schrieb aus — ausgeschrieben «выписывать»), хотя они и имеют иную специфику, чем подлинно префиксальные глаголы (типа beschreiben — beschreibt — beschrieb — beschrieben «описывать»).

Взгляд на глаголы с наречиями как на глаголы с «отделяемыми» приставками или префиксами находится в соответствии с характерной для представителей младограмматического направления точкой зрения на эти образования как на «разъединимые (непрочные) сложные слова» (trennbar zusammengesetzte Verba, trennbare Komposita) в противоположность глаголам префиксальным, рассматриваемым как «неразъединимые (прочные) сложные слова» (untrennbar zusammengesetzte Verba, Präfixkomposita, — feste Komposita) [1].

Рассмотрение образований типа ausschreiben и глаголов типа beschreiben в одном плане (как префиксальных) стало традицией не только в школьном преподавании, но и в языковедческих работах, как зарубежных [2], так и отечественных.

Так, в «Истории немецкого языка» В. М. Жирмунского, в разделе, посвященном глагольной префиксации, говорится об «отделяемых» и «неотделяемых приставках» [3]; durch, um, wieder, unter, über рассматриваются как префиксы, сохраняющие «двойственное употребление как отделяемые и неотделяемые приставки» [4].

В курсе современного немецкого языка Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой-Сокольской говорится о том, что приглагольные «наречия в большинстве своем превратились в современном языке в приставки, и поэтому образование глаголов при их помощи следует рассматривать в разделе префиксации» [5]. В разделе глагольной префиксации в этой книге рассматриваются как подлинные префиксы (be-, er- и т. п.), так и приглагольные наречия типа ab, auf («префиксы-наречия», как их называют авторы для отграничения от подлинных префиксов).

---

[1] См. W. Wilmanns. Deutsche Grammatik, zweite Abteilung: Wortbildung. Straßburg, 1896; H. Paul. Deutsche Grammatik, Bd. V. Halle/Saale, 1920; см. также J. Grimm. Deutsche Grammatik, Bd. 2. Göttingen, 1826.

[2] См., например, F. T. Wood. Ук. соч., p. 4 (Separable prefixes), p. 20 (Inseparable prefixes).

[3] См. В. М. Жирмунский. Ук. соч., стр. 280—282.

[4] См. там же, стр. 282.

[5] Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева-Сокольская. Ук. соч., стр. 188.

Различия в специфике значения и употребления тех и других элементов не рассматриваются; wieder (в wiederholen) обозначается как «неотделяемый префикс» [1]. В предшествующем же разделе наречия an, auf и др. трактуются как первый член соответствующих глаголов [2], хотя в наиболее характерных для глагола как части речи личных формах наречие — в отличие от префикса — и не является первым членом (ср. aufwachen — wacht auf — wachte auf — aufgewacht «просыпаться») [3].

В книге М. Д. Степановой приглагольные наречия (в соответствии с характерной для автора классификацией словообразовательных средств) рассматриваются как отделяемые «глагольные полупрефиксы» [4].

Подход к приглагольным наречиям как к отделяемым префиксам или полупрефиксам (хотя в личных глагольных формах они не только стоят после глагола, но часто еще и бывают отделены от него другими словами. Ср. «Sie *stiegen* alle am Potsdamer Bahnhof *aus*» [5] «Все они вышли на Потсдамском вокзале») объясняется тем, что инфинитив (как глагольная форма, имеющая особую специфику) часто рассматривается как исходная форма глагола, к которой восходят все остальные его формы.

Таким образом, поскольку приглагольное наречие всегда предшествует инфинитиву, выступая при этом в слитном с ним написании, создается ложное впечатление, что это — «префикс», который в целом ряде форм «отделяется» от глагола. Поэтому-то мы до сих пор еще находим «отделяемые» и «неотделяемые» (или «отделимые» и «неотделимые») глагольные приставки в самых различных работах по немецкому языку.

Вопрос о подлинных глагольных префиксах, таких, как be-, er-, ent- и т. п., также иногда еще трактуется различными лингвистами по-разному.

Так, М. Д. Степанова в плане префиксации рассматривает только глаголы типа bedienen «обслуживать» (от dienen «служить») и т. п., т. е. только отглагольные префиксальные образования. Отыменные же глаголы, образованные при помощи тех же префиксов, например, befeuchten «увлажнять» (от feucht «влажный») или beflügeln «окрылять» (от Flügel «крыло»), М. Д. Степанова (в противоположность правильному рассмотрению этих слов как префиксальных образований, которое мы находим у В. М. Жирмунского, а также у Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой-Сокольской) [6], относит к особому «смешанному» типу словообразования,

---

[1] Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева-Сокольская. Ук. соч., стр. 190.

[2] См. там же, стр. 188.

[3] Правда, это относится лишь к употреблению этих глагольных единиц в самостоятельном предложении или в главной части сложноподчиненного предложения.

[4] См. М. Д. Степанова. Словообразование современного немецкого языка, стр. 317.

[5] A. Seghers. Die Toten bleiben jung, Verlag für fremdsprachige Literatur. Moskau, 1951, S. 218.

[6] См. В. М. Жирмунский. Ук. соч., стр. 280—282 и Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева Сокольская, Ук. соч., стр. 189.

обозначаемому ею как «вербализация имен при одновременном присоединении префикса» [1], с чем никак нельзя согласиться. Очевидно, здесь сказалась точка зрения на данные образования, которую мы находим у В. Хенцена [2].

Между тем, о «вербализации» здесь можно говорить лишь в такой же мере, в какой можно говорить о «субстантивации» в отношении префиксальных и суффиксальных образований, таких, как Gebrüll «рев» (от brüllen «реветь») или Leser «читатель» (от lesen «читать») [3].

М. Д. Степанова, однако, совершенно правильно относя эти существительные к аффиксальному (соответственно префиксальному и суффиксальному) типу, считает, что befeuchten не просто префиксальный глагол, но глагол, образованный путем одновременного применения вербализации (как особого типа словообразования) и префиксации, с чем никак нельзя согласиться.

Приведенный материал наглядно свидетельствует о том, что в вопросе о префиксации, в частности в вопросе о префиксации в немецком языке, пока еще нет достаточной ясности, что мешает разрешению других, связанных с этим вопросом, проблем. Выяснение вопроса о специфике префиксации и ее взаимоотношении с суффиксацией необходимо начать с рассмотрения бесспорно префиксальных элементов с тем, чтобы далее можно было перейти к рассмотрению таких неясных вопросов, как вопрос об элементах типа ab, auf, aus, vor, nach, zu, ein и т. д. (ср. ausgehen — geht aus — ging aus — ausgegangen «выходить», Ausgang — «выход»; eintreten — tritt ein — trat ein — eingetreten «входить, вступать»; Eintritt «вход, вступление»), имеющих иную специфику, чем слоообразовательные элементы be-, er- или же ur-, un- и т. п.

II

Изучение проблем словообразования представляет значительные трудности еще и потому, что предшествующие поколения лингвистов не оставили нам здесь такого значительного наследства, как, например, в области грамматики. Вопрос же о специфике префиксации в индоевропейских языках разработан особенно слабо, поскольку префиксация не так тесно, как, например, суффиксация, связана с грамматикой (с классификацией слов по частям речи, с характеристикой слова посредством определенной парадигмы и т. д.), специальными проблемами которой преимущественно занималась лингвистическая наука в предшествующие нашему времени периоды. Понятно, что ничего, кроме путаницы не внесли в разработку вопросов словообразования и «ученики» и последователи

---

[1] М. Д. Степанова. Ук. соч., стр. 325, а также стр. 80.

[2] W. Henzen. Deutsche Wortbildung. Halle/Saale, 1947, S. 238 и сл.

[3] Т. е. не имея при этом в виду какого-то особого «смешанного» типа словообразования.

Н. Я. Марра, неправильно понимавшие эти вопросы, вследствие своих ошибочных общих взглядов.

В разных работах ученых других направлений сложные слова нередко смешиваются с производными, нет ясного представления о принципиальных различиях между словообразовательными формантами и основами слов, а также между основами слов и словами. Не проводится также четкого разграничения между сложными и производными словами и словосочетаниями.

Очень показательным в этом отношении является состояние теоретической работы в области словообразования и проблемы формы слова в современном зарубежном немецком языкознании, продолжающем традиции младограмматической школы, с одной стороны, и в современной американской структуральной лингвистике, с другой [1].

Современное немецкое языкознание в области словообразования до сих пор еще в значительной мере живет идеями, высказанными представителями младограмматической школы.

Согласно этим идеям, ведущим свое начало еще от Я. Гримма, префиксация представляет собой разновидность словосложения. Так в общем этот вопрос и трактуется Вальтером Хенценом в его книге «Немецкое словообразование» [2].

Отмечая наличие в немецкой лингвистике и такого взгляда, согласно которому к словопроизводству может быть причислена не только суффиксация, но и префиксация, Хенцен высказывает мнение, что эта точка зрения может нанести ущерб диахроническому учению о словообразовании. При этом Хенцен ссылается на Вильманса, который, полностью сознавая, как полагает автор, двойственную природу префиксальных образований, все же оставил их в разряде сложных слов [3].

Для подкрепления своих положений Хенцен сопоставляет префиксальные образования с такими случаями словосложения, как Gegenteil «противоположность», hochfein «очень изящный, высшего качества», vollenden «завершать», а также с таким особым случаем образования глагольных единиц как vorlegen «подавать, показывать, предъявлять» [4].

Показательно, что Хенцен выбрал для сопоставления как раз такие сложные слова (Gegenteil, hochfein, vollenden), в которых первый компонент имеет большую степень обобщения значения (на основании чего некоторые лингвисты, в частности М. Д. Степанова, даже относят такие компоненты к «полупрефиксам». См. выше, стр. 300). Что же касается

---

[1] При рассмотрении этих двух течений следует, однако, помнить, что богатое наследство младограмматической школы представляет значительную научную ценность и поэтому может — при критическом подходе к нему с марксистских позиций — быть использовано современной наукой.

[2] W. Henzen. Deutsche Wortbildung. Halle/Saale, 1947.

[3] См. там же, стр. 34—35 и сноску 86 на стр. 35.

[4] См. там же, стр. 35.

единиц типа vorlegen (legt vor — legte vor — vorgelegt) — глаголов с приглагольными наречиями, — то с точки зрения своей структуры они представляют собой особый тип фразеологических единиц, образуемых по определенным утвердившимся в языке моделям. В отношении значения и функций приглагольного наречия (выступающего в ряде случаев именно лишь как уточняющая частица) эти единицы в какой-то мере соприкасаются с производными префиксальными глаголами (хотя наречие и не предшествует здесь личной форме глагола) [1].

Таким образом, Хенцен (в приведенных примерах) сравнивает префиксальные образования не с типичными случаями словосложения, но со случаям и пограничными и не совсем ясными, т. е. с такими случаями, которые разными исследователями по указанным выше причинам даже могут относиться либо к одному, либо к другому типу.

Примеры, приводимые Хенценом в качестве иллюстрации префиксальных образований, также не однородны. Среди них, наряду со словами, действительно производными, имеются и такие, основы которых для современного языка уже не являются производными в полном смысле этого слова, например, Urlaub «отпуск» и geschehen «происходить, случаться», где корень (без префикса) в современном языке (в данном звучании) не существует и ни с каким определенным значением не связывается.

Основным различием, резко противопоставляющим префиксацию суффиксации, Хенцен считает то обстоятельство, что префиксы не обладают способностью «перевода» основ в другие части речи. Однако он все же отмечает такую способность у префиксов в отглагольных существительных с ge-, как Geflüster «шопот», Getue «суета, возня», а также в отыменных глаголах типа beflügeln «окрылять» или ermutigen «ободрять, поощрять». Но общие черты, объединяющие суффиксацию и префиксацию, при этом не акцентируются.

Фактический материал по немецким префиксам Хенцен делит на две части: именные префиксы un-, ur-, erz- он рассматривает в разделе словосложения [2], а именной префикс ge- — в разделе словопроизводства посредством суффиксов [3], так как имена действия типа Gerede или Gelaufe он считает не собственно префиксальными, а смешанными префиксально-суффиксальными образованиями (т. е., согласно его пониманию, сложнопроизводными словами — Zusammenbildungen), на том основании, что они в древности по типу склонения принадлежали к ja-основам [4]. Это приводит к смешению особенностей, характерных для различных эпох, и к отождествлению словопроизводства при помощи суффиксации с оформлением слова посредством определенной парадигмы. О глаголах

[1] Подробнее о подобных единицах см. диссертацию К. С. Брыковского «Глагольные единицы типа aufgehen и типа hinaufgehen в современном немецком языке», МГУ, 1955.

[2] См. W. Henzen. Ук. соч., стр. 75—80.

[3] См. там же, стр. 129 и 137—140.

[4] См. там же, стр. 35 и 124—141.

с префиксами Хенцен говорит сначала в плане словосложения, упоминая одновременно о том, что эти глаголы все больше принимают характер производных[1], а затем в плане особого вида словообразования, употребляя при этом термин «вербализация с помощью префиксов»[2]. В этом последнем плане естественно рассматриваются лишь отыменные глаголы, типа betiteln «озаглавить», которые тем самым противопоставляются префиксальным же глаголам типа beleuchten «освещать».

Вильманс, на которого Хенцен ссылается, весьма противоречив в своих положениях, относящихся к данной проблеме. Вильманс отмечает несамостоятельный характер префиксов по сравнению с компонентами сложного слова, одновременно указывая при этом, что с помощью префиксов не создается слов, принадлежащих к другим классам, чем слова, от основ которых они образованы, а существительные типа Geplärre «плач, хныканье», и отыменные глаголы с префиксами — сравнительно поздние по времени и ограниченные по охвату образования (кроме того, он и не считает их чисто префиксальными образованиями, как позже и Хенцен)[3]. Не придя ни к какому выводу по вопросу о специфике префиксации, Вильманс помещает префиксальные образования в раздел словосложения[4].

Мы видим, таким образом, что рассмотрение префиксальных образований как сложных слов в немецкой лингвистической литературе является, как показывает книга Хенцена, до сих пор еще не преодоленной традицией.

Глаголы типа besprechen (bespricht — besprach — besprochen) «обсуждать», verwerfen (verwirft — verwarf — verworfen) «забрасывать, отбрасывать, отвергать», с одной стороны, и единицы типа aufbauen (baut auf — baute auf — aufgebaut) «строить, сооружать», zusammenrufen (ruft zusammen — rief zusammen — zusammengerufen) «с(о)зывать», с другой стороны, — в равной мере рассматриваются здесь многими лингвистами как сложные слова (Komposita), в первом случае как «прочные» (feste Komposita), во втором — как «непрочные» (unfeste Komposita). Делается это лишь на основании того, что префиксы be- и ver- генетически восходят к приглагольным наречиям.

В современной американской структуральной лингвистике подход к строению слова носит совсем иной характер, чем у немецких младограмматиков и их последователей.

---

[1] См. W. Henzen. Ук. соч., стр. 98 и сл.

[2] См. там же, стр. 238—241.

[3] См. W. Wilmanns. Deutsche Grammatik, II Abteilung: Wortbildung. Straßburg, 1896, S. 6—7.

[4] Неясности в вопросе о префиксации, которые мы находим у Вильманса, отразились и в других вышедших в первой четверти нашего века немецких работах, в частности в книге Зюттерлина «Современный немецкий язык», где, несмотря на то, что суффиксы и префиксы рассматриваются как словопроизводственные форманты, в то же время говорится о словосложении по отношению к префиксальным глаголам (см. L. Sütterlin. Deutsche Sprache der Gegenwart. Leipzig, 1923, S. 113, 170—171, 176, 181).

Американские структуралисты, такие, как Блумфилд или Блох и Трейджер, при рассмотрении современного языка обычно сознательно исключают из изучения исторические моменты (даже в тех случаях, когда только историческая справка могла бы пролить свет на сущность того или иного явления), хотя в принципе, как показывают их работы, вообще и не отрицают исторического рассмотрения языка [1].

Язык для Блумфилда, Блоха и Трейджера — это определенная сумма различных по объему единиц, отличающихся друг от друга в основном лишь тем, что одни из них простые, а другие сложные, вторые состоят из первых и обнаруживают в свою очередь различную степень сложности.

Слово, с этой точки зрения, ничем принципиально не отличается, с одной стороны, от словосочетания или даже от предложения (если слово это сложное или производное) с другой стороны, — от морфемы (если слово непроизводное). Поэтому язык, согласно этой лингвистической концепции, оказывается состоящим не из слов, а из «свободных» и «связанных форм», из «морфем» в различных их комбинациях [2].

На этом основании все различие между словообразовательными суффиксами и префиксами (специфика которых по сравнению, например, с основами совершенно не учитывается) [3] сводится в указанной работе Л. Блумфилда главным образом к тому, что суффиксы следуют за основой, а префиксы предшествуют ей [4], т. е. к порядку расположения компонентов. Порядок же этот хотя и имеет значение, но не сам по себе, не просто в плане локализации данного компонента производного слова (как это получается у Блумфилда), а лишь в связи с рядом серьезных функциональных различий между суффиксами и префиксами как словообразовательными формантами.

К этому необходимо добавить, что американские языковеды этого направления не проводят никакого различия между производными словами и формами слов и между словообразовательными и формообразовательными аффиксами [5]. Так, manly «мужественный» (производное прилагательное от основы man «человек, мужчина, муж»), played «играл(а)» (1-е и 3-е л. ед. ч. прош. вр. от глагола to play «играть») и personal «личный» (производное прилагательное от основы person «личность, лицо, особа») в равной мере

---

[1] См. L. Bloomfield. Language. New York, 1933; B. Bloch, G. L. Trager. Outline of Linguistic Analysis, Special publication of the Linguistic Society of America, Baltimore, 1942.

См. также О. С. Ахманова. О методе лингвистического исследования у американских структуралистов, «Вопросы языкознания», 1952, № 5, стр. 101.

[2] См. О. С. Ахманова. Ук. соч., стр. 94 и сл.

[3] См. L. Bloomfield. Ук. соч., стр. 209.

[4] См. там же, стр. 218.

[5] См. B. Bloch and G. L. Trager. Ук. соч., стр. 54.

рассматриваются как слова, включающие по одной «связанной форме»[1] (-ly, -ed, -al), хотя -ly и -al — суффиксы словообразующие, а -ed — суффикс формообразующий.

III

Для суффиксации в первую очередь характерно то, что присоединение определенного суффикса к той или иной основе влечет за собой отнесение производного слова к классу слов, принадлежащих к определенной части речи и связанных именно с данным словообразовательным оформлением.

Суффиксы, всегда связанные с определенной частью речи и соответствующими классами слов внутри данной части речи, могут образовывать слова от основ других частей речи, обладая способностью «перевода» основ из одной части речи в другую. Значение суффикса обычно составляет со значением основы тесное семантическое единство, как это видно хотя бы из таких примеров, как Flieger «летчик» (от основы глагола fliegen «летать»), Erklärung «объяснение» (от основы глагола erklären «объяснять»), Bezeichnung «обозначение» (от основы глагола bezeichnen «обозначать»), Offenheit «открытость, откровенность» (от основы прилагательного offen «открытый»). От присоединения суффикса («переводящего» эти основы в новую часть речи) значение производящих основ существенным образом модифицируется не только в чисто лексическом, но и в лексико-грамматическом плане, поскольку разные части речи связаны с различными грамматическими категориями и выполняют различные синтаксические функции в предложении.

Очень редко суффикс играет лишь «уточняющую» роль по отношению к значению основы, с которой он сочетается. Ср., например, суффиксы -chen и -lein, образующие уменьшительные существительные: Tischchen «столик» (от Tisch «стол»), Köpfchen «головка» (от Kopf «голова»), Gesichtchen «личико» (от Gesicht «лицо»), Büchlein, Büchelchen «книж(еч)ка» (от Buch «книга») и т. п., или суффикс -in, который образует от основ названий животных и лиц мужского рода соответствующие названия женского рода и который до известной степени также является «уточняющим»: der Löwe «лев», die Löwin «львица», der Wolf «волк», die Wölfin «волчица», der Sänger «певец», die Sängerin «певица», der Begleiter «спутник», die Begleiterin «спутница». Важно, однако, отметить, что, поскольку суффиксы -chen (-elchen) и -lein связаны со средним родом, то их присоединение к основам, принадлежащим к другим родам, тем самым влечет за собой переход этих основ в средний род, а тип производных слов на -in, естественно, связан с женским родом.

Сущность специфики суффиксации по сравнению с префиксацией заключается в том, что суффиксация непосредственно связана с опреде-

[1] «Связанными формами» в работах этих лингвистов именуются не только связанные основы, но и словообразующие и формообразующие аффиксы.

ленным парадигматическим оформлением слова, в то время как префиксация здесь в ряде случаев грамматически нейтральна [1].

Указанное различие существует и в тех случаях, когда речь идет о неизменяемых словах, вся «парадигма» которых сводится к одной единственной форме [2].

Так, основы на -er и -ling (Forscher «исследователь», Jüngling «юноша») связаны с так называемым сильным склонением существительных, основы на -ist, -ent (Sozialist, Student) — со «слабым», основы на -ung, -heit (Meinung «мнение», Neuheit «новизна, новинка») — с так называемым «женским» склонением; основы на -lich (freundlich «дружелюбный» и «дружелюбно», «приветливый» и «приветливо», «любезный» и «любезно», «ласковый» и «ласково») как основы прилагательных связаны с местоименным и именным склонением прилагательных, а как основы наречий (в функции которых они выступают по конверсии) обладают характерным для наречий признаком неизменяемости.

Эта особенность суффиксации сказывается даже в тех случаях, где суффикс играет лишь уточняющую роль, что видно из приведенных выше примеров с суффиксами -chen (-elchen), -lein и -in. Если в семантическом отношении эти суффиксы как бы лишь «уточняют» лексическое значение соответствующих основ, то в плане грамматическом они все же не нейтральны, а играют классифицирующую роль, относя слово к определенному классу, связанному с соответствующим парадигматическим его оформлением.

В производном слове словообразующие суффиксы находятся в тесном формальном и семантическом взаимодействии с формообразующими суффиксами и флексиями. Сосредоточенные в одном месте и семантически и морфологически связанные между собой, словообразовательные и словоизменительные форманты выступают в определенном единстве.

В таких формах, как des Arbeiters «рабочего», des Lehrlings «ученика (на производстве)», общее абстрактное значение отношения, присущее родительному падежу, выступает как бы на фоне общего значения лица (деятеля) мужского рода, связанного со словообразовательными суффиксами -er и -ling, а словообразовательный суффикс и флексия составляют и по местоположению единый, оформляющий слово комплекс.

Формы du kontrolliertest «ты (про)контролировал», sie kontrollierten «они (про)контролировали» содержат словообразовательный суффикс -ier-, формообразовательный суффикс -te и соответствующие, взаимодействующие с этим суффиксом флексии (в первом случае -st, во втором — -(e)n). Суффикс -te, оформляющий основу данной глагольной формы (претерита так называемого «слабого» спряжения), взаимодействует также со словообразовательным суффиксом -ier-, который характеризует основу

[1] Это отмечает проф. А. И. Смирницкий в своих лекционных курсах по истории и теории английского языка.

[2] См. В. В. Виноградов. О формах слова. «Изв. АН СССР, Отд. лит-ры и яз.», т. III, 1944, вып. 1, стр. 34.

данного слова как основу определенной части речи — глагола (и притом глагола слабого).

Оформление слова как такового осуществляется не простым присоединением словообразовательных суффиксов к той или иной основе или корню, но парадигмой его изменения. Это отчетливо видно хотя бы на примере непроизводных слов. Однако, поскольку в суффиксе содержится указание на класс слов, связанный с определенной системой форм, то суффикс, оформляя соответствующим образом основу слова, участвует и в оформлении самого слова, законченность которому придает лишь его парадигма [1].

Так, например, глагольная основа в сочетании с суффиксом -er становится основой существительного, обозначающего деятеля или орудие действия и склоняющегося по сильному склонению. Ср. der Flieger «летчик», род. пад. ед. ч. des Fliegers; der Wecker «будильник», род. пад. ед.ч. des Weckers. Основа прилагательного stolz «гордый» или основа существительного Haus «дом» в сочетании с суффиксом -ier- превращается в глагольную основу, ср. stolzieren «важничать, гордо выступать» и hausieren «торговать в разнос (по домам»). Однако там, где возможна конверсия, грамматический класс слова определяется только его формами. Так, относительно основы schriftlich («письменный, письменно») можно лишь сказать, что это основа либо прилагательного, либо наречия.

IV

Префиксация при всех общих чертах с суффиксацией (поскольку и тот и другой способ словообразования в равной мере относится к словопроизводству посредством аффиксов) имеет и свои особенности.

Для именного словопроизводства префиксация в немецком языке вообще не так характерна, как суффиксация. Большинство именных префиксов (кроме префикса существительных ge-, представляющего в этом отношении исключение) [2] не играют классифицирующей роли. Эти префиксы не связаны с определенной парадигмой словоизменения, присоединяются к основам разных частей речи и в какой-то мере носят, таким образом, «уточняющий» характер.

Префикс как словообразовательный формант обычно более автономен в фонетическом, морфологическом и семантическом отношениях по сравнению с суффиксом. Предшествуя корню или основе, он не сливается в единый фонетико-морфологический комплекс с формообразующими суффиксами и флексиями. Значение производящей именной основы, к которой присоединяется префикс, обычно в какой-то мере сохраняется, не сливаясь полностью со значением префикса и не растворяясь, таким образом, в общем значении всего префиксального образования в целом. Именные

---

[1] См. А. И. Смирницкий. Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке. «Иностр. яз. в школе», 1953, № 5, стр. 24—25.

[2] Ср. также префиксально-суффиксальные образования прилагательных с un-.

префиксы (кроме ge-) по своей специфике не имеют классифицирующего значения и не обнаруживают связи с парадигматическим оформлением слова. Префиксальные имена (существительные и прилагательные) остаются в пределах той же части речи, к которой принадлежат и соответствующие слова без префикса, и сохраняют характерную для этих последних систему форм. Urmensch «первобытный человек» — существительное мужского рода, так называемого слабого склонения, как и Mensch «человек», а unaufmerksam «невнимательный» — такое же прилагательное, как и aufmerksam «внимательный».

Перечисленные особенности префиксации, отличающие ее от суффиксации, привели к тому, что ученые — представители младограмматической школы и их последователи — исключили префиксацию из словопроизводства, отнеся ее к словосложению. Моменты, сближающие префиксацию с суффиксацией, при этом оставлялись без внимания или рассматривались лишь вскользь, а функциональное сходство префиксации с суффиксацией в таких случаях, как Geflüster «шопот», Gemurmel «бормотание, журчание», Getue «суета, возня» и др. (где префиксальные образования принадлежат к другой части речи, чем производящая основа), нередко получало неправильное объяснение.

Весьма типичным для специфики именной префиксации является префикс ur-. Этот префикс указывает на именной характер основы, с которой он сочетается, но он не связан с определенным парадигматическим оформлением слова, так как выступает и в существительных и в прилагательных, лишь уточняя в определенном направлении их лексическое значение. Не вызывая какого-либо коренного изменения в значении основ, с которыми он сочетается, префикс ur- привносит лишь дополнительное значение первобытности, первоначальности. Ср. Urmensch «первобытный человек», Urzeit «первобытные времена», Urbedeutung «исконное значение», Ursprache «первоначальный язык, праязык», uralt «очень старый, древний, стародавний», urverwandt «исконно родственный», urslawisch «праславянский» и т. п.

Данное значение, правда, не ощущается в таких словах, как Urlaub «отпуск», Urteil «суждение, приговор», Ursprung «происхождение», Ursache «причина», где значение префикса отдельно от значения соответствующей основы не воспринимается. Это объясняется, однако, тем, что данные слова, с точки зрения современного языка, не являются производными в полном смысле слова (хотя и характеризуются разной степенью утраты производности)[1]. В Urlaub часть -laub (без префикса) вообще уже не является основой какого бы то ни было слова, в Ursprung -sprung семантически никак не выделяется и ни с какими однозвучными основами по значению не ассоциируется, а в Ursache ассоциация с Sache «вещь»,

---

[1] Ср. В. В. Виноградов. Вопросы современного русского словообразования в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. «Современный русский язык. Морфология». Изд-во МГУ, 1952, стр. 48.

«дело» может возникнуть лишь при этимологическом анализе данного слова.

Иное значение, чем, например, в Urgeschichte или urverwandt, имеет данный префикс в таких прилагательных, как urkomisch «чрезвычайно комический», urgemütlich «чрезвычайно уютный,» или urplötzlich «совершенно неожиданный, внезапный». Однако и здесь префикс ur- выступает в качестве (усилительной) частицы, «уточняющей» значение основы, так как значение соответствующей основы (komisch, plötzlich) сохраняется. Данное значение префикса ur-, повидимому, можно объяснить исходя из такого образования, как uralt, где (вследствие значения прилагательного alt) ur- играет роль именно усилительного префикса. Прилагательные с ur- типа urkomish характеризуются своей эмоциональной окраской.

Усилительным словообразовательным формантом является также и немецкий префикс erz-, частичный синоним префикса ur- (имеющий тот же источник происхождения, как и *архи-* в русском языке).

В сочетании с основами, обозначающими титул или сан, erz- указывает на соответствующий высший ранг. Ср. Herzog «герцог» и Erzherzog «эрцгерцог», Bischof «епископ» и Erzbischof «архиепископ».

В таких эмоционально окрашенных и принадлежащих к сфере ругательных слов образованиях, как Erzlügner «архивраль», Erzschelm «архиплут», Erznarr «круглый дурак», префикс erz- обозначает высшую степень данного отрицательного качества. В аналогичном значении префикс выступает и в прилагательных, таких, как erzdumm «чрезвычайно глупый».

Префикс un- (наиболее характерный для прилагательных, но образующий также и существительные), наряду с чертами, типичными именно для префиксов, обнаруживает и некоторые черты, сближающие его (правда, лишь отчасти) по функциональной значимости с суффиксами (см. ниже, стр. 315).

Префикс un-, выступающий в таких образованиях, как: 1. Unglück «несчастье» (антоним к Glück «счастье», unschön «некрасивый» (антоним к schön «красивый»), или же 2. Untat «злодеяние, злодейский поступок, чудовищное преступление», Unmensch «изверг, чудовище», Unkraut «сорная трава», или, наконец, 3. Unzahl «несметное число (количество)», Untiefe «невероятная глубина, бездна» [1], не может быть охарактеризован как «уточняющий» словообразовательный формант в полном смысле этого слова, поскольку он существенным образом меняет значение тех основ, к которым он присоединяется. Наиболее близок он к уточняющим (усилительным) частицам в образованиях типа Unzahl. Однако и в образованиях первого и второго типа он показывает ту характерную именно для префиксов черту, что значение производящей основы сохраняется (не растворяется в значении всего производного слова в целом [2]), что не во всех случаях может быть передано русским переводом.

---

[1] Из которых слова второго типа обычно, а слова третьего типа всегда эмоционально окрашены.

[2] Эту же черту показывает также именной и глагольный префикс miß- (ср. Miß-

В прилагательных и образованных от них по конверсии наречиях префикс un- приобретает новое качество, отчасти сближающее его по функциональной значимости с суффиксами.

Дело в том, что этот префикс служит не только для образования антонимов к существующим уже в языке прилагательным (unschön «некрасивый», а также ungerecht «несправедливый», ungewöhnlich «необычный», unsichtbar «невидимый» и т. п.), но и для образования прилагательных префиксально-суффиксального типа, в которых выступают одновременно и префикс и суффикс. Ср. unaufhaltsam «неудержимый», unermüdlich «неутомимый», unersättlich «ненасытный», unschlüssig «нерешительный» и мн. др. — при отсутствии в языке слов aufhaltsam, ermüdlich и т. п.[1]

Однако и в этом случае ощущается различие в степени спаянности суффикса и префикса с производящей основой и в отношении «словообразовательной силы» того и другого форманта. Несмотря на то, что соответствующих слов без префикса в языке нет, эти префиксальные образования все же воспринимаются как производные от суффиксальных основ (aufhaltsam, ermüdlich и т. д.), так как суффикс, а не префикс связывает их с соответствующим парадигматическим оформлением слова. Для бо́льшей наглядности целесообразно привести здесь некоторые из подобных прилагательных или соотносительных с ними наречий в контексте.

1. «Neujahrsscherze!» — beruhigte der Vater und sah sich *unscheüssig* um. . .[2] «Новогодние шутки!» — успокоил отец и *нерешительно* оглянулся».

2. Hinter ihm lagen — *unwiederbringlich* — die frohen Wintertage den Rhein entlang[3] «Позади были — *невозвратимые* — радостные дни зимних странствий вдоль по Рейну».

3. Hardekopf strich *unablässig* seinen Bart. «Хардекопф *беспрерывно* поглаживал свою бороду».

4. Wen machen die Bodenschätze in Afrika reich? Uns etwa? Doch wohl die *unersättiichen* Großindustriellen, nicht wahr? «Кого обогащают полезные ископаемые в Африке? Нас что ли? Скорее ведь *ненасытных* крупных промышленников, не правда ли?»

---

ernte «неурожай», mißachten «неуважать»), указывающий на нечто неудачное, дурное, превратное и являющийся частичным синонимом префикса un-.

[1] Здесь префикс miß- также обнаруживает сходство с префиксом un-, поскольку встречаются отдельные префиксально-суффиксальные образования с miß-, например, mißliebig «нелюбимый» (при отсутствии глагола mißlieben, существительного Mißliebe и прилагательного liebig). Так как подобные образования для miß- (в отличие от un-) не типичны, то можно предположить, что они возникли от какой-то производящей основы, которая затем была утрачена, тем более, что miß- типичный уточняющий префикс, не связанный с какой-либо определенной частью речи.

[2] J. Becher. Abschied. Verlag für fremdsprachige Literatur. Moskau, 1950, S. 18.

[3] Все последующие примеры взяты из романа В. Бределя. Родные и знакомые (W. Bredel. Verwandte und Bekannte. Verlag für fremdsprachige Literatur. Moskau, 1950, S. 34, 36, 102, 103.

5. . . unseren *unermüdlichen* Trompetern tun die Backen weh «. . .у наших *неутомимых* трубачей болят щеки».

Приведенные примеры префиксально-суффиксальных образований, в которых суффиксация невозможна без префиксации, ясно показывают нам разницу в специфике префиксации и суффиксации. Такие слова, как unschlüssig «нерешительный» («нерешительно»), unwiederbringlich «невозвратимый, невозвратимо, невозвратный, невозвратно», unablässig «беспрестанный, беспрестанно», unersättlich «ненасытный, ненасытно», unermüdlich «неутомимый, неутомимо», все же членятся — семантически и даже морфологически — на две части — связанную основу с суффиксом и отрицательную частицу, вносящую соответствующую семантическую модификацию в значение данной основы, которая воспринимается, как нечто целостное, хотя не существует в языке самостоятельно. Префикс un- при этом воспринимается лишь как уточняющая частица, хотя словообразование в общем и совершается здесь по префиксально-суффиксальному типу.

Суффикс и префикс здесь не могут рассматриваться как равноправные, так как указание на часть речи — прилагательное или (по конверсии) наречие — содержится именно в суффиксе, поскольку префикс un- может присоединяться и к основам существительных.

Такие отрезки звучания, как unwiederbring- и unersätt-, вообще не воспринимаются как слова, в то время как, например, wiederbringlich и ersättlich (хотя они в действительности в языке и не существуют) все же носят характер слов.

Отсутствие в языке таких беспрефиксных слов, соответствующих указанным префиксально-суффиксальным образованиям, объясняется тем, что язык по той или другой причине не чувствует в них необходимости.

Так, для unschlüssig «нерешительный» соответствующего образования schlüssig в языке нет, но существуют следующие (частичные) антонимы к unschlüssig: entschlossen и resolut (и в несколько другом плане — entschieden). Антонимом к resolut — слову иностранному — является irresolut. Un- может сочетаться и с entschlossen, и с entschieden, однако при этом получаются образования, носящие характер причастий, а не прилагательные в собственном смысле, типа unschlüssig.

В отношении прилагательного unwiederbringlich наблюдается полный параллелизм с русским языком, где есть слова *невозвратимый* и *невозвратный* и нет положительного антонима *возвратимый*, а слово *возвратный* употребляется лишь в терминах *возвратный тиф*, *возвратный залог* (ср. также сочетание *возвратный путь*, где оно имеет значение, отличное от значения основы *возвратный* в сочетании с отрицательной частицей *невозвратный*).

Объясняется это тем, что в языке, как средстве общения, не создается ненужных для общения слов. В таком прилагательном, как wiederbringlich, не чувствуется особой необходимости, поскольку само собой разумеется, что существуют явления возвращающиеся, повторяющиеся. Поэтому нет

необходимости созданием такого прилагательного отмечать это как особый признак. Но то, что некоторые явления неповторимы, иногда важно отметить.

Отсутствие положительного антонима к unablässig объясняется аналогичными причинами. То, что какое-то действие может прекратиться, не быть постоянным, — естественно, поэтому и не к чему отмечать это как какое-то определенное постоянное качество, а «беспрестанность» — это качество, которое иногда приходится выделять именно в плане определенного признака.

Unersättich и unermüdlich не имеют положительных антонимов, так как насыщаемость, с одной стороны, и утомляемость, с другой, мы находим у всех живых существ и нет надобности как-то специально отмечать эти качества.

Часто теоретически вполне возможно себе представить определенное прилагательное (без отрицательного префикса un-), которого практически все же не существует именно потому, что язык в нем не нуждается.

В заключение рассмотрения префикса un- необходимо сказать, что он как именное словообразовательное средство, связанное в основном с именем прилагательным, не может сочетаться с глагольными основами, как таковыми, хотя и сочетается с основами причастий, в том числе и такими, которые полностью сохраняют связь с соответствующим глаголом.

Среди образований с un- мы находим, с одной стороны, прилагательные и наречия в форме причастия, например, unbedingt «безусловный», ungewandt «неловкий», ungeschickt «неловкий, неумелый», ungehalten «несдержанный, раздраженный» и даже unbehandschuht «не в перчатках», с другой стороны, встречаются и сочетания un- с подлинными причастиями, например, unbefragt «неопрошенный», ungeschrieben «ненаписанный» и т. п. Таким образом, префикс un- не может быть использован в качестве полноценного критерия окачествления причастий.

Гораздо более прочной является спайка с основами именного префикса ge- (префикса существительных), что по функциональной значимости сближает его больше других префиксов с суффиксами.

Исторически именной префикс ge- вместе с непродуктивным глагольным префиксом ge- (ср. gefrieren «замерзать, смерзаться» или gerinnen «свертываться» (о молоке), «запекаться» (о крови) и др.) и с его омонимом — формообразующим префиксом причастия II (ср. genommen «взятый», gemacht «сделанный»), — восходит к основе наречия со значением «вместе», этимологически соответствующего латинскому cum (co(m)).

Данные факты являются весьма показательными, так как префикс причастия II ge- — единственный формообразовательный префикс немецкого языка вообще, а именной префикс ge- — единственный словообразовательный префикс в системе имени, не носящий характера уточняющей частицы, но подобно суффиксу тесным образом связанный с грамматическим оформлением слова посредством соответствующей парадигмы

(что особенно ясно обнаруживается в образованиях типа Geflüster «шопот»).

Собирательное, социативное значение префикса ge- еще отчетливо воспринимается в именных образованиях, которые принадлежат к трем основным типам:

Это, во-первых, имена лиц, указывающие на соучастие в каком-то деле. Ср. Gefährte «сотоварищ» и Gespiele «товарищ по играм», из которых первое уже до известной степени утратило свое этимологическое значение, так как семантически не связывается больше с Fahrt «езда, поездка» и с глаголом fahren «ехать». Здесь префикс ge- совершенно непродуктивен.

Во-вторых, это собирательные существительные типа Gebirge «горы», Gelände «местность», Gebüsch «кустарник», Gefieder «оперение», Gestirn «созвездие», где данный префикс также непродуктивен.

И, наконец, в-третьих, это отглагольные образования типа Gestöhn «стоны», Geheul «вытье, вой», Geflüster «шопот», Gezänk «ссоры», Gelaufe «беготня» и т. д. Здесь продуктивность префикса ge- ограничена тем, что он не сочетается с производными префиксальными основами и с суффиксальными основами на -ier-[1] (ср. формообразующий префикс причастия II ge-). Ряд образований имеет чередование гласных (см. выше, типы 1, 2, 3).

Все эти случаи показывают более тесную семантическую спайку префикса с основой, с которой он сочетается.

Примечательным является также и то, что при помощи префикса ge- образуются слова и от глагольных основ, и что данный словообразующий префикс, в противоположность остальным именным префиксам, связан теперь, как правило, только лишь с классом существительных. Представляется, что об омонимии (или омоморфемности) в отношении элемента ge- в словообразовании существительных разных типов говорить нельзя, так как во всех случаях в значении этого префикса выступает нечто общее.

Чем является (с точки зрения современного языка) окончание -e в тех существительных с ge-, где оно имеется, — сказать трудно. Это, конечно, не суффикс, как данное окончание обычно трактуется по традиции, но точно определить характер этого элемента можно, лишь детально изучив все случаи его наличия, которых в немецком языке много. Ср. Knabe «мальчик», Auge «глаз», Birke «береза», Eiche «дуб», а также Ebene «равнина», Fläche «плоскость» и т. п.

В таком имени лица, как Gefährte, мы, пожалуй, имеем дело — и с точки зрения современного языка и с точки зрения исторической — со случаем словообразования при помощи префикса ge-, сопровождающегося отнесением к определенному (слабому) склонению посредством присоединения соответствующего окончания.

Вопрос об -e в собирательных существительных среднего рода типа Gebirge и Gelände в историческом плане разрешается аналогичным

[1] Однако образования типа Gemarschiere эпизодически все же встречаются.

образом (с той лишь разницей, что речь здесь идет о сильном (гласном) склонении), но как рассматривать в них -е с точки зрения современного языка, не совсем ясно. Неясна и функция -е в таких словах среднего рода, как Getue «суета», «возня», Geplärre «плач, хныканье», также принадлежащих к сильному склонению.

Префикс ge- как уже было сказано, из всех именных префиксов по своему характеру наиболее близок к суффиксам, так как он, во-первых, не просто вносит уточнение в значение основы, с которой он сочетается, но придает ей новое значение, и, во-вторых, связан с характеристикой слова посредством соответствующей парадигмы (хотя и различной для разных словообразовательных типов).

Иные особенности, чем в системе имени, имеет префиксация в глагольной системе современного немецкого языка, где она представляет основное средство словопроизводства.

Здесь сказывается исторически сложившаяся специфика глагола, для которого в гораздо большей степени, чем для имени, характерна сочетаемость с уточняющими словами-частицами наречного характера. Характерные особенности глагольной префиксации заключаются еще и в том, что большинство префиксов в глагольной системе (кроме miß-, выступающего и в именах, и в глаголах) связано именно с глагольной парадигмой: ermunter- и verwirklich- — безусловно глагольные основы (основы глаголов ermuntern «ободрять» и verwirklichen «осуществлять»), образованные от основ прилагательных munter «бодрый, живой» и wirklich «действительный, реальный» при помощи префиксов er- и ver-. Решающее значение для оформления слова, конечно, и здесь имеет соответствующее словоизменение. Так, в случаях, где возможна конверсия, только формы словоизменения позволяют определить, к какой части речи принадлежит данная основа (ср., например, verlauf-en (verläuf-t и т. д.) «протекать» и Verlauf (Verlauf-s) «протекание» (событий).

Материал по глагольному словообразованию является еще более показательным в отношении функционального сходства между префиксацией и суффиксацией, чем материал по именном префиксу ge-. Ср. такие случаи глагольного словопроизводства, как begießen «поливать» (от основы глагола gießen «лить») и bemuttern «заботиться, опекать по матерински» (от основы существительного Mutter «мать»), entnehmen «брать, извлекать» (от nehmen «брать») и entzuckern «извлекать сахар, обессахаривать» (от Zucker «сахар»), а также другие (отглагольные и отыменные) образования с данными префиксами и с префиксами er-, ver-, zer- [1].

Приведенный материал дает возможность сделать следующие общие выводы:

1. Рассмотренные префиксы немецкого языка являются аффиксами, а не основами, так как никаких слов, с которыми бы эти префиксы со-

[1] Вопрос о глагольной префиксации подробно рассматривается в кандидатской диссертации Н. И. Филичевой. К вопросу о глагольной префиксации в современном немецком языке. Изд-во МГУ, 1952.

относились, в современном немецком языке не существует. Поэтому префиксацию ни в коем случае нельзя приравнивать к словосложению. С другой стороны, нельзя рассматривать как префиксальные образования глагольные единицы с приглагольными наречиями, и не только потому, что эти наречия существуют в языке как определенные слова, но также и вследствие соответствующих структурных особенностей, характерных для глаголов с наречиями как образований особого типа.

Нельзя также слова типа Riesenstadt, Heidengeld, Mordsskandal, Großkaufmann и т. п. выводить за пределы словосложения, так как первые компоненты данных сложных слов — это основы, соотносящиеся с соответствующими словами (Riese, Heide, Mord, groß); сами же эти сложные слова не обнаруживают, по сравнению с другими сложными словами, таких особенностей, которые могли бы служить достаточным критерием для отнесения этих слов к префиксальному или к какому-то особому (промежуточному) словообразовательному типу.

2. Префиксация является одной из разновидностей аффиксации, имеющей, по сравнению с суффиксацией, свою специфику. Префиксы семантически и морфологически не так тесно спаяны с основой, как суффиксы, и в ряде случаев в грамматическом отношении нейтральны, т. е. не имеют непосредственного отношения к определенному парадигматическому оформлению слова. Эта специфика префиксов связана с их местом в слове, с их отграничением (основой слова) от суффиксов и флексий.

3. В системе имени префиксы не являются основным средством словопроизводства, а большинство именных префиксов не связано с парадигматическим оформлением слова; в глагольной же системе префиксация — основное словопроизводственное средство, а префиксы (кроме miß-, выступающего также и в системе имени) тесно связаны с характеристикой слова посредством (глагольной) парадигмы. Характерность для глагольной системы именно такого способа словопроизводства, как префиксация, объясняется спецификой глагола: он чаще, чем имя, сочетается с уточняющими словами-частицами наречного характера, к основам которых генетически восходят префиксы. Не случайно также и то, что префиксация, являясь совершенно нетипичным для немецкого языка (и вообще для индоевропейских языков) средством формообразования, все же выступает как такое средство именно в глагольной системе. Ср. аугмент в древних индоевропейских языках и префикс причастия II ge- в языке немецком.

4. Различия в специфике суффиксации и префиксации в системе имени отчетливо видны на примере префиксально-суффиксальных прилагательных (и образованных от них посредством конверсии наречий) типа unaufhaltsam «неудержимый», которые, несмотря на отсутствие в языке соответствующего слова без префикса, все же воспринимаются как сочетания префикса с суффиксальной основой, так как суффикс, а не префикс связывает эти основы с соответствующей частью речи и характерным для данного класса слов парадигматическим оформлением.

5. Исключение среди немецких именных префиксов во всех отношениях (конечно, кроме начального положения) представляет префикс ge-, который не носит характера уточняющей частицы, семантически тесно спаян с соответствующей основой, образует в современном языке только существительные и подобно суффиксам связан с парадигматическим оформлением слова.

В связи с этим небезинтересно отметить и то обстоятельство, что именно префикс ge- имеет общее происхождение с таким формообразующим аффиксом, как префикс причастия II (с единственным префиксом во всей системе немецкого формообразования). Правда, ge- здесь сочетается с другими формообразующими средствами (ср. gemacht «сделанный», genommen «взятый») и притом выступает не у всех глагольных основ (ср. organisiert «организованный», besprochen «обсужденный»), однако все же это пример высокой степени абстракции — абстракции, в большей мере свойственной суффиксам, чем префиксам.

М. М. ГУХМАН

ГЛАГОЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КАК ОСОБЫЙ ТИП СОЧЕТАНИЙ ЧАСТИЧНОГО И ПОЛНОГО СЛОВА

(На материале истории немецкого языка)

I

Грамматика каждого конкретного языка отражает в своих правилах и законах объективно существующие закономерности грамматического строя данного языка. Построение грамматики, разграничение морфологии и синтаксиса и выявление их единства должны определяться структурой языка.

С этим непосредственно связано и распределение грамматического материала по двум основным разделам грамматики, так как сам характер рубрикации того или иного явления обычно выражает понимание сущности этого явления.

Иначе говоря, построение грамматики, организация грамматического материала должны отражать объективно существующие особенности отдельных грамматических явлений, их связи и отношения. Поэтому вопрос о соотношении морфологии и синтаксиса как определенных разделов грамматики есть вместе с тем и вопрос о соотношении морфологии и синтаксиса в самом языке, вопрос о правильном разграничении и понимании соотношения морфологических и синтаксических явлений, объективно выделяющихся в языке.

Основой рассмотрения морфологии как собрания правил об изменении слов, а синтаксиса как собрания правил о сочетании слов в предложении является марксистское учение о структуре языка и специально определение слова как строительного материала языка. Слово во всей системе его опосредствованных связей выдвигается, наряду с предложением, в качестве основного и ведущего элемента при установлении важнейших грамматических категорий и отношений.

Понятие формы слова становится центральным в морфологии. Так, «Грамматика русского языка» следующим образом определяет содержание этого раздела грамматики: «Предметом морфологии в строгом смысле слова является изучение правил изменения слов, иначе говоря, выяснение способов образования разных форм одного и того же слова» [1].

---

[1] «Грамматика русского языка», т. I. Фонетика и морфология. М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 15.

Понятия предложения и словосочетания являются опорой синтаксиса: «Способы организации слов в словосочетания и в предложения, а также типы предложений, их значения и условия употребления составляют предмет другого отдела грамматики — с и н т а к с и с а» [1]. Таким образом, содержание морфологии обусловлено пониманием сущности и границ словоизменения, т. е. пониманием сущности и границ формы слова, тогда как содержание синтаксиса определяется пониманием словосочетания и предложения.

Принципиальное и общее разграничение объектов изучения важнейших разделов грамматики, морфологии и синтаксиса является неоспоримым достижением советского языкознания.

Отметить это особенно существенно потому, что в истории языкознания до последнего времени преобладало смешение морфологии и синтаксиса, неопределенность границ каждого раздела. Значительное большинство языковедов конца XIX—начала XX века, среди них Миклошич, Пауль, Бехагель, Вундерлих, превращали морфологию в своеобразный формальный привесок к синтаксису, а синтаксис в часть семасиологии. Морфология в лучшем случае сводилась, как, например, в пятитомной грамматике немецкого языка Г. Пауля [2], к инвентарному списку словоизменительных форм, понимаемых крайне узко, тогда как синтаксис включал учение о значении и употреблении отдельных категорий частей речи (род, число, падеж, время, наклонение, залог и т. д.), а также учение о предложении. Подобная схема построения грамматики сохраняется в сравнительной грамматике Бругманна-Дельбрюка, в грамматике греческого языка Бругманна, в сравнительной грамматике индоевропейских языков Хирта, в грамматике хеттского языка Фридриха и т. д. Наконец, иллюстрацией стойкости этой старой схемы построения грамматики является и опубликованная в последние годы довольно поверхностная работа М. Регула [3].

Недооценка слова, этого строительного материала языка, непонимание того, что слово со всей совокупностью своих форм выступает как целостная лексико-грамматическая система, не исчезающая и не растворяющаяся в предложении, отрыв формы слова от ее функционирования вели к гиперболизации роли синтаксиса и к сведению на-нет морфологии. «Если, — писал О. Бехагель, — утверждают, что в немецком языке дательный падеж оканчивается на *-е*, то это лишь означает, что после глаголов geben, nehmen стоят формы слова, оканчивающиеся на *-е*» [4]. Синтаксис все более поглощал морфологию.

[1] «Грамматика русского языка», т. I, стр. 13. Более полно содержание синтаксиса, отграничение морфологии от синтаксиса, а внутри синтаксиса отграничение словосочетания от предложения раскрывается в статье акад. В. В. Виноградова «Основные вопросы синтаксиса предложения» в настоящем сборнике.

[2] H. P a u l. Deutsche Grammatik, B. I—V. Halle, 1917—1920.

[3] M. R e g u l a. Grundlegung und Grundprobleme der Syntax. Heidelberg, 1951.

[4] «Literturblatt für germanische u. rom. Philologie», 1887, № 5, стр. 201 и сл.

Утверждение Ф. де Соссюра, что «с лингвистической точки зрения у морфологии нет своего реального и самостоятельного объекта изучения, она не может составить отличной от синтаксиса дисциплины»[1], выражало, таким образом, точку зрения, весьма популярную в зарубежном языкознании.

Характерно, что и глубоко ошибочная формулировка Н. Я. Марра, широко пропагандируемая его «учениками» («морфология лишь техника для синтаксиса»), перекликалась с неверными положениями о соотношении морфологии и синтаксиса, которые получили распространение в зарубежном языкознании XIX—XX вв. Нечеткость понимания задач морфологии и синтаксиса, обусловленная ошибочными взглядами на природу основных единиц языка, вела к главенству синтаксиса и тем самым к смешению морфологических и синтаксических явлений.

Неясность разграничения объектов изучения морфологии и синтаксиса, смешение морфологических и синтаксических явлений, типичные для значительного числа зарубежных грамматик, привели к тому, что некоторые языковеды стали отрицать не только необходимость, но и возможность деления грамматики на морфологию и синтаксис. Такова была, в частности, точка зрения Есперсена [2] и Ельмслева [3] в работах, опубликованных в двадцатых годах нашего столетия. Оба языковеда справедливо указывали на ошибочность рассмотренной выше схемы, базировавшейся на отрыве изучения грамматической формы от ее функции, но не могли сами дать никакого положительного решения интересующей нас проблемы [4]. У Ельмслева основой этого своеобразного нигилизма являлось субъективно-идеалистическое понимание формы и функции в языке, обусловившее в дальнейшем и трактовку грамматических явлений в позднейших работах главы датского структурализма.

Вместе с тем отказ от разграничения морфологии и синтаксиса явился как бы закономерным звеном в той цепи неудачных попыток определить ясно и последовательно содержание основных разделов грамматики, которые были характерны для зарубежного языкознания.

Однако еще в прошлом столетии наряду с рассмотренным выше направлением в решении интересующих нас задач намечается и тенденция подойти к определению границ основных разделов грамматики исходя из

---

[1] Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. (Русский перевод.) М., 1933, стр. 130.

[2] O. Espersen. Philosophy of Grammar. London, 1924.

[3] L. Hjlmslev. Principes de grammaire générale. København, 1928.

[4] Понимание формы у Ельмслева не связано с материальным звучанием конкретного языка: форма сводится к абстрактному функционированию, оторванному от звукового воплощения и представляющему самостоятельный ряд, посредствующий между мыслью и словесным воплощением. Грамматическая же функция раскрывается в способности языковых единиц вступать в определенные сочетания (См. ук. соч., стр. 120—125). Что касается предложения и слова, то Ельмслев прямо заявлял, что теория предложения и сочетания слов ничем не отличается от теории семантем и морфем, а понятие слова является для грамматики «лишним» (ук. соч., стр. 98—100).

разграничения самих объектов изучения морфологии и синтаксиса. Первые попытки такого характера в зарубежном языкознании связаны с именем Риса.

За последние десятилетия в работах Л. Блумфилда, в структуральном синтаксисе Гроота все определеннее выступали попытки уточнить содержание каждого из разделов грамматики. Так, например, Л. Блумфилд в основу разграничения морфологии и синтаксиса пытался положить свое деление языковых единств на связанные и свободные формы (указывая, что морфология изучает связанные единства, синтаксис — свободные сочетания). Поскольку же сама эта классификация основывалась на смешении морфемы и слова, сложного слова и словосочетания[1], Л. Блумфилд не смог дать удовлетворительного отграничения морфологии от синтаксиса. И здесь ошибочное понимание природы основных языковых единиц вело к неправильному построению самой системы грамматики.

Гроот в работе «Structurele Syntaxis» справедливо указывал, что синтаксис изучает структуру предложения, включая сюда и структуру словосочетания, и противопоставлял синтаксис как учение о предложении учению о слове, т. е. морфологии[2]. Однако при анализе конкретных языковых фактов Гроот допускал противоречия, что наглядно выступает в его трактовке аналитических глагольных конструкций (см. ниже).

В отечественном языкознании конца XIX и начала XX в. попытки найти критерии для определения специфики морфологии и синтаксиса в объективно существующем различии основных языковых единиц были связаны по преимуществу с работами Ф. Ф. Фортунатова и его школы. Однако Фортунатов, а вслед за ним и его ученики ошибочно полагали, что основной единицей языка, наряду со словом, является словосочетание; предложение же оказывалось у них фактически низведенным до разновидности словосочетания. Поэтому синтаксис определялся этим направлением как раздел, изучающий словосочетание. И хотя попытка выделить словосочетание в качестве особого объекта синтаксиса, отличного от объекта изучения морфологии, представляла собой значительное продвижение в деле уяснения специфики основных разделов грамматики, в целом принципы построения грамматики, содержащиеся в работах Фортунатова, не могут быть приняты.

Подобное включение предложения в разряд словосочетаний вело к искажению сущности предложения как основной единицы общения, к смазыванию специфических отличительных признаков, отграничивающих предложение не только от слова, но и от словосочетания. Справедливо указывает В. В. Виноградов, что предложение «по внутреннему существу своему, по

---

[1] К свободным формам Блумфилд относил blackberry, poor John, John ran away, ran away и т. д., т. е. сложное слово, словосочетание, предложение. К связанным формам им отнесено, например, man в сочетании a man, the man, -ing в writing и т. д., т. е. и полное слово и морфема.

[2] A. W. de Groot. Structurele Syntaxis. Den Haag, 1949, S. 7—12.

своим конструктивным признакам непосредственно не выводимо из словосочетания»[1]. Предложение не выводимо из словосочетания не только потому, что возможны предложения, состоящие из одного слова, но главным образом в связи с тем, что словосочетание лишено той силы законченного сообщения, которая является особым качеством только предложения.

Несмотря на то, что морфология и синтаксис в пределах грамматики как науки имеют свои задачи и свои объекты изучения, они образуют единую систему описания грамматического строя языка. Единство морфологии и синтаксиса в пределах науки грамматики лишь выражает объективно существующее единство морфологии и синтаксиса в грамматическом строе конкретного языка, их взаимообусловленность и взаимосвязанность. Это единство морфологического и синтаксического строя языка находит свое выражение в различных языковых процессах.

В грамматическом строе языка существующие правила сочетания слов, форма этих словосочетаний обусловлены правилами словоизменения данного языка. Так, сопоставление сочетания прилагательного с существительным в трех родственных языках — русском, немецком и английском с очевидностью показывает, как особенности морфологической системы языка обусловливают форму данного типа сочетания.

С другой стороны, нередко различные типы словосочетаний могут служить материалом для образования новых форм слова. Так, не только французское j'écrirai восходит генетически к сочетанию личной глагольной формы глагола «иметь»+инфинитив, но и формы современного скандинавского пассива на -s, так же как и русские глаголы на *-ся*, развились из сочетания глагола+возвратное местоимение; наконец, и такие старые «синтетические» словоизменительные формы, как латинский плюсквамперфект на -eram — laudaveram, или латинское будущее на -abo, в свою очередь, образовались на базе особого типа словосочетаний. История превращения таких словосочетаний индоевропейских языков в форму словоизменения представляет собой длительный и сложный процесс.

Связь морфологических и синтаксических категорий может проявляться различным образом. Вместе с тем именно эта связь, в условиях исторической изменяемости языка, в условиях возможности постепенных качественных изменений прежних синтаксических единиц создает нередко трудности для рубрикации отдельных языковых явлений, несмотря на принципиальную четкость разграничения объектов изучения каждого из грамматических разделов.

Трудности эти усугубляются еще и тем, что нет достаточной ясности и однозначности в понимании границ форм слова, с одной стороны, и словосочетания, с другой. А между тем, как уже указывалось выше, понятие

---

[1] В. В. Виноградов. Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М. Пешковского. Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 38.

формы слова, понятие сущности и границ словоизменения являются основой морфологии, понятия предложения и словосочетания — базой синтаксиса.

Именно поэтому при более точном определении содержания основных грамматических разделов в каждом конкретном языке, особенно при рубрикации отдельных грамматических явлений, встает ряд нерешенных вопросов, требующих исследования и уточнения. Это тем более необходимо, что в отношении многих языков, в частности и немецкого языка, вопросы эти в течение длительного времени были либо забыты, либо рассматривались с неверных теоретических позиций.

Среди проблем, касающихся разграничения морфологии и синтаксиса и непосредственно связанных с уточнением понятия словоизменения, выделяется одна группа вопросов. Она охватывает круг весьма разнородных явлений, которые условно могут быть объединены наименованием особого типа сочетания полного слова со словом служебным и вспомогательным («частичным» по терминологии Фортунатова). Подобные сочетания выступают в конструкциях с предлогом, широко распространенных во всех индоевропейских языках, в так называемых аналитических формах глагола, в сочетании имени с препозитивным артиклем и т. д.

Структура таких сочетаний различна в зависимости от особенностей их компонентов: во-первых, от характера частичного [1] слова, во-вторых, от природы полного слова; это обусловливает и специфику взаимосвязей внутри подобного сочетания, а тем самым и место его в общей грамматической системе языка.

Так, очевидно, что наличие или отсутствие формообразования частичного слова в пределах указанных сочетаний влияет на структуру сочетания и принципиально отличает, например, сочетание имени с предлогом от сочетания имени с артиклем в немецком языке: наличие формообразования у частичного слова способствует его вычленению из сочетания, подчеркивая отсутствие слияния полного и частичного слова.

Интересно, что Фортунатов относил сочетания типа *я пошел бы* к составным словам, а *буду писать* — к составным речениям [2].

У разных категорий ч а с т и ч н ы х слов различно соотношение грамматического и лексического значения; так, у вспомогательного глагола haben в аналитических глагольных конструкциях типа ich habe gestern den ganzen Tag gearbeitet лексическое значение полного глагола haben «иметь, обладать», с которым исторически связан данный вспомогательный глагол, совершенно вытеснено грамматической функцией haben в приведенном сочетании (см. ниже). Иные отношения выступают в пределах предложных конструкций, причем и здесь не все предложные сочетания одинаковы. Чем больше сохраняется местное значение предлога,

---

[1] Под частичным словом понимаются служебные и вспомогательные слова, например, предлоги, артикли, связки, вспомогательные глаголы.

[2] Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в. Сравнительное языковедение. Лекции 1899—1900 гг., стр. 252—253.

тем интенсивнее его связь с его исторической наречной основой и тем очевиднее выступает совпадение его лексического и грамматического значения; ср., например das Bild hängt an der Wand. В тех случаях, где тот же предлог теряет свое местное значение и выступает как носитель чистого отношения, ср. den ganzen Tag dachte Klara an ihre Tochter, грамматическая функция связывания сказуемого с дополнением как бы поглотила местное значение предлога.

Различно ведут себя и различные категории полных слов в пределах разных сочетаний частичного и полного слова одного и того же языка. Так, в предложных конструкциях немецкого языка имена сохраняют полноту своей грамматической и лексической характеристики, тогда как причастные формы внутри глагольных аналитических конструкций претерпевают значительные сдвиги (подробнее см. ниже), что свидетельствует об особенно интенсивной взаимосвязанности компонентов этого сочетания.

Каждый тип упомянутых выше сочетаний частичного и полного слова имеет, следовательно, свои особенности, свою специфическую структуру в немецком языке. Но в чем эта специфика, в чем эти особенности и как должны быть определены подобные построения, к какому разделу грамматики они должны быть отнесены — вопросы эти до настоящего времени не имеют однозначного решения не только в пределах грамматики немецкого языка.

При очевидной разнородности, указанные сочетания имеют и общие признаки. Объединяет их то, что они не являются простыми словоизменительными формами если под этим понимать изменения, происходящие в пределах одного слова, поскольку они лишены столь важного признака, слова, как цельнооформленность [1], и вместе с тем они не могут быть рассмотрены как словосочетание, т. е. как сочетание двух или более полных слов типа ein kleines Mädchen, lief schnell и т. д. [2]

В этой связи важно выделить два момента: 1. Необходимость отграничения подобных сочетаний от простых форм словоизменения. Частичное слово остается в принципе отдельной лексической единицей, элементом словарного состава, и в этом смысле сочетание частичного и полного слова есть особый вид соединения форм двух или более слов. 2. Но частичное слово выделяется в лексической системе любого языка своим функционированием, отсутствием номинативной функции, особой природой соотношения в нем лексического и грамматического значения [3]. Поэтому

---

[1] См. А. И. Смирницкий. К вопросу о слове. Сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию». М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 127 и сл.

[2] Термин «словосочетание» мы сохраняем за сочетанием двух или более полных слов; частичное слово+полное слово мы называем «соединением» или сочетанием форм частичного и полного слова.

[3] См. В. В. Виноградов. Русский язык. М., 1947, стр. 30.

соединение частичного и полного слова не может быть включено в один ряд с сочетаниями полных слов, как свободными, разложимыми, так и «несвободными», устойчивыми, представляя собой особый тип языковых единств. В лингвистической литературе до настоящего времени отсутствует достаточно последовательная трактовка этих особых языковых единств: они то приравниваются к сочетанию различных морфем в пределах одного слова, то рассматриваются в одной плоскости с сочетаниями форм полнозначных слов (см. сл. раздел).

Тем острее встает вопрос о необходимости осмысления и подлинного раскрытия природы этих единств; без этого невозможно определение их места как в грамматическом строе языка, так и в системе грамматики. Вместе с тем неясность и непоследовательность трактовки различного типа соединений частичного и полного слова препятствует последовательному разграничению морфологии и синтаксиса немецкого языка, поскольку значительная группа явлений как бы оказывается на перепутье между морфологией и синтаксисом. Проф. Л. А. Булаховский, например, в отношении русских сочетаний типа *я буду читать* указывает, что они находятся на стыке морфологии и синтаксиса.

Исследование специфики указанных явлений и определение их места в грамматике немецкого языка представляется поэтому одним из важнейших звеньев в уточнении как разграничения морфологии и синтаксиса, так и правильного понимания их соотношения.

Выше отмечалась разнородность существующих в немецком языке типов сочетания частичного и полного слова. Разнородность эта требует и раздельного их изучения. Настоящая статья является попыткой уточнить этот вопрос лишь в отношении так называемых аналитических глагольных конструкций, представленных в немецком языке, как известно, развитой системой форм.

Здесь перед исследователем возникают три основные задачи:

1. Уточнение самого понятия аналитической глагольной конструкции; с этим связана выработка критериев, позволяющих отграничить аналитические конструкции, с одной стороны, от именного сказуемого (где «связка» является также частичным словом), с другой — от словосочетаний двух полных глагольных единиц в составном сказуемом типа er begann zu sprechen.

2. Раскрытие специфики данных сочетаний как результата длительного и постепенного оформления аналитических конструкций на материале сочетаний иного типа (именное сказуемое, сочетание полных слов), поскольку только историческое рассмотрение этих образований разъясняет их противоречивую структуру.

3. Наконец, третья задача связана с выяснением вопроса о том, что же такое эти аналитические глагольные конструкции — формы словоизменения глагола или особые типы синтаксических сочетаний, — что позволило бы уточнить их отнесение к морфологии или синтаксису. Очевидно, что

этот круг вопросов предполагает уточнение самого понятия «формообразование».

При постановке и решении этих вопросов немецкой грамматики необходимо всячески подчеркнуть, что, хотя общие принципы сохраняют свое значение в отношении не только немецкого, но и русского, французского и других языков, национальное своеобразие изучаемого языкового материала обусловливает специфику даже сходных явлений близкородственных языков; изучаемые явления существуют не изолированно, а взаимодействуют со всей системой языка.

Так, например, сочетание глагола «быть»+причастие II переходных глаголов типа немецкого ist geöffnet, ist weiß gestrichen существует в немецком и английском языках, но в немецком это сочетание существует наряду с аналитической конструкцией werden+причастие II, что ограничивает его употребление, сферу его использования, тогда как в английском это сочетание является единственной формой, имеющей значение страдательного залога. Поэтому характер этих явлений, их специфика, их место в грамматической системе каждого из названных языков не могут быть тождественными.

Именно недоучетом специфики системы каждого языка страдала написанная мною в 1947 г. статья «Грамматическая категория и грамматическое понятие»,[1] где я при характеристике предложных конструкций одинаково трактовала факты немецкого, французского и английского языков, без учета того, что в немецком языке предлог сочетается с определенными падежными формами, тогда как во французском языке изменение по падежам отсутствует и порядок слов или предлог являются единственными средствами выражения синтаксических отношений.

II

Трактовка глагольных аналитических или описательных конструкций немецкого языка непосредственно связана с пониманием системы словоизменительных форм, с одной стороны, и, с другой, с определением словосочетания как одного из основных объектов изучения синтаксиса. Следовательно, вопрос этот включается в более широкую проблему о соотношении морфологии и синтаксиса.

Между тем в фундаментальных работах по немецкой грамматике именно эта более общая проблема, как уже отмечалось выше, не получала удовлетворительного решения. Нечёткость основных лингвистических понятий, непонимание специфики грамматических явлений, пренебрежение к структурным вопросам характеризовали большинство старых работ по грамматике немецкого языка.

Неудивительно поэтому, что в освещении интересующих нас более специальных вопросов, связанных с трактовкой сочетания частичного и

---

[1] М. М. Гухман. Грамматическая категория и грамматическое понятие. «Труды Военного ин-та иностр. яз.», 1947, № 3.

полного слова, отсутствовала необходимая четкость. Те языковеды, которые, подобно Г. Паулю, превращали морфологию в инвентарный список парадигматических форм, относили аналитические конструкции (и сочетание имени с артиклем) к синтаксису и рассматривали их в связи с описанием таких глагольных значений, как время, залог, наклонение. Никакого обоснования подобной трактовки этих образований Пауль не давал.

Другие, включая фактически всю морфологию в синтаксис, превращали аналитические конструкции в одну из разновидностей форм выражения определенных глагольных значений [1]. Так, сочетание личных форм глагола werden с инфинитивом выступало в качестве одного из средств выражения будущего времени наряду с сочетаниями глагол + наречие, модальный глагол+инфинитив и т. д.

Иными словами, аналитические конструкции включались в один ряд с самыми разнообразными типами сочетания слов, в том числе и с сочетаниями форм двух полных слов.

Господствующая в прежних грамматиках по этому вопросу путаница с предельной ясностью проявилась в популярной работе Зюттерлина о современном немецком языке [2]. Аналитические конструкции оказались здесь включенными дважды: в морфологию, как составной элемент глагольной парадигмы; в синтаксис, как разновидность составного сказуемого. Трактовка составного сказуемого обнаруживает у Зюттерлина полное смешение именного сказуемого, аналитической конструкции и различных случаев сочетания глагола с полными словами. Так, в раздел составного сказуемого попадают: Die Erde *ist rund.* Das Haus *wird hoch.* Er *ist gekommen.* Ich *habe* ihn *geschlagen.* Ich *habe geschlafen.* Das Gold *liegt im Rhein.*

Очевидно, что при таком подходе никакого раскрытия специфики аналитических конструкций или теоретического обоснования их отнесения к одному из разделов грамматики нельзя было и ожидать.

Показательна в этом отношении и непоследовательность трактовки глагольных аналитических конструкций в недавно опубликованной грамматике В. Юнга [3], рассчитанной на широкие круги читателей. Так, в первом разделе (стр. 25) соединение существительного с предлогом, модального глагола с инфинитивом рассматривается как сочетание слов (Wortgruppe); в дальнейшем же, при описании аналитических глагольных форм, модальных конструкций, образований типа kennenlernen и фразеологических единиц типа der Meinung sein «иметь мнение» автор утверждает, что они все должны считаться одним словом (zählen als ein Wort).

Смешение сочетаний частичного и полного слова и сочетаний двух полных слов отнюдь не ограничивается в зарубежном языкознании работами по немецкому языку. Оно, в частности, характерно и для исследо-

---

[1] H. Wunderlich. Der deutsche Satzbau. Bd. 1—2, 1911.
[2] L. Sütterlin. Die deutsche Sprache der Gegenwart. 1923.
[3] W. Jung. Kleine Grammatik der deutschen Sprache. Leipzig, 1953.

ваний представителей американской дескриптивной лингвистики, поскольку в работах этого направления предложение все чаще рассматривается как ряд морфем, специфика же различных типов сочетания частичного и полного слова совершенно исчезает.

Однако наиболее ясно смешение сочетания частичного и полного слова, в частности и аналитических глагольных конструкций, с сочетанием двух полных слов выступает в работе голландского языковеда Гроота [1]. Так, например, аналитическая конструкция (hij) heeft gezien, (hij) is gekomen рассматривается им как глагольное словосочетание, т. е. как глагол с дополнением в форме причастия [2]; при этом собственно ядром словосочетания оказываются формы вспомогательных глаголов heeft, is, а причастие рассматривается как детерминант, определение к глаголу. По конструктивной специфике — наличию «синтаксического дополнения» при глаголе — аналитические глагольные формы попадают в один ряд с сочетанием глагол+наречие (hij) neemt (mij mijn boek) af; с сочетанием связка+прилагательное—ik ben gezond; с сочетанием глаголов zullen, willen+инфинитив и даже с конструкцией, состоящей из полнозначного глагола+дополнение ik zoek papier [3]. При таком анализе Гроот совершенно не учитывает специфики сочетающихся элементов и отношений между ними, возникающих в каждом типе сочетаний.

Включение аналитических глагольных форм в один ряд с сочетанием полнозначного глагола отнюдь не мешает Грооту утверждать в той же работе, что вспомогательные глаголы hebben, zijn и worden имеют морфологическое значение, поскольку их функция та же, что и морфологических элементов в синтетических глагольных формах [4]. В другой работе [5] Гроот выделяет эти вспомогательные глаголы в особую группу, отличную не только от полных («независимых») глаголов, но и от «вспомогательных глаголов модальности» — kunnen, moeten, willen, zullen или «вспомогательных глаголов каузальности» doen, laten; эта особая группа получает согласно классификации Гроота специальное наименование «морфологические глаголы».

Если, таким образом, в названных грамматических исследованиях искажение специфических особенностей структуры сочетания частичного и полного слова шло главным образом по линии смешения его с различными типами сочетания полных слов, то одновременно в зарубежном языкознании наметилась и другая тенденция — смешение данного типа сочетания с *простыми* формами слова вследствие чрезвычайно зыбкого и расплывчатого понимания морфемы.

---

[1] A. W. de Groot. Structurele Syntaxis. Den Haag, 1949.

[2] Ук. соч., стр. 118, 125.

[3] Ук. соч., стр. 118 и дальше.

[4] Ук. соч., стр. 140.

[5] См. ст. того же автора «Structural Linguistics and Word Classes». «Lingua», т. I, 4 1948, стр. 486.

Наиболее определенно эта тенденция выявилась уже в работе французского языковеда Вандриеса «Язык», хотя аналогичные взгляды были свойственны и другим представителям так называемой социологической школы во Франции. Книга Вандриеса оказалась проводником этих взглядов в среду советских языковедов, причем особое влияние ей было суждено оказать на представителей так называемого «нового учения о языке».

В грамматической концепции Вандриеса понятие морфемы приобрело чрезвычайно расплывчатый и неопределенный характер: оно включало флексию, служебные слова, порядок слов. Вследствие этого не только оказались неясными границы формообразования, но и наблюдалось полное смешение слова и части слова, каковой по существу является морфема. Смешение это явилось следствием непонимания специфики целостности слова [1] по сравнению с различными типами сочетаний частичного и полного слова; см. известное рассуждение Вандриеса, где специально подчеркивается отсутствие существенного значения в том, что одни морфемы являются частью слова, а другие п и ш у т с я как отдельные слова [2] и в связи с этим проводится полное отождествление французского il a fait с греческим ἐποίησεν.

Характерно, что в работах многих последователей и учеников Н. Я. Марра отмечавшееся выше пренебрежение к слову как полноправной и самостоятельной единице речи наряду с предложением, вело к такому же смешению сочетания двух слов и простых форм слова, что и у других языковедов XIX и XX вв.

Не останавливаясь подробно на критическом анализе грамматических построений И. И. Мещанинова и С. Д. Кацнельсона, поскольку это было сделано уже в ряде специальных работ, особенно в статьях акад. В. В. Виноградова и Н. С. Поспелова, отметим лишь, что с позиций последователей Н. Я. Марра самая постановка интересующих нас вопросов являлась бы «формалистической».

Полностью принимая расширенное понимание морфемы, данное Вандриесом, И. И. Мещанинов и не пытался раскрыть с т р у к т у р н у ю с п е ц и ф и к у различных типов соединения полного и частичного слова, так как не только служебные слова безоговорочно включались им в инвентарь способов словоизменения, но даже порядок слов трактовался как словоизменительная морфема, что и вело, например, к утверждению наличия во французском языке винительного падежа [3]. Показательно, что в специальной работе «Глагол» интересующие нас конструкции практически не отграничиваются от различных типов именного сказуемого, а связка и вспомогательный глагол почти отождествляются [4].

---

[1] По терминологии А. И. Смирницкого, «цельнооформленность слова». См. цит. выше статью.

[2] Ж. В а н д р и е с. Язык. М., 1937, стр. 77.

[3] И. И. М е щ а н и н о в. Новое учение о языке. Л., 1936, стр. 247. См. также рассуждения в работе «Общее языкознание». 1940, стр. 48—50.

[4] И. И. М е щ а н и н о в. Глагол. М., 1949, стр. 157—179.

В работах С. Д. Кацнельсона обнаруживается особое смешение простых словоизменительных форм, различных типов сочетаний частичного и полного слова, а также сочетаний двух полных слов. Это нашло свое выражение в самом определении формы слова: «Форма слова, — писал он, — есть лишь частный случай словосочетания, проявляющийся здесь лишь в более сложном и искаженном виде», поэтому «форма слова подлежит . . . сведению к формам словосочетания, так же как морфология в целом подлежит сведению к синтаксису» [1].

В более поздних работах С. Д. Кацнельсона это привело к смешению категорий морфологического словоизменения не только с лексикой, но и с самыми различными типами словосочетаний двух полнозначных слов, например наречия и глагола.

Если сочетание глагольной формы с наречием в немецком языке рассматривалось как образец нефлективного способа выражения вида, то очевидно, что для автора не мог даже возникнуть вопрос о специфике так называемых аналитических конструкций. Они включались в сферу действия нефлективной морфологии и смешивались с самыми разнообразными случаями словосочетаний.

Некоторые прежние последователи Н. Я. Марра, как, например, автор данной статьи, пытались наметить разграничение сочетаний полных слов-соединений частичного и полного слова и синтетических форм слова. Но эти попытки, получившие отражение в моей упоминавшейся выше статье, осуществлялись мной на основе теории понятийных категорий акад. И. И. Мещанинова и не могли, естественно, дать положительных результатов. Поэтому в той статье не могла быть раскрыта и специфика глагольных аналитических конструкций: исследование особенностей их структуры было подменено бездоказательной и к тому же ошибочной декларацией, что слова превратились здесь в морфемы; декларация эта фактически лишь повторяла Вандриеса, хотя я и пыталась с ним полемизировать в той же статье. Служебное слово, т. е. вспомогательный глагол, рассматривалось мной как своеобразный грамматический префикс, а второй компонент конструкции, например, причастие в сочетании ich habe geschrieben — как лексическая основа всего образования. Тем самым я подменяла специфику соединения полного и частичного слова мнимым для данного языкового образования единством о д н о г о с л о в а.

Очевидно, что подобное насилие над особенностями структуры аналитических конструкций, представляющих собой один из случаев соединения форм частичного и полного слова, было возможно только на основе непонимания характера отличия всякого слова (не только полного, но и частичного) от части слова, каковой является морфема. Сказался здесь и идеалистический отрыв от материально-структурных особенностей различных языковых единств, и подмена анализа специфики этих единств идеей абстрактного функционирования.

---

[1] С. Д. К а ц н е л ь с о н. Краткий очерк языкознания. Л., 1941, стр. 34.

В отечественной науке о языке интересующие нас вопросы были предметом пристального внимательного исследования на материале русского языка.

Ф. Ф. Фортунатов, стремившийся определить и разграничить объекты изучения морфологии и синтаксиса, уделял в своих лекциях особое внимание изучению структуры различного типа языковых единств. Рассматривая словосочетание как сочетание двух полных слов, Фортунатов вместе с тем специально выделял различного типа соединения полного слова с частичными словами: сочетание определенного артикля с именем в греческом языке, сочетание в русском условном наклонении формы полного глагола с *бы* — *я пошел бы*, сочетание вспомогательного глагола *быть* с неопределенным наклонением Фортунатов рассматривал как особого типа образования, резко отличающиеся от сочетания двух полных слов, но и не подобные одно другому. Подчеркивая, что в русском условном наклонении *я пошел бы* — *бы*, являвшееся некогда глагольной формой, в настоящее время застыло и как бы «уподобляется приставке» (отсюда название этого образования «составное слово»), Фортунатов особо выделяет сочетания частично-грамматического слова со словом полным, в которых частичное слово имеет формы словоизменения. Эти соединения получают наименование «составных речений», причем в них формы частичного слова принадлежат «по их значению не самому этому слову, но сочетанию этого слова с другим полным словом в составном речении» [1]. К таковым Фортунатов относит описательные глагольные конструкции индоевропейских языков. Подчеркивая структурные особенности подобных соединений, Фортунатов все же относит их в целом к составным формам полного слова, соотносительным по значению с известными простыми формами полного слова. И хотя Ф. Ф. Фортунатов нигде не указывает прямо, что подобные единства должны быть отнесены к морфологии, он, повидимому, полагал, что они должны быть включены в морфологию, поскольку содержанием морфологии у него являлось описание системы форм слова.

Точка зрения Ф. Ф. Фортунатова по этому вопросу оказалась очень плодотворной в русском языкознании.

Л. В. Щерба, считая, что изучение форм слов и формообразования является главным предметом морфологии, к формам слова, как и В. А. Богородицкий, относил также составные или аналитические формы. Однако в работах Л. В. Щербы само понятие формообразования получает очень широкое истолкование [2], так что оставалось неясным, какие типы соединений могут быть отнесены к составным формам, где граница «составной формы» и каковы критерии ее выделения.

---

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Курс лекций 1899—1900 гг., стр. 254.

[2] См. В. В. Виноградов. Общелингвистические и грамматические взгляды акад. Л. В. Щербы. Сб. «Памяти акад. Льва Владимировича Щербы». Л., 1951, стр. 49.

Акад. В. В. Виноградов, выделяя интересующие нас сочетания, называл их «аналитическими словосочетаниями» и даже «грамматическими идиотизмами», подчеркивая тем самым сдвиги, происшедшие в значении компонентов этих соединений; это могло в дальнейшем служить одним из существенных критериев выделения подобного рода единств. Уже Фортунатов обращал внимание на изменение значения в пределах этих составных форм частичного слова, например, вспомогательных глаголов, по сравнению с тем полным глаголом, с которым исторически эти вспомогательные слова были связаны.

Внимание к этим типам соединений на материале русского языка неизменно усиливается в последних исследованиях советских языковедов. В. П. Сухотин в работе по вопросу о словосочетаниях выделяет в русском языке, наряду с лексикализованными единствами, большое количество «морфологизованных единств», «т. е. таких синтаксических построений, которые аналитическим описательным путем передают те или иные единые грамматические понятия» [1], не уточняя, впрочем, их структурной специфики и их места в грамматической системе русского языка.

Определяя в статье «Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии» задачу морфологии как изучение правил, а также типов и норм изменений слов в системе данного языка, акад. В. В. Виноградов выделяет специально синтаксическое формообразование: «Синтаксическое формообразование обнаруживается в так называемых аналитических или составных формах степеней сравнения, в форме будущего времени несовершенного вида глагола («буду говорить» и т. д.), в формах условно-желательного наклонения и т. п. Трудно сомневаться в том, что, например, сочетания глагола «стану», «стал» с инфинитивом («стану работать», «стал работать») также представляют собой аналитическую видо-временную форму глагола со значением приступа к действию. Доказательство этому тот факт, что невозможны сочетания «стать работать», «ставший работать», «ставши работать и т. п.» [2]. Таким образом, акад. В. В. Виноградов вводит новый термин для обозначения подобных единств — «синтаксическое формообразование» — по аналогии с синтаксическим словообразованием, тем самым особо подчеркивая включение этих единств в систему форм полного слова (прилагательного, глагола), а, следовательно, и их отнесение к морфологии русского языка.

Однако даже в отношении русского языка, несмотря на внимательную разработку вопросов формообразования и словосочетания, особенно в исследованиях, опубликованных после выхода в свет трудов И. В. Сталина по языкознанию, остается неясным ряд структурных и семантических критериев, связанных с теми явлениями, которые В. В. Виноградов назвал

---

[1] В. П. Сухотин. Проблема словосочетания в современном русском языке. Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», 1950, стр. 153.

[2] В. В. Виноградов. Ук. статья. Сб. «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», стр. 112.

синтаксическим формообразованием; а без этих критериев неясны и сущность самого явления и его границы. До известной степени это отразилось и на распределении материала первого тома «Грамматики русского языка» (Изд-во АН СССР, 1952).

Как уже отмечалось выше, для определения содержания морфологии и для рубрикации в этой связи отдельных грамматических явлений весьма существенную роль играет понятие системы форм одного слова. В самом деле, если под формой слова мы будем понимать только изменения, происходящие в пределах фономорфологической структуры данного слова, т. е. только системы флексий и суффиксов, то содержание морфологии будет одним, если же под формами слова понимаются и сложные образования при участии вспомогательных слов, т. е., например, и аналитические глагольные конструкции, то содержание морфологии будет иным.

Разграничивая очень четко формообразование от словообразования и определяя форму слова прежде всего с точки зрения внутреннего содержания этого понятия, авторы «Грамматики русского языка» указывают на наличие в русском языке четырех способов образования форм слов, в том числе и образование сложных форм. Это понятие в дальнейшем раскрывается как образование путем сочетания двух или нескольких форм слов: *буду читать*, *о славе*, *самый счастливый*. Специально подчеркивается, что слова *буду*, *самый* играют в этих случаях роль морфем. Таким образом, как явствует из приведенных примеров, сложная форма — это сочетание частичного и полного слова, причем частичное слово, независимо от его природы, приравнивается функционально к морфеме. Уже подобная трактовка частичного слова в одном ряду с морфемами представляется спорной, о чем подробнее — ниже, при анализе немецкого материала.

Сложные формы, состоящие из сочетания двух или нескольких форм слов, авторы «Грамматики русского языка» включают в морфологию. Но естественно возникает вопрос, какие сочетания двух или нескольких форм слов могут быть включены в морфологию: может ли быть включенным в морфологию наряду с *я буду читать* также *я стану читать*, о котором упоминал в своей статье акад. В. В. Виноградов (или *я хочу читать*, *я начну читать*, *я предполагаю читать*, *я надеюсь читать*, *я намереваюсь прочесть эту книгу* и т. д.), и наряду с построением *о славе* также построение *с товарищем*.

Где граница между с л о ж н о й ф о р м о й и словосочетанием? Каковы ее критерии?

В разделе «Глагол» образование *буду читать* включено в систему форм изменения глагола *читать* как сложное будущее, но *стану читать*, *начну читать* не включено в систему форм словоизменения русского глагола. Где критерии, которые подтверждали бы правильность такой трактовки этих явлений? И почему нельзя *хочу читать* рассматривать как сложную форму оптатива? Авторы, повидимому, сознательно обходят эти сложные и спорные вопросы в нормативной грамматике. Но поэтому и остается неясной граница между сложной формой и словосочетанием.

Частично для разграничения этих двух языковых единиц авторы указывают, что в сложных формах *буду читать, самый счастливый* — *буду, самый* играют роль морфемы, тогда как под словосочетанием разумеются грамматические единства, состоящие не менее чем из двух полнозначных слов. Но и эти разъяснения не дают критерия для решения вопроса, является ли *хочу* в конструкции *хочу читать* служебным словом, выполняющим роль морфемы, или полнозначным элементом словосочетания и куда следует отнести эту конструкцию — к категории сложных форм, поместив ее в морфологию, или к словосочетаниям, поместив ее в синтаксис.

Все это пишется нами не в «укор» авторам «Грамматики русского языка», создавшим значительный и полезный труд, а лишь для того, чтобы отметить спорность и сложность подымаемых здесь вопросов даже в отношении русского языка, где отечественные языковеды столько сделали в разработке теоретических вопросов грамматики. Вместе с тем хотелось бы отметить, что рассмотрение сложной формы как соединения форм двух слов, казалось бы, исключает трактовку одного из компонентов этого соединения в качестве морфемы. Приравнивание частичного слова к морфеме не только мешает правильному разграничению этих единиц, но и может привести к структурному отождествлению простых и сложных (по терминологии авторов) форм.

III

Анализ материала современного немецкого языка мы начинаем с таких образований, которые обычно рассматриваются грамматикой как аналитические глагольные конструкции. Эти образования составляют внутри глагольной системы две соотносительные группы конструкций: группу конструкций действительного залога и группу конструкций залога страдательного.

Исследуя структуру образований типа ich habe geschrieben, ich bin gegangen, ich habe geschlafen, ich werde lesen и т. д., необходимо прежде всего остановиться на лексико-грамматической характеристике компонентов каждого такого сочетания. Первые компоненты habe, bin, werde, обычно называемые вспомогательными глаголами, представляют собой форму определенного слова. Их способность менять эту форму в отношении лица, числа, времени — du hast —, wir haben —, ich hatte — geschrieben; wir sind —, waren — gegangen и т. д. совпадают с закономерностями глагольного формообразования, т. е. с закономерностями образования форм полных глаголов. Так, сопоставляя формы полного глагола haben в словосочетании с объектом типа einen Hut auf dem Kopfe haben, Geld bei sich haben, Kinder haben и т. д. с формами глагола haben в рассматриваемых нами единствах, приходится отмечать грамматико-структурную общность этих форм. То же самое наблюдается и в отношении вспомогательных глаголов sein и werden.

Уже это одно не допускает рассмотрения этих компонентов как морфем или их приравнивания к морфеме, если морфема понимается как часть слова.

Эта способность к формообразованию обусловливает вместе с тем потенциальную грамматическую выделимость данных компонентов из рассматриваемых сочетаний, а следовательно, и трактовку их как отдельных лексических единиц, ибо часть слова — морфема — неспособна к формообразованию. Выделимость этих первых компонентов подчеркивается и закономерностями порядка слов в немецком языке: законом дистантного положения компонентов в главном предложении и законом обратного порядка компонентов в придаточном предложении: ich habe gestern den ganzen Abend gelesen и. . . daß ich gestern den ganzen Abend gelesen habe. Показательна в этом отношении и возможность опускания вспомогательного глагола в тех случаях, когда в сказуемом имеются две однотипные аналитические конструкции: ich *habe* gestern den ganzen Abend *gelesen und geschrieben*. Выделимость этого первого компонента указанных сочетаний не чисто внешняя примета, но она связана с особенностями строя данного языка и отражает специфику его внутренних законов развития.

Подобно тому, как существует структурное отличие между первым компонентом фразеологической единицы *красный уголок* и первым компонентом сложного слова *пароход* (поскольку в формах словоизменения *красный* будет вести себя как отдельное слово, а *пар* будет вести себя как часть слова, не имеющая отдельной от целого слова грамматической судьбы), так и habe, bin, werde в ich habe geschrieben. . . и т. д. нельзя уподоблять никакой морфеме, например суффиксу прошедшего времени. Справедливо указывает А. И. Смирницкий, что «слова как отдельные целые единицы отличаются от составных частей слова существенно большей выделимостью, которая основывается на определенной оформленности слов и связанной с ней относительной их законченности: части слов не обладают такой оформленностью и законченностью» [1].

Следовательно, всякая попытка рассматривать эти части аналитической формы как своеобразные приставки основана на непонимании структурных особенностей компонентов аналитической формы. Уже тот факт, что мы выделяем частичные слова в особый лексико-грамматический разряд слов, не позволяет идентифицировать их с морфемами.

Однако устанавливая общность системы формообразования первого компонента аналитической формы и системы формообразования полного глагола, необходимо вместе с тем всячески подчеркнуть то отличие, которое отметил еще Фортунатов: в сочетаниях типа Kinder haben формы полного глагола haben «принадлежат» глаголу haben, приписывают определенные грамматические значения (лица, числа, времени) самому глаголу haben; ср. sie *haben* drei Kinder — sie *hatten* drei Kinder «они имеют

[1] А. И. Смирницкий. Ук. соч., стр. 195.

троих детей», «они имели троих детей»; тогда как формы глагола haben в сочетании с причастием II любого полного глагола «принадлежат» не глаголу haben, а всему сочетанию в целом. Иными словами, они изменяют грамматическое значение формы полного слова (например, причастия II), приписывая ей свои определенные грамматические категории: ср. ich habe geschrieben «я писал», er hat geschrieben «он писал», sie haben geschrieben «они писали» и т. д., где формы слова haben как бы осуществляют задачу формообразования глагола schreiben. Это свойство глагола haben в подобных сочетаниях и позволяет его назвать «вспомогательным» глаголом. Данная черта характеризует не только глагол haben, но и глаголы sein и werden, когда они выступают как компоненты аналитических конструкций. Она связана с тем, что, несмотря на потенциальную выделимость, присущую вспомогательному глаголу, последний, выступая в качестве компонента аналитической конструкции, лишается того лексического значения, которое присуще полным глаголам. Очень существенно отметить уже здесь (хотя подробнее этот вопрос рассматривается несколько дальше), что способность вспомогательного глагола приписывать определенные грамматические значения форме полного слова отличает вспомогательный глагол не только от полных глаголов, но и от связок, а тем самым аналитическую конструкцию от именного сказуемого.

Однако указанное выше свойство вспомогательного глагола приписывать определенные грамматические значения форме полного глагола имеет, в свою очередь, известные особенности; так, например, в сочетании ich habe geschrieben форма вспомогательного глагола habe приписывает форме полного глагола грамматическое значение *первого лица единственного числа действительного залога изъявительного наклонения*, что и определяет категорию лица, числа, залога, наклонения всего сочетания в целом; но *временна́я отнесенность* сочетания *не равна временно́й отнесенности первого компонента*: habe является формой настоящего времени глагола haben, тогда как ich habe geschrieben выражает в современном языке прошедшее время глагола schreiben. Иными словами, *система грамматических значений* (лицо, число, залог, наклонение, время) *всего сочетания в целом не тождественна системе грамматических значений, выраженных формой вспомогательного глагола*. Новое *грамматическое значение* (прошедшее время) *возникает* только *в сочетании со вторым компонентом*, как значение всей конструкции.

Аналогичные закономерности наблюдаются и при анализе других подобных конструкций; так, очевидно, что в сочетании er ist gefallen «он упал» форма вспомогательного глагола sein выполняет те же функции, что и форма глагола haben в рассмотренном выше случае, приписывая форме полного глагола, а через него и всему сочтанию категории лица,

числа, залога, наклонения; но так же как и в первом случае, т. е. в конструкции ich habe geschrieben, в сочетании er ist gefallen временно́е значение сочетания (прошедшее время) не равно временно́му значению формы вспомогательного глагола sein (настоящее время).

Если в этом же плане остановиться на анализе пассивных конструкций, типа der Brief wird geschrieben, das Haus wird gebaut, то здесь расхождения в системе грамматических значений вспомогательного глагола и всего сочетания в целом будут уже касаться не категории времени, а категории залога. В самом деле, форма глагола werden — wird вне указанного сочетания выражает грамматические значения настоящего времени, третьего лица единственного числа, изъявительного наклонения, действительного залога, тогда как сочетание wird geschrieben имеет значение настоящего времени, третьего лица единственного числа, страдательного залога. Новое залоговое значение возникает только в сочетании со вторым компонентом, как значение всего сочетания в целом.

Следовательно, довольно распространенное утверждение, что в аналитических конструкциях немецкого языка носителем грамматического значения является только вспомогательный глагол, было бы в свою очередь неверным. В каждой конкретной аналитической конструкции система грамматических значений, характерная для всего сочетания в целом, создается только в соединении со вторым компонентом.

Обратимся теперь ко второму компоненту всех этих сочетаний — geschrieben, gefallen, gestanden, lesen. Перед нами ряд именных форм глагола—причастия и инфинитив; одни из причастий могут употребляться вне рассматриваемых сочетаний, ср. geschrieben в качестве определения в сочетании ein geschriebener Brief, другие — gestanden, geschlafen — не существуют в таких свободных сочетаниях, т. к. не употребляются в качестве приименного определения и исторически возникли в связи со становлением системы аналитических форм действительного залога: значительная группа глаголов, а именно все непереходные глаголы несовершенного вида не только в древненемецком языке, но и во всех древнегерманских языках не имели так называемого причастия II.

Таким образом, вторые компоненты аналитических сочетаний от непереходных глаголов несовершенного вида только структурно совпадают с причастием II, поскольку они лишены одной из основных особенностей всякого причастия немецкого языка — выступать в свободных сочетаниях с именами [1]. Уже это обстоятельство накладывает особый отпечаток на вторые компоненты форм перфекта и плюсквамперфекта, как бы подчеркивая их известную обособленность от системы причастных форм

---

[1] Интересно, что эти второпричастные формы непереходных глаголов несовершенного вида могут, однако, появляться во фразеологических единицах, ср., например, ein gedienter Soldat.

немецкого глагола. В истории выделения системы аналитических форм этот момент имел немаловажное значение.

Но все же эта особенность является свойством лишь одной группы глаголов; следует подчеркнуть, что во всех остальных случаях эти вторые компоненты исторически и синхронно соотнесены с системой именных форм немецкого глагола. То обстоятельство, что, например, причастия выступают при этом в краткой неизменяемой форме, не может их оторвать от системы причастий вне этих соединений, поскольку и в предикативном определении, т. е. в сочетании с полными глаголами, причастие в пределах рассматриваемых сочетаний выступает в той же форме; ср., например, sein Hut lag zertreten или das Kind kam gesprungen и т. д. Следовательно, трактовка причастия как некой основы спрягаемого глагола была бы неверной. Перед нами в огромном большинстве случаев форма полного глагола, употребляемая и в свободных сочетаниях, иными словами не морфема, а опять-таки форма слова, обладающая поэтому потенциально лексической и грамматической выделимостью [1].

Именная форма в рассматриваемых конструкциях выступает как носитель лексического значения всего сочетания, поскольку лексическое значение вспомогательного глагола равно здесь нулю. Иными словами, лексическое значение конструкций er ist gefallen, ich habe geschrieben, ich bin gegangen и т. д. определяется лексическим значением того глагола, от которого образована именная форма. Однако, как мы видели, этот второй компонент определяет не только лексическое значение сочетания, но принимает участие в формировании того грамматического значения, которое характеризует каждую из рассмотренных конструкций. Поэтому распространенное утверждение, что второй компонент аналитической конструкции выражает только лексическое значение сочетания, в свою очередь, является ошибочным. Вступая в сочетание со вспомогательным глаголом и образуя своеобразное единство, эта именная форма в своем грамматическом значении не остается неизменной. В действительности отношения здесь весьма сложные. Их специфика со всей очевидностью выступает при анализе всего построения в целом и соотношения компонентов внутри этого построения.

Так, например, причастие II переходных глаголов в самостоятельном употреблении имеет значение причастия страдательного залога, по преимуществу результативного вида. Выступая как второй компонент конструкции ich habe geschrieben «я написал, я писал», это причастие в современном немецком языке не сохраняет ни своей залоговой, ни своей видовой специфики (иные закономерности характеризуют то древнее словосочетание IX—X вв., к которому исторически восходит данная аналитическая конструкция). Залоговое значение причастия совершенно теряется в рассматриваемой конструкции; что касается его видовой специфики, то она косвенно влияет на в р е м е н н ó е з н а ч е н и е сочета-

[1] См. сказанное выше о норме порядка слов в связи с выделимостью первого компонента. Все сказанное там относится и ко второму компоненту.

ния (исторически обозначавшего результат некоего действия, наличный в настоящем, т. е. собственно перфект), в современном языке получившего значение прошедшего времени без определенной видовой окраски. Следовательно, хотя грамматическое значение причастия II принимает участие в формировании грамматического значения конструкции типа ich habe geschrieben, не вся совокупность грамматических признаков причастия вносится вторым компонентом в аналитическую конструкцию.

Сходные отношения выступают и при анализе пассивной аналитической конструкции, типа das Haus wird gebaut «дом строится», der Brief wird geschrieben «письмо пишется», с той лишь разницей, что здесь именно залоговая специфика причастия принимает участие в формировании грамматического значения сочетания, тогда как, напротив, видовая специфика этого компонента сведена в сочетании на-нет.

Суммируя все, что было сказано о грамматическом значении обоих компонентов сочетаний, можно сделать вывод, что грамматическое значение аналитической конструкции в немецком языке никогда не равняется сумме грамматических значений ее компонентов, а выступает как значение неразложимого целого.

Специфической особенностью системы аналитических конструкций немецкого языка является ограниченный круг вспомогательных глаголов и именных форм, принимающих участие в образовании этих конструкций. Напомним эти конструкции, например, от глаголов schreiben, schlafen, gehen: Perfekt — er hat geschrieben, Pl. perf. — er hatte geschrieben; Fut. — er wird schreiben, Passiv — der Brief wird geschrieben и т. д.; er hat geschlafen, hatte geschlafen, wird schlafen; ist gegangen, war gegangen и т. д.

Три вспомогательных глагола — haben, sein и werden, две именные формы, причастие и инфинитив, образуют все разнообразие приведенных форм. Это оказывается, однако, возможным только в силу определенных взаимосвязей компонентов внутри каждого сочетания, благодаря чему один и тот же компонент в условиях различного рода соединений выполняет практически как бы различные функции, образует разные соединения и приписывает форме полного глагола различные категории.

Так, сопоставляя одну и ту же форму werden в соединении с инфинитивом er wird schreiben и в соединении с причастием der Brief wird geschrieben, мы видим, что не только данный вспомогательный глагол способен образовать различные по значению соединения действительного и страдательного залога, но что одна и та же форма глагола werden как бы способна приписать различным именным формам одного и того же глагола разную временну́ю соотнесенность: в одном случае процесс, обозначаемый полным глаголом, переносится в будущее время, в дру-

гом — этот же процесс рассматривается в плоскости настоящего времени; причем если мы изолируем глагол werden от данных его соединений, то указанные формы будут осмысляться как настоящее время.

Очевидно, что эта возможность двоякого использования одной и той же формы вспомогательного глагола должна быть осмыслена как проявление особых его свойств в условиях определенного соединения со вторым компонентом, поскольку характер второго компонента соединения (инфинитив, причастие II переходного глагола) обусловливает конкретное использование самого глагола werden и тем самым грамматическое значение всего сочетания. Это обстоятельство, как нам представляется, указывает на то, что хотя оба компонента рассмотренных аналитических конструкций потенциально выделимы как грамматически, так и лексически, они в данном соединении неразрывно связаны, ибо замена инфинитива причастием не только разрушает самую конструкцию, но и определяет новое осмысление форм глагола werden, т. е. первого компонента. Очевидно, например, что в предложении der Brief wird geschrieben грамматическое значение целого — третье лицо единственного числа страдательного залога настоящего времени — не выводимо из грамматического значения отдельно взятых компонентов — wird и geshrieben, но создалось в условиях взаимодействия обоих участников данного сочетания. То же самое следует сказать и о конструкции ich habe geschrieben, ich bin gegangen, ich werde lesen и т. д. Это и есть проявление той реальной неразложимости данных образований, которая образует их специфику, несмотря на то, что входящие в них формы слов потенциально выделимы.

Сходные сложные взаимосвязи выступают и при анализе «поведения» вторых компонентов в пределах разных сочетаний: так, например, сопоставляя соединение er hat geschrieben и der Brief wird geschrieben, мы видим, как одно и то же причастие II от переходного глагола, в самостоятельном употреблении всегда пассивное, выступает не только в аналитической форме страдательного залога, но и в форме перфекта действительного залога. Выделяя и обособляя форму причастия geschrieben, мы всегда осознаем ее согласно нормам немецкого языка как пассивное причастие «написанное», что и сохраняется в конструкции der Brief wird geschrieben; но, включаясь в соединение со вспомогательным глаголом haben, это причастие как бы преобразуется и теряет в пределах данного соединения свою залоговую специфику, сцепляясь со вспомогательным глаголом в некое неразложимое целое и тем самым обособляясь, в свою очередь, от системы причастия переходного глагола.

Таким образом, аналитические конструкции устойчивы не только в том смысле, что каждый тип конструкции представляет собой некое единство, компоненты которого незаменимы, но прежде всего в том смысле, что сцепление этих компонентов в одно целое зависит от большего или

меньшего грамматического переосмысления составных частей данного неразложимого соединения. Аналитические конструкции определяются тем самым как устойчивые неразложимые сочетания частичного и полного слова. Неразложимость их выступает в двух планах: в лексическом и грамматическом. Лексическая неразложимость аналитической конструкции при наличии потенциальной выделимости ее компонентов проявляется в том, что носителем лексического значения всего сочетания в целом выступает только второй компонент сочетания.

Наиболее показательным, однако, для специфики данного типа сочетания является его грамматическая неразложимость, возникшая на основе сложных процессов переосмысления входящих в сочетание компонентов, их сцепления при оформлении грамматического значения каждой конструкции. Это переосмысление может быть различной степени; так, в само́м немецком языке переосмысление обоих компонентов более интенсивно в сочетании ich habe geschrieben, чем в сочетании ich werde schreiben, что объясняется как лексическими особенностями глаголов haben и werden вне аналитической конструкции, так и спецификой именной формы, включившейся в сочетание.

Переосмысление компонентов сочетания, обусловившее их реальную неразложимость, грамматическая взаимосцепленность компонентов при формировании грамматического значения всего сочетания могут быть осмыслены как особый тип «идиоматичности», выделяющей аналитические конструкции среди других сочетаний частичного и полного слова. «Идиоматичность» здесь, конечно, иного порядка, чем в фразеологических единицах как образных типа Pech haben «неудаваться», так и необразных типа Anteil nehmen «принять участие», in Betracht ziehen «принять во внимание», zum Ausdruck bringen «выявиться» и т. д. Это различие определяется в первую очередь природой самих сочетаний, т. е. тем, что фразеологические единицы, обладая номинативной функцией, выступают в качестве эквивалентов слов как неделимые лексические единицы, являются элементами лексики, строительным материалом языка; аналитические же конструкции, охватывающие все глаголы немецкого языка, независимо от их лексического содержания, должны быть определены как явления грамматического ряда. Поэтому и термин «идиоматичность» употребляется здесь до известной степени условно для обозначения тех сложных процессов переосмысления и взаимосцепления форм частичного и полного слова, которые характеризуют этот тип сочетаний. Сама внутренняя структура фразеологических единиц, представленная многими вариантами, большим разнообразием соотношения компонентов такого фразеологического сочетания, иная, чем у аналитической конструкции, где тип соотношения компонентов сочетания остается примерно одним и тем же, несмотря на различную степень самой «идиоматичности».

Исследуя различные аналитические конструкции немецкого языка, можно отметить в качестве одного из основных признаков бо́льшую или

меньшую «идиоматичность» каждой из них, обусловленную различными формами переосмысления их компонентов. Степень «идиоматичности» различных конструкций различна в зависимости от истории образования каждой из них (см. дальше), но в целом можно сказать, что «идиоматичность» является одним из характерных признаков рассматриваемых соединений в немецком языке. Она образует основу их грамматической неразложимости, их обособления и выделения из различного рода словосочетаний полных слов и соединений полного и частичного слова.

Неразложимость аналитических конструкций, отсутствие внутренне-структурной раздельности компонентов сочетания обнаруживается и при употреблении обстоятельств времени с аналитическими конструкциями; так, в предложении ich habe gestern den ganzen Tag gearbeitet «я вчера работал весь день» развернутое обстоятельство den ganzen Tag относится не к habe или gearbeitet отдельно, а ко всему сочетанию в целом.

Наличие «идиоматичности» и неразложимости отличает аналитическую конструкцию от такого типа сочетания частичного и полного слова, как именное сказуемое.

В структурном отношении для именного сказуемого характерна лексическая и грамматическая выделимость его составных частей. В этом смысле значение именного сказуемого представляет собой как бы сумму значений его компонентов. Сравнивая такие предложения, как der Knabe ist munter, der Knabe blieb munter и der Knabe wird munter, мы видим, что связка обозначает характер существования признака munter: его наличие, становление и т. д.; замена одной связки другой означает изменение и характера существования признака. При этом формы глагола, выступающие в роли связки, обычно не подвергаются тем процессам переосмысления, которые наблюдаются в аналитических конструкциях: значение глагола может поблекнуть, как это происходит во всех языках с глаголом «быть», но в системе других связочных глаголов значение наличия признака, обусловленное семантикой полного глагола «быть», выступает с достаточной определенностью; ср. вышеприведенные примеры.

Для связки типичным является максимальная возможность сочетаемости: наибольшая сочетаемость связки sein с именами (имя существительное, прилагательное, причастие) является одним из свойств, характеризующих ее как «идеальную» связку. Эта предельная свобода сочетаемости связки с предикативами различного рода обусловливает и отсутствие переосмысления связочного глагола. Чем у́же сочетаемость глагола, тем сильнее проявляется переосмысление связочного глагола, тем дальше отходит образуемое при его участии сочетание от специфики именного сказуемого, приближаясь к неразложимым фразеологическим единствам[1].

---

[1] В этой связи нам представляется весьма сомнительным наличие шестидесяти связочных глаголов в английском языке, о которых писала В. Н. Ярцева в ст. «Составное

В свою очередь и выступающий в именном сказуемом предикативный член сохраняет не только свою лексическую, но и грамматическую обособленность, не подвергаясь процессам переосмысления. Поэтому в именном сказуемом сцепление его компонентов значительно более свободное, чем в аналитической конструкции, что и создает в з а и м о з а м е н и м о с т ь связочных глаголов в пределах именного сказуемого, не разрушая его как особый вид сочетания частичного и полного слова; в аналитической конструкции замена одного частичного слова другим ведет к уничтожению самой конструкции.

Свободный характер сочетания связки и предикатива обнаруживается и в том, как осознается обстоятельство или определение, употребленные при именном сказуемом. Так, в предложении er war ehemals Lehrer «он был прежде учителем» ehemals соотнесено не со всем сочетанием war Lehrer, а только со связкой war, подчеркивая реальную выделимость связки. Напротив, в предложении sie war eine fleissige Schülerin «она была прилежной ученицей» fleissig относится только к предикативу. Еще явственнее свободный характер этого типа сочетания сказывается в правилах употребления отрицания при именном сказуемом, в употреблении kein и nicht при различных типах предикатива.

Сопоставляя именное сказуемое с аналитическими глагольными конструкциями, мы видим, что различия касаются как характера самых сочетаний в целом, так и выступающих в этих сочетаниях компонентов. Поэтому частичные слова типа связок мы относим к словам служебным, частичные же слова в пределах аналитической конструкции — к вспомогательным словам. Как очевидно из вышеизложенного, «поведение» служебного и вспомогательного слова в пределах сочетания различно. Еще более ясно выступает специфика характера сочетания частичного и полного слова в аналитической конструкции при сопоставлении ее с глагольным составным сказуемым типа ich beginne zu arbeiten «я начинаю работать», представляющим собой сочетание форм двух полных слов, где реальная раздельность компонентов сочетания не только подчеркивается употреблением zu при инфинитиве, но и всей внутренней структурой сочетания: глагол beginnen сохраняет здесь свою номинативную функцию полного глагола, ср. die Arbeit beginnt um zehn Uhr «работа начинается в 10 часов»; формы словоизменения этого глагола не «принадлежат» всему сочетанию в целом, а определяют лишь сам глагол beginnen; значение составного сказуемого этого типа складывается из суммы значений его компонентов [1].

сказуемое и генезис связочных глаголов» («Труды Военного ин-та иностр. яз.», № 3, 1947). Ограниченность, например, возможности сочетания глаголов fall, keep, еще более catch, о чем пишет сама В. Н. Ярцева в более поздней статье, указывает на то, что эти образования ближе к фразеологическим единствам, чем к именному сказуемому. Понятен поэтому и тот сдвиг значения глагола, который наблюдается в сочетаниях catch fire, catch cold, keep silent и т. д.

[1] Мы не останавливаемся на анализе других типов составного сказуемого, поскольку основные черты всякого составного сказуемого — реальная выделимость его компонен-

Следовательно, в немецком языке отличие аналитической конструкции от различных типов составного сказуемого, именного и глагольного, заключается в наличии «идиоматичности», обусловившей неразложимость этой конструкции; с этим должна быть связана и трактовка аналитической конструкции в немецкой грамматике как простого глагольного сказуемого.

Как уже отмечалось выше, характер «идиоматичности» и неразложимости аналитической конструкции, а следовательно, и внутренняя ее структура, все же иные, чем у фразеологических единиц.

Различный характер «идиоматичности» и неразложимости фразеологической единицы и аналитической конструкции служит проявлением основного отличия фразеологического и грамматического неразложимого сочетания: в первом случае — у нас типы единичных неповторимых сочетаний, ограниченных спецификой лексической сочетаемости их компонентов; подобные лексическим единицам; во втором — грамматические сочетания, образуемые от глаголов, отвлекаясь от лексической конкретности последних; грамматические стандарты, обладающие всеми признаками грамматической абстракции: от всех переходных глаголов, независимо от их лексического содержания, может быть образована конструкция перфекта и плюсквамперфекта с haben; почти от всех переходных глаголов, независимо от их лексического содержания, может быть образован страдательный залог с werden и т. д.

Возможность образования подобных сочетаний стандартного типа с обобщенным грамматическим значением от больших групп глаголов, независимо от конкретного лексического значения отдельных глагольных единиц, является в свою очередь одним из признаков аналитической конструкции, что выдвигает ее как соотносительный элемент ряда словоизменительных форм глагола; ср., например, в немецком языке соотнесенность простой формы настоящего и аналитической конструкции будущего времени или простой формы настоящего времени действительного залога и аналитической конструкции соответствующей временно́й формы страдательного залога. В этой связи характерно вытеснение простой формы прошедшего (так наз. Präterit) аналитической конструкцией перфекта, происшедшее в южных немецких диалектах. Все эти процессы как бы обусловливают включение аналитических конструкций в парадигматический ряд глагольных словоизменительных форм.

Но при этом аналитические конструкции лишены цельнооформленности и обладают всеми признаками сочетания частичного и полного слова; тем самым обнаруживается как бы внутреннее противоречие, характерное для данного образования: оно неразложимо как лексически, так и грамматически; функционально оно соотнесено с простыми глагольными фор-

---

тов — сохраняет силу независимо от конкретной разновидности этого вида сказуемого. Особняком стоят лишь фразеологические единицы, выступающие в функции сказуемого. См. диссертацию А. И. Руфьевой «Связочные глаголы в немецком языке». М. 1953.

мами и вместе с тем структурно оно остается сочетанием двух слов, обладающих потенциальной грамматической выделимостью, чем оно коренным образом отличается от образований типа французского j'écrirai. Именно это противоречие является одной из причин, затрудняющих грамматическую характеристику подобных образований, определение их места в грамматической системе. Противоречие это является результатом длительного процесса становления системы аналитических конструкций и может быть понято только на основе анализа этого исторического процесса.

IV

Древнейшие памятники немецкого языка, относящиеся к VIII—IX вв.[1], свидетельствуют о наличии большого числа своеобразных сочетаний, состоявших из личной глагольной формы небольшого круга глаголов и именных глагольных форм. Число этих сочетаний, характер их структуры, их продуктивность различны в отдельных памятниках. Одни из этих сочетаний очень быстро исчезают из немецкого языка, вытесненные синонимичными построениями (ср., например, судьбу сочетания с глаголом eigan, продуктивного в IX в. у Отфрида и вытесненного впоследствии сочетанием с глаголом haben, из которого и разовьется в дальнейшем форма перфекта и плюсквамперфекта в немецком языке, или характерное для языка Исидора употребление глагола uuerdan в сочетании с причастием II от глагола queman типа uuard quoman, «пришел, стал пришедший», вытесненное впоследствии сочетаниями с uuesan (из чего и разовьется позднее современная форма ist gekommen); другие существуют вплоть до XVI в. и затем все же исчезают; третьи, наконец, проделав длительный путь развития, качественно изменившись, претерпев и известные структурные изменения, вошли в состав системы аналитических конструкций немецкого глагола.

Многовековый сложный процесс развития отделяет, следовательно, аналитические глагольные конструкции современного немецкого языка от той древней основы, на базе которой они оформились. Но только изучение этого процесса может объяснить тот специфический противоречивый характер этих конструкций, о котором писалось выше, и вместе с тем определить их место в грамматической системе современного немецкого языка.

Наиболее разнообразными в первых памятниках древненемецкой письменности были сочетания личных форм глаголов uuesan «быть» и uuerdan «становиться» с причастиями. В переводных памятниках, на-

[1] В дальнейшем изложении приводимый материал памятников VIII—X вв. цитируется по следующим изданиям: Исидор по изданию Der althochdeutsche Isidor, herausgegeben von A. Hench. Strassburg, 1893; Татиан по изданию Tatian, herausgegeben von E. Sievers. 2-e Ausgabe, Padeborn, 1892; Отфрид по изданию Otfrids Evangelienbuch, herausgegeben von P. Piper. Freiburg und Tübingen, 1882—1887; Ноткер по изданию P. Piper Die Schriften Notkers und seiner Schule. Freiburg und Tübingen. Bd. I—III, 1882—1883.

пример в Исидоре или Татиане, сочетания эти передавали различные значения сложной системы активных и пассивных форм латинского глагола, как бы дополняя бедную систему немецкого глагола этой эпохи. По своей структуре эти сочетания ничем не отличались от именного сказуемого, где в качестве предикатива выступало соответствующее причастие, причем, так же как и предикативное прилагательное, причастие появлялось то в краткой нефлектированной, то в полной флектированной форме.

Первый тип: uuerdan+причастие II непереходных глаголов совершенного вида для обозначения прошедшего времени совершенного вида, ср. в Исидоре (33,1) uuard quoman «пришел» futurus esset, там же endi dher in dheru selbun burc uuard uuordan allero odhmuotigosto «и кто в этом городе стал самым смиренным» (24, 7). Случаи таких сочетаний единичны. Характерно, что в этом памятнике VIII в. не встречается сочетания подобных причастий непереходных глаголов с формами глагола uuesan, т. е. с теми формами, которые послужили в дальнейшем базой для образования конструкций типа ist gekommen.

Второй тип — сочетание причастия II непереходных глаголов совершенного вида с формами глагола uuesan, для обозначения достигнутого результата в настоящем и прошедшем времени. Эти формы появляются начиная с IX в., ср. единичные случаи в Татиане: argangana uuarun ahtu taga, дословно: «были прошедшие восемь дней» (7,1), где предикатив argangana согласуется в числе, роде и падеже с подлежащим tagu; подобная закономерность наблюдается, однако, лишь во множественном числе; ср. также: uuanta arstorbana sint thie. . . (11,1) «потому что умершие суть те. . .», а также (148,5); в единственном же числе обычна краткая нефлектированная форма; ср. inti mîn quena fram ist gigangan in ira tagun «и моя жена продвинулась в своих днях» (2,8).

У Отфрида, в памятнике IX в., но оригинальном, случаи подобных сочетаний остаются единичными; при подлежащем в единственном числе предикатив в форме причастия в большинстве случаев выступает в краткой форме, впрочем, встречается ist lazarus bilibanêr (III, 23, 50); при подлежащем множ. числа причастие обычно появляется во флектированной форме, что характерно и для любого прилагательного.

Третий тип — сочетание форм глагола uuerdan с причастием I для обозначения инкоативности, зачинательности действия. Исидор такого сочетания не знает. В Татиане сочетания эти не очень часты: inti nu uuirdist thu suigenti (2,9) «и станешь ты молчащий» со значением повелительного наклонения. У Отфрида они тоже немногочисленны, причем оформление предикатива колеблется: ср. uuard mund sînêr sprechantêr (I, 9, 29) «стал рот его говорящим» и sehenti uuurti (III, 20, 122) «стал видящим».

Четвертый тип — сочетание форм глагола uuesan с причастием I для обозначения длительности действия. Уже в Исидоре появляются единичные случаи этого сочетания, в частности для перевода латинского locu-

tus est — sprehendi ist; причастие остается нефлектированным. В Татиане эти сочетания довольно продуктивны, причем они передают различные латинские формы. Обычно причастие остается нефлектированным; ср. uuas thaz folc beitonti Zachariam (2,10) «был народ ожидающим Захария». Ср. при подлежащем во множественном числе. . . allero ougun in thero samanungu uuarun scouuonti in inan (18, 3), дословно: «все глаза были смотрящие на него». Но возможно и появление флектированной формы причастия; ср. inti alle thi thaz gihortun uua run thaz vvuntoronte (6,5), дословно: «и все те, кто это увидели, были удивляющиеся». Аналогичные закономерности наблюдаются и у Отфрида, где сочетания эти довольно часты, с той лишь разницей, что у него причастие может выступать в предикативе во флектированной форме даже при подлежащем в единственном числе; ср. altquena thînu ist thir kind berantiu (I,4, 29), перевод: «жена твоя родит тебе дитя» (дословно: «жена твоя тебе дитя есть родящая»).

Подводя предварительный итог краткому обзору сочетаний форм глаголов uuesan и uuerdan с причастием II непереходных глаголов и с причастием I разных глаголов, приходится прежде всего отмечать единичность случаев употребления большинства сочетаний; уже этот факт говорит о том, что перед нами лишь первые ростки новых образований. Наиболее продуктивными в эту эпоху были сочетания форм глагола «быть» с причастием I, т. е. сочетания, которые не получили в дальнейшем развития и исчезли из немецкого языка. Напротив, прототип будущей аналитической формы ist gekommen остается в IX в. малопродуктивным.

В структурном отношении характерной является возможность, хотя и не обязательность, употребления флектированной формы причастия. Сама эта возможность в равной степени, как и единичность случаев употребления отдельных сочетаний, указывает на то, что в эту эпоху данные построения представляли собой различные варианты именного сказуемого, где uuerdan и uuesan были связками, а причастные формы — предикативом. Обособленность и раздельность элементов этих сочетаний подчеркивалась самой возможностью употребления флектированной формы причастия. Норма употребления причастия в этих образованиях ничем не отличалась от нормы употребления предикативного прилагательного. Вместе с тем, так же как и при именном сказуемом, возможна была заменимость связки, грамматическое же значение сочетания было выводимо из суммы грамматических значений его компонентов; ср. sint argangana «суть прошедшие» и sint beitonti «суть ожидающие»; ist sprehenti «говорит», «есть говорящий» и uuard sprehenti «стал говорящим». В первом случае при одинаковых связках грамматическое значение целого различно в связи с различием грамматических значений причастия I и II. Во втором случае при одинаковой форме причастия (причастие I) различие грамматических значений обоих сочетаний определяется характером связки, вернее, ее лексическим значением: наличие признака в сочетании со связ-

кой «быть» и становление признака в сочетании со связкой «становиться».

Являясь различными вариантами именного сказуемого, сочетания этого типа в VIII—IX вв. входили в синтаксис немецкого языка.

Совершенно аналогичны по своей структуре и те весьма продуктивные сочетания глаголов uuerdan и uuesan+причастие II переходного глагола, которые послужили базой образования современной системы страдательного залога. Мы не останавливаемся здесь подробно на семантических отличиях употребления этих двух параллельных сочетаний, поскольку различные памятники обнаруживают известные расхождения и подробный анализ увел бы нас в сторону. Так, например, в Исидоре и Муспилли сочетание формы настоящего времени глагола uuerdan+причастие II всегда передает будущее время страдательного залога; ср., например, So dhar after auh chiuuisso quhidit der selbo forasago: endi arslagan uuirdit christ. «Так же потом говорит тот же самый пророк: Христос будет (станет) умерщвлен»; проекция в будущее связана, повидимому, с зачинательным значением глагола uuerdan; в Татиане это сочетание используется, хотя редко, и для обозначения настоящего времени: uuanen ist thesemo thisiu spahida into solihiu megin, thiu thuruh sino henti uuerdent gifremit (78, 2) «откуда у него эта мудрость и такая сила, которые осуществляются через его руки».

Такое различие влияет и на сферу применения сочетания с настоящим временем глагола uuesan.

С другой стороны, Исидор и Муспилли не знают в подобных сочетаниях употребления прошедшего времени глагола uuesan, а только формы прошедшего времени глагола uuerdan, поэтому в Исидоре нет таких синонимичных конструкций, как, например; **uuard** thô **giheilit** thie kneht in thero ziti «был излечен слуга в тот же час» (Татиан, 47, 8) и **uuas** thô **giheilit** iro tohter fon dero ziti (там же, 85, 4), в подлиннике sanatus est и sanata est, т. е. одна и та же форма сочетания. Выбор в каждом конкретном случае той или иной конструкции далеко не ясен; хотя в целом можно сказать, что сочетания с глаголом «быть» чаще обозначают результат предшествующего процесса, а сочетания с uuerdan чаще передают самый процесс, что обусловлено до известной степени тем значением, которое вносил каждый из связочных глаголов; установить точно сферу употребления каждого типа конструкции весьма затруднительно. Характерно, что и сопоставление с формами подлинника не вносит здесь ясности и определенности, поскольку одна и та же латинская форма передается различными немецкими конструкциями, и вместе с тем одна немецкая конструкция передает различные латинские формы. Интересно отметить, что в древнейших глоссах сочетания с uuerdan почти не встречаются.

В структурном отношении в VIII и IX вв. оба типа конструкций были ближе всего к именному сказуемому, хотя намечались здесь уже и известные сдвиги, особенно в отношении сочетаний с uuerdan.

В пользу трактовки указанных сочетаний как именного сказуемого говорят прежде всего те случаи, где причастие выступает во флектированной форме.

В языке перевода Исидора причастие в указанных сочетаниях изредка выступает во флектированной форме даже при подлежащем в единственном числе: ср., например, diu uurza dhera spahida huuemu siu uuard andeckidiu (11, 20) «корень мудрости кому он был открытый», где причастие согласовано с uurza; флектированная форма явно преобладает при подлежащем во множественном числе: sindun chifestinode «укреплены, суть укрепленные»; sindun chizelido «суть перечисленные», sindun chichundidiu «провозглашенные» и т. д.

В языке перевода Татиана наблюдается та же закономерность, причем случаи появления нефлектированной формы во множественном числе буквально единичны.

У Отфрида значительно чаще появляется флектированная форма причастия при подлежащем в единственном числе: ср., например. ist gibet thinaz vou druhtine gihortaz «твоя молитва господом услышанная» и т. д., так что в этом случае флектированная и нефлектированная формы употребляются на равных началах, как, впрочем, и у прилагательных в функциях предикатива.

Таким образом, несмотря на бóльшую употребительность этого типа сочетаний уже в древнейших памятниках немецкого языка (в отличие от других типов аналогичных сочетаний, рассмотренных нами выше), причастие сохраняет в полной мере свою способность изменяться в числе, роде и падеже, подчиняясь в этом отношении существующей норме предикативного употребления прилагательного.

С другой стороны, в языке Исидора, а частично и в языке Татиана характер употребления сочетаний с формами настоящего времени глагола uuerdan для обозначения н а с т у п а ю щ е г о с о с т о я н и я подчеркивал сохранение этим глаголом такого же значения, как и в именном сказуемом с прилагательным или существительным. Но наряду с этим намечались уже и новые черты: употребление тех же конструкций со значением настоящего времени, еще единичное в Татиане, но обычное в X в., свидетельствовало о потере глаголом uuerdan своего значения и превращении его во вспомогательный глагол будущей аналитической конструкции; в пользу этого говорит и характер употребления этого же глагола в прошедшем времени. Но этот процесс осуществляется уже несколько позднее.

Таким образом, большинство рассмотренных нами конструкций представляли в VIII—IX вв. различные типы именного сказуемого, состоящего из связочных глаголов uuesan и uuerdan и различных причастных образований: при этом по своей частотности выделялись сочетания, имевшие пассивное значение; и именно среди них намечались уже в эту эпоху первые сдвиги в сторону аналитической конструкции.

Однако наше описание различного типа сочетаний личных форм глагола с причастием, послуживших материалом для образования будущих аналитических конструкций, было бы неполным, если бы мы не остановились на тех сочетаниях двух синонимичных глаголов, eigan и haben, с причастием II переходных глаголов, которые послужили материалом для образования перфекта и плюсквамперфекта действительного залога современного немецкого языка.

Сочетания эти, обозначающие результат какого-либо процесса, появляются в немецком языке, повидимому, позже, чем рассмотренные нами выше варианты именного сказуемого. Переводчик Исидора их не знает совсем; в переводе Татиана встречаются всего четыре случая своеобразного сочетания habên+причастие II переходных глаголов, с ярко выраженным результативным значением; eigan в таких сочетаниях в этом памятнике не встречается.

Характер сочетания с habên, структура этого сочетания представляет значительный интерес для понимания специфики этого образования в рассматриваемую эпоху: herro, senu thin mna, thia ih habeta gihaltana in sueizduohhe — ecce mna tua, quam habui repositam in sudario «господин, вот твоя монета, которую я получил (имею полученной). . .»; Ih quiduiu, thaz iogiuuelih thie thar gisihit uuib sie zi geronne, iu habet sia forlegana in sinemo herzen (28, 1), и, наконец, известный пример: phigboum habeta sum gipflanzotan «дерево некто посадил (имел посаженным)».

Анализ структуры рассмотренных сочетаний глагола habên+причастия gihaltan, forlegan, gipflanzot показывает следующее: 1) во всех трех случаях интересующее нас сочетание появляется в предложении, где налицо прямое дополнение, с которым соотнесено данное сочетание; 2) причастие II данного сочетания согласуется с этим объектом в числе, роде и падеже, так что фактически причастие выступает в роли определения при прямом объекте; 3) тем самым причастие грамматически и лексически обособлено от глагола habên; 4) поскольку соотношения компонентов внутри сочетания взаимообусловлены, то и глагол habên носит здесь характер полного глагола, обозначая обладание названным в предложении объектом. Иными словами, во всех трех случаях перед нами словосочетание полных слов, причем центром этого словосочетания является глагол habên, и нужен был длительный процесс развития, чтобы данное словосочетание превратилось в современную аналитическую конструкцию, о чем подробнее ниже.

Однако, наряду с приведенными образованиями, в том же памятнике встречается и иное оформление сочетания: senu, nu andero fimui ubar thaz haben gistriunit (149, 4) «вот другие пять монет я получил», где отсутствует какое бы то ни было согласование причастия с дополнением, поскольку причастие выступает в нефлектированной форме. Оформление этого сочетания как будто бы не отличается от современного оформления перфекта с haben. Но это совпадение лишь внешнее: не следует упускать из виду то обстоятельство, что, согласно нормам употребления флек-

тированной и нефлектированной формы причастия и прилагательного в древненемецком языке, нефлектированная форма могла стоять и в атрибутивном употреблении; следовательно, отсутствие согласования причастия с дополнением отнюдь не свидетельствует о том, что это причастие оторвалось от дополнения и не осознается больше как определение к нему. Только возможность употребления данного сочетания без дополнения могла бы служить доказательством того, что в соотношении компонентов рассмотренного сочетания наметились изменения.

Первые шаги в этом направлении намечаются в языке Отфрида. Здесь имеются два синонимичных сочетания — с глаголами eigan и habên, причем habên почти никогда не употребляется с флектированным причастием. Кроме того, сочетание это появляется и в таких предложениях, где фактически отсутствует объект и где, следовательно, habên уже не сохраняет своего первоначального значения «обладания», ср., например, *habên* ih *gimeinit* in muate bicleibit, thaz. . . — «я думал и решил в уме, что. . .» Отсутствие дополнения, могущего быть предметом обладания, меняет весь характер сочетания уже в IX в.: 1) habên теряет свое первоначальное значение и не выражает здесь уже обладания, поэтому он перестает быть и центром словосочетания; 2) причастие, не являясь определением к объекту, в свою очередь, изменило свое первоначальное значение; 3) изменения, происшедшие в значении, в функции обоих компонентов, привели к идиоматичности всего сочетания, к взаимному сцеплению обоих компонентов, при сохранении их потенциальной выделимости.

Подобные случаи у Отфрида еще единичны, но они указывают на то, что среди разнообразных сочетаний различных глаголов с формами причастия одно из сочетаний явно пошло по тому пути, который вел к образованию аналитической формы, как бы вырвавшись вперед в процессе развития интересующих нас конструкций. Но это только первый шаг к образованию аналитических конструкций перфекта и плюсквамперфекта действительного залога немецкого глагола. Фактически весь круг непереходных глаголов остается пока вне орбиты подобных сочетаний, поскольку сочетания uuesan с причастием II непереходных глаголов совершенного вида единичны, а глаголы непереходные несовершенного вида не имели вообще причастия II и, следовательно, подобного сочетания образовать не могли. Лишь последующее столетие принесло дальнейшее распространение подобных конструкций на всю систему немецкого глагола.

Для характера же сочетания с habên в рассматриваемую эпоху показательна и конкуренция синонимичного глагола eigan, особенно употребительного в языке Отфрида, ср. uuir eigun iz firlazan «мы это оставили»; единичны и здесь случаи согласования причастия с дополнением.

Процесс развития системы аналитических конструкций в древненемецком языке на материале перечисленных выше сочетаний был в значительной степени обусловлен чрезвычайной бедностью простых

временных форм глагола и отсутствием старых флективных залоговых форм в языке VIII—IX вв. Различного рода сочетания ограниченного круга глаголов с именными глагольными формами, возникавшие в языке первоначально как единичные спорадические образования, послужили материалом для обогащения и совершенствования системы форм глагола немецкого языка. Сама тенденция использования подобных сочетаний для выражения различных оттенков процесса, обозначаемого глаголом, была общей для различных германских языков, общими были и пути переоформления свободных сочетаний в неразложимые аналитические формы.

В истории немецкого языка процесс этот охватывал различные сочетания неравномерно: одни сочетания раньше, другие позже изменили свою первоначальную природу; к тому же одни сочетания оказались чрезвычайно устойчивыми, сохранившись до настоящего времени, другие исчезли из немецкого языка. Отбор определенной, ограниченной группы сочетаний из всех возможных вариантов являлся одним из существенных моментов рассматриваемого нами процесса. Отбор определялся прежде всего вытеснением одной из синонимичных форм — так исчезла конструкция uuard quhoman, исчезло сочетание с eigan. Отбор определялся и закономерностями развития временно́й системы немецкого глагола. Противопоставление по виду не находит развития в немецком языке; так, например, старые образования с результативным значением, возникшие как сочетание форм глаголов habên и wesan+причастие II, постепенно теряли свое видовое значение. Поэтому сочетания, призванные выражать зачинательность или длительность действия, типа uuirdit suuigenti, uuard suuigenti или ist suuigenti, uuas suuigenti как система выходят из употребления, а отдельные формы этих сочетаний получают использование в преображенном виде во временно́й системе немецкого глагола. Так образуется из именного сказуемого с зачинательным значением форма будущего времени на основе как семантических сдвигов, так и структурных изменений — замена формы причастия I инфинитивом: uuirdit suuigenti → wird schweigen.

Вторым важным моментом в этом процессе было превращение единичных, спорадически возникавших сочетаний в стандартные образования, охватывающие все глаголы немецкого языка.

Однако самыми существенными, определяющими все содержание процесса, постепенное отмирание старого качества и постепенное становление нового качества, были изменения в з н а ч е н и и с о ч е т а н и я, во внутренней его структуре.

Выше уже отмечались те изменения, которые наметились еще в IX в. в пределах сочетания личных форм глагола habên+причастие II переходного глагола; представлявшее собой первоначально единичные случаи соединения трех полных слов, ограниченное в своем употреблении необходимостью наличия объекта обладания, сочетание это постепенно охватывало все большее число переходных глаголов и менялось как по своей форме, так и по соотношению входящих в него компонентов. Насколько

интенсивны были эти изменения, видно прежде всего из того, что данное сочетание послужило образцом для образования к концу X в. конструкций от непереходных глаголов несовершенного вида, не имевших, как уже отмечалось, вообще причастия II. Ср. Notker (II, 15, 30) habe ih keweinot «я плакал»; Wanda si mir aber nu geswichen habet (I, 8, 19) и т. д.

Появление подобных конструкций от непереходных глаголов оказалось возможным лишь потому, что конструкция, служившая для них образцом, воспринималась к этому времени уже как неразложимое целое; глагол habên в ней давно потерял свое исконное значение и превратился в частичное слово, призванное выражать формы полного глагола, т. е. во вспомогательный глагол, а причастная форма настолько обособилась семантически от системы причастий переходного глагола, что можно было воспроизвести эту форму от непереходных глаголов в качестве компонента единой конструкции; вместе с тем само копирование этого образца было возможно в условиях потенциальной выделимости ее компонентов. Иными словами, только возникшая к тому времени идиоматичность сочетания habên+причастие II сделала возможным образование подобной аналитической конструкции от глаголов непереходных. Однако образование этих конструкций от непереходных глаголов несовершенного вида указывало и на побледнение того первоначально конкретного результативного значения, которое это сочетание имело в IX в.

Параллельно с развитием употребления конструкций с формами глагола habên от переходных глаголов и непереходных глаголов несовершенного вида увеличивалась продуктивность образований, состоявших из форм глагола uuesan и причастия II непереходных глаголов совершенного вида. Возникнув первоначально на базе именного сказуемого, где предикативом являлось причастие II ограниченного круга глаголов, конструкция эта постепенно охватывает весь круг непереходных глаголов совершенного вида; вместе с тем меняется и оформление причастия, которое, как и прилагательные в предикативной функции, выступает с XI в. обычно в нефлектированной форме. Включаясь в общую систему аналитических конструкций с упомянутыми выше образованиями при помощи вспомогательного глагола habên, это сочетание теряет свою связь с именным сказуемым и выступает, в свою очередь, как неразложимая грамматически и лексически форма. Так замыкается круг этого типа аналитических форм.

Выступая как звенья единой системы уже с XII—XIII в., они претерпевают дальнейшие семантические изменения в связи с выработкой нормы употребления абсолютных и относительных времен и т. д. В процессе этого развития прежние черты рассмотренных сочетаний, признаки их старого качества, постепенно отмирают, вытесняемые столь же постепенным накоплением нового качества.

Наиболее существенным в развитии аналитических конструкций из различного типа сочетаний являются, следовательно, внутренние

изменения их структуры, отражавшие изменения в их значении. Это проявляется в становлении идиоматичности и неразложимости — в изменении самого характера сцепления компонентов сочетания на основе переосмысления старых образований. Именно эти моменты создают новое качество данных сочетаний, выводя их из сферы синтаксиса.

Развитие аналитической формы из именного сказуемого сопровождается в немецком языке и частичными изменениями, происходящими в оформлении компонентов сочетания, в оформлении его строения; в образованиях с причастиями исчезает способность причастия появляться во флектированной форме, при выделении конструкции будущего времени с uuerdan причастие I вытесняется инфинитивом. Но эти внешнеструктурные моменты не имели решающего значения, а были лишь сопутствующими признаками.

Система же соотносительных форм, в которую аналитические конструкции включались, охват этими конструкциями всей глагольной системы немецкого языка влекли их в сферу морфологии. И все же ни одна из рассмотренных конструкций в немецком языке не дала слияния формы частичного и полного слова, подобно, например, скандинавским возвратно-пассивным формам; основное отличие словосочетания от слова — отсутствие цельнооформленности — сохраняется полностью в аналитической конструкции. Тем самым старый структурный образец — сочетание форм двух слов — оказался неуничтоженным, хотя новые отношения, проникая в прежние сочетания, меняли их природу и их функции.

Сохранение старого структурного образца при проникновении в него нового содержания, менявшего природу и функции старого именного сказуемого и словосочетания полных слов, создавали в условиях языковой системы своеобразное противоречие между новым значением и «старой формой», которое, однако, не вело к уничтожению этой старой формы.

Но старый структурный образец, проявляющийся в отсутствии цельнооформленности, в потенциальной грамматической и лексической выделимости компонентов аналитической конструкции, при реальной их неразложимости, не должен вместе с тем скрывать новое в сущности этих единств. А именно эта новая сущность выводит рассматриваемые сочетания из сферы синтаксиса и обусловливает их включение в морфологию на правах особого типа формообразования, по своему построению отличного от простых словоизменительных форм, исторически связанного с областью синтаксиса. Нам представляется поэтому, что термин акад. В. В. Виноградова «синтаксическое формообразование» хорошо отражает своеобразную двуликость рассмотренных языковых единств: 1) их причастность к морфологии, 2) их структурную общность с сочетанием слов.

Так в результате длительного исторического развития создаются особые признаки аналитической конструкции, представляющей собой одну

из разновидностей сочетания форм частичного и полного слова. Признаки эти специфичны в немецком языке именно для данного типа сочетания форм частичного (вспомогательного) и полного слова и могут отсутствовать в других типах подобных сочетаний.

В связи со всем сказанным выдвигаются следующие критерии аналитической конструкции: 1) особая взаимосцепленность компонентов, создающая их реальную неразложимость, 2) идиоматичность, как основа этой неразложимости, 3) охват всей лексической системы глаголов в немецком языке, 4) включенность в систему соотносительных форм любого глагола в качестве элементов единого парадигматического ряда.

Возникает вопрос, насколько пригодны эти критерии для характеристики аналитических конструкций в других индоевропейских языках. Нам представляется, что не только включенность этих аналитических конструкций в систему соотносительных форм любого глагола данного языка или охват ими всей лексической системы глаголов этого языка, но и такие черты, как особая взаимосцепленность компонентов, своеобразная «идиоматичность», в большей или меньшей степени присутствуют в аналитических конструкциях и других индоевропейских языков. Правда, сопоставляя систему и функционирование аналитических конструкций двух таких близкородственных языков, как немецкий и английский, можно обнаружить различие даже в том, что в английском языке случаи опускания второго компонента более разнообразны, чем в немецком, как бы свидетельствуя в пользу большей самостоятельности каждого из компонентов. Ср., например, в английском Have you read this book «Читали вы эту книгу?» и ответ Yes, I have, что недопустимо в немецком языке.

В связи с выдвинутыми выше критериями весьма сомнительным представляется отнесение в немецком языке сочетания модального глагола с инфинитивом к аналитическим конструкциям, а модальных глаголов к вспомогательным глаголам модальности.

Особенность модальных глаголов заключается в ограниченности их употребления без инфинитива другого глагола, что связано с лексическими особенностями этой глагольной группы. Это обстоятельство создает особую форму связанности их пределами определенного типа сочетаний. Однако модальный глагол, сочетаясь с инфинитивом, обычно не подвергается какому-либо переосмыслению, не теряет своего лексического значения, сохраняя полностью и свою номинативную функцию. В сочетаниях типа ich muss lesen «я должен читать» (Ich muss das Buch heute zu Ende lesen «я должен прочесть сегодня книгу до конца»), ich will lesen «я хочу читать» (Ich will das Buch heute zu Ende lesen «я хочу прочесть сегодня книгу до конца»), ich kann lesen «я могу читать» и т. д. со всей определенностью выступает лексическая и грамматическая выделимость обоих компонентов.

Значение данного сочетания равно сумме значений его компонентов и, следовательно, не идиоматично. Формы модального глагола не служат

для приписывания грамматических категорий другому глаголу, как это имело место в аналитических конструкциях. Ср. ich will schreiben «я хочу писать», ich wollte schreiben «я хотел писать», с одной стороны, и ich habe geschrieben, ich hatte geschrieben, с другой. Раздельность и обособленность членов этого сочетания выступает и в том, что, например, употребление наречия времени уточняет временну́ю соотнесенность не всего сочетания в целом, а одного из его компонентов; так, heute «сегодня» в приведенных выше примерах относится только к действию, выраженному инфинитивом. Все указанные моменты подчеркивают отсутствие неразложимости этих сочетаний в немецком языке.

Подобные сочетания не являются аналитическими конструкциями. Более того, возникает сомнение и в возможности их отнесения к сочетаниям форм частичного и полного слова, поскольку модальный глагол, сохраняя в этих сочетаниях свою номинативную функцию, не обладает основным признаком частичного слова. Сочетание модальный глагол+инфинитив рассматривается поэтому нами как особый тип составного (глагольного) сказуемого, оба компонента которого являются полными словами.

Иной характер имеет сочетание настоящего времени глагола wollen «хотеть, желать» с инфинитивом, где глагол wollen фактически почти потерял свое модальное значение и выражает в основном отношение процесса к временно́му отрезку (будущее время). В этом случае в данном сочетании обнаруживаются новые черты, обусловленные изменениями, происшедшими в значении глагола wollen, а тем самым и во всей конструкции в целом. Wollen выступает здесь в функции вспомогательного глагола времени, а все сочетание в целом может быть определено как особая аналитическая конструкция будущего времени.

Тем самым выдвинутые выше критерии позволяют, как нам представляется, довольно четко отграничивать аналитические конструкции как особый тип глагольного формообразования от различного рода других языковых единств (образуемых сочетанием форм частичного и полного слова — именное сказуемое, а также сочетанием двух полных глаголов — составное глагольное сказуемое, в том числе сочетание модального глагола+инфинитив), способствуя уточнению понимания морфологического аспекта языка. С другой стороны, критерии эти специфичны для данного типа соединения частичного и полного слова. В других типах сочетаний форм частичного и полного слова, например в предложных конструкциях, в сочетании имени с артиклем возможны иные структурно-семантические признаки. Анализ отличительных признаков аналитических конструкций по сравнению с именным сказуемым, являющимся другим типом сочетания частичного (служебного) и полного слова, показал с очевидностью возможность разных соотношений между компонентами различных типов подобных сочетаний, даже при условии большой лексико-морфологической близости этих компонентов.

Вместе с тем исследование образования новых морфологических единиц на материале прежних синтаксических явлений раскрывает но-

вые формы связи морфологии и синтаксиса в единой структуре языка. Эти связи обнаруживаются не только в том, что источником образования данных морфологических категорий являлись древние синтаксические единства; эти связи проявляются и в синхронном плане при анализе построения рассмотренных форм: выступая как один из способов глагольного формообразования, аналитические конструкции до известной степени соотнесены, как особый тип объединения слов, с различными формами сочетаний слов.

Изучение аналитических конструкций немецкого языка и их специфики позволило также уточнить понятие словоизменения немецкого языка: наряду с простыми глагольными формами в систему глагольного формообразования оказались включенными сложные единства, аналитические формы, лишенные цельнооформленности слова, но представляющие собой неразложимые единства.

Их включение в морфологию современного немецкого языка, тогда как в языке VIII—IX вв. они, несомненно, входили в систему синтаксиса, отражает сущность тех изменений, которые произошли в их внутренней структуре, в их содержании и функциях.

А. А. ЮЛДАШЕВ

КАТЕГОРИЯ ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

I

Вопрос о виде глагола справедливо считается одной из наиболее сложных и спорных проблем в области тюркских языков. Вид тюркского глагола по сравнению с другими глагольными категориями является едва ли не самым неразработанным, несмотря на многочисленные попытки его освещения.

Проблема глагольного вида не получила теоретической разработки также и в башкироведении, несмотря на то, что здесь впервые в истории тюркской филологии ей была посвящена специальная монография А. И. Харисова «Категория глагольных видов в башкирском языке» и что вслед за А. И. Харисовым проблема вида глагола ставилась одним из наиболее видных современных теоретиков в области тюркской филологии, Н. К. Дмитриевым, в его «Грамматике башкирского языка».

Исследование А. И. Харисова свелось, по существу, к классификации служебных глаголов, посредством которых глагольная основа получает тот или иной видовой оттенок[1]. Воздвигнутые автором видовые рубрики «начинательный вид», «длительный вид», «законченный вид», «кратный вид», «результатный вид» перекрещиваются и не соотносимы. Не соотносимы они потому, что в основу классификации в одном случае положен чисто лексический признак («начинательный вид»), в другом — чисто грамматический («синтетическая система видов», «аналитическая система видов»), в третьем — чисто семантический («результативность», «время-вид»).

В «Грамматике башкирского языка» Н. К. Дмитриева синтетические и аналитические формы выражения видов, как и в названной работе А. И. Харисова, выделены в особые группы. Но здесь синтетические формы названы «видами первой категории», аналитические — «видами второй категории» (стр. 196).

---

[1] Методологическое обоснование этой классификации справедливо раскритиковано В. В. Виноградовым в статье «Значение работ И. В. Сталина для развития советского языкознания» («Материалы объединенной научной сессии, посвященной трудам И. В. Сталина по языкознанию». М. 1951, стр. 80).

В пределах «видов первой категории» Н. К. Дмитриев различает совершенный, несовершенный и многократный виды, т. е. придерживается схемы, предложенной в свое время А. К. Боровковым[1]. Здесь нет нужды подробно останавливаться на вопросе неправомерности постановки категории кратности в один ряд с указанными видами. Это должно стать достаточно ясным, если учесть, что категория кратности в тюркских языках лежит в иной плоскости, чем значение совершенности и несовершенности. В лучшем случае она может считаться одним из частых проявлений несовершенного вида (см. стр. 383). Многократность может сочетаться как с значением совершенного вида (ср. *һуkkылап ташланым* «я поколотил»), так и с значением несовершенного вида (ср. *һуkkыланым* «я колотил»).

Что касается остальной части данной схемы, в частности трактовки совершенного и несовершенного видов, то она оказалась, собственно, беспредметной. Н. К. Дмитриев, в отличие от своих предшественников (А. К. Боровкова и др.), совершенный вид усматривает не в морфологизированных словосочетаниях основного глагола со служебными глаголами, где действительно представлено значение совершенного вида, а исключительно в форме прошедшего категорического (*яҙҙым*), несовершенный — в форме имперфекта I (*яҙа инем* «я писал, писал бы») и так называемого имперфекта II (*яҙыр инем* «я писал бы»)[2]. Между тем из всех этих форм только форма на *-а ине* (имперфект I) связана с выражением категории вида (несовершенного). Остальные же формы, как и все формы времен изъявительного наклонения, в отношении вида нейтральны. Например, прошедшее категорическое, в форме которого Н. К. Дмитриев усматривает совершенный вид, в зависимости от лексического содержания глагола или контекста может с одинаковым успехом выражать как совершенный вид, так и несовершенный: ср. *тотот торҙом* «я держал», *укыным* «я читал», где представлен в пределах указанной формы несовершенный вид, с другой — *укып сыктым* «я прочитал», *тоттом* «я поймал», где эти глаголы в пределах той же самой формы обозначают уже совершенный вид.

Переходя к схеме «видов второй категории» Н. К. Дмитриев полагает, что «классификацию глагольных видов башкирского и других тюркских языков удобнее всего производить по тем модальным глаголам, которые сопровождают деепричастие и спрягаются, тогда как само деепричастие как бы „застывает“ в своей первоначальной форме»[3], и в соответствии с этой установкой воздвигает здесь столько видовых рубрик, сколько имеется модальных

---

[1] А. Боровков. Учебник уйгурского языка. Л., 1935, стр. 172—180.

[2] Данная форма представляет собой категорию сослагательного наклонения, а не прошедшего времени.

[3] Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1948, стр. 197.

глаголов, не всегда считаясь при этом с тем, имеет ли данная конструкция с данным модальным глаголом отношение к категории вида. Поэтому в эту схему попали такие конструкции, как сочетание деепричастия на *-а*(*-й*) со вспомогательным глаголом *алыу* (стр. 197) и т. п., который выражает отнюдь не вид, а модальность, соответствующую семантике немецкой конструкции с глаголом können. Поэтому что́ представляет собой вид в применении к башкирскому глаголу, остается неясным.

Если к сказанному добавить возможность агглютинации основ, снабженных показателями так называемых «видов второй категории», с аффиксами «видов первой категории» (например, с аффиксами кратности) и не забывать того, что список служебных глаголов, «которые сопровождают деепричастие» и привносят определенный видовой нюанс, не исчерпан, то нетрудно заметить, что попытка анализа категории вида в башкирском языке с этой точки зрения, как справедливо отметил В. В. Виноградов[1], и здесь ни к чему не приводит.

Что касается работ, посвященных проблеме вида применительно к другим тюркским языкам, то следует отметить, что проделана значительная работа по изучению семантики различных конструкций, имеющих, по мнению некоторых авторов, видовое значение. Делались также попытки теоретического определения видовых категорий и структуры глагольного вида в тюркских языках. Однако при этом исследователи обычно ограничиваются рассмотрением лишь лексического значения соответствующих словосочетаний[2]. Разрешение проблемы вида в тюркских языках осложняется также тем, что каждый автор по-своему понимает категорию вида и что все еще не существует единого определения вида. Многие тюркологи, как и Н. К. Дмитриев, вслед за отдельными западноевропейскими лингвистами[3] и сторонниками так называемого «нового учения о языке»[4] очень широко пони-

---

[1] В. В. Виноградов. Значение работ И. В. Сталина для развития советского языкознания. «Материалы объединенной научной сессии, посвященной трудам И. В. Сталина по языкознанию». М., 1951, стр. 80.

[2] Например, проф. В. М. Насилов усматривает в служебных глаголах, имеющих назначение выражать вид, только функцию пространственной конкретизации действия, обозначенного основным глаголом, и заключает, что «употребление служебных глаголов в данных целях наблюдается в тюркских языках очень широко, но семантика глагольного сочетания не характеризует все же возникновение признаков вида» (В. М. Насилов. К вопросу о грамматической категории вида в тюркских языках. «Труды Московского ин-та востоковедения», сб. 4, 1947, стр. 39).

[3] Э. Сепир рассматривает, например, дуративный вид, неопределенный вид, моментальный вид, инцептивный вид, континцативный вид, дуративно-инцептивный вид, итеративный вид, моментально-итеративный вид (Э. Сепир. Язык, 1934).

[4] Еще больше расширяет понимание вида И. И. Мещанинов: «Виды в глаголе характеризуют процесс самого действия, взятого отвлеченно, без указания на отношение к нему действующего лица, ими оттеняется ход действия с его начала

мали категорию вида и в связи с этим причисляли к ней все то, что не укладывалось в систему более ясно очерченных категорий глагола (например, глагольные словообразовательные категории). В результате в один ряд ставились ими такие различные категории, как кратность, законченность, незаконченность, протяженность действия во времени и пространстве, интенсивность, модальность, совершенность, несовершенность, уточнение основного значения с лексико-семантической стороны и пр.

Правда, нельзя сказать, что все тюркологи придерживались такого понимания категории вида. Так, А. К. Боровков и В. М. Насилов считают видом категорию совершенности и несовершенности. Но тем не менее и они должного анализа видов в тюркских языках не дают. В. М. Насилов, увлекаясь изучением семантики различных словосочетаний со служебными глаголами, в частности рассмотрением того, как последние конкретизируют выраженное основным глаголом действие со стороны пространственного направления, не учитывает видового значения данных конструкций и вообще ставит под сомнение их видовое значение[1]. А. К. Боровков высказал мысль о наличии в тюркских языках совершенного и несовершенного видов, но указал список форм лишь для совершенного[2]. Несовершенный же вид в конкретном его проявлении им не показан, в силу чего, надо думать, частный случай выражения несовершенного вида в форме многократного глагола оказался поставленным в один ряд с совершенным и несовершенным видами как третий, многократный вид. Распределяя соответствующие конструкции по этой трехвидовой схеме, А. К. Боровков теоретически не обосновал своей классификации и не дал разработанного учения о видах.

Если В. М. Насилов ограничился рассмотрением конструкций, которые принято именовать видовыми, со стороны их лексического содержания, и пришел к выводу о том, что комбинация основного глагола в форме деепричастия со вспомогательным глаголом служит отнюдь не для обозначения какого бы то ни было вида, а для указания на ориентацию действия в пространстве, для ограничения содержания глагола широкой лексической семантики именно с этой стороны, то А. К. Боровков, наоборот, признавал, что эти конструкции обозначают вид, что они имеют грамматическое значение вида, но при этом он не учитывал их словообразовательную функцию, не уделял внимания их лексическому значению и, как и В. М. Насилов, не разграничивал лексическое и видовое значение в пределах одной и той же основы. Между тем, ввиду возможности двух разных взглядов (к тому же вполне обоснованных) на один и тот же вопрос, трудности, на

до конца, его интенсивность, результативность и т. д.» (И. И. Мещанинов. Члены предложения и части речи. М.—Л., 1945, стр. 246—247).

[1] В. М. Насилов. Ук. соч., стр. 32—55.

[2] А. К. Боровков. Ук. соч., стр. 176—180.

которые наталкивается всякий, кто пытается разрешить проблему вида, останутся непреодоленными, пока не будут разграничены видовая и чисто лексическая стороны в пределах отдельной конструкции. В. В. Виноградов по этому поводу справедливо замечает, что разграничение лексического и грамматического значения является необходимым условием[1] для уяснения категории вида.

Для решения такой предварительной, но крайне необходимой задачи важное значение имеет следующее указание И. В. Сталина: «Отличительная черта грамматики состоит в том, что она даёт правила об изменении слов, имея в виду не конкретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности... Следовательно, абстрагируясь от частного и конкретного, как в словах, так и в предложениях, грамматика берёт то общее, что лежит в основе изменений слов и сочетании слов в предложениях, и строит из него грамматические правила, грамматические законы»[2]. Применяя это положение по отношению к виду, можно заключить, что то или иное значение, привносимое соответствующей видовой формой, может быть признано грамматическим лишь постольку, поскольку оно выходит за пределы лексико-семантической структуры данной основы и является, с одной стороны, безотносительным к лексическому содержанию данной основы, с другой — общим не только для определенного круга основ, обнаруживающих одинаковое строение и в меру этого составляющих определенный лексико-грамматический разряд (скажем, кратных глаголов), но и для системы основ, относящихся к двум или более лексико-грамматическим разрядам. При этом последнее возможно только в том случае, если указанное грамматическое значение располагает соответствующим грамматически выраженным оформлением (хотя бы несамостоятельным, функциональным) и составляет часть грамматической системы данной части речи (здесь — глагола), если на этом значении базируются определенные правила словоизменения. В видообразующих формах это значение — совершенности и несовершенности, удовлетворяющее требованиям грамматической абстракции и пронизывающее всю систему видообразующих форм, причем и таких, которые лексикализованы и служат словообразовательным целям.

Лексическое значение данных конструкций — это то, что является индивидуальным, характерным для данной основы и сохраняет свой смысл только в ее пределах, это то, что оттеняет разницу между двумя фазами одного и того же действия и тем самым способствует тому, что разные фазы одного и того же действия воспринимаются как два разных действия, правда, семантически близкородственных.

Таким значением в видообразующих формах обладают все так называемые внутривидовые оттенки, сводящиеся в основном к уточнению

[1] В. В. Виноградов. Русский язык, 1947, стр. 494.

[2] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. М., Госполитиздат. 1953, стр. 24.

характера протекания действия в пространственном, временно́м, количественном и других отношениях. Возможность внутривидовой модуляции всецело зависит от лексико-семантической структуры основы: одна основа может быть уточнена с точки зрения интенсивности протекания действия, поэтому допускает соответствующую форму, выражающую данный оттенок внутривидового значения, другая — с точки зрения кратности и т. д.; одна основа может содержать тот или иной внутривидовой оттенок в самой лексической структуре, другая — приобретать его при посредстве соответствующих форм, но никогда ни в одном языке не бывает так, чтобы можно было осложнять каждую глагольную основу той или иной видообразующей формой (выражающей, скажем, кратность, интенсивность, завязку, развязку, результативность и пр.), чтобы тот или другой из внутривидовых оттенков был распространен на все основы, ибо есть действия, которые могут быть только длительными, есть действия, которые могут быть только прерывистыми, или только мгновенными, или только результативными и т. п. Несмотря на то, что такое внутривидовое уточнение основы производится в грамматически организованном порядке (посредством специальных форм, конструкций), несмотря на то, что некоторые внутривидовые оттенки, как, напр., кратность, значительно грамматикализованы и нередко воспринимаются как грамматическая абстракция, внутривидовые оттенки противодействуют отождествлению их с грамматическим значением вида именно тем, что служат не для абстрагирования от частного, единичного, конкретного лексического значения к общему, как это имеет место в грамматическом значении вида, а, наоборот, для конкретизации общего понятия о действии, которое обозначено в исходной основе (еще не осложненной видовым выражением форме).

Если с точки зрения данных критериев грамматического и лексического значения слова подойти к тюркским формам, которые принято рассматривать как видовые, то выяснится, что за редким исключением эти формы представляют собой морфологизированное словосочетание, имеющее и лексическое, и грамматическое значение. Необходимо поэтому рассмотреть оба эти значения в отдельности.

Лексическое значение видовых форм

При разборе конструкций видового назначения обнаруживается, что в основе их семантики лежит стяжение связанных между собой на базе определенной конструкции компонентов и лексикализация последних. Общий смысл целого вытекает здесь из видоизменения семантики составных частей словосочетания. В этом единстве лексического значения обычно первый компонент — глагольная основа в форме деепричастия на *-а*, *-й* или на *-п* — представляет собой семантическое ядро общего глагольного содержания данного словосочетания, а второй компонент лексически настолько ослабляется, что его основным

назначением оказывается изменение значения первого компонента и участие в строении такого словосочетания в качестве структурного элемента. В роли второго компонента выступает лишь небольшая группа глаголов, которые правомерно рассматривать, в силу сказанного, приближающимися по смыслу к особым словообразовательным формантам, хотя они в отдельных случаях и удерживают в составной лексеме какую-то долю исходного лексического содержания. Особенность таких формантов заключается в том, что они сравнительно самостоятельны и лексически ясны, во всяком случае не лишены конкретного лексического содержания, чтобы их можно было полностью приравнять к формам слова, как это иногда делают тюркологи. Правда, трудно не согласиться с тем, что здесь мы имеем дело хотя и со своеобразными, но несомненно служебными элементами в структуре составного слова. Общая семантическая направленность системы конструкций с одинаковым вторым компонентом при указанном значительном ослаблении лексического содержания последнего говорит, конечно, тоже о перерождении второго компонента в составную часть конструкции. Но это не значит, что второй компонент превращается в форму первого. Другое дело, что второй компонент правомерно рассматривать как более или менее грамматикализованный структурный элемент данных конструкций; но опять-таки не более как структурный элемент, ибо система таких конструкций с одинаковым вторым компонентом объединяется в одну группу отнюдь не по значению второго компонента, а по структурному единству, по сходству строения конструкции в целом. Да и вообще выражаемое данной конструкцией глагольное понятие вытекает вовсе не из значения отдельных компонентов и не из суммы их значений, а из структуры конструкций в целом. Структура, растворяя семантический вес отдельных компонентов, служит для конкретизации единичных, особенных сторон глагольного понятия, представленного в исходном содержании первого компонента в его наиболее общем виде. При этом нередко бывает так, что в центре внимания оказывается не семантика так называемого основного глагола — первого компонента, а привносимый самой конструкцией оттенок, т. е. не выражение действия, заключенного в исходном содержании первого компонента, а обозначение характера протекания этого действия (см. стр. 371 данной статьи и др.), иначе говоря, внутривидовой оттенок. Хотя рассматриваемые формы конструкции распространяются иногда на обширный круг основ, они все же зависят от лексического содержания последних, видоизменить которые они призваны: возможность построения данной формы словосочетания с данной основой всецело зависит от лексико-семантической структуры основы. Та или иная из форм словосочетаний видового назначения может быть употреблена только при определенных основах. Поэтому одна и та же форма конструкции в применении к разным основам обозначает часто различные оттенки (ср. функцию словосочетания со служебным глаголом *барыу*

на стр. 373 и 376). Другими словами, хотя значение одинаковых конструкций является общим для всей системы подобных образований, смысл отдельной конструкции в целом подчиняет это общее значение более конкретному и для каждого отдельного случая более характерному содержанию. В результате посредством этих конструкций образуется целая система производных сложных глагольных лексем, расходящихся между собой частными, единичными, конкретными сторонами своей семантики и примыкающих одна к другой общими чертами, но находящихся на разных ступенях близости по отношению к исходному глагольному понятию, к которому они восходят по линии первого компонента. Как бы там ни было, рассматриваемые конструкции служат для уточнения глагольного понятия с той стороны, которая не содержится в исходной лексико-семантической структуре; они имеют неоспоримую смысловую целостность, подобную значению составных основ внутриглагольного происхождения (за исключением того, что последние по сравнению с исходными основами, как правило, представляют собой относительно самостоятельные понятия, а словосочетания видового назначения — понятия близкородственные).

Таково положение вещей со стороны семантической.

Так же обстоит дело и с точки зрения строения. Структура рассматриваемых конструкций аналогична структуре конструкций, имеющих исключительно словосложительное назначение. Здесь, так же как и во внутриглагольных чисто лексических образованиях типа *бәреп йығыу* «свалить», *әйләндереп тегеү* «перелицевать», *осоп менеү* «взлететь» и т. п., глагол, выступающий в качестве первого компонента, принимает соответствующую форму деепричастия, другой — фигурирует в спрягаемой форме, причем во всех позициях следует непосредственно за первым компонентом. Здесь, так же как и в словосочетаниях чисто лексического назначения, компоненты объединены общим ударением, в значительной мере поглощающим самостоятельность ударения первого компонента. Данные словосочетания, как и словосочетания чисто лексического порядка, характеризуются, кроме того, нечленимостью, как композиционной, так и семантической. И здесь между элементами составного целого нельзя усмотреть свободных синтаксических отношений двух членов словосочетания. Эти словосочетания, как и словосочетания чисто лексического характера, выступают во всех свойственных башкирскому глаголу функциях и формах. Смысловое единство и стойкость конструкции при этом нисколько не нарушаются. Нарушение строения влечет за собой устранение лексико-семантической структуры целого. Ни один из двух компонентов не может быть устранен без разрушения смысла целого, ибо как первый, так и второй компонент являются неотъемлемыми элементами целого, равного слову.

Все сказанное о семантических и структурных особенностях видовых образований свидетельствует о том, что они обладают неоспоримым

лексическим значением. Посредством каждой из форм таких конструкций образуется целая система производных сложных лексических единиц, ответвляющихся друг от друга частными сторонами и объединяющихся общими чертами, по которым конструкции одинаковой структуры составляют определенные лексико-грамматические разряды. Эти лексико-грамматические разряды укладываются в следующую схему: 1) интенсивные глаголы, 2) начинательные глаголы, 3) глаголы законченного действия, 4) глаголы длительного действия, 5) глаголы достижения конца действия, 6) глаголы кратного действия.

Интенсивные глаголы

Интенсивные глаголы образуются чаще всего комбинированным способом, т. е. при посредстве сочетания основного глагола, взятого в форме деепричастия на *-а* || *-й*, с определенными спрягаемыми глаголами, сообщающими основному глаголу оттенок интенсивности или неинтенсивности проявления данного действия; при этом конструкция в целом не обозначает действия, выраженного основным глаголом, т. е. приобретенное благодаря конструкции значение перерастает в основное лексическое содержание данной конструкции. Во всяком случае на переднем плане стоит здесь эта сторона семантики. Возможность включения в данную конструкцию определяется лексико-семантической природой компонентов. Поэтому эти образования представляют собой трудно обозримое поле разнообразных вариантов. Более или менее выработанную семантику имеют следующие довольно продуктивные словосложительные модели.

1. Сочетание деепричастия на *-а* || *-й* со спрягаемым глаголом *төшөү* «спускаться, сойти», придающим значение постепенного улучшения или ухудшения, усиления или ослабления интенсивности в проявлении действия, обозначенного основным глаголом. Этот оттенок в известной мере соответствует семантике русских префиксов *под-*, *по-*: *бөгә төш* «подгибай» (*бөгөү* «гнуть»), *өҫтәй төш* «подбавь» (*өҫтәү* «добавить»), *ҡыҙара төш* «покраснеть» (*ҡыҙарыу* «краснеть») и т. п. Как видно из примеров, здесь конструкция не производит самостоятельной лексической единицы, а лишь видоизменяет основное значение глагола, уточняет его с точки зрения интенсивности.

Данная модель образования интенсивных глаголов является сравнительно продуктивной.

Интенсивные глаголы образуются также морфологически — посредством специальных аффиксов. Сюда относятся аффиксы *-һыра* || *-һерә* и *-(ы) нҡыра* || *-(э) нкерә*. Первый из этих двух аффиксов (*-һыра* || *-һерә*) выражает крайне слабую степень проявления обозначенного основой глагола действия. Он распространяется на ограниченное число основ, как *көлөү* «смеяться», *йоҡлау* «спать», *көлөмһөрәү* «улыбаться», *йоҡомһорау* «дремать» и т. д. Второй из указанных аффиксов обозначает частичное

проявление действия и, по сравнению с первым, дает значительно больше образований: *әйләнеү* «повернуться», *әйләненкерәү* «чуть повернуться» и т. п.

Глаголы законченного действия

Данные глаголы, выражающие не столько само действие, сколько полное развитие и развязку его, образуются путем сочетания основного глагола в форме деепричастия на *-п* со спрягаемым служебным глаголом, по лексическому содержанию близким к характерному оттенку глаголов законченного действия. Такой модуляции обычно могут быть подвергнуты только основы, лишенные значения совершенного вида. Основные модели их образования исчерпываются следующим перечнем.

1. Сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *бөтөү* «кончать», придающим первому значение полной развязки (это значение в русском языке привносится посредством префиксов *вы*,- *из*-, *до*-, *пере*-: *ашап бөтөү* «доедать», *төҙөп бөтөү* «выстроить», *эсеп бөтөү* «допить» и т. п.). Как видно из приведенных примеров, значение основного глагола здесь существенного изменения не претерпевает, а лишь дополняется, уточняется с точки зрения развязки действия. Однако возможность войти в сочетание в целях такого уточнения всецело определяется лексико-семантической природой компонентов, вернее основного глагола; здесь можно наблюдать иногда степень лексикализации, выходящую за пределы задачи создания глаголов законченного действия, т. е. затрагивающую качество семантики основного глагола. В самом деле, образования типа *интегеп бөтөү* «измучиться» от *интегеү* «мучиться», *йөҙәтеп бөтөү* «докучать» от *йөҙәтеү* «надоедать», *буялып бөтөү* «вымазаться» от *буйау* «красить», *сатнап бөтөү* «растрескаться» от *сатнау* «треснуть», *боҙолоп бөтөү* «портиться», «испортиться» от *боҙоу* «нарушать», «разрушать», «портить», *тураклап бөтөү* «искрошить» от *турау* «разрезать» и т. п. помимо приобретенного ими благодаря сочетанию оттенка законченного действия заключают в себе также изменение семантики основного глагола, а образования типа *тотоп бөтөү*, *тотоп бөтөрөү* «израсходовать» от *тотоу* «ловить, поймать» представляют собой вполне самостоятельные лексические единицы с качественно новой семантикой, т. е. оттенок значения перерастает в основное значение.

2. Сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *сығыу* «выходить», придающим первому значение полного развития действия. Приобретаемый здесь основным глаголом оттенок соответствует значению русских префиксов *про*- и *вы*-: *kарап сығыу* «просмотреть», *уkып сығыу* «прочитать» и т. п. Помимо этого значения спрягаемый глагол *сығыу* придает основному глаголу самые разнообразные оттенки, дифференцирует его семантику, часто до отделения. Примеры: *уйлап сығарыу* «выдумать, сконструировать» (ср. *уйлау* «думать,

мыслить»), *ҡайнап сығыу* «вскипеть» (*ҡайнау* «кипеть»), *барып сығыу, килеп сығыу* «забрести» (*барыу* «ехать, идти», *килеү* «прибыть, приехать»), *булып сығыу* «оказаться» (вопреки ожиданию) от *булыу* «быть, стать, становиться» и т. д. Данная модель образования глаголов законченного действия особенной продуктивностью не отличается.

3. Сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *етеү* «достигать», привносящим оттенок полного развития, достижения предела действия. Приобретаемое благодаря сочетанию значение основного глагола соответствует семантике русского префикса *до-*: *барып етеү* «доехать» (*барыү* «ехать, идти»), *килеп етеү* «прибыть, дойти» (*килеү* «приехать»), *ҡыуып етеү* «догонять» (*ҡыуыу* «гнать»), *өлгөрөп етеү* «дозреть» (*өлгөрөү* «успеть, зреть»), *уйлап еткереү* «додумать, продумать» и т. п. Как можно наблюдать из примеров, и данная модель может производить образования с новой дифференцированной семантикой (ср. последние производные основы с их исходной формой) По сравнению с предыдущей данная модель является более продуктивной. Таковы основные виды образования глаголов законченного действия.

К числу глаголов законченного действия можно отнести также глаголы с оттенком однократности или мгновенности, которые образуются в башкирском языке по следующим образцам:

1. Сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *алыу* «брать», сообщающим здесь значение немедленной развязки действия в интересах деятеля: *яҙып алыу* «записать» (*яҙыу* «писать»), *ашап алыу* «поесть, закусить» и т. п. Здесь бывают образования, которые могут быть рассмотрены как совершенно самостоятельные лексические единицы[1]. Примеры: *һатып алыу* «купить» (ср. *һатыу* «продать»), *отоп алыу* «научиться, запомнить, выучить» (*отоу* «выиграть»), *тотоп алыу* «схватить» (*тотоу* «поймать, ловить, держать») и т. д. Данная модель образования интенсивных глаголов является в башкирском языке довольно продуктивной, хотя и здесь возможность войти в сочетание со спрягаемым глаголом в указанных целях определяется всецело лексико-семантической природой основного глагола.

2. Сочетание основного глагола в форме на *-п* со спрягаемым глаголом *ҡуйыу* «положить, класть», придающим первому оттенок внезапного проявления и развязки действия: *яҙып ҡуйыу* «записать» (ср. *яҙыу* «писать»), *элеп ҡуйыу* «повесить, вешать» (ср. *элеү* «подцепить») и т. д. Образования данной модели иногда имеют совершенно самостоятельную новую семантику (ср., с одной стороны, *әйтеп ҡуйыу* «предупредить заранее», с другой — *әйтеү* «сказать, говорить»). Но число образований

---

[1] При помощи служебного глагола *алыу* сложные глагольные лексемы новой дифференцированной семантикой получаются также в том случае, когда основной глагол стоит в форме деепричастия на *-а* ‖ *-й*: *күрә алмау* «ненавидеть» (ср. *күреү* «видеть, смотреть» *булдыра алыу* «справляться» (ср. *булыу* «стать, становиться, быть») и т. п.

с новой семантикой незначительно. Вообще же образований с *kуйыу* довольно много.

Когда необходимо еще более подчеркнуть момент внезапности или быстроты совершения действия, употребляется частица *та* (*тә*) || *да* (*дә*) || *ла* (*лә*) (вставляется между компонентами словосочетания). При этом основной глагол ставится в той же форме, что и модулирующий, тогда как в иных случаях он неизменно фигурирует в форме на *-п* — *пуkты ла kуйҙы* «она (он) взяла да ударила», *юғала ла kуя* «исчезает» (внезапно) и т. п.

3. Сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *биреү* «давать», который здесь придает значение полного развития и развязки действия в пользу какого-нибудь лица или по поручению: *яҙып биреү* «написать для кого-то», *һөйләп биреү* «рассказать», *һанап биреү* «сосчитать для кого-то по поручению» и т. п. Указанное значение приобретается лишь в том случае, если основной глагол является переходным и активным. В связи с последним обстоятельством данная модель дает очень ограниченное число образований.

4. Сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *ташлау* «бросать», который сообщает значению первого оттенок легкой и быстрой развязки действия: *һөрөп ташлау* «вспахать», *көрәп ташлау* «отгрести» и т. п. Когда основной глагол заключает в себе указание на предел или результативность, сочетание в целом приобретает самые различные смысловые оттенки: *быуып ташлау* «задушить», *һыҙып ташлау* «вычеркнуть», *сығарып ташлау* «вышвырнуть», *йыртып ташлау* «разорвать», *әйтеп ташлау* «ляпнуть» и т. д. Данная модель продуктивностью не отличается.

Глаголы достижения конца действия

Эти глаголы образуются сочетанием основного глагола в форме деепричастия с определенными спрягаемыми глаголами, придающими основному значению оттенок постепенно нарастающего (поступательного) приближения конца, развязки действия. Такой модуляции может быть подвергнуто ограниченное число непереходных глаголов, большей частью выражающих состояние. В качестве спрягаемого служебного глагола здесь выступает или *барыу* «идти, ехать», или *килеү* «прийти, приехать», которые ныне различаются в пределах данной конструкции только при глаголах пространственного перемещения; в применении к последним глагол *барыу* помимо указанной функции обозначает направление движения от говорящего, *килеү* — к говорящему: *төшөп бара* «он (она) спускается вниз» (по направлению от говорящего), *төшөп килә* «он (она) спускается вниз» (по направлению к говорящему). Ср. также *үҫеп бара* || *үҫеп килә* «растет», *бешеп бара* || *бешеп килә* «дозревает, доваривается», *боҙолоп бара* || *боҙолоп килә* «портится», *kуйырып бара* || *kуйырып килә* «сгущается» и т. п.

Начинательные глаголы

Начинательные глаголы обозначают завязку действия. Они образуются при посредстве сочетания основного глагола в форме деепричастия с определенными спрягаемыми глаголами, сообщающими значению первого оттенок завязки, начала действия.

Имеется несколько моделей образования начинательных глаголов, которые по своему строению могут быть разделены на две группы.

1. Начинательные глаголы, при образовании которых основной глагол ставится в форме деепричастия на *-а* (*-й*).

Сюда относится особая форма начинательных глаголов, представляющая собой сочетание деепричастия на *-а* || *-й* со спрягаемым глаголом *тороу* «стоять», который привносит значение предварительности завязки в ожидании другого действия: *укый тор* «читай пока», *бара тор* «иди пока» и т. д. По данной модели потенциально может быть образован начинательный глагол от любой основы.

2. Начинательные глаголы, при образовании которых глагол ставится в форме деепричастия на *-п*.

Данный разряд начинательных глаголов помимо формального различения (образуются только с помощью формы *-п*) отличается от предыдущих тем, что указывает на интенсивность протекания действия. Поэтому правомерно называть эти глаголы начинательно-интенсивными.

Здесь прежде всего нужно указать на такую модель, которая представляет собой сочетание основного глагола со спрягаемым — *ебәреү* «пустить, отпустить». Последний привносит сюда значение форсированного приступа к действию, если лексическое содержание основного глагола не имеет указания на предел (в противном случае указанного значения не бывает; ср. *йотоу* «проглотить» и *йотоп ебәреү* «заглотнуть»): *йырлап ебәреү* «запеть», *һыҙғырып ебәреү* «засвистеть», *асып ебәреү* «раскрыть», *яғып ебәреү* «затопить» и т. п. Начинательные глаголы по данной модели образуются только от ограниченного числа активных глагольных основ. Отдельные образования подвергаются сильной лексикализации (ср., с одной стороны, *ҡыуыу* «гнать», с другой, *ҡыуып ебәреү* «отпугнуть, отогнать»).

Другая модель образования интенсивно-начинательных глаголов — это сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *китеү* «уходить», обозначающим начало нового качества в ходе проявления действия, часто с указанием на внезапность его возникновения или интенсивность. Примеры: *ағарып китеү* «побледнеть» (*ағарыу* «белеть»), *ҡабынып китеү* «вспыхнуть» (*ҡабыныу* «загореть»), *уянып китеү* «проснуться», *асылап китеү* «раскрыться», *ҡыҙып китеү* «разгорячиться», *һиҫкәнеп китеү* «встрепенуться», *ҡушылып китеү* «соединиться, слиться», *осҡонланып китеү* «заискриться», *ҡайтып китеү* «уходить, уехать» и т. п. Как видно из примеров, отдельным образованиям с *китеү* нельзя отказать в самостоятельности их семантики.

Третью модель начинательных глаголов представляет собой сочетание основного глагола в форме деепричастия на *-п* со спрягаемым глаголом *ҡарау* «смотреть», имеющим здесь назначение обозначать пробную завязку действия: *яҙып ҡарау* «попробовать писать», *алып ҡарау* «попробовать брать», *тырышып ҡарау* «попробовать быть старательным, постараться», *һорап ҡарау* «попробовать, спросить, узнать», *һынап ҡараү* «попробовать, испытать предварительно» и т. п.

Глаголы длительного действия

Глаголы длительного действия образуются сочетанием основного глагола в форме деепричастия на *-п* с определенным спрягаемым глаголом, при помощи которого обозначаемое первым глаголом действие представляется непрерывно длительным.

Глаголы длительного действия могут быть произведены при помощи одной из следующих четырех моделей.

1. Сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *йөрөү* «ходить, двигаться», который обозначает: а) непрерывную длительность действий основного глагола безотносительно к развязке (при условии, если в семантике основного глагола нет указания на предел или результативность, т. е. если глагол не относится к совершенному виду): *уҡып йөрөү* «учиться«, *эшләп йөрөү* «работать» и т. д.; б) эпизодическую длительность при глаголах, заключающих в себе оттенок результативности или предела, т. е. имеющих значение совершенного вида: *ҡайтып йөрөү* «приезжать» (от случая к случаю), *һайлап йөрөү* «выбирать» и т. п. Данная модель используется обычно с глаголами, выражающими активное (сознательное) действие.

2. Сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *тороу* «стоять». Здесь благодаря последнему основным глаголом приобретается значение: а) непрерывной длительности (если основной глагол не связан с обозначением результативности или предела, т. е. совершенного вида): *яныш тороу* «гореть», *уйлап тороу* «думать» и т. п.; б) эпизодической длительности (если основной глагол по своему лексическому содержанию относится к числу результативных или обозначающих предел): *өҫтәп тороу* «подбавлять», *йотоп тороу* «проглатывать», «иметь обыкновение проглатывать», *ишетеп тороу* «слышать» (эпизодически) и т. п. В зависимости от лексико-семантической природы основного глагола при этом наблюдается иногда еще более значительная лексикализация: ср. *биреү* «давать» и *биреп тороу* «занять», *тороу* «стоять» и *тороп тороу* «подождать», *ҡарау* «смотреть» и *ҡарап тороу* «наблюдать», «присматривать», *яҙыу* «писать» и *яҙып тороу* «записывать» и т. п.

3. Сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *ятыу* «лежать», который также придает значение непрерывной длительности безотносительно к развязке: *уҡып ятыу* «читать», *яҙып ятыу* «писать», *эшләп ятыу* «работать» и т. п.

4. Сочетание основного глагола со спрягаемым глаголом *ултырыу* «сидеть», имеющим здесь назначение, аналогичное предыдущему служебному глаголу (см. п. 2): *яҙып ултырыу* «писать», *ағып ултырыу* «течь», *эшләп ултырыу* «работать», *янып ултырыу* «гореть» и т. п.

5. Сочетание деепричастия на *-а* (*-й*) со спрягаемым глаголом *биреү* «давать», привносящим здесь значение отсрочки в развязке (иногда с указанием усиления действия, обозначенного основным глаголом действия). Примеры: *йәшәреү* «молодеть», *йәшәрә биреү* «помолодеть»; *ҡыуыу* «гнать», *«ҡыуа биреү* «погонять»; *ҡайнатыу* «кипятить», *ҡайната биреү* «покипятить»; *киптереү* «сушить», *киптерә биреү* «подсушить еще»; *үткенләү* «точить», *үткенләтә биреү* «подточить еще»; *барыу* «идти, ехать», *бара биреү* «продолжать идти; ехать, несмотря ни на что»; *ашау* «кушать», *ашай биреү* «продолжать есть, несмотря ни на что» и т. п. Нужно заметить, что данная модель является сравнительно продуктивной. Ее образования, как видно, в своем значении несколько расходятся: если основной глагол содержит в своей семантике указание на предел, результативность, то им приобретается здесь значение «еще» (ср. *киптерә бир* «подсуши еще» и т. п.); кроме того, некоторые глаголы, заключающие в себе выражение непрерывной длительности, помимо указанного оттенка, приобретают здесь также оттенок, отмеченный при последних двух примерах (продолжать совершение действия, ни с чем не считаясь).

Глаголы кратного действия

Глаголы данного разряда выражают эпизодичность и раздробленность действия во времени.

Они большей частью образуются аналитическим путем, т. е. при посредстве комбинации основного глагола, взятого в форме деепричастия, со спрягаемым глаголом, значение которого сводится здесь к обозначению соответствующего оттенка кратности или свойственности данного действия данному лицу. Однако, в отличие от некоторых тюркских языков, в башкирском, как и в татарском, они могут быть образованы также при помощи специальных аффиксов.

Аналитический способ образования глаголов кратного действия располагает в башкирском языке следующими моделями.

1. Сочетание основного глагола в форме деепричастия на *-а* || *-й* со спрягаемым глаголом *барыу* «идти, ехать», который здесь придает основному глаголу значение нарастающей повторности развертывающегося прерывного действия: *ала барыу* «продолжать брать», *һата барыу* «продолжать продавать» и т. п. В зависимости от значения основного глагола сочетание это может еще более дифференцировать значение последнего: ср. *оҙатыу* «провожать» и *оҙата барыу* «сопровождать, провожать»; *ҡуныу* «ночевать, приземлиться, садиться с лёта (о птицах)» и *ҡуна барыу* «идти, ехать с тем, чтобы ночевать» и т. п.

2. Сочетание основного глагола в форме деепричастия на *-п* с тем же самым спрягаемым глаголом *барыу*: *укып барыу* «подчитывать», *karап барыу* «просматривать», *яҙып барыу* «записывать» и т. п. Благодаря такому сочетанию основной глагол приобретает, с одной стороны, значение длительности, с другой — эпизодичности, кратности, прерывности. Однако образования данной модели указанное видоизменение своего значения получают лишь в том случае, если в своей семантической структуре не содержат указания на предел или результативность действия. В противном случае сочетание придает значение, указанное на стр. 373. Необходимо заметить, что образования с данным спрягаемым глаголом могут употребляться как в значении лексической единицы, так и в значении свободного словосочетания: ср. *яҙып барҙым* «я записывал», где выражаемое данной комбинацией слов понятие не вытекает ни из суммы компонентов, ни из семантики только одного из компонентов, а из структуры самого сочетания, т. е. такое сочетание правомерно рассматривать как одну лексическую единицу, где характер словосочетания нарушен, с другой, — *йырлап барҙым* «я шел, ехал, напевая», где комплекс слов носит характер свободного словосочетания, — каждый компонент приравнивается к члену предложения. В последнем случае деепричастие служит обстоятельством образа действия, выраженного вторым компонентом, который является сказуемым.

3. Сочетание основного глагола в форме деепричастия на *-п* со спрягаемым глаголом *килеү* «приходить, прибыть», который придает в пределах данной конструкции значение непрерывной длительности, повторяемости и обычности: *тикшереп килеү* «иметь обыкновение разбирать, допытываться», *әйтеп килеү* «иметь обыкновение предостерегать, предупреждать» и т. п. Сочетание имеет такое значение только при глаголах несовершенного вида. Если же основной глагол имеет значение совершенного вида, то спрягаемый глагол *килеү*, как и предыдущий (*барыу*), обозначает приближение развязки поступательно нарастающего действия (см. стр. 373). Степень расхождения значения основного глагола с исходной формой в пределах сочетания и здесь различна, как это можно наблюдать даже из приведенных двух примеров. Она и здесь зависит от семантической структуры компонентов.

Как уже говорилось, глаголы кратного действия в башкирском языке могут быть образованы также морфологически — при посредстве специальных аффиксов.

Сюда относится прежде всего аффикс

-ғыла ‖ *-ғола* *-kыла* ‖ *-kола*
-гелә ‖ *-гөлә* *-келә* ‖ *-көлә*,

который придает основе значение нерегулярной повторности, соответствующее русским глагольным формам «захаживаю, посматриваю, посматривал, пописываю» и т. п. Примеры: *булыу* «быть, стать, становиться», *булғылау* «побывать»; *йөткөрөү* «кашлять», *йөткөргөләү*

«покашливать»; *килеү* «приходить, приезжать», *килгеләү* «приходить время от времени», *кереү* «заходить, войти», *кергеләү* «захаживать»; *осрашыу* «встречаться», *осрашклау* «встречаться время от времени»; *сығыу* «выходить», *сыккалау* «повыхаживать, выходить время от времени» и т. д. При отдельных результативных глаголах переходного значения данная форма привносит оттенок раздробления объекта на части и соответствует русскому префиксу *рас-*: *ваткылау* «разбивать на части, разрушать» (беспорядочно), *ярғылау* «раскалывать», *телгеләү* «расщеплять на части» (вдоль), *киҫкәләү* «разрезать» и т. п.

Другой аффикс, при помощи которого образуются кратные глаголы, — это *-(ы) штыр* || *-(э) штер*, сообщающий значение раздробленности действия во времени и ослабление интенсивности его проявления: *буйау* «красить», *буяштыр* «подкрашивать», *карау* «смотреть, видеть», *караштыр* «посматривать (иногда)» и т. п. Из указанных двух оттенков в семантике данного аффикса доминирует последний (обозначение ослабленного беспорядочного проявления действия). Поэтому если необходимо подчеркнуть другую сторону его семантики (кратность, повторяемость), эта форма прибегает к помощи аффикса *-кыла*, с которым входит в сочетание: *караштырғыла* «посматривать, поглядывать время от времени», *эшләштергелә* «работать время от времени», *яҙғалаштыр* «пописывать изредка». Здесь благодаря сочетанию этих двух аффиксов основа глагола приобретает, с одной стороны, оттенок ослабленного проявления беспорядочного действия, с другой — значение раздробленности действия во времени.

Таков вкратце перечень лексико-семантических разрядов глагола, формы которых в одно и то же время имеют и лексическое и грамматическое значение. Такова вместе с тем сфера лексического значения описанных форм.

Грамматическое значение видовых форм

Переходя к обзору грамматического значения перечисленных форм, нужно заметить, что остальные видовые конструкции, причисляемые отдельными тюркологами тоже к видовым образованиям, к последним отношения не имеют: они или имеют исключительно словообразовательное назначение и лишены какого бы то ни было грамматического значения вида (имеются в виду структурный тип лексико-семантического разряда начинательных глаголов на *-а(й) башлау*, индивидуальные образования типа *бәреп йығыу* «свалить», *әйләндереп тегеү* «перелицевать», *осоп менеү* «взлетать» и т. п.) или представляют собой потенциальные, дезидеративные и другие модальные образования типа *әйтә яҙыу* «чуть не сказать», *әйтә күрмәү* «только бы не проговориться», *әйтеп калыу* «сказать, пользуясь случаем», *әйтә алыу* «мочь сказать, быть в состоянии сказать» и т. п. За вычетом всего этого другие формы действительно обладают и соответствующим лексическим значе-

нием, и грамматическим значением вида. Лексическое значение их, как это выше показано, сводится к уточнению характера протекания действия.

Наряду с этим значением, распределенным выше по рубрикам, все перечисленные формы обладают значением, которое не укладывается в рамки отдельного лексико-семантического разряда, а является общим для системы основ, следовательно, в известном смысле безразличным к лексическому содержанию основы. Это общее значение сказывается на системе спряжения глагола, и на нем строятся определенные правила словоизменения (см. стр. 378), которое, следовательно, является частью грамматической системы глагола. Речь идет о грамматическом значении совершенного вида, в основе которого лежит категорическое указание на предлог или результативность, или о коррелирующем с ним значении несовершенного вида, базирующегося на отсутствии указания на предел. Оно является грамматическим еще и потому, что приобретается посредством соответствующих форм, пронизывает всю глагольную систему и оказывает влияние на глагольное словоизменение (см. стр. 378).

Вне зависимости от принадлежности к тому или иному из перечисленных выше лексико-грамматических разрядов рассмотренные выше формы так или иначе обозначают один из видов — или совершенный, или несовершенный. В соответствии с этим одни формы сосредоточиваются вокруг значения совершенного вида, другие — вокруг значения несовершенного вида, образуя, таким образом, две группы форм.

Значение совершенного вида

Смысловое содержание в данном случае базируется в башкирском и в других тюркских языках на категорическом указании на предел или результативность действия, т. е. на признаке, не совместимом со значением настоящего времени. Поэтому одним из критериев рассматриваемого значения и здесь служит чисто грамматический признак — отсутствие настоящего времени.

Значение совершенного вида может быть представлено любой основой в одной из следующих форм.

Здесь прежде всего нужно указать на формы образования глаголов законченного действия (см. стр. 371). Эти формы все без исключения, т. е. сочетание основного глагола в форме деепричастия на *-п* со служебными глаголами *бөтөү*, *етеү*, *алыу*, *ҡуйыу*, *биреү*, *ташлау*, функционируют только в сфере совершенного вида. Это и понятно. В семантике глагола законченного действия внимание сосредоточено на полном развитии и развязке действия, причем все остальные фазы действия из поля зрения совершенно выпадают. А это всегда связано с указанием на предел действия и категоричность утверждения. Глаголы *эсеп бөтөү* «дописать», *ҡыуып етеү* «догонять», *отоп алыу* «выучить, запомнить», *яҙып ҡуйыу* «записать», *һанап биреү* «сосчитать», *һыҙып ташлау*

«вычеркнуть» и т. п. потому и выражают полное развитие и развязку действия, что заключают в себе указание на предел и категоричность. Глаголы законченного действия немыслимы вне значения совершенного вида.

Значение совершенного вида имеют, далее, так называемые начинательно-интенсивные глаголы, образующиеся по описанным на стр. 374—375 моделям (сочетание основного глагола в форме деепричастия на *-п* со служебными глаголами *ебәреү*, *китеү*, *ҡарау*). Эти глаголы обозначают, с одной стороны, момент достижения результата с самого начала действия, с другой — предел, включающий иногда не только отправной, но и заключительный пункты в развитии данного действия (ср. *ҡабынып китеү* «вспыхнуть», *ҡыуып ебәреү* «отпугнуть», *уяныр китеү* «проснуться», *яҙып ҡарау* «попробовать писать» и т. п.). Этим и обусловлено то, что и интенсивно-начинательные глаголы обозначают совершенный вид.

В группу форм, имеющих значение совершенного вида, входит также модель образования интенсивных глаголов, представляющая собой сочетание основного глагола в форме деепричастия на *-а(-й)* со служебным глаголом *төшөү* (см. стр. 370), поскольку и она связана с обозначением предела или результативности (там же): *бөгә төшөү* «подгибать», *өҫтәй төшөү* «подбавить» и т. п.

Помимо аналитических форм значение совершенного вида имеют также некоторые синтетические формы внутриглагольного словообразования, заключающие в себе указание на предел или результативность действия. Сюда относится форма страдательного залога при отдельных словах. Ср., с одной стороны, индифферентные в видовом отношении основы *киҫ* «резать», *ал* «брать», с другой — функционирующие только в совершенном виде образования *киҫелеү* «быть резанным», *алыныу* «быть взятым». Сюда же относится форма понудительного залога от отдельных непереходных по своей первичной семантике глаголов результативного характера, как *үл* «умирать» (ср. *үлтер* «убить»), *ят* «ложиться» (ср. *ятҡыр* «положить»).

Перечисленные формы не распространяются на основы, по своему лексическому значению обозначающие совершенный вид. Таких основ в башкирском языке довольно много. Среди них нужно указать прежде всего на целые группы, которые образованы по определенной словообразовательной модели, т. е. на целые лексико-грамматические разряды. Таковы, например, все образования, представляющие собой сочетание именной основы, взятой в неопределенном падеже, со служебным спрягаемым глаголом *булыу*: *харап булыу* «пропасть», *бәлиғ булыу* «стать совершеннолетним», *ғашиҡ булыу* «влюбиться», *риза булыу* «согласиться» и т. д. Таков, далее, лексико-грамматический разряд, представляющий собой сочетание именной основы в неопределенном падеже со спрягаемым служебным глаголом *сығарыу*: *тауыш сығарыу* «учинить скандал, шум», *һуғыш сығарыу* «учинить драку, бой», *ут сығарыу* «учинить пожар» и т. п.

Таковы, как правило, образования, представляющие собой сочетание именной основы — косвенного дополнения в дательно-направительном или исходном падеже — с самыми различными служебными глаголами: *уйға ҡалыу* «приуныть», *уйға сумыу* «призадуматься», *кейәүгә сығыу* «выйти замуж» (ср. *кейәүгә барыу* «выходить замуж»), *ҡулға алыу* «арестовать», *йөккә ҡалыу* «забеременеть», *башҡа сығыу* «выделиться из семьи родных», *көлкөгә ҡалыу* «стать посмешищем», *юҡҡа сығыу* «пропасть», *аҡылға ултырыу* «стать разумным, мудрым», *утҡа тотоу* «бомбить», *тәртипкә индереү* «дисциплинировать», *һуштан яҙыу* «потерять сознание», *аҡылдан яҙыу* «помешаться», *иҫтән сығыу* «забыть», *эштән сығыу* «выбиться из сил» и т. д. Таковы, наконец, некоторые образования, которые содержат указание на предел и результативность действия и представляют собой сочетание имени и глагола, базирующегося на отношениях подлежащего и сказуемого: *баш ҡатыу* «призадуматься, приуныть», *ҡүҙ бәйләнеү* «смеркаться», *ҡот осоу* «оробеть, испугаться», *ҡарын асыу*, *ҡорһаҡ асыу* «проголодаться», *ҡот алыныу* «испугаться», *төҫ китеү* «бледнеть» и т. д.

Кроме того, есть отдельные глаголы вне этих лексико-семантических разрядов, выражающих совершенный вид. В лексическом содержании этих глаголов заключен оттенок результативности, предела, достижение чего и является естественным завершением данного действия. Например, в глаголах *кипсәлеү* «увязнуть», *арыныу* «вырваться, избавиться», *йотоу* «проглотить», *һытыу* «раздавить», *һүнеү* «погаснуть», *тоноу* «отстояться, заглохнуть», *бушау* «освободиться», *сүк* «припасть, стать на колени», *төйөлөү* «подавиться», *йүнәлеү* «направиться, привести в порядок, поправиться» и т. д. Здесь пределом действия является результат действия, поэтому форма настоящего времени применительно к этим глаголам обозначает действие, происходящее не в момент упоминания о нем, а долженствующее произойти в будущем; ср. *кипсәләм* «увязну», *кипсәләһең* «увязнешь», *кипсәлә* «увязнет», *кипсәләбеҙ* «увязнем», *кипсәләһегеҙ* «увязнете», *бушаймын* «освобожусь», *бушайһың* «освободишься», *бушай* «освободится» (но в 3-м л. данный глагол, как и некоторые другие результативные глаголы, может обозначать также и несовершенный вид, если имеется соответствующий контекст, сообщающий значение обычности данного действия для субъекта), *бушайбыҙ* «освободимся», *бушайһығыҙ* «освободитесь» и т. п.

Значение несовершенного вида

Несовершенный вид в башкирском языке обозначает действие в его развитии безотносительно к результативности, пределу.

Он представлен в формах, образующих дуративные глаголы от обычных основ (см. стр. 375). Обозначение действия непрерывно длительным, составляющее основную функцию данных форм, исключает возможность

передачи ими признака предела, результативности и категоричности. Поэтому они функционируют исключительно в сфере несовершенного вида. Ср., с одной стороны, нейтральные в видовом отношении основы *уҡы* «учиться», *һайла* «выбирать», *еҫтә* «добавлять», *эшлә* «работать», с другой — функционирующие в сфере несовершенного вида дуративные образования от этих основ — *уҡып йөрөү* «учиться» (непрерывная длительность), *һайлап йөрөү* «выбирать» (эпизодическая длительность), *өҫтәп тороу* «подбавлять» (длительность плюс кратность), *эшләп ятыу* «работать» (неопределенная длительность), *яҙып ултырыу* «писать» (неопределенная длительность) и т. п.

Несовершенный вид представлен, далее, формами, имеющими назначение образовывать кратные глаголы (см. стр. 376). Значение нарастающей повторности развертывающегося прерывного действия (*ала барыу* «брать», *һата барыу* «продавать»), кратности длительного, постоянного и прерывного действия (*тикшереп килеү* «иметь обыкновение разбирать, допытываться»), нерегулярной повторности (*кергеләү* «захаживать», *осрашҡылау* «встречаться время от времени») и т. п., которые привносятся формами кратных глаголов, несовместимо с признаками совершенного вида. Поэтому кратные глаголы функционируют только в пределах несовершенного вида.

Несовершенный вид представлен также сочетанием основного глагола в форме деепричастия на *-п* со спрягаемым служебным глаголом *барыу* или *килеү*. Ср., с одной стороны, индиферентные в видовом отношении основы *төшөү* «спускаться», *боҙолоу* «портиться», с другой — образованные от них посредством указанного сочетания глагольные лексемы со значением достижения конца действия *төшөп бара* — «он (она) спускается» (по направлению от говорящего), *төшөп килә* «он (она) спускается» (по направлению к говорящему), *боҙолоп бара* «портится» и т. д. Здесь при помощи соответствующего оформления основы *төшөү* и *боҙолоу* приобретают значение постепенно нарастающего приближения конца, развязки действия, причем центр внимания с самогó действия переносится на его развертывание, как приготовление к достижению развязки. Тем самым данные основы лишаются возможности обозначать действие как предельное и в связи с этим функционируют только в сфере несовершенного вида, не имеют будущего времени, а в плане прошедшего могут быть представлены только в прошедшем незаконченном (они не совместимы со значением так называемого прошедшего категорического). Таковы все глаголы достижения конца действия (см. стр. 373). Поэтому их форма в одно и то же время служит как для образования «достигательных» глаголов, так и для обозначения несовершенного вида.

Несовершенный вид представлен, кроме того, сочетанием деепричастия на *-а* (*-й*) со спрягаемым глаголом *биреү*. Благодаря такой структуре на передний план выдвигается констатация отсрочки развязки действия на неопределенное время, а обозначение самогó дей-

ствия, представленного в основном глаголе, из поля зрения выпадает. Этим и обусловлено то обстоятельство, что данная конструкция функционирует только в сфере несовершенного вида.

Несовершенный вид представлен также сочетанием основного глагола в форме деепричастия со спрягаемым служебным глаголом *тороу*, который, как уже отмечалось выше (см. стр. 374), привносит в данном случае в основу глагола значение предварительной завязки действия в ожидании другого действия, вне всякого отношения к развязке, пределу и результативности. В силу последнего обстоятельства данная конструкция функционирует исключительно в пределах несовершенного вида. Ср. *яҙыу* «писать» и *яҙа тороу* «писать» (пока).

Для обозначения несовершенного вида, как и совершенного, привлекаются также отдельные формы залога. Несовершенный вид может быть выражен аффиксом страдательного залога *-н*, если последний имеет назначение выражать абстрактное действие типа «человек умирает однажды». В этом примере не имеется в виду определенный случай проявления данного действия (смерти). Здесь глагол выражает отвлеченное действие, имеющее общее значение и выведенное путем умозаключения из множества единичных действий, которые сходны между собой в каком-то существенном отношении. Такого рода отвлеченные действия не представляются совершающимися в известных хронологических или пространственных пределах. Поэтому присоединение к основе глагола показателей, связанных с категорией отвлеченных действий, в данном случае аффикса *-н*, превращает эту основу не только в отвлеченный глагол, но и в несовершенный вид. Ср., с одной стороны, индиферентные в видовом отношении основы *һелтәү* «махать», *һөйләү* «говорить», с другой — абстрактные образования от этих основ *һелтәнеү* «иметь обыкновение махать», *һөйләнеү* «иметь обыкновение говорить», которые имеют значение несовершенного вида.

Такое же абстрактное значение сообщает иногда глагольным основам и аффикс совместно-взаимного залога *-ш*, который в данном случае также обозначает несовершенный вид. Так, глагол *урлау* «воровать» при присоединении данного аффикса приобретает значение несовершенного вида (*урлашыу*). При этом аффикс *-ш*, как и аффикс *-н*, в приведенном примере (*һелтән*), вовсе не имеет залогового значения, а выражает собой исключительно видовое содержание данной основы, оставаясь совершенно безотносительным к ее лексическому содержанию. Таким образом, вид здесь имеет характер чисто грамматической категории. Во всяком случае лексическое значение данных основ имеет расхождение, едва ли более значительное, чем это имеет место между такими русскими соотносительными видовыми парами, как *сделать* — *делать*, *решить* — *решать*, которые рассматриваются обычно как формы одного слова.

Такова система форм, имеющих в башкирском языке значение несовершенного вида.

Эти формы охватывают всю глагольную систему, исключая глаголы, перечисленные ниже. Любая глагольная основа в одной из этих форм может получить значение несовершенного вида. Поскольку каждая из этих форм выражает несовершенный вид, то при этом обычно пользуются только одной из них. Так, основы, при которых значение несовершенного вида выражено посредством формы на *-н*, принципиально не допускают присоединения других форм несовершенного вида, что свидетельствует об эквивалентности данных форм при выражении значения несовершенного вида.

Перечисленные формы распространяются на основы, уже по своему лексическому содержанию обозначающие несовершенный вид. В самом деле, основы *ерәнеү* «брезговать», *осоноу* «чваниться», *ҡыуаныу* «радоваться», *наҙланыу* «церемониться», *тартыныу* «стесняться», *көнләшеү* «ревновать», *иҫәпләшеү* «приветствовать», *ғәрләнеү* «быть шокированным, стыдиться», *ҡыйланыу* «представляться, кривляться», *шөғөлләнеү* «пользоваться», *дырылдау* «дребезжать», *шапылдау* «возиться», *дөбөрҙәү* «стучать», *ғырылдау* «храпеть», *лығырҙау* «тараторить», *ырылдау* «лаять», *ғыжылдау* || *апылдау* «запыхаться», *шыбырҙау* «шуршать», *шығырҙау* «скрипеть», *уфылдау* || *ухылдау* «охать», *пышырҙау* «фыркать», *төпҫөнөү* «допытываться», *ятһыныу* «ощущать чувство чуждого, незнакомого общества», *көрһөнөү* «вздыхать», *таңһыныу* «восхищаться», *юкһыныу* «тосковать, скучать», *ҡыҙғаныу* «жалеть, сочувствовать», *сиркәнеү* «неприятное ощущение, вызванное соприкосновением тела с водой ниже температуры человеческого тела», *мохтажлыкта йәшәү* «бедствовать», *дежур тороу* «дежурить», *ҡараул тороу* «караулить» и т. п. сами по себе обозначают несовершенный вид и именно поэтому не соединяются с формами, обозначающими несовершенный вид.

Поскольку соотносительные в видовом отношении глаголы образуются в грамматически организованном порядке и располагают грамматическими показателями в виде специальной конструкции или в виде аффиксов, которые наряду со словообразовательной функцией выступают в роли видообразующих элементов, совершенный и несовершенный виды, равно и их соотношение, являются грамматически выраженными и уже одним этим представляют собой объект грамматики.

Совершенный и несовершенный виды образуют в тюркских языках соотношение, грамматически выраженное только со стороны грамматического значения соответствующих видовых образований, в сопоставлении же с лексическими значениями видовых корреляций здесь соотносительности нет: одна и та же основа с показателем совершенного вида по отношению к соответствующему показателю несовершенного вида остается в лексическом отношении в известной мере самостоятельной, хотя и родственной семантически. Во всяком случае видовая корреляция получается здесь не в пределах одной и той же лексико-семантический единицы, а образуется соотносительностью значения двух сравнительно самостоятельных единиц. Как семантиче-

ские, так и грамматические признаки видовых различий находятся здесь в тесном и сложном взаимодействии с лексическим значением глагола и его строением, поскольку видовые показатели, как уже говорилось, представляют собой неотъемлемый структурный элемент целого. При таком положении вещей совершенный и несовершенный виды, конечно, не могут быть истолкованы как грамматические категории, следовательно, трактовать их нужно как лексические эквиваленты грамматической категории, тем более что ни об одной из форм их реализации нельзя сказать, что она употребляется с целью создания только соответствующего видового значения.

Однако такое заключение будет правомерным лишь в применении к одной, правда, наиболее распространенной форме обозначения вида, а именно — в отношении выражения вида посредством морфологизированных словосочетаний.

В применении же к другим формам выражения совершенности и несовершенности действия такое заключение будет по меньшей мере несправедливым. В самом деле, в целом ряде случаев видообразующая форма покрывает собой исключительно видовое содержание основ и является безотносительной к лексическому содержанию их. Значение вида помимо описанных способов может быть представлено, как это справедливо отметил Н. К. Дмитриев, также посредством отдельных форм времени. Так, в башкирском языке оно выражается при помощи формы прошедшего времени на *-а ине*, в пределах которой глаголом приобретается значение несовершенного вида вне всякой зависимости от лексического его содержания: ср., с одной стороны, индиферентные в видовом отношении основы *бар* «ходить, пойти», *тот* «ловить, поймать» и основы, имеющие значение совершенного вида *һүнеү* «потухнуть», *тәртипкә индереү* «дисциплинировать», с другой — *бара ине* «он (она) ходил (а), ездил (а)», *тота ине* «он (она) ловил (а), держал (а)», *тәртипкә индерә ине* «она имела обыкновение дисциплинировать, приводить в порядок», где значение несовершенного вида приобретается глаголом так, что переход данного глагола в сферу другого вида нисколько не связан с изменением лексического значения глагола. А ведь и в данном случае, и в других описанных выше аналитических формах выражения вида само значение вида совершенно одинаково.

Если к тому же иметь в виду, что:

1) система форм каждого из двух видов охватывает всю систему основ, исключая только глаголы, по своему лексическому содержанию имеющие значение данного вида;

2) на базе видовых данных строятся определенные грамматические правила (глаголы, имеющие значение совершенного вида, не имеют настоящего времени и выражают будущее время, в отличие от глаголов несовершенного вида, формами настоящего времени; будущее на *-сак* образуется по преимуществу от глаголов совершенного вида и т. п.);

3) совершенный и несовершенный виды выражены, главным образом, посредством способов, во всяком случае относящихся к числу грамматических;

4) грамматические категории развиваются из лексических и, как правило, охватывают в той или иной степени лексический материал по крайней мере на начальном этапе своего развития;

5) «... разные грамматические категории обнаруживают разные степени абстрагированности от частного и конкретного»[1], то выяснится, что совершенный и несовершенный виды являются неоспоримой частью грамматической системы тюркского глагола и представляют собой лексико-грамматическую категорию.

Это первый вывод. Подводя итог ходу других рассуждений, можно сделать и второй.

Из всего многообразия аналитических и аффиксальных образований, трактуемых в башкироведческой литературе как образования видовые, к последним имеют отношение только те, которые служат, с одной стороны, для лексико-семантического уточнения основы с точки зрения характера протекания действия (лексическое значение), с другой — для обозначения совершенности или несовершенности (грамматическое значение).

Все остальные формы, причисляемые обычно к видовым, являются или исключительно лексическими, или модальными.

Значение совершенности и несовершенности предста́влено в башкирском языке грамматически (посредством формы прошедшего на *-а ине*, морфологизированными словосочетаниями или аффиксами) и лексически (имеются в виду глаголы, односторонне функционирующие в пределах одного из этих двух видов). Формы, в которых представлен один из видов, охватывают в своей совокупности всю систему основ, исключая глаголы, имеющие по своему лексическому содержанию указание на данный вид или логически мыслимые в одном из видов.

---

[1] В. В. Виноградов. Значение работ И. В. Сталина для развития советского языкознания. «Материалы объединенной научной сессии, посвященной трудам И. В Сталина по языкознанию», стр. 44—45.

III

ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА

В. В. ВИНОГРАДОВ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(На материале русского языка)

I

Слова и словосочетания — по грамматическим правилам и законам, свойственным данному языку, — соединяются в предложения.

Конкретное содержание предложений не может быть предметом грамматического рассмотрения. Грамматика изучает лишь структуру предложения, типические формы предложений, присущие тому или иному общенародному языку в его историческом развитии.

Построение предложения — один из самых важных, самых существенных элементов грамматического строя языка. Грамматические формы предложения и его членов специфичны для отдельного языка или группы родственных языков. Изучая законы построения речи, в которой реализуется и выражается мысль, грамматика обычно кладет учение о предложении в основу синтаксиса. В истории предложения и связанных с ним грамматических категорий ярко сказываются основные внутренние законы развития того или иного конкретного языка. При общей устойчивости грамматического строя любого языка предложение, способы его построения и его господствующие формы являются наиболее устойчивыми элементами структуры языка. Они сохраняются в основном в течение ряда эпох.

Предложение — это грамматически оформленная по законам данного языка целостная (т. е. неделимая далее на речевые единицы с теми же основными структурными признаками) единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли. Язык как орудие общения и обмена мыслями между всеми членами общества пользуется предложением как основной формой общения. Правила употребления слов в функции предложений и правила соединения слов и словосочетаний в предложении — ядро синтаксиса того или иного языка. На основе этих правил устанавливаются разные виды или типы предложений, свойственные данному конкретному языку. В предложении выражается не только сообщение о действительности, но и отношение к ней говорящего.

Каждое предложение с грамматической точки зрения представляет собой внутреннее единство словесно выраженных его членов, порядка их расположения и интонации.

Предложение как главная грамматическая форма выражения и сообщения мысли в процессе общения сначала послужило основой для логического анализа суждения как формы мышления. Поэтому уже в античной грамматике теория предложения и теория суждения переплетались, а иногда и прямо смешивались. Это смешение отчасти выражалось и в том, что термин «предложение» (propositio, proposition, ср. нем. Satz), например, в русском языке долгое время служил для обозначения как суждения, так и формы его словесного выражения. На почве такого смешения, на основе античной теории предложения-суждения и была создана в XVII—XVIII вв. универсальная схема предложения и его членов, которая долгое время применялась для анализа предложений всех языков мира. В каждом предложении (нередко даже в безличном или бессубъектном), в отвлечении от его грамматической структуры, отыскивались путем чисто смысловых, логических соображений субъект (подлежащее), т. е. то, о чем идет речь, и предикат (сказуемое), т. е. то, что́ говорится о предмете речи, а затем объект или объекты (дополнение) — названия других предметов, кроме подлежащего, и атрибуты (определения). Из атрибутивных (определительных) и отчасти объектных слов позднее стали выделять обстоятельства, как члены предложения, обозначающие время, место, условие, цель, причину, образ и способ действия, а иногда также противоречащие или противодействующие факторы (обстоятельства уступки). Традиционная школьная теория предложения окончательно сложилась на основе логических учений о суждении в XVIII в.[1]

Логическое направление на Западе, опиравшееся на идеалистическую философию Канта и Гегеля и особенно тесно связанное с именем Беккера, пришло к полному отождествлению грамматических и логических категорий. Ф. Беккер развивал антиисторическое и космополитическое учение о едином для всех языков пути идеального развития строя предложения, подменяя внутренние законы развития языка законами и формами логики. По мнению Беккера, в языке логическая форма понятия и суждения (мысли) слита с грамматической формой. В связи с этим синтаксические отношения внутри предложения, которые Беккером отождествляются с логическими понятиями субъекта, предиката, атрибута и объекта, рассматривались им как метафизические «всевременны́е» категории и формы мышления «самополагающего духа».

Еще в начале XIX в. Бернгарди высказал мысль, что простое предложение так относится к периоду (к сложному предложению), как слово к простому предложению[2]. Эту мысль развил Герлинг, который различал среди частей сложного предложения (так называемых придаточных пред-

[1] См. историю развития учения о предложении у Б. Дельбрюка [B. Delbrück. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, Theil III. (K. Brugmann und B. Delbrück. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, Bd. V.) Strassburg, 1900, S. 406 и сл.] и у М. Н. Петерсона. Очерк синтаксиса русского языка. М.—Пг., 1923, стр. 28—29.

[2] См. A. F. Bernhardi. Anfangsgründe der Sprachwissenschaft. Berlin, 1805.

ложений) предложения существительные, прилагательные и наречия [1]. Эта классификация была затем усложнена и видоизменена путем приравнения разных видов придаточных предложений к членам простого предложения.

Так складываются параллельные теории простого предложения и его членов и сложного предложения, в котором от главного предложения зависят придаточные, выполняющие те же функции, что и члены простого предложения (функцию подлежащего, сказуемого, дополнения, определения и обстоятельства).

В нашей отечественной грамматике основы теории предложения, развиваемой в логико-грамматическом (и стилистическом) плане, были заложены М. В. Ломоносовым и углублены его учеником проф. А. А. Барсовым. Затем свой вклад в развитие учения о предложении внесли А. Х. Востоков, выдвинувший идею простого глагольного и составного глагольно-именного сказуемого, и особенно А. А. Потебня и А. А. Шахматов, разработавшие свои оригинальные теории предложения, законов изменений форм предложений в русском языке и определившие разнообразие типов простых предложений.

При господстве антиисторического логического подхода к анализу предложения задача синтаксиса простого предложения сводилась к тому, чтобы в любом предложении любого грамматического построения и любого языка отыскать подлежащее и сказуемое (главные члены предложения), а в случае распространенности предложения — также его второстепенные члены: дополнение, определение и обстоятельство. При этом характерные признаки отдельных типов предложения, своеобразие их структуры в том или ином общенародном, национальном языке, исторические изменения в составе предложения, особенности в формах и способах выражения отдельных членов, свойственные отдельным языкам и группам языков, — все это или совсем игнорировалось, или отходило на задний план. За норму и образец принимался идеальный «полный» тип предложения, наиболее близко подходящий по своему строю к схеме суждения (субъект, связка, предикат). Все «отклонения» от этого типа объяснялись «сокращениями» и «опущениями». Широко и необоснованно применялся принцип «подразумевания» недостающих до нормы и будто бы опущенных звеньев (или элементов), независимо от всякого обращения к контексту и ситуации. Даже в каждой реплике диалогической речи восстанавливались «опущенные» члены предложения. Например, в отрывке из «Пиковой дамы» Пушкина: *«— Случай! — сказал один из гостей. — Сказка! — заметил Германн»* — восклицательные предложения *Случай!* и *Сказка!* должны были «разбираться» так: *это* (подлежащее) *был* (связка) *случай* (сказуемое); по такой же схеме осмыслялся грамматический состав и предложения *Сказка!* Таким образом, мысль отрывалась от слов, предполагалось наличие мыслей без слов. Предложение выступало как суждение в речи; предполагаемое тождество предложения с суждением не

[1] S. H. A. Herling. Ueber die Topik der deutschen Sprache. Frankfurt, 1821.

колебалось даже от признания второстепенных членов предложения, которых не знает и не изучает логика. Все модальные (например, вопросительные, побудительные) и все эмоциональные типы предложений приводились к одному знаменателю предложения-суждения.

Даже после выхода в свет труда А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике» [1] проф. И. А. Бодуэн де Куртенэ, рецензируя работы К. Аппеля по польскому языку, вынужден был признать: «. . . до сих пор никто еще не пробовал делать синтаксические исследования без схоластической подкладки, состоящей в смешении грамматики с логикою и в навязывании языку того, что в нем не в состоянии открыть даже самый строгий анализ, и что, стало-быть, в нем вовсе не полагается» [2]. Отголоски смешения предложения с суждением, грамматического подлежащего и сказуемого с логическим субъектом и предикатом долгое время продолжали жить в русской грамматике, особенно школьной.

Однако уже с 70—80-х годов XIX в. у нас начинается интенсивная языковедческая работа, направленная на определение специфических качеств предложения и его конкретных синтаксических форм, свойственных грамматическому строю русского языка в его историческом развитии. Господствовавшие тогда в буржуазной науке идеалистические теории соотношения языка и мышления приводили некоторых наших языковедов к идее о необходимости полного отрыва грамматики от логики, учения о предложении от теории суждения. А. А. Потебня, стремясь к свободным от логического априоризма, чисто грамматическим, как он полагал, исследованиям народного русского языка, полемически заявлял, что грамматика не ближе к логике, чем какая-нибудь другая наука.

В этом отношении А. А. Потебня разделял предрассудки современного ему идеалистического психологического направления в языкознании, отрицавшего самую возможность постановки вопроса о соотношении грамматики и логики, грамматических и логических категорий. «Языковые и логические категории, — писал в то время Штейнталь, — являются несовместимыми понятиями, которые соотносятся друг с другом, как понятия круга и красного. . .» [3]. Впрочем, отрицание всякой связи грамматики с логикой не помешало А. А. Потебне учитывать взаимодействие и связь грамматических категорий и категорий мышления, хотя бы и в идеалистическом аспекте. Ценность работы А. А. Потебни в области изучения исторического синтаксиса русского языка заключается в том, что, считая тип глагольного предложения с именительным падежом существительного, обозначающего субъект действия, для русского языка (так же как и для других славянских и — шире — индоевропейских языков) основным и цен-

---

[1] А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, т. I. Воронеж, т. II. Харьков, 1874.

[2] «Филологические записки», Воронеж, вып. V, 1880, стр. 8—9 (четвертой пагинации).

[3] H. Steinthal. Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Principien und ihr Verhältniss zu einander. Berlin, 1855, S. 221—222.

тральным, А. А. Потебня указал на взаимодействие этого глагольного типа предложения с именным (*NN княжил в Киеве* и *NN был князь* или *князем в Киеве*) и нарисовал общую картину изменений составного связочно-именного сказуемого.

В строе предложения, если подравнивать его со строем суждения, естественно, выделяются два члена: подлежащее, в котором ищут и часто находят соответствие субъекту суждения, и сказуемое, которое рассматривается как выражение предиката. Вместе с тем уже давно обратило на себя внимание то, что в русском языке, как и в других языках, принадлежащих к индоевропейской семье, конструктивно господствующий тип предложения сводится к схеме: форма именительного падежа имени существительного (или предметно-личного местоимения) и личная форма глагола (verbum finitum.) Например: *Весна наступает*, *Мальчик бегает*, *Птица летит*, *Деревья зеленеют*, *Трава растет*, *Уста жуют*, *Вода кипит*, *Ты ошибаешься*, *Я учусь* и т. п. Как доказал А.А. Потебня, с возникновением категории связки или «вспомогательного глагола» под несомненное воздействие этого глагольного типа подпал и тип именного предложения: *Орел — хищник*, *Соловей — певчая птица*, *Владимир был князь киевский* и т. д. На почве наблюдений над этим типом и сложилось учение об именном предложении с простым и составным именным сказуемым.

Факт исторического многообразия грамматических форм выражения сказуемого в русском языке был использован А. А. Потебней в его труде «Из записок по русской грамматике» (I—II) как доказательство антиисторичности логической унификации схем предложения и суждения. После работ А. А. Потебни стало ясно, что наивный, прямой перенос на предложение основных конструктивных признаков суждения неправомерен. Такое смешение ведет к логической униформации всех типов предложения, мешает увидеть в предложении его национально-языковую специфику, его жизненные экспрессивные субъективно-речевые краски и грамматические своеобразия.

Для логики даже в глагольном типе номинативного предложения не существенны основные грамматические категории времени, лица и наклонения, определяющие структуру предложения. Логика сводит к нескольким обобщенным общечеловеческим схемам все живое многообразие типов предложения, резко отличающихся друг от друга в разных языках мира. Грамматика же рассматривает формы синтаксического выражения мысли, чувства и воли во всех особенностях их конкретного речевого строения, типичных для грамматического строя отдельных языков и их групп (семей), и предложение как предмет грамматического изучения обладает значительно бо́льшим количеством специфически выраженных народно-языковых признаков, чем общечеловеческая форма логического суждения. Анализ основных грамматических категорий, обнаруживающихся в строе предложения и определяющих его, например, категорий времени, модальности, предикативного сочетания слов и т. д., показывает специфику предложения, его коренные отличия

от суждения, несмотря на тесную связь с ним. Суждение не может существовать вне предложения, которое является формой его образования и выражения. Но если суждение выражается в предложении, то это еще не значит, что назначение всякого предложения — выражать только суждение.

Тип предложения не остается неподвижным. Он может иметь разные варианты, которые возникают на основе видоизменения и последующего абстрагирования тех или иных составных частей предложения, на основе обогащения и совершенствования его структуры. Так, исторически сложившаяся структура именного двусоставного (или двучленного) предложения прежде всего варьируется в зависимости от состава сказуемого, которое может быть выражено разными именными категориями (существительным, прилагательным, числительным, местоимением) или наречием именного типа и включать в себя связку, полузнаменательный или полувспомогательный глагол. Например: «*Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля*» (Тургенев. Рудин); «*Все это сваливалось в кладовые и все становилось гниль и прореха*» (Гоголь. Мертвые души); «*Богатырь ты будешь с виду И казак душой*» (Лермонтов. Казачья колыбельная песня); «*Она слыла чудачкой*» (Тургенев. Дворянское гнездо). Те разновидности именных предложений, которые содержат в своем составе так называемые полузнаменательные глаголы типа *оставаться — остаться*, *считаться*, *казаться*, *показаться*, *оказаться*, *называться* и т. п., приближаются к глагольному типу предложения, являются глагольно-именными.

Еще более ярко выражен составной — именной и в то же время глагольный характер в предложениях со сложным сказуемым, куда входят в сочетании с именем существительным или прилагательным глаголы движения или состояния (типа *прийти*, *вернуться*, *ходить; работать*, *жить*, *сидеть*, *лежать* и т. п.). Например: «*Никто не родится героем, Солдаты мужают в бою*» (Ошанин. Солдаты мужают в бою).

С именем А. А. Потебни связана идея исторической изменчивости языковой формы предложения, идея развития типов предложения. А. А. Потебня, не имевший, как и все наши языковеды домарксистской эпохи, ясного представления о темпе и характере грамматических изменений, заявлял даже, что история языка должна дать ряд определений предложения, действительных для разных периодов развития языка [1]. Но, несмотря на свою борьбу со смешением грамматики с логикой, А. А. Потебня был убежден, что расчлененное грамматическое предложение, так же как и суждение, по природе своей двучленно или двусоставно [2]. Именно с этой двучленностью или двусоставностью предложения (подлежащее —

---

[1] См. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, тт. I—II. Изд. 2-е. Харьков, 1888, стр. 76—78.

[2] В этом вопросе с А. А. Потебней резко расходился его рано умерший талантливый ученик А. В. Попов, автор «Синтаксических исследований» (Воронеж, 1881), который доказывал одночленность (и однословность) первичного предложения в индоевропейских языках.

сказуемое) легко связывался признак наличия предикативных отношений между подлежащим и сказуемым [1], как основной структурный признак предложения.

Логическое суждение двучленно, если связку рассматривать как отношение между субъектом и предикатом. Поэтому мнение о неизбежной двучленности (или двусоставности) всякого предложения приобрело широкую популярность. Об этом так писал известный теоретик по вопросам синтаксиса Йон Рис, который сам уже испытывал недоверие к этому распространенному, хотя и не всеми разделяемому мнению: «Я считаю, что утверждение, будто двучленность (Zweigliedrigkeit) является необходимым моментом всех предложений, утверждение, которое выдвигалось с большой определенностью и горячо защищалось, оказывается несостоятельным при ближайшем рассмотрении» [2]. Вместе с тем Й. Рис все же был склонен думать, что признак двусоставности, двучленности должен считаться типическим признаком предложения вообще. Он писал: «С другой стороны, одночленные предложения находятся все же в таком меньшинстве, что они производят впечатление скорее редких исключений. Это обстоятельство, опосредствованным образом, приобретает огромное значение для вопроса о грамматической форме предложения: двучленность, сама по себе не необходимая для предложения, в качестве фактического свойства почти всех предложений, благодаря своему мощному численному превосходству, становится отличительным формальным признаком предложения вообще, даже должна была стать таким признаком»[3]. Эта точка зрения остается широко распространенной до сих пор. Она оказывает большое влияние на грамматический анализ одночленных (односоставных) предложений, т. е. таких предложений, в которых не может быть непосредственно обнаружено двух главных членов предложения — подлежащего и сказуемого.

В силу приравнивания всех видов предложений к основному двучленному (двусоставному) типу у нас очень долго не были предметом анализа конкретно-языковые формы и типы одночленных (односоставных) предложений. Правда, А. А. Потебня и его ученики испытывали большой интерес к безличным (или бессубъектным) предложениям вроде: *Светает*, *Морозит*, *Молнией убило человека* и т. п., т. е. к глагольным типам одночленных предложений. Однако вопрос об одночленном именном предложении был решительно выдвинут лишь в 80—90-х годах XIX в. проф. А. В. Добиашем [4]. Он сопоставлял предложения типа *Мороз*, *Морозит* и *Морозно*, видя в них констатирование или обозначение явлений действи-

[1] В индоевропейских языках — между формой именительного падежа существительного или местоимения и глаголом (или связкой) с примыкающими к нему именными формами.

[2] J. Ries. Was ist ein Satz? (Beiträge zur Grundlegung der Syntax, Heft III). Praga, 1931, S. 70.

[3] Там же, стр. 103.

[4] См. А. Добиаш. Опыт симасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка. Прага, 1897.

тельного мира. Но А. В. Добиаш не ставил перед собой задачи исчерпывающего описания всех видов одночленных или односоставных предложений. Эта задача была впервые в русском языкознании поставлена и отчасти разрешена акад. А. А. Шахматовым в его «Синтаксисе русского языка».

А. А. Шахматов собрал многочисленные и разнообразные факты из произведений народной словесности, русской литературы XIX—XX вв., а также из древнерусской письменности, иллюстрирующие употребление разных видов односоставных или одночленных предложений в русском языке, и сопоставил их с однородными явлениями в других индоевропейских языках. Но, исходя из психологической и в основе своей идеалистической теории двучленной «коммуникации» как формы мышления, лежащей в основе предложения, А. А. Шахматов не мог дать ни удовлетворительной классификации односоставных предложений, ни точного описания их грамматической структуры. Он колебался между морфологическим (по морфологической природе главного члена) и логико-синтаксическим подходом к определению и разграничению разных видов односоставных предложений. В конце концов, А. А. Шахматов решил рассматривать их структуру по аналогии со строем двусоставных предложений. Правда, он пришел к выводу, что было бы заблуждением искать в каждом одночленном предложении два соотносительных и взаимосвязанных главных члена двусоставного предложения — подлежащее и сказуемое. Односоставное предложение — это, по определению Шахматова, такое предложение, в котором сочетание субъекта и предиката психологической коммуникации (или суждения) находит себе соответствие в одном члене предложения (выраженном большею частью одним словом), например: *Морозило, Тишина, Глупость! Яблок-то, яблок!* и т. д.

Следовательно, по А. А. Шахматову, в односоставном предложении нет соотносительных подлежащего и сказуемого, здесь налицо лишь один «главный член». «Член предложения, соответствующий по своему значению сочетанию субъекта с предикатом, — писал А. А. Шахматов, — мы назовем г л а в н ы м ч л е н о м, главным членом односоставного предложения; в односоставных предложениях таким образом не нашло себе словесного выражения то расчленение, которое с несомненностью обнаруживается в самой коммуникации. . .»[1]. И все же А. А. Шахматов склонялся, правда, с очень существенными оговорками, к уподоблению главного члена односоставного предложения то подлежащему, то сказуемому двусоставного предложения и положил соответствующий критерий в основу разграничения и классификации типов односоставных предложений. Главный член односоставного предложения, по мнению А. А. Шахматова, может быть отождествлен формально или с подлежащим, или со сказуемым двусоставного предложения, причем, конечно, «. . . не следует забывать, что такое „сказуемое“ отличается от сказуемого двусоставного предло-

[1] А. А. Ш а х м а т о в. Синтаксис русского языка. Л., Учпедгиз, 1941, стр. 30.

жения тем, что вызывает представление и о предикате, и о субъекте, между тем как сказуемое двусоставного предложения соответствует только предикату, а также, что „подлежащее" односоставного предложения вызывает представление и о субъекте, и о предикате, между тем как подлежащее двусоставных предложений соответствует только субъекту»[1]. Непоследовательность А. А. Шахматова в описании односоставных предложений очевидна.

Разграничение двух основных типов предложения — двусоставных и односоставных — прочно вошло в научный синтаксис русского языка. Конкретное предложение может иметь в основе своего построения и одно единственное понятие или представление, грамматически соотнесенное с действительностью. Психологистическая или логистическая защита тезиса о необходимой двучленности (или двусоставности) всякого предложения всегда основывалась на отрыве от конкретно-исторического языкового материала и почти всегда опиралась на идеалистические предпосылки о тождестве или параллелизме речевых и мыслительных процессов и на отрицание отражения в речи объективной действительности.

Вопрос о формах и типах грамматического построения односоставных предложений нуждается в дальнейшем углубленном исследовании. В высшей степени важно уяснить специфические особенности их структуры соотносительно с основными типами двусоставных предложений. Само собой разумеется, что было бы нецелесообразно стремиться к отысканию «подлежащих» и «сказуемых» или каких-нибудь их «эквивалентов» во всех типах односоставных предложений. Однако в некоторых их формах можно найти морфологические соответствия одному из главных членов двусоставного (двучленного) предложения. Например, предложение *Градом побило рожь* находится в синонимической грамматической связи с двусоставным предложением *Град побил рожь*. Поэтому *побило* воспринимается как выраженное безличной формой глагола сказуемое односоставного предложения. Морфологическая категория безличности, свойственная глаголу, как бы санкционирует особую синтаксическую форму сказуемого, не соотносительного с подлежащим. Неопределенно-личные предложения (*Говорят, Просят не курить* и т. п.) и предложения обобщенно-личные (*Любишь кататься — люби и саночки возить*) также функционально-синтаксически (при наличии своеобразных семантических и стилистических оттенков) мало отличаются от двусоставных конкретно-личных глагольных предложений (ср. *Сижу и думаю — Я сижу и думаю*; *Ты видишь свои ошибки — Видишь свои ошибки* и т. п.). В неопределенно-личных предложениях форма 3-го лица множественного числа глагола обозначает личное действие, осуществляемое неопределенным количеством, неопределенным множеством лиц; в обобщенно-личных предложениях форма 2-го лица выражает действие, связываемое с собирательным лицом, с любым человеком вообще.

---

[1] А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка, стр. 50.

В «Курсе современного украинского литературного языка», изданном Академией наук Украинской ССР, есть ценное замечание о тенденциях развития безличных предложений в украинском языке, вполне применимое и к русскому языку. «Присмотревшись внимательно к фактам, — читаем здесь, — легко установить, что развиваются те типы безличного предложения, которые легче воспринимаются на фоне личной конструкции как ее особый вариант или как известное отклонение от нее в случаях неизвестности, обобщенности или второстепенного значения действующего лица. Такое наблюдение дает возможность говорить о том, что в языке господствует как стандартный тип предложения — предложение двусоставное. Это вовсе не исключает возможности увеличения безличности предложения. Это говорит только о том, что для современного языкового сознания безличные предложения являются особой, семантически и стилистически обусловленной (мотивированной) разновидностью выявления двусоставного в своей основе акта мышления» [1].

В настоящее время главная задача синтаксиса русского языка в области изучения предложения до некоторой степени предопределена историей развития нашей отечественной грамматики. Эта задача состоит в том, чтобы изучить все конкретно-языковые формы или структурные особенности основных разновидностей двусоставных (или двучленных) и односоставных (или одночленных) предложений в современном русском языке и выяснить последовательность, пути и закономерности их исторического развития.

Общая теория синтаксиса, построенного на основе марксистского учения о языке, не отбрасывает проблемы связи логических и синтаксических, шире — вообще грамматических категорий. Последовательное применение марксистского положения о неразрывном единстве языка и мышления позволяет обосновать и подтвердить фактами языка связь логических и синтаксических категорий и в то же время обнаружить их действительные различия, обусловленные спецификой внутренних законов развития языка. Однако грамматика как наука, абстрагирующая свои закономерности от конкретного народно-языкового материала на широкой исторической основе, не может и не должна смешиваться с логикой. В отличие от формальной логики как науки о законах правильного мышления, грамматика, опираясь на материалистическую диалектику, изучает исторические законы построения той или иной конкретной народной речи, в которой реализуется мысль. Следовательно, и синтаксис как часть грамматики имеет свои объекты исследования — словосочетание и предложение, свой научный метод и решает свои специфические задачи, в том числе и свои задачи изучения предложений и их членов.

Этот вывод не оспаривается и в современных советских исследованиях по логике. Общепризнано, что структура предложения бывает качественно

[1] «Курс современного украинского литературного языка», под ред. Л. А. Булаховского, т. II, Синтаксис. Киев, «Рад. школа», 1951, стр. 52 (на укр. яз.).

различна в языках разных народов, разных наций (ср., например, предложение номинативного типа в индоевропейских языках и предложение эргативного типа в так называемых «иберийско-кавказских» языках). Между тем субъектно-предикативная структура простого суждения имеет общечеловеческий характер. Она не зависит ни от исторических, ни от национальных различий, но субъект и предикат суждения в предложениях разных языков выражаются по-разному. Выработанные в языке грамматические формы членов предложения не сливаются и не совпадают с логическими членами суждения. Так, специалисты по иберийско-кавказским языкам доказывают, что в грузинском и в некоторых других кавказских языках в качестве главных членов предложения выступают не только подлежащее и сказуемое, но — при определенной (эргативной) конструкции предложения — и «прямое дополнение», которого логика в составе суждения не различает. Логическое суждение реализуется в предложении разнообразными языковыми средствами.

Вместе с тем сами логики не могут прийти к определенному выводу о том, все ли типы предложений служат выражением суждения. Одни полагают, что вопросительные и побудительные предложения вообще не выражают суждения, другие готовы утверждать, что все типы предложений заключают в себе суждение, третьи ищут и находят в вопросительном и побудительном предложениях «аналоги суждений», четвертые склонны рассматривать вопросительные предложения как выражение суждения со свернутым (имплицитным) или неопределенным предикатом, но отказываются видеть непосредственное выражение суждения в побудительных предложениях и т. п. Некоторые логики указывают, что побуждение и мысль-вопрос имеют ряд черт, общих с суждением [1]. Эти черты сходства выражаются в следующем: 1) и вопрос и побуждение, подобно суждению, выражаются в предложении; 2) всякое побуждение и всякий вопрос, как и суждение, имеют предметный характер: подобно тому, как мы можем судить только о чем-либо, точно так же и повеление мы всегда высказываем в отношении кого-нибудь или чего-нибудь, и во всяком вопросе указывается предмет, о котором нечто спрашивается; 3) и вопрос и побуждение могут быть правильными и неправильными (так же, как и суждение). Различие же между суждением и побуждением, а также вопросом выражается в том, что ни побуждение, ни вопрос непосредственно не утверждают (и не отрицают) что-нибудь о чем-нибудь; побуждение, хотя и подразумевает суждение, является особой разновидностью мысли, так как оно содержит лишь приказ или призыв к действию, а в вопросе лишь спрашивается о чем-нибудь, причем сама постановка вопроса может быть правильной или неправильной. Следовательно, приходится признать существование таких предложений, назначением

[1] См. П. В. Таванец. Суждение и его виды. М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 26—29. Ср. его же. К вопросу о классификации суждений в истории логики. «Философские записки», т. VI. М., 1953, стр. 38—70.

которых является не выражение суждения, а выражение вопроса и побуждения как особых разновидностей мысли.

Логика, изучающая формы и законы общечеловеческого мышления, не интересуется ни эмоциональной и волевой стороной сознания, ни формами словесного выражения эмоций и волевых побуждений. Вместе с тем понятно, что выражение эмоций в языке не может не быть осознанным. Степень мыслительного, понятийного содержания в таком словесно-эмоциональном выражении отчасти определяется характером и степенью его грамматической расчлененности. Причина разногласий по вопросу об отношении предложения и суждения кроется отчасти в спорности и недостаточной исследованности соответствующих проблем у логиков и философов; но несомненно также, что отсутствие глубоких и детальных грамматических описаний всех разновидностей предложений, служащих в современных живых языках для выражения не только суждений, но и волевых побуждений и эмоций, не помогает устранению путаницы в этом круге вопросов.

II

Изучая правила составления предложений, синтаксис прежде всего должен выяснить, как слова и словосочетания, объединяясь в структуре предложения в качестве его членов, образуют предложение — эту основную синтаксическую единицу языкового общения — и в чем заключаются характерные конструктивно-грамматические признаки предложения. В нашей отечественной грамматической науке выдвинуты два общих характерных признака предложения в русском языке, хотя взаимоотношение и взаимодействие этих признаков до настоящего времени остаются не вполне определенными. Это — интонация сообщения и предикативность, т. е. отнесенность высказываемого содержания к реальной действительности, проявляющаяся в совокупности таких грамматических категорий, которые определяют и устанавливают природу предложения как основной и вместе с тем первичной грамматически организованной единицы речевого общения, выражающей отношение говорящего к действительности и воплощающей в себе относительно законченную мысль. Наличие обоих этих признаков для предложения обязательно.

Обычно говорят, что слова и словосочетания, соединенные в предложении большей частью посредством тех же приемов согласования, управления и примыкания, которые характерны для связей слов внутри словосочетания, без соответствующей организации их интонационными средствами еще не представляют собой сообщения. Интонационными средствами устанавливается, обусловливается коммуникативное значение слов в предложении, определяется членение предложения и осуществляется его внутреннее единство. Благодаря интонации не только соединения слов, но и отдельные слова могут приобрести значение предложений. Академик А. А. Шахматов так писал об этом в своем «Синтаксисе русского языка»:

«. . . условием для перехода отдельного слова и словосочетания в предложение является законченность мысли и законченность соответствующего словесного выражения; законченность мысли предполагает наличность в таком словосочетании сочетавшихся предикативно субъекта и предиката, а законченность словесного выражения требует особой объединяющей члены словосочетания в одно целое интонации» [1]. Можно сомневаться в том, что в каждом предложении, даже в разговорном предложении резко эмоционального, грамматически нерасчлененного характера вроде: *Ну и ну! То-то! Ваня! Еще бы! Вот тебе на! Ай, ай, ай!* и т. п., выражается предикативное сочетание субъекта и предиката, но нельзя сомневаться в том, что этим выражениям или высказываниям присуща интонация сообщения. Интонация сообщения, таким образом, является важным средством оформления предложения и выступает в качестве одного из постоянных характерных признаков предложения. Именно в этом признаке заключается одно из коренных отличий предложения от словосочетания.

Различием интонаций в значительной степени определяются основные функциональные и вместе с тем модальные типы предложений — предложения повествовательные, вопросительные и побудительные. «Что бы мы ни сказали, — писал в своем «Русском синтаксисе» проф. А. М. Пешковский, сделавший много интересных наблюдений в области русской ритмомелодики, — мы высказываем это либо повествовательно, либо вопросительно, либо восклицательно (включая в эту последнюю характеристику и интонацию побудительности. — *В. В.*). Как ни важна для нас разница между этими тремя видами речи, она все-таки не материальна, а формальна. Скажем ли мы *он здесь*, или *он здесь?* или *он здесь!* — материал нашей мысли остается один и тот же: представление о „нем“ и о месте, где „он“ находится. Меняется только отношение наше к данной мысли: в одном случае мы просто желаем поделиться со слушателем найденной нами реальной связью или отсутствием ее (при отрицании) между двумя представлениями, образующими в данном случае мысль, в другом случае мы не решаемся сами признать реальность или нереальность связи и ждем разъяснения в этом отношении от собеседника, в третьем — мы не только полностью убеждены в реальности или нереальности связи, но и выражаем наши чувства, внушенные нам этой связью. Все эти различия — грамматические, и выражаются они в русском языке почти исключительно интонацией. . .» [2]

Главными интонационными средствами, выполняющими основные функции в организации предложения, являются ударение и мелодика. Будучи существенным, неотъемлемым признаком предложения, интонация, однако, не исчерпывает и не определяет грамматической сущности предло-

---

[1] А. А. Шахматов. Ук. соч., стр. 37.

[2] А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 6-е. М., Учпедгиз, 1938, стр. 69—70.

жения и своими вариациями не обусловливает и не создает всего многообразия видов предложений в русском языке. Ведь если даже признать, что интонация является самым непосредственным, единственным безусловно необходимым способом выражения законченности мысли, а следовательно, и самым главным признаком «единицы языкового общения» (т. е. предложения), то все же нельзя обойтись без ответа на вопрос: все ли слова и формы слов, все ли словосочетания и их формы могут непосредственно с помощью соответствующей интонации становиться «единицами речевого общения» (т. е. предложениями или «фразами», как их называют иные языковеды), или же необходимы какие-нибудь дополнительные способы формально-грамматической организации речевого целого, быть может, даже разные в разных условиях и контекстах.

Интонация сама по себе, т. е. вне словесного содержания, вне отношения речи к действительности, расчлененной, законченной, логически построенной мысли не выражает. Интонация не является средством формирования и воплощения мысли, без слов она может быть выразительной, но не является содержательной, т. е. не служит материальной оболочкой мысли. Об интонации сообщения можно сказать, что она является лишь формой выражения более или менее замкнутой единицы речи (предложения). Однако интонация вовсе не является формой грамматического построения предложения. Правда, интонация может служить средством превращения слова и словосочетания в предложение, может выполнять предикативную функцию, но интонации не свойственно предметно-смысловое содержание. Часто она прямо причисляется к средствам субъективного выражения [1]. Но при этом необходимо помнить, что это средство субъективного речевого выражения общественно организовано и общественно осознано. Вместе с тем в таких формах общения, как письменная речь, интонация нередко отступает на второй план.

Вот почему авторы наших грамматик, особенно те, которые осознали неправомерность и ошибочность как смешения предложения с суждением, так и полного отрыва предложения от суждения, старались установить структурные, словесно-строевые, формально-грамматические признаки предложения в русском языке (так же как и в других языках) и выделить грамматические категории, типичные для словесно организованного, синтаксически оформленного предложения. Сначала в качестве такого структурного формально-грамматического признака предложения выдвигалась личная форма глагола (verbum finitum), т. е. в основу определения предложения была положена морфологическая категория глагола, и тем самым как бы ставился знак равенства между глаголом и сказуемым. Значительная часть современных синтаксических теорий в области изучения русского языка и теперь продолжает ставить общее определе-

[1] Ср. в структуральном синтаксисе проф. А. В. де Гроота: stratum of expression [см. рецензию A. Martinet. «A. W. de Groot. Structural Linguistics and Phonetic Laws» (Archives néerlandaises de phonétique expérimentale, Tome XVII. 2-me livraison, Amsterdam, 1941, pp. 71—106), «Lingua», vol. II, 1. Haarlem, 1949, pp. 74—77].

ние структуры предложения в зависимость от наличия (реального или потенциального) глагольных форм, имеющих значения лица, времени и наклонения; эти формы и получают название предикативных форм глагола или форм сказуемости. Таким образом, понимание глагола как организатора предложения объясняется не только преобладанием, особенной употребительностью глагольных типов предложения, но и тем, что в личных формах глагола непосредственно, наглядно, морфологически выражены те грамматические категории лица, времени и модальности, с которыми связано понятие синтаксической предикативности как существенного признака предложения.

Однако при этом чисто морфологическом подходе синтаксическое учение о предложении в целом получает односторонний и искаженный характер: оно не отражает всего многообразия структурно-грамматических форм предложения в русском языке. Вообще при построении теории предложения «морфологизм» в чистом виде не может привести к пониманию всего разнообразия структурных типов предложений. Дело в том, что со структурой предложения связаны свои особые синтаксические категории, базирующиеся на морфологических категориях, но далеко выходящие за их пределы: категории времени и модальности, а также — в широком синтаксическом понимании — и категория лица, т. е. те категории, которые выражают отношение сообщения к действительности и подводятся под общее понятие «предикативности»; эти категории могут быть свойственны предложению в целом — независимо от наличия в его составе глагола. Так, безглагольные односоставные предложения, содержащие лишь одно единственное понятие или представление, соответствующим образом соотнесенное с действительностью (например: *Мороз; Тише! Внимание!* и т. п.), представляют собой единицы речевого общения, грамматически организованные на основе тех же категорий модальности и времени.

Среди одночленных (или односоставных) предложений в русском языке есть предложения, функция которых сводится к простому утверждению или отрицанию, выражению согласия или несогласия или к общей экспрессивно-модальной оценке предшествующего высказывания. Это — предложения, основу которых составляют утвердительные или отрицательные слова *да* и *нет*, модально окрашенные слова и частицы (типа: *разве? едва ли! может быть! конечно! вероятно!* и т. п.), междометия и слова, близкие к междометиям. Внутренняя сущность модальной функции таких слов, как *да*, *нет*, *несомненно* и т. п., ярко сказывается в том, что иногда в диалогической речи они становятся своеобразными заместителями глагольного сказуемого с присущими ему значениями времени, лица и наклонения, например: *А в прошлом году вы имели отпуск? — В прошлом году да*; *А с мамой ты согласна остаться? — С мамой да, а с Петькой нет.* Вместе с тем слово *да* может входить в состав сложного предложения в качестве одной из его основных составных частей: — *Ветерок в аллее? — Да, потому что листья дрожат*; — *А вы ему должны, что ли? — Вот в том-то и беда моя, что да.*

Предложения типа *да, нет, конечно* и т. п., нередко очень экспрессивные, выражают модальную квалификацию сообщения и иногда содержат побуждение к какому-нибудь действию, следовательно, они также выражают синтаксическую категорию модальности. К этим предложениям, синтаксически нерасчлененным, совершенно неприменима психологистическая схема подстановки сочетающихся представлений в роли субъекта и предиката. Поэтому модальные слова-предложения всегда рассматривались как особый тип предложений (а в субъективно-идеалистических психологических теориях — как «эквиваленты предложения»), не имеющих и не способных иметь в своем составе никаких членов предложения — главных или второстепенных. И все же они имеют модальные значения. Предложения этого типа употребляются преимущественно в диалогической речи, в ответных и вопросительных репликах собеседников. Они могут, как отголоски внутреннего диалога, употребляться и в монологической речи, при подтверждении уже высказанного, при возражении самому себе и в других подобных случаях.

Вот несколько иллюстраций: «Подколесин (с самодовольной улыбкой). *А преконфузно однако же должно быть, если откажут.* Кочкарев. *Еще бы!*» (Гоголь. Женитьба); « — *Ну, у тебя грехов немного.* — *Ах, все-таки,* — сказал Левин, — *все-таки,* — *„с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь. . .“ Да*» (Л. Толстой. Анна Каренина).

Таким образом, значение и назначение общей категории предикативности, формирующей предложение, заключается в отнесении содержания предложения к действительности. В этом и состоит различие между словом *зима* со свойственным ему лексическим значением и предложением *Зима* в таком пушкинском стихе: «*Зима. Что делать нам в деревне?*». На этот характерный признак предложения обращали внимание и многие лингвисты прошлого, хотя и не всегда правильно его истолковывали. Так, Й. Рис в своем сочинении «Was ist ein Satz?» писал, что главным признаком, отличающим предложение от словосочетания, является выражение в предложении того, как относится содержание предложения к действительности. «Становящееся соединение, форма образования предложения, происходящее в данный момент (впервые или повторно) соотнесение (Zuordnung) оказывается необходимым проявлением свойственных именно ему (предложению) задачи и функции: выработки отношения содержания представлений к действительности» [1]. Если в этом рассуждении отвлечься от субъективно-идеалистического истолкования мыслительной сущности предложения как сочетания представлений, то останется верная мысль о соотнесенности содержания высказывания с действительностью как основном признаке предложения. В том же направлении старался найти основные свойства предложения и чешский языковед В. Матезиус. По его словам, предложение — это «элементарное высказывание, в котором го-

[1] J. Ries. Ук. соч., стр. 77

ворящий активно и притом таким способом, который с формальной точки зрения вызывает впечатление обычности и субъективной полноты (законченности), относится к какому-нибудь факту» [1].

Общее грамматическое значение отнесенности основного содержания предложения к действительности конкретизируется в синтаксических категориях модальности, а также времени и лица. Именно они придают предложению значение основного средства общения, превращая строительный материал языка в живую, действенную речь.

В конкретном предложении значения лица, времени, модальности устанавливаются с точки зрения говорящего лица. Но сама эта точка зрения определяется объективным положением говорящего лица в момент речи по отношению к собеседнику и к отражаемому и выражаемому в предложении «отрезку», «кусочку» действительности. Отношения сообщения, содержащегося в предложении, к действительности — это и есть прежде всего модальные отношения. То, что сообщается, может мыслиться говорящим как реальное, наличное в прошлом или в настоящем, как реализующееся в будущем, как желательное, требуемое от кого-нибудь, как недействительное и т. п. Формы грамматического выражения разного рода отношений содержания речи к действительности и составляют синтаксическое существо категории модальности. Категорией модальности определяются различия между разными модальными типами предложения. Кроме форм глагольных наклонений, категория модальности выражается модальными частицами и словами, а также интонацией. Известно, например, сложное и тонкое разнообразие модальных красок инфинитивных предложений в русском языке. Модальность инфинитивных предложений определяется самой формой инфинитива и интонацией, а усиливается и дифференцируется частицами. Для модальных значений этих предложений характерно и то обстоятельство, что они обозначают действие, которое совершится в будущем или должно совершиться по воле говорящего лица. Например: «София. *Вот вас бы с тетушкою свесть, Чтоб всех знакомых перечесть*» (Грибоедов. Горе от ума); «*Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку*» (Лермонтов. Княжна Мери); «*Не расти траве После осени; Не цвести цветам Зимой по снегу*» (Кольцов. Русская песня); «*Когда же тут хромать? Тут, братец ты мой, уже не до хромоты*» (Шолохов. Тихий Дон).

В так называемых инфинитивно-назывных предложениях законченность всему предложению сообщает интонация, выражающая субъективно-модальное отношение к действию: «*Возможно ли! меня продать! — Меня за поцелуй глупца. . .*» (Лермонтов. Маскарад); «Саша. *Она очень нервна стала.* Каренин. *Две ночи не спать, не есть.* Саша (улыбаясь). *Да вы тоже. . .* Каренин. *Я — другое дело*» (Толстой. Живой труп).

---

[1] V. Mathesius. Několik slov o podstatě věty. «Čeština a obecný jazykozpyt». Praha, 1947, str. 231.

С категорией модальности тесно связана категория времени. Предложение как форма сообщения о действительности включает в себя синтаксическое значение времени. Это значение создается не только формами времен глаголов, кратких прилагательных и категории состояния (с помощью связки), но и глагольными формами наклонения (ср., например, связь форм повелительного наклонения с глагольными формами будущего времени), а также — при известных интонациях — формой инфинитива; в сообщениях же о настоящем или о прошлом, изображаемом как наличное, значение времени выражается также отсутствием морфологической формы с грамматическим значением времени. Синтаксическое значение времени, создаваемое ситуацией и контекстом речи, присуще и таким предложениям, как *Огонь!* [в значении: 1) «стреляй!», 2) «зажги огонь» или «принеси огня!» и 3) «виден огонь»]; *Брр!* (в значении: «холодно» или «я озяб»); *Пора, пора! Тишина; Минуту внимания!* и т. п. В вопросо-ответных предложениях, составляющих парное единство, значение времени в ответе нередко предопределено предшествующим вопросительным предложением.

Так как предложение как основная форма речевого общения служит одновременно и средством выражения мысли для говорящего лица, и средством понимания высказанной мысли для лица слушающего, то структура предложения включает в себя и разные способы выражения синтаксической категории лица (если не иметь в виду семантическую, в основном, словообразовательную категорию лица в системе имен существительных, подчиненную категории предметности и противопоставленную категории не-лица). Как известно, в русском языке грамматическая категория лица, связанная с характеристикой отношения речи к говорящему (или говорящим), к собеседнику (или собеседникам) и к тому третьему, о чем может идти речь, выражается главным образом формами местоимений и глагола. В строго определенных типах предложений отношение к лицу может выражаться также посредством особых интонаций (требования, побуждения, просьбы, приказа или упрека, желания и т. п.). Например: «Г р а ж д а н и н. *Будь гражданин! Служа искусству, Для блага ближнего живи»* (Некрасов. Поэт и гражданин); «*Прощай, свободная стихия!*» (Пушкин. К морю); «*И, полно, что за счеты*» (Крылов. Демьянова уха); «*Полно врать пустяки*» (Пушкин. Капитанская дочка); «*А вам, искателям невест, Не нежиться и не зевать бы*» (Грибоедов. Горе от ума). Ср. предложения типа: *Спасибо*; *Вон! Прочь! Долой поджигателей войны! Воды!* и т. п.

Повидимому, наиболее прямым, постоянным и непосредственным выражением категории предикативности является модальность предложения. Если предикативность выражает общую отнесенность речи к действительности или соотнесенность речи с действительностью (ср. слово *война* и предложения: *Война! Война?*; *Война. Опустошенные поля. Еще страшнее развалины городов*), то категория модальности расчленяет и дифференцирует эту общую функцию предложения, обозначая специфическое качество отношения к действительности — со стороны говорящего лица.

Что касается синтаксической категории времени, то она так или иначе, прямо или косвенно, дает себя знать в каждом предложении. Но — при отсутствии морфологических способов выражения — она не находит прямого выражения в интонации, как категория модальности; в этом случае она может быть производной от модальности, как бы включенной в нее, подобно тому, как это происходит и в формах глагольного наклонения, например, повелительного, в котором потенциально заложено отношение к объективному будущему времени или желательному настоящему, сослагательного, в котором содержится отрицание факта в прошлом, иногда с подчеркиванием неосуществленной возможности его проявления, иногда желательность течения действия в настоящем или выполнения его в будущем, даже инфинитива, в котором синтаксическое значение времени соответственно вытекает из разных модальных функций этой формы.

В связной речи отношение предложения ко времени может также определяться или выражаться контекстом и ситуацией. Например: «*Ка-а-к! Ты подкупать меня!*» (Салтыков-Щедрин. Губернские очерки); «*А повсюду на полу — Сколько тут железа!*» (Твардовский. Еще про Данилу); «*Эх, дыму-то! Как из прорвы какой!*» (Бубеннов. Белая береза); «*Как быть и как с соседом сладить, Чтоб от пенья его отвадить?*» (Крылов. Откупщик и сапожник). Категория лица как структурный элемент предложения является потенциальной. Она выражается, кроме личных форм глагола, также формами личных местоимений, например, дательного падежа в сочетании с инфинитивом, а в некоторых конструкциях, например, инфинитивных или именных, адвербиальных и междометных с императивным значением — интонацией. Само собой разумеется, что в так называемых безличных или бессубъектных предложениях категория лица обнаруживается негативно (так же, как в соответствующих безличных глаголах или безличных формах личных глаголов, в словах из категории состояния и в отрицательных оборотах). В связи с своеобразием значений и функций 3-го лица в общей синтаксической категории лица должны быть отдельно рассмотрены и внутренно дифференцированы разные виды так называемых номинативных предложений.

Вот несколько примеров разнообразного синтаксического выражения категории 2-го лица: «*Вам теперь, чай, не до нас, Тимофей Васильевич?*» (А. Жаров, Гармонь); «*Вам бы прилечь... Что с вами?*» (Крымов, Танкер «Дербент». Стахановский рейс); *Сюда! за мной! скорей! скорей! Свечей побольше, фонарей*» (Грибоедов. Горе от ума).

Изучение разных видов и способов выражения и проявления синтаксических категорий модальности, времени и лица, изучение соотношения и взаимодействия категорий модальности и времени, изучение отношения высказывания к лицу говорящему, собеседнику и так называемому грамматическому 3-му лицу — все это целесообразнее всего вести дифференцированно — применительно к разным формам и стилям

речи. Особенно важно выяснение синтаксических своеобразий форм разговорной и книжно-письменной речи. Такое дифференцированное исследование синтаксических структур в соответствии с формами речевой деятельности помогло бы глубже и всесторонне установить и различить многообразные способы выражения предикативности и на этой основе определить типические формы предикативности, связанные с разными видами предложений.

Во всяком предложении категория предикативности находит свое полное или частичное выражение. Способы ее выражения, связанные с синтаксическими категориями лица, времени и модальности, бывают морфологическими, конструктивно-синтаксическими и интонационно-синтаксическими. Примеры конструктивно-синтаксических и интонационно-синтаксических способов выражения предикативности приводились выше. Ср. также: *Ну тебя! Покойной ночи!* «*Огня!* кричат. . . *огня!*» (Крылов. Волк на псарне); «*Заутра казнь*» (Пушкин. Полтава); «Агния. *Погода-то! Даже удивительно! А мы сидим*» (Островский. Не все коту масленица); «Несчастливцев. *Куда и откуда?* Счастливцев. *Из Вологды в Керчь-с. . .*» (Островский. Лес); «Бакин. *Однако, пора и за дело*» (Островский. Таланты и поклонники); «*На полном бегу На бок салазки — и Саша в снегу!*» (Некрасов. Саша); «*Наконец, карета у крыльца. Тетеньки вылезают из нее и кланяются отцу*» (Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина); «*Граждане, за ружья! К оружию, граждане!*» (Маяковский. Революция); «Юлия. *Куда же это мы идем?* Федор Иванович. *На плотину. . . Пойдем погуляем. . . Лучшего места во всем уезде нет. . . Красота!* (Чехов. Леший); «*Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать операции или резать трупы! Ужасно!* (Чехов. Именины).

Многообразие форм и способов выражения предикативности, разные виды сочетания и переплетения синтаксических категорий времени и модальности, широкие возможности выражения отношения говорящего лица к действительности посредством интонаций модальной окраски, осуществляемое посредством тех же интонаций эмоционально-волевое воздействие говорящего на слушателя и эмоционально-волевая реакция его на те или иные факты, явления действительности — все это обнаруживается в разнообразии конкретно-языковых форм (или типов) предложений современного русского языка.

Их выделение, разграничение, грамматическая характеристика, выяснение качественных различий между разными типами, изучение взаимодействий отдельных типов, исследование путей развития форм предложения в разговорной и книжно-письменной речи — важные задачи синтаксиса русского языка.

III

Сложность и конструктивная спаянность способов взаимодействия интонационных и формально-грамматических признаков в образовании разных типов предложения не позволяют механически противопоставлять предло-

жение как формально-грамматическое единство фразе как интонационно-смысловой единице неопределенного и очень пестрого грамматического состава.

Во многих западноевропейских и некоторых наших отечественных синтаксических концепциях основной единицей речевого общения признается не предложение, а фраза, противопоставляемая предложению как расчлененному грамматически двусоставному предикативному выражению суждения. Фраза в таком понимании — это любая обособленная и более или менее замкнутая по смыслу и интонации единица высказывания. Высказыванием же является и простое утверждение *да*, и замечание — *Прекрасная погода сегодня*, и роман в несколько томов [1]. Следовательно, высказывание может состоять из одной фразы и из очень большого количества фраз. Фраза как элементарная, более или менее самостоятельная единица высказывания лишена собственно грамматической характеристики.

Итак, под фразой понимается минимальная интонационно-смысловая коммуникативная единица «высказывания», связной речи. Связная речь расчленяется на отрезки различной степени законченности. Единицы этого членения всегда представляют собой величины смысловые и в то же время организованные фонетически. Высшей ступенью этого членения и признается фраза как основная коммуникативная единица языка, смысловая целостность которой выражена ритмо-мелодическими средствами. К фразам относятся и эллиптические высказывания в составе беглой диалогической речи, и сложные предложения, и все типы нерасчлененных эмоционально-волевых изъявлений. Из фраз обычно выделяются в качестве предложений лишь те интеллектуальные сообщения, которые подводятся под формально-логическую схему суждения. По определению С. О. Карцевского, одного из представителей так называемой социологической школы Ф. де Соссюра, предложение — это определенная грамматическая структура, которая характеризуется наличием предиката. Предикат же есть «личное определяющее», т. е. такое, в котором указывается отношение к лицу, а «абсолютное определяемое при предикате называется подлежащим или субъектом» [2].

Следовательно, предложениями объявляются только такие словосочетания (или «синтагмы»), в которых имеется предикат или его инфинитивный эквивалент: *Парус белеет; Приближается зима; Учиться всегда пригодится; Дом был старый; Он здесь врачом; Гулять было приятно; Дверь оказалась запертой* и т. п. «Предложение» играет очень важную роль в нашей речи, особенно интеллектуальной. Во многих случаях даже фразы

---

[1] См. V. Skalička. Promluva jako linguistický pojem. «Slovo a slovesnost». Praha, 1937, č. 3, str. 163—166; E. Pauliny. La phrase et l'énonciation. «Recueil linguistique de Bratislava», vol. I. Bratislava, 1948, str. 59—66.

[2] См.: S. Karcevski. Sur la parataxe et la syntaxe en russe. «Cahiers Ferdinand de Saussure», 7. Genève, 1948, p. 33; С. О. Карцевский. Повторительный курс русского языка. М.—Л., ГИЗ, 1928, стр. 33—34.

эмоциональной речи представляют собою предложения, видоизмененные под влиянием чувств. Например, фраза *Быть бычку на веревочке* синонимична предложению *Будет бычок на веревочке.* Фраза, не членимая на субъект и предикат, распадается на слова, соединенные между собою по законам грамматики и объединяемые общей интонацией.

Так, с разными вариациями и в разных вариантах распространяется «теория», согласно которой в синтаксисе должна изучаться, с одной стороны, фраза как категория интонационно-семантическая и, с другой стороны, предложение как единство формально-грамматическое, как «предикативная синтагма», как «предикативное словосочетание». У нас эта точка зрения, правда вполне своеобразно, была представлена в синтаксических работах акад. Л. В. Щербы, проф. А. М. Пешковского и развивается в настоящее время (с некоторыми видоизменениями) в учебных пособиях Л. А. Булаховского.

А. М. Пешковский противопоставлял предложение как собственно-синтаксическое или формально-грамматическое единство, имеющее форму сказуемости, фразе как единству интонационно-смысловому. По словам этого ученого, «. . . понятия фразы и предложения. . . оказываются в довольно сложных и запутанных отношениях друг с другом» [1]. Так, все так называемые «сложные предложения», по мнению А. М. Пешковского, принадлежат фразам и должны рассматриваться как «единства ритмо-мелодические». Анализ фраз как синтаксически сложных, цельных грамматических единств выводится за пределы «формальной грамматики». На этой почве возникает механическое переплетение понятий фразы и предложения. «Если мы условимся, — писал А. М. Пешковский, — называть всякое ритмо-мелодическое единство, выражающее законченную мысль, „фразой“, причем в это понятие не включим абсолютно никаких собственно-формальных признаков, а с другой стороны, всякое собственно-формальное единство, выражающее законченную мысль, — „предложением“, не включив в него абсолютно никаких ритмо-мелодических признаков, то соотношение между этими двумя понятиями установится чрезвычайно простое и ясное: так называемое „простое предложение“ будет „односоставной фразой“, а так называемое „сложное предложение“ — „двусоставной“ или „многосоставной фразой“, причем под отдельным „составом“ будет разуметься именно то, что выше названо „предложением“ (термины „односоставный“ и „многосоставный“ приходится употреблять только из-за неуклюжести терминов „однопредложенский“ и „многопредложенский“)» [2]. Таким образом, включение в систему синтаксиса термина «фраза» фактически, кроме путаницы основных понятий и кроме механического рассечения разных структурных признаков предложений, приводит также к исключению из сферы структурно-грамматического изучения, с одной стороны, внутреннего синтаксического единства сложных предложений,

[1] А. М. Пешковский. Ук. соч., стр. 411.

[2] А. М. Пешковский. Научные достижения русской учебной литературы в области общих вопросов синтаксиса. Прага, 1931, стр. 5—7.

а с другой стороны, всего многообразия типов простых предложений. Ведь то, что выводится за рамки «предложения» и что относится только к «фразе» или «фразам», синтаксистами этого направления обычно рассматривается или с чисто фонетической, интонационно-мелодической, или со своеобразной семантико-психологической точки зрения (особенно если «фраза» не может быть сведена к «предложению»).

К каким противоречиям и неясностям приводит использование понятия фразы для описания типов предложений в живом славянском языке, можно видеть по «Курсу современного украинского литературного языка». Здесь тоже выступает фраза как самая общая, основная единица языкового общения. Термин «фраза» применяется для обозначения ритмо-мелодического целого, которое любыми синтаксическими способами выражает законченную мысль. «Следовательно, с этой точки зрения, — читаем в «Курсе современного украинского литературного языка», — фразой будет всякое самостоятельное предложение, а также и эквиваленты предложения» [1]. Эквивалентами предложения тут называются фразы, образованные из слов или словосочетаний, «в которых не выявлены и практически не могут быть выявлены ни подлежащее, ни сказуемое, что не препятствует этим словам или словосочетаниям концентрировать в себе, высказывать содержание целых предложений: «*Спасибі вам за науку*». . . «*Ні*». . . «*Цур їй!*»[2]. Под понятие же предложения здесь подводятся лишь такие коммуникативные единицы, в которых словесно выражены «. . . носитель признака и признак, приписываемый ему во времени и наклонении. Грамматическим выразителем первого чаще всего является именительный падеж имени или какое-либо другое слово (член предложения), которое выступает в функции имени в именительном падеже. . . Типичным грамматическим выразителем второго является личная форма глагола, как форма, которая обладает четкими признаками времени и наклонения. . .» [3]. Таким образом, термин «предложение» здесь применяется лишь к глагольным и глагольно-именным двучленным предложениям. Разного рода именные («номинативные») односоставные предложения относятся к эквивалентам предложений. «Можно сказать, что слово, например, *пожар*, прочитанное в словаре, не является предложением, а крик человека, увидевшего огонь: „*Пожар!*" — является эквивалентом предложения, потому что мы мыслим пожар во времени и наклонении, невзирая на отсутствие глагола и трудность его подстановки» [4]. Впрочем, в «Курсе современного украинского литературного языка», кроме эквивалентов предложения, фигурируют еще «недоразвитые» предложения. Сюда относятся так называемые номинативные предложения, состоящие из именительного бытийного (вроде: *Ночь*, *Тишина*, *Море* и т. п.). Такое распыление категории предложения, естественно, приводит к отказу от определения предложения. По словам авто-

---

1 «Курс современного украинского литературного языка», т. II, стр. 8.
2 Там же, стр. 73.
3 Там же, стр. 9
4 Там же.

ров «Курса современного украинского литературного языка», все многообразие структурных типов речевых высказываний «. . . подвести под один тип, под одно определение было бы напрасной затеей. Но можно говорить о существовании одного о с н о в н о г о типа предложения, который представляется предложением как таковым, и о том, что все другие типы предложений воспринимаются на фоне этого основного типа как разновидности его или как некоторые отклонения от него» [1].

Таким образом, введение в область синтаксиса понятия «фразы» чаще всего служит поводом к отказу от собственно синтаксического анализа многочисленных видов речевых высказываний. Это разнообразие форм и типов предложения побуждало некоторых зарубежных языковедов вообще отказываться от их грамматической характеристики. Так, известный датский лингвист О. Есперсен утверждал, что «предложение является целиком понятийной категорией (a purely notional category): от слова или группы слов не требуется никакой специальной грамматической формы для того, чтобы их можно было назвать предложением»[2]. А структуралист Ельмслев в своей общей или универсальной грамматике вообще обходится без категории предложения и считает это преимуществом своей «теории» [3].

IV

Многообразие типов предложений в русском языке обнаруживается в специфических особенностях их структуры, их состава.

В двусоставных или двучленных предложениях легко выделяются соотносительные члены, связанные друг с другом предикативными отношениями. Например: «*Он порча, он чума, он язва здешних мест!*» (Крылов. Кот и Повар); «*Уста жуют*» (Пушкин. Евгений Онегин); «*Артист читал, художники рисовали, виолончелист играл, певец пел. . .*» (Чехов. Попрыгунья).

Соотносительные члены предложения, связанные предикативными отношениями, — это подлежащее, выраженное формой именительного падежа существительного или местоимения (а также субстантивированным словом), и сказуемое, выраженное личной формой глагола, краткой формой причастия, прилагательного или другими морфологическими средствами.

Члены предложения — это синтаксические категории, возникающие в предложении на основе форм слов и форм словосочетания и отражающие отношения между структурными элементами предложения. Между частями речи и членами предложения есть связь и даже взаимодействие, но нет параллелизма. Синтаксическая сущность слова или неделимого словосочетания как члена предложения определяется той функцией, которую несут они в строе предложения.

---

[1] Ук. соч., стр. 8.

[2] O. J e s p e r s e n. The Philosophy of Grammar. London, Allen and Unwin. New Jork, Holt, 1929, p. 308.

[3] L. H j e l m s l e w. Principes de grammaire générale. København, 1928.

В строе предложения одна и та же форма слова, в зависимости от ее отношения к другим словам, может выполнять функции разных членов предложения. Осмыслить целиком эти функции в плане разных типов словосочетания не всегда оказывается возможным. Словосочетания, вступая в строй предложения, подвергаются здесь преобразованиям. Они группируются около основных конструктивных центров предложения, т. е. вокруг его предикативного ядра. Например, в предложении *Этот человек — с умом*, сочетание *с умом* выступает в роли сказуемого. Его синтаксическим эквивалентом является краткая форма прилагательного *умен*. Предикативная функция этого выражения может быть непосредственно выведена из атрибутивной: *человек с умом*. Однако в строе предложения *Человек с умом не пропадет* словосочетание *человек с умом* с семантической точки зрения неразложимо и в целом выполняет функцию подлежащего. Одно слово *человек* в роли подлежащего само по себе слишком абстрактно и неопределенно (ср. *Умный человек не пропадет* и *Человек умный не пропадет*). Но ср. индивидуализацию слова *человек* посредством указательного местоимения *этот* и обособления сочетания *с умом* в предложении: *Этот человек, с умом, с талантом, с большими страстями, прожил яркую, интересную жизнь*. В предложении *С умом задумано, а без ума сделано* сочетание *с умом* служит для характеристики действия и выступает уже не как определение, а как так называемое обстоятельство образа действия при сказуемом. Его синонимическим эквивалентом является наречие *умно*. Наконец, в предложении *Сердце с умом не в ладу* (которое является видоизменением известного грибоедовского афоризма «Ум с сердцем не в ладу») *с умом* выступает в роли дополнения, так как оно здесь обозначает соучастника действия, т. е. объект, сопоставляемый с субъектом состояния, с подлежащим *сердце*.

С другой стороны, в диалогической речи есть предложения, представляющие собой однословную реплику яркой модальной окраски, экспрессивную оценку сообщения собеседника (например: *Конечно! Еще бы! Как бы не так! Разве?* и т. п.). Такого рода нерасчлененные экспрессивные однословные предложения, естественно, не обрастают другими словами или членами, так как формы синтаксической связи здесь не имеют для себя даже морфологической опоры. По отношению к таким предложениям вообще неприменимо понятие «члены предложения».

Грамматическое членение двусоставного (двучленного) предложения в русском языке определяется (и даже предопределяется) устойчивостью так называемого номинативного строя предложения в семье индоевропейских языков. Подлежащее имеет вполне определенную и строго стабильную форму выражения: оно может быть выражено именительным падежом существительного и предметно-личного местоимения (или субстантивированным «эквивалентом» имени — словом или целым словосочетанием, например, у Гоголя в «Сорочинской ярмарке»: «*— Слышал ли ты, что поговаривают в народе? — продолжал с шишкой на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи*»), количественно-именным сочетанием, инфини-

тивом (*Грачи прилетели; Куда ты идешь?; Обидеть, обмануть его было бы и грешно, и жалко*).

С формально-грамматической точки зрения «. . . название предмета в предложении (разумеется, данное в независимой форме, т. е. в именительном падеже. — *В. В.*) будет всегда грамматическим подлежащим в отношении к сочетавшемуся с ним глаголу или прилагательному» [1]. Форма сказуемого (там, где это морфологически возможно) уподобляется форме подлежащего или координируется с ней. Морфологические способы выражения сказуемого в русском языке очень разнообразны. В роли сказуемого могут выступать не только глаголы в личных формах, а также в форме инфинитива, причастия, в единичных случаях — деепричастия, но и прилагательное полное и краткое, местоимение, числительное, существительное в именительном и косвенных падежах с предлогом и без предлога, наречие, междометие. Сказуемое бывает простым и составным или сложным; в роли сказуемого нередко выступают целые фразеологические обороты, устойчивые словосочетания, иногда даже сложные предложения, например, в приписываемом А. П. Чехову афоризме: «*Любовь — это когда кажется то, чего нет*». (Ср. в повести Ю. Трифонова «Студенты»: «*Где-то у старого писателя: „Любовь — это когда хочется то, чего нет и не бывает“. Так было всегда — Монтекки и Капулетти, Мадам Бовари, Анна Каренина. Для них любовь была жизнью, а жизнь — мучительством. И трагизм их страданий в том, что, борясь за свою любовь, они боролись за жизнь. Так было прежде, в глухие времена. „Любовь — это когда хочется того, чего нет, но что обязательно будет“*»). Несмотря на многообразие форм выражения сказуемого, формально-грамматический механизм его нахождения не очень сложен.

Языковая форма предложения не определяется всецело его грамматическим составом — отношением подлежащего и сказуемого. Фактически предложение существует как определенное единство своего состава, интонации и порядка слов. Воспользуемся простейшим примером для обоснования и развития этой мысли. Предложение *Поезд пришел* таит в себе возможности разных осмыслений, если изменять порядок слов и варьировать так называемое логическое ударение. Так, *Поезд пришёл* (с ударением на грамматическом сказуемом) — это сообщение о приходе поезда; *По́езд пришел* (с ударением на подлежащем) — это сообщение о том, что пришел именно поезд. При перестановке слов выступают новые оттенки: *Пришел по́езд* (какой-то поезд, о котором не было речи, которого не ждали); *Пришёл поезд* (тот самый, который нужен, которого ждали) [2]. Само собой разумеется, что смысловые возможности данной грамматической конструкции неизмеримо возрастают, если воспользоваться при ее звуковой реализации всем многообразием интонационно-синтаксических ресурсов русского языка.

---

[1] А. А. Шахматов. Ук. соч., стр. 25.

[2] Пример заимствован мною из доклада покойного доцента А. В. Бельского об интонации как средстве детерминирования и предицирования в современном русском языке.

Разнообразие возможных смысловых применений одного и того же «формально-грамматического предложения», обусловленных порядком слов, ударением и интонацией, у нас еще не было предметом широкого и всестороннего синтаксического исследования. Обычно все эти вопросы относятся к стилистике, которая еще не успела установиться как научная дисциплина. Лишь так называемое логическое ударение и достигаемые его перемещением смысловые эффекты интересовали отдельных наших синтаксистов. Логическое ударение рассматривается некоторыми из них как одно из средств выражения и выделения предиката (сказуемого), как способ разрешения конфликта между экспрессивной задачей сообщения и устоявшимися схемами формально-грамматического предложения.

Сущность логического ударения заключается в подчеркивании того или иного слова или словосочетания в данном предложении. Обычно говорится, что выделенный ударением член предложения становится приписываемым или приписанным остальной части предложения как предикат в логическом или психологическом смысле этого термина (по устаревшей терминологии, «психологическое сказуемое» или «психологический предикат»). Согласно такой точке зрения, чаще всего опирающейся на психологические или логические теории предложения, любое слово предложения (или целое словосочетание — при его интонационном подчеркивании), несущее на себе логическое ударение, может стать предикатом, сказуемым (иногда говорят осторожнее и точнее: выражением логического предиката). Иными словами, утверждается, что при соответствующем использовании интонационных средств логический (или психологический) предикат может быть выражен любым словом предложения. С этим связывается возможность выражения ряда мыслей, иногда совершенно различных, при посредстве одного и того же лексико-синтаксического состава предложения. При перемещении логического ударения одно и то же «формально-грамматическое предложение» по-разному членится на части, различающиеся между собой по степени важности, «новизны» сообщения: одна из таких частей выражает данное, уже известное содержание мысли, другая — высказывает новое, открываемое и сообщаемое в речи. Выделяемая ударением часть предложения становится важнейшим в данной связи и в данной ситуации его членом, словесным выражением логического или психологического предиката («психологическим сказуемым»), а все остальные члены предложения должны выражать по отношению к этому предикату субъект (или подлежащее). С этой точки зрения, грамматическое учение о главных и второстепенных членах предложения устанавливает лишь внешнюю, формальную схему строения предложения, так как в одном и том же предложении находят разное выражение субъекты и предикаты разных суждений. Так, например, указывается, что благодаря ударению выражением предиката может стать дополнение с его атрибутами.

Совершенно ясно, что такого рода рассуждения соединяются с опирающимся на те или иные философские предпосылки анализом отношений

суждения и предложения. До сих пор эти рассуждения чаще всего приводили к терминологической путанице и к противопоставлению грамматического и логического (а иногда говорят: смыслового) членения предложения. Между тем вопрос о типических способах смыслового использования одного и того же формально-грамматического предложения очень важен для синтаксиса, особенно для синтаксиса стилистического. Изучение типизованных форм применения одной и той же синтаксической схемы предложения для выражения разного содержания — интересная задача стилистики национального языка.

Есть заслуживающие внимания попытки освободить изучение соответствующего круга явлений от голой формально-логической интерпретации. Так, чешский лингвист В. Матезиус[1] предлагал различать общее формально-грамматическое, структурное членение предложения и его «актуальное членение», выражающее непосредственный, конкретный смысл данного предложения в соответствующем контексте или ситуации. Если основными элементами формального членения являются подлежащее и сказуемое (грамматический субъект и грамматический предикат, иногда, как у Шахматова, «группа подлежащего» и «группа сказуемого»), то при актуальном членении следует прежде всего выделять «исходный пункт» (východište věty) или «основу» (základ) высказывания, т. е. то, что в данной ситуации, в данных условиях общения, речи известно или, по крайней мере, очевидно и из чего говорящий исходит, и «ядро высказывания», т. е. то, что говорящий высказывает в связи с «исходным пунктом» или по отношению к нему. Связи одного и того же по своему формальному строению предложения с конкретной ситуацией и контекстом могут быть очень различными. Следовательно, в зависимости от различия возможных ситуаций и контекста актуальное членение предложения может быть весьма разнообразным. Очень часто эти различия в осмыслении одного и того же предложения выражаются в вариациях порядка слов, а соответственно с этим и порядка, в котором следуют друг за другом основа и ядро высказывания. В повествовательном предложении обычен порядок слов, начинающийся с изложения основы (т. е. того, что известно) и направляющийся к ядру высказывания; этот порядок можно назвать объективным. Но когда — вследствие специфической эмоциональной мотивировки (обусловленной взволнованностью, внутренней заинтересованностью говорящего, его желанием подчеркнуть что-нибудь и т. п.) — возникает необходимость грамматически выразить эмоцию, отношение говорящего к предмету сообщения, тогда образуется субъективный порядок слов. В этом случае говорящий начинает с ядра высказывания и только потом

---

[1] См. V. Mathesius. O tak zvaném aktuálním členění větném. Сб. «Čeština a obecný jazykozpyt». Praha, 1947, str. 234—242; «Rozpor mezi aktuálním členěním souvětí a jeho organickou stavbou». Там же, str. 360—366; «Základní funkce českého pořadku slov». Там же, str. 327—352. Ср. его же. Řeč a sloh. Сб. «Čtení o jazyce a poesii», sv. I. Praha, 1942, str. 11—102. См. также статью О. Лешки. К вопросу о структурализме. «Вопросы языкознания», 1953, № 5, стр. 97—98.

добавляет его основу, раскрывая лишь в самом конце речи связь с ситуацией или контекстом. Такой субъективный порядок словорасположения, размещения ядра высказывания и его основы является нормальным в предложениях вопросительных, побудительных и восклицательных. Актуальное членение является основным фактором, определяющим порядок слов в предложении, а также его членение на интонационно-смысловые группы.

Необходимо отметить, что сходные мысли по поводу смыслового членения предложения не раз высказывались и нашими языковедами (например, А. В. Добиашем, акад. Л. В. Щербой). Едва ли не последней по времени была попытка К. Г. Крушельницкой рассмотреть смысловое соотношение частей предложения с точки зрения наличия в них «данного» и «нового»[1]. Согласно этому взгляду, различная смысловая нагрузка членов предложения, выражаемая порядком слов, логическим ударением и т. п., заключается в том, что они обозначают либо нечто данное, известное для слушающего, служа исходным пунктом высказывания, либо же нечто, сообщаемое как новое, основное в высказывании; новое — это то, ради чего и делается сообщение, — его смысл, цель.

Состав данного в устной речи определяется ситуацией, в письменной речи — контекстом. Но часто предмет, явление, даже и не будучи упомянутыми в контексте, представляются автору данными — в силу своей связи с другими, уже упомянутыми фактами или в силу своей общеизвестности.

Как данное, так и новое может выражаться различными членами предложения, в распространенных предложениях — целыми группами слов, в сложных — целыми предложениями.

Основным принципом обычного словорасположения в спокойной деловой речи является постановка на первое место члена предложения (или группы их), выражающего данное, а за ним того, что сообщается как новое. Однако в языке сплошь и рядом имеют место отклонения от такого словорасположения, суть которых состоит в том, что новое предшествует данному. Этим достигается более сильное выделение нового, следовательно, бóльшая выразительность речи. Такой порядок слов особенно характерен для эмоционально окрашенной речи, а также применяется как эмфатический прием в стилистических целях. Таким эмфатическим порядком слов может быть не только обратный, но и прямой, если подлежащее выражает не данное, а новое. Ср. *Несчастье случилось у них* и *У них случилось несчастье* и т. п.

Все относящиеся сюда вопросы очень интересны для грамматики. Исследование их, несомненно, будет содействовать более глубокому пониманию всех экспрессивно-выразительных синтаксических средств рус-

---

[1] См. кандидатскую диссертацию К. Г. Крушельницкой, а также ее статью «Смысловая функция порядка слов в немецком языке (сравнительно с русским)». «Уч. зап. Военного ин-та иностр. яз.», 1948, 5, стр. 21—36.

ского языка. Роль порядка слов как способа различения грамматических подлежащего и сказуемого предложения или как средства выделения подлежащего выступает лишь в строго определенных типах предложения: в предложениях тождества, в предложениях с инфинитивом и предикативным наречием или формой существительного в именительном падеже (например: *Мечта моего сына — стать художником*; *Стать художником — его затаенная мечта*) и некоторых других.

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения противопоставляются второстепенным: определению, дополнению и обстоятельству. Это противопоставление иногда принимает довольно своеобразный характер. Так, при логической интерпретации предложения у некоторых синтаксистов возникает мысль, что второстепенные члены предложения нельзя сопоставлять с главными, так как они выделяются не в результате членения предложения, а в результате членения частей предложения, а именно «группы подлежащего» и «группы сказуемого», соответствующих субъекту и предикату высказывания (например: *Побелевшие от инея деревья* ‖ *стояли по обеим сторонам дороги*). Отсюда поспешно делается вывод, что деление самого предложения на главные и второстепенные члены неправомерно, что предложение как таковое не имеет второстепенных членов, что второстепенные члены образуются лишь при расчленении основных частей предложения—группы подлежащего и группы сказуемого.

Оторванность этой точки зрения от живого разнообразия конкретно-языковых синтаксических явлений состоит, между прочим, в том, что она не учитывает широкого использования второстепенных членов предложения в обособленном употреблении, т. е. именно в тех случаях, когда их нельзя включить ни в группу подлежащего, ни в группу сказуемого. Например: «*Народ, с Петей в середине, бросился к балкону*» (Л. Толстой. Война и мир). Для понимания соотношения между главными и второстепенными членами предложения процессы обособления второстепенных членов посредством пауз, характерной интонации и более сильного ударения очень показательны. Обособление придает второстепенному члену относительно самостоятельное положение в предложении. Некоторые грамматисты видят в этом признак так называемой полупредикативности обособленных членов предложения и доказательство близости их к «придаточным предложениям». Обособляются чаще всего те второстепенные члены предложения, которые не могут быть связаны или намеренно не связываются с соседними словами, нагружены зависимыми от них пояснительными словами, значительно отдалены от слов, ими определяемых, или относятся к числу так называемых слабоуправляемых членов.

Обособленные члены и обособленные конструкции представляют собой своеобразные смысловые синтаксические единства внутри предложения, выделяемые средствами инверсии и интонации, — с целью придать более сильную выразительность содержащемуся в них понятию, образу, характеристике. Обособленные члены предложения обычно наполнены живой экспрессией, подчеркиваются логически или эмоционально; но от этого

они не перестают быть второстепенными членами в грамматическом смысле.

Хотя обособленный член предложения интонационно ставится в своеобразные синтаксические отношения к остальной — и вместе с тем основной — части предложения, хотя он приобретает относительно больший синтаксический вес по сравнению с соответствующим членом предложения, не подвергшимся обособлению, но он не перестает быть в структуре целого предложения вторичным и второстепенным его членом, синтаксически связанным с его основным предикативным ядром.

В то же время такие второстепенные члены предложения, как обстоятельства времени, пространства, причины, цели, уступки и условия могут непосредственно относиться ко всей остальной части предложения в целом, следовательно, не связываются непосредственно ни с группой подлежащего, ни с группой сказуемого. Например: «*Кругом молчанье и покой*» (Лермонтов. Беглец); «*Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу*» (Л. Толстой. Война и мир); «*Тут она заплакала и ушла от меня*» (Пушкин. Капитанская дочка); «*Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами*» (Тургенев. Льгов) и т. п.

Во второстепенных членах предложения как бы синтезируются, обобщаются по функции те разнообразные грамматические отношения, которые обнаруживаются между словами в строе словосочетаний. В структуре предложения словосочетания соединяются и выстраиваются в строго определенной иерархической перспективе. Служа для пояснения главных членов предложения — подлежащего и сказуемого, второстепенные члены могут в свою очередь определяться и дополняться поясняющими их самих второстепенными членами. Например: «*Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, На печальные поляны Льет печально свет она*» (Пушкин. Зимняя дорога); «*В томленьях грусти безнадежной, В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный, И снились милые черты*» (Пушкин. К Керн); «*Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал Жужжанью дальному упреков и похвал*» (Пушкин. Желание славы).

Наиболее глубоко и всесторонне развиваются процессы обобщения в системе определительных или атрибутивных конструкций. Поэтому подведение всего многообразия связей этого типа под категорию «определения» меньше всего вызывает затруднений и даже возражений. Правда, и тут не всегда грани между определением и дополнением, а также обстоятельством бывают ясными и точно очерченными. Ср. разную роль в предложении второго члена таких, например, словосочетаний: *полотенце для рук* (ср. *ручное полотенце*), *таз для умыванья, кольцо для штор, ножик для разрезания бумаг, стакан для лекарства, ключ от комода, лекарство от головной боли, яблоня в цвету, певица с хорошим голосом* и т. п.

Вместе с тем в строе распространенного предложения даже качественные определения, выраженные прилагательными, могут приобретать

обстоятельственный оттенок. Так, нередко отмечаются оттенки обстоятельственного значения в определительных словах, примыкающих в составе предложения к личной форме глагола. Совершенно ясно, что в этом случае в термин «обстоятельственное определение» вкладывается совсем другое значение по сравнению с обстоятельственно-определительными словами в словосочетаниях типа: *домик в саду*, *беседка у реки*, *крестьянин от сохи* и т. п; «обстоятельственный» понимается как синонимичный или соотносительный по функции, а отчасти и по характеру синтаксической связи с так называемыми обстоятельствами, зависящими от глагола. Такого рода обстоятельственное определение по смыслу связывается со сказуемым и в силу этого обозначает признак с оттенком образа действия, с оттенком причинным, условным, уступительным, а иногда даже не столько признак предмета, сколько его состояние, которым сопровождается действие. Обстоятельственное определение в известной степени эквивалентно деепричастному обороту при глаголе. Например: «*Довольный праздничным обедом, Сосед сопит перед соседом*» (Пушкин. Евгений Онегин). Ср.: «*. . . ласково перeругиваясь, веселые, с улыбками на потных лицах, мужики подходили к нему и тесно окружали его*» (Горький. Фома Гордеев).

И все же синтаксические признаки второстепенных членов предложения складываются и развиваются на базе твердо установившихся морфологических категорий и их функционально-синтаксического усложнения в системе разных типов словосочетаний. Именно так установилась категория определения, морфологическим ядром которой явились качественные и относительные прилагательные. Не менее определенны морфологические основы категории дополнения: формы и функции косвенных падежей имен существительных и местоимений в тех случаях, когда предметное значение имени не поглощается оттенками определительного и обстоятельственного характера и не растворяется в них. Морфологическую базу синтаксической категории обстоятельства составляют наречия и функционально близкие к ним формы косвенных падежей существительных (обычно с предлогом), когда в них закрепляются значения обстоятельственных отношений. Но функционально-синтаксические оттенки, облекающие морфологическое ядро категорий определения, дополнения и особенно обстоятельства, оказываются настолько сложными, а иногда и недифференцированными и внутренне противоречивыми, что они очень часто выходят за рамки этих категорий (ср., например, функции так называемого «объектного» инфинитива: *рассчитывал сегодня закончить работу*; *отрадно вспомнить* и т. д.) или создают ряд переходных, смешанных типов.

Таким образом, при зыбкости трех категорий второстепенных членов предложения — определения, дополнения и обстоятельства — очень важны наблюдения над случаями переходными и «синкретическими» (т. е. совмещающими значения разных членов предложения). Особенно много таких случаев в кругу обстоятельств. А. А. Шахматов недаром

различал обстоятельство определяющее, обстоятельство дополняющее и обстоятельство сопутствующее. Но не подлежит сомнению, что и в сфере тех дополнений, которые А. А. Шахматов в своем «Синтаксисе русского языка» назвал релятивными, современная школьная практика многие отнесла бы к обстоятельствам (а иногда и к определениям). Например: «*У нас есть общество, и тайные собранья По четвергам*» (Грибоедов. Горе от ума); ср. «*И жену он сыскал по себе*» (Тургенев. Однодворец Овсяников); «*Соседушка, я сыт по горло*» (Крылов. Демьянова уха); «*Кутузов был доволен успехом дня сверх ожидания*» (Л. Толстой. Война и мир); «*Старый ты человек, а глуп, прямо сказать, до святости*» (Андреев. Жили-были); «*Коляска помчалась во все ноги лошадей*» (Л. Толстой. Война и мир)[1].

Вообще признаки, которые кладутся в основу категории обстоятельства, двойственны: с одной стороны, сюда относятся наречия и слова наречного типа, выражающие отношения, а с другой стороны, сюда же включаются формы косвенных падежей имен существительных из определенных семантических разрядов, чаще всего в сочетании с предлогами (или в творительном, а также в винительном без предлогов), если они несут обстоятельственную функцию (т. е. могут быть ответом на вопросы обстоятельств: где, когда, куда, зачем и т. п.). Ср. «*Стоял богинин храм меж множества столпов*» (Богданович. Душенька); «*Но часто похвалы Бывают меж людей опаснее хулы*» (там же); «*Сидит невеста меж подруг*» (Лермонтов. Демон); «*. . . В родине моей Между пустынных рыбарей Наука дивная таится*» (Пушкин. Руслан и Людмила); «*Ты шагом едешь меж полей*» (там же).

Несомненно, что эти одинаковые и однотипные конструкции с предлогами *меж*, *между* и формой родительного падежа выступают в качестве разных членов предложения (обстоятельств и дополнений) только в зависимости от лексических значений соответствующих слов. Следовательно, выделение трех второстепенных «членов предложения» и распределение по их рубрикам всего многообразия живых синтаксических связей слов в составе предложения связано с искусственной схематизацией структуры предложения и далеко не всегда основано на собственно грамматических принципах.

Таким образом, традиционное учение о второстепенных членах предложения нуждается в коренном пересмотре. Этот пересмотр требует углубленного исследования всех видов синтаксических связей между словами как в формах словосочетаний, так и в структуре предложений. Дело в том, что в строе предложения синтаксические связи между словами, характерные для основных типов словосочетаний, расширяются и пополняются иными видами и типами связей. Особенно многообразны связи, возникающие и развивающиеся при предикативных отношениях. Поэтому общепризнано, что правила образования словосочетаний не охватывают всей грамматической схемы предложения и всех возможных ее осложнений.

---

[1] А. А. Шахматов. Ук. соч., стр. 358—392.

В числе правил, по которым составляются предложения, рядом с правилами образования словосочетаний находятся правила об отношениях членов предложения, правила о построении сложных или составных членов предложения, правила об осложнении предложения обособленными членами, вводными, модальными словами и частицами и т. д.

В речевой общественной практике разговорного обмена мыслями, в связи с конкретной ситуацией, при наличии мимики и жестов как вспомогательных выразительных средств, при большой экспрессивной силе интонаций формируются такие структурные типы предложений, в которых отсутствует словесное выражение каких-нибудь отдельных членов, ясных из контекста и ситуации. Например: «*Нет ни одной души в прихожей. Он в залу; дальше: никого*» (Пушкин. Евгений Онегин); «О с и п. *Куда тут?* М и ш к а. *Сюда, дядюшка, сюда*» (Гоголь. Ревизор); «Х л е с т а к о в. *Как, только два блюда?* С л у г а. *Только-с*» (там же); «*— А вы на каком факультете? — спросила она у студента. — На медицинском*» (Чехов. Именины); «*— Горячей воды! — говорит он ей на ходу. — И чистый халат, а этот сегодня же выстираете*» (Панова. Спутники).

Такие предложения, в словесной ткани которых «не хватает» одного или нескольких членов, обычно называются неполными. Однако чаще всего такие предложения не могут быть грамматически пополнены без нарушения синтаксических норм современного русского языка[1]. Это — своеобразные типизированные формы предложений разговорной речи, их особые структурные типы, которые вовсе не представляют собой нарушения норм «полных» предложений, требуемых абстрактно представляемой грамматической схемой. Эти живые структурные типы предложений разговорной, по преимуществу диалогической речи следует изучать не с точки зрения их предполагаемой формальной недостаточности или неполноты, а со стороны их собственных, специфических для них структурных свойств и функций. При таком анализе, при учете всех средств выражения, ситуации и контекста, при учете структурно-грамматических особенностей так называемых неполных предложений почти каждое из них окажется «полным», т. е. адекватным своему назначению и соответствующим образом выполняющим свою коммуникативную функцию.

Изучение этих форм предложений помогает еще лучше понять качественные отличия предложений от словосочетаний и содействует более глубокому и всестороннему пониманию вопроса о членах предложения и о их структурной роли. Необходимы углубленные исследования структуры простого предложения, синтаксических соотношений и взаимоотношений между членами предложения, посвященные детальному расчленению и грамматической характеристике тех форм синтаксической связи, которые подводятся под категории определения, дополнения и

---

[1] См. И. А. П о п о в а. Неполные предложения в современном русском языке. «Труды Ин-та языкознания», т. II. М., 1953, стр. 3—136.

обстоятельства, а также описанию переходных или «синкретических» случаев. Этим будет подготовлена научная база для всестороннего решения вопроса о членах предложения в современном русском языке [1].

V

В синтаксисе русского языка обычно различаются простое предложение и сложное предложение. На самом деле то, что называется простым предложением, иногда представляет собою очень сложную структуру. Простое предложение имеет не только разнообразные формы своего построения, разные типы, но оно может быть осложнено наличием обособленных и однородных членов.

Однородными называются такие выраженные отдельными словами или целыми словосочетаниями члены предложения, которые не только выполняют в составе данного предложения одну и ту же синтаксическую функцию, но и объединяются одинаковым отношением или одинаковой принадлежностью к одному и тому же члену предложения.

Например, в предложении «*Днем на мерзлую землю выпал сухой, мелкий снег. . .*» (Горький. Мать) прилагательные *сухой* и *мелкий*, каждое из которых непосредственно относится к слову *снег* в качестве его определения, являются однородными определениями. В предложении «*Крупный, мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким, мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки*» (Чехов. Тоска) стоящие в винительном падеже существительные *(на) крыши, (лошадиные) спины, плечи, шапки* образуют группу однородных дополнений, находящихся в одном синтаксическом отношении к сказуемому *ложится* (на что-нибудь).

Однородные члены предложения могут и не сочетаться в единую последовательную цепь перечисления, а располагаться группами, объединенными посредством союзов.

Главными способами выражения однородности членов предложения являются сочинительная связь (посредством соединительных, разделительных, противительных и сопоставительных союзов), интонация перечисления и соединительные паузы.

Например: «*Перед глазами ходил океан и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность*» (Короленко. Без языка); «*Лес зазвенел, застонал, затрещал*» (Некрасов. Саша).

VI

Простое предложение, независимо от наличия в нем однородных членов, объединено общностью, единством своего предикативного ядра.

---

[1] Синтаксис простого предложения тесно связан с изучением форм и типов словосочетаний, присущих данному языку. Общие принципы теории словосочетаний на материале русского языка изложены мною в ст. «Вопросы изучения словосочетаний», которая опубликована в журн. «Вопросы языкознания». М., Изд-во АН СССР, 1954, № 3.

Ведь даже в предложении с несколькими однородными сказуемыми сказуемые эти относятся к единому, общему для всех них подлежащему. Различие между простым и сложным предложениями — структурное. Простое предложение организуется посредством единой концентрации форм выражения категорий времени, модальности и лица; в сложном предложении может быть несколько органически связанных друг с другом конструктивных центров этого рода.

Внутреннее единство мысли, выражаемой сложным предложением с помощью интонации, а также средств синтаксической связи, спаивает эти части в одно синтаксическое целое, в единство предложения. Сложное предложение в целом имеет значение, которое не выводится из простой суммы значений входящих в него частей, по своему построению близких к простым предложениям.

Строительным материалом для сложного предложения является не слово и не словосочетание, а простое предложение. С л о ж н ы м называется предложение, представляющее единое интонационное и смысловое целое, но состоящее из таких частей (двух и больше), которые по своей внешней, формальной грамматической структуре более или менее однотипны с простыми предложениями. Хотя части сложного предложения по внешнему строению однородны с простыми предложениями, но в составе целого они не имеют смысловой и интонационной законченности, характерной для категории предложения, и, следовательно, не образуют отдельных предложений.

Например, рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда» начинается таким сложным предложением, которое составлено из четырех частей, связанных союзами и союзными словами, и которое образует единое смысловое и интонационное целое: «*Городок был маленький, хуже деревни,* | *и жили в нем почти одни только старики,*| *которые умирали так редко,*| *что даже досадно*».

Может с первого взгляда показаться, что начальная часть этого сложного предложения: *Городок был маленький, хуже деревни* представляет собою вполне самостоятельное, отдельное предложение, по отношению к которому остальные три части обнаруживают разные степени зависимости. Во второй части, следующей за начальной, — *и жили в нем почти одни только старики* — присоединительный союз *и*, местоимение *в нем* и порядок слов указывают на зависимое ее положение. Еще нагляднее зависимость обнаруживается в последующих частях, которые связываются с предшествующей частью и друг с другом посредством союзного слова *которые* и союза *что*. Однако уже присоединение словесного отрезка *и жили в нем почти одни только старики* к начальной части *Городок был маленький, хуже деревни* существенно видоизменяет ее синтаксическую роль. Союз *и* и общность грамматических форм прошедшего времени (*был маленький — жили*), относящихся к несовершенному, длительному виду, спаивают и объединяют обе эти части, лишая первую часть законченности.

В некоторых типах так называемых сложноподчиненных предложений по крайней мере одна из сочетающихся частей может внешне отличаться от однотипного простого предложения отсутствием какого-нибудь члена, необходимого для полноты смысла, например: *Я видел, что мне грозит опасность* (ср. *Я видел опасность, грозившую мне*).

Принципы описания и разграничения типов сложного предложения не могут считаться установленными. Формы грамматической абстракции, определяющие структурные своеобразия разных видов сложного предложения, не определены и не исследованы. Преобладавший в домарксистском языкознании способ характеристики разновидностей сложного предложения по союзам или относительным словам (иногда с привлечением соотносительных указательных слов и частиц) опирался на выделение лишь одной приметы, именно связочных частиц (союзов) или союзных слов в составе сложных предложений. Самая же структура той или иной разновидности, того или иного типа сложного предложения не разъяснялась: приемы строения частей, формы их соотношения и связи ближе не определялись; грамматическая схема целого и ее функциональное назначение в речи не уточнялись и даже совсем не исследовались.

От традиций домарксистского языкознания в этой области синтаксиса нам на долю досталась, с одной стороны, логико-семантическая точка зрения на отношения между основными частями сложного предложения — так называемыми главными и придаточными предложениями, а с другой стороны, перешла к нам формально и логически не вполне обоснованная лексико-семантическая классификация сложных предложений по словесным группам союзов и союзных слов (временны́м, причинным, целевым, определительным и т. п.).

Изучение же самой грамматической структуры сложного предложения, изучение построения его основных частей или членов, их количества, характера или качества связей между ними, соотношения их конструктивных элементов, вариаций в порядке их расположения и т. п., изучение грамматической сущности разных видов сложных предложений у нас еще только начинается.

Унаследованное от давней традиции деление всех сложных предложений на сложносочиненные и сложноподчиненные очень схематично и условно. Положенные в основу его понятия сочинения и подчинения не определены точно и не раскрыты всесторонне. Обычно под с о ч и н е н и е м предложений понимают сочетание (посредством сочинительных союзов — соединительных, противительных, сопоставительных и разделительных) двух или нескольких предложений, объединенных ритмомелодически, равноценных в грамматическом отношении и — при тесной смысловой связанности друг с другом — все же самостоятельных; п о д ч и н е н и е м же предложений называют такое сочетание (посредством подчинительных союзов и относительных слов) предложений, при котором одно из сочетающихся предложений, называемое придаточным, или выполняет функцию какого-нибудь члена другого (главного) предложе-

ния, или, во всяком случае, находится по смыслу и по грамматическим отношениям в зависимости от другого (главного) предложения. Однако еще проф. В. А. Богородицкий заявлял, что «обычное деление всех сложных предложений на сложносочиненные и сложноподчиненные страдает некоторою искусственностью» и не отражает «живого разнообразия языка». «Исследователь, — писал В. А. Богородицкий, — должен стремиться к тому, чтобы бестенденциозно определить типы связей или отношений между обеими частями сложных предложений и способов формального обозначения этих связей в речи»[1]. Наличие типа сложных предложений, переходного между сочинением и подчинением, такого, в котором «обе части сложного предложения взаимно обусловливают друг друга», казалось В. А. Богородицкому несомненным. Во многих случаях сочинение, т. е. связь предложений на началах «равноправия», взаимной независимости, и подчинение, т. е. связь предложений на основе зависимости одного из них от другого, сближаются и даже взаимно переплетаются (ср., например, сочетание уступительных союзов в первой части сложного предложения с противительными во второй: *хотя — но*, *несмотря на то, что — все же* и т. п.).

В связях, которые по внешности кажутся сочинительными, при более глубоком структурном анализе выступают элементы подчинения (ср., например, некоторые типы сложносочиненных предложений с союзами *и*, *а* и т. п.). Подчинение составных частей сложного предложения иногда оказывается не односторонним, а обоюдным, взаимным. Так, о двойных союзах *лишь только — как*, *едва — как*, *только что — как* и т. п. (вообще о союзах времени со значением близкого или внезапного следования одного факта за другим, например, *Только что он вошел, как началась музыка*) проф. А. М. Пешковский писал: «. . . решить, что чему подчинено, невозможно. . . Случаи эти. . . приходится поставить, собственно, вне подчинения и сочинения, как особый вид связи, при котором необратимое отношение выражено одновременно и однородно в обоих соотносящихся. . . Условно такое соединение предложений можно назвать „взаимным подчинением“»[2]. Вместе с тем, в подчинении обнаруживаются и элементы сочинения. Так, если взять сложносочиненное предложение типа *Отец долго не приезжал из города, и это беспокоило всю семью* и произвести в нем замену сочетания *и это* относительным местоимением *что*: *Отец долго не приезжал из города, что беспокоило всю семью*, то получится так называемое «относительное подчинение», при котором связь между частями сложного предложения становится гораздо теснее и зависимость второй части еще ощутительнее. И все же резкой грани между этими двумя типами сложных предложений нет. Так же как и при сочинении, при относительном подчинении первая часть раскрывает содер-

---

[1] В. А. Богородицкий. Общий курс русской грамматики. М., ОГИЗ, 1935, стр. 229.

[2] А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 6-е. М., Учпедгиз, 1938, стр. 416—417.

жание местоимения (*что*; ср. *и это*), которым начинается вторая часть. Порядок предложений также остается прежним и строго неизменным. Поэтому можно сказать, что в относительном подчинении этого типа есть элементы сочинения, а в синонимичном с ним присоединительном сочинении налицо элементы подчинения [1].

В сложносочиненных предложениях наблюдаются разнообразные формы и степени синтаксической взаимозависимости и взаимообусловленности основных частей синтаксического целого. Следовательно, степеней зависимости друг от друга структурных частей в сложном предложении оказывается много, провести резкую границу между сочинением и подчинением часто представляется невозможным. Дело осложняется еще тем, что применение категорий сочинения и подчинения к бессоюзным сложным предложениям обычно обставляется такими существенными оговорками, что теряется точный смысл самих терминов «сочинение» и «подчинение».

Так, А. М. Пешковский в первых двух изданиях своего «Русского синтаксиса» заявлял: «... бессоюзие, если даже и различать при нем оттенки подчинения и сочинения, следует во всяком случае отделить от настоящего союзного сочинения и подчинения»[2]. Современные исследователи синтаксического строя бессоюзных предложений также уверяют, что в бессоюзных предложениях взаимозависимость частей не переходит в грамматически выраженное подчинение [3].

В бессоюзных сложных предложениях связь частей и синтаксическая цельность всего сложного единства выражается ритмомелодическими средствами и соотносительностью строения их основных конструктивных единиц. Бессоюзные сложные предложения могут быть синонимичны союзным [например, «*Я знаю*: *в вашем сердце есть И гордость и прямая честь*» (Пушкин. Евгений Онегин)]. Но круг отношений, выражаемых бессоюзными сложными предложениями, не совпадает с соответствующими функциями сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Отличаются они от других типов сложных предложений своей компактностью и своими широкими возможностями сцепления и объединения простых предложений. Например: «*Светлеет воздух*, *видней дорога*, *яснеет небо*, *белеют тучки*, *зеленеют поля*» (Тургенев. Лес и степь); «*Шум*, *хохот*, *беготня*, *поклоны*, *Галоп*, *мазурка*, *вальс*» (Пушкин. Евгений Онегин); «*Ты богат*, *я очень беден*; *Ты прозаик*, *я поэт*» (Пушкин. Ты и я).

Вместе с тем становится все более ясным, что в способах связи частей бессоюзного предложения нередко играют очень большую роль лекси-

---

[1] См. статью И. А. Поповой. Сложносочиненное предложение в современном русском языке. Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка». Учпедгиз, 1950, стр. 356 и сл.

[2] А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 2-е. М., 1920, стр. 447.

[3] См. статью Н. С. Поспелова. О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений. Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», стр. 347.

ческие элементы, которые типизируются, обобщаются и выступают вместе с интонацией в качестве своеобразного синтаксического средства объединения предложений в бессоюзное сложное целое.

Для некоторых типов бессоюзных сложных предложений характерно использование местоименных слов или других видов слов отвлеченного значения в качестве средств синтаксической связи.

«*Странный был этот день — такие бывают только во сне*» (Фадеев. Молодая гвардия). «Фамусов. *Обычай мой такой: Подписано, так с плеч долой*» (Грибоедов. Горе от ума).

Таким образом, при изучении сложных предложений не следует увлекаться механическим разнесением разных их видов по рубрикам сочинения и подчинения, а нужно стремиться полно и всесторонне описать структурные особенности всех основных типов сложных предложений. Необходимо сосредоточить внимание на всех конструктивных формах сложного предложения, включая и интонацию, и порядок слов, и наличие или отсутствие соотносительных с союзом слов, и синтаксические функции типизированных лексических элементов, и разные способы морфологического выражения синтаксической связи, например, при посредстве форм вида и времени глагола и др.

Учитывая сложный характер синтаксических отношений между сочетающимися предложениями, многообразие форм и способов их связи, можно говорить не только о двух слишком общих категориях сочинения и подчинения, но и о различных видах или типах связывания, сцепления и объединения предложений, и о разных функциях этих видов или типов объединения предложений как строительного материала в структуре сложного предложения. Таким образом, понятия подчинения и сочинения находятся в диалектической связи и взаимодействии.

Степень тесноты соединения частей и характер зависимости одной от другой бывают очень различны в сложных предложениях разного типа. Кроме того, традиционная аналогия между так называемыми придаточными предложениями и членами простого предложения, проводившаяся прежде, а иногда проводимая и теперь с неуклонной и односторонней прямолинейностью, на самом деле может иметь лишь очень ограниченное и условное применение. Прежде всего ясно, что некоторые типы сложноподчиненных предложений (например, сравнительные, условные, следственные, уступительные, разные формы временных и др.) не имеют прямой аналогии с соответствующими видами обстоятельства как второстепенного члена предложения. Функция так называемых дополнительных придаточных предложений может быть сравниваема с дополнением лишь в том случае, если они относятся к глаголу [(например, «*Наташа несомненно знала, что он восхищается ею*» (Л. Толстой. Война и мир); ср.: «*Я знаю, век уж мой измерен. . .*» (Пушкин. Евгений Онегин)]; если же они относятся к имени существительному, то они ближе к определению.

В тех случаях, когда придаточные предложения механически приравниваются к развернутым членам простого предложения, анализ и группировка их при наличии указательных местоимений в главном бывают основаны на смешении синтаксических функций самих придаточных предложений с синтаксическими функциями тех местоименных слов, к которым они присоединяются и которые они поясняют. Так, обычно говорится, что придаточные сказуемные возникают тогда, когда сказуемым служит местоимение как заместитель прилагательного или существительного. Местоименное сказуемое (*таков, такой, тот, тот же, тот же самый, то* в функции имени существительного) обычно рассматривается как неполноценное сказуемое, как намек на сказуемое; это — неконкретное, невещественное сказуемое; настоящее же, вещественное, конкретное содержание этого сказуемого раскрывается в придаточном предложении. Например, в сложном предложении *Шум был такой, какой бывает во время сильного морского прибоя* придаточное сказуемное имеет оттенок сравнения; в предложении *Шум был такой, что мы не слышали друг друга* придаточное сказуемное имеет оттенок следствия. Ср. чисто определительное значение придаточного сказуемного: «*Вы сегодня не такой, каким я вас видела до сих пор*» (Тургенев. Дворянское гнездо).

После отрицательного или вопросительного главного предложения придаточное сказуемное начинается союзом *чтобы* и обозначает нереальность действия, например: *Таковы ли обстоятельства, чтобы сидеть сложа руки?* Ср. другие типы так называемых придаточных сказуемных: «*—Мы те, Которые, здесь роясь в темноте, Питаем вас*» (Крылов. Листы и корни); «*Я для нее то же, что вот для этой пальмы паутина. . .*» (Чехов. Рассказ неизвестного человека).

Ясно, что со структурно-синтаксической точки зрения перед нами разные виды сложных предложений.

Совершенно аналогичными рассуждениями сопровождается описание так называемых придаточных подлежащных предложений. Обычно отмечается, что наиболее характерные условия их образования кроются в неконкретности подлежащего главного предложения, выраженного указательным местоимением, или же в необходимости выразить отсутствующее подлежащее главного предложения. В соответствии с этим выделяются два основных типа придаточных подлежащных предложений (с несколькими подразделениями внутри каждого из них).

К первому типу относятся предложения такого рода: «*Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит*» (Пушкин. Станционный смотритель); «*Те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы*» (Лермонтов. Бэла); *Кто ленив, тот сонлив; Что с возу упало, то пропало; Что было, то сплыло.*

Ко второму типу причисляются те придаточные подлежащные предложения, которые выполняют смысловую и синтаксическую роль отсутствующего подлежащего при сказуемом главного предложения.

Видов таких конструкций обычно насчитывается пять:

а) «. . . *Известно, что Слоны в диковинку у нас. . .*» (Крылов. Слон и Моська)»; «*Лизе и в голову не приходило, что она патриотка. . .*» (Тургенев. Дворянское гнездо); б) «*У дядюшки было заведено, чтобы, когда он приезжает с охоты, в холостой-охотнической Митька играл на балалайке*» (Л. Толстой. Война и мир); в) «*И слышно было до рассвета, Как ликовал француз*» (Лермонтов. Бородино); г) «. . . *Все кажется мне, будто в тряском беге По мерзлой пашне мчусь я на телеге*» (Пушкин. Домик в Коломне); д) «*Не правда ли, что мы краса долины всей?*» (Крылов. Листы и корни).

И тут механически объединены структурно разнородные виды сложных предложений (ср.: *Интересно, прекрасна ли там земля* и *Кто ленив, тот сонлив*).

Совершенно очевидно, что отношения частей внутри сложного предложения с грамматической точки зрения не тождественны и не параллельны отношениям слов внутри простого предложения (ср. прежде всего придаточные предложения следствия). Поиски соответствий и параллелизма в этих отношениях чаще всего уводят в сторону от изучения синтаксической специфики разных видов сложного предложения. Иное дело — вопрос о синонимике разных синтаксических конструкций. Синонимические отношения между членами предложения и так называемыми придаточными предложениями во многих случаях очень ощутительны.

Следовательно, основной задачей изучения сложных предложений является точная грамматическая характеристика их структуры и определение их типов и групп, отличающихся друг от друга как по выражаемым ими отношениям, так и по особенностям их структуры. В качестве способа первоначальной ориентировки можно пользоваться традиционным делением сложных предложений на сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные. Внимательный анализ материала приведет к новым принципам его группировки.

Одним из самых важных вопросов строя сложного предложения является вопрос о способах использования и сочетания простых предложений и их элементов как строительного материала, лежащего в основе сложных предложений. Например, в сложносочиненных предложениях с союзом *но* в качестве частей противопоставления используются простые предложения, сходные или соотносительные по своей структуре: «Т у з е н б а х. *Здесь в городе решительно никто не понимает музыки, ни одна душа, но я, я понимаю. . .*» (Чехов. Три сестры).

Ср. структуру предложения: *Я знал, что он не придет*, где так называемое простое предложение *Я знал* представляет своеобразно препарированную часть простого предложения (например, *Я знал его характер*; *Я знал о его нежелании прийти* и т. п.).

Сложносочиненными предложениями называются сложные предложения, части которых объединены при помощи союзов отношениями соединительными, сопоставительными, разделительными или противительными. Несмотря на кажущееся равноправие частей, они образуют струк-

турно-синтаксическое и смысловое единство, в котором отдельные части взаимозависимы. Средством связи и вместе с тем взаимообусловленности отдельных частей сложносочиненного предложения служат сочинительные союзы, интонация, а также структурное соотношение этих частей. Если рассматривать сложное предложение этого типа в процессе его динамического развертывания, то — при любом характере соединительной связи — только первое предложение можно условно признать построенным свободно; структура же второго предложения (и последующих, если они есть) в значительной степени определена и обусловлена отношением к первому и синтаксической природой тех или иных сочинительных связей и отношений. Например, в сложном предложении, в котором для объединения частей применяются союзы *а*, *но*, *однако*, *же*, *зато*, порядок слов второго предложения зависит от характера противительного соотношения его с первым предложением. Точно так же употребление местоимений как способ указания на взаимосвязь частей сложного предложения, общность его отдельных членов или, при известных условиях, эллипсис (опущение) некоторых слов в составе второго предложения — все это служит ярким свидетельством взаимосвязи, взаимообусловленности и даже взаимозависимости основных частей сложносочиненного предложения.

Большая роль в объединении основных частей сложносочиненного предложения принадлежит видо-временны́м формам глагола.

Вообще структура сложносочиненного предложения внутренне едина, и при анализе его как целого становится ясной и структурная обусловленность первого, начального предложения. Поэтому традиционные представления о независимости и самостоятельности предложений, объединенных в структуре сложносочиненного предложения, очень условны и произвольны. Не только содержание, но и структурные своеобразия каждого из предложений в составе сложного предложения взаимообусловлены и взаимосвязаны. Вот примеры соотносительности и взаимосвязанности, взаимообусловленности основных частей сложносочиненного предложения и отдельных членов внутри этих частей:

1) «*Вдали попрежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками*» (Чехов. Степь).

Кроме общности форм времени в обоих предложениях, связь частей устанавливается также употреблением местоимения *она* во втором предложении и соотносительным параллелизмом слов и словосочетаний: *попрежнему машет крыльями — все еще. . . похожа на. . . человечка, размахивающего руками*. Ср. «*Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий*» (Достоевский. Бедные люди).

2) «*Ты всегда был строг ко мне, и ты был справедлив. . .*» (Тургенев. Рудин).

3) При наличии оттенка причинно-следственного соотношения: «*Я понял, что я дитя в ее глазах — и мне стало очень тяжело!*» (Тургенев. Первая любовь). Ср. иное соотношение основных частей: «*Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться*» (Лермонтов. Бэла).

В сложном предложении *Я понял, что я дитя в ее глазах — и мне стало очень тяжело!* безличное предложение выражает состояние как следствие того, о чем сообщается в первой части сложного предложения. Формы прошедшего времени совершенного вида, находящиеся в обеих частях сложного предложения, выражают последовательность событий.

В сложном предложении *Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться* безличное предложение выдвинуто на первый план. В нем сообщается о наступившем состоянии духоты, вследствие чего герой вышел из сакли.

Таким образом, в структурном отношении части этих сложных предложений однотипны, но их положение, их порядок в составе целого могут меняться.

Характерен параллелизм структуры обеих частей сложного предложения, связанных союзом *а*, при наличии лексически совпадающих элементов, но с отсутствием во второй части сложного предложения какого-нибудь члена предложения, уже названного в первой.

Например: «*Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую*» (Пушкин. Пиковая дама); «*Катерина Ивановна с ворчливым супругом отправились в свою комнату, а дочка — в свою*» (Лермонтов. Княгиня Лиговская); «М ы к и н. *Холостой человек думает о службе, а женатый о жене*» (А. Островский. Доходное место); «*Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку*» (Чехов. Степь).

Точно так же в сложносочиненном предложении с союзом *же* (которое редко — и только при наличии строго определенных условий — может состоять из трех основных частей, обычно же двучленно) соотношения двух сопоставляемых или противопоставляемых частей подчинены строго определенным правилам.

Эти правила довольно разнообразны, так как ими охватываются и случаи сочетания посредством союза *же* разных видов простых предложений с разным порядком слов, и случаи сочетания простого предложения со сложным, и случаи сочетания двух сложных предложений разного строения.

Достаточно в качестве иллюстрации привести пример такого сложного предложения из романа Л. Толстого «Воскресение»: «*Когда он считал нужным умерять свои потребности и носил старую шинель и не пил вина, все считали это странностью и какой-то хвастливой оригинальностью, когда же он тратил большие деньги на охоту или на устройство необыкновенного роскошного кабинета, то все хвалили его вкус и дарили ему дорогие вещи*».

Таким образом, изучение всех способов выражения структурных отношений, создающих внутреннее единство сложного предложения, является одной из основных задач синтаксиса. Эта задача сохраняет всю свою силу и по отношению к сложноподчиненным предложениям. Но тут она значительно осложняется.

В сложноподчиненных предложениях части объединяются подчинительными союзами, относительными местоимениями и местоименными

наречиям, интонацией последовательного повышения и понижения, а также соотношением форм времени, реже — наклонения или соотносительностью других членов.

Напряженные поиски новых принципов группировки сложноподчиненных предложений, основанной на глубоком анализе конструктивного соотношения их частей, еще не привели к вполне определенным общим результатам. Поэтому в общедоступном изложении русского синтаксиса пока нецелесообразно воспроизводить, например, классификацию сложноподчиненных предложений на односоставные (или одночленные) и двусоставные (или двучленные), предложенную А. А. Шахматовым. Одночленными А. А. Шахматов признавал такие сложноподчиненные предложения, в которых придаточное предложение может рассматриваться соотносительно с функцией развернутого члена главного предложения. Например, «*Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат*» (Чехов. Каштанка). (Ср. *Каштанка оглянулась и увидела полк солдат, шедший на нее по улице*). Ср. «*Я думал уж о форме плана, И как героя назову. . .*» (Пушкин. Евгений Онегин).

Двусоставными (или двучленными) считались те предложения, которые, будучи соотносительными друг с другом, не могли существовать одно без другого (со значением уступительных, условных, следственных отношений и др.). Эта классификация, в сущности, очень мало способствует выяснению структурных особенностей разных типов сложноподчиненных предложений. Возьмем в качестве простейшего примера сложные предложения с относительным подчинением определительного значения. Разнообразие их видов обусловлено не только различиями значений определительных частей, связанных с разными относительными словами — *который*, *какой*, *что*, *чей* и т. п. и с соотносительными указательными — *такой*, *тот* и т. п. Оно обусловлено также разными видами соотносительности форм времени в частях сложного предложения. Например, «*Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день*» (Горький. Челкаш). (Ср. *Море спало здоровым сном работника, который сильно устает за день*); «*Это был типичный донецкий город, жизнь которого без завода бессмысленна и невозможна*» (Попов. Сталь и шлак). (Ср. *Это был типичный донецкий город, жизнь которого без завода была бессмысленна и невозможна*).

Кроме того, от сложных предложений этого типа с чисто определительными частями следует решительно отделять такие, в которых часть, вводимая относительным местоимением, выполняет не определительную, а распространительно-повествовательную функцию. Тут обычно обнаруживаются и несколько иные принципы соотношения форм времени, и некоторые своеобразия в структуре второй части. Показательна в этом случае и невозможность употребления в первой части указательного местоимения. Например: «. . . *Я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей. . .*» (Пушкин, Капитанская дочка). Если бы было сказано:

«на ту тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей», то смысл был бы другой, определительный: тут было бы указание на уже известную, ранее упомянутую клячу, с которой были связаны какие-то эпизоды в предшествующем повествовании; форма прошедшего времени *отдал* получила бы значение преждепрошедшего («некогда, когда-то отдал»). Местоимение *тот* служит для указания на конкретный, единичный, выделяемый из ряда других предмет.

Ср. другие виды относительных подчинительных конструкций со значением распространительно-повествовательным: *«Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого передо мною должны открыться двери храма науки»* (Горький. Мои университеты); *«Я познакомился сегодня с замечательным артистом, который говорит глазами, ртом, ушами, кончиком носа и пальцев, едва заметными движениями, поворотами»* (Станиславский. Работа актера над собой). Ср. *Я познакомился сегодня с замечательным артистом: он говорит глазами, ртом, ушами. . .*

Любопытно, что для того и другого типа этих сложных предложений с относительным подчинением возможны синонимические конструкции простых предложений с причастными оборотами.

В некоторых видах сложноподчиненных предложений наличие параллельных форм сопряжено с существенными различиями в модальных соотношениях частей, например, в сложных предложениях, в которых зависимая часть начинается союзом *прежде чем*: *«Прежде чем уйти со сцены, я остановился и снова на минуту вошел в роль. . .»* (Станиславский. Работа актера над собой).

Здесь инфинитивная конструкция при союзе *прежде чем* выражает яркую модальную окрашенность действия («прежде чем пришлось», «прежде чем стало необходимо» и т. п.).

Как отмечают исследователи русского синтаксиса, употребление в придаточном предложении инфинитива указывает на важность, необходимость, желательность до совершения основного действия, указываемого в придаточном предложении, осуществления другого действия, которое отодвигает осуществление этого основного действия [1].

Употребление форм изъявительного наклонения в обеих частях выражает объективное констатирование отношений предшествования и последования.

Ср. *Прежде чем я ушел со сцены, я остановился и снова на минуту вошел в роль.*

Вместе с тем, так называемые сложноподчиненные предложения, например, с союзами времени *между тем как, тогда как* или с условным союзом *если — то*, иногда выражают сопоставительные отношения сочинительного характера, обычно в плане одновременности изображае-

---

[1] См. А. Н. Гвоздев. Очерки по стилистике русского языка. М., Учпедгиз, 1952, стр. 304.

мых явлений. Такого рода конструкции свойственны преимущественно литературно-книжной речи, в особенности ее научно-деловому стилю.

Например: «*Нарочитая пассивная поза слабейшего, естественно, ведет к падению агрессивной реакции сильнейшего, тогда как, хотя бы и бессильное, сопротивление слабейшего только усиливает разрушительное возбуждение сильнейшего*» (И. Павлов. Рефлекс свободы).

Наряду с этим в системе сложноподчиненных предложений встречаются такие предложения, в которых обе части не только взаимоподчинены, но как бы связаны фразеологически. Предложения этого типа включают в свой состав союзные фразеологические сочетания, создающие костяк предложения, определяющие схему его синтаксического построения. Фразеологические единства, лежащие в основе таких структур, разъединены («дистантны»): одна часть их помещается в первой части сложного предложения, обычно в начале его, другая начинает вторую часть. Например, «*Он подозвал командира и не успел выговорить и двух слов, как что-то палящее ошпарило его плечо*» (Вс. Иванов. Пархоменко). Ср. также сложные предложения, в основе которых лежат фразеологические сочетания: *не прошло. . . как. . .*; *стоило. . . как. . .* и др. [1]

Таким образом, структурные типы сложноподчиненных предложений очень многообразны. Широкий охват материала русского языка в этой синтаксической сфере поможет нашей грамматике в ближайшем будущем освободиться от предвзятых схем и расположить в стройной системе, соответствующей синтаксическим законам и правилам русского языка, многообразие явлений живой языковой действительности.

---

[1] См. статью В. А. Белошапковой. К изучению типов сложного предложения. «Доклады и сообщения Ин-та языкознания», вып. II. М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 25—31.

В. Н. ЯРЦЕВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

Существуя как средство общения людей в обществе и обмена мыслями между людьми, язык всегда облекает эти мысли в определенную форму. Грамматика составляет неотъемлемую часть специфики языка потому, что язык именно благодаря грамматике получает возможность облечь человеческие мысли в материальную языковую оболочку, что и делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе.

В грамматике имеются две основные части: морфология, являющаяся собранием правил об изменении слов, и синтаксис, представляющий собой учение о предложении, о сочетании слов в предложении. Обе части — морфология и синтаксис — отдельные и равноправные разделы науки о языке; вместе с тем они дополняют друг друга, поскольку взаимодействие между морфологическими и синтаксическими явлениями строя языка наблюдается в системе языка в каждый момент его существования. В задачу синтаксиса, ведающего правилами о сочетании слов в предложении, входит выделение и изучение синтаксических единиц различного порядка. Выделяя предложения простые и сложные, мы можем выделять также группы слов, объединенные синтаксически и по смыслу, но не составляющие законченного предложения. Поэтому на основе живых семантико-синтаксических связей, действующих в данном языке, выделяются словосочетания различного типа, которые должны изучаться как в их отношении к предложению, так и по их связям с членами предложения.

Хотя литература по вопросам словосочетания весьма обширна, предметом спора до сих пор остается как сама природа словосочетания, так и принципы отграничения словосочетания от слова, с одной стороны, и от предложения, с другой.

Согласно формально-логическому направлению в грамматике, предложение определяли как словесный эквивалент логического суждения. Понятно, что при такой постановке вопроса части предложения, равные членам суждения, не изучались с точки зрения их языковой специфики. Психологическое направление в грамматике конца XIX—начала XX в. принесло не только иное определение предложения, но и повышенный интерес к словосочетаниям различного типа. Однако здесь быстро дала себя почувствовать чисто психологическая основа определений единиц языка, мешавшая объективному изучению языковых фактов. При-

рода предложения не была раскрыта в определениях сторонников младограмматического направления в языкознании. Оно смешивалось со словосочетанием и понималось как одна из его разновидностей. Так, например, Ф. Ф. Фортунатов дает следующее определение интересующих нас категорий: «Словосочетанием я называю такое целое, которое образуется сочетанием в мышлении, а потому и в речи одного цельного полного слова с другим цельным полным словом как с частью в предложении. Подобное сочетание выражает в речи по отношению к говорящему лицу сочетание в его мышлении представления одного слова с представлением другого слова» [1].

Фортунатов различает словосочетания законченные и незаконченные, самостоятельная часть которых представляет собой часть другого словосочетания. Что касается законченного словосочетания, то оно представляет собой предложение, поскольку части такого словосочетания относятся друг к другу как подлежащее и сказуемое предложения.

Поэтому вполне последовательно Фортунатов приходит к заключению, что «законченное словосочетание и предложение полное — синонимы в языковедении» [2].

Такой же точки зрения придерживается и профессор В. К. Поржезинский, пишущий, что «всякое соединение самостоятельных слов в речи, будет ли оно выражением целого психологического суждения или его части, я называю вслед за Ф. Ф. Фортунатовым словосочетанием» [3]. Следовательно, для русского языка законченными словосочетаниями с грамматически обозначенными сказуемым и подлежащим, а поэтому называемыми Поржезинским грамматическими предложениями, будут такие случаи, как *Петр пришел*, *птица летит*, *отец добр* и т. д.

А. М. Пешковский также не видит качественной разницы между словосочетанием и предложением. Выдвигая для синтаксиса два центральных понятия — форма слова и форма словосочетания, Пешковский полагает, что два слова составляют словосочетание, если они соединены одновременно и в речи, и в мысли, поскольку, по его мнению, словосочетание, как и слово, есть «единство внешне-внутреннее, физико-психическое». Полагая, что словосочетание может состоять из любого количества слов при условии все того же физико-психического единства, Пешковский приводит пример: *и тут всем существом ему почувствовалось, что наступила наконец пора мысль о побеге привести в исполнение* и заключает, что как отдельные части этого примера (*ему почувствовалось, всем существом ему почувствовалось* и т. д.), так и весь он в целом, состоящий из двух предложений, может рассматриваться как одно словосочетание, т. е. представляет собой физико-психическое единство [4].

---

[1] Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Литографированный курс лекций, 1899—1900 гг., стр. 260.

[2] Там же, стр. 262.

[3] В. Поржезинский. Введение в языковедение, 1916, стр. 152—153.

[4] А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении, 1938, стр. 62.

Более четкое подразделение словосочетаний дает А. А. Шахматов, подчиняющий словосочетание предложению. Так же как и Фортунатов, Шахматов отделяет словосочетания законченные и незаконченные и считает, что «учение о словосочетаниях рассмотрит только незаконченные словосочетания; законченные же словосочетания, т. е. предложения, оно исследует постольку, поскольку их анализ не касается наиболее существенных моментов предложения, т. е. способов выражения главных членов предложения» [1]. Главным признаком законченного словосочетания Шахматов считает предикативность, полагая, что «предикативные отношения обнаруживают уже наличность предложения» [2].

Таким образом, если у ряда русских лингвистов мы находим определение предложения как разновидности словосочетания, то в концепции Шахматова незаконченные словосочетания входят в состав предложения и именно они и составляют предмет изучения словосочетания в синтаксисе.

Выделяемое на базе предложения словосочетание выступает как определенная синтаксическая единица и поэтому может служить самостоятельным объектом изучения. В. В. Виноградов дает следующее объяснение отношений словосочетания и предложения: «словосочетание только в составе предложения и через предложение входит в систему коммуникативных категорий речи, средств сообщения. Но оно относится так же, как слово, и к области „номинативных“ средств языка, средств обозначения. Оно так же, как и слово, представляет собой строительный материал, используемый в процессе языкового общения» [3].

Из всего сказанного выше ясно, как важно представлять себе сходства и отличия между словом и словосочетанием, с одной стороны, и словосочетанием и предложением, с другой. Западноевропейские лингвисты смешивают закономерности слова, словосочетания и предложения, не видя качественных различий между ними. Так, Й. Рис полностью игнорирует предложение, полагая, что только звук, слово и словосочетание могут быть объектами грамматики. Словосочетание, по Рису, объемлет все виды синтаксических форм, начиная от соединения двух слов и кончая сложным предложением. Подвидами словосочетания наряду с предложением являются словесные группы (Wortgruppen), сходные по функции с отдельным словом [4]. По мнению Есперсена [5], синтаксические отношения предикативного типа, обозначаемые им термином nexus, одинаковы в независимом nexus типа the dog barks «собака лает» или зависимого nexus типа cleverness — being clever, arrival — the act of arriving. Сюда же Еспер-

---

[1] А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка, 1941, стр. 274.

[2] Там же, стр. 37.

[3] В. В. Виноградов. Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М. Пешковского. Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950, стр. 38.

[4] J. Ries. Zur Wortgruppenlehre. Prague, 1928.

[5] O. Jespersen. Essentials of English Grammar, London, 1933.

сен включает и связи дополнения и предикативного определения в примере I found the cage empty «я нашел клетку пустой».

Американский лингвист Л. Блумфилд считает сочетание любых двух элементов равноценными, будь то сочетание подлежащего и сказуемого (John fell), определения и определяемого (poor John) или двух морфем в слове (a+way в away; play+ing в playing) [1]. Подобное сопоставление отношений слов в словосочетании с отношениями морфем в отдельном слове свидетельствует о недостаточном учете западноевропейскими учеными специфики грамматики и нежелании разграничить явления лексики, морфологии и синтаксиса.

Как мы уже говорили, словосочетание выделяется на базе предложения. Точка зрения на предложение, как на одну из разновидностей словосочетания, не верна потому, что, по существу, уничтожает предложение как грамматически оформленную единицу речи, имеющую присущие ей структурно-семантические черты, характерные для предложения каждого данного языка. Разумеется, можно изучать связи между сочетающимися словами вне единичных предложений. Это возможно потому, что грамматика имеет дело не с конкретными и единичными, а с общими, абстрагированными явлениями. В языке же мы находим не бесконечный набор разрозненных словосочетаний, а предложения, состоящие из слов и словосочетаний. Установление того положения, что словосочетания выделяются на основе семантико-синтаксических связей, существующих в предложении, естественно влечет за собой вопрос о том, как же связано членение этого типа с обычным анализом предложения по его членам — главным и второстепенным. Соотношение членов предложения и частей словосочетания таково, что, с одной стороны, объединение членов предложения, как, например, определения и определяемого, глагола-сказуемого и его дополнения, глагола-сказуемого и обстоятельства, дают словосочетания различного типа, а с другой стороны, словосочетание может выступать в качестве одного из членов предложения. «Члены предложения, — как пишет академик В. В. Виноградов, — это синтаксические категории, возникающие в предложении и отражающие отношения между его частями. Сюда обычно относятся категории подлежащего, сказуемого, определения, дополнения и обстоятельства. . . Живые, действенные члены предложения в современном русском языке устанавливаются на основе анализа предложения и разграничения функций, которые несут слова и группы слов в строе предложения» [2].

Таким образом, изучение словосочетания должно вестись в его отношениях к выделяемым членам предложения. Исторические изменения, происходящие в составе словосочетания, тем самым оказываются связанными с изменением структуры предложения.

Не каждые два слова составляют словосочетание. Формы выражения смысловых связей зависят от структурных особенностей изучаемого

---

[1] L. Bloomfield. Language, New York, 1935.

[2] В. В. Виноградов. Ук. соч., стр. 70.

языка, однако некоторые положения о типологии словосочетания могут быть высказаны и в общей форме.

«Предложение может распадаться на отрезки, представляющие собой группу слов, объединенную по смыслу и по грамматическим отношениям, или же на отдельные слова. Грамматические единства внутри предложения, состоящие не менее чем из двух полнозначных (не служебных) слов, называются с л о в о с о ч е т а н и я м и», — таково определение, даваемое авторами академической грамматики русского языка[1]. Действительно, для понимания структуры словосочетания, а также его взаимоотношений с членами предложения существенно указание на знаменательность сочетающихся слов. Поэтому выражения «сочетание слов» и «словосочетание», употребленные в терминологическом значении, не синонимичны.

Если рассмотреть сочетание служебного и полнозначного слова, например, предлога и существительного, то мы обнаружим, что в зависимости от характера служебного слова структурные типы подобного рода объединений будут различны, но их нельзя все в равной мере определять как словосочетания. Предлог безусловно имеет свое, хотя и своеобразное, лексическое значение. Если мы сравним такие примеры, как *книга на столе* и *книга в столе*; *весь дом на моих руках* и *весь дом в моих руках*, то мы увидим, что различие в значении лежит целиком на предлоге. Однако эти же примеры показывают, что объединение только предлога с существительным (*на столе*, *в комнате*, анг. with him) не дает словосочетания, ибо не имеет необходимой структурной законченности. В словосочетаниях *большая корзина* или *взять книгу* структурная и смысловая целостность определяется объединением именно этих двух слов; в соединениях с предлогом последний как бы указывает еще на один элемент сочетания: (*лежит*) на *столе*; (*находится*) в *комнате*; (came) with him. Следовательно, если сочетание предлога с существительным можно называть сочетанием двух слов (ибо предлог — это слово, хотя и служебного назначения), то на этом и кончается его сходство с тем, что мы называем словосочетанием. Различные разряды слов дают соединения разного типа, и если словосочетание мы выделяем на основе живых семантико-синтаксических связей, существующих в предложениях данного языка, то предлог всегда выступает в предложении как имеющий двустороннюю связь. В процессе исторического развития конструкции с предлогами часто оказываются неустойчивыми и подверженными синтаксическому переразложению. Так, в истории английского языка мы наблюдаем, что предлог все больше начинает тяготеть к глаголу и, отрываясь от существительного, становится частью глагольного лексического единства. Например: He was waiting for me «Он ждал меня», где конструкция трехчленная из wait+for+me превратилась в двучленную: wait for+me.

Если обратиться к соединениям с другими типами служебных слов, например, с вспомогательными или со служебными глаголами, то хотя

[1] «Грамматика русского языка», т. I, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 10.

эти формы объединения частичного и знаменательного слов будут отличны от рассмотренных нами выше, они также не будут давать словосочетания. С вспомогательными глаголами, например: have, be, shall, will, в английском языке образуются сложные морфологические формы, которые, следовательно, принадлежат морфологии. Служебные глаголы, не будучи полнозначными, передают лишь форму существования качества, или свойства, или состояния, которое выражено второй частью группы «служебный глагол + предикативный член». В своем прошлом эти служебные глаголы могли выступать как глаголы полнозначные и в соединении с другим знаменательным словом образовывать словосочетание. Однако в процессе исторического развития языка эти глаголы, подвергаясь процессу грамматизации, перестали выделяться в предложении как самостоятельные члены предложения, а в словосочетании как его полноценный компонент.

Как показывает история служебных глаголов в английском языке, полнозначные глаголы (обычно глаголы «широкой семантики», например, *стоять*, *падать*, *ходить* и др.) в соединении со вторым членом словосочетания — обстоятельством или предикативным определением — грамматизуются и переосмысляются, становясь характеристикой длительности пребывания в каком-либо состоянии (обычное развитие для *стоять*, *ходить* и им подобных) или передачей перемены состояния, начала действия (обычное развитие для глаголов *падать*, *расти* и им подобных).

Конечно, различные глаголы обнаруживают различные степени грамматизации. Одним из критериев этой грамматизации является возможность соединять данный глагол с таким компонентом, значение которого противоречит исходному лексическому значению глагола, ставшего служебным. (Например: It grew smaller «стал меньше», дословно «вырос меньше»). Однако и в тех случаях, когда служебный глагол еще не полностью грамматизовался и поэтому его сочетаемость лексически ограничена (например, в равной мере можно сказать he turned red «он покраснел» и he turned pale «он побледнел», но возможно только he flushed red «он покраснел» и невозможно he flushed pale), все же его служебное назначение вызывает его объединение с предикативным членом в единый лексико-фразеологический комплекс и не дает нам права усматривать здесь словосочетание. Следовательно, если данный служебный глагол широко сочетается с различными предикативными членами, не взирая на их лексическое значение (например, английский глагол to keep в he kept on asking, on insisting, on thinking, on proposing), то мы видим бо́льшую степень грамматизации, отвлечения от конкретного, единичного и выражение данным служебным глаголом обобщенного грамматического значения длительности протекающего процесса. В данном случае мы имеем один член предложения, выраженный соединением служебного и знаменательного слова, не составляющих вместе словосочетания, как это было ранее, а дающих сложный глагол. Но и в тех случаях, когда глагол, казалось бы, не достигает подобной степени абстрагирования, так как имеет очень узкий круг сочетающихся с ним полнозначных слов

(случаи с глаголом: to fall в fall ill, fall silent, fall dumb, fall asleep, fall due, fall vacant), мы все же видим превращение бывшего словосочетания в фразеологическую единицу, эквивалентную слову, что не может в данный момент оцениваться как сочетание, состоящее из двух полнозначных слов, играющих определенную синтаксическую роль в составе предложения.

Такого рода случаи находим мы не только при объединении в словосочетании глагола и определения к подлежащему или глагола и обстоятельства. Аналогичный процесс утраты живых синтаксических связей в пределах словосочетания и превращения его в один член предложения, хотя раньше в этом словосочетании выделялось два члена предложения, находим мы при историческом преобразовании синтаксических отношений глагола и его прямого дополнения. В таком примере, как My turn of mind qualifies me to make a good tradesman (Ch. Bronte) «Мой склад ума делает меня способным быть хорошим торговцем», a good tradesman было вначале прямым дополнением к глаголу to make. Сам глагол to make мог сперва иметь только значение «делать», «производить». Однако с течением времени связь между глаголом и прямым дополнением переосмысляется, глагол постепенно теряет свое вещественное значение и начинает выражать только бытие явления, передаваемого предикативным членом — бывшим дополнением.

Кёрм в своей грамматике пишет относительно аналогичного примера She will make him a good wife «Она будет ему хорошей женой»: «Мы все еще смутно ощущаем здесь wife, как дополнение, но мы не можем обратить это предложение в пассивное, со словом wife в роли подлежащего, что доказывает, что wife на самом деле является предикативным членом при связке make. Здесь бывшее дополнение wife не отпадает..., потому что оно получает новую функцию» [1]. Следовательно, дополнение может превратиться в предикативный член при переосмыслении словосочетания «глагол+прямое дополнение».

Для словосочетания, состоявшего из глагола и слова, синтаксически выступавшего по отношению к глаголу как его прямое дополнение, можно наблюдать и другой путь исторического развития: не только превращение полнозначного глагола в служебный глагол, что мы находим в вышеприведенных примерах, но тесное объединение данного глагола со своим прямым дополнением, в итоге дающее фразеологическую единицу, эквивалентную слову. Последнее можно проследить, например, на истории фразеологической единицы to catch fire «загореться» (или to catch cold «простудиться»).

Еще недавно с глаголом catch встречались существительные, ныне с ним более не употребляемые, например: That I may catche slepe (Gower, Conf. III) «чтобы я мог уснуть». Вместе с тем такое употребительное сейчас фразеологическое единство, как catch sight of, встречается в ли-

---

[1] G. Curme. Syntax. Boston, 1932, p. 28.

тературе только с первой четверти XIX в. Сочетания с catch долгое время были свободными, и хотя глагол мог обнаруживать известный смысловой сдвиг, но наличие артикля при существительном, перемещение членов словосочетания, включение обстоятельственных слов показывало, что сращение членов словосочетания еще не произошло. См. примеры: Always climbing till we catch a fall (H. Smith. Works II) «Всегда карабкаясь, пока мы не упадем»; In Illyricim there is cold spring, ouer which if ye spread any clothes they catch a fire and burne (Hollend, Pliny, I) «В Иллирии есть такой источник, что если над ним развесить одежды, то они вспыхивают и сгорают»; A candel bat caugte hath fyre and flaseth (Langland, P. Plow) «Свеча, что вспыхнула и загорелась»; Rychard cahte ther hys doth (R. Gloucest) «Ричард нашел там свою смерть».

Все эти случаи показывают нам, что в среднеанглийском и в раннем новоанглийском разбираемое словосочетание с глаголом catch еще не составляло фразеологической единицы; сращение частей словосочетания, сопровождаемое сдвигом значения глагола, происходит в течение новоанглийского периода. При превращении свободного словосочетания в устойчивую фразеологическую единицу круг существительных, входящих в это объединение, значительно суживается, существительное непосредственно примыкает к глаголу и ничем не может от него быть отделено.

Надо заметить, что многие фразеологические единства подобного типа современного английского языка еще недавно были довольно свободны в смысле размещения своих частей, что, безусловно, доказывало, что еще не закончен процесс лексикализации некогда свободного словосочетания. Пример: I must crave your Lordship's patience to give him that hath a crabbed fortune leave to use a crooked style (R. Hyman. Elegant Epistles) «Я должен просить снисхождения вашей милости дать тому, который имеет трудную судьбу, разрешение употреблять извилистый стиль».

Для современного английского языка, где give leave «разрешить» выступает как фразеологическое единство, разрыв двух его частей, подобно тому, как мы это видим в вышеприведенном примере из письма XVI в., был бы невозможен.

При анализе вышеприведенного материала может возникнуть вопрос, не является ли словосочетание обязательно соединением двух членов предложения, не может ли определение словосочетания как семантико-синтаксического объединения двух знаменательных слов быть заменено определением словосочетания как соединения двух членов предложения. Такого рода тенденцию мы, действительно, обнаруживаем у некоторых лингвистов. Однако такого рода оценка синтаксических связей ошибочна. Во-первых, в этом случае учение о словосочетании пришлось бы целиком подчинить разбору по членам предложения, и тогда оно в сущности утратило бы всякий смысл, оказавшись как бы перелицовкой учения о членах предложения. Во-вторых, члены предложения вне предложения не существуют, а словосочетания существуют и вне предложения (в этом отношении уподобляясь словам), хотя выделяются только на базе предложения

(и тем отличаются от слов). Поэтому анализ по членам предложения соотносителен, но не тождествен выделению словосочетаний из предложений и анализу словосочетания.

Особенно важно указать, что анализ предложения по его членам в плане историческом часто резко расходится с вычленением из предложений словосочетаний различного типа. Следует сказать, что анализ по членам предложения далеко не охватывает собой все многообразие процессов, связанных с историей развития строя предложения в данном языке. Так, например, история синтаксического строя английского языка показывает, что, хотя структура предложения и структура словосочетания на протяжении ряда столетий значительно изменились, сам состав членов предложения остался тем же. Иными словами, как главные, так и второстепенные члены предложения с равным успехом выделяются на материале древнеанглийского и современного английского языка, хотя формы их связи вследствие изменения грамматических приемов передачи отношений между членами предложения будут иными.

Следует также заметить, что характер изменений, происходящих в процессе исторического развития предложения, связан с тем, какая часть речи выступает в роли данного члена предложения.

Примером этого может служить история обстоятельства в английском языке. Известно, что обстоятельства в древнеанглийском языке могли выражаться наречиями, а также существительными в косвенном падеже с предлогами или без них. В области обстоятельств, выраженных наречиями, мы почти не находим изменения. Отдельные наречия, выступавшие в роли обстоятельств, впоследствии объединились с глаголом и превратились в «глагольные послелоги». Однако и в этом случае только определенные разряды наречий, а именно старые наречия, по форме совпадавшие с предлогами, обнаружили подобные изменения. В целом же наречие как часть речи, выступавшая в роли обстоятельства, остается без особых изменений. Иное мы наблюдаем в случае выражения обстоятельства существительными в косвенном падеже, хотя и здесь приходится учитывать конкретные формы выражения обстоятельственных отношений. С редукцией флексий, происходившей в течение истории английского языка, все больший удельный вес приобретают предложные конструкции имени в роли обстоятельства. Однако только в случае выражения обстоятельства отглагольным существительным находим мы изменения принципиального порядка, поскольку глагольная природа этого существительного обусловливает его своеобразное развитие. С одной стороны, в процессе дальнейшего оглаголивания данного существительного на базе его могут образовываться обстоятельственные обороты; с другой стороны, обстоятельство может включаться в сложную форму глагола, с течением времени составив знаменательную часть аналитического спряжения глагола. В этом случае оно, естественно, исчезает как самостоятельный член предложения (см., например, историю «длительных времен» в английском языке).

Таким образом, развитие обстоятельства в различных направлениях зависит не столько от типа данного члена предложения, сколько от того, какие разряды слов выступают в этой роли и какие отношения благодаря различному характеру частей речи, функционирующих в роли обстоятельства, возникают между обстоятельством и другими членами предложения.

В зависимости от своей структуры члены распространенного простого предложения могут обнаружить бо́льшую или меньшую тенденцию к выделяемости и образованию словосочетаний такого порядка, связи между членами которых оказываются более тесными, чем подчиненность данного словосочетания тому члену предложения, от которого он зависит. Таковы, например, случаи сочетания с инфинитивом в обороте винительный с инфинитивом или причастия I, дающего вместе с зависимыми от него словами оборот с обстоятельственным или определительным значением.

Все это непосредственно связано с проблемой словосочетания, поскольку структурные типы этого последнего зависят от того, какие части речи объединяются в пределах словосочетания друг с другом. Мы уже видели, что лишь полнозначные части речи могут образовывать словосочетания; роль служебных слов (частиц речи) в структуре словосочетания совершенно иная. Сами типы объединения существительного с существительным, существительного с прилагательным, глагола с существительным, глагола с наречием и т. д. зависят от семантико-морфологических признаков этих частей речи. Поэтому если при изучении предложения должна быть поставлена проблема соотношения членов предложения и частей речи, точнее говоря, синтаксического функционирования частей речи в качестве членов предложения, то в такой же мере необходимо исследовать семантико-морфологические черты частей речи данного языка при анализе типов словосочетаний, в нем встречающихся.

Как мы уже видели по примерам, приведенным выше, процессы, происходящие в словосочетании, в конечном счете сказываются и на структуре предложения. Анализ истории словосочетаний в английском языке показывает, что во многих случаях их преобразование идет по пути утраты одним из членов словосочетания его лексического значения и превращения его в служебное слово. Тогда глагольное словосочетание с течением времени превращается в сложную форму глагола, и история развития аналитических форм английского глагола иллюстрирует нам процесс преобразования составного сказуемого, имевшего в качестве предикативного члена одну из неличных форм глагола, в аналитическую форму глагола, включенную в систему глагольного спряжения. В этом случае происходит перемещение данной конструкции из области синтаксиса в сферу морфологии и исчезновение ее как словосочетания.

Говоря о структуре словосочетания в его отношениях к предложению, необходимо остановиться на вопросе о том, в какой мере сополoжение членов словосочетания необходимо для его выделяемости. Как указывалось выше, Пешковский признавал словосочетанием только то соединение слов,

которое существует и в мысли, и в речи. Другие авторы, писавшие по вопросам словосочетания, не проводят подобной точки зрения.

Преувеличенное внимание к вопросам сополагаемости членов словосочетания и выделение этого момента как структурного критерия без учета других сторон дела не кажется нам правильным. Бесспорно, что два слова, составляющие словосочетание, объединяются вместе. Однако один из членов словосочетания может выступать с расширением (ср. *пью чай с молоком* в сопоставлении с *пью чай*) или с распространением (*пью слабкий чай*). Можно сказать, что двучленное словосочетание — это основной структурный тип и вместе с тем минимальный по своим пределам, хотя в процессе речи словосочетание в составе предложения может выступать и как простое, и как распространенное, и как расширенное. Поэтому служебные слова связующего типа (например, предлоги), не являясь членами словосочетания, могут участвовать в оформлении как простого, так и других типов словосочетания.

Различные способы оформления словосочетания и формы передачи смысловых связей между его членами зависят от грамматического строя языка. Исторические изменения в строе языка могут привести с течением времени к выдвижению новых грамматических приемов и постепенному отмиранию старых. Так, например, на протяжении истории английского языка, в связи с редукцией и частичным отпадением флексии, вместо двучленных сочетаний в группе «определение+определяемое» все больше и больше употребляются предлоги, заменяя собой согласование или управление, передаваемые формами сочетающихся слов. При этом могут создаваться расширенные группы, включающие целый ряд нанизанных определений. Вместе с тем, развитие служебных слов не меняет двучленного характера простых словосочетаний, поскольку, как было показано выше, предлог оказывается лишь связующим элементом между членами словосочетания, являющимися знаменательными словами.

Следовательно, при анализе формы связи между членами словосочетания необходимо анализировать всю систему грамматических средств данного языка в его национальном своеобразии, а не довольствоваться только указанием на сopоложение слов, входящих в словосочетание.

У зарубежных авторов мы часто находим в качестве единственного критерия связанности словосочетания указание на линейные свойства языка. Хаверс пишет, что, так же как живописец должен считаться с расположением рисунков на определенной плоскости, так же и говорящий для передачи содержания, которое он хочет выразить, должен считаться с необходимостью располагать языковые формы одна возле другой, так как они должны обладать протяженностью во времени. Поэтому Хаверс устанавливает некие априорные группы слов, члены которых не выступают обычно как изолированные элементы, а всегда примыкают друг к другу. Таковы глагол с существительным, существительное с прилагательным, предлог с падежной формой и т. д. Из этого можно заключить, по словам Хаверса, что предложение состоит, как правило, не из

слов, а из словесных групп (Wortgruppen)[1]. Точно так же и слушающий или читающий схватывает не отдельные слова, а целостные словесные группы, и это положение вещей всегда характеризует восприятие и воспроизводство родного языка. По мнению Хаверса, на этом линейном свойстве языка основано большинство синтаксических изменений, происходящих в языке, таких, как эллипс, образование устойчивых фразеологических единств и других процессов, имеющих в конечном счете психологическую подкладку. Так, немецкое Zoo вместо Zoo(logischer Garten) «Зоологический сад» или английское The Botanical(garden) «Ботанический сад» не были бы возможны, если бы не существовали привычно употребляемые словесные группы, члены которых настолько прочно ассоциируются один с другим, что воспроизведение одного из них мгновенно вызывает у слушающего воспоминание о другом.

Этот же закон психологии объясняет, почему мы говорим: Sie schlugen mit dem Schwerte drein. . ., но не говорим Sie schlugen mit dem Stuhle drein или mit Stühlen, так как это слово не связывается с глаголом schlagen.

Мы видим, таким образом, что у Хаверса синтаксический анализ подменяется психологическими рассуждениями и не устанавливаются ни функция словосочетания в предложении, ни синтаксические черты словосочетания, так как в определении «словесных групп» Хаверс исходит от тех частей речи, которые чаще всего выступают вместе в пределах словосочетания. Однако, хотя, как мы говорили выше, учения о частях словосочетания, членах предложения и частях речи имеют точки соприкосновения, нельзя подменять одно другим. Психологизм Хаверса приводит его к одностороннему пониманию сочетаемости слов только как результата линейности языка, вытекающего из психологической природы этого последнего. Таким образом, неверное понимание сущности языка приводит Хаверса и при решении частных вопросов языкознания к игнорированию языковой специфики изучаемого явления.

Следует заметить, что высказывания Хаверса по данному поводу сильно напоминают определение Ф. де Соссюром основных отношений в языке, как отношений синтагматических[2] и отношений ассоциативных. Как известно, Соссюр утверждал, что благодаря линейному характеру языка, исключающему возможность произнесения двух элементов сразу, слова выстраиваются одно за другим в речевой цепи и подобное сочетание, опирающееся на протяженность, может быть названо синтагмой. Находясь в синтагме, элемент языка имеет значимость лишь в силу противопоставленности другим элементам того же отрезка речи. Группировки слов на основании ассоциативных отношений характеризуются тем, что в наличии всегда будет лишь один элемент группы, вызывающий в сознании другие слова по самым разнообразным ассоциативным связям.

Недостатки подобного рода рассуждений те же, что и разобранные нами выше у Хаверса. При анализе словосочетания мы должны всегда

---

[1] W. Havers. Handbuch der erklärenden Syntax. Heidelberg, 1931.

[2] Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. М., 1933, стр. 121.

учитывать как смысловые, так и грамматические связи объединяемых слов, поскольку словосочетание является категорией синтаксиса и лишь наличие определенной грамматической формы позволяет нам утверждать выделяемость той или иной группы слов в пределах предложения. При этом отношения между словами внутри данной группы выявляют все многообразие смысловых оттенков, передаваемых лексическими и грамматическими средствами данного языка. Структура словосочетания передает смысловые отношения между его частями. В связи с этим встает вопрос, закономерно ли называть одним термином «словосочетание» такие группы слов, члены которых равноправны в синтаксическом отношении, и те, в которых отчетливо выделяется смысловой и грамматический центр. В русской лингвистической литературе словосочетания типа *мать и сын* [сидели возле дома] называются незамкнутыми и открытыми с точки зрения возможности их распространения или однородными с точки зрения характера соединяемых слов. Между тем мы наблюдаем, что этот тип объединения слов принципиально отличен от случаев, где одно из слов словосочетания выступает в роли смыслового центра и притягивает к себе другое слово (или другие слова). С точки зрения исторического развития только словосочетания этого последнего типа, к которому принадлежали все выше рассматривавшиеся нами примеры (т. е. грамматическое преобразование словосочетания или превращение его во фразеологическую единицу), обнаруживали изменения, приводящие в конечном счете к иному членению предложения и сдвигам в распределении его членов. Как правило, грамматический и смысловой центры совпадают. Однако с течением времени смысловой центр может сместиться и может начаться процесс перестройки словосочетания. Это мы находим, например, в случае сочетания переходного глагола, управлявшего винительным падежом прямого дополнения, при постепенном превращении его в глагол-связку (см. историю развития глагола make). При этом смысловым центром оказывается уже предикативный член, выраженный существительным, и это предопределяет дальнейшую грамматизацию глагола как служебного слова.

С вопросом о соотнесенности анализа предложения по членам предложения, с одной стороны, и по словосочетаниям, с другой, это связано потому, что, как мы указывали выше, в словосочетании могут объединяться два члена предложения и, в частности, главный член предложения (например, сказуемое) может объединиться с каким-либо второстепенным членом предложения: дополнением, обстоятельством и т. д.

Не следует замыкать изучение словосочетания лишь изучением связей второстепенных членов предложения, как это в конечном счете оказалось у А. А. Шахматова. «Расчленение предложения приводит,— писал Шахматов, — к определению в нем, если оно состоит не из одного слова, одного или двух словосочетаний, которые мы называем составами предложения; расчленение словосочетаний приводит к обнаружению в них грамматических единств, каковыми могут быть и отдельные слова и соединения нескольких слов; расчленение неоднословных грамматических единств

обнаруживает в них наличность одного господствующего, относительно независимого слова и других или нескольких других зависимых от господствующего слов» [1]. Согласно концепции Шахматова, именно эти господствующие слова являются главными членами предложения, в то время как все другие, входящие в состав как господствующего, так и зависимых грамматических единств, являются членами второстепенными. Правильно указывая на различную синтаксическую и смысловую соотнесенность слов в предложении и правильно определяя предикативное отношение как основную характеристику предложения, Шахматов все же не смог показать соотнесенность членов предложения и членов словосочетаний, так как свел учение о словосочетании к анализу второстепенных членов предложения, а вместе с тем анализ второстепенных членов предложения подменил вопросами словосочетания. В пределах каждого словосочетания мы находим относительно доминирующее слово, являющееся грамматическим центром словосочетания. Однако в процессе исторического развития языка отношения внутри словосочетания могут изменяться. Иллюстрацией этому является история словосочетания в английском языке, которое состояло из личной формы глагола и отглагольного существительного в косвенном падеже, игравшего роль обстоятельства в предложении (например, he was on huntinge, he stod in watching в буквальном переводе «он был в охоте, он находился в бдении»). Являясь выражением обстоятельства, при котором протекало действие, передаваемое личной формой глагола-сказуемого, отглагольное существительное с суффиксом -ing включалось в состав сказуемого и с течением времени дало сложную глагольную форму. Характер словосочетания при этом подвергался изменению, однако источником этих преобразований оказывались процессы, происходившие в пределах словосочетания. Поскольку вместо словосочетания, состоявшего некогда из двух членов предложения, вырастало словосочетание, представляющее собой один член предложения, состав членов предложения менялся. Таким образом, изменение синтаксической роли отдельных членов предложения в связи с их вхождением в постоянные словосочетания приводит не только к изменению структуры словосочетания и его внутреннего членения, но и к изменениям всего предложения в целом.

Совершенно прав В. П. Сухотин, когда пишет: «Семантическая целостность и частота употребления разного рода словосочетаний служит постоянно действующим источником новых качественных преобразований и пополнения лексико-фразеологического и грамматического фонда языка большим количеством фразеологизмов, идиоматических оборотов и аналитических конструкций» [2].

Исторический подход к структуре словосочетания дает возможность не только отграничить фразеологические единицы от свободных синта-

---

[1] А. А. Шахматов. Ук. соч., стр. 37—38.

[2] В. П. Сухотин. Проблема словосочетания в современном русском языке. Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», стр. 176.

ксических единств и таким образом разграничить области синтаксиса и фразеологии, но и объяснить изменения, происходящие в структуре предложения и его членов, тесно связанные с историей словосочетания в данном языке.

Подведем некоторые итоги всему вышеизложенному.

1. С проблемой изучения строя предложения тесно связан вопрос о словосочетании как определенной синтаксической единице. Выделение словосочетаний различного типа происходит на основе живых семантико-синтаксических связей, наличествующих в данном языке. С точки зрения своих структурных и семантических черт словосочетание может изучаться как самостоятельная синтаксическая единица, хотя само выделение словосочетания происходит лишь на базе предложения, частью которого оно является.

2. Неправомерна точка зрения тех лингвистов, которые считают предложение лишь разновидностью словосочетания (например, Пешковский, Фортунатов и др.), тем самым уничтожая специфику предложения. В работах зарубежных авторов (Ф. де Соссюр, Блумфилд, Есперсен и др.) непонимание сходства и различия между чертами слова и словосочетания, с одной стороны, и словосочетания и предложения, с другой, приводило к неправильному отождествлению этих трех величин и к одинаковой трактовке связей между членами предложения, частями словосочетания и морфемами слова.

3. Словосочетание представляет собой смысловое и грамматическое объединение двух полнозначных слов (например, *скучная книга*, *нести корзину*). Этот основной вид словосочетания имеет своими разновидностями словосочетания расширенные (*скучная*, *непонятная книга*, *нести корзину и пальто*) и распространенные (*необычайно скучная книга*, *нести тяжелую корзину*). Соединение служебного слова с полнозначным не образует словосочетания или образует неполное словосочетание (при некоторых разновидностях служебных слов, например, модальных глаголах).

4. Словосочетание должно иметь смысловой центр и центр грамматический, иначе говоря, одно из слов словосочетания должно быть грамматически господствующим. Как правило, грамматический и смысловой центры совпадают, однако при исторических изменениях словосочетания смысловым центром может стать другой его компонент, не являвшийся смысловым центром словосочетания раньше. Обычно это происходит при начале процесса грамматизации одного из членов словосочетания и, следовательно, постепенной утраты черт, характеризующих словосочетание (ср. сочетание со служебными глаголами, развившимися из глаголов полнозначных). Частный случай изменений словосочетания — это превращение его во фразеологическую единицу, «эквивалент слова», что также связано с изменением отношений между членами данного словосочетания, но что уже подлежит компетенции самостоятельного раздела науки о языке — фразеологии.

5. Предложение состоит из словосочетаний и слов, могущих не входить ни в одно из словосочетаний, наличествующих в данном предложении. Отсюда возникает вопрос о соотносительности членения предложения на словосочетания и слова, с одной стороны, и выделения в предложении членов предложения, с другой. Словосочетание может выступать как один член предложения или объединять в себе два члена предложения. Таким образом, анализ по членам предложения и анализ с выделением в предложении словосочетаний соотносительны, но не взаимозаменяемы. Изучение членов предложения вне предложения невозможно. Словосочетание, хотя и выделяется на базе предложения, представляет собой определенное самостоятельное единство, и поэтому законы сочетаемости слов, входящих в словосочетания в данном языке, структура словосочетания и его типы могут представлять собой объект изучения для отдельного раздела синтаксиса.

6. Выделяясь на основе предложения, словосочетания вместе с тем служат тем материалом, из которого строятся предложения, и в этом отношении имеют сходство со словами, также служащими для предложения строительным материалом. Однако совершенно неверно было бы делать из этого вывод, что словосочетание представляет собой нечто вроде расширения или распространения слова — это привело бы к уничтожению качественной разницы между словом и словосочетанием и неверному отождествлению их по одной сходной черте при наличии других черт, резко различных.

7. Словосочетание представляет собой категорию синтаксиса, определенную синтаксическую единицу, изучение которой необходимо соотносить с изучением структуры предложения и его членов. Это последнее положение вызывается тем обстоятельством, что изменения, происходящие в структуре словосочетания, могут приводить к иному членению предложения и, следовательно, к изменению анализа его по членам предложения. Например, превращение глагола и его прямого дополнения из словосочетания в устойчивую фразеологическую единицу, имевшее место в ряде случаев в истории английского языка, привело к невозможности выделять дополнение при некоторых глаголах как отдельный член предложения и, следовательно, к иному членению предложения. То же может относиться и к случаям преобразования одного из членов словосочетания в служебное слово и к вытекающему отсюда изменению структуры словосочетания, а следовательно, и структуры предложения и его членов.

О. С. АХМАНОВА

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ [1]

Хотя вопрос о предложении не подлежит специальному рассмотрению в настоящей работе, его необходимо затронуть для того, чтобы отграничить словосочетание от предложения: смешение этих двух принципиально различных категорий имеет место не только в буржуазной, но и в советской лингвистике.

В. В. Виноградов следующим образом характеризует различие между словосочетанием и предложением:

«Словосочетание и предложение — понятия разных семантических рядов и разных стилистических плоскостей. Они соответствуют разным формам мышления. Предложение — вовсе не разновидность словосочетания, так как существуют и слова-предложения. Но оно и по внутреннему существу своему, по своим конструктивным признакам непосредственно не выводимо из словосочетания. . . . Словосочетание только в составе предложения и через предложение входит в систему коммуникативных категорий речи, средств сообщения. Но оно относится так же, как и слово, и к области „номинативных“ средств языка, средств обозначения. Оно так же, как и слово, представляет собой строительный материал, используемый в процессе языкового общения. Предложение же — произведение из этого материала, содержащее сообщение о действительности. Словосочетание в русском языке, если оно не представляет собой фразеологического сращения или фразеологического единства, т. е. неразложимого семантического образования, свободно дробимо на слова и представляет собой продукт семантического распространения слова. Оно складывается из „частей речи“, но реализует все многообразие своих смысловых возможностей в предложении» [2]. «Словосочетание — это

---

[1] Историю вопроса о словосочетании см. у В. П. Сухотина. Проблема словосочетания в современном русском языке. «Вопросы синтаксиса современного русского языка». М., 1950, стр. 127—149. О словосочетании (в отличие от предложения, синтагмы и др.) см. у акад. В. В. Виноградова в том же сборнике, в ст. «Идеалистические основы синтаксической системы проф. А. М. Пешковского. . .», «Синтаксис русского языка акад. А. А. Шахматова» и особенно «Понятие синтагмы в синтаксисе русского языка».

[2] Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», стр. 38.

сочетание слов, организованное по законам данного языка и выражающее какое-нибудь понятие, хотя и сложное, и способное служить его обозначением. Это свободный эквивалент фразеологической единицы» [1].

Из сказанного никак не следует делать вывод, что для предложения совсем не имеет значения конструктивный момент, что учение о предложении может быть сведено к учению об интонационном оформлении высказываний. Вместе с В. В. Виноградовым и А. И. Смирницким мы считаем, что основным признаком предложения является предикативность, т. е. выражение предикации, под которой понимается отнесение содержания высказывания (предложения) к действительности — сообщение о действительности. Без предикативности высказывание не имеет практической, действенной ценности в общении людей.

Предикация обычно или нормально выражается определенным грамматическим оформлением предложения или какой-либо его части. Для выражения предикации могут быть наиболее приспособленными также определенные единицы лексики (как, например, глагол). Наконец, предикация в той или иной мере выражается интонацией, интонацией сообщения. Очень существенно при этом, что эти различные средства выражения часто вступают во взаимодействие и одно и то же конкретное средство может играть различную роль в зависимости от того, с чем оно сочетается. Хотя интонация и является как будто наиболее универсальным средством предикации, так что остальные средства применяются как бы на ее фоне, она нередко оказывается средством недостаточно точным и определенным. Потому она довольно часто отходит как бы на второй план, и ее роль становится мало заметной. Поэтому и письменная речь понимается без труда, несмотря на то, что интонация отражается в ней крайне несовершенно и условно (с помощью, главным образом, пунктуации).

Из сказанного следует, что предметом синтаксиса не может быть только предложение, рассматриваемое как «звуковая единица». Предметом синтаксиса является сочетание слов в предложении [2]. Следовательно, синтаксис должен изучать как специфическую природу предложения и его членов, так и свойства и особенности, правила и закономерности сочетания слов в предложении. Вместе с тем никак нельзя упускать из виду то обстоятельство, что в живой языковой действительности слова, поступая в распоряжение грамматики, входят одновременно друг с другом в сложные лексические взаимоотношения, почему совершенно неправильным и недостаточным является деление всех словосочетаний на две группы (вроде free и mechanized у Гардинера или синтаксических и лексических у И. И. Мещанинова). Реальное положение вещей во много раз сложнее такого грубого двойного деления и требует

[1] «Вопросы синтаксиса современного русского языка», стр. 42.

[2] См. И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. М., Госполитиздат, 1953, стр. 23—24.

поэтому гораздо более глубокого и тонкого исследования; оно не может быть понято на основе одних общих и приблизительных суждений, необходимо детальное и кропотливое изучение фактов разных конкретных языков. Обязательной предпосылкой должно явиться ясное различение следующих двух понятий: «сочетание слов в предложении и его правила» и «словосочетание», причем последнее не в качестве продукта любого сочетания или соединения слов, а как особого рода соединение, специфика которого и должна быть определена в отдельности для каждого языка. Это в высшей степени плодотворное различение, сделанное В. В. Виноградовым, занимает важное место в той синтаксической теории, которая в деталях и разрабатывается им в настоящее время.

Словосочетание принадлежит к той же грамматико-семантической сфере, что и слово, оно, так же как слово, имеет номинативный характер, относится к номинативным средствам языка. Так же, как и слово, оно может по-разному функционировать в предложении, наряду со словами входить в состав узловых центров предложения — его членов, на которые предложение делится в соответствии с теми узловыми пунктами, какие выделяются в нашей мысли. Хотя мы предполагаем остановиться на этом вопросе несколько подробнее ниже, необходимо сразу же обратить внимание на полную неправомерность делаемого теперь так часто вывода, что вопрос о таком членении мысли, то есть о членах предложения, уже не является предметом языкознания. Предложения различаются в разных языках не только действующими в них правилами сочетания слов. Они очень определенно различаются и строением членов предложения, т. е. характером расположения и соотношения тех узловых центров, о которых только что шла речь и для обозначения которых нет никакого основания вводить новые термины. Весьма существенно различаются в разных языках и особенности функционирования тех или других аналогичных (а в родственных языках даже тождественных по общей форме) словосочетаний.

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретного материала, нам очень важно несколько подробнее остановиться на синтаксической теории В. В. Виноградова[1].

Всякое предложение в известных нам языках непременно состоит из слова или слов. Если оно состоит из более чем одного слова, составляющие его слова соединяются по правилам грамматики. Однако не все правила соединения и не все виды связи между словами в предложении являются одинаковыми. Напротив, они очень резко качественно различаются. Из трех основных типов связи — атрибутивной, комплетивной и предикативной (мы принимаем классификацию А. И. Смирницкого)[2]

---

[1] См. Грамматика русского языка. Изд. АН СССР, т. II, ч. 1. М. 1954, а также статью В. В. Виноградова: «Вопросы изучения словосочетаний» («Вопросы языкознания», № 3, 1954).

[2] А. И. Смирницкий различает три вида синтаксической связи: атрибутивную, комплетивную и предикативную. Комплетивная, или дополнительная, связь

только первая всегда дает словосочетание; второй тип связи дает словосочетание только в своих более тесных формах; третий не дает его никогда.

Учение о словосочетании тесно связано с учением о частях речи. Словосочетания классифицируются по главному слову как именные, глагольные и т. п., и в зависимости от принадлежности к той или другой категории, выполняют разные функции в составе предложения и по-разному входят в состав сложных словосочетаний. Хотя такие понятия, как согласование, управление и т. п., относятся и к словосочетанию и к предложению, они имеют в отношении к этим категориям совершенно разный объем и характер. То же относится и к ритмико-интонационным средствам.

Как важное отличие словосочетаний от таких соединений (сочетаний) слов, которые ими не являются (например, при обособлении — *Никита, расчесанный, чистый, ...* в так называемом полупредикативном словосочетании — *усталая, она (нуждалась в отдыхе)*, или при однородных членах — *со страхом и жадно*; *между окнами и по стенам* и т. п.) отмечается наличие семантических ограничений для тех или иных типов словосочетаний, свойственная им «идиоматичность». Поэтому наряду с такими словосочетаниями, в которых атрибутивная или тесная комплетивная связь выступает в своем наиболее общем или собственно синтаксическом виде без сколько-нибудь существенных осложнений фразеологического характера и которые поэтому выступают как примеры словосочетания продуктивного[1] (например, *косить сено, нести дрова, серая туча, мокрый песок, усердно заниматься, ласково ответить* и т. п.), во всех известных нам языках имеются такие словосочетания, где синтаксические связи оказываются семантически несвободными, ограниченными со стороны фразеологических отношений между соединяемыми словами. В русском языке такого рода словосочетания особенно хорошо иллюстрируются на сочетаниях глаголов и отглагольных имен с предлогами (при совпадении предлога у глагола и образованного от него имени), например *надеяться, жаловаться, согласиться на* и, соответственно, *надежда, жалоба, согласие на* и т. п. Отсюда невозможность исследования синтаксиса языка без группировки слов по семантическим разрядам в зависимости от особенностей их синтактико-фразеологических связей. По мере усложнения фразеологических отношений мы переходим в область лексически связанных, непродуктивных словосочетаний и

служит для введения второстепенного члена предложения, связанного со сказуемым процессно-предметным отношением.

Комплетивная связь занимает как бы промежуточное положение между предикативной и атрибутивной. Эта связь не создает предложения. Посредством комплетивной связи слова включаются в предложение по мере его развития. В комплетивной связи каждый элемент более свободен, нежели в атрибутивной или предикативной связи.

[1] При этом входящие в них слова выступают в свободных или основных номинативных значениях. См. В. В. Виноградов. Основные типы лексических значений слова. «Вопросы языкознания». М., Изд-во АН СССР, 1953. № 5, стр. 3—30.

постепенно оказываемся за пределами живого синтаксиса, в сфере семантически замкнутых схем построения. Детальное изучение словосочетаний в разных языках должно дать обобщенные категории, на базе которых выделяются члены предложения.

В особую проблему синтаксиса предложения выделяется вопрос о типах предикативных конструкций. Как уже было сказано выше, предикативное сочетание (или предикативная конструкция) и синтаксические отношения между словами в этой конструкции подчинены особым законам, отличающимся от тех, которые действуют в словосочетании (например: *Слышишь ли ты? Слышу. Я считаю Вас честным. Пришел веселый* и т. п.). Характер связей в предложении гораздо сложнее, чем в словосочетании, так как в нем не только используются связи, свойственные словосочетанию, но вводятся еще и новые. Предложение отличается от словосочетания также особой интонацией — интонацией сообщения, которой словосочетание не знает.

Выше было сказано, что семантически несвободные словосочетания, ограниченные со стороны фразеологических отношений между соединяемыми словами, особенно хорошо иллюстрируются для русского языка на сочетаниях глаголов с предлогами (в области так называемого «предложного управления»). Специфичность таких связей, с вытекающей отсюда необходимостью, для подлинного проникновения в синтаксические особенности того или другого конкретного языка, группировки слов по семантическим разрядам в зависимости от особенностей их синтактико-фразеологических связей может легко быть показана и на материале, например, сравнения таких близкородственных языков, как скандинавские. При этом интересно отметить, что в некоторых скандинавских языках связь с предлогом оказывается настолько тесной, что предлог сохраняется и в конструкции с инфинитивом (ср. русское *надеяться на успех, надежда на успех, надеяться (на то, чтобы) успеть*) [1].

Риксмол	Шведский язык
Et stipendium hindret beslutningen **fra** at bli virkelighet.	Ett stipendium hindrade beslutet att bli verklighet.

Датский язык	Шведский язык
Han laengtes **efter** at vise Familien Bernholtz, hvad hans hvide Heste duede til.	Han längtade att visa den Bernholtzska familjen vad hans vita hästar dögo til.
Men nu straebte de **efter** at nedsaette dette Antal.	Men nu strävade de att nedbringa det (antalet ord).
Moderen havde bedt hende **om** at tage den gamle Frakke paa.	Modern hade bett henne taga på sig den gamla kappan.
Han overtalte Bonden **til** at købe noget jern og Haerdningsmateriale.	Han övertalade bonden att köpa järn och härdningsmaterial.

---

[1] Ср. Lage Hulthen. Studier i jämförande nunordisk syntax. Göteborg, 1944, S. 271.

Риксмол

Det var barna som hindret ham **i** å opløse hjemmet.

Lind går inn og hjelper Sniken **med** å plukke sammen de få tingene han har.

Шведский язык

Det var barnen som hindrade honom att upplösa hemmet.

Lind går in och hjälper Sniken att plocka ihop hans få saker.

То же с прилагательными:

Датский язык

Han var fast besluttet **paa** ikke at fordaerve sin Mave med alt kulsyreholdig Champagne.

Sigyn var ingenlunde uvillig **til** at svare.

Шведский язык

Han var fast besluten att inte fördärva sin mage med alltför kolsyrehaltig champagne.

Sigyn var alls inte ovillig att svara.

Риксмол

jeg var også glad **for** å få følge med Daniel.

Шведский язык

jag var också glad att få sällskap med Daniel.

Что касается предикативных конструкций, то хотя типы предикативных конструкций в близкородственных скандинавских языках в основном вполне совпадают, употребление тех или иных конструкций в этих языках оказывается далеко не одинаковым, что проявляется особенно наглядно при сравнении переводов с одного из таких языков на другой. Так, например, в датском языке (и, хотя и менее определенно, также и в риксмоле) предикативная конструкция с der употребляется гораздо шире, чем в шведском языке. (В связи с вопросом о различении предикативной конструкции и словосочетания важно обратить внимание на следующее обстоятельство. Если, сравнивая словосочетания в соответствующих языках, мы никогда не стали бы сопоставлять такие фразы, как, например: Han vill **uppmana** dem at hålla и Han vil **opfordre** dem til at holde или Alle var de **nysgjerige efter** at se и Alla voro **nyfikna att** se (Hulthen, цит. произв., стр. 274 и 276), поскольку там в центре внимания должен находиться фразеологический момент, здесь мы не только можем взять примеры с синонимами (moln, sky), но могли бы даже воспользоваться такими параллелями, как Der er bare stilheden tilbage — Endast tystnaden er kvar, поскольку здесь уже идет речь о конструкции и момент словосочетания, хотя он и включается, отходит на задний план).

Приведем примеры.

Датский язык

Der var et stort Spejl indfaeldet i Vaeggen ved Siden af Sengen.

Men **der** kom ingen Laeredreng.

Der var gaaet en lille Sky for Solen.

Шведский язык

En stor spegel var infälld i väggen vid sidan om sängen.

Men ingen lärpojke kom.

Ett litet moln hade gått för solen.

Т о ж е соотношение сохраняется между датским и шведским и в тех случаях, когда обстоятельство стоит на первом месте:

Датский язык	Шведский язык
I San Remo ventede **der** ham et helt nyt Liv.	I San Remo väntade honom ett (helt) nytt liv.
Der laa over hele Torvet en berusende Duft.	Over hela torget låg en berusande doft.

В тех случаях, когда определенное явление освещается не с точки зрения действующего лица, а с точки зрения ситуации, но не путем помещения обстоятельства на первое место (употребления обстоятельства в качестве логического подлежащего), в шведском языке употребляется предикативная конструкция с det. Например:

Датский язык	Шведский язык
Der sidder en mand i en sporvogn.	**Det** sitter en man i en spårvagn.
Hør nu her, Otto, **der** er noget, du skjuler for mig.	Hör på, Otto, **det** är något du döljer för mig.
Der var en berusende melodi bak rytmen.	**Det** var en berysande melodi bakom rytmen [1].

Приведенное сравнение предикативных конструкций в близкородственных языках показывает полную неприемлемость сведе́ния синтаксиса предложения к «распространению лингвистических моделей, перекрывающих изоглоссы, по определенной культурной области», как это делает Туодл (W. F. Twaddell), или к некой абстрактной «средней западноевропейской», как хотел бы Уорф (B. L. Whorf). Приведем еще пример. По-русски очень естественно употребляется глагол *оказываться* в конструкциях, начинающихся на *оказывается, что*. . . Однако соответствующее употребление близких к нему по общему характеру значения глаголов *показываться, рассматриваться* и т. п. практически невозможно. К чему приводит недооценка специфики языков в области с и н т а к с и с а п р е д л о ж е н и я, можно показать на примере неудачных попыток переводчика резюме статей на русский язык в «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», Heft 1/2, 3/4, 1946, S. 92 и 150: Es wird gezeigt, dass diese Aufgabe undurchführbar ist — «Показывается, что эта задача непроводима» (!); Es wird untersucht, ob ihnen linguistische Gruppen entsprechen — «Рассматривается поскольку (т. е. «ли», «соответствуют ли») им соответствуют лингвистические, звуковые группы». Оставляя в стороне «оказывается», которое представляет собой своего рода «модальное слово», неудачу указанного переводчика можно объяснить следующим образом: если по-немецки es wird gezeigt, es wird untersucht и т. п. у ж е с о д е р ж и т в с е б е э л е м е н т т о г о, ч т о А. И. С м и р н и ц к и й н а з ы в а е т м е с т о и м е н н о с т ь ю [2],

[1] Ср. H u l t h e n. Ук. соч., стр. 55.

[2] См. А. И. С м и р н и ц к и й. Об особенностях обозначения направления движения в отдельных языках. «Иностр. яз. в школе», 1953, № 2.

то в русских *показывается*, *рассматривается* и т. п. этого элемента не содержится, вследствие чего необходимо начинать предложения подобного рода с указаний на то, где нечто *рассматривается*, *показывается* и т. п.

Важной частью синтаксического учения В. В. Виноградова является четкое разграничение понятий словосочетания и синтагмы. «Синтагма — это семантико-синтаксическая (стилистическая? — *О. А.*) единица речи, отражающая «кусочек действительности», наполненная живой экспрессией и интонацией данного сообщения» [1]. «Словосочетанию — в отличие от синтагмы — вообще не присуща «интонация сообщения». Словосочетание имеет интонацию лишь в том смысле, в каком интонация. . . свойственна сложному слову или фразеологической единице типа железная дорога, яблоко раздора и т. п.» [2].

«Понятие синтагмы не устраняет понятия словосочетания. Напротив, оно предполагает его . . . Синтагма и словосочетание — понятия разных синтаксических планов. Учение о словосочетании — необходимое восполнение грамматического учения о слове и предложении. Оно тесно связано с лексико-семантическим изучением фразеологических единиц в составе русского языка. Учение о словосочетании необходимо для понимания конструктивных своеобразий разных видов синтагм. . .» [3].

Эти положения В. В. Виноградова им очень обстоятельно аргументированы и разъяснены на многих примерах. Таким образом, создается прочная теоретическая база для того, чтобы положить конец принципиальному неразграничению, смешению таких существеннейших языковых категорий, как слово и словосочетание, для которого основанием служило долгое время (и продолжает служить и сейчас) то понимание, какое вкладывалось в термин «синтагма» де Соссюром [4]. Мы сказали, что соссюровская синтагма продолжает и по сю пору служить теоретической основой для смешения, принципиального неразграничения слова и словосочетания. При этом она либо выступает под своим старым названием [5] как «типовая структура» языка, составляющаяся из «монем» и являющаяся основным средством, позволяющим приспособить «линейность языка» к «многомерности окружающего мира», либо фигурирует под разными новыми названиями, как, например, «таксемы» и «тагмемы» у Блумфилда, «малые речения» (minor sentences) у Блока и Трейджера и т. п. Наибольшее

---

[1] Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», стр. 253.

[2] Там же, стр. 41.

[3] Там же, стр. 254.

[4] Понимание «синтагмы» у де Соссюра изложено и подвергнуто критическому разбору акад. В. В. Виноградовым в цит. работе, стр. 185—186.

[5] Наиболее последовательной в этом отношении из новых работ представляется статья Francis Mikuš. Quelle est en fin de compte la structure-type du langage. . . «Lingua», vol. III, 4, 1953, pp. 430—470.

распространение получил для ее обозначения в американской лингвистике термин «непосредственно-составляющие» («Immediate constituents, I. C.»)[1].

Итак, словосочетание представляет собой особую лингвистическую категорию, принципиально отличную от предложения, синтагмы и далее от таких уже более неопределенных, с синтаксической точки зрения, понятий, как «сочетание слов», «ритмическая группа» и др. Одной из важных его особенностей является то, что оно, «. . . так же, как и слово, представляет собой строительный материал, используемый в процессе языкового общения». Однако словосочетание не только не тождественно со словом, но и не является даже его «эквивалентом» («словосочетание — свободный эквивалент фразеологической единицы»). Поэтому словосочетание и слово разграничиваются в языке вполне отчетливо. То, что, например, в германских языках имеются сложные случаи, ни в какой мере не противоречит только что сделанному общему утверждению. У слов разных категорий признаки «слова» могут быть более или менее отчетливо и определенно выражены, т. е. слова разных категорий являются «словами» не в одинаковой степени. Однако эти различия носят количественный характер, остаются различиями в пределах одного и того же качества, одной и той же категории; поэтому стирания границ между категориями слова и словосочетания в германских языках (так же как и в русском языке) не происходит.

---

[1] О «непосредственно-составляющих» см. О. С. Ахманова. О методе лингвистического исследования у американских структуралистов. «Вопросы языкознания», 1952, № 5, стр. 94.

Причина вытеснения блумфилдовских «таксем» и «тагмем» «непосредственно-составляющими» и др., повидимому, действительно заключается в туманности введенных Блумфилдом понятий. В самом деле, как можно объединять таксему с фонемой («Like a phonema, a taxeme, taken by itself, in the abstract, is meaningless», Language, стр. 166), если под «таксемами» понимаются: 1) порядок (слов и морфем), 2) модуляция (вторичные фонемы силы и тона — of stress and pitch), 3) фонетическая модификация djuwk/doč и 4) селекция («выбор» глагола, прилагательного и т. п.; ср. «О методе. . .», стр. 98). Отсюда и путаница с определением тагмемы («The smallest meaningful units of grammatical form», Language, p. 166): как могут «тагмемы быть мельчайшими значащими единицами грамматического построения», если они состоят из нескольких таксем, которые, как явствует из только что приведенной расшифровки понятия «таксема», никак не могут рассматриваться как «лишенные значения» (подробно об этом см. K. L. Pike. Taxemes and Immediate Constituents. «Language», vol. 19, No 2, Apr.—June 1943, pp. 65—69).

В. В. ПАССЕК

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУ РЕДУКЦИЕЙ ОКОНЧАНИЙ И ВЫДВИЖЕНИЕМ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Общеизвестно, что выражение ряда отношений между словами, проводившееся в английском языке древнего периода морфологическими средствами (формами слов), в английском языке нового периода стало проводиться синтаксическими средствами (служебными словами, порядком слов и т. д.). Так, например, в английском языке древнего периода различие между подлежащим и прямым дополнением во всех случаях выражалось формами именительного и винительного падежей слов, выступающих в роли подлежащего и прямого дополнения. В современном английском языке это различие выражается известного рода расположением подлежащего и прямого дополнения относительно сказуемого [1], т. е., в отличие от древнего периода, проводится не морфологическим, а синтаксическим средством.

В годы господства марровского «нового учения о языке» с характерными для него недооценкой роли звуковой материи языка и увлечением семантикой широкое распространение среди советских германистов получила точка зрения, согласно которой звуковая утрата окончаний считалась возможной только в том случае, если окончания предварительно претерпевали семантическое ослабление и превращались в «пустые формы». Утрата семантически наполненных окончаний объявлялась сторонниками упомянутой точки зрения невозможной.

О невозможности отпадения семантически полноценных окончаний применительно к английскому языку пишет в учебнике по истории английского языка (1939) проф. Б. А. Ильиш:

[1] В современном английском предложении различие между подлежащим и прямым дополнением выражается размещением подлежащего относительно сказуемого: в предложениях с прямым дополнением подлежащее всегда занимает место непосредственно перед сказуемым (всем сказуемым или его основной частью) и своим строго определенным местом дает возможность отграничить его от прямого дополнения. Что касается прямого дополнения, то его место не является фиксированным. Подробнее см. ст. автора «Различение подлежащего и дополнения в английском повествовательном предложении». «Иностр. яз. в школе», 1950, № 2, стр. 33.

«Совершенно очевидно, что неударные окончания могли ослабеть или различие между окончаниями отдельных падежей могло исчезнуть только при том условии[1], что окончания начали утрачивать свою полновесную семантическую ценность и стали менее существенным элементом строя языка, чем прежде» [2].

И далее:

«. . .самое отпадение падежных окончаний могло произойти лишь после того, как они перестали быть носителями ценных семантических и грамматических функций. Если бы падежные окончания в XIV веке имели тот же семантический вес, какой они имели в X веке, то они не могли бы отпасть; семантика оказалась бы достаточно сильна, чтобы оказать сопротивление фонетическим законам. „Физическая смерть“ падежных окончаний в среднеанглийском должна рассматриваться как неизбежное следствие их „семантической смерти“, т. е. утраты ими своего значения» [3].

Семантическое ослабление (или даже семантическая смерть) окончаний объясняется Б. А. Ильишом тем, что на место окончаний «стали выдвигаться новые, аналитические способы выражения», появление которых «в свою очередь является отражением коренных сдвигов в языковом мышлении» [4].

Другими словами, Б. А. Ильиш рассматривает переход от морфологических средств к синтаксическим по следующей неизменной схеме: «сдвиги в языковом мышлении»—«выдвижение новых, аналитических способов выражения» — «семантическая смерть окончаний»—«физическая смерть окончаний».

Проф. М. М. Гухман в статье «К вопросу о развитии анализа в индоевропейских языках» (1940), подобно Б. А. Ильишу, исходит из невозможности отпадения семантически полноценных окончаний и из необходимости предварительного выдвижения синтаксических конструкций, но, однако, в отличие от Б. А. Ильиша, объясняет выдвижение этих средств «лишь внешним толчком — особыми формами взаимоотношений с другими языками, — некоторыми типами языкового смешения» [5].

Сторонники разбираемой точки зрения обычно ссылаются на книгу немецкого германиста В. Хорна «Sprachkörper und Sprachfunktion», в которой, по их словам, невозможность утраты семантически наполненных окончаний доказана на обширном языковом материале [6].

«Хорн, — пишет М. М. Гухман, — привел в своей книге довольно обширный материал, позволяющий с некоторым вероятием утверждать, что фонетической редукции подвергается только та флексия, которая,

---

[1] Разрядка во всех цитатах за исключением одного случая (см. стр. 463) моя. — *В. П.*

[2] Б. А. Ильиш. История английского языка. Л., 1939, стр. 111.

[3] Там же, стр. 128.

[4] Там же, стр. 111 и 129.

[5] М. М. Гухман. К вопросу о развитии анализа в индоевропейских языках. Вопросы грамматики. Уч. зап. 1-го Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. М., 1940, стр. 30.

[6] W. Horn. Sprachkörper und Sprachfunktion. Leipzig, 1923.

перестав служить средством грамматической дифференциации, превратилась в пустую форму». И далее: «Отсюда следовало, что и синтетические формы только в том случае могли исчезать из языка, если язык выработал какие-то иные конструкции, сделавшие эти синтетические формы ненужными. . . Став пустой формой, флексия германских языков подвергается более или менее сильной редукции и в таком языке, как, например, английский, почти сведена к нулю» [1].

Подобную же ссылку на Хорна, выдвинувшего «на основании обширного материала положение, что фонетическая редукция всегда является результатом семантического ослабления окончаний, переставших служить средством смысловой (грамматической) дифференциации», находим мы и у проф. В. М. Жирмунского [2].

Ввиду того, что невозможность утраты семантически наполненных окончаний обычно обосновывалась материалом, приведенным в книге Хорна, небезинтересно обратиться к труду упомянутого немецкого языковеда.

Книгу Хорна можно условно разделить на две части. В первой части автор, приведя действительно обширный материал, с несомненностью доказал, что при семантическом ослаблении отпадение и выпадение звуков в частях слова, подвергшихся семантическому ослаблению, происходит гораздо быстрее и интенсивнее, чем это можно было бы ожидать по звуковым законам. Во второй части автор, уже не приводя обширного материала, пытается доказать, что «функционально важные компоненты слов сохраняются, несмотря на звуковые законы», что «функция господствует над звуковым законом» (разрядка Хорна. — *В. П.*) [3]. Вильгельм Хорн категорически возражает против точки зрения, согласно которой «утрата окончаний явилась причиной выдвижения описательных конструкций и твердого порядка слов» [4], По мнению Хорна, «описательные конструкции появились до того, как были разрушены окончания». Самую безударность Хорн рассматривает как «результат ослабления функциональной важности» [5].

В доказательство этого положения (кроме единственного примера, который будет разобран ниже) Хорн ограничивается общим рассуждением, что в случае, если бы сначала были утеряны окончания, «должно было бы наступить состояние языковой анархии, которое затем только ликвидировалось бы созданием новых средств. Это было бы не языковое развитие, а революция. Как выполнял язык свою роль во время переворота, во время, когда старое здание было разрушено, а новое еще не создано?» [6]

---

[1] М. М. Гухман. Ук. соч., стр. 17 и 18.
[2] В. М. Жирмунский. Развитие строя немецкого языка. Л., 1936, стр. 10.
[3] W. Horn. Ук. соч., стр. 131.
[4] Там же, стр. 117.
[5] Там же, стр. 118.
[6] Там же, стр. 117.

Как уже было указано, в подтверждение возможности утраты окончаний только после их семантического ослабления, когда в их функции начинают выступать синтаксические конструкции, Хорн практически никаких доказательств, основанных на исследовании текстового материала, не привел. Ведь для подтверждения своего положения ему необходимо было бы доказать, что, во-первых, в языке отсутствуют случаи, когда окончания утрачиваются несмотря на семантическую важность, и, во-вторых, указать на случаи сохранения окончаний, которые должны были бы быть утрачены, но сохранились, будучи семантически важными. Другими словами, в книге Хорна читатель ожидает найти примеры на окончания, не утратившие своей семантической важности и поэтому не утраченные по звуковым законам. Однако среди многочисленных примеров Хорна можно найти только примеры на более быструю утрату семантически ослабленных или семантически мертвых окончаний или компонентов слова. Случай с отпадением *-u* в древнеанглийском языке после фонетически тяжелого слога является, пожалуй, единственным примером, приводимым Хорном с целью иллюстрировать невозможность отпадения семантически наполненных окончаний. Поэтому интересно разобрать именно этот пример с отпадением *-u* после долгого слога.

«Звук *u*,— пишет Хорн,— исчезает в древнеанглийском после долгого слога. Однако в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения мы имеем bindu, helpu, но не *bind, *help».

«Древнеанглийское bindu не потеряло *u*, так как это окончание имело в глагольной системе древнеанглийского определенное значение: оно выражало первое лицо единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения. Значение оказалось сильнее звукового закона» [1].

Пример Хорна вызывает сомнения по следующим соображениям:

Во-первых, большинство германистов придерживается того мнения, что *-u* в bindu и других глаголах с долгим корневым слогом имеется по аналогии с краткосложным вариантом (beru и др.). Хорн отрицает возможность аналогического *-u*, ссылаясь на то, что в системе имени долгосложный вариант регулярно лишен этого *-u*. Возражение Хорна звучит неубедительно: отсутствие аналогического *-u* в системе имени вовсе не означает, что аналогического *-u* не может быть в системе глагола. В системе имени окончание *-u* встречалось в именительном и винительном падежах обоих чисел, но не было для них характерным. Наряду с окончанием *-u* в упомянутых формах могло быть окончание *-e*, *-a*, *-an*, *-as*, нулевое окончание и др. В системе же глагола окончание *-u* было единственным для первого лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения. Именно поэтому можно предполагать, что появившееся в результате отпадения *-u* нулевое окончание было устранено по аналогии в системе глагола, но было сохранено в системе имени.

[1] W. Horn. Ук. соч., стр. 22.

Во-вторых, непонятна и сама мотивировка сохранения *-u* в системе глагола и отпадения *-u* в системе имени. Если говорить о важности *-u*, то упомянутое окончание должно было бы сохраниться в системе имени и, наоборот, утратиться в системе глагола. В самом деле, отпадение *-u* в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения ни в какой степени не отразилось бы на четкости выражения соответствующей формы. Выражение формы первого лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения в той же степени четко продолжало бы проводиться возникшим в результате отпадения *-u* нулевым окончанием: 1 л. — *bind+( ), 2 л. — bind+is, 3 л. — bind+iþ; мн. ч. — bind+aþ. Отпадение же *-u* в системе имени означало в ряде случаев возникновение омонимии, ликвидацию четкого материального различения категорий. Так, например, у существительных с основами на *-o-* [1] в результате отпадения *-u* после долгого слога произошло совпадение форм именительного и винительного падежей единственного и множественного числа (в среднем роде): словоформы им. п. и вин. п. ед. ч. word и словоформы им. п. и вин. п. мн. ч. *wordu в результате отпадения *-u* после долгого слога совпали в одной звуковой оболочке word. Думается, что семантическая наполненность окончаний должна была бы вмешаться именно в этом случае и предотвратить звуковое отпадение окончания *-u*.

Дальнейшие рассуждения Хорна об окончании *-u* вызывают еще большее недоумение.

«В § 19 я подчеркнул, — пишет Хорн, — что в системе глагола *-u* было носителем определенного значения». Однако «именно это *-u* еще в раннем древнеанглийском ослабилось в *-e* (binde), в то время как в формах существительного *-u* произносилось еще отчетливо: giefu, sunu, fatu. Согласно звуковым законам ослабление bindu в binde должно было произойти лишь при переходе к среднеанглийскому. С обычным объяснением, что это *-e* проникло из сослагательного наклонения, я не могу согласиться. Окончание глагола *-u* удерживалось, пока оно имело определенное значение. После утраты значения оно могло быть ослаблено» [2].

Утрату же значения Хорн объясняет тем, что перед глагольной формой первого лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения начинает регулярно употребляться местоимение ic «я».

Прежде всего надо отметить, что Хорн путает звук и букву. В среднеанглийский период звук *u* ослабился не в звук *e*, а в нейтральный звук, т. е. не в звук среднего подъема переднего ряда, а в звук среднего подъема среднего ряда, который лишь на письме обычно обозначался буквой *e*. О том, что под буквой *e* в среднеанглийский период имелся в виду именно нейтральный звук, красноречиво говорит спорадический разнобой в на-

---

[1] В ст. даются общеиндоевропейские названия основ.

[2] W. Horn. Ук. соч., стр. 24 и 25.

писании, в то время как в древнеанглийском разбираемое Хорном окончание всегда обозначается буквой *e*. Выходит, что переход *u* в *e* вовсе не представляет собой ослабления звука *u*.

Во-вторых, Хорн говорит о потере значения окончанием -*u* в связи с регулярным употреблением личного местоимения ic «я». Между тем непонятно, как окончание -*u* могло потерять свое значение, если оно выражало не только лицо и число, но также время и наклонение. У Хорна же получается, что окончание -*u* стало семантически пустым, избавившись от необходимости выражать лицо, а между тем при замене окончания -*u* на окончание -*e* продолжает четко различаться именно лицо (ic binde, þū̆ bindes(t), hē bindeþ), но перестает четко различаться наклонение (ic binde — ic binde).

И, наконец, самым непонятным в рассуждениях Хорна представляется следующее: сохранение -*u* в глагольной системе Хорн объясняет важностью его значения и противопоставляет случай с bindu случаю с *feldu, где то же самое окончание отпало, поскольку оно стало неважным в системе имени. Несколькими страницами далее Хорн говорит об ослаблении -*u* в bindu в результате того, что данная словоформа потеряла свое прежнее значение, и противопоставляет binde словоформе sunu (того же самого типа склонения, что и *feldu, но только с кратким корневым слогом!), имея, очевидно, в виду, что в sunu окончание -*u* является важным. В конце концов важно или не важно окончание -*u* в словоформах *feldu, sunu? Если оно важно, почему оно было утеряно в *feldu? Если оно не важно, почему оно не подверглось дальнейшему ослаблению в sunu? Если Хорн видит какое-то особое семантическое различие между долгосложным и краткосложным фонетическими вариантами, почему было не сказать так и не изложить своих соображений?

Ввиду всего высказанного единственный пример Хорна на невозможность утраты семантически наполненных окончаний представляется в высшей степени неубедительным.

Кроме Хорна, сторонники разбираемой точки зрения ссылаются также на датского лингвиста Отто Есперсена. Такая ссылка, например, содержится в учебнике по истории английского языка Б. А. Ильиша [1].

Что касается Отто Есперсена, то в его трудах не удается найти вообще никаких доказательств невозможности отпадения семантически наполненных окончаний, доказательств, которые были бы основаны на исследовании фактического материала. Отто Есперсен ограничивается только общими рассуждениями:

«И вот заключение, к которому я пришел: так как упрощение грамматического строя, совпадение падежей (abolition of case distinctions) и т. д. во всех случаях идут рука об руку с развитием закрепленного порядка слов, здесь не может быть места случайности, а, напротив, между двумя явлениями должно существовать отношение причины и следствия.

---

[1] Б. А. Ильиш. Ук. соч., стр. 4.

Какое же из них является первопричиной? По-моему, несомненно, твердый порядок слов, так что грамматическое упрощение есть следствие». По мнению Есперсена, «твердый порядок слов должен установиться сначала, и он установился постепенно как следствие большего умственного развития и общей зрелости, когда мысли говорящего стали приходить ему в голову не беспорядочно (helter-skelter), а в определенной последовательности». «В случае, если бы сначала были утеряны окончания...,— пишет Есперсен, — мы должны были бы представить промежуточный период, в который речь была бы непонятна и, следовательно, практически бесполезна» [1].

Подытоживая проведенный выше обзор литературы по данному вопросу, можно установить следующее.

1. Различие между разобранными в статье точками зрения состоит лишь в различном объяснении выдвижения синтаксических средств. Хорн выдвижение синтаксических средств вообще не объясняет. Есперсен связывает выдвижение синтаксических средств с прогрессом мышления, Б. А. Ильиш—со «сдвигами в языковом мышлении», а М. М. Гухман— с «внешним толчком — особыми формами взаимоотношений с другими языками, — некоторыми типами языкового смешения».

2. Общее во всех разобранных точках зрения состоит в том, что отпадение семантически наполненных окончаний признается в принципе невозможным. Звуковой утрате окончаний всегда должно предшествовать семантическое ослабление окончаний, которое в свою очередь является следствием выдвижения синтаксических средств выражения.

3. Признание невозможности звуковой утраты семантически наполненных окончаний и необходимости предварительного выдвижения синтаксических средств, заменяющих окончания, не подтверждается исследованием языкового материала.

4. Разбираемая точка зрения обычно аргументируется тем, что, если бы утрате окончаний не предшествовало выдвижение синтаксических средств, заменяющих окончания, в языке должен был бы наступить период, когда отношения между словами не выражались бы ни морфологическими, ни синтаксическими средствами; в таком случае речь должна была бы сделаться, по мнению Есперсена, «непонятной, а следовательно, практически бесполезной».

Автором данной статьи на большом языковом материале [2] было про-

---

[1] O. J e s p e r s e n. Language, its Nature, Development and Origin. London, 1928, p. 361.

[2] Исследованию подвергались следующие прозаические произведения английского языка древнего, среднего и нового периодов: «Орозий» Альфреда, Англосаксонская летопись, «Жития святых» Эльфрика, Бликлингские проповеди X ст. (EETS, №№ 58, 63, 73), Бодлеанская рукопись древнеанглийских проповедей, Веспасианская рукопись древнеанглийских проповедей, Ламбетская рукопись древнеанглийских проповедей, Тринитийская рукопись древнеанглийских проповедей, «Святая девственность», отрывки из религиозных произведений XIV в., произведения Ролле де Гамполе, прозаические

ведено специальное исследование с целью выявить, какова была последовательность процесса утраты древнеанглийских окончаний именительного и винительного падежей, выражавших различие между подлежащим и прямым дополнением в английском языке древнего периода, и процесса выдвижения твердого расположения подлежащего относительно сказуемого, выражающего упомянутое различие в современном английском языке. Исследование показало, что в данном конкретном случае переход от морфологического средства к синтаксическому не проходил по схеме, рекомендуемой сторонниками разобранной точки зрения, а именно: выдвижение синтаксического средства — утрата семантической полноценности соответствующих окончаний — звуковая утрата окончаний. Обратимся к исследованному материалу.

В английском языке древнего периода различие между подлежащим и прямым дополнением, как уже было сказано выше, проводилось формами именительного и винительного падежей: þone naman anne we lufodon» «То имя одно мы любили». (Подлежащее we в приведенном предложении стоит в именительном падеже, винительный падеж был бы us; прямое дополнение naman стоит в винительном падеже, именительный падеж был бы nama.)

При этом порядок расположения подлежащего, сказуемого и прямого дополнения мог быть любым: для упомянутых трех членов предложения допускались все шесть возможных перестановок:

S + P + O [1]

Se sweor bemænde his snore «Свекор оплакивал свою сноху».

S + O + P

Se fæder his dohtor beweop «Отец свою дочь оплакивал».

P + S + O

þa gehyrde god heora begra bene «Тогда услышал бог их обоих молитвы».

O + S + P

Sumu treowu he watrode «Некоторые деревья он поливал».

O + P + S

þas writ seonde seo papa. . . «Это послание прислал папа. . .»

произведения Чосера, «Мерлин», «Английское завоевание Ирландии», Хроника Англии Джона Кэпгрейва, прозаические произведения Шекспира общим объемом в 500 страниц.

[1] В последующем изложении в целях краткости подлежащее, сказуемое и прямое дополнение будут часто обозначаться начальными буквами соответствующих латинских названий — S, P, O.

P + O + S

þa on morgene gehierdun þæt þæs cyninges þegnas. . . «Когда утром услышали это слуги короля. . .».

Поскольку формы именительного и винительного падежей использовались в английском языке древнего периода для разграничения подлежащего и прямого дополнения, во-первых, универсально (во всех случаях), во-вторых, последовательно (форма именительного падежа всегда использовалась для подлежащего, а винительного — всегда для прямого дополнения) и, во-третьих, независимо от порядка слов, есть все основания считать формы именительного и винительного падежей основным средством выражения различия между подлежащим и прямым дополнением. Помимо этого основного средства, в английском языке существовали и дополнительные средства, как, например, формы числа сказуемого (конечно, при различии в числе между подлежащим и прямым дополнением). Однако эти средства, в отличие от основного средства, во-первых, не использовались универсально (различия в числе между прямым дополнением и подлежащим могло и не быть), во-вторых, могли использоваться непоследовательно (имеются в виду случаи, когда при единственном числе подлежащего сказуемое имеет форму множественного числа), и, в-третьих, находились в зависимости от основного средства выражения (форма числа сказуемого только в том случае могла помочь разграничению между подлежащим и прямым дополнением, если ее показания не противоречили показаниям падежных форм слов, выступающих в роли подлежащего и прямого дополнения).

Однако обращает на себя внимание то, что в английском языке древнего периода материальные (звуковые) различия между формами именительного и винительного падежей были очень нечеткими. В системе склонения существительных окончания именительного и винительного падежей совпадали в $^{9}/_{10}$ случаев. По подсчетам, произведенным на материале Англосаксонской летописи, разграничение между подлежащим и прямым дополнением проводилось неомонимичными формами существительного — основной категории слов, выступающих в роли подлежащего и прямого дополнения — всего в 14% случаев. Далее, обращает на себя внимание и то, что высокий процент омонимии в системе именительного и винительного падежей связан с звуковым разрушением окончаний. Об этом прежде всего говорит бедность звукового состава окончаний: окончания именительного и винительного падежей были полностью лишены долгих гласных звуков; в окончаниях встречались лишь три гласные и три согласные фонемы (*e*, *a*, *u*; *s*, *n*, *r*); очень характерным было нулевое окончание, т. е. отсутствие звучания в окончании. Об этом также говорят известные ограничения в использовании упомянутых шести фонем; так, например, звук *u* обычно встречался после краткого слога, но отсутствовал после долгого, а звук *r*, чередующийся с *z* или *s*, не мог использоваться в абсолютном

исходе слова. Восстановление окончаний существительных дописьменного периода (V—VII вв.) сравнительно-историческим методом показывает, что в окончаниях именительного и винительного падежей упомянутого периода использовалось большее количество фонем и что процент омонимии этих окончаний в связи с этим должен был быть примерно вдвое ниже. Другими словами, уже в классический период древнеанглийского языка (IX в.) имело место отпадение и совпадение окончаний именительного и винительного падежей. Согласно изложенной выше точке зрения, данное отпадение и совпадение окончаний должно быть вызвано выдвижением твердого расположения подлежащего и прямого дополнения относительно сказуемого, которое сделало уже в древнеанглийском окончания именительного и винительного падежей если не семантически пустыми, то, по крайней мере, семантически менее важными.

Можно ли в английском языке древнего периода говорить об установлении или о попытках установления твердой последовательности подлежащего и прямого дополнения относительно сказуемого?

Выше указывалось на возможность для подлежащего, сказуемого и прямого дополнения всех шести перестановок. Следовательно, об установившейся твердой последовательности перечисленных членов предложения не может быть и речи. О попытках же установления такой твердой последовательности можно ставить вопрос в связи с тем, что в английском языке древнего периода конструкции с подлежащим на первом относительно сказуемого и прямого дополнения месте оказываются очень употребительными: их удельный вес выражается примерно 85—90%. Чтобы лучше разобраться в том, не является ли указанное тяготение подлежащего к первому месту началом установления твердой последовательности подлежащего и прямого дополнения относительно сказуемого, автор решил обратиться к русскому языку.

Исследование 5000 страниц русских прозаических текстов[1] позволило установить следующее.

1. Порядок расположения подлежащего и прямого дополнения в современном русском языке никогда не используется для их разграничения. Даже при омонимии падежных форм слов, выступающих в роли подлежащего и прямого дополнения, и при отсутствии дополнительных указаний в форме сказуемого порядок расположения подлежащего и прямого дополнения может быть любым. Некоторой иллюстрацией этому могут служить следующие русские предложения, извлеченные автором из подвергшегося анализу текстового материала: *Народные войска вышли приветствовать 300 тысяч жителей Куньмина. Суда охраняют миноносцы. Сколько подвигов родило это замечательное чувство! Определенные задания получили также боевые суда. . . Сказочное богатство сулит снег*

[1] «История ВКП(б). Краткий курс»; В. И. Ленин «Материализм и эмпириокритицизм»; Н. В. Гоголь «Мертвые души»; М. Горький «Мать»; Л. Н. Толстой «Война и мир», «Крейцерова соната»; И. С. Тургенев. Литературные воспоминания; А. П. Чехов. Повести, рассказы, драмы; И. Эренбург «Война».

хлопковых полей. Эти заболевания вызывают бактерии гриппа. . . Зал наполняет молодежь и др.

2. Несмотря на то, что в русском языке порядок расположения подлежащего и прямого дополнения никогда не служит целям их взаимного разграничения, подлежащее в проанализированном материале обнаружило то же тяготение к первому месту, что и в английском языке древнего периода. Удельный вес конструкций с подлежащим, предшествующим сказуемому и прямому дополнению, выражается примерно теми же 85—90%. Интересно в этой связи отметить, что в русском языке при отсутствии дополнительных указаний в сказуемом и семантике слов первое в последовательности имя обычно воспринимается как подлежащее, а второе — как прямое дополнение, хотя в действительности подлежащим может быть второе имя, а прямым дополнением — первое: *Мать любит дочь. Весло задело платье. А определяет Б* и др. Весьма показательно также, что такие построения используются, несмотря на то, что их грамматическая структура допускает двоякое толкование, в философских формулах вроде: *бытие определяет сознание.* О тяготении подлежащего к первому месту пишет и акад. А. А. Шахматов: «По общему правилу подлежащее предшествует сказуемому, как бы оно ни было выражено. . .». И далее: «. . . другой порядок, обратные отношения, мы признаем уклонением, инверсией. . .»[1]. Выходит, что и в русском языке, где порядок расположения подлежащего и прямого дополнения не служит целям их взаимного разграничения, подлежащее в большинстве случаев предшествует сказуемому и прямому дополнению. Повидимому, преобладание конструкций с подлежащим на первом месте не связано со стремлением отграничить его от прямого дополнения. Объяснение этой особенности, повидимому, следует искать в чем-то другом.

При исследовании русских текстов обратило на себя внимание следующее: первое место в русском предложении занимают обычно слова, репрезентирующие предмет мысли, отправной момент высказывания, слова, являющиеся логическим центром предложения. Так, в предложении *Дом сооружают рабочие* (произнесенном без дополнительного логического ударения) первое место слова *дом* определяется тем, что отправным моментом в данном высказывании, предметом мысли является «дом». В этой связи представляется наиболее вероятным, что тяготение подлежащего к первому месту вытекает из самой сути подлежащего. Подлежащее, как известно, является грамматическим центром предложения, основным координатом грамматического построения. Будучи таковым, оно, повидимому, и имеет тенденцию совпадать с логическим центром предложения и таким образом занимать первое место. Думается, что именно этой тенденцией к совпадению двух центров предложения объясняется весьма распространенная ошибка найти подлежащее предложения по вопросу «О чем говорится в предложении?», когда в действительности

[1] А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Учпедгиз, 1941, стр. 258.

этот вопрос относится к словам, репрезентирующим предмет мысли, словам, которые не обязательно выступают в функции подлежащего; ср. приведенное выше предложение *Дом сооружают рабочие.*

Исследование русских текстов показало, что в русском языке, где расположение подлежащего, сказуемого и прямого дополнения свободно от выражения различия между подлежащим и прямым дополнением, наиболее обычным все же является последовательность подлежащее + сказуемое + прямое дополнение. Повидимому, под свободой расположения упомянутых членов предложения следует понимать не равное количество возможных для них перестановок, а лишь н е к о т о р о е отступление от обычной последовательности подлежащее + сказуемое + прямое дополнение. Какова же величина этого некоторого отступления от обычной для русского языка последовательности? Каково отношение последовательности подлежащее + сказуемое + прямое дополнение к противоположной последовательности — прямое дополнение + сказуемое + подлежащее?[1] В исследованном русском текстовом материале отношение этих конструкций выразилось отношением 23 : 1.

Какова же величина отступления от последовательности подлежащее + сказуемое + прямое дополнение в английском языке древнего периода? Каково отношение упомянутой последовательности к противоположной последовательности? В проанализированных древнеанглийских памятниках отношение двух конструкций выражается той же пропорцией — 23 : 1. Выходит, что ни об установлении, ни даже о попытках установления твердой последовательности подлежащего и прямого дополнения относительно сказуемого в английском языке древнего периода мы говорить не можем. Выходит, что совпадение и отпадение ряда окончаний, имевшие место в дописьменный период английского языка, не были обусловлены выдвижением соответствующего синтаксического средства, сделавшего окончания именительного и винительного падежей менее важными. Вряд ли можно говорить и о каких-либо иных причинах семантического ослабления исследуемых окончаний: ведь отношение между подлежащим и прямым дополнением, выражавшееся этими окончаниями, при отсутствии форм страдательного залога древнеанглийского сказуемого в общем совпадало с отношением деятеля и предмета действия. Непонятно, почему бы это отношение могло стать для языка IX в. менее важным.

Разбирая перевод предложения — The farmer kills the duckling «Фермер убивает утенка», Эдуард Сэпир пишет: «. . . некоторые из понятий, которые нам представляются необходимыми, могут быть вовсе опущены». Однако «основные синтаксические отношения должны быть выражены с ясностью, не допускающей перетолкований. Можно умолчать о времени, месте и числе и о множестве других понятий всякого рода, но нельзя

[1] Представляется, что именно отношение обычной последовательности к противоположной последовательности является наиболее показательным.

увернуться от вопроса, кто кого убивает. Ни один из известных нам языков не может от этого увернуться. . .»[1].

Ниже будет показано, что относительно обязательности четкого выражения субъектно-объектных отношений Сэпир ошибается. Что же касается важности этих отношений, то она не подлежит сомнению.

Таким образом, представляется несомненным, что происходившая еще в английском языке древнего периода звуковая утрата окончаний именительного и винительного падежей не сопровождалась их семантическим ослаблением.

Звуковая утрата окончаний именительного и винительного падежей в последующий период стала еще более интенсивной. Уже к началу XII в. формы именительного и винительного падежей почти полностью перестали различаться во всей системе имени. Единственное исключение составляли личные местоимения и вопросительные и относительные местоимения. У упомянутых местоимений форма именительного падежа продолжала различаться, но противопоставлялась уже не формам винительного, дательного и родительного падежей, а форме объектного падежа, в котором к этому времени совпали винительный, дательный и родительный падежи. Таким образом, к началу XIII в. падежное выражение различия между подлежащим и прямым дополнением перестало быть универсальным, а следовательно, и о с н о в н ы м средством разграничения подлежащего и прямого дополнения. XIII век поэтому можно считать временем утраты основного морфологического средства выражения различия между подлежащим и прямым дополнением.

Установление же твердой последовательности подлежащего и прямого дополнения в английском языке происходит значительно позже. Ниже приводятся цифры, иллюстрирующие изменение соотношения конструкции подлежащее + сказуемое + прямое дополнение к противоположной конструкции: прямое дополнение + сказуемое + подлежащее в подвергшихся анализу памятниках:

Классический древний период (IX в.)	23 : 1
Поздний древний период (X в. — 1075 г.) . . .	23 : 1
1076—1121 гг.	12 : 1[2]
1122—1175 гг.	16 : 1[2]
1176—1200 гг.	16 : 1[2]
Середина XIII в.	30 : 1[2]
Классический средний период	23 : 1
Поздний средний период	38 : 1[2]
Ранний новый период	5 000 : 1

Приведенные подсчеты с несомненностью указывают на то, что вплоть до нового периода английского языка отношение последовательности под-

[1] Э. С э п и р. Язык. ОГИЗ, 1934, стр. 71 и 73.

[2] Некоторое уменьшение, как и некоторое увеличение, частотности конструкции S+P+O может быть отнесено за счет ограниченного объема памятников по данному периоду и за счет стиля автора и переписчика.

лежащее+сказуемое+прямое дополнение к противоположной конструкции — прямое дополнение+сказуемое+подлежащее оставалось в общем неизменным. Это значит, что об установлении твердой последовательности подлежащего и прямого дополнения относительно сказуемого можно говорить лишь в XVI в., т. е. через три столетия после того, как были утрачены окончания именительного и винительного падежей почти во всей системе имени.

Итак, утрата древнеанглийского основного морфологического средства выражения различия между подлежащим и прямым дополнением имела место на три столетия раньше, чем это отношение стало выражаться твердым расположением подлежащего и прямого дополнения относительно сказуемого. Окончания именительного и винительного падежей почти во всей системе имени были утрачены без их предварительного семантического ослабления.

В следующих среднеанглийских предложениях различие между подлежащим и прямым дополнением не выражается ни формами именительного и винительного падежей, ни твердым расположением подлежащего и прямого дополнения относительно сказуемого:

The rihte bileue settan the twelue apostles. . . «Истинную веру изложили двенадцать апостолов. . .»

Swiche hertes fondeth the fule gost «Такие сердца совращает злой дух».

That seide the holi man. . . «То сказал святой человек. . .»

Для выражения различия между подлежащим и прямым дополнением в приведенных предложениях в английском языке древнего периода потребовались бы следующие морфологические средства, выделенные прописными буквами:

þoNE rihtAN bilēofAN setton twelf apostolAS.

SwilcE heortAN fandaþ SE fūlA gāst( )

þÆT sǣde SE hālgA man( ). . .

В среднеанглийский период все эти средства были утрачены несмотря на выполняемую ими в языке роль, несмотря на их значение, несмотря на то, что соответствующее отношение ни в это время, ни в последующие триста лет никаким синтаксическим средством не выражалось.

Ниже приводится еще ряд предложений, в которых различие между подлежащим и сказуемым не выражается ни порядком слов, ни формами именительного и винительного падежей:

This tree saugh the prophete Daniel. . .«Это древо увидел пророк Даниил. . .»

That suffred Christ ful paciently. . . «Это перенес очень терпеливо Христос. . .»

Than sent to the erl of Dorcet this message the erl Armenak «Тогда послал к графу Дорсету это донесение граф Арменак».

This thing herd his brothir Lodwic «Это (эту вещь) услышал его брат Людвиг».

To him seld the King the Province of Dorham «Ему дал король провинцию Дорхам».

Than sent Edward a lettir onto the Kyng of Frauns «Затем послал Эдуард письмо королю Франции».

The bonis of Peter sette Cornely in Vatican «Прах (кости) Петра поместил Корнелий в Ватикане».

Muche confort haueth wif of hire were «Большое утешение имеет жена от своего мужа».

These two thing don alle hethen men «Эти две вещи делают все язычники».

This man had the Prince in governauns «Этого человека имел принц в управлении».

Therefore suffered oure Lord God Rassin, the Kyng of Syrre «Поэтому терпел наш господь бог Расина, короля Сирии».

Sone aftir sent the Kyng his son Thomas onto the duke «Вскоре после этого послал король своего сына Томаса к герцогу».

Than mad the Kyng this same Edward Baliol capteyn of Barwik «Затем сделал король этого самого Эдуарда Балиола капитаном Барвика».

Следует сразу же оговорить, что приведенные предложения не являются чем-то исключительным; в исследованном материале встретилось большое количество таких предложений, исчисляющихся не десятками, а сотнями.

Однако категория подлежащего, а тем самым и различие между подлежащим и прямым дополнением в системе английского языка среднего периода в целом не исчезла. Подлежащее, как грамматический центр построения, в английском языке среднего периода выделялось попрежнему. Это выделение основывалось прежде всего на формах именительного падежа личных и вопросительных местоимений, о чем свидетельствуют следующие среднеанглийские предложения:

Seynt Thomas hast thou killid «Святого Томаса ты убил».

Ther took he a prest of the secte «Там взял он священника из этой секты».

Kyngis he overcam with victorye «Королей он побеждал (одолевал с победой)».

Bestis he killid «Зверей он убивал».

So kept he the Kyng «Так держал он короля».

To douteris had ha eke «Двух дочерей имел он также».

Hym calles thou «thi fleshly brother» «Его называешь ты «братом во плоти».

Как центр грамматического построения подлежащее выделялось также формами числа и лица сказуемого: сказуемое согласовывалось с подлежащим в числе и лице и таким образом находилось от него в определенной зависимости. Следует попутно заметить, что в средний период английского языка формы глагола, выступавшие в роли сказуемого, еще не утратили форм числа в прошедшем и будущем времени, что делало

согласование еще более важным. В следующих предложениях выделение подлежащего основывается на формах числа и лица сказуемого:

This wordis sayse Seynte Paule «Эти слова говорит св. Павел».

The stefne herden the witeies. . . «Этот голос услышали пророки. . .»

Ac the holi boc blameth these men «Но святое писание порицает этих людей».

Seynt Thomas hast thou killid «Святого Томаса ты убил».

В системе языка в целом в средний период выделялось и прямое дополнение. Форма объектного падежа личных и вопросительных местоимений, имеющая собственно значение — «не подлежащее», отграничивала прямое дополнение, предложное дополнение и пр. от подлежащего. Отсутствие предлога перед формой объектного падежа проводило дальнейшее разграничение: оно отграничивало прямое дополнение от предложного дополнения и пр.

Грамматическое выделение подлежащего и прямого дополнения в системе языка в целом еще раз подтверждает, что само различие между подлежащим и прямым дополнением сохранило прежнее значение и не перестало быть важным. Однако о с н о в н о е (универсальное, последовательное и независимое) средство выражения этой категории в языке было утрачено.

По мнению лингвистов есперсено-хорновского толка, в результате утраты о с н о в н о г о средства выражения различия между подлежащим и прямым дополнением в языке должен был наступить период, когда речь «стала непонятной, а следовательно, бесполезной». Однако исследование среднеанглийских текстов показало, что, несмотря на утрату древнеанглийского основного средства выражения различия между подлежащим и прямым дополнением, речь вовсе не стала непонятной ни в целом, ни в ее отдельных отрезках. И общее содержание и грамматическая структура всех без исключения предложений были понятны и не вызвали ни малейшего сомнения. Что это именно так, легко убедиться, обратившись к предложениям, приведенным на страницах 474—475 настоящей работы: все они легко понимаются даже несмотря на то, что они взяты вне контекста. Лингвисты есперсено-хорновского толка забывают, что, помимо отношений между словами, выраженных грамматически, слова также вступают в определенные отношения на основе их семантики. Семантика слов, таким образом, может уточнять то, что недостаточно четко выражено грамматически. Сама по себе не являясь ни грамматическим, ни каким-либо другим средством выражения, семантика слов может «компенсировать», «погашать» недостаток в грамматическом выражении. На стр. 470 настоящей работы приведены русские предложения, в которых подлежащее и прямое дополнение были выражены омонимичными формами именительного и винительного падежей, и при этом отсутствовали дополнительные указания в определениях, формах сказуемого и т. д.; тем не менее, несмотря на омонимию, эти предложения были понятны. Почему они были понятны? Потому что неясность в грамматическом плане уточнялась

в них семантикой слов, выступающих в функции подлежащего и прямого дополнения, и семантикой других слов, составляющих предложение. Наблюдение над текстовым материалом русского языка показало также, что семантика может исключать различное толкование предложения даже и тогда, когда грамматическая омонимия сочетается с лексической. Так, например, в предложении *Мир будет защищать весь мир*, несмотря на грамматическую и лексическую омонимию подлежащего и прямого дополнения, благодаря наличию перед вторым словом *мир* слова *весь*, не остается никакого сомнения, что оно является подлежащим, а первое слово *мир* — прямым дополнением.

Именно благодаря семантике предложения — This tree saugh the prophete. . . — Than sent to the erl of Dorcet this message the erl Armenak. — This thing herd his brothir. . . —To him seld the Kyng the Province. . . — Than sent Edward a lettir onto the Kyng of Frauns. — The bonis of Peter sette Cornely in Vatican — и т. д. понимаются как «Это древо увидел пророк. . . — Тогда послал к графу Дорсету это послание граф Арменак. — Эту вещь услышал его брат. . .» и т. д., но не понимаются как «Это древо увидело пророка. . . — Тогда послало к графу Дорсету это послание графа Арменака. — Эта вещь услышала его брата. . .» и т. д. Правда, между приведенными выше среднеанглийскими и приведенными на стр. 470 русскими предложениями имеется существенная разница: в русских предложениях выражение различия между подлежащим и прямым дополнением является лишь нечетким (вследствие омонимии форм именительного и винительного падежей), в данных же среднеанглийских предложениях выражение различия между подлежащим и прямым дополнением отсутствует совсем, так что лексико-семантические отношения оказываются как бы единственными различиями, определяющими понимание этих предложений. Однако не следует забывать, что на первых порах утрата окончаний именительного и винительного падежей выражалась лишь в омонимии форм именительного и винительного падежей, т. е. не создавала чего-либо качественно отличного от того, что мы имеем в приведенных русских предложениях.

Таким образом, было бы совершенно неправильным сводить все только к лексико-семантическим отношениям между словами. Так, например, если основываться только на лексико-семантических отношениях между словами, то предложение — To him seld the King the Province. . . — можно было бы осмыслить не только как «Ему дал король провинцию. . .», но и как «Он дал королю провинцию. . .; он дал бы королю провинцию; король отдал его провинции. . .» и т. д. и т. п. Приведенное же предложение понимается только как «Ему дал король провинцию. . .», поскольку в нем, помимо лексико-семантических отношений, имеет место грамматическое выражение всех отношений между словами, кроме выражения различия между подлежащим и прямым дополнением: местоимение he «он» стоит в объектном падеже (him), что исключает для него возможность быть подлежащим; предшествующий же предлог выделяет его как предложное

дополнение; слово seld достаточно четко охарактеризовано как сказуемое в форме единственного числа третьего лица прошедшего времени изъявительного наклонения действительного залога; что же касается слов king и province, то формы общего падежа и отсутствие перед ними предлогов достаточно ясно говорят о том, что одно из них является подлежащим, а другое прямым дополнением, хотя и не сказано которое.

Из сказанного следует, что утрата окончаний именительного и винительного падежей почти во всей системе имени вовсе не означала, как то представляется Хорну, «разрушения здания», разрушения грамматических средств в целом. Благодаря тому, что переход от морфологических средств к синтаксическим не совершается ни по неизменной схеме Хорна — выдвижение синтаксических средств — семантическое ослабление окончаний — звуковая утрата окончаний, — ни по противоположной единой схеме — звуковая утрата вследствие действия слепых фонетических законов — компенсация утраченных окончаний синтаксическими средствами, — а происходит в каждом отдельном случае своеобразно, в сложном взаимодействии звуковой и семантической сторон языка, звуковой утраты окончаний и внутренних законов развития грамматической системы языка, в языке никогда невозможно «разрушения здания», невозможна ликвидация грамматического выражения в целом.

Есперсено-хорновская точка зрения неверна в самом принципе: семантическая и звуковая стороны языка являются двумя *самостоятельными* сторонами языка, а звуковая утрата окончаний и развитие грамматической системы языка — двумя самостоятельными процессами. У Хорна же одна сторона безоговорочно подчиняется другой, один процесс безоговорочно подчиняется другому, между тем как упомянутые стороны и процессы находятся лишь во *взаимодействии* друг с другом, при котором возможно как влияние семантики на звуковую сторону, так и обратное влияние звуковой стороны на семантику, как влияние звуковой утраты окончаний на ход внутренних законов развития грамматической системы, так и обратное влияние изменений в грамматической системе на звуковую утрату окончаний.

Выше было показано, что разрушение окончаний именительного и винительного падежей в английском языке среднего периода привело к разрушению основного (универсального, независимого и последовательного) средства выражения различия между подлежащим и прямым дополнением. С таким отсутствием основного средства выражения столь важной категории язык, вернее носители языка, мог мириться лишь временно.

С течением времени в английском языке вырабатывается новое основное средство выражения различия между подлежащим и прямым дополнением в виде твердой последовательности подлежащего относительно сказуемого (подробнее см. сноску на стр. 461). Появление этого средства именно в XVI столетии, повидимому, обусловлено следующими общими причинами:

1. Развитием общества в целом, усложнением общественной жизни, в результате чего традиционная семантика в ряде случаев не только не способствует вскрытию отношений между словами, но и до некоторой степени препятствует ему: ср. известное предложение из «Утопии» Sheep ate people «Овцы съели людей». С другой стороны, большее развитие получает наука. Научная же литература, трактующая о в с к р ы т ы х отношениях между предметами и явлениями объективной действительности, требует особенно четкого выражения отношений между словами грамматическими средствами, поскольку традиционная семантика здесь уточнить отношения не может: ср. The temperature influences the seepage loss «Температура влияет на фильтрационные потери»; ср. также один из выводов данной работы: «Отпадение окончаний именительного и винительного падежей предшествует установлению твердой последовательности подлежащее+сказуемое».

2. Изменением условий существования языка. Во второй половине XV в. начинает формироваться единый язык английской нации. Над языком начинает вестись сознательная работа, повышаются требования к языку. Особое значение приобретает письменное существование языка. Сфера общения на данном языке расширяется. Большое развитие получает литература, увеличивается многообразие литературных жанров.

Все это делает отсутствие основного средства выражения столь важной категории языка—различия между подлежащим и прямым дополнением — особенно ощутимым.

Однако появление этого средства в его конкретном виде (в виде твердой последовательности подлежащего относительно сказуемого) было обусловлено действующими в языке внутренними законами, спецификой состава языка на том этапе его развития. Основную роль, повидимому, здесь сыграли следующие обстоятельства.

1. Бедность английских существительных морфологическими показателями толкала на синтаксический путь выражения этой категории.

2. Пример личных и вопросительных местоимений указывал, что для разграничения подлежащего и прямого дополнения достаточно выделить одно подлежащее.

3. Тяготение подлежащего к первому месту подсказало уже сам способ (способ выражения различия между подлежащим и прямым дополнением) в его конкретном виде.

Таким образом, создание нового основного средства выражения различия между подлежащим и прямым дополнением произошло по внутренним законам языка, а сама необходимость создания этого средства была обусловлена развитием общества и изменившимися условиями существования языка.

Краткие выводы

1. Звуковая утрата полноценных в семантическом отношении окончаний является в принципе возможной.

2. Переход от морфологического средства выражения к синтаксическому средству выражения может начинаться с утраты морфологического средства при отсутствии соответствующего синтаксического средства, его заменяющего.

3. В этом случае возможен период в истории языка, когда отдельные отношения между словами, нередко очень важные, перестают иметь четкое и последовательное грамматическое выражение.

4. Отсутствие четкого и последовательного выражения грамматических категорий, повидимому, может существовать в языке лишь временно и в определенную историческую эпоху.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГРАММАТИКИ

А. И. Смирницкий. Лексическое и грамматическое в слове 11
Б. А. Серебренников. К проблеме типов лексической и грамматической абстракции 54
Н. С. Поспелов. Соотношение между грамматическими категориями и частями речи (На материале современного русского языка) 74
А. А. Реформатский. О соотношении фонетики и грамматики (морфологии) . . 92
Р. И. Аванесов. Кратчайшая звуковая единица в составе слова и морфемы . . . 113
П. С. Кузнецов. Значение грамматики для сравнительно-исторического языкознания 140

II. ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ

М. Н. Петерсон. О частях речи в русском языке 175
Э. В. Севортян. К проблеме частей речи в тюркских языках 188
К. Е. Майтинская. К вопросу о категории падежа (На материале финно-угорских языков) 226
Н. И. Фельдман. Отыменные послелоги в современном японском языке 250
К. А. Левковская. О специфике префиксации в системе словообразования (На материале немецкого языка) 299
М. М. Гухман. Глагольные аналитические конструкции как особый тип сочетаний частичного и полного слова (На материале истории немецкого языка) 322
А. А. Юлдашев. Категория глагольного вида в башкирском языке 362

III. ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА

В. В. Виноградов. Основные вопросы синтаксиса предложения (На материале русского языка) 389
В. Н. Ярцева. Предложение и словосочетание 436
О. С. Ахманова. Словосочетание 452
В. В. Пассек. К вопросу о соотношении между редукцией окончаний и выдвижением синтаксических средств в английском языке 461

Утверждено к печати
Институтом языкознания
Академии наук СССР

•

Редактор издательства *А. Т. Лифшиц*
Технический редактор *Т. В. Алексеева*
Корректор *Е. И. Чукина*

•

РИСО АН СССР № 9-89В. Сдано в набор 30/XI 1954 г.
Подп. к печ. 30/IX 1955 г. Формат бум. 70 × 108 1/16.
Печ. л. 30,25 = 41,43. Уч.-издат. л. 33,9. Тираж 12000.
Т-08233. Изд. № 789. Тип. зак. № 1337.
Цена 21 р. 85 к.

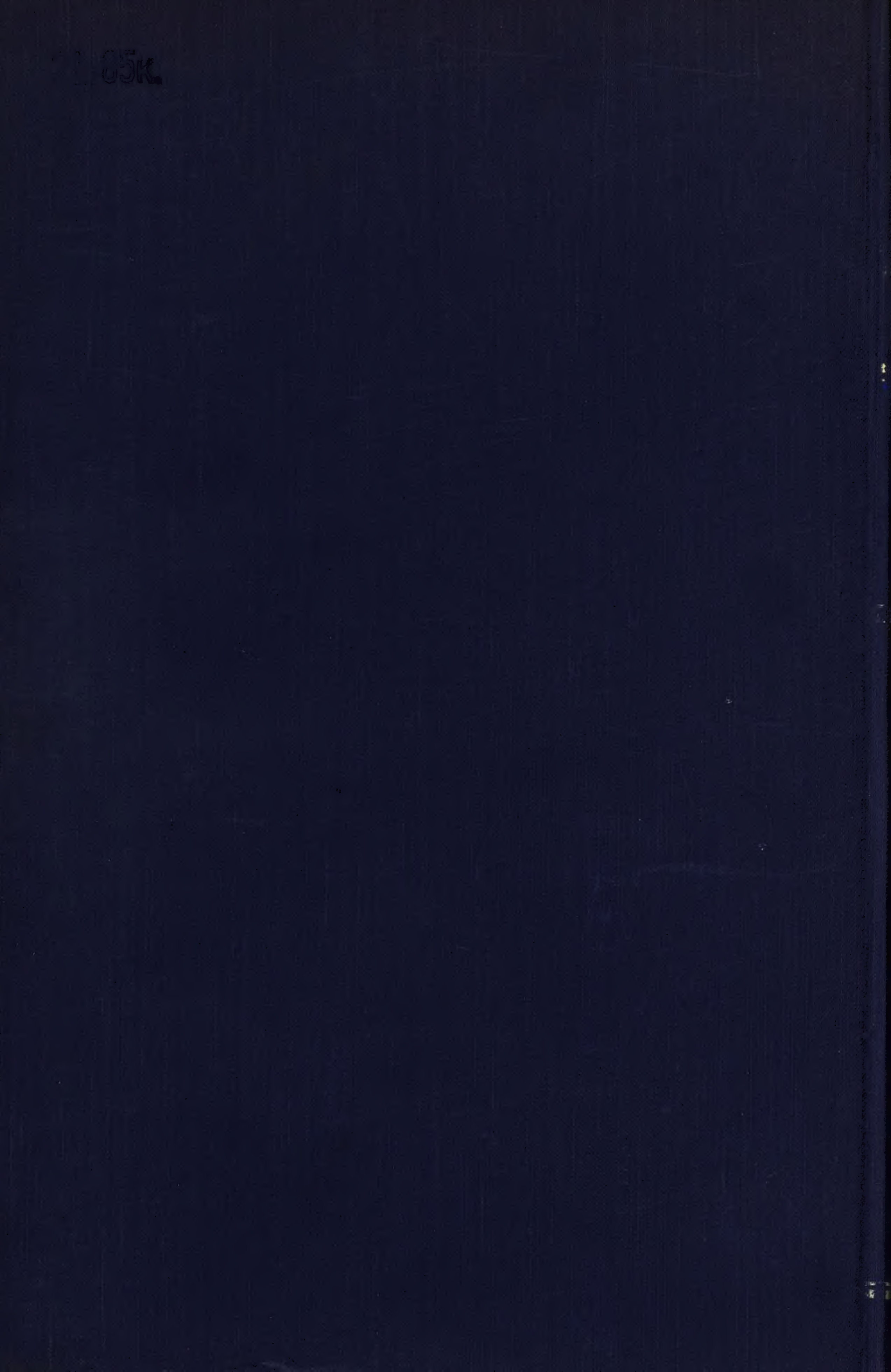
Издательство Академии наук СССР.
Москва, Б-64, Подсосенский пер., д. 21.

1-я типография Издательства Академии наук СССР.
Ленинград, В. О., 9 линия, д. 12.



Опечатки и исправления

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
92	7 сн.	fasis	basis
92	4 сн.	s.2	s.6
95	11 св.	**t** ‖ **c**	**t** ‖ **c'**
209	16 св.	*kiz*	*kız*
211	18 св.	*fabrikasi*	*fabrikası*
212	3 св.	*yoliu*	*yolu*
212	6 сн.	*kumas*	*kumaʒ*
218	6 св.	*sehri*	*ʒehri*
218	10 св.	*yardim*	*yardım*
222	3 св.	которых	которого
232	4 сн.	melletem mellet	mellettem mellett
236	12 сн.	«на груди»; között)	«на груди»), között
350	23 сн.	tagu	taga
351	9 св.	uua run	uuarun
373	8 св.	*нукты*	*һукты*
378	4 св.	*осрашклау*	*осрашкылау*
378	5 св.	*сыккалау*	*сыккылау*
384	11 св.	формы	формы не


65к.